

Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей. А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы.

Г. Державин

миниатюры

миниатюры

Валентин ПИКУЉ

ПЕРОМ И ШПАГОЙ БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ СЛОВО И ДЕЛО ФАВОРИТ

КАЖДОМУ СВОЕ ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ

БАЯЗЕТ

нечистая сила

КРЕЙСЕРА

ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИ-САН

КАТОРГА

БОГАТСТВО

честь имею

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ

моонзунд

из тупика

РЕКВИЕМ КАРАВАНУ PQ-17 МА/ІБЧИКИ С БАНТИКАМИ

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ

БАРБАРОССА

миниатюры

псы господни. из неизданного

Валентин ПИКУЉ

МИНИАТЮРЫ

BEHE • ACT

Составление, комментарии А. И. Пикуль

- © В. С. Пикуль, 1999.
- © Составление, комментарии. А. И. Пикуль, 1999.
- © Оформление. Вече, 1999.

под золотым дождем

Князь Дмитрий Голицын, русский посол в Гааге и знаток искусств, сообщал в небывалом раздражении, что 1771 год стал для Эрмитажа горестным. Картины из собрания Гаррита Браам-кампа, закупленные им недавно для императрицы, погибли заодно с кораблем, который на пути в Петербург разбило бурей у берегов финских. Голицын писал, что есть особая причина несчастья, увеличивающая его страдания: «Это — набожность! Да, именно набожность... Море было бурное. Но когда настал час молитв, капитан все бросил и отправился орать свои псалмы с остальным экипажем. И в самый разгар его молитв корабль разбило о рифы... Причина несчастья, — заключал атеист Голицын, — столь великолепна, что доставляет мне удовольствие».

По Европе блуждали слухи, будто Екатерина II послала водолазов-ныряльщиков на поиски погибшего корабля, чтобы спасти драгоценные полотна, но эти сплетни оказались ложными. Императрица отнеслась к потере сокровищ не так горячо, как ее безбожный дипломат. «Я не любительница, я просто ж а д н а я », — откровенно говорила она о своем собрании Эрмитажа. О катастрофе с кораблем императрица известила Вольтера: «В подобных случаях, — писала она, — нет другого убежища, кроме того, как стараться забыть элополучия...» Но уже в январе 1772 года Вольтер отвечал императрице: «Позвольте сказать, что Вы непостижимы! Едва успело Балтийское море поглотить картины, купленные в Голландии на шестьдесят тысяч ефимков, а Вы уже приказываете привезти (картины) из Франции на четыреста пятьдесят тысяч ливров... Не знаю я, — непритворно удивлялся Вольтер, — откуда Вы берете столько денег!»

Деньги-то были казенные, а Эрмитаж создавался как личная коллекция императрицы. В собрание образцов искусства Екатерина II вкладывала громадный политический смысл: в пору народных смут и кровавых войн, неурожаев и стихийных бедствий если она, владычица государства, бухает деньги на покупку картин, значит, в Европе станут думать: ого, дела Русской империи превосходны... Когда же Дени Дидро из Парижа подсказал о распродаже галереи умершего герцога Пьера Кроза, Екатерина еще колебалась. Но в Петербурге у нее был хороший советчик — граф Эрнст Миних, сын фельдмаршала. Вот его она и спросила:

- Стоит ли тратить деньги на картины от Кроза?

Миних был автором первого научного каталога Эрмитажа: приятель Руссо, он собирал для Дидро материалы по экономике России; не доверять его знаниям и его вкусу царица не могла.

- Не ошибусь, отвечал Миних, если скажу, что после Орлеанской галереи частное собрание Кроза было лучшим в Париже. Так что платите не раздумывая! Там одного Рембрандта семь картин, там сразу две «Данаи» Рембрандта и Тициана.
 - Уж я-то их не провороню, решила Екатерина...

...В июне 1985 года советские газеты оповестили читателей. что какой-то негодяй или безумец плеснул кислотой на рембрандтовскую «Данаю». Что заставило его уродовать красоту женщины? Но тут же я вспомнил, что в 1976 году — не у нас. а в музее Амстердама! - некий мерзавец, бывший учитель истории, нанес 13 ножевых ран гениальной картине Рембрандта «Ночной дозор». Заодно мне вспомнилось и то злодейское поругание, которому в залах Третьяковской галереи подверглась картина Ильи Репина — царь Иван Грозный убивает своего сына Ивана; в данном случае повинен спятивший богомаз Абрам Балашов. Но примечательно, что никто не обливал кислотой квадратики и кружочки на картинах Кандинского, никто не бросался с ножом на «шедевры» Шагала, у которого по небу летают коровы и женихи с невестами! Удары маньяков и недоумков всегда были направлены на гигантов — от Рембрандта до Репина. Великое и талантливое нас, нормальных людей, восхищает, но бездарности и психопаты ненавидят великое и талантливое...

Все это вместе взятое привело меня к мысли — поведать

историю оскорбленной рембрандтовской «Данаи», любимой самим ее создателем и всеми нами.

Рембрандт был влюблен. Рембрандт был еще беден. Вот его дневной рацион: кусок сыра и селедка с хлебом. — Достаточно, — говорил мастер. — Теперь работать...

Саския была из богатой семьи с претензиями на аристократизм, а Рембрандт — сыном мельника, с которым семья Саскии не слишком-то хотела породниться. В гневе праведном на людскую пошлость художник написал картину на библейскую тему — как Самсон угрожал отцу возлюбленной. Рембрандт автопортретировал себя в виде Самсона, показывающего кулак. Но смысл был далек от легенд. «Отдайте мне Саскию!» — требовал он...

Саския вошла в его дом в 1633 году, когда имя Рембрандта в Голландии уже обрело весомую известность. Он был вполне обеспечен заказами, потому тысячи флоринов, принесенных Саскией в приданое, не обогатили его, а лишь закрепили его положение в чванном обществе бюргеров. Добившись любви патрицианки, художник окружал ее небывалой роскошью. Рембрандт любил Саскию очень сильно, он украшал ее земные прелести жемчугами и бриллиантами. Рисовал и писал с нее множество портретов, в каждом из них стараясь выявить все лучшее, что характерно для женщины, счастливой в упоении счастливого брака. Да, он ее очень любил...

Свой дом в Амстердаме живописец превратил в антикварную лавку редкостей; стены были обвешаны подлинниками величайших живописцев прошлого, шкафы он заполнил ценнейшими гравюрными увражами. Здесь было все, что нужно для возбуждения творческих порывов, и Рембрандт наслаждался лицезрением рыцарских доспехов, чучелами заморских птиц, узорами персидских ковров, раковинами с загадочных островов, его пальцы нежно касались японских ваз, он трогал поющие грани волшебного венецианского стекла, его ученики могли отдыхать, играя на музыкальных инструментах почти всех народов мира.

В этом чудесном доме искусств Саския оживляла быт мастера своим чарующим смехом. А через три года после свадьбы Рембрандт украсил мастерскую новым торжественным полотном.

Это и была наша «Даная»!

Казалось, и конца не будет семейному счастью, но все дети умирали в младенчестве. Саския несла в своем теле неизлечимую болезнь, и в 1642 году она родила Рембрандту последнего сына — Титуса... Титус выжил, но его мать умерла.

Траурная пелена загасила краски мира, былые радости погрузились в глубокую тень. Чья-то рука вдруг опустилась на плечо, и художник обернулся... Перед ним стояла Гертье Диркс молодая, крепкая, здоровая. И протягивала бокал с вином.

— И это пройдет, мастер, — утешала она. — Пейте...

Рембрандт раньше не удостаивал служанку вниманием.

- Я выпью... Саския взяла тебя в няни Титуса, но я не знаю, кто ты и откуда пришла в мой дом.
- Я вдова корабельного трубача, который так усердно дул в свою трубу, пока не лопнул, как свиной пузырь... Э! Стоит ли мне жалеть об этом негоднике, прости его Боже...

Скоро друзья художника заметили, что Гертье отяготила свой пояс связкою домашних ключей, она держалась слишком уверенно, как хозяйка. В этой молодой женщине было что-то и подкупающее, иногда она казалась даже красивой. Как бы то ни было, но Рембрандт не тяготился ее любовью. Наверное, он был даже благодарен ей за то, что ласковой заботой она отвлекла его от страданий, вернула ему вдохновение, пальцы мастера снова потянулись к палитре.

Но практичная Гертье Диркс слишком настойчиво стучалась в сердце мастера, она разбудила в Рембрандте совсем иные творческие мотивы, ранее ему никак не свойственные. Так появились картины, в которых женская нагота пленительно засветилась с полотен. Вот она, эта Гертье: раздобревшая, словно кухарка, от хорошей жизни в чужом и богатом доме, толстая и плотная, она лежит в постели, отдергивая полог... Рембрандт обрел новый взгляд на женщину, изменился характер его творчества, и в 1646 году он переписал «Данаю»!

Впрочем, все складывалось хорошо, пока в доме Рембрандта не появилась новая служанка — Хендрикье Стоффельс.

— Я дочь простого сержанта, — поведала она о себе, — он служил на границе с Вестфалией... Не прогоняйте меня! Мне так уютно в вашем доме, наполненном сокровищами.

Рембрандт погладил ее по голове, как ребенка:

— Не бойся... если ты добра, буду и я добр к тебе.

Гертье Диркс, уже обвещав себя драгоценностями из шкатулки покойной Саскии, ощутила угрозу своему положению.

— Не пора ли нам идти под венец? — настаивала она...

В скромной опрятной служанке Гертье распознала свою соперницу. Ревность перешла в открытую злобу, от злобы недалеко и до подлой мести. Осенью 1649 года Рембрандта вызвали в «Камеру семейных ссор» (была в Амстердаме такая!), и здесь перед синклитом судей Гертье потребовала:

- Пусть он женится на мне, вот и кольцо от него, которое

я всегда носила как обручальное. А если не может жениться, так пусть возьмет меня на свое содержание...

Суд постановил: Рембрандту следует выплачивать истице по 200 гульденов ежегодно. Но Гертье недолго элорадствовала: через год ее обвинили во многих грехах, и она оказалась в тюрьме. Утешительницей Рембрандту стала Хендрикье.

— Помни, — говорила она, — что бы ни случилось с тобою, я всегда буду рядом... В счастии и в беде, но — рядом!

Хендрикье заслуживала большой любви — честная, самоотверженная, она ничего не требовала для себя, зато отдавала Рембрандту все... Сюда никак не подходит слово «расплата», но мне кажется, Рембрандт все-таки расплатился с нею галереей ее портретов, на которых она предстает то в одеждах из золотой парчи, то выступает из потемок в простом фартуке, зябко пряча в рукавах натруженные руки... Настал год 1654-й, когда Хендрикье принесла Рембрандту дочь — Корнелию!

Пуританская элита Амстердама, все эти юристы, антиквары, негоцианты, менялы, священники, бюргеры и банкиры, все эти фарисеи (скажем, точнее!) были возмущены.

Хендрикъе вызвали в духовную консисторию:

- Распутница и прелюбодейка, соседи обходят тебя на улицах стороною, как чумную... Клянись же перед священным распятием, что покинешь дом Рембрандта, дабы никогда более не осквернять житейскую мораль своей грязной порочностью.
 - Нет, не уйду! гордо отвечала женщина...

Она вернулась к нему, шатаясь, падая от беды.

- Что сделали с тобою? встревожился Рембрандт.
- Они сделали... отлучили меня от церковного причастия. Я теперь как собака, не могу войти даже в церковь. Но они не могли лишить меня святого причастия к жизни Рембрандта...

Через все препоны, через свой женский позор чудесным откровением пришла Хендрикье к нам из прошлого мира и осталась навеки с нами — потрясающей «Вирсавией», заманчивой «Купальщицей», «Венерой, ласкающей амура», — она, запечатленная на этих полотнах, обрела заслуженное бессмертие.

Но дела самого Рембрандта становились все хуже: фарисеи не прощали ему Хендрикье, им не нравилось, что их мещанским вкусам Рембрандт прививает свои вкусы. О нем стали болтать всякую ерунду, заказчики уже вмешивались в его работу:

- Почему вы не гладко кладете краски?
- Но я же не красилыщик, а живописец, бесился Рембрандт.

Его навестил сосед, богатейший сапожник.

— Что вам надо здесь? Что вы шляетесь по комнатам?

- Я куплю ваш дом. Мне он нравится.
- Кто вам сказал, что мой дом продается?
- Соседи. Они сказали, что вы в долгах...

Саскии выпала вся полнота семейного счастья, даже Гертье получила свою долю довольства, зато бедной Хендрикье выпало пережить самое тяжкое. В дом-музей ворвалась яростная и жадная толпа кредиторов, подкрепленная сворой юристов, и они беспощадно описывали имущество художника. Все растащили! Но самое гнусное, самое мерзкое было в том, что среди грабителей появилась и Гертье Диркс, хватавшаяся за испанские стулья, обитые голубым бархатом, за редкостные клинки из Дамаска, она утащила мраморный рукомойник, она вытряхивала белье Рембрандта из орехового комода... Она восторгалась:

— Не хотел быть моим мужем, мазилка! Теперь все мое...

Именно ее подпись стоит под документом, объявлявшим по всей стране о банкротстве Рембрандта. Его, великого голландца, Голландия выбросила из дома, который он создал; он, плачущий, вытащил узел с пожитками на улицу... Теперь в его дом въезжал торжествующий хам — сапожник! Но среди всех потерянных вещей навсегда ушла от взора Рембрандта и картина «Даная». Наверное, он мог бы сказать ей:

— Прощай, любовь... прощай, молодость!

«Даная» ушла, и кисть мастера уже никогда ее не коснулась. Сложными путями картина переходила из рук в руки, пока из парижского собрания Кроза не оказалась в нашем Эрмитаже.

За окнами Зимнего дворца сиренево вечерело...

Картины от герцога Кроза сразу обогатили собрание Эрмитажа. Екатерина с графом Минихом обозревала покупки. Возле рембрандтовской «Данаи» она вскинула лорнет к глазам:

— Быть того не может! Не спорю — картина хороша, но... Где же золотой дождь, которым Зевс осыпал Данаю, после чего бедняжка сия и забрюхатела, вскорости породив героя — Персея!

Миних пожал плечами, неуверенно хмыкнув:

— Дождя нет, матушка. И сам не пойму, отчего Рембрандт, столь точный живописец, забыл о золотом дожде, проливающемся на узницу, жертву своего злого отца. Однако в коллекции Кроза эта «Даная» висела подле «Данаи» тициановской... Значит, у самого владельца таких сомнений не возникало!

Екатерина перевела лорнет на творение Тициана:

— Ну, тут все точно, — сказала она. — Червонцы так и сыплют с неба, будто Даная угодила под золотой ливень... Недаром ее служанка подставила под него свой большущий мешок!

Миних, близорукий, приблизился к полотну Рембрандта, он почти обнюхивал картину, и Екатерина расхохоталась:

- Что вы там еще обнаружили, граф?

- Странно! отвечал Миних. Даная должна бы смотреть кверху, обозревая золотой дождь, но ее взгляд на картине обращен прямо перед собой... Получается, матушка, так, что эта несчастная ожидает любви земной, а не небесной!
- Да, согласилась императрица, посмеиваясь, что-то чересчур странно ведет себя наша Даная...

Итак, стоило картине Рембрандта украсить залы Эрмитажа, как сразу начались загадки. А загадки перешли в раздел непроницаемой тайны, покров с которой не сорван до конца и поныне. На всякий случай я заглянул в популярную «Историю искусств» П. П. Гнедича, который писал, что Даная «представляет молоденькую (?), но почти безобразную (?) женщину. лежащую в кровати на левом боку. Старуха с большим мешком и связкою ключей отдергивает полог кровати, и через образовавшееся отверстие врывается солнечный луч, озаряя нагое тело лежащей... Все догадки знатоков о том, что это жена Товия или что это Даная, не имеют никакого серьезного значения...» Вот те на! Именно этот коварный вопрос — Даная или не Даная? больше всего и занимает исследователей, как прежде, так и теперь... К этому вопросу можно добавить и второй, весьма существенный: кто из женшин позировал живописцу для его «Ланаи»?

Историки сначала как следует взялись за старуху, непонятно зачем отдергивающую кроватный полог:

— При чем здесь ключи, если служанка была заточена вместе с Данаей, а узница не могла иметь ключей... Наконец, если нет золотого дождя, то к чему она держит мешок?

XVIII век открыл полемику вокруг этой картины, а XIX век продолжил ее, но уже в более резкой форме. Требовали даже переменить название, в 1836 году из Англии поступило в Россию деловое предложение атрибутировать «Данаю» попроще — «В ожидании любовника». Под конец века, и без того бурного, полемика обострилась. Если бы можно было прислушаться к разноголосице мнений, то, наверное, диалог выглядел бы так:

- Это кто угодно, только не Даная... Скорее это Далила, ожидающая любовного визита Самсона.
 - Или жена Пантефрия, ожидающая юного Иосифа.
 - Вирсавия! Это Вирсавия ждет своего Давида.
- Дамы и господа! Вы все ошибаетесь: это просто грязная библейская девка Лия, которую обещал навестить Иаков, вот она и раскрылась заранее в трепетном ожидании.
 - Постойте, коллега, а если это Мессалина?

Да нет, это библейская Агарь.

— А почему не обычная языческая Венера?

— Кем бы ни была эта женщина, но, простите, Даная без золотого дождя — это уже не Даная. И почему, я спрашиваю вас, золотой амурчик, прикованный к ее постели, горько рыдает, хотя ему надо бы радоваться...

Наконец обратили внимание, что на безымянном пальце левой руки Данаи — обручальное кольцо. Тут уже все полетело кувырком. «Героиня картины — замужняя женщина. Можно ли представить себе, чтобы Рембрандт столь вольно трактовал тему Данаи? Это решительно немыслимо», — писали историки искусств.

- Минуту внимания! требовали у них знатоки. В парижской коллекции Кроза картина уже именовалась «Данаей», мало того, она висела над дверями подле «Данаи» тициановской... Не была ли прихоть владельца именно так назвать полотно Рембрандта, чтобы устроить приятный пандан к Тициану?
 - Не забывайте о кольце, черт вас побери!
- А вы не забывайте о том, что при описи имущества Рембрандта была изъята картина по названию именно «Даная».
- Так и что нам с того? Наверное, была у Рембрандта картина «Даная», которая до нас просто не дошла...
 - Да нет, дошла! Вот же она висит в Эрмитаже.
 - А вы мне докажите, что это именно она...

Достойно удивления, что все эти долгие годы, невзирая на жестокие споры, возникавшие вокруг достоверности «Данаи», Эрмитаж названия ее никогда не менял, продолжая называть картину тем именем, с каким она попала в собственность русской императрицы. Пожалуй, нет смысла излагать все версии, высказанные об этой картине, ибо любая из версий тут же опровергалась другой версией, которая казалась более убедительной...

Нашлись историки, судящие чересчур здраво:

— К чему споры? Не лучше ли согласиться с тем, что Рембрандт изобразил бытовую картинку... Ну, была женщина. Ну, долго не видела мужа. Ну, муж сейчас придет. Ну и что?

В новом времени появились новейшие возможности.

Юрий Иванович Кузнецов, советский искусствовед, решил высветить тайны и загадки Данаи лучами ренттена.

Ренттеноскопический анализ — минута почти сокровенная...

Ну, вот и просыпался золотой дождь! — разглядел Кузнецов.
 Теперь ясно, ради чего служанка держит мешок...

Аппарат высветил лицо Данаи, и в ее чертах вдруг проступила сама... Саския. Неужели? Неужели опять она? Да, в лу-

чах ренттена возникла прежняя Саския — мало похожая на ту женщину, которую мы привыкли видеть в эрмитажной «Данае».

Ренттен продолжал фиксировать сокрытое ранее:

— В первом варианте картины Даная имела прическу, какую мы видим и на портрете Саскии из Дрезденской галереи. А вот и ожерелье на шее, тоже известное по портретам Саскии!

Под ренттеном выявилось, что Даная-Саския раньше смотрела не прямо, перед собой, а именно вверх — на золотой дождь.

Аппарат переместил свои лучи на ее руку:

— Положение руки совсем другое! В первоначальном варианте Даная держит руку ладонью вниз — жест прощания, а в картине уже исправленной ладонь обращена кверху — призывно...

Наконец, ренттен определил важную деталь: раньше бедра Данаи были стыдливо прикрыты покрывалом, и это было понятно, ибо художник оберегал сокровенность своей Саскии.

— Когда же он «сорвал» с нее покрывало?

 Когда разделил одиночество с Гертье Диркс, тогда же изменил и черты лица Данаи, более близкие к типу лица той же Гертье... Амур рыдает, оплакивая счастливое прошлое!

Стало ясно: было две «Данаи» на одном полотне, как было

и два чувства одного человека, одного художника.

Казалось бы, вопрос разрешен. Но выводы Ю. И. Кузнецова подверглись критике. В. Сложеникин так и озаглавил статью: «Все же это не Даная!» Он писал: «Перед нами не Даная, а жена Кандавла, ожидающая Гигеса...» Мне кажется, пусть Даная и далее возбуждает споры; в каждой тайне прошлого открывается стратегический простор для разгадок того, что давно и, кажется, уже безвозвратно потеряно...

Голландию эпохи Рембрандта принято считать свободной страной свободных граждан. Справедливее было бы именовать ее «купеческой республикой», где младенцу еще в колыбели дарили копилку, дабы он с детства возлюбил накопление денег. Человек в такой торгашеской стране считался добропорядочным и благородным только в том случае, если его кошелек распирало от избытка в нем золотых гульденов. Рембрандт, уже обнищавший, превратился в отверженного. Но по-прежнему гордо и вызывающе звучат для нас его вещие слова:

 Знайте же, люди! Когда я хочу мыслить по-настоящему, я никогда не ищу почета, а только свободы. Только свободы...

Рядом с ним шествовала по жизни Хендрикье, и это его поддерживало. Но в 1663 году она умерла. Мы открываем самую печальную страницу бытия: Рембрандт *продал* надгробие любимой когда-то Саскии, чтобы оплатить могильщикам выкапыва-

ние могилы для любимой Хендрикье. Был долгий путь с клад-бища...

— Что осталось теперь? Мне теперь ничего не осталось, кроме жизни, которая заканчивается для всех одинаково.

Горько! Титус женился, но после свадьбы умер и Титус; его вдова родила внучку Титию и тоже скончалась... Горько!

А ведь была жизнь, была слава, была любовь.

Ах, какая дивная была жизнь! И не страшился грозить кулаком он, еще молодой, жадным накопителям денег.

— Все было, но... все еще будет! — говорил Рембрандт.

После его кончины аккуратные нотариусы Амстердама не забыли составить подробную опись его имущества: в ней значились стулья и носовые платки. Против каждой вещи было написано слово оценщика: «дещево»! Теперь эту опись с небывалой гордостью показывают иностранным туристам.

— Наша национальная святыня! — хвастают гиды.

То, что стулья и носовые платки стоили очень дешево, это в Голландии знают, а вот показать могилу Рембрандта не могут. Зато в архивах Амстердама свято оберегается протокол о полном банкротстве Рембрандта... тоже с в я т ы н я!

Люди, которые похваляются этим, наверное, далеки от понимания трагедии художника. В путеводителях по Амстердаму обязательно значится посещение «дома, в котором жил великий Рембрандт». Но правильнее, на мой взгляд, писать иначе: «Дом, из которого выгнали великого Рембрандта»!

...После революции в голодном Переяславле наш замечательный мастер Д. Н. Кардовский читал молодежи лекции.

Это были возвышенные лекции о Рембранате.

— Нам повезло! — говорил он. — Наша страна имеет большую литературу о Рембрандте, наши музеи и даже частные собрания хранят полотна бессмертного живописца...

Кардовский рассказывал о конце Рембрандта, который после смерти Хендрикье «остался совсем один, с седой головой...». Он был оклеветан врагами и завистниками, он едва ли был утешен слабым сочувствием лицемерных друзей. Рембрандт, говорил Кардовский, «опустился, стал бродить по ночным кабакам и там напиваться до бесчувствия, наконец он умер в крайней нужде».

Не пора ли, читатель, навестить в Эрмитаже его Данаю? Теперь мы увидим в ней не только то, что видели раньше... Будем беречь ее! Она стоит любого золотого дождя...

ТРУДОЛЮБИВЫЙ И РАЧИТЕЛЬНЫЙ МУЖ

Вологда издревле украшалась амбарами, отсюда товары русские расходились по всей Европе; в городе со времен Ивана Грозного существовала даже слобода — Фрязиновая, иноземцами (фрязинами) населенная. Петр I не раз проезжал через Вологду, где с купчинами местными по-голландски беседовал, а после Полтавы он пленных шведов сослал на житье вологодское:

— Народ там приветливый, а в слободе Фрязиновой едино-

верцев сыщете, дабы не совсем вам одичать...

Однажды был сильный мороз. В доме купца Ивана Рычкова уже почивать готовились, когда с улицы кто-то постучал в ворота, жалобно взывая о милосердии христианском.

— Не наш стонет, — сказала мужу дородная Капитолина

Рычкова. — По-немецки плачется... Пустим, што ли?

— Чай, заколела душа чужая, — согласился хозяин. — А коли

у наших ворот замерзнет, потом сраму не оберемся...

В теплую горницу ввалился закоченевший «герой Полтавы», и он был радостно изумлен, когда хозяин приветствовал его по-немецки, а хозяйка поднесла перцовой для обогрева. Оттаяв возле жаркой печи, ночной гость представился:

 Граф Иоахим Бонде из Голштинии, но имел несчастие соблазниться славою шведских знамен королевуса Карла Двенадцатого, почему и познал на себе все ужасы зимы россий-

ской...

Купец о себе рассказал: их семья имеет контору в Архангельске, если кому в Европе щетина нужна или клей, смола древесная или икра вкусная, те непременно к семье Рычковых обращаются. И стал граф Бонде навещать дом радушных купцов, с маленьким Петрушей баловался, как со своим дитятей. Мальчику было восемь лет, когда граф Бонде пришел проститься:

— Карл-Фридрих, мой герцог Голштинии, ныне ищет руки и сердца у дочери царя вашего — Анны Петровны, и потому государь ваш всех голштинцев от ссылки печальной избавляет...

Уехал. А вскоре беда случилась: на Сухоне и Двине побило барки с товарами, семья Рычковых в одночасье разорилась. Батюшка горевал, сказывая Капитолине Ивановне:

— На пустом месте едина крапива растет. Придется дом в Вологде продать, едем на Москву счастье сыскивать.

Был 1720 год. Петруша Рычков уже знал грамматику, арифметикой овладел. Однажды, гуляя с батюшкой по Москве, он дернул его за рукав кафтана, крикнув:

— Гляди, наш дядя Юхим в карете-то золотой едет, а с ним господа-то всякие, вельможные да важнецкие...

Граф Иоахим Бонде состоял в свите зятя русского царя, он не стал чваниться, облобызав Рычковых приветливо:

— Вы были моими добрыми друзьями в Вологде, теперь я в Москве стану вашим сердечным доброжелателем...

По его настоянию герцог сделал батюшку своим «гоф-фактором», и тогда же решилась судьба Петруши Рычкова.

— Вот что! — сказал ему отец. — Ныне коммерция да науки меркантильные отечеству крайне нужны стали, а потому решил я тебя к бухгалтерскому делу приспособить. Предков знатных за Рычковыми не водится, посему-то, сыночек родненький, тебе лбом дорогу пробивать надобно...

На полотняных фабриках, общаясь с мастерами-иноземцами, Петя Рычков освоил немецкий с голландским, а директор Иоганн Тамес посвящал его в тайны бухгалтерии, в суетный мир доходов и расходов. «Он меня, как сына, любил... к размножению мануфактур и к пользе российской коммерции чинимых, употреблял», — так вспоминалось Рычкову на закате жизни. Выучка пошла на пользу, и в 1730 году молодой бухгалтер стал управлять Ямбургскими стекольными заводами. Здесь, в захолустье провинции, встретилась ему красавица Анисья Гуляева, которая и стала его женою... Петр Иванович жил и радовался:

- Ничто нам! Сто рублев в год имеем, проживем.
- Дурак ты, отвечал ему тесть Прокофий Гуляев. Эвон в таможню столичную немца взяли за восемьсот рублев в год на

всем готовом, дабы бухгалтерию соблюдал. А он по-русски — ни гугу, пишет по-немецки, при нем толмача содержат... Что ты сидишь тут, в лесу, да ста рублям радуешься? Ехал бы в Питерсбурх да в ножки господам знатным кланялся... Пусть они тебя на место этого немца определят.

- Просить-то совестно, Прокофий Данилыч!

— А-а... Ну, тогда и сиди в лесу. Корми комаров. А вот как детишки забегают, тогда о совести позабудешь...

Скоро заводы стекольные из Ямбурга перевели в Петербург, и — волей-неволей — Рычков обратился в Сенат, где его приветил сенатский обер-секретарь Иван Кирилов.

- По мне, сказал он Рычкову, так лучше бы при таможне русского бухгалтера содержать, нежели немца, который на меня же, на русского, и косоротится. Пиши прошение, уладим. Сто пятьдесят рублев в год получать станешь.
 - Да немец-то восемьсот имел! На всем готовом.

— Так это немец, — ответил Кирилов. — А ты русский... тебя, как липу на лапти, догола обдирать надобно...

Было время немецкого засилья при царице Анне Иоанновне — Кровавой! Рычков стал бухгалтером при таможне. Это сейчас куда ни придешь, всюду сыщешь бухгалтера, а в те стародавние времена бухгалтер был персона редкостная и значительная, ибо начальники только воровать деньги умели, а вот изыскивать выгоды для казны — на это у них ума не хватало.

Умен был сенатский секретарь Кирилов: великий рачитель отечества, экономист и географ, он далеко видел, уже прозревал будущее. Экспедиция, им задуманная, называлась «Известной» (известная для избранных, она была засекречена для других). Киргизы пожелали принять русское подданство, их хан просил Россию, чтобы она в устье реки Ори заложила торговый город, которому и предстояло стать Оренбургом.

— Для «известного» дела, — объявил Кирилов Рычкову, —

надобен бухгалтер знающий, каковым ты и станешь...

Россия нуждалась в торговле с Азией, и в августе 1735 года Оренбург был заложен. Но сейчас на том месте стоит город Орск, а сам Оренбург перетащили к Красной Горе (ныне там село Красногорское), и только в устье реки Сакмары Оренбург нашел свое фундаментальное место, которое занимает и поныне.

От множества огорчений, перетрудившись, добряк Кирилов умер, его пост занял Василий Никитич Татищев.

При нем Рычков ведал Оренбургской канцелярией.

Василий Никитич мыслил широко, государственно; он и надоумил Рычкова смотреть на все глазами историка:

- Кирилов покойный оставил после себя атлас отечества,

а что после тебя останется, Петр Иваныч? Неужто один только дом в Оренбурге, где ты семью расселил? А ведь края эти дикие нуждаются в описании научном, Оренбургу пора свою летопись заиметь, дабы потомки о наших стараниях ведали...

Такие поучения немало удивляли бухгалтера:

— Уфа-то, заведенная еще от Ивана Грозного, вестимо, в истории нуждается. А мы-то здесь без году неделя... Нам ли о летописях горевать, коли ни кола, ни двора не имеем!

Татищев подвел его к окну, указал вдаль:

— Гляди сам, сколь далече отселе нам видится... Не отсюда ли пролягут шляхи торговые до Индии?

Правда, что виделось далеко, даже очень далеко... Давно ли здесь верблюды скорбно жевали траву, а теперь стоял городфорпост: за крепостными валами, с которых строго поглядывали пушки, разместились гостиные дворы, по Яику плыли плоты из свежих лесин, всюду шумели толпы людей, понаехавших отовсюду за лучшей долей, а солдатам и матросам нарезали земли — сколько душа желает, только не ленись да паши... Почва же столь благодатна, что, бывало, кол в землю вобьют — из кола дерево вырастает! А вокруг Оренбурга уже возводились новые села с веселыми жителями, там жаркий ветер колыхал пшеничные стебли.

Анисья Прокофьевна говорила мужу — не в упрек:

— Сколь уж деток нарожала я тебе! Нешто нам в этаком пекле и век вековать? Хоть бы чин тебе дали, чтобы деточкам нашим при шпаге ходить да низко не кланяться... Даром ты, што ли, по канцеляриям утруждаешься?

В 1741 году канцелярия Оренбурга завела особый департамент — географический. Петр Иванович вникал в ландкарты геодезистов, уже мечтая об атласе этих степных краев, дерзостно помышляя о «топографии» Оренбургской, в которой описать бы все реки и озера, все города и деревни, все полезные руды и злаки сытопитательные, о зверях и зверушечках разных. Пернатых при этом тоже забывать не следует...

— Чин-то за усердие в карьере дают, — отвечал он жене, — а научные звания за разум присваивают. Татищев уже хлопотал перед академией, дабы она меня почтила вниманием, да разве в науку пробъещься? Все щестки да насесты иноземцы столь плотно обсели, что любого русского заклевать готовы...

К управлению краем пришел Иван Иванович Неплюев, образованнейший человек, при нем завелись в степях школы для русских, башкир и киргизов, задымились в березовых рощах заводы. Оренбург дал стране первые медь и железо.

Иван Иванович уважал Петра Ивановича:

— Сколь потомков-то нарожала тебе Анисья?

— Десять. Одиннадцатого во чреве носит.

- А чего земли и чина не просишь?..

Рычков стал коллежским советником, обретя по чину дворянство. Неплюев выделил ему под Бугульмой хорошие земли, чтобы усадьбу завел и жил как помещик. Но Анисье Прокофьевне уже не нужны были ни чин его, ни шпага, ни усадьба.

— Помираю, Петруша, — позвала она его средь ночи. — От одиннадцатого помираю... живи один. За ласку да приветы спасибо, родненький мой. Но завещаю тебе — женись сразу же,

ибо без жены заботливой детишек тебе не поднять...

Петр Иванович свое отгоревал, а весною 1742 года ввел в

свой дом Елену Денисьевну Чирикову.

— Охти мне! — сказала молодая, присев от смеха, когда увидела великий приплод от первой жены Рычкова. — Ништо, не испугалась она, — со всеми управлюсь, да и своих детишек, даст Бог, добавлю дому Рычковых не меньше...

От второй жены Петр Иванович имел еще девять отпрысков, услаждая себя приятною мыслью, что после него Рычковым на Руси жить предстоит долго-долго. А там, где выросла его усадьба, вскорости возникло новое оживленное село — Спасское, закрутились крылья мельниц, перемалывая сытное зерно, с громадной пасеки доносилось тягучее жужжание пчелиных роев: мед жители Спасского измеряли не ведрами, а бочками.

По субботам Рычков устраивал детворе «посеканции»:

— По мне, так будьте вы хоть кривыми и косыми, но только б разумными чадами, и от просвещения не отвращайтесь... Всяк от мала до велика обязан утруждаться науками на общее благо, дабы стать полезными слугами отечеству!

Это ничего, что он детишек своих розгами взбадривал: та-

кова уж эпоха «просвещенного абсолютизма»...

Сам же глава семейства неустанно работал, трудясь над «Оренбургской топографией». Академия наук не специла его печатать, четыре года мурыжила рычковские «Разговоры о коммерции», и только в 1755 году, раскрыв «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих», Петр Иванович увидел свой труд в печати, зато не увидел своего имени. Под статьей стояли два анонима. Рычков огорчился:

— Да не вор же я, чтобы имя свое от людей прятать, будто краденое. Ломоносов-то меня знает! Ныне как раз пришло вре-

мя отослать ему начало топографии Оренбургской...

«Михайло Васильевич Ломоносов персонально меня знает, — писал Рычков. — Он, получа первую часть моей «Топографии», письмом своим весьма ее расхвалил; дал мне знать, что она от всего академического собрания апробована; писал; что приятели и неприятели (употребляю точные его слова) согласились, дабы ее напечатать, а карты вырезать на меди...»

Хотя Петр Иванович и жил на отшибе империи, но имя его уже становилось известно в Петербурге. Однако не видать бы ему признания, если бы не помог Ломоносов... В январе 1758 года в канцелярии Академии наук совещались ученые: как быть с этим неспокойным Рычковым? Тауберт и Штелин полагали, что без знания латыни Рычкову академиком не бывать.

Тогда в спор Ломоносов вступился: .

— Мужику скоро полвека стукнет, так не станет же он латынью утруждаться, чтобы рядом с ними штаны протирать! Я полагаю за верное, чтобы академия наша озаботилась для таковых научных старателей, каков есть Рычков, ввести новое научное звание: пусть отныне станутся у нас ЧЛЕНЫ-КОРРЕС-ПОНДЕНТЫ...

Была резолюция: «И начать сие учреждение принятием в такие корреспонденты, с данием диплома, коллежского советника Рычкова...» Об этом Петра Ивановича и уведомили.

— Виват! — обрадовался он. — Честь-то какова: я первый на Руси человек, что членом-корреспондентом стал...

Весною 1760 года Рычков дописал вторую часть «Топографии Оренбургской» и сразу подал в отставку.

Елена Денисьевна даже руками всплеснула:

— А на что ж мы жить-то в отставке станем, ежели от казны жалованья лишимся? Эвон ртов-то у нас сколько, и все разинулись, как у галчат: туда только носи да носи.

— Проживем... с имения, — утешил ее Рычков.

Академию наук он оповестил о своем новом адресе: «Село мое, называемое Спасским, на самой Московской почтовой дороге между Казанью и Оренбургом, от Бугульмы в 15-ти верстах».

Петр Иванович засургучил письмо в конверте:

— Послужил губернаторам! Теперь наукам слуга я...

«Трудолюбивый и рачительный муж» — именно в таких словах воздал хвалу Рычкову знаменитый просветитель Николай Иванович Новиков. Хотя и принято думать, что нет пророка в отечестве своем, но Петр Иванович стал им: в природе Южного Урала он уже разгадал подспудные богатства, которые со временем станут основой могучей русской промышленности.

Но трудно, даже немыслимо перечислить все то, о чем хлопотал, над чем трудился Петр Иванович! Специально для Ломоносова он написал «О медных рудах и минералах», предвидя развитие цветной металлургии в степях Казахстана; в другой статье «О сбережении и размножении лесов» он, пожалуй, первым на Руси пробил тревогу, доказывая, что лес не все рубить — еще и сажать надобно; Рычков писал «О содержании пчел», заложив первые в стране научные опыты над пчелами, для чего сооружал ульи со стеклянными стенками; Рычков первым в России задумался над трагическим для нас понижением уровня Каспийского моря, что, безусловно, отразится на климате всей нашей страны; словно заглядывая в далекое будущее, Петр Иванович подсказывал нам, своим потомкам, о нефтяных богатствах в бассейне реки Эмбы; наконец, он еще застал на своем веку несметные стада сайгаков, диких лошадей — тарпанов, диких ослов — куланов, он своими глазами наблюдал активную жизнь многих тысяч бобров и выхухолей, жирные белуги и громадные осетры поднимались тогда по Яику вплоть до самого Оренбурга, — и Рычков все это видел, заклиная народ беречь природу России, без которой немыслима жизнь русского человека...

Отъезжая в свое имение, Петр Иванович вручил своему управляющему сундучок, наказывая строжайше:

 Ты, Никитушка, охраняй его: здесь все, что нажил, и мы по миру пойдем, ежели сундучка этого лишимся.

— Да я за вас!.. — поклялся Никита. — Жизнь отдам.

Петр Иванович, покончив со службой, перевез из города в усадьбу и свою библиотеку — под 800 томов (а по тем временам такие библиотеки — редкость!). Сельская жизнь радовала его. «Я наслаждаюсь деревенским житием, — писал он на покое. — Домашняя моя экономия дает мне столько же упражнения, как и канцелярия, но беспокойства здесь такого, как в городе, не вижу...» Правда, спокойствия тоже не было: в своем же имении, буквально у себя под ногами, Рычков сыскал залежи меди, и скоро в его Спасском заработал медеплавильный заводик. Хлопот полон рот, а прибыли никакой.

— Да брось ты медью-то баловаться, — говорила жена, снова беременная. — Лучше бы винокурением обогащался...

Была ночь на 5 декабря 1761 года, когда в усадьбе вдруг начался пожар. Пламя охватило весь дом. Через разбитые фрамуги окон выбрасывали на снег мебель и посуду.

— Книги-то! — взывал Рычков. — Книги спасайте.

Из клубов дыма слышался голос жены:

— Никита-а, сундучок-то наш и-где?

— Здеся, — доносилось в ответ. — Покедова я жив, с вашим сундучком не расстанусь... будьте уверены!

Петр Иванович смотрел, как, порхая обгорелыми страницами, вылетают из окон его любимые книги. «Да и бросали их в мокрый снег и на разные стороны, — писал он друзьям, — надеюсь, что многие испортились и передраны. Особливо жаль

мне манускриптов, и переводов, мною самим учиненных. Сей убыток почитаю я невозвратным... Принужден теперь трудиться, чтоб как-нибудь на зиму объюртоваться, а летом новый дом строить...» Зиму кое-как перемучились на пепелище, пора было думать, на что семье жить дальше. Рычков говорил:

— Будто бы место директора Казанской гимназии освобождается... Не написать ли персонам столичным о нужде моей?

Но покровителей сильных не оказалось, гимназию другим отдали, пришлось подумать о возвращении из отставки. И тут познал он горькое унижение: его, автора истории и топографии Оренбургской, не пожелали иметь чиновником в Оренбурге.

— Да что вы от меня-то отказываетесь? Или у вас все места в канцелярии заняты членами-корреспондентами Академии наук?

Но ему дали понять: нам умников не надобно, казенную бумагу — ты пиши, а сочинять там всякое — не похвально. Если же понадобится, так мы и сами не хуже тебя напишем.

— Писарь — это еще не писатель! — возмутился Рычков...

Сам он в это время работал над проектом торговых сообщений с Ташкентом, с Бухарою, с Хивою и делал географическую раскладку, как добраться караванами до блаженной Индии.

Девизом своей жизни Рычков избрал верные слова: «ВЕК ЖИТЬ, ВЕК ТРУДИТЬСЯ, ВЕК УЧИТЬСЯ!»

Спасское утопало в душистых садах, посреди села вытекал из земли журчащий ключ холодной живительной воды, гудели пчелы. Было хорошо. А вечером в село возвращалось стадо. Петр Иванович поймал козу, зажал ее меж колен. Гребнем вычесал из нее подшерсток, а нежный пух пустил по ветру. И — задумался.

— Алена! — позвал он жену. — Я вот мыслю о том, что из пуха козьего можно платки вязать легчайшие. Ну-ка, попробуй, красавица. Занятно мне, что у тебя получится.

Елена Денисьевна послушалась мужа, и пуховый платок получился на диво хорош, согревающ и легок, как волшебная кисея. Скоро жена Рычкова получила медаль — от имени «Вольного экономического общества» России. С того-то и начиналась громкая слава знаменитых «оренбургских платков», которой суждено сделаться славой международной. Но опять-таки зачинателем этого народного промысла был неугомимый Рычков.

Жена его получила золотую медаль, а сам Петр Иванович получил только серебряную. Это не столь важно...

Куда-то вдруг запропастился управляющий Никита, а когда хватились его, то и сундучка не обнаружили, в котором Рычков «на черный день» откладывал сбережения.

— Вот черный день и настал! — было им сказано...

Вспомнилось тут Рычкову, как давным-давно разбило на Двине и Сухоне барки отца с товарами, но там-то — стихия, суета волн и ветра, а здесь — свой же человек, и суета его зловредная, корысть житейская и подлейшая. Малость утешало Петра Ивановича, что сыновья старшие уже на службе, а старшие дочери при мужьях, но все равно — шесть детишек да разные домочадцы немалых расходов требовали. «И так не знаю, как теперь исправляться, — писал Рычков. — Продаю оренбургский мой двор, но и на то купца нет — я уже за половину цены рад бы его отдать... К лакомству и к напиткам я не склонен. Со всем тем я очень несчастлив». Одно было утешение: труды Рычкова стали переводить в Европе, его имя высоко ценили в научных кругах Петербурга и Москвы, ученые путешественники считали долгом своим завернуть в Спасское, чтобы усладить себя беседой с Петром Ивановичем... Он и сам жене говорил:

— Ох, Алена! Чудно все. Как в Ферней все вояжиры заворачивают — Вольтера повидать, так и в Спасском все ученые не преминут меня навестить, будто я философ какой...

Это правда: забвенная деревушка вдали от генеральных трактов империи повидала немало гостей, имена которых ныне принадлежат русской науке: Ленехин и Паллас, астрономы Ловиц, Крафт и Христофор Эйлер, был тут и меланхолик профессор Фальк, ученик Линнея. А в марте 1767 года Рычков сам навестил Москву, где повидался с императрицей Екатериной II и **«Улостоился из уст ея величества услышать следующие слова:** «Я известна, что вы довольно трудитесь в пользу отечества, за что я вам благодарна...» Петр Иванович поднес ей свою книгу «Опыт казанской истории», императрица звала его в опочивальню, где «разговаривала со мной, расспрашивая меня о городе Оренбурге, о ситуации тамошних мест, о хлебопашестве и коммерции тамошней». Рычков пожаловался, что после пожара да воровства домашнего никак оправиться не может и желает из отставки вернуться на службу казенную... Екатерина ответила ему:

- Да ведь шестьсот рублев в год невелико жалованье, и боюсь не поладишь с оренбургским губернатором Рейнсдорпом.
 - А чего же не полажу с ним?
 - Ты, Петр Иваныч, умный, а Рейнсдорп дурак.
- Ежели он дурак, ваше величество, сказал Рычков, так в вашей же власти заменить дурака на умника.
- А где я теперь сыщу умного, чтобы согласился в Оренбург ехать, ежели слухи по Руси ходят, что Яицкое войско опять буянит, и от казаков тамошних любой белы жди...

Очевидно, «приватная» беседа с императрицей все же возымела свое действие, ибо Рейнсдорп звал его в Оренбург

— Ныне вся Украина волнуется, в народе соли не стало, — сообщил губернатор. — От канцелярии своей стану отпущать вам тысячу рублев в год, ежели возьмете на себя и управление соляными копями в крепости здешней — Илецкая Защита...

Выбирать не приходилось. Илецкая же Защита (ныне город Соль-Илецк) южнее Оренбурга, жарища там адовая, а тоска лютейшая. Форт отгородился от степи и разбойников деревянным забором, внутри его — мазанки да казармы, церковь да магазины; вот и все; двести беглых мужиков выламывали из недр пласты соли, а больные садились в грязь по самую шею, и та грязь их исцеляла. Даже на каторге люди жили лучше и веселее, чем в этой Илецкой Защите, солью сытые и пьяные, но Рычков отбыл «наказание», в результате чего явилась в свет его новая книга «Описание Илецкой соли»... Именно здесь, среди беглых и ссыльных, Петр Иванович уже явственно ощутил в народе признаки той грозы, которая разверзла небеса сначала над казацким Яиком, где вдруг явился некий Емелька Пугачев...

Но прежде «возмущения яицкого» калмыцкая орда — со всеми кибитками и верблюдами — вдруг стронулась со своих кочевий, напролом повалив в сторону далекой Джунгарии, и с этого времени началась вражда Рычкова с губернатором. Петр Иванович как историк почел своим гражданским долгом пояснить это событие своим современникам. В письменах ученым он доказывал, что бежать калмыков вынудили не только элостные наговоры и клевета фанатиков-лам, но и притеснения со стороны оренбургских хапуг-чиновников... Рейнсдорп об этом узнал.

— Жалкий Тартюф! — закричал он. — Я уже прозрел вашу низкую натуру, и в канцелярии видят, что ваши злословия о чиновниках происходят едино лишь от зависти. Да, — сказал Рейнсдорп, — я воздаю должное вашим способностям, но... Кто вам право давал излагать историю губернских событий, прежде не советуясь со мною, с начальником всей губернии?

Петр Иванович с достоинством поклонился:

— Трудясь над историей, я меньше всего думал о советах начальства, ибо история существует сама по себе, и никакой Атилла не сделает ее лучше, ежели она плохая...

5 октября 1773 года Емельян Пугачев, подступив под стены Оренбурга, замкнул город в кольцо осады. Окрестные фортеции и деревни были выжжены, все офицеры в гарнизонах перевешаны, ни один обоз с провиантом не мог пробиться к осажденным, и, как писал А. С. Пушкин, «положение Оренбурга становилось ужасным... Лошадей давно уже кормили хворостом. Большая часть их пала... Произошли болезни. Ропот

становился громче. Опасались мятежа». Рычков с семьей остался в осажденном городе, день ото дня ожидая, что ворота будут взломаны восставщими. Голод взвинтил базарные цены. Гусь шел за рубль, за соленый огурец просили гривенник, а фунт паюсной икры стоил 90 копеек. Конечно, при таких бешеных ценах неимущие шатались от голода. Петр Иванович вел летопись осады и, дабы помочь голодающим, делал опыты по выварке кож, искал способы замены хлеба суррогатом. Он еще не знал о гибели сына-офицера, но выведал другое: «Село мое Спасское и еще две деревни... злодеями совсем разорены... Пуще всего я сожалею об моей библиотеке, коя от злодеев сожжена и разорена». Только весною 1774 года с Оренбурга была снята осада, и Петр Иванович отъехал в Симбирск, где повидал сидящего на цепи Пугачева:

— За что ж ты, вор, моего сыночка сгубил?

Рычков стал плакать. Пугачев тоже заплакал. Об этом Петр Иванович тоже не забыл помянуть в «летописи», признавая, что «нашел я в нем (в Пугачеве) самого отважного и предпри-имчивого казака...». Но поездка Рычкова в Симбирск вызвала очередной скандал с оренбургским губернатором Рейнсдорпом:

- Вы зачем таскались туда без моего понуждения?
- Меня звал в Симбирск граф Панин, чтобы я изложил «экстракцию» о событиях в Оренбурге во время осады.
- Почему об осаде Оренбурга не меня, губернатора, а вас, моего чиновника, сиятельный граф изволил спрацивать?
- Значит, отвечал Рычков, историкам и писателям больше доверия, нежели персонам вышестоящим...

Петр Иванович отказал Рейнсдорпу в цензуровании своей рукописи «Осада Оренбурга», не пожелал восхвалять деяния начальников, как не стал порочить и восставших. Советский историк Ф. Н. Мильков писал: «Рычков отличался большой принципиальностью в научной работе. Он не побоялся пойти на открытый конфликт с губернатором, только чтобы в своих исторических сочинениях не искажать действительности, не подправлять ее в интересах бездарной администрации...» Рейнсдорп клеветал на него Петербургу: «Для меня его хартия (история осады Оренбурга) до сих пор остается тайной, из чего я с уверенностью вывожу, что он, по своему обыкновению, наполнил ее сказками и лжами». Рычков оправдывался перед Петербургом: «Я во всю мою жизнь ласкателем и клеветником не бывал, держусь справедливости...» Рейндорп не уступал.

— Только в могиле, — бущевал он в канцелярии, — такой человек, как Рычков, расстанется со своею черной душою...

Рычков был уже в могиле, когда его рукопись попала в руки поэта Пушкина. «Я имел случай ею пользоваться, — писал

поэт. — Она отличается смиренной добросовестностью в развитии истины, добродушным и дельным изложением оной, которые составляют неоценимое достоинство ученых людей того времени». Издавая свою «Историю пугачевского бунта», Пушкин опубликовал в приложении к ней и записки Рычкова об осаде Оренбурга...

Так в нашей истории Петр Иванович невольно совместил свое историческое имя с именами Ломоносова и Пушкина!

Рычкову исполнилось 63 года, а он давно чувствовал себя стариком: слишком уж много выпало тревог и волнений в жизстариком: слишком уж много выпало тревог и волнении в жиз-ни бухгалтера, историка, географа, чиновника, писателя, мужа двух жен и, наконец, отца многих детей. В феврале 1773 года, выходя из канцелярии, он на обледенелом крыльце неловко оступился и повредил себе ногу. С тех пор превратился в инвалида: с одного боку опирался на костыль, с другой стороны его поддерживал слуга... «Впрочем, — записал он, — домашнее мое упражнение состояло большею частию в сочинении топогра-

упражнение состояло большею частию в сочинении топографического словаря на всю Оренбургскую губернию»:

— Оставлю после себя народный лексикон, каким народ выражает географические понятия и названия...

Лексикон занял 512 листов бумаги, и Екатерина II, получив его копию, распорядилась выдать из казны 15 000 рублей. Петр Иванович от такого подарка не отказался:

— Но чую, что смазывают меня перед дальней дорогой, яко старый шарабан, чтобы не сильно скрипел. Да и то верно — с местной критикой мне не ужиться...

В марте 1777 года Рычков указом императрицы был назначен «главным командиром» екатеринбургских заводов на Урале. Это было видное повышение, но это было и заметное упаление.

Это было видное повышение, но это было и заметное удаление. Отказываться нельзя, и он поехал вместе с женою... Приехал

- на новое место и слег. Елена Денисьевна плакала.

 Не рыдай, Аленушка! сказал ей Рычков. Устал я от жизни сей... не оставь меня здесь. Отвези на родину.
 - Никак ты обратно в Вологду захотел?
 - Я и забыл про нее... увези меня... в Спасское...

Он закрыл глаза так спокойно, будто уснул. Его отвезли в те края, где он прославил себя, и похоронили в селе Спасском, где журчал чистый ключ-родник, где тревожно гудели медовые пчелы. Многочисленные потомки немало гордились славой своего предка, но сохранить его могилу не смогли. Уже в 1877 году некий Р. Г. Игнатьев не обнаружил на могиле Рычкова даже надписи... Так она и затерялась для нас, и мы уже не можем поставить памятник!

КАЛИОСТРО - ДРУГ БЕДНЫХ

Шардатан, плут и обманщик — эпитеты не первого сорта. И сейчас еще Калиостро по привычке иногда величают авантюристом. Но серьезные авторы пишут о нем спокойно: талантливый врач, замечательный актер, король иллюзионистов, одаренный химик-экспериментатор. В недавно вышедшей у нас книге по истории медицины Калиостро назван «чудесным представителем» лечебной психнатрии: «...он лечил сильным психическим влиянием, отбросив все ритуалы, пассы и церемонии». Где же правда? Признаюсь, и я долгие годы находился под впечатлением рассказа Алексея Толстого «Граф Калиостро», в котором он выведен каким-то бесом, способным слукавить и тут же исчезнуть, оставляя после себя сатанинский запах серы.

Впрочем... часы уже пробили полночы!

Стены моего кабинета раздвинулись, и предстал он сам — широконосый, толстый, благодушный, черные кружева его манжет были закапаны вином и воском, а парик был осыпан фиолетовой пудрой с примесью мелкого алмазного порошка.

- Я не помешаю? спросил граф Калиостро.
- Вы появились кстати, сказал я, ничему не удивляясь. — Я как раз собирался писать о вашем дьявольском преподобии.
- Бог мой! воскликнул Калиостро. Недавно в Голливуде я посмотрел фильм о себе, где меня играл знаменитый

Орсон Уэллс. Чего там не накручено! Не повторяйте сплетен обо мне. Не спорю: бедный человек, я многих обманывал... Но обманывал лишь богатых дураков. С бедняком же делился всем, что имел.

- Я это знаю. Но вас обвиняют и в мистицизме.
- Какая чушь! Посмотрите на меня: разве я похож на монаха? Всегда любил жизнь, любил ее радости и был далек от религии. Наоборот, у меня всегда были скандалы с церковью. Не забывайте, что меня погубила папская инквизиция! А мои оккультные тайны ныне уже не составляют секрета и даже не называются оккультными: простая физика вещей... Ваш артист Кио работает в таком же стиле, как и я когда-то. Однако ж вы на цирковых афишах не пишете: «Скорее к нам! Вы увидите знаменитого мистика Кио!»
- Согласен, отвечал я. Но вы сами запутали свою судьбу... Так, например, сидя в Бастилии, вы дали показания: «Место моего рождения и родители мне совершенно неизвестны». Неправда, граф! Вы родились в Палермо на острове Сицилия. Читаю дальше: «Все розыски мои по этому предмету не привели меня ни к чему, хотя и вселили в меня убеждение в знатности моего происхождения...» Опять приврали, граф! Вы родились в семье мусорщика Пиетро Бальзамо, а вашу мать в девичестве звали Феличией Браконьери...

Я оглянулся, но графа Калиостро уже не было возле меня, лишь тихо потрескивали стены, сквозь которые он проходил, — удаляясь, а откуда-то сверху послышался его сдавленный голос:

- Извините, но я терпеть не могу документов...

Итак, летом 1743 года у бедных итальянцев родился мальчик, которого именовали Джузеппе Бальзамо. Он еще не знал тогда (да и не мог знать), что о нем возникнет необъятная литература на всех языках мира, что знаменитые Гёте и Дюма напишут о нем романы, что Иоганн Штраус создаст о нем развеселую оперетту, а именем его — именем графа Калиостро! — будут украшены театры и цирки Европы, журналы и клубы фокусников Америки.

Отданный на воспитание в коллегию святого Роха, мальчик не раз убегал, монахи его ловили, секли, ставили коленями на горох, он снова убегал. Наконец был пойман в горах Сицилии, где возглавлял шайку малолетних бродяг... Джузеппе сослали в отдаленный монастырь Картаджироне, где его взял на поруки добрый старик аптекарь. Среди древних штанглазов с лекарствами, разбирая пахучие лечебные травы, сорванец охотно постигал химию и медицину. Он даже присмирел! Но однажды

за трапезой ему велели вслух читать жития святых. Монахи чавкали за столами, передавая друг другу кувшины с вином, а
Джузеппе звонким голосом читал им с кафедры о подвигах
святой церкви. До монахов, увлеченных едою, не сразу дошло,
что чудеса в этом мире творят одни лишь фокусники и мошенники, а подвижники церкви способны на одни дьявольские
козни. Джузеппе обяадал пылкой фантазией: глядел-то он, конечно, в книгу, но читал то, что подсказывало ему его воображение...

— На костер еретика! — завопили монахи разом.

Раздался звон стекла — Джузеппе вылетел в окно трапезной. Как обезьяна, уцепился за ветку старой оливы, и, перемахнув через ограду монастыря, он быстро исчез в зарослях виноградников. Молодой и загорелый подросток вернулся в Палермо, где начал учиться музыке и живописи, и не было такой драки на улице, в которой бы он не участвовал. Ловкая игра в карты с шулерами научила его первым приемам манипуляций. Уже тогда сплетничали, что он знается с нечистой силой, а фокусы Бальзамо привлекали людей; один бродячий актер открыл ему секрет чревовещания. Вскоре юноша узнал, что в Палермо проживает еврей-ростовщик Морано, который ничего не делает, не ест, не пьет — все копит, копит, копит.

— Бесстыжий! — возмутился Джузеппе. — Золото дано человеку не для того, чтобы оно бесцельно тускнело в кошельке...

Под видом «эмиссара сатаны» он завладел золотом скряги и бежал из Палермо — навсегда! Замелькали города и страны, корабли и гостиницы. Бальзамо часто менял имена, пока не умерла его тетка Винчента Калиостро, фамилию которой он и перенял (заодно уже присвоив себе и графский титул). А в Мессине Калиостро встретил человека, о котором известно лишь, что его звали Алтотас, но кто он был, откуда родом и когда он умер — этих тайн не могла позже открыть даже всемогущая инквизиция. Алтотас обладал обширными познаниями в медицине и алхимии, был врачом, ювелиром и гипнотизером...

Для начала мудрец задал вопрос Калиостро:

- Из чего, мой сын, люди пекут хлеб?
- Из муки, падре, учтиво поклонился юноша.
- А из чего возникает приятное вино?
- Из винограда, падре.
- А... золото?
- Не знаю этого, падре.
- Но очевидно, если хлеб делают из муки, а вино из винограда, то из чего-то, наверное, можно воспроизвести и золото?
 - Вы смутили мой разум, падре...

Ночью алжирский корабль, расправив черные косые паруса, уносил их с Алтотасом к берегам Египта, где Калиостро быстро постиг секрет перевоплощения обычной мешковины в дорогую парчу. Скоро он погружал старый гвоздь в жидкость и вынимал гвоздь... золотой! Брал маленький алмаз — возвращал крупный бриллиант. Калиостро очерчивал вокруг себя круг, и скоро в кругу бушевало жаркое пламя, из которого он выходил с улыбкой. На шумных базарах Каира дервиши за скромную плату показывали ему стеклянные графины с водою, в которых можно видеть все что хочешь. Калиостро и сам научился этому: плеснув на ладонь воды, он делал так, что зрители видели в его горсти лица своих близких...* Тайны жрецов Древнего Египта еще не умерли в краю сфинксов и пирамид. Калиостро жално поглощал их на улицах и базарах, от Алтотаса вбирал знания людской психологии и опыт врачевания, он осваивал значения драгоценных камней и сплавов металлов. Пешком они добрели до пустынной Аравии; с острова Родос бури загнали их на Мальту, где гроссмейстер Пинто, видный знаток химии XVIII века, вручил им ключи от своих грандиозных лабораторий; тут Калиостро задержался, работая с зельями и ядами, с хрусталем и золотом. На Мальте таинственно исчез, словно его никогда и не было в мире, ученый бродяга Алтотас, а Калиостро, обогащенный, отплыл в Неаполь...

Однажды вечером он подыскивал себе ночлег и, проходя мимо лавки литейшика бронзы, заметил в окне красивую девушку.

— Как зовут тебя? — спросил он, остановившись.

Лоренца, — ответила она, кусая цветок белыми зубами.
Ты мне нравишься. Я таких еще не видел.

— Ты мне тоже нравишься, прохожий. Кто ты?

— Я сам не знаю, — сказал Калиостро. — Меня породили потомки фараонов, но где и когда — я не мог выяснить. Сейчас я еду из Мекки, чтобы развеяться в бесцельных странствиях... Послушай, красавица, как бренчит золото в моем кощельке!

Лоренца послушала звон монет и бросила вниз цветок.

- Спроси у отца, его зовут Феличиани, он у себя в лавке... Она стала его женою, и дальше покатили вдвоем, испытывая массу приключений, как и положено людям, склонным к бродяжьей жизни. Словно во сне, проплывали города и страны; новый народ — новый язык... И всюду заводились сомнитель-

^{*} Некоторые секреты известны египтологам из древних папирусов; об этом можно прочесть в книге «Когда дуки показывают когти» (Политиздат, 1969); также в книге советского фокусника А. А. Вадимова «От магов древности до идлюзионистов наших дней» (М., «Искусство», 1966), в которой немало страниц отведено и Калиостро.

ные друзья, которых в одном городе поджидала виселица, в другой они не ехали, ибо там их поджидал топор палача. Да, век жестокий! Калиостро тоже сажали в тюрьмы, но юная Лоренца была так прекрасна, что ее мужа не держали никакие затворы. Скоро и жена угодила в тюрьму во Франции, которую супруги тут же покинули ради Брюсселя, после чего их видели проездом через Германию, они возникли опять на Мальте и вдруг оказались в Лондоне... Тут с Калиостро произошла крутая перемена. Речь его стала загадочна, он рассуждал о тайнах Востока, которые приобрел у подножия египетских пирамид, но больше молчал. На мизинце его сверкала печатка с шифром: змея держит в зубах яблоко, произенное стрелой (намек, что мудрец должен хранить свои знания). Современники долго не понимали: отчего так сказочно богат Калиостро? Почему у него не переводилось золото? Думали, что он и в самом деле обладает секретом «философского камня». История этот вопрос не выяснила. Вскоре Калиостро навестил Голштинию, где проживал легендарный граф Сен-Жермен, о котором позже писал Пушкин в «Пиковой даме» (кто не помнит трех карт — тройка, семерка, туз!). Загробным голосом Сен-Жермен возвестил Калиостро:

— Величайшее из таинств мира состоит в умении управлять людьми, и единственное средство — никогда не открывать истины; необходимо действовать лишь вопреки здравому смыслу людей, смело проповедуя им нелепости, и тогда они всецело тебе поверят! А теперь повернитесь на Восток: видите, там сверкают, как чистые бриллианты, снега великой России. Откройте двери ее!

Калиостро с очаровательной Лоренцой появился в Митаве, столице Курляндского герцогства. Отсюда недалеко и до Петербурга, куда он въехал под именем графа Феникса, полковника испанской службы (Калиостро имел какое-то особое пристрастие к чину полковника). Был год 1779-й...

А Толстой писал, что Калиостро у одной княгини «вылечил больной жемчуг; у генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на 11 каратов и, кроме того, изничтожил внутри пузырек воздуха; Костичу, игроку, показал в пуншевой чаше знаменитую талию, и Костич на другой же день выиграл свыше ста тысяч». Должен огорчить читателя: подобных чудес не было! Петербургское общество, к удивлению Калиостро, оказалось совсем не легковерным, а Екатерина II, женщина практичного ума, вообще отказалась принять «графа Феникса», и он, оставив в Лондоне славу мага и волшебника, на берегах Невы заявил о себе только как в рач — не более того.

Правда, Калиостро встретил средь русских вельмож видных масонов, обладавших большими знаниями в науках и философии, но императрица, подобно всем монархам Европы, боялась масонов как заговорщиков. Калиостро повезло не в Зимнем, а в Таврическом дворце, где полулежа царствовал умнейший сибарит князь Г. А. Потемкин; охотник до всяческих диспутов, он часто беседовал с Калиостро на любую тему. Однако кривому светлейшему хватило даже одного глаза, чтобы заметить красоту Лоренцы, и это поставило Калиостро в неловкое положение: он переживал измену жены, а в Зимнем дворце ревновала Потемкина к итальянке сама императрица. Но внешне она не выказывала неудовольствия, а на приеме в Эрмитаже подошла к испанскому послу — маркизу дону Нормандесу.

- Говорят, сказала она, у меня в столице появился какой-то полковник службы вашего короля — некто граф Феникс...
- Под знаменем короля испанского, склонился посол, полковника с таким именем не значится. Это блеф!

— Ну, я так и думала, — засмеялась императрица...

Между тем Калиостро занимался врачеванием, а все «чудеса» передоверил своей жене. Юная красотка утверждала, что ей далеко за семьдесят, и это вызывало зависть придворных дам.

- Быть того не может! восклицали они, не веря глазам своим.
 - Но мой сын уже капитаном в голландской армии.
 - Как же вы так удивительно сохранились?
- Этим я обязана мужу, который знает древнейший секрет эликсира вечной молодости... Он и сам далеко немолод!

Калиостро помалкивал в таких случаях, но уже блуждали слухи, что ему 3000 лет, он был оруженосцем Александра Македонского, хорошо помнит пожар Рима при Нероне и прочее. Случалось, что расслабленные старцы просили его вернуть им легкокрылую юность.

— Не советую, — подумав, отвечал Калиостро. — Вы даже не знаете, как мучителен процесс перевоплощения, особенно когда у вас вытекут старые глаза, а потом вы станете, подобно змее, выползать из своей шкуры, чтобы надеть новую...

Но все это чепуха, а вот лечил он замечательно, что признают и наши историки медицины. Как он лечил, я не знаю; знаю лишь, что давал декокты, эликсиры и микстуры, умело воздействовал на психику больных страшной силой гипнотического внушения. История подтвердила мнение о Калиостро, издавна сложившееся, что он был другом бедноты, которую лечил бесплатно. Калиостро брал с богачей тысячи, а бедных, напротив, сам же и снабжал деньгами. Образовался своего рода

насос, который перекачивал деньги богатых в карманы белняков. При этом он «не получал ниоткуда денег, не предъявлял банкирам никаких векселей, а между тем жил роскошно и платил за все цедро». Императрица, не вмещиваясь, зорко следила за ним:

- Подозреваю, что сей кудесник недаром навестил нас. Масоны попусту денег не транжирят. А папа римский Климент Лвеналиатый vже оповестил весь мир о том, что Калиостро **ученик** дъявола...

Екатерина II велела врачу покинуть Петербург, а потом сочинила комедию «Обманщик», в которой вывела Калиостро под именем Калифалкжерстона. Но удар был ею направлен не столько по Калиостро, сколько вообще по масонству, - это было как бы замахом на тот удар, который она позже нанесет по Новикову и Радищеву, тоже масонам!

Осенью 1780 года Калиостро въехал в Страсбург, богатый и оживленный город, ставший столицей его триумфа: шестерка лошадей изабелловой масти была укрыта золочеными попонами; большая свита учеников, пажей и скоморохов сопровождала поезд гроссмейстера всяких чудес. Толпы народа собрались на мосту Келль, приветствуя исцелителя и волшебника. В самый патетический момент встречи, когда Калиостро осыпали иветами, из толпы послышался крик:

- Держите его! Это палермский жулик Джузеппе Бальзамо, который много лет назал оставил меня без единого пиастра... О негодяй! Верни мое золото — все до последней унции...

Это голосил старый ростовщик Морано, о котором Калиостро забыл и думать. Выручило искусство чревовещания, и над громадной толпой, рушась откуда-то сверху, будто глас небесный, глас Божий, раздалось — угробное, эловещее:
— Оставьте племя торгующее — оно давно безумно...

Калиостро был великолепен: в длинном шелковом одеянии, с чалмою пророка на голове, весь в блеске бриллиантов, а по красной перевязи, напоминавшей орденскую ленту, были нашиты египетские жуки скарабеи; на поясе висел рыцарский меч без ножен, а руки Калиостро обильно умаслил старинными благовониями.

Одна женщина на мосту, не веря в него, крикнула:

- Если ты ясновидящий, так ответь: сколько лет моему мужу?

— Странный вопрос от женщины, которая никогда не была замужем, - проницательно-точно определил Калиостро...

В редкой книге того времени современник писал; «Кто такой Калиостро, откуда и куда стремится — на эти вопросы никто не в состоянии ответить... Он безвозмездно исцеляет и тратит деньги на помощь беднякам. Он ест мало, почти одни макароны; спит всего два-три часа, сидя в кресле». Ученый-физиогномист Лафатер, чтобы убедиться в правдивости слухов о Калиостро, специально приехал из Цюриха в Страсбург и был встречен словами Калиостро:

— Если вы знаете больше меня, то вам нет смысла знакомиться со мною; если же я знаю больше вас, то я не нуждаюсь в знакомстве с вами...

Лафатер увидел в нем «сверхчеловека». Три года Калиостро провел в Страсбурге, куда стекалось множество больных и просто любопытных, отчего город неслыханно разбогател, а 30 января 1785 года он въехал в Париж, где в пустующем храме дал несколько сеансов иллюзионизма, хорошо продуманных и впечатляющих публику. Сидя на прозрачном шаре, Калиостро держал в руках живую змею, а голова его была объята пламенем. и в таком виде шар уносил его под самые своды храма, где Калиостро растворялся под куполом, будто сказочный дух: при этом в храме возникал стол, полный золота, серебра и живых пветов, уже накрытый для ужина, и, конечно же, улетевший в поднебесье Калиостро был первым, кто садился за стол, - непонятно откуда появившись... В Париже он изредка брадся за врачебную практику, делая это почему-то неохотно, лишь уступая просьбам короля Людовика XVI (который, кстати, объявил, что любое оскорбление Калностро будет наказано, как его личное оскорбление).

Если верить преданию, Калиостро однажды на улице Парижа встретил бедного худенького корсиканца с воспаленными глазами.

— Я вижу, — сказал он ему, — что вас снедает непомерное честолюбие. Утешьтесь: вы будете владеть половиной мира!

Корсиканец расхохотался ему в лицо:

- Что ж, тогда вы станете моим первым министром.
- О нет, печально отвечал Калиостро. К тому времени как вы достигнете цели, меня уже погубят враги...

Говорят, этим корсиканцем был Бонапарт — будущий Наполеон!

Калиостро переживал шумную славу: все хотели его видеть; возле дома, в котором он жил, выстраивалось до двухсот карет; не было в Париже салона без бюста Калиостро — в бронзе или в мраморе; его портреты украшали табакерки мужчин и веера женщин; возникла даже мода иметь его изображения в перстнях. Ничто не предвещало беды, когда вдруг началось дело об ожерелье королевы — самый громкий уголовный процесс конца XVIII века. Описывать этот скандальный фарс мы

не станем*, ибо Калиостро попал в Бастилию за чужие плутни. Судьи обратили внимание, что бумаги Калиостро подписаны: L. P. D. Калиостро отказался расшифровать значение этих букв. И лишь позже римская инквизиция с кровью вырвала у него признание: L. P. D. — «Lilium pedibus destrue» — «Попирай лилии ногами» (лилия была древним символом королевской власти во Франции). Суд по делу об ожерелье королевы полностью оправдал Калиостро, и это вызвало небывалый энтузиазм парижан, вечером многие дома столицы были иллюминированы. Римская инквизиция со злорадством отметила: «В честь Калиостро звонили в колокола и народ кричал, что будет защищать его с оружием в руках — даже против власти короля!» Волнения в народе испутали Людовика XVI, и он велел Калиостро покинуть Париж. Хотинский пишет, что парижане «надели траур... Когда он садился на корабль в Булони, на берегу стояло пять тысяч человек на коленях». Калиостро отплыл в Англию, а за ним (очевидно, так и было!) уже следовали по пятам тайные агенты ватиканской инквизиции...

Здесь, в Англии, Калиостро издал открытое «Письмо к народу Франции», ставшее знаменитым (и тогда же переведенное
на русский язык!); неслыханный тираж этого послания буквально заполонил все города Европы. Это был страстный протест человека против монархической деспотии, против всех
королей! Его поняли вполне только через три года, когда вспыхнула Французская революция, ясно предсказанная в этом памфлете. Напророчив королю Людовику XVI гибель от рук восставшего народа, Калиостро предрек, что народ Франции не
оставит камня на камне от его Бастилии, «на месте которой, —
писал он, — будет создана площадь для общественных гуляний». Пожалуй, это самое удивительное предвидение Калиостро: на месте поверженной Бастилии образовался пустырь, украшенный надписью: «ОТНЫНЕ ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ТАНПУЮТ».

Странная судьба у этого человека! Калиостро всю жизнь боялся Рима с его инквизицией и шпионами, но весной 1789 года бдительность ему изменила. В самый разгар событий во Франции он поселился в Риме, словно забыв, что эдикт папы Клемента XII, подкрепленный буллой папы Бенедикта XIV, устанавливал смерть для всех масонов! Лоренца, более осторожная, предлагала мужу бежать из Рима куда глаза глядят, но он, излишне уверенный в себе, отвечал на ее страхи масонской фразой:

- Свет идет с Востока, звенят мечи, мясо сошло с кос-

^{*} Интересующихся этим процессом отсылаю к книге Е. Черняка «Пять столетий тайной войны» (М., «Наука», 1966), где достаточно полно изложено это «темное дело».

тей, двери открыты настежь, и полная луна освещает дорогу належны...

Он успел завербовать в свою ложу только трех человек, один из которых и был шпионом папы! Вечером 27 сентября Калиостро был арестован вместе с женою, бумаги их сожгли на костре. Калиостро пытали, заставляя признаться в общении с дьяволом, и вскоре, в крови и пламени, он уже подписывал все, что святые отны ему подсовывали. А по городу, дабы в народе не возникло сочувствия к нему, церковь распространяла слухи. что Калиостро, еретик и якобинец, хотел поджечь Рим! Сохранилась смутная легенда, будто Калиостро задушил в камере патера, присланного от папы для увещевания, и в патерской сутане пытался бежать из застенка, но был схвачен при выходе... Лоренца вела себя с большим мужеством, защищая своего мужа; ее осудили на пожизненное заключение, но вскоре она умерла от диких пыток. Процесс над Калиостро затянулся: лишь в апреле 1791 года смертный приговор был поднесен папе на утверждение; казнь через четвертование папа заменил «вечным заточением в крепости без надежды на помилование». При этом папа подчеркнул, что графу Калиостро «будут предписаны полезные для души епитимыи».

Французская революция уже стучалась в римские ворота, но бедный Калиостро не дожил до подлинного триумфа! Голодные, босые, оборванные, хрипло кричащие батальоны санколотов расшатывали престолы, и золотая тиара на голове папы римского уже тряслась от ужаса. Папа подозвал к себе великого инквизитора и что-то шепнул ему на ухо. Черная молчаливая тень удалилась во мрак...

Молодой Наполеон-Бонапарт вступил в Рим; на знаменах его армии в ту пору еще пылали священные заветы свободы, равенства и братства... Удивительно, что офицеры и солдаты Франции сразу же ринулись к тюрьме святого Ангела, где был заточен Калиостро, и потребовали его выдачи. Темницы были отворены революцией — на яркий свет выходили измученные пытками узники инквизиции, но Калиостро средь них не было... Революционные солдаты кричали:

- Где наш Калиостро, иначе все расшибем пушками! Смиренно опустив глаза, отцы святой церкви отвечали:
- Калиостро, кажется, недавно умер.
- Когда умер?
- Мы знаем только то, что он умер недавно...

В истории принята версия, что при первых же победах армии Наполеона в Италии, в мае 1795 года, папа римский велел Калиостро задушить. Швейцарский ученый Лафатер сообщил

Гёте: «Калиостро, каким я его лично знал, это был святой человек». Гёте специально поехал в Палермо, где расспрашивал жителей об их славном земляке; он еще застал в живых его мать, дряхлую старуху Феличию Бальзамо, жившую в страшной нищете, и дал ей денег.

— Не благодарите меня, — сказал поэт. — Я хорошо изучил биографию вашего сына, и я знаю, что он всегда помогал бедным...

Калиостро оставил в России ученика — Антона Гомулецкого, который служил мелким чиновником в Петербурге; Гомулецкий был непревзойденным конструктором людей-автоматов (сейчас мы их называем роботами), а в некоторых «чудесах» повершил даже своего учителя. В начале XX века французские историки основательно взялись за изучение Калиостро и пришли к выводу, что он обладал теми качествами, которые «привлекают к себе самое пристальное внимание науки». Познать возможности человеческого духа, проникнуть в крайности глубин людской психологии — эти темы актуальны в науке и сейчас!

Многие секреты Калиостро погибли вместе с ним безвозвратно, а Ватикан — что он знает, того не выдаст. Правда, некоторые из «фокусов» Калиостро воспроизводят в цирках и наши советские иллюзионисты. Этот человек до конца еще не раскрыт, да и стоит ли нам знать о нем все?.. Корней Чуковский по этому поводу писал: «В самом деле, утрачивая ту или иную иллюзию, разве мы не становимся гораздо беднее?»

СТАРЫЕ ГУСИНЫЕ ПЕРЬЯ

Семен Романович Воронцов, посол в Лондоне, рассеянно наблюдал, как его секретарь Жоли затачивал гусиные перыя.

— Порою, — рассуждал он, — нам платят за несколько слов, произнесенных шепотом, а иногда осыпают золотом даже за наше молчание. Такова уж профессия дипломата! — Из горстки перьев посол выбрал самое старое, обмакнул его в чернила. — Склянка с этой дрянью стоит гроши, но, используя ее с помощью пера, иногда можно изменить политику государства и без крови выиграть генеральную битву... Не так ли?

С поклоном явился Василий Лизакевич, советник посоль-

С поклоном явился Василий Лизакевич, советник посольства, и доложил, что ночью в Лондон прибыли русские корабли с традиционными грузами: смола, поташ, мед, пенька, доски.

— Распоряжением премьера Питта их лишили помощи лоцманов, и они вошли в Темзу сами... Боюсь, уплывут домой с пустыми трюмами, ибо в закупке товаров аглицких нам, россиянам, усилиями кабинета сент-джемского тоже отказано. Семен Романович воспринял это спокойно.

Семен Романович воспринял это спокойно.

— Яко младенец связан с утробою матери пуповиной, тако же и коммерция для англичан от политики неотделима. Ежели парламент во главе с Питтом войны с нами жаждет, то народ Англии желал бы лишь торговать с нами. А я устал! — Воронцов тяжело поднялся с кресла. — Пожалуй, прогуляюсь!

Лондон был стар, даже очень стар. В ту пору столица имела лишь два моста, а туннеля под Темзой еще не было. Внутри

кирпичных особняков царили покой и чистота, зато снаружи здания покрывала хроническая копоть от извечного угара каминов. Улицы были украшены афишками, предупреждавшими иностранцев беречь кошельки от жуликов. Лондон во все времена был слишком откровенен в обнажении своих жизненных пороков, и Семен Романович долгим взором проследил за колесницей, увозящей преступника на виселицу... Вдруг липкий комок грязи залепил лицо русского посла, раздалась брань:

 У-у, русская собака! Если ваши корабли не уберутся с Черного моря и Средиземного, вам не плавать и на Балтийском...

Было время диктатуры Уильяма Питта Младшего, время назревания того жестокого кризиса, который вошел в нашу историю под названием «Восточного» (хотя от берегов Темзы очень далеко до Азии, но виновником кризиса стал именно Лондон). Впрочем, России не привыкать выбираться из политических бурь, и Семен Романович брезгливо вытер лицо.

— Нет уж! — было им сказано. — На войну не рассчитывайте. Я затем и стою здесь, чтобы войны с вами не случилось...

Вечером он закончил депешу, извещавшую Санкт-Петербург: «Пока г. Питт, ослепленный Пруссией, пребудет здесь министром и пока король останется в опеке своей супруги, преданной совершенно двору берлинскому, России ничего полезного от Англии ожидать нельзя...» Петербургу не стоило объяснять, что Англией правила Ганноверская (немецкая) династия, а полупомешанный Георг III был женат на Шарлотте Мекленбургской, тоже немке. В конце депеши Воронцов добавил, что сумасшествие английского короля совпало по времени с началом Французской революции. Но не он, не король определял политику Англии, — это делал всемогущий и вероломный Питт Младший, породивший нелепую басню о «русской опасности» для Европы, и эта басня до сих пор хранится в боевых арсеналах врагов России — как старое, но испытанное оружие...

Перед сном Воронцов истово отмолился в посольской церкви, а восстав с колен, сказал священнику Смирнову:

— Каковы бы хороши ни были корабли у Англии, но колес они пока не имеют, дабы посуху до Москвы ехать, посему и наняли для войны армию пруссаков. Однако, смею надеяться, и сама Пруссия прохудит свои штаны у кордонов наших.

Яков Иванович Смирнов, давно живший в Англии, хорошо ее изучивший, человек грамотный, отвечал послу:

— Не дадим им смолы русской, так у них борта кораблей протекать станут, а без нашей-то пеньки из чего они канатов для флота навертят? Если мы, русские, чтим воззрения Адама Смита, почему бы и милордам над экономикой не задуматься?

С этим он и загасил душистый ладан в кадиле.

После неудачной войны за океаном, потеряв владения в Америке, Англия все колониальные претензии переместила в Азию, торопливо закрепляя свое господство в Индии. При этом, бесспорно, Питта устрашали победы русских в войне с Турцией, которую, кстати сказать, он сам же и спровоцировал. Чтобы спасти султана, Питт благословил нападение на Россию шведских эскадр, и Россия получила второй фроит — столь опасный для нее, что даже улицы Петербурга затянуло пороховым дымом, когда у фортов Кронштадта сражались враждующие эскадры.

Но в конце 1788 года русские взяли Очаков штурмом, и парламент Англии, повинуясь Питту, как хороший оркестр талантливому дирижеру, сыграл на слишком бравурных нотах:

— Долой русских с Черного моря!...

В русском посольстве слышались разговоры:

— Если бы Очаков не пал, никто в Лондоне и не ведал бы, что такой паршивый городишко существует. А ныне не только милорды в парламенте, но даже нищие попрошайки и базарные торговки рассуждают, что без Очакова им всем пропадать...

Питт Младший, опытный демагог, заверял парламент, что

победы России угрожают безопасности Англии:

— Высокомерие русского кабинета становится нетерпимо для европейцев. За падением Очакова видны цели русской политики на Босфоре, русские скоро выйдут к Нилу, чтобы занять Египет. Будем же помнить: ворота на Индию ими уже открыты...

Россия могучим плечом отбросила шведов от своей столицы и утвердила мир на Севере. Но королевская Пруссия, это алчное государство-казарма, уже обещала турецкому султану объявить войну России, чтобы она снова задыхалась в тисках двух фронтов — на юге и на севере.

Война с Россией неизбежна! — декларировал Питт...

Конечно, за интервенцию в Прибалтике предстоялю расплачиваться с Гогенцоллернами не только золотом. Как раз в это же время Лондон навестил Михал Огиньский, известный патриот Польши и композитор; в беседе с ним Питт заявил открыто:

— Не хватит ли вам раздражать бедных пруссаков своим присутствием в Данците? Между Варшавой и Лондоном не может быть никаких отношений, пока вы, поляки, не отдадите немцам Данциг, а если вы не сделаете этого по доброй воле, они все равно отберут его у вас — силой своего оружия...

Это был, если хотите, своего рода Мюнкен, только опрокинутый из нашего века в давнее прошлое Европы, а Питт как бы предварял будущее предательство Чемберлена. Но в декабре 1790 года, утверждая свое победное торжество, русские воины — во главе с Суворовым! — взяли штурмом неприступный Измаил. А русский кабинет проявил такую непостижимую политическую гибкость, которая до сей поры изумляет историков. Екатерина II — втайне от Европы — решилась на союз с революционной Францией, чтобы сообща с нею противостоять своим недругам...

Питт, которому суждено было умереть после Аустерлица, крепко запил после падения Измаила! Но все силы ада уже были приведены им в движение.

Газеты насыщали королевство безудержной пропагандой против России, чтобы война с нею обрела популярность в народе... Секретарь Жоли доложил Воронцову, что объявлен набор матросов на королевский флот, верфи Англии загружены спешной работой, а священник Смирнов только что вернулся из Портсмута:

— Он желает срочно переговорить с вами...

Яков Иванович встревожил посла сообщением:

- Для нападения на Россию уже отлично снаряжена эскадра в тридцать шесть линейных кораблей, кроме коих готовы еще двенадцать фрегатов и с полсотни бригов.
 - Каковы же настроения матросов, отец Яков?
- Скверные! Их похватали на улицах и в трактирах, никто из несчастных сих не желает служить питговским химерам.

Советник Лизакевич вошел к послу с докладом:

— Увы! Вопрос с объявлением войны решен, в марте последует совместный ультиматум Пруссии и Англии, чтобы Россия покинула Крым и все области Причерноморья, уже с избытком орошенные нашей кровью... Англия слишком богата и на свои дены и всегда сыщет дураков на континенте, готовых воевать с нашей милостью. Наконец, Швеция не останется в стороне, дабы реваншироваться за свои неудачи на Балтике...

Итак, России предстояла борьба с коалицией!

- Я поговорю с самим Питтом, - решил Воронцов...

Беседа меж ними состоялась. Посол сказал, что Лондону следовало бы поточнее разграничить интересы самой Велико-британии от интересов династии Ганноверской:

— Подумайте сами, что важнее для вашего процветания и могущества: дружба Ганновера с Берлином или союз Лондона с Петербургом! У вас торговлей с Россией ежегодно заняты триста пятьдесят кораблей и тысячи моряков, но подрубите этот доходный сук, на котором вы сидите, и... куда денутся моряки без работы? Конечно, они пополнят толпы нищих в трущобах лондонских доков, возрастет и преступность в городах.

Питт хлебнул коньяку и запил его портером.

- Оставьте! грубо заявил он. Я много думал над бедствиями Европы и пришел к выводу, что именно ваша варварская страна является главной пособницей революции во Франции...
 - Вот как? Мне смешно, заметил Воронцов.
- Якобинцы, упоенно продолжал Питт, не смогли бы одержать столько внушительных побед, если бы ваша императрица не расшатала старые порядки Европы, если бы своей безнравственной политикой она не разрушила бы прочное равновесие Европы.

Нравственности Екатерины II посол не касался.

— Но ваш союз с Пруссией, — сказал он, — закончится разгромом... именно Пруссии! И тогда никакая Голконда в Индии не сможет возместить убытков Англии от войны с нами.

Питт не пожелал выслушивать посла далее:

— На этом паршивом континенте Россия осталась в прискорбном одиночестве... Впрочем, — досказал он, — о мирных намерениях своего кабинета вам лучше поговорить с герцогом Лидсом.

В посольском доме на Гарлейской улице жарко пылали камины. Ликазевич спросил о результатах беседы с премьером. Семен Романович погрел у пламени зябнущие руки.

— Если Питт отстаивает свое мнение, то обязательно с пеной у рта. При этом необходимо учитывать, что эта пена — самая натуральная, рожденная из бочки с портером. Не знаю, как сложится мой диалог с его статс-секретарем Лидсом...

Герцог Лидс ведал в Англии иностранными делами, он всегда был покорным слугой «ястреба» Питта:

- Лондон достаточно извещен, что вы, как и все Воронцовы, давно в оппозиции к власти Екатерины, и мне даже странно, что вы столь ретиво отстаиваете ее заблуждения.
- Я не служу личностям, я служу только отечеству! отвечал Воронцов, обозленный выпадом герцога. Я отстаиваю перед вами не заблуждения коронованной женщины, а пытаюсь лишь доказать вам исторические права своего великого народа в его многовековых притязаниях на берега Черного моря.
- Где Черное, там и Средиземное, усмехнулся Лидс, а где Очаков, там и Дунай... география тут простая.
- Возможно! Только не думайте, что я стану действовать за кулисами политики, подавая оттуда «голос певца за сценой». Напротив, я решил взять политику вашего королевства за руку и вывести ее на площади Лондона и других городов Англии.
 - Что это значит? не понял его герцог Лидс.
 - Это значит, что отныне я перестаю взывать к благоразу-

мию ваших министров. Этот чудовищный спор между нами, быть войне или не быть, я передаю на усмотрение ващего же народа! И я, — заключил Воронцов, — уверен, что английский народ не станет воевать с Россией...

(«Лидс не знал, что отвечать мне», — писал Воронцов.)

— Это ваше последнее слово, посол?

— Да! — Воронцов удалился, даже без поклона.

Узнав об этом разговоре, Питт долго смеялся.

— Народ? Но разве народы решают вопросы войны и мира? При чем здесь хор, если все главные партии исполняют солисты?..

Воронцов же мыслил иначе: «Я слишком хорошего мнения об английском здравом смысле, чтобы не надеяться на то, что общенародный голос не заставит отказаться от этого несправедливого предприятия» — от войны с Россией!

Ричард Шеридан, драматург и пересмешник, состоял в оппозиции Питту. Встретив Воронцова, он сказал:

— Наконец-то и вы приобщились к нашей школе злословия. Как сторонник дружбы с Россией, я поддержу вас. Но иногда мне кажется, что слово «мир» дипломатам удобнее было бы заменять более доходчивым выражением — «временное перемирие»...

Лизакевич встревоженно известил посла:

— Прибыл курьер из Петербурга! Армия Пруссии уже придвинута к рубежам Курляндии, английский флот из Портсмута готов выбрать якоря... Необходим демарш!

Воронцов сказал, что поддержка Шеридана обеспечена:

— Но прежде я желал бы повидать самого Фокса...

Чарльз Джеймс Фокс, язвительный оратор и филолог, возглавлял оппозицию партии вигов. Назло Питту он приветствовал независимость Америки, восхвалял революцию во Франции. За неряшливый образ жизни его прозвали «английским Мирабо», а Екатерина II считала его «отпетым якобинцем». Фокс известил Воронцова, что свихнувшийся король уже передал в парламент текст «тронной речи», требуя в ней «ассигнования значительных сумм для усиления флота, чтобы придать более веса протестам Англии ради поддержания зыбкого равновесия в Европе...».

Фокс злобно высмеял это пресловутое равновесие:

— О равновесии силы в политике говорят так, будто на одной чаше весов гири, а на другой — куча перегнившей картошки. Сначала я желал бы пьяному Питту сохранить равновесие своего бренного тела на трибуне парламента... Не волнуйтесь, посол: завтра я последний раз проиграюсь на скачках,

после чего не возьму в рот даже капли хереса, чтобы сражаться с Питтом в самом непорочном состоянии!

Воронцов собрал чиновников посольства:

— На время забудем, что в Англии существует Питт и раболенный ему парламент. Отныне мы станем апеллировать не к министрам короля, а непосредственно к нации... Милый Жоли, — обратился он к секретарю, — заготовыте побольше чернил и заточите как следует самые лучшие гусиные перья!

Все чиновники посольства и даже священник Смирнов превратились в политических публицистов, чтобы переломить общественное мнение в королевстве. Семен Романович вспоминал: «Я давал (им) материалы, самые убедительные и достоверные, с целью доказать английской нации, что ее влекли к погибели и уничтожению... торговли, и то в интересах совершенно ей чуждых... В двадцати и более газетах, выходящих здесь ежедневно, появлялись наши статьи, открывавшие глаза народу, который все более восставал противу своего министерства... Во время этой борьбы ни я, ни мои чиновники не знали покоя и сна, и мы ночью писали, а днем бегали во все стороны разносили в редакции газет статьи, которые должны были появиться на другой день». К этой борьбе русских в защиту мира подключились и сами англичане — негоцианты, врачи, адвокаты, ученые. Фокс не поленился продиктовать текст брошюры «По случаю приближения войны и поведения наших министров», и Екатерина II через курьера затребовала брошюру в Петербург — для перевода ее на русский язык. Пять долгих месяцев длилась ожесточенная борьба, а комнаты русского посольства слышали в эти пни только надсадное скрипение старых гусиных перьев...

Наконец однажды Лизакевич обрадовал посла:

 Первый проблеск надежды! Матросы портсмутской эскадры дезертируют с кораблей: им-то плевать на наш Очаков, им-то меньше всего нужна перестрелка с фортами Кронштадта.

Воронцов напомнил: природа войны такова, что она неизменно обогащает и без того богатых, но зато безжалостно общаривает карманы бедняков, лишая их последнего пенса.

— Нам следует затронуть чувства жителей мануфактурных районов Англии, где рабочие и без того бедствуют...

Разрушая давние традиции дипломатической этики, Семен Романович умышленно отделял мнение правительства от гласа народного, гласа божьего. Русские — поверх напудренных париков милордов — протягивали руку дружбы народу Англии, и народ живо отозвался на их призыв к миру. Промышленные города Манчестер, Норвич, Глазго и Шеффилд сразу взбурлили митингами, «на которых, — сообщал Воронцов, — было ре-

шено представить в парламент петиции с протестом противу мер министерства против России... избиратели писали своим депугатам, требуя, чтобы они отделились от Питта и подавали голоса против него. Наконец в Лондоне на стенах всех домов простой народ начал писать мелом: «НАМ НЕ НАДО ВОЙНЫ С РОССИЕЙ»...»

Питт, слишком уверенный в себе, зачитал перед парламентом обращение короля — одобрить билль о расходах на войну с Россией, а Пруссия и Англия вот-вот должны предъявить Петербургу грозный ультиматум... Питт не скрывал своих планов:

— Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, но сожжем и верфи Архангельска, наши эскадры настигнут русские корабли даже в укрытиях гавани Севастополя! И пусть русские плавают потом на плотах, как первобытные дикари...

При голосовании его поддержало большинство. Но это «большинство», всегда покорное ему, уменьшилось на сотню голосов. Многие милорды, посвятившие жизнь воспитанию собак и лошадей, дегустации коньяков и хересов, никак не разумели, что такое Очаков и где его следует искать на картах мира.

— Откуда возникла нужда для Англии воевать из-за куска выжженной солнцем степи в тех краях, которые нам неизвестны? — спрашивали они. — Мы имели выгоды, и немалые, от торговли с Россией, но какую прибыль получим от войны с нею?...

Голосование повторили, но оппозиция обрела уже дерзостный тон, многие из друзей Питта вообще отказались вотировать его призыв к войне с Россией... Питт был даже ощеломлен:

— Надеюсь услышать от вас и более здравые речи...

На следующий день «Фокс, — по словам Воронцова, — говорил как ангел...» Лидер партии вигов начал свое громоизвержение, его юмор, как молния, разил тщедушного Питта:

— Ах, вот он, этот человек, проводящий здесь политику берлинского кабинета, жаждущего владеть Данцигом в Польше и Курляндией в России! Нам-то, всегда сытым, что за дело до непомерных аппетитов отощавших берлинских мудрецов? И разве, спрашиваю я вас, русские не правы в этой войне с Турцией, отстаивая свои рубежи от варварских нападений?.. Джентльмены! Что можно еще ожидать хорошего от человека, который высшую поэзию усмотрел не в Гомере и Овидии, а в никудышной грамматике парламентских речений? Наконец, стоит ли нам доверять министру, который, берясь за вино, предпочитает иметь дело не со стаканом, а с бутылками?.. Между тем народ требует от нас не иллюзорных побед, а конкретных гарантий мира!

Питт и на этот раз выиграл в голосовании. Да, выиграл. Но с таким ничтожным перевесом голосов, что сам понял:

это не победа, а поражение, вслед за которым начинается крах всей его бесподобной карьеры... Фокс в беседе с Воронцовым очень точно определил состояние Питта:

— Теперь он поглощен единою мыслью, как бы ему отсидеться в кустах, но без особого позора, ибо народ Англии никогда не пожелает разделить этот позор со своим премьером...

Питт решился на крайнюю меру — он распустил парламент. Всю вину за свое поражение он свалил на герцога Лидса, удалив его в отставку. Наконец решение было им принято:

— Ультиматума не будет! Я посылаю в Петербург старого добряка Фолкнера, чтобы тот согласился с мирными кондициями петербургского кабинета... Срочно шлите гонцов в Портсмут: пусть эскадра разоружается! А пруссакам — отвести войска обратно в казармы. Заодно уж передайте в Стокгольм, что Сити отказывает шведам в субсидиях на усиление флота... Всё!

Воронцов справился у Лизакевича, в какую сумму обощлась русской казне эта кампания борьбы за мир.

— Дешево! — засмеялся тот. — Да и когда еще старые гусиные перья стоили дорого! Мы выиграли битву за мир, истратив лишь двести пятьдесят фунтов стерлингов. Для сравнения я вам напомню, что дом нашего посольства потребовал от казны расходов в шесть тысяч фунтов. Вот и считайте сами...

Был чудесный день в Лондоне, ярко зеленела трава на лужайках, когда Воронцов снова навестил Фокса.

- У меня новость... приятная для вас! сообщил он ему. Наша императрица пожелала заказать ваш бюст, дабы поместить его в Камероновой галерее своей царскосельской резиденции, причем она уже выбрала для вашего бюста отличное место.
 - Какое же? фыркнул Фокс, явно недоумевая.
 - Вы будете красоваться между Демосфеном и Цицероном.
 - А... вы? спросил Фокс. Где же ваш бюст?

Воронцов отвечал с иронической усмешкой:

— Если ваш бюст императрица ставит, чтобы лишний раз взбесить Питта, то мой бюст способен взбесить только императрицу! Не забывайте, что я состою в оппозиции к ее царствованию, как и вы, милый Фокс, в оппозиции к правлению Питта...

Медленной походкой утомленного человека дипломат вернулся на Гарлейскую улицу, где и занял свой пост — в кабинете посольства. Именно в этом году, когда Россия выиграла войну без войны, в Англии скончался поэт Роберт Бернс...

И мне стало даже печально: как давно все это было!

Настанет день и час пробыет, Когда уму и чести

На всей земле придет черед Стоять на первом месте!

Следует помнить, дорогой читатель: борьба за мир не сегодня началась и не завтра она закончится. Только нам уже не слыхать мажорного скрипения старых гусиных перьев, зато из ночи в ночь грохочут в редакциях газет бодрые телетайпы...

Будем надеяться. Будем верить.

ШЕДЕВРЫ СЕЛА РУЗАЕВКИ

За месяц до первой мировой войны в Лейпциге открылась всемирная выставка книгопечатного искусства... Сначала я попал в мрачную пещеру, где люди каменного века при свете факелов вырубали на скале сцену охоты на бизона - вернее, рассказ об охоте на него, — и мне хотелось снять шляпу: передо мною первые писатели нашей планеты. Весело кружилась бумажная мельница средневековья, все детали в ней (и даже гвозди) собраны из дерева; примитивная машина безжалостно рвала и перемешивала кучу нищенского тряпья, а по ее лотку стекала плотная высокосортная бумага — гораздо лучше той, на которой я сейчас пишу вам... Читатель, надеюсь, уже догадался, что я гуляю по Лейпцигской выставке 1914 года с путеводителем в руках — на то они и существуют, чтобы выставки не умирали в памяти человечества. Ага, вот и русский отдел! Я нашел здесь именно то, что искал. В числе ценнейших уникумов упомянуты и издания Рузаевской типографии.

Теперь закроем каталог и оставим Лейпциг!

Чтобы ощутить привкус эпохи, сразу же пересядем в карету князя Ивана Михайловича Долгорукого, поэта и мемуариста, известного в свете под прозвищем Балкон, который при Екатерине II был пензенским губернатором... Колеса кареты ерзали в колеях проселочных дорог, жена губернатора изнывала от непомерной духоты.

— Ох, как пить хочется... мне бы бокал лимонатису!

Иван Михайлович, завидев мужиков, открывал окошко:

- Эй, люди, чьи это владения?
- Барина нашего Николая Еремеевича Струйского...

Всюду пасущиеся стада, церкви на косогорах, возделанные пашни, босоногие дети на околицах... И наступил полдень.

- Эй, скажите, чья это деревня? спрашивал Долгорукий.
 - Барина нашего господина Струйского...

Жара пошла на убыль, жена вздремнула на пышных диванах кареты, а губернатор все окликал встречных:

- Эй, чей там лес темнеет вдали?
- Барина нашего Николая Еремеевича Струйского...

Будто в сказке, весь день проезжали они через владения рузаевского «курфюршества», и лишь под вечер усталые кони всхрапнули у переезда через реку; на другом берегу, за укрытием крепостного вала, высились белые дворцы и службы, золотом горели купола храмов, какое-то знамя реяло на башне господского дома... Это была Рузаевка — имение Струйского, находившееся в Инсарском уезде Пензенской губернии. И сейчас мало кто знает, что здесь во второй половине XVIII столетия находилась лучшая в мире типография, — потому-то рузаевские издания и попали на международную выставку печатного дела в Лейпциге. Здесь, в Рузаевке, проживал бездарный бард России, умудрявшийся отбивать поклоны и Вольтеру, и Екатерине II, за что профессор Ключевский назвал его «отвратительным цветом русско-французской цивилизации XVIII века».

Почти все историки, словно сговорившись, утверждают, что сведений о Струйском не сохранилось. Но если несколько лет порыскать по старинным журналам и книгам, то найдешь массу разрозненных заметок, статеек, эпиграмм, портретов, оговорок, воспоминаний и поправок, — из этой архивной пыли нечаянно получается сплав, из которого уже можно формировать образ человека, оставившего немалый след в истории книжного дела на Руси...

Емельян Путачев уничтожил его сородичей, что пошло Струйскому на пользу, ибо он стал богачом, объединившим в своих руках все владения рода. Из Преображенского полка он вышел в отставку прапорщиком и навсегда осел в рузаевской вотчине. Струйский был изрядно начитан, сведущ в науках; проект рузаевского дворца он заказал Растрелли; среди его друзей были стихотворцы Сумароков и Державин; живописец Федор Рокотов писал портреты членов его семьи.

...Паром уже перевез нас на другой берег реки Сумы, и карета пензенского губернатора покатилась через широкие во-

рота рузаевской усадьбы... Oro! Нас встречает сам хозяин поместья. На нем поверх фрака накинут камзол из дорогой парчи, подпоясанный розовым кушаком, на башмаках — бантики, он в белых чулках; длинные волосы поэта разлетелись по плечам, осыпая перхоть, а на затылке трясется длинная коса на прусский манер.

Итак, читатель, внимание: не станем ничему удивляться!

Первое впечатление таково, что перед нами возник сумасшедший. Сами глаза выдают безумную натуру Струйского: неспокойный, ищущий и в то же время очень пристальный взор. Поражают асимметрия в разлете бровей и несуразность ломаных жестов...

Выкрикивая свои стихи:

Пронзайся треском днесь несносным ты, мой слух! Разись ты, грудь моя! Терзайся весь мой дух! —

Струйский кинулся на шею губернатору, которого чтил как собрата по перу. Затем последовал жеманный поклон его жене, и поэт вдруг... исчез! Но буквально через три минуты Струйский возник снова и, торжественно завывая, прочел губернаторше мадригал, посвященный ее «возвышенным» прелестям... Долгорукий — человек серьезный, к поэзии относился вдумчиво и сейчас был поражен:

— Николай Еремеич, когда же вы успели сочинить это? Но Струйский снова исчез, а из подвала его дома послышалось тяжкое вздыхание машин, стуки и лязги, после чего поэт преподнес княгине свой мадригал, уже отпечатанный на атла-

се, с виньетками и золотым обрамлением.

— Как? — воскликнул Иван Михайлович. — Вы, сударь, не только успели сочинить, но успели и отпечатать?

Все было так. Но мадригал был написан бездарными стихами. Содержание не стоило этой драгоценной оправы... Забегая впереди гостей, Струйский провел их в «авантажную» залу, потолок которой украшал живописный плафон с удивительным сюжетом: Екатерина II в образе Минервы сидела поверх облаков в окружении гениев, а под нею плавали в грозовых тучах мешки с деньгами, паслись бараны и коровы, проносились, как метеоры, фунтовые головы сахару...

Николай Еремеевич с маниакальным упорством не уставал терроризировать гостей Рузаевки своими дрянными стихами:

Смертью лишь тоску избуду, Я прелестною сражен А владеть я ей не буду? Я ударом поражен.
Чувства млеют, каменеют...
От любви ея зараз
Вскрылась бездна,
Мне любезна
Сеть раскинула из глаз.
Ты вспомянешь,
Как уж свянешь
От мороза в лютый час.
Ты мной вздохнешь,
Как заблекнешь,
Не познав любови глас...

Угрюмый лакей провел гостей умыться после дороги.

— Дурак какой-то, — шепнул Долгорукий жене через занавеску. — Сочинения его рассмещат и дохлую лягушку. До чего же несносен! Щеголять же имеет право более тиснением стихов, нежели их складом. Но зато смотри как богат... нам и не снилось такое!

Ближе к ночи, когда по улицам Рузаевки стали ходить сторожа с колотушками, Струйский увлек Долгорукого на верхний этаж.

— Там у меня... Парнас! — сообщил он. — Непосвященные туда не допускаются. Но вы же, друг мой, сами служитель муз...

На рузаевском «парнасе» Долгорукий не знал куда сесть, на что облокотиться, ибо повсюду густейшим слоем лежала пыль такая, что была похожа на толстое шерстяное одеяло.

— Сия пыль — мой лучший сторож, — пояснил Струйский. — По отпечаткам чужих пальцев я могу сразу определить —

заходил ли кто на Парнас, кроме меня?

Девять улыбчивых муз окружали мраморную фигуру прекрасного Аполлона, который с трогательной гримасой взирал на чудовищный кавардак рузаевского «парнаса»: бриллиантовый перстень валялся подле полоски оплывшего сургуча, а возле хрустального бокала лежал старый башмак с оторванной напрочь подошвой.

Башмак-то, — спросил Долгорукий, — к чему держите?
 Из него тоже черпаю вдохновение, — отвечал хозяин...

Струйский долго рассуждал о законах оптики, но губернатор так и не понял, какая связь между стеклянной линзой и... читателем. Декламируя стихи, Струйский больно щипал Долгорукого, и когда Иван Михайлович спустился в спальню к жене, то ужаснулся:

Ты посмотри, любезная... я весь в синяках!
 Неспокойно здесь как-то, — зевнула жена.

Тут губернатор вспомнил, что весь «парнас» рузаевской усадьбы обвешан оружием — уже заряженным, уже отточенным. На вопрос Долгорукого — к чему такой богатый арсенал, Струйский отвечал, что крепостные мужики давно грозятся его порешить...

— A я строг! — сказал бард. — Спуску им не даю!

Что правда, то правда: этот исступленный графоман-строчкогон был отвратительным крепостником. Вряд ли кто догадывался, что, пока хозяин Рузаевки общался с музами наверху дома, глубоко в подвалах работали пытошные камеры, оборудованные столь ухищренно, что орудиям пытки могли позавидовать даже испанские инквизиторы. Вырвав у человека признание, Струйский устраивал потом комедию «всенародного» судилища по всем правилам западной юриспруденции (с прокурорами и адвокатами)... Иван Михайлович Долгорукий записал в своем дневнике: «От этого волосы вздымаются! Какой удивительный переход от страсти самой зверской, от хищных таких произволений к самым кротким и любезным трудам, к сочинению стихов, к нежной и вселобзающей литературе... Все это непостижимо!» — восклицал губернатор, сам из цеха поэтов.

Кто сейчас читает стихи Николая Струйского?

Никто, и не надобно иметь охоты к их чтению. Для нас

важно другое — более насущное для истории.

Россия XVIII века имела частные типографии. Н. И. Новиков, известный просветитель, открыл свою типографию в селе Пехлеце Ряжского уезда; капитан П. П. Сумароков печатал себя и своих друзей в селе Корцеве Костромской губернии; убежденный вольнодумец, предок композитора Рахманинова, бригадир И. Г. Рахманинов ради пропаганды идей Вольтера завел типографию в селе Казинке Тамбовской губернии; великий А. Н. Радищев держал свою тайную типографию в сельце Немцове Калужской губернии...

Но более всех прославилась рузаевская типография! Не тем, что там напечатано, а тем, как напечатано...

Струйский был автором громадного букета элегий, од, эротоид, эпиталам и эпитафий — все это с вершины пыльного «парнаса» нескончаемым каскадом низвергалось в подвальные этажи дворца, где денно и нощно стучали типографские машины. Мы знаем, что многие баре на Руси вконец разоряли себя на домашние театры, больше похожие на гаремы, на изобретение каких-то особых бульонов из порошков или шампанского из капустных кочерыжек, на покупки «красноподпалых» борзых или кровных рысаков, обгонявших ветер. Струйский все свои доходы от вотчины вкладывал в типографию!

Историкам непонятно только одно: откуда могла возник-

нуть в этом самодуре неутасимая страсть к печатному делу и где Струйский приобрел опыт и знания в столь сложном производстве? Очевидно, это была первая в России крепостная типография, выпускавшая истинные шедевры машинного тиснения. Лучшие русские граверы резали для Рузаевки на медных досках виньетки, заставки, узоры и рамки, чтобы украсить ими бездарные стихи богатого заказчика. Крепостные мужики, обученные барином-графоманом, печатали книги на превосходной александрийской бумаге, иногда даже на атласе, на шелках и на тафте, используя высококачественные краски, набирая тексты уникальными шрифтами. Переплетчики обертывали книги в глазет, в сафьян, в пергамент...

Корыстных целей в издании книг у Струйского никогда не было — он их никому не продавал, а лишь раздаривал: печатал только себя или тех поэтов, которые ему нравились. Рузаевские издания по своему изяществу и добротности работы смело соперничали с лучшими изданиями европейских типографий — голландскими. Екатерина II одаривала рузаевскими книгами иностранных послов, и когда они выражали неподдельный восторг, русская императрица проводила свою «политику»:

— Вы ошибаетесь, если думаете, что это тиснуто в столице. Россия под моим скипетром столь облагодетельствована, что подобные издания тискают в самой глухой провинции...

Однако похвальная «любовь к изящному» поэта-помещика самым тяжким образом отзывалась на тех, кто создавал красивую оправу для его бездарной галиматьи. История не сохранила имен наборщиков, верстальщиков, печатников, красковаров — история сохранила лишь имя феодала, владевшего ими, как рабами. Струйский, подобно всем графоманам, строчил стихи в жару и стужу, писал днем и ночью, держа типографию в адском напряжении, ибо все написанное моментально должно было быть напечатано. А потому в страдную пору крестьяне были вынуждены бросать в полях неубранными плоды трудов своих и становиться к типографскому станку.

Эта страшная, ненормальная жизнь закончилась лишь со смертью Екатерины II, дарившей рузаевскому поэту алмазные перстни. Струйский, узнав о кончине своей покровительницы, лишился дара речи, впал в горячку и в возрасте сорока семи лет отошел в загробный мир. Гаврила Державин, всегда критически относившийся к Струйскому, проводил его на тот свет колючей эпиграммой, в которой очень ловко обыграл стиль самого Струйского:

Средь мишстого сего и влажного толь грота Пожалуй мне скажи — могила это чья?

Поэт тут погребен: по имени — *струя*. А по стихам — *болото*.

После кончины вдовы Струйского прекрасный тенистый парк извели под корень, а дворец Рузаевки мужики разнесли по кирпичу. Разгром Рузаевки полностью завершился, когда она стала узловой станцией Казанской железной дороги. Типография была разорена, а ее великолепные шрифты забрала губернская типография Симбирска; здесь они продолжали служить людям, но уже с гораздо большей пользой.

Струйский печатал себя лишь в нескольких экземплярах, и поэтому издания его стихов уже в XVIII веке были библиографической редкостью. Сказать, сколько они стоят сейчас, дело немыслимое, ибо их попросту нельзя купить ни за какие деньги, а считанные экземпляры рузаевских изданий находятся лишь в собраниях центральных книгохранилищ СССР.

Художественные ценности из дома Струйских еще до революции были вывезены, проданы и перепроданы, а ныне часть их собрана в главных музеях нашей страны. Последний из рода Струйских умер в 1911 году девяноста двух лет от роду в страшной бедности, похожей уже на нищенство, и подле него не было ни одного близкого человека, который бы подал ему стакан воды...

Таков естественный конец!

...Ничтожный и жестокий графоман Струйский был прав в одном: «Книга создана, чтобы сначала поразить взор, а уж затем очаровать разум». Разума он не очаровал, но поразить взор оказался способен.

из пантеона славы

Однажды мне попалась фотография балтийского эсминца «Капитан Белли», которым в 1917 году командовал В. А. Белли, впоследствии контр-адмирал советского флота, профессор, историк, и сразу я вспомнил его деда Г. Г. Белли. В 1799 году он с русскими матросами вступил в разоренный Неаполь, именно тогда Павел I сказал: «Белли хотел меня удивить, так я удивлю его тоже!» — и дал офицеру орден, какой имели не все адмиралы... Генератор памяти заработал на всех оборотах: я вспомнил повешенных на кораблях британской эскадры, увидел жуткую темницу, в которой ожидал казни прославленный маэстро... Фотографию эсминца, пенящего волну, отложил в сторону. Она уже сыграла свою роль и больше не пригодится. Начнем сразу с музыки.

Веселой, яркой, брызжущей радостью!

После того как Джованни Паизиелло покинул Петербург, а другого композитора — Джузеппе Сарти — забрал для своего оркестра светлейший князь Потемкин-Таврический, на русскую службу был приглашен Доменико Чимароза... Паизиелло отговаривал коллегу от этой далекой поездки.

— Ужасная страна! — вздыхал он. — На улицах русской столицы днем и ночью пылают громадные костры из бревен. Если не успесшь добежать от одного костра до другого, сразу падаешь замертво от нестерпимой стужи... Жена нашего посла, дю-

кесса Серро-Каприола, вечно плачет от холода, а ее слезы моментально превращаются в ледяные кристаллы.

Князь Франческо Караччиоли (адмирал флота в Королевстве обеих Сицилий) советовал не доверять Паизиелло:

— Не он ли вывез из России такие пышные меха, каких не имеет даже наша королева? Паизиелло при мне хвастал сэру Уильяму Гамильтону, что у него целый портфель новых партитур, и все это он сочинил именно в морозные ночи Петербурга.

Королевой в Неаполе была развратная и безобразная Каролина (родная сестра казненной во Франции Марии-Антуанетты); она проводила Чимарозу в дальний путь чуть ли не плевком:

— Моим псам надо бы любить только мои ошейники!

Зимою 1787 года Чимароза достиг Петербурга, где и поселился на Исаакиевской улице; его слуга Маркезини быстро оценил достоинства русских печек. Дров не жалели! Екатерина Великая пожелала видеть нового капельмейстера своей придворной капеллы и встретила композитора любезно. Смолоду склонная ко всяческим дурачествам, она приникла к уху Чимарозы, шепнув ему:

- Надеюсь, вы меня не предадите?
- Как можно, ваше величество!

— Так я вам скажу честно, что для меня любая музыка — только противный шум, мешающий мне беседовать с умными мужчинами. Но любой шум я переношу терпеливо, дабы доставить удовольствие тем, которые находят в музыке что-то еще — помимо шума... Впрочем, остаюсь к вам благосклонна, а вы, маэстро, можете делать что вам хочется, мешать вам не стану!

В декабре умерла от нервного истощения дюкесса Серро-Каприола, и великолепный «Реквием», исполненный над ее могилою, был едва ли не первой музыкой Чимарозы, с которой познакомились петербуржцы. Да, на кладбище было очень колодно... А вдовец, посол Неаполя, кажется, не слишком-то унывал:

— Едем ко мне — пить шампанское. Я получил письмо от Джузеппе Сарти, сейчас Потемкин требует от него, чтобы удары в литавры он заменял выстрелами из осадных мортир. Русские еще не знают кастаньет, зато они играют на деревянных ложках... В этой стране многое выглядит забавно!

Придворная капелла вполне устраивала Чимарозу — мощностью хора, артистизмом певцов. Композитор быстро освоился в русской жизни, хотя резкая перемена климата все же сказалась на его здоровье. Он плодотворно трудился, заполняя русскую сцену операми, кантатами и хоралами. Либретто для его опер сочинял итальянский поэт Фернандо Моретти, прижившийся в России.

Чимароза не мог пожаловаться, что обижен вниманием публики, но Екатерина более жаловала барона Ванжуру, который. предвосхищая музыкальных эксцентриков, умел играть головой, пятками и даже носом. Музыковед Т. Крунтяева пишет, что Чимароза «не сделал блестящей карьеры... его музыка, лишенная парадности и блеска, не удовлетворяла придворные вкусы» русских вельмож. На беду композитора Екатерина сама сочинила либретто оперы «Начальное управление Олега». где поучительная дидактика переплеталась с политикой ее времени, «иначе, — писал историк Н. Финдейзен, — трудно объяснить причины особого внимания, которое выказывала Екатерина при сочинении и постановке именно этой оперы». Чимароза болел простудою, а его инструментовка никак не могла подладиться к «политическим» инверсиям Екатерины... Авторское самолюбие императрины страдало, она передала свою оперу в руки ловкого Джузеппе Сарти.

— Я не сержусь, — сказала она Чимарозе. — И пришлю к вам своего лейб-медика Роджерсона, пусть он вас подлечит...

Роджерсон сказал, что в его силах прописать любое лекарство, но он не в силах изменить организм человека, рожденного под солнцем Италии; врач советовал вернуться на родину... Екатерина Великая простилась с композитором словами:

- Стоит ли покидать Россию, где полно дров и печек? Не-

ужели близ вулкана Везувия вам будет житъ спокойнее?

Летом 1791 года «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили читателей об отъезде Доменико Чимарозы с женою, двумя дочерьми и слугою. По дороге в Неаполь нельзя было миновать Вену; среди композиторов давно сложилась традиция — проездом через Вену следовало порадовать ее жителей своей музыкой. Император Леопольд II был родным братом неаполитанской королевы, поэтому он хорошо знал творческие возможности Чимарозы:

-- Без новой оперы я не выпущу вас за кордоны своей им-

перии.

Сезон 1792 года Чимароза открыл комической оперой «Тайный брак»; когда отзвучали ее последние аккорды, публика не покинула театра, требуя повторения. Неслыханно! Опера была прослушана вторично, и Чимароза вернулся домой лишь на рассвете:

- Кажется, только сейчас пришла ко мне слава...

Да, это была слава. Он возвратился в Неаполь окрыленным, столицы Европы в жестоком соперничестве пытались заполучить его самого или его музыку. Паизиелло корчился от зависти, он, кажется, что-то насплетничал королеве, потому что ее наглая наперсница Эмма Гамильтон сказала однажды:

— Вот видите, маэстро! Стоило вам избавить свою шею от колючего ошейника Екатерины, и вы сразу стали великим...

Молодая Эмма Гамильтон была женою престарелого английского посла. «У нее, — писала современница, — колоссальная фигура, но, за исключением ног, которые просто ужасны, она хорошо сложена. Она ширококостна и очень полная... внешний вид ее грубый!»

Сейчас она ждала эскадру Нельсона — героя ее сердца.

Королевство обеих Сицилий — под таким несуразным названием существовало государство, вобравшее в свои пределы Южную Италию и остров Сицилию, а Неаполь считался столицей. Король Фердинанд IV жил под каблуком Каролины; с ножом в руках, как мясник на базаре, он свежевал туши животных, доверив управление королевством жене, избравшей Эмму Гамильтон в свои интимные подруги. В августе 1798 года Неаполь был извещен о победе Нельсона при Абукире, но армия французов еще находилась в Риме...

Все итальянцы жили тогда приятными надеждами!

В театре «Сан-Карло» звучала музыка Чимарозы; композитор заметил беспокойство в королевской ложе, где, прикрыв рты веерами, взволнованно перешептывались Каролина и Эмма.

— Я, — сказал Чимароза, — согласен выбросить из оперы лучшие свои арии, только бы знать, что встревожило этих фурий!

Он вернулся домой — к своим старинным клавичембало. Нежно трогал матовые клавиши инструмента, почти обожествленного им, а музыка не мешала ему беседовать с князем Караччиоли. Аристократ по рождению, этот человек презирал двор Неаполя, ему казалось, что революция во Франции поможет итальянцам обрести свободу. Наполеон (тогда еще генерал Бонапарт) пропадал в Египте, а положение в Европе оставалось напряженным... Российский престол занимал Павел I, которого Чимароза не раз встречал на концертах в петербургском Эрмитаже и в Павловске.

— Мне кажется, — рассуждал Чимароза, — этот курносый властелин Севера способен на любые повороты в политике своего кабинета. Он больше других монархов хлопочет о мире для России, но дела сейчас таковы, что Россия вряд ли останется последней скрипкой в этом громыхающем европейском концерте.

— Россия от нас очень далека, — ответил старый Караччиоли, — а эскадра адмирала Нельсона болгается возле Мальты...

Но через Дарданеллы в Средиземное море уже входила черноморская эскадра под флагом адмирала Ушакова; говорили,

что Суворов двинет войска в Северную Италию... Был конец сентября, когда в бухту Неаполя втащили на веслах флагманский корабль Горацио Нельсона, сильно потрепанный, с переломанными мачтами. Королевская чета устроила ему триумфальную встречу, а Эмма Гамильтон, не стыдясь мужа, с громким плачем упала в объятия одноглазого и однорукого адмирала. Корабельные оркестры не переставая наигрывали мелодию «Правь, Британия, морями!».

— Что может быть слаще этих минут! — говорил Нельсон.

В роскошном палацио Сесса его чествовали праздничным обедом, а Эмма отпаивала тщедущного победителя жирным ослиным молоком. Скоро составилось поэтическое трио: Каролина, Нельсон и леди Гамильтон, на совести которых лежала трагическая судьба Неаполя... Леопольд II прислал на помощь сестре генерала Макка. Фердинанд устроил парад своих голодранцев, и Нельсон парад принял.

— По-моему, — заявил он, — это лучшая армия мира.

Макк был солидарен с мнением адмирала:

— Не стоит и ждать, пока французы расшевелятся. Мы сами пойдем на Рим, где и всыплем этим поганым республиканцам...

Английские историки цитируют слова Нельсона, обращенные к королю Фердинанду: «Вам остается либо идти вперед, доверившись божьему благословению правого дела, либо быть вышвырнутым из своих владений». Подле адмирала, произносящего эти слова, могучая Эмма Гамильтон казалась богатырем... Ферлинани заплакал:

— Вы не знаете моих неаполитанцев. Все они — первейшие в мире трусы, а я средь них — главный и коронованный трус!

Оркестры заиграли, и «лучшая армия мира» пошла отвоевывать Рим у французов. Сэр Уильям сказал, что скоро они увидят короля в авангарде дезертиров; дальновидный политик, он сразу просил у Нельсона корабль, дабы заранее погрузить на него свои антики — для отправки их в Англию.

- Поход на Рим кончится революцией в Неаполе... Эти босяки не станут воевать ради предначертаний нашего Питта!

В декабре Неаполь увидел своего короля.

- Мои вояки разбежались кто куда... Французы скоро будут в Неаполе! Спасите нас, — умолял он Нельсона. Королевские сокровища спешно погрузили на корабли бри-

танской эскалоы.

Фердинанд умолил адмирала Караччиоли следовать в конвое эскадры. Была страшная буря. Флагманский корабль Нельсона чуть не погиб. Зато неаполитанские корабли легко преодолевали волну, у них не было ни аварий, ни поломок рангоуга. Фердинанд, страдая, сделал Нельсону выговор:

— Мой адмирал лучше вас, англичан, знает свое дело... Мне бы следовало плыть не с вами, а с Караччиоли. Вы показали себя мастером сражений на море, но перед стихией вы жалкий ученик...

Нельсон это запомнил! Эскадра наконец достигла Палермо; придворные сразу раскинули карточные столы, началась игра, Эмма и Нельсон швыряли золото горстями. Капитан Трубридж, флаг-офицер Нельсона, заметил своему адмиралу:

 Милорд, неужели вы испытываете удовольствие от азарта в этом гнезде королевского позора? Англия, знайте это, уже

извещена, когда и с кем вы проводите время.

- Трубридж, еще одно слово, и вас ждет отставка...

К удивлению всех, Караччиоли покидал Палермо — он пожелал вернуться в Неаполь. Нельсон осудил его за это:

- Король считает вас своим другом, а вы бросаете его величество ради неаполитанских голодранцев. Мне не стоит труда доломать и дожечь остатки вашего полудохлого флота.
- Прощайте! отвечал Караччиоли. Мой неаполитанский патриотизм дороже любой королевской благосклонности...

Неаполь он застал встревоженным, все ждали прихода фран-

цузов, а Чимароза ожидал их даже с нетерпением:

- Я родился в грязном подвале прачечной, где стирала моя мать. Моим отцом был каменщик, упавший с высоты храма на мостовую... Мне ли, сыну прачки и каменщика, отворачиваться от идей свободы, равенства и братства!
- Браво, маэстро, браво! отвечал князь Караччиоли. После бегства Бурбонов в Палермо я, как и вы, уже не считаю себя связанным с ними былою присятой...

Театр «Сан-Карло», поражавший помпезным великолепием, уже огласился революционным гимном Доменико Чимарозы:

Народ, не знай порабощенья, Освобождайся от цепей, В огонь бросай изображенья Тиранов гнусных — королей...

Перед дворцом в пламени костров корчились королевские портреты, сгорали их знамена, здесь Чимароза встретил Паизиелло:

- Как я рад, что ты остался с нами, Джованни!

— С вами? Я остался со своей музыкой и своей женой...

В январе 1799 года на обломках Королевства обеих Сицилий французы образовали Партенопейскую республику. Народ ожидал райской жизни, но получил от пришельцев грабежи, мародерство, насилия... Даже нищие лаццарони были растерянны:

- Французы посадили «деревья свободы», но деревья не

успели прижиться к земле, как у нас отняли даже остатки своболы...

Чимароза не терял веры в торжество новых идеалов:

- Эскадра адмирала Ушакова образумит этих грубых невеж, русские люди всегда справедливы.

Караччиоли сомневался в помощи русских:

- Ушаков сражается на Корфу, а Нельсон торчит в Палермо, и он всегда может вернуться в Неаполь раньше Ушакова. Вы забываете, маэстро, что эскадра Нельсона сейчас союзна эскалре Ушакова, они обязаны действовать заодно - против нас!

— Но что меж ними общего? — не уступал Чимароза. — Нельсон из Палермо угрожает Неаполю, полдерживая королей, а Ушаков создает для греков демократическую республику...

Весною в Неаполь ворвались банды кардинала Руффо -личная гвардия Каролины, набранная из подонков и религиозных фанатиков. С моря их прикрывали английские корабли под флагом капитана Фута... Началась страшная резня! Французский гарнизон затворился в крепости. Неаполитанский флот. неся штандарт князя Караччиоли, помогал осажденным корабельными пушками. В эти дни были умершвлены лучшие люди Италин — поэты и врачи, мыслители и художники. Бандиты ворвались и в дом Доменико Чимарозы, который в ужасе закрыл глаза, чтобы не видеть, как его волшебные клавичембало вылетали из окон на мостовую. Ему было сказано:

- Теперь запоещь другие гимны... Пошли, пес!

Алмирал Ушаков высадил близ Неаполя матросский десант во главе с капитан-лейтенантом Г. Г. Белли: этот десант на юге страны смыкался с войсками Суворова в Италии Северной. С боями двигаясь от Портичи, Белли вступил в Неаполь — уже растерзанный, полумертвый. Павел I извещал Суворова: «Сделанное Белли в Италии доказывает, что русские люди на войне всех прочих бить будут...» Но кого бить тут?

Средь улиц несчастного Неаполя лежали неубранные груды

тел, и над ними роились мириады гудящих мух.

— Что делать-то нам? — оторопело спращивали матросы.

— Людей спасать, — отвечал им Белли... «Русские, — сообщал очевидец, — одни охраняли спокойствие в Неаполе и общим голосом народа провозглащены спасителями города». Лома в Неаполе, занятые ими, стали единственным прибежищем для республиканцев — французов и жителей Неаполя; Белли никого не выдавал на расправу, а его матросы без лишних разговоров били бандитов в морду:

— Иди, иди... бог подаст! А я добавлю...

Появление русских ускорило капитуляцию. Французы сложили оружие перед капитаном Футом, который и обещал им:

Клянусь честью джентльмена и честью короля Англии,
 что все вы и ваши семьи будете отпущены в Тулон...

Но кардинал Руффо арестовал Караччиоли:

— Князь! Вас высоко чтил мой король, потому я дарую вам жизнь, которую вы и закончите в тюрьме на соломе...

Только теперь синеву Неаполитанской бухты возмутили якоря, брошенные кораблями Нельсона; с берега видели, как ветер разлувает широченное платье леди Гамильтон, стоявшей на палубе подле адмирала. Нельсон пребывал в ярости — русские опередили его в Неаполе; теперь ни он сам, ни его Трубридж, ни даже кардинал Руффо ничего не могли с ними поделать.

Белли подчинялся только Ушакову:

— Я имею приказ своего адмирала — избавить несчастных от истязаний, после чего мой десант пойдет на Рим...

Руффо поднес в презент Трубриджу отрубленную голову французского офицера. Эмма Гамильтон была возмущена:

— Как вы осмелились принять ее, если этот великолепный сувенир по праву принадлежит Нельсону... только Нельсону!

Нельсон сказал, что милосердие можно оставить за кормою.

- Всем пленным сразу же отрубайте головы!
- Но я поручился честью джентльмена, возразил Фут.
- Этот товар мало чего стоит на войне.
- Я поручился и честью короля Англии! негодовал Фут.
- В Неаполе один король я, отвечал Нельсон. Он велел вытащить из темницы адмирала Караччиоли. Вы собирались там отсидеться, но вам предстоит повисеть. Смотрите, какие высокие мачты, а их длинные реи это готовые виселицы...

Даже злодей и мерзавец Руффо вступился за адмирала:

- Оставьте старого человека в покое, он помрет и без вас. Или судите его, но приговор пусть конфирмует сам король.
- Мне некогда ждать вашего короля, огрызнулся Нельсон...

Франческо Караччиоли было семьдесят лет. Он не хотел умирать, умоляя о пощаде не адмирала, а Эмму Гамильтон:

- Ваше нежное женское сердце доступнее жалости...
- У меня нет сердца! отвечала ему красавица. Эмма Гамильтон закрылась в каюте, из которой вышла на палубу только затем, чтобы насладиться сценой повешения. Когда адмирал-республиканец, с безумным воем взвился на веревке под самые небеса, все услышали рукоплескания женщины:
 - Прекрасно, Горацио! Благодарю за такое зрелище...

Англичане боготворят память о Нельсоне, но даже они не оправдывают кровожадность своего идола. Они поставили ему в Лондоне памятник, о котором лучше всего сказано у Герцена:

«Дурной памятник — дурному человеку!»

Чтобы королю не возиться с устройством эшафота, Нельсон любезно предоставил к услугам Бурбонов мачты и реи кораблей своей эскадры. Сорок тысяч человек были приговорены к смерти и столько же было посажено в тюрьмы...

Изувеченный страшными пытками Доменико Чимароза ожидал в темнице смертного часа, смерть была избавлением от ярости палачей. Треск его клавичембало, выброшенных на улицу, иногда казался ему хрустом собственных костей...

К нему вошел молодой офицер в белом мундире:

— Я — капитан русского флота Белли. Вы, маэстро, наверное, и не знаете, что после вашего отъезда весь Петербург был переполнен вашими чудесными ариями.

— Мои арии... Жив ли Паизиелло? — спросил Чимароза.

Да! Он сумел вернуть себе милость королевы, горячо заверив ее, что именно вы насильно удержали его в Неаполе.

Иезуит... адмирал был прав! А что ждет меня?
 Белли с лязгом обнажил клинок боевой шпаги:

- А вас ждет бессмертие... следуйте за мной.

Двери узилища растворились, и Белли вывел на свободу не Чимарозу... нет, его тень! Еще недавно веселый толстяк, блиставший остроумием, превратился после пыток в калеку, почти урода, и даже блеск солнца не мог оживить его страдальческих глаз.

Вдали тихо курился Везувий...

Белли довез композитора до его дома.

Он вложил шпагу в ножны со словами:

 Благодарите не меня, а русский кабинет, выступивший с протестом в вашу защиту. Но лучше вам уехать отсюда, маэс-

тро! Неаполь не для вас...

Чимароза удалился в изгнание. Многие тогда полагали, что он вернется в Петербург. Но сил хватило лишь на то, чтобы добраться до Венеции, где он и поселился на канале Гранде в гостинице «Три звезды». Как писал позже Стендаль, «упоминать о Чимарозе в Неаполе не годилось». И не только в Неаполе — полиция всюду преследовала это знаменитое имя, из книг и партитур вырывались его портреты... Смерть композитора была внезапной, и никто не мог рассеять слухов о том, что Доменико Чимароза был отравлен по приказу Каролины.

Скульптор Антонио Канова исполнил его бюст — в мра-

море.

Этот бюст был установлен в Пантеоне и через несколько лет перенесен в галерею Капитолия, где и находится сейчас рядом с другими скульптурными портретами бессмертных сынов Италии.

...А эсминец «Капитан Белли» был переименован в «Карла Либкнехта», и я хорошо помню его стремительные, благородные очертания. Дело в том, что во время войны мой «Грозный» проводил в океане боевые операции совместно с «Карлом Либкнехтом». Но я — ю н г а! — не мог тогда знать, что рядом с нами вспарывает форштевнем кругую волну бывший «Капитан Белли».

Впрочем, я многого тогда не знал. Не знал, кто такой Белли и кто такой Чимароза... Понимание приходит с годами. Иногда даже слишком поздно!

досуги любителя муз

Вдали остался древний Торжок — с его душистою тишиной провинции, с угасшей славой пожарских котлет, воспетых Пушкиным. Бежали поляны в синих васильках, сухо шелестели серебряные овсы. Поля, поля, поля... Над разливами хлебов показались кущи старого парка — это село Никольское на реке Овсуге; за кулисами юной поросли укрылись остатки былой усальбы. «Минувшее предстало предо мною!» Отсверкали молнии давних времен, войны чередовались с недородами, эпидемии с восстаниями, но здесь до наших дней выстояли могучие вязы и липы, веками цветет неутомимый жасмин, вспыхивают яркие созвездия шиповников. Вот и ротонда мавзолея-усыпальницы, где опочил сам создатель этой красоты, когда-то писавший: «Я думал выстроить храм солнцу... чтобы в лучшию часть лета солнце садилось или сходилось в дом свой покоиться. Такой храм должен быть сквозным... с обеих сторон его лес. Но где время? И где случай?»

Время вспомнить о Николае Александровиче Львове.

Выпал случай начать рассказ с Гаврилы Державина, ибо имя Львова неотделимо от имени великого российского барда.

Смолоду парил высоко, но земных радостей не избегал. Катерина Урусова, некрасивая тихонькая поэтесса, была влюблена в этого крепкого, добротного человека, котя Гаврила Романыч от брачных уз с вдохновенной княжною уклонился.

65

3 Заказ 23

— Я мараю стихи, да еще она марать станет, эдак-то и щей некому в доме будет сварить, — говаривал он себе в оправдание.

А на празднике водосвятия, глядя на суету народную из окошек дома Козодавлевых, приметил он в толпе девицу Катерину Яковлевну, и она ему полюбилась. Нанес визит ее матушке; босая девка светила поэту сальною свечкой, воткнутой в медный подсвечник; пили чай в горницах; избранница поэтического сердца вязала чулок и отвечала лишь тогда, когда ее спросят; улучив момент, Державин с прямотою солдата заявил красавице:

- Уж ты не мучь меня, скажи каков я тебе кажусь-то?
- Да не противны, сударь...

В апреле 1778 года сыграли свадьбу, и поэт надолго погрузился в семейное блаженство, никогда не забывая воспеть в стихах свою волшебную «Плениру».

В одно же время с женою обрел Державин и друга себе — Николеньку Львова, а этот замечательный человек вошел не только в быт, но и в поэзию Державина... Историки признают, что «в поэзии Львов выше всего ставил простоту и естественность, он знал цену народного языка и сказочных преданий. Львов надолго остался главным эстетическим советником Державина».

- Опять ты, Романыч, под облака залетел, выговаривал он поэту. На что тебе писать «потомком Атиллы, жителем реки Ра»? Не проще ли сказать эдак: сам я из Казани, урожден на раздолье волжском. Отвяжись от символов классических, от коих ни тепло, ни знобко, стань босиком на землю русскую! Давеча за ужином нахваливал ты пирог с грибами да квасы с погребца...
- Ой, Николка, друг мой, што говоришь-то? Неужто мне, пииту, пироги с квасами воспевать?
- А разве не слышал, как девки в хороводе поют: «Я с комариком плясала»? Простонародье и комара смело в поэзию погружает. Пироги да квасы суть приметы жизни народной. Вот и пиши, что любо всем нам, и станешь велик, яко Гомер... Воспарить к славе можно ведь и от румяной корочки пирога!

Из подражателя классикам Державин вырос в дерзкого разрушителя классики, а советы Львова даром не пропали:

> Я озреваю стол — и вижу разных блюд Цветник, поставленный узором; Багряна ветчина, зелены щи с желтком, Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером Там щука пестрая — прекрасны!

Так не мог бы писать ни Тредиаковский, ни Ломоносов! Так мог писать только Державин — певец радостей бытия.

Как никто другой он умел брать слова, подобно живописну, берущему на кисть краски, и писать словами стихи, похожие на живописные полотна... Смотрите, какие он создавал картины:

На темно-голубом эфире Златая плавала луна: В серебряной своей порфире, Блистаючи с высот, она Сквозь окна дом мой освещала И палевым своим лучом Златые стекла рисовала На лаковом полу моем.

Именно так: не читайте, а — *смотрите*, ибо это уже не столько поэзия слов, сколько совершенство живописных красок. Впрочем, Державин не всегда подчинялся редактору — Львову:

— А кто сказал, что речь должна без ошибок быть? Скушно мне от слов, кои вылизаны, как мутовка старая. Нет, друг мой! Это чиновнику ошибаться нельзя, а творцу даже полезно...

Да и сам Львов не чтил литературных канонов:

Анапесты, спондеи, дактили
Не аршином нашим меряны,
Не по свойству слова русского
Были за морем заказаны.
И глагол славян обильнейший,
Звучный, сильный, плавный, значущий...

— Этот глагол, — утверждал Львов, — чтобы в заморскую рамку втиснуться, ныне принужден корчиться... а Русь размашиста!

Поэты редко следуют по избитым в жизни путям. Однако случилась самая банальная история...

Петербург был прекрасен! Прямые першпективы еще терялись тогда на козьих выгонах столичных окраин; трепеща веслами, как стрекозы прозрачными крыльями, плыли по Неве красочные, убранные серебром и коврами галеры и гондолы, и свежая невская вода обрызгивала нагие спины молодых загорелых гребцов...

На одной из линий Васильевского острова проживал сенатский обер-прокурор Алексей Афанасьевич Дьяков, и никто бы о нем в истории не вспомнил, если бы не имел он пятерых дочерей-красавиц. Так уж случилось, что девиц Дьяковых облюбовали поэты. Стихотворец Василий Капнист женился на Сащеньке

Дьяковой, а Хемницер и Львов влюбились в Марьюшку; она из двух поэтов сердцем избрала Львова, после чего Хемницер уехал консулом в Смирну, где вскоре и сгинул в нищете и одиночестве. Державин, когда скончалась его волшебная «Пленира», тоже явился в дом Дьяковых, где избрал подругу для старости — Дашеньку, но это случилось гораздо позже... А сейчас прокурор Дьяков мешал браку Маши со Львовым, который положения в свете еще не обрел, а богатства не нажил.

— Что у него и есть-то? Одно убогое сельцо Никольское под Торжком, а там, сказывают, болото киснет по берегам Овсуги, коровы осокой кормятся... Да и чин у него велик ли?

 Николенька, — отвечала Маша, — уже причислен к посольству нашему в Испании, а в Мадриде чай чины выслужит.

— Вот и пущай в Мадрид убирается, — рассудил непокорный прокурор. — С глаз долой — из сердца вон...

Не так думали влюбленные, и Львов предложил Маше бежать в Испанию, где и венчаться; но все случилось иначе. Была зима — хорошая и ядреная, солнце светило ярчайше, сизые дымы лениво уплывали в небо над крышами российской столицы. Сунув руки в муфту, Маша Дьякова уселась в санки.

— Вези к сестрице, — велела кучеру.

Но едва тронулись, как в сани заскочил друг жениха Васенька Свечин, гвардейский повеса и гуляка лихой, любитель трепетных сердечных приключений. Кучеру он сказал:

— Езжай в Галерную гавань, прямо к церкви. Там уже все готово и нас ждут. Будешь молчать — детишкам на пряники дам...

В тихой церквушке Галерной гавани Львов тайно обручился с Машей, которую Свечин тем же порядком и отвез обратно под родительский кров. Молодые люди дали клятву скрывать свой брак от людей и несколько лет прожили в разлуке, храня верность друг другу. А родители, не зная, что их дочь замужем, все еще подыскивали для нее богатых женихов; в доме Дьяковых гремели балы, ревели трубы крепостного оркестра, блестящие уланы и гусары крутили усы...

- Неужто, спрашивали отец с матерью, золотко наше, ни один из них не люб твоему сердцу?
 - Дорогие папенька и маменька, видеть их не могу!
 - Да ведь годы-то идут... Гляди, так и засохнешь.

Прошло три года, и суровый отец уступил дочери:

- Ладно, ты победила: ступай за Николку своего...

В канун свадьбы молодые объявили, что они давно обручены. Дъякова чуть удар не хватил... Благородный Львов вывел перед гостями за руки лакея Ивашку и горничную Аксинью:

- Чтобы свадьба не порушилась, вот вам жених с невестою.

Сколь любят они друг друга и страдают, Алексей Афанасьич, от того, что вы согласья на брак своим людям не даете. Сделаем же их сегодня счастливыми, а я с Марьюшкой и без того счастлив...

После чего Львов привез Машу в свое Никольское под Торжком, а там было все так, как говорил дочери отец: кисло древнее болото, тощие коровенки глодали жалкую осоку.

— Вот из сего скудного места я сделаю... рай!

Мечтать о красоте еще мало, красоту надобно создать, и только сделанное имеет ценность. Львов «рай» создал — и парк в селе Никольском сохранился до наших дней, как сказочный оазис. А в музеях висят портреты кисти Левицкого и Боровиковского, на которых изображены молодые супруги Львовы, и экскурсоводы никогда не забывают напомнить:

— Обратите внимание на эту женщину, Марию Алексеевну Дьякову, которая отмечена в истории тайным браком с Николаем Львовым, что в те времена казалось неслыханной дерзостью по отношению к сложившимся нравам... Они были образцовой супружеской парой!

Львов скромнейше называл себя лишь «любителем муз», но муз-то всего девять, а Николай Александрович — поэт и архитектор, дипломат и песенник, балетмейстер и механик, музыкант и фольклорист, садовод и художник, гравер и скульптор, конструктор машин и гидротехник, иллюстратор и редактор книг. Наконец, он и прекрасный... печник! Не слишком ли много занятий для одного человека? Немало, но зато жизнь насыщена до предела, и труд всегда радостен, как досуг, а досуги свои Львов опять-таки посвящал трудам праведным. XVIII век вообще не баловал людей профессиональным обучением, и это бурное столетие (время войн, философии и открытий) можно назвать эпохой, сработанной руками гениальных самоучек.

Львов всю жизнь прошел рука об руку с Державиным; поэт расшатывал устои омертвелого классицизма, неспособного согреть душу русскую, а Львов намечал будущие пути русской музыки и поэзии — к народности! До оперы Глинки «Иван Сусанин» было еще далеко, когда Николай Александрович сочинил простонародный текст к опере Фомина «Ямщики на подставе», которую тогдашняя критика разнесла в пух и прах именно по тем причинам, по каким позже оперу Глинки называли «мужицкой» оперой.

 Но так и будет! — вещал Львов. — В русскую землю надобно сажать русские деревья, а пальмы и пинии в ней не приживутся. Мой грех: люблю наши березы да елки, ольху да осин-

ничек...

В 1790 году Львов напечатал «Собрание народных русских песен». Сборник надолго пережил создателя и часто переиздавался; не только русские музыканты, но даже Бетховен и Россини черпали для себя вдохновение из этой книги, используя мотивы народных песен, собранных Николаем Александровичем в своей деревне.

Он любил Русь, любил ее народ и природу, обожал русские праздники, шумные торжища ярмарок, гам и веселье балаганов, расписные дуги с валдайскими звонами, варенные на меду калачи да пряники; ему хотелось видеть страну красивой, и он ездил по родной земле, всюду украшая ее, как украшают перед свальбой невесту. Львов поставил в Торжке и в Могилеве два прекрасных собора, расписанных изнутри кистью Боровиковского. За Невской заставой столицы соорудил уникальнейшую по форме церковь «Кулич и пасха»; Невские ворота Петропавловской крепости — тоже его работы. Но... что же главное? Я думаю, что здание Главпочтамта в Ленинграде, сооруженное Львовым, и есть главная его постройка. Вдумайтесь: сколько лет прошло с 1782 года, когда почтамт был заложен, а здание до сих пор служит нам, удобное и просторное, теплое зимой и прохладное летом, в нем все торжественно и в то же время нет ничего лишнего, мешающего; все рационально и все здесь к месту!

От золчества Львов естественно пришел к поискам новых материалов. Что вечно, что нетленно и что дешевле всего на свете? И он нашел такой материал — землю! Бери обычную землю - и строй сколько хочешь, лишь слегка укрепи ее раствором извести да утрамбуй как следует. Случилось так, что император Павел I, путешествуя по России, невольно обратил внимание на бедность крестьянских жилищ и решил улучшить вид русских деревень.

- Но из чего строить дешевле? спросил он.

— Из... земли, — подсказал ему Львов. Павел I был человек горячий, с воображением пылким, и увлечь его новизной было совсем нетрудно. На родине Львова, в селе Никольском, в 1797 году открыли первое на Руси «Государственное училище Землянаго битаго строения» (так оно называлось). Учить землебитному делу обязали самого Львова, а в статуте училища было сказано, что оно организовано ради «доставления сельским жителям здоровых, безопасных (в пожарном отношении), прочных и дешевых жилищ и соблюдения (то есть сбережения) лесов в государстве». В школу поступали исключительно дети крестьян из безлесных районов страны: по два мальчика от каждой губернии...

Павел I очень любил «Гатчинскую мызу», свою резиден-

цию, а Львов тоже любил Гатчину, ибо немало смекалки вложил в устроительство парковых «руин», каскадов и водоспусков. Когда император стал гроссмейстером Мальтийского ордена, он сказал:

— Львов! Построй же для меня в Гатчине здание приората, где бы я мог с достоинством играть роль мальтийского приора. Мне не нужен мрамор — это обычно, сооруди, как ты умеешь, землебитное строение. А место для приората избери сам...

Но у Львова было немало завистников, желавших навредить ему, и средь них — генерал-прокурор империи П. К. Обольянинов, который места для строительства приората не отводил. Львову он так прискучил своей вредностью, что он сказал:

- Петр Хрисанфыч, тогда сам избери мне место...

Генерал-прокурор отвел зодчего на южный берег Черного озера, где в болоте увязали даже гатчинские собаки, а кошки туда вообще не наведывались. Встав на кочку, Обольянинов объявил:

— Хошь бери это миленько местечко! А другого нету...

Львов собрал своих землебитчиков и спросил:

- Как быть?

Глядя на болото, которое пузырилось гнилостью, мужики отвечали:

— Никола Ляксандрыч, тока не пужайся сам и не пужай брата нашева! Верь, сударь ласковый, что лицом в грязь не ударим... А ударим по рукам на уговоре: ты нам ведро белого поставь и сам сиди в кустиках — смотри, как мы чертей из болота погоним!

Осушили они болото, а изъятую при осушке почву подняли над озером и на холме стали возводить здание. Приорат вырастал над водой, похожий на старинный рыцарский замок с башнею; мастера-землебитчики не подвели архитектора — сооружение из земли встало на земле, словно в землю вкопанное. Во время Великой Отечественной войны возле гатчинского приората рвались авиабомбы страшной разрушительной силы, вокруг сметало постройки, ломало столетние деревья, но стены львовского приората не осели, не треснули. Землебитное строение выдержало самое трудное испытание — временем, и сбылись пророческие слова Державина:

Хоть взят он от земли и в землю он пойдет, Но в зданьях земляных он вечно проживет...

Теперь в приорате — Дом пионеров и школьников Гатчины. В наше время расходуется множество строительных материалов — кирпич, бетон, камень, алюминий, железо, стекло, пластики... Николай Александрович нагнулся и взял землю из-под

ног своих. Получилось дешево и прочно! А я иногда думаю: может, мы слишком рано забыли о земле?

Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей. А если что и остается Чрез звуки лиры и трубы, То вечности жерлом пожрется И общей не уйдет судьбы.

Пожалуй, это самые могучие строчки Державина, который своего друга Николеньку Львова пережил на целых одиннадцать лет.

Державинская «река времен» размыла берега прошлого...

Но мне думается, что уничтожить «все дела людей» она всетаки неспособна. Львов остался понятен своим потомкам.

Сейчас его изучают — историки, литературоведы, музыканты, архитекторы, планировщики парков и садов отдыха.

Академик А. А. Сидоров в своем капитальном труде «Рисунок старых русских мастеров» пишет, что уже настала пора для создания солидной монографии о творчестве Львова...

Архивы еще не подняты! Пока что Львов живет в мемуарах, в записках современников, в трудах краеведов, в каталогах...

Николай Александрович умер в 1803 году. Дарование к живописи унаследовал от него правнук — замечательный русский художник Василий Дмитриевич Поленов.

Он был *первым* в СССР живописцем, которому присвоили звание народного художника республики...

В элегии декабриста Одоевского сказано:

Но вечен род! Едва слетят потомков новых поколенья, Иные звенья заменят из цепи выпавшие звенья.

КОРИННА В РОССИИ

Мне вспоминается, что поэт Байрон, послушав салонные разговоры Жермены де Сталь, упрекал ее за то, что она мало слов публикует, зато много речей произносит:

- Коринна пишет in octavo, а говорит in folio...

Байрон отчасти был прав: еще в Веймаре, где писательница гостила у Гёте и Шиллера, она так замучила их своими рассуждениями, что после ее отъезда они с трудом опомнились:

— Конечно, никто из мужчин не сравнится с нею в красноречии. Но она обрушила такие каскады ораторского искусства, что теперь нам предстоит лечиться долгим молчанием.

Не в меру говорливая, она была и не в меру влюбчивой. Чересчур женщина, баронесса де Сталь почти с трагичес-

ким надрывом переживала приближение сумерек жизни:

 Когда я смотрю на свои роскошные плечи и озираю величие этой пышной груди, вызывающие столько нескромных желаний у мужчин, я содрогаюсь от ужаса, что все мои прелести скоро сделаются добычей могильных червей...

Кто восхищался ею, кто ненавидел, а кто высмеивал.

Писательница высказывалась очень смело:

— Чем неограниченнее власть диктатора, тем крупнее его недостатки, тем безобразнее его пороки! Сейчас во Франции может существовать только тот писатель, который станет восхвалять гений Наполеона и таланты его министров, но даже такой презренный осужден пройти через горнило цензуры, более схожей с инквизицией... Покоренные народы еще молчат. А эловещее молчание наций — это гневный крик будущих революций!

Подлинное величие женщина приобрела тем, что всю жизнь была гонима. Однажды она спросила Талейрана: так ли уж умен Бонапарт, как о нем говорят? Ответ был бесподобен:

— Он не настолько храбрый, как вы, мадам...

Наполеон отзывался о ней: «Это машина, двигающая мнениями салонов. Идеолог в юбке. Изготовительница чувств».

— Я уважаю мусульманскую веру за то, что она держит женщину взаперти, в гаремах, не выпуская ее даже на улицу. Это гораздо мудрее, нежели в христианстве, где женщине позволяют не только мыслить, но даже влиять на общество...

Тогда в Париже можно было подслушать такой диалог:

- Если бы я была королевой, сказала одна из дам, я бы заставила Жермену де Сталь говорить с угра до вечера.
- Но будь я королем Франции, был ответ собеседника, — я бы обрек ее на вечное молчание... Она о пасна!

Коринна все делала вопреки Наполеону: он покорял Италию, она писала о величии итальянской культуры, он громил пушками Пруссию, она воспевала идеалы германской поэзии. Наполеон утверждал: «Я требую, чтобы меня не только боялись, но чтобы меня и любили!» Наказав де Сталь изгнанием, он преследовал ее всюду, словно издеваясь над женщиной: «Она вызывает во мне жалость: теперь вся Европа — тюрьма для нее». Когда в 1808 году ее сын Огюст сумел проникнуть в кабинет императора, умоляя снять опалу с матери, Наполеон отвечал юноше:

— Ваша мать лишь боится меня, но почему не любит меня? Я не желаю ее возвращения, ибо жить в Париже имеют право только обожающие меня. А ваша мать слишком умна, хотя ум ее созрел в хаосе разрушения монархий и гибельных революций. Теперь там, где все молчат, ваша мать возвышает голос!

Роман «Коринна, или Италия» сделал имя мадам де Сталь слишком знаменитым, но книга вызвала в Наполеоне приступ ярости, ибо писательница осмелилась рассуждать о самостоятельности женщин в общественной жизни государства.

— Назначение бабья — плясать и рожать детей! — говорил император. — Не женское дело переставлять кастрюли на раскаленной плите Европы, тем более залезать на мою кухню, где давно кипят сразу несколько политических и военных бульонов. В моей империи счастлив только тот, кому удалось скрыться так, чтобы я даже не подозревал о его существовании...

Все дороги на родину были для нее перекрыты.

— Если мораль навязана женщине, то свобода женщины будет простором против такой морали, — говорила она и, как

никто, умела доводить свои страсти до безумной крайности, только в полном раскрепощении чувств считая себя свободной.

Недаром же одна из ее книг была названа «Размышление о роли страстей в личной и общественной жизни». Жермена смолоду была избалована вниманием мужчин, которых иногда силой ума принуждала любить ее, обожанием поклонников таланта, в обществе ее часто называли Коринной по имени главной героини нашумевшего романа. Успех романа о женщине, презревшей условности света, был потрясающим, в России нашлось немало читательниц, просивших называть их Кориннами, а княгиня Зинаида Волконская вошла в историю как «Коринна Севера».

Вечно гонимая императором, зимою 1808 года мадам де Сталь появилась в блистательной и легкомысленной Вене, где ее принимала знать, униженная победами Наполеона; принимала ее лишь потому, что она ненавидела Наполеона. Черные волосы писательницы прикрывал малиновый тюрбан, столь модный в том времени, на груди колыхалась миниатюра с портретом ее отца Неккера, плечи украшала турецкая шаль, а в руках трепетал веер, которым Жермена регулировала пафос своих речей, управляя вниманием общества, как дирижер послушным оркестром.

Ей докучали в Вене великосветские сплетницы. Одна из венских аристократок, графиня Лулу Тюргейм, оставила мемуары, в которых жестоко порицала писательницу за излишнюю экзальтацию чувств. О выступлении ее на сцене театра Лулу писала: «Хуже всего было то, что выступала сама мадам де Сталь с ея расплывшейся фигурой, едва прикрытой кое-каким одеянием. В патетических местах она егозила по сцене на коленях, ее черные косы волочились на полу, лицо наливалось кровью. Зрелише было далеко не из эстетических…»

Сергей Уваров, близкий приятель де Сталь, писал о тамошней аристократии: «Они ведут замкнутый образ жизни, прозябая в своих огромных дворцах, куря и напиваясь в своей среде... они презирают литературу и образованность, необузданно увлекаясь лошадьми и продажными женщинами». Казалось, музыка заменяла аристократам все виды искусств, и потому мадам де Сталь не нашла в Вене «немецкого Парижа». Завернутый в трагический плащ русского Вертера, Уваров потому и стал ее наперсником, ибо владел пятью языками, стихи писал на французском, а прозу по-немецки... Он внушал женщине:

— Здесь мало кто способен оценить ваше гражданское мужество, а подлинных друзей вы сыщете только в России..

Это правда, тем более что не венские вельможи, а именно она, женщина и мать, двенадцать лет подряд испытывала гнев

зарвавшегося корсиканца. Умные люди, напротив, очень высоко чтили писательницу, и философ Август Шлегель, толкователь Виргилия, Гомера и Данте, сам не последний поэт Германии, уже не раз убеждал Коринну:

- Не мечите бисер перед венскими свиньями, выше несите знамя своего разума. Я был воспитателем ваших детей, так не заставляйте меня воспитывать вас. Вы бежали от гнева кесаря в Вену, но куда побежите, если кесарь окажется в Вене?
 - О, свет велик, и все в нем любят Коринну.

— Согласен, что любят, но приютить вас отныне может только страна, где еще не погас свет благоразумия...

Жермена покинула вульгарную, злоречивую Вену и поселилась в швейцарском кантоне Во, где у нее было отцовское поместье Коппе. Властвовать умами легче всего из глуши провинции, и Коппе был для нее убежищем, как и Ферней для Вольтера. Но времена изменились. Местный префект слишком бдительно надзирал за нею, ибо швейцарцы боялись наполеоновского гнева, способного обернуться для них оккупацией и поборами реквизиций. Всех гостей, побывавших в Коппе, Наполеон велел арестовывать на границе; наконец, мадам де Сталь тоже не чувствовала себя в безопасности... Шлегелю она призналась:

— Меня могут просто похитить из Коппе, благо Франция рядом, и я окажусь в парижской тюрьме Бисетра...

Настал 1812 год — год великих решений.

— Я изучала карты Европы, чтобы скрыться, с таким же старанием, с каким изучал их Наполеон, чтобы завоевать ее. Он остановил свой выбор на России — я... тоже!

Обманув своих аргусов, она тайно покинула тихое имение. Помимо неразлучного Шлегеля ее сопровождали дети и молодой пьемонтец Альбер де ла Рокка, которого она выходила от ран и теперь относилась к нему с материнским попечением. Ни дочь Альбертина (рожденная от Бенжамена Констана), ни ее сын (рожденный от графа Нарбонна) не догадывались, что молодой пьемонтец доводится им отчимом, тайно обрученный с их матерью.

Август Шлегель путливо озирал патрули на дорогах:

 Бойтесь Вены, как и Парижа: австрийские Габсбурги давно покорились воле императора Франции...

Наполеон уже надвигался на Россию, как грозовая туча, и в русском посольстве Вены паковали вещи и документы, чтобы выезжать в Петербург... Посол предупредил Коринну:

— Не играйте с огнем! Меттерних вопреки народу вошел в военный альянс с Наполеоном и теперь способен оказать ему личную услугу, посадив вас в свои венские казематы.

— Паспорт... русский паспорт! — взмолилась женщина.

— Нахлестывайте лошадей. А курьер с паспортом нагонит

вас в дороге. Только старайтесь ехать через Галицию...

В дорожных трактирах австрийской Галиции она читала афиции о денежной награде за ее поимку. Преследуемая шпионами, мадам де Сталь говорила Шлегелю:

— Я совсем не хочу, чтобы русские встретили меня как явление Парижской Богоматери, но пусть они заметят во мне хотя бы просто несчастную женщину, достойную их внимания...

Наконец 14 июля она въехала в русские пределы, и на границе России философ Шлегель воздал хвалу вышним силам:

- Великий день! Мы спасены...

Коринна согласилась, что день был великим:

 Именно четырнадцатого июля перед народом Франции пала Бастилия. Я благословляю этот великий день...

Еще в прошлом веке историк Трачевский писал, что французы, подолгу жившие в России, ничего в ней не видели, кроме блеска двора или сытости барских особняков. Мадам де Сталь первая обратилась лицом к русскому народу: «Она старается докопаться до его души, ищет разгадки великого сфинкса и в его истории, и в его современном быту, и путем сравнения с другими нациями...» Деревенские девчата, украшенные венками, вовлекали перезрелую француженку в свои веселые хороводы.

Наполеон уже форсировал Неман — война началась!

В Киеве ее очаровал молодой губернатор Милорадович; в ответ на все ее страхи он смеялся:

 Ну что вы, мадам! Россия даже Мамая побила, а тут какой-то корсиканец лезет в окно, словно ночной воришка...

Прямой путь к Петербургу был забит войсками и движением артиллерии, до Москвы тащились окружным путем. Жермена сказала Шлегелю, что первые впечатления от русских не позволяют ей соглашаться с мнением о них европейцев:

— Этот народ нельзя назвать забитым и темным, а страну их варварской! Русские полны огня и живости. В их стремительных

танцах я заметила много неподдельной страсти...

Местные помещики и проезжие офицеры спешили повидать мадам де Сталь, хорошо знакомые с ее сочинениями. В пути она встретила сенатора Рунича, ведавшего русскими почтами.

- Где сейчас находится Наполеон? спросила она.
- Везде и нигде, отвечал находчивый Рунич.
- Вы правы! отозвалась де Сталь комплиментом. Пер-

вое положение Наполеон уже доказал прежним разбоем, второе положение предстоит доказывать русским, чтобы этот выродок человечества оказался «н и г д е»...

В Москве женщину чествовал губернатор Ростопчин, который счел своим долгом кормить ее обедами и успокаивать ей нервы. Переводчиком в их беседах был славный историк Карамзин, еще в молодости переводивший на русский язык ее новеллу «Мелина». Ростопчин потом делился с друзьями:

— Она была так запугана Наполеоном, что ей казалось, будто и войну с нами он начал только для того, чтобы схватить писательницу. Шлегель был умен и очарователен. При мадам состоял вроде пажа кавалер де ла Рокка, которого она для придания ему пущей важности именовала «Лефортом», но этот молодец в дороге нахлебался кислых щей у наших мужиков, и эти щи довели его до полного изнурения...

Следует признать, что не все москвичи приняли мадам де Сталь восторженно. Одна из барынь говорила о ней почти то же самое, что писал о ней и сам император Наполеон:

— Не понимаю, чем она способна вызвать наши восторги? Сочинения ее безобразны и безнравственны. Свет погибал и рушился именно потому, что люди чувствовали и старались думать так же, как эта беспардонная болтушка...

Москва показалась Коринне большой деревней, переполненной садами и благоухающей оранжереями. Она удивилась даже не богатству дворян, но более тому, что дворяне давали волю крепостным, желавшим сражаться с Наполеоном в рядах народного ополчения. «В этой войне, — писала она, — господа были лишь истолкователями чувств простого народа». Характер славян казался совсем иным, нежели она представляла себе ранее. Недоумение сменилось восторгом, когда она поняла:

— Этому народу всегда можно верить! А что я знала о русских раньше? Два-три придворных анекдота из быта Екатерины Великой да короткие знакомства с русскими барами в Париже, где они наделали долгов и сидели в полиции. А теперь эта страна спасет не только меня, но и всю Европу от Наполеона.

Пушкин рассказывал в отрывке из «Рославлева»: «Она приехала летом, когда большая часть московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее... Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ея не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки». Казалось, поэт был настроен по отношению к мадам де Сталь иронически. Но возможно, что Пушкин сознательно вложил в ее уста такие слова о русских: Народ, который сто лет тому назад отстоял свою бороду, в наше время сумеет отстоять и свою голову...

Да, в двенадцатом году Коринна была заодно с Россией, уже вступившей в безжалостную битву против жестокого узурпатора. Она приехала в Петербург, встревоженный опасностью нашествия, и на берегах Невы ей понравилось больше, нежели в патриархальной Москве. 5 августа, принятая императором Александром I, она выслушала от него откровенное признание:

— Я никогда не доверял Наполеону, а Россия не строила свою политику на союзах с ним, но все-таки я был им обманут... даже не как государь, а как человек, поверивший коварному соседу, что он не станет плевать в мой колодец.

Они беседовали об уроках макиавеллизма, которые столь хорошо освоил Наполеон, постоянно державший свое окружение в обстановке зависти, соперничества, в поисках милостей и наград. Де Сталь сделала вывод: «Александр никогда не думал присоединяться к Наполеону ради порабощения Европы...» Это справедливо, ибо русская политика, иногда даже слишком податливая перед Наполеоном, стремилась лишь к единой цели — избежать войны с Францией, сохранить мир в Европе...

В русской столице мадам де Сталь пробыла недолго, но всюду ее встречали очень приветливо, а поэт Батюшков выразился о писательнице чересчур энергично:

— Дурна, как черт, зато умна, как ангел...

Русские и сами были мастерами поговорить; они говорили о чем угодно, но старались молчать о своих военных неудачах. Газеты тоже помалкивали об этом, а Павел Свиньин, известный писатель и дипломат, только что вернувшийся из Америки, раскрыл перед Коринной секрет такого молчания:

— Мы, русские, привыкли сегодня скрывать то, что завтра станет известно всему свету. В Петербурге из любой ерунды делают тайну, хотя ничто не становится секретом. Могу сообщить вам втайне и тоже под большим секретом, что Смоленск уже взят Наполеоном, а Москва в большой опасности.

Мадам де Сталь ужаснулась успехом Наполеона:

— И когда падет Москва, война закончится?

— Напротив, — отвечал Свиньин, — с падением Москвы война лишь начнется, а закончится она падением Парижа. Русский народ не станет лежать на печи, а время народного отчаяния послужило сигналом к пробуждению нации.

Изучая русское общество, мадам де Сталь сравнивала его с европейским, и в каждом русском человеке находила то бой-кость француза, то деловитость немца, то пылкость итальянца, а звучание русского языка, столь непохожего на все другие, про-

сто ошеломляло ее. «В нем есть что-то металлическое, — записывала она для памяти, — русские произносят буквы совсем не так, как в западных наречиях; мне кажется, они в разговоре все время сильно ударяют в медные тарелки боевого оркестра...»

Беседуя со Шлегелем, она сказала ему:

- Но вряд ли ум служит для русских наслаждением.
- Тогда что же для них ум?
- Скорее они пользуются им как опасным оружием. Завтра будут проводы в армию престарелого генерала Кутузова, а этот человек заострил свой ум до нестерпимого блеска, словно шпагу в канун дуэли. Трудно ему будет управлять этой стихией.
 - Под стихией вы подразумеваете... Наполеона?
 - Нет, мой друг, народная война вот стихия!

«Есть что-то истинно очаровательное в русских крестьянах, — торопливо записывала мадам де Сталь, — в этой многочисленной части народа, которая знает только землю под собой да небеса над ними. Мягкость этих людей, их гостеприимство, их природное изящество необыкновенны. Русские не знают опасностей. Для них нет ничего невозможного...»

Она участвовала в проводах Кугузова, растроганная величием этого момента: «Я не могла дать себе отчета, кого я обнимала: победителя или мученика, но, во всяком случае, я видела в нем личность, понимающую все величие возложенного на него дела...» Сергей Глинка запомнил, как мадам де Сталь вдруг низко склонилась перед Кугузовым, возвестив ему:

 Приветствую почтенную главу, от которой теперь зависит вся судьба не только России, но даже Европы.

На это полководец без запинки отвечал ей:

- Мадам! Вы одарили меня венцом бессмертия...

На путях Наполеона к Москве уже разгоралось пламя священной войны, войны отечественной: русские мужики брались за топоры, а русские бабы деловито разбирали вилы. Еще не грянуло Бородино, еще не корчилась Москва в пламени пожаров, но мадам де Сталь страшилась побед Наполеона. Случись момент его окончательного торжества, и тогда ей вообще не останется места под солнцем Европы!

Отныне она уповала только на Россию. «Невозможно было достаточно надивиться той силе сопротивления и решимости на пожертвования, какие выказывал русский народ», — писала Коринна о русских воинах и партизанах.

— Русские ни на кого не похожи! — восклицала она перед Шлегелем. — Я ехала сюда, когда Наполеон перешагнул через Неман, словно через канаву, а в деревнях еще водили беспечальные хороводы и всюду слышались песни русских крестьян. Наверное, это в духе российского народа: не замечать опаснос-

ти, экономя свою душевную энергию для рокового часа... Жаль.

что меня скоро злесь не будет!

Она хотела перебраться в Стоктольм, куда ее настойчиво зазывал старый друг Бернадот, бывший французский маршал, будущий король Швеции, и где была родина первого мужа,

фамилию которого она носила.

Швейцарка по отпу, француженка по рождению, шведка по мужу, Жермена де Сталь, урожденная Неккер, оставалась в душе пылкою патриоткой революционной Франции. Русские не всегда учитывали этот ее патриотизм, отчего и случались забавные казусы. Так, однажды в богатом доме Нарышкиных устроили пир в ее честь, и хозяин дома поднял бокал с вином:

- Чтобы сделать приятное нашей дорогой гостье, я сове-

тую выпить за победу над французской армией.

Коринна разрыдалась, и тогда хозяин поправился:

- Мы выпьем за поражение тирана, который в безумном ослеплении покорил Европу, а сейчас поспешает в Москву, где ему готована законная гибель.

На следующий день — новое огорчение, опять слезы. Сын вернулся из театра, сказав, что публика освистала «Федру».

- Боже праведный! Пусть они освистывают этого чесночного корсиканца, но зачем же освистывать великого Расина?..

20 августа «Санкт-Петербургские Ведомости» оповестили общество о скором отъезде баронессы де Сталь, а 7 сентября она уже покинула русскую столицу.

В дороге — через перелески Финляндии — ее настиг грозный пушечный гул: это были отзвуки славного Бородина...

Бернадот, конечно, был рад видеть свою старую подругу.

Он был славный рубаха-парень, женатый на бывшей трактиршице, грудь его со времен революции украшала бесподобная татуировка: СМЕРТЬ КОРОЛЯМ. Но теперь, готовя себя в короли, а жену в королевы, Бернадот иначе толковал свой патриотизм, выступая с войсками Швеции на стороне России против Наполеона.

Из Стоктольма Коринна поддерживала дружескую переписку с женою фельдмаршала Кутузова, которому она предрекла вечную славу. Но в 1813 году, избавив родину от оккупантов, Михайла Илларионович скончался в немецком Бауцене, а вскоре Жермена де Сталь пережила страшное материнское горе: ее сын Альберт был убит на дуэли... Изгнанница отплыла в Англию, где и дождалась краха империи Наполеона.

Только теперь ей можно было вернуться в Париж.

Но это был уже не тот Париж, в котором она привыкла владеть умами и настроениями сограждан. Сразу выяснилось.

что с Бурбонами, свергнутыми революцией, ей, писательнице, никак не ужиться, как не могла она раньше ужиться с Наполеоном, порожденным тою же революцией, что низвергла Бурбонов!

Было над чем призадуматься старой романистке:

— Не пришло ли мне время писать мемуары?..

А заодно делать и прогнозы на будущее. Коринна политически прозорливо предсказала гибель монархии во Франции, будущее объединение итальянских и немецких княжеств в монолитные и прочные государства.

нолитные и прочные государства.

— Я предвижу великое будущее русского народа и громадную роль молодой Америки, — вещала она...

Жермена де Сталь умерла летом 1817 года, до конца своих дней мучимая желанием любить и мыслить, а способность к мышлению приносила ей такое же наслаждение, как и любовь. Был уже 1825 год, когда Пушкин дал отповедь критикам, которые осмелились опорочить память этой удивительной женщины. Тогда же поэт словно предостерег своего друга князя П. А. Вяземского внушительными словами:

— Мадам де Сталь на ша — не тронь ee!..

Вяземский и не думал задевать мадам де Сталь, сложив в честь нее такие вдохновенные строки:

> Плутарховых времен достойная Коринна, По сердцу женщина, а по душе мужчина...

Мадам де Сталь навсегда осталась именно «наша», целиком принадлежащая тому поколению русских людей, которые выстояли в огне Бородинской битвы, которые в декабре 1825 года выстраивались в четкое каре на Сенатской площади.

«МИР ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО!»

Две старые картины тревожат мое воображение... Первая — верещагинская. «Мир во что бы то ни стало!», — сказал Наполеон поникшему перед ним Лористону, посылая его в тарутинскую ставку Кутузова. Вторая — художника Ульянова, она ближе к нам по времени создания. «Народ осудил бы меня и проклял в потомстве, если я соглашусь на мир с вами», — ответил Кутузов потрясенному Лористону...

Я вот иногда думаю: как много в русской живописи батальных сцен и как мало картин, посвященных дипломатии.

Где они? Может, я их просто не знаю...

Москва догорала. Во дворе Кремля оркестр исполнял «Марш консульской гвардии при Маренго». Наполеон — через узкое окошко кремлевских покоев — равнодушно наблюдал, как на Красной площади его солдаты сооружают для жилья шалаши, собирая их из старинных портретов, награбленных в особняках московской знати.

- Бертье, позвал он, я уже многое начинаю забывать... Кто сочинил этот марш во славу Маренго?
 - Господин Фюржо, сир.
 - А, вспомнил... Чем занят Коленкур?
 - Наверное, пишет любовные письма мадам Канизи...

Арман Коленкур долго был французским послом в Петербурге, и Наполеон убрал его с этого поста, распознав в Коленкуре симпатию к русскому народу. В самый канун войны Коленкура сменил Александр Лористон, который испытывал одну лишь симпатию — лично к нему, к императору. Наполеон сумрачно перелистал сводки погоды в России за последние сорок лет, составленные по его приказу учеными Парижа... Неожиданно обозлился:

— Коленкур много раз путал меня ужасами русского климата. На самом же деле осень в Москве даже мягче и теплее, чем в Фонтенбло. Правда, я не видел здесь винограда, зато громадные капустные поля вокруг Москвы превосходны.

Бертье слишком хорошо изучил своего повелителя и пото-

му сразу разгадал подоплеку сомнений Наполеона.

— Все равно какая погода и какая капуста, — сказал он. — Мы должны как можно скорее убраться отсюда.

- Куда? с гневом вопросил император.
- Хотя бы в Польшу, сир.

— Га! Не за тем же, Бертье, от Москвы остались одни коптящие головешки, чтобы я вернулся в Европу, так и не сумев принудить русских к унизительному для них миру...

Курьерская эстафета между Парижем и Москвою, отлично налаженная, должна была работать идеально, каждые пятнадцать дней, точно в срок, доставляя почту — туда и обратно. Но уже возникали досадные перебои: курьеры и обозы пропадали в пути бесследно, перехваченные и разгромленные партизанами. Наконец, император знал обстановку в Испании гораздо лучше, нежели положение в самой России, и не было таких денег, на какие можно было бы отыскать средь русских предателя-осведомителя. О положении внутри России император узнавал от союзных дипломатов в Петербурге, но их информация сначала шла в Вену, в Гаагу или Варшаву, откуда потом возвращалась в Москву — на рабочий стол императора...

Барабаны за окном смолкли, оркестр начал бравурный «Коронационный марш Наполеона 1804 года».

- Музыка господина Лезюера, машинально напомнил Бертье, даже не ожидая вопроса от императора.
 - Крикните им в окно, чтобы убирались подальше...

Ночь была проведена неспокойно. Утром Наполеон велел звать к себе маршалов и генералов. Они срочно явились.

— Я, — сказал император, — сделал, кажется, все, чтобы принудить азиатов к миру. Я унизил себя до того, что дважды посылал в Петербург вежливые письма, но ответа не получил... Моя честь не позволяет мне далее сносить подобное унижение. Пусть Кутузов сладко дремлет в Тарутине, а мы спалим остатки Москвы, после чего двинемся на... Петербург! Если мой друг Александр не пожелал заключить мир в покоях Кремля, я зас-

тавлю его расписаться в своем бессилии на берегах Невы. Но мои условия мира будут ужасны! Польскую корону я возложу на себя, а для князя Жозефа Понятовского создам Смоленское герцогство. Мы учредим на Висле конфедерацию, подобную Рейнской в Германии. Мы возродим Казанское ханство, а на Дону устроим казачье королевство. Мы раздробим Россию на прежние удельные княжества и погрузим ее обратно во тьму феодальной Московии, чтобы Европа впредь брезгливо смотрела в сторону востока...

Полководцы молчали. Наполеон сказал:

— Не узнаю вас! Или вам прискучила слава?

Даву ответил, что север его не прельщает:

— Уж лучше тогда свалить всю армию к югу России, где еще есть чем поживиться солдатам и где никак не ждут нас. Я не любитель капусты, которую мы едим с русских огородов.

Ней добавил, что армия Кутузова в Тарутине усиливается:

— Иметь ее в тылу у себя — ждать удара по затылку! Не пора ли уже подумать об отправке госпиталей в Смоленск?

Наполеон мановением руки отпустил их всех.

— А что делает Коленкур? — спросил он Бертье.

— Герцог Виченцский закупил множество мехов, и сейчас вся его канцелярия подбивает мехом свои мундиры, они шьют шапки из лисиц и рукавицы из волчых шкур.

— Что-то слишком рано стал мерзнуть Коленкур...

— Коленкур готовится покинуть Москву, дорога впереди трудная, а зима врывается в Россию нежданно... как бомба!

— Перестаньте, Бертье! Я должен видеть Коленкура...

Коленкур (он же герцог Виченцский) явился. В битве при Бородине у него погиб брат, и это никак не улучшало настроение дипломата. Мало того, мстительный Наполеон выслал из Парижа мадам Канизи. Теперь император пытался прочесть в лице Коленкура скорбь по случаю гибели брата и тревогу за судьбу любимой женщины. Но лицо опытного политика оставалось бесстрастно.

Наполеон ласково потянул его за мочку уха:

— Будет лучше всего, если я отправлю в Петербург... вас. Я знаю, что русские давно очаровали вас своей любознательностью, вы неравнодушны к этой дикой стране, и ваша персона как нельзя лучше подходит для переговоров о мире... Должны же наконец русские понять, что я нахожусь внутри их сердца, что я сплю в покоях, где почивали русские цари! Или даже этого им еще мало для доказательства моего могущества?

Арман Коленкур с достоинством поклонился:

— Сир! Когда я был отозван из Петербурга в Париж, я пять часов потратил на то, чтобы доказать вам непобедимость Рос-

сии. Вы привыкли, что любая война кончается для вас в тот момент, как вы въехали на белом коне в столицу поверженного противника. Но Россия — страна особая, и с потерей Москвы русские не сочли себя побежденными...

- Вы отказываетесь, Коленкур, услужить мне?
- Если мы навязали русским эту войну, я не желаю теперь навязывать им мир, который они никогда от нас не примут.
- В таком случае, сказал Наполеон, я пошлю вместо вас Лористона.

Коленкур удалился, но Лористон, к удивлению императора, высказал те же соображения, что и Коленкур.

— Когда вы успели с ним сговориться? Довольно слов. Вы сейчас отправитесь в Тарутино и вручите Кутузову мое личное послание, и пусть Кутузов обеспечит вам проезд до Петербурга... Мне нужен мир. Мир во что бы то ни стало... л ю б о й мир! Речь идет уже не о завоеваниях — дело касается моей чести, а вы, Лористон, войдете в историю как спаситель моей чести...

...Картина «Мир во что бы то ни стало» была завершена В. В. Верещагиным в 1900 году. В этом полотне живописец лишил Наполеона героической позы. Советский историк А. К. Лебедев писал, что «Наполеон для Верещагина не полубог, а жестокий и черствый авантюрист, возглавляющий банду погромщиков и убийц, приносящий неисчислимые бедствия русскому народу...»

Село Тарутино — на старой Калужской дороге — лежало в ста шестидесяти шести верстах от Москвы; именно здесь Кутузов обратился к войскам: «Дети мои, отсюда — ни шагу назад!» Вскоре возник Тар /тинский лагерь, куда стекались войска, свозились припасы к полушубки, а тульский завод поставлял в Тарутино две тысячи ружей в неделю. Но подходили новые отряды ополченцев, и оружия не хватало. Здесь можно было видеть деда с рогатиной, которого окружали внуки, вооруженные топорами и вилами. Из села возник военный город с множеством шалашей и землянок. Сюда же, в Тарутино, казаки атамана Платова и партизаны Фигнера сгоняли большие гурты пленных; скоро их стало так много, что П. П. Коновницын (дежурный генерал при ставке Кутузова) даже бранил казаков и ополченцев:

— Куда их столько-то! На един прокорм сих сущих бездельников наша казна экие деньги бухает, яко в прорву какую...

Кутузов расположил свою главную квартиру в трех верстах от Тарутина — в безвестной деревушке Леташевке. Именно здесь, в нищенской избе, поселился главнокомандующий, по-стариковски радуясь, что печка в избе большая и не дымит. А гене-

рал Коновницын жил по соседству — в овчарне без окон, лишь землю под собою присыпав соломкою (над овчарней была вывеска: «Тайная канцелярия генерального штаба»). Кутузов готовил армию к боям, терпеливо выжидая, когда Наполеон, как облопавшийся удав, выползет из Москвы с обозами награбленного добра.

Из Петербурга прибыл в Тарутино для связи князь Петр Волконский, и Кутузов гусиным пером указал ему на лавку:

- Ты посиди, князь Петр, я письмо закончу.

— Кому писать изволите?

— Помещице сих мест — Анне Никитичне Нарышкиной... Было угро 23 сентября 1812 года. Понедельник.

В избу шагнул взволнованный Коновницын:

— На аванпостах появились французы с белыми флагами и просят принять Лористона для свидания с ващей светлостью, а Лористон письмо к вам имеет — от Наполеона...

Сразу же нагрянул сэр Роберт Вильсон, военный атташе Англии; извещенный о прибытии Лористона, он стал высказываться перед Кугузовым в таком духе, что честь и достоинство русской армии не позволяют вести переговоры с противником:

— А герцог Вюртембергский и принц Ольденбургский, ближайшие родственники мудрого государя нашего, и мыслить не смеют о мире с этим корсиканским элодеем.

Кугузов в британской опеке не нуждался:

— Милорд, обеспокойтесь заботами о чести своей армии, а русская от Вильны до Бородина достоинство воинское сберегла в святости... Избавьте меня и от подозрений своих!

Волконскому он велел ехать на аванпосты, требовать от

Лористона письмо императора. Волконский сообразил:

- Лористона вряд ли устроит роль курьера, он обязательно

пожелает вручить письмо лично вам... Не так ли?

— Известно, — отвечал Кутузов, — что не ради письма он и заявился... А ты, князь Петр, пошли адъютанта своего Нащокина ко мне в Леташевку с запросом, да вели ему ехать потише. Нам каждый день и каждый час задержки Бонапартия в Москве — к нашей выгоде и во вред и ущерб самому Бонапартию...

Волконский все понял. Понял и ускакал.

Кутузов всегда носил сюртучишко, а теперь, ради свидания с Лористоном, решил облачиться в мундир со всеми регалиями. Однако эполеты его успели потускнеть от лесной сырости, золотая канитель их померкла, бахрома кистей даже почернела.

— Петрович! — позвал он Коновницына. — Ты, будь ласков, одолжи мне свои эполеты, они у тебя понарядней... Потом, выйдя из избы, окруженный встревоженными офицерами, Михаил Илларионович сказал им:

— Господа. Ежели возникнет беседа у вас с Лористоном или его свитою, прошу судачить больше о погоде и танцах-шманцах. А к вечеру весь лагерь пусть распалит костры пожарче, кашу варить сей день с мясом, музыкантам играть веселее, а солдатам петь песни самые игривые... Вот пока и все.

Очевидец вспоминал: «По всему лагерю открылась у нас иллюминация и шумное веселье... мы уже совершенно были уверены, что НАША БЕРЕТ и скоро погоним французов из России!»

Волконский сознательно потомил Лористона на аванпостах, а Нащокин не спешил гнать коня до Леташевки и обратно, почему посланец Наполеона и заявился в главной квартире лишь к ночи. Солдатские костры высветили полнеба, в этом зареве было что-то жуткое и эловещее, за лесом играла музыка, в Тарутине солдаты плясали с местными бабами, а среди веселья бродили как неприкаянные пленные французы, и они делали вид, что приезд Лористона их уж не касается. Кутузов все продумал заранее, как отличный психолог. На длинной лавке в избе своей он рассадил генералов, меж ними поместил герцога Вюртембергского с принцем Ольденбургским, средь них пристроил и сэра Вильсона. В маленьком оконце зыбко дрожали отблески бивуачных костров великой российской армии...

— Прошу, — Кутузов указал Лористону место на одном конце стола, а сам уселся с другого конца. — Всех, господа, прошу удалиться, — велел он затем генералам и таким образом избавился от принца с герцогом. Но сэр Вильсон не ушел, согласный сидеть даже за печкой, и тогда Кутузов пожелал ему очень вежливо: — Спокойной ночи, милорд...

В избе остались двое: Лористон и Кутузов. Очевидно, пугающее зарево костров над Тарутином надоумило маркиза завести речь о московском пожаре, и он развил свое богатое красноречие, дабы доказать невиновность французов.

— Я уже стар и сед, — отвечал Кугузов, — меня давно знает народ, и посему от народа я извещен обо всем, что было в Москве тогда и что в Москве сей момент, пока мы здесь с вами беседуем... Если пожар Москвы еще можно хоть как-то объяснить небрежностью с огнем, то чем вы оправдаете действия своей артиллерии, которая прямой наводкой разбивала самые древние, самые прекрасные здания нашей первопрестольной столицы...

Лористон перевел речь на пленных, благо обмен пленными всегда был удобной предпосылкой для мирных переговоров.

— Никакого размена! — возразил Кутузов резко. — Да и где вы наберете столько русских в своем плену, чтобы менять их на своих французов - один за одного?

После чего маркиз заговорил о партизанах:

— Мы от этих гверильясов уже натерпелись в Испании! Нельзя же и в России нарушать законные нормы военного права... Нам слишком тягостны варварские поступки ваших крестьян, оснащенных, словно в насмешку, первобытными топорами и вилами.

Ответ фельдмаршала: «Я уверял его (Лористона), что ежели бы я желал переменить образ мыслей в народе, то не мог бы успеть для того, что они войну сию почитают равно как бы нашествие татар, и я не в состоянии переменить их воспита-

ние».

От такого ответа Лористона покоробило:

- Наверное, все-таки есть какая-то разница между диким Чинтисханом и нашим образованным императором Наполеоном?

Но Кутузов четко закрепил свое мнение:

- Русские никакой разницы меж ними не усматривают...

В крохотное оконце все время заглядывали с улицы офицеры, силясь по жестикуляции собеседников определить содержание их речей. Один из таких наблюдателей писал в своих мемуарах, что жесты Кутузова напоминали «упреки, а со стороны Лористона — оправдания, которым он, видимо, желал придать важность».

— Вы не должны думать, — говорил Лористон, — что причиною моего появления служит безнадежность нашего положения. Однако я не отрицаю мирных намерений своего великого императора... Посторонние обстоятельства разорвали нежную дружбу наших дворов после Тильзита, и не пришло ли время восстановить их? Хотя бы, — заключил Лористон, — хотя бы... перемирием.

«Вот чего захотели, чтобы убраться из Москвы подобру-

поздорову, усыпив нас!..»

Кутузов не замедлил с ответом:

- Меня на пост командующего выдвинул сам народ, и. когда он провожал меня к армии, никто не молил меня о мире, а просили едино лишь о победе над вами... Меня бы прокляло потомство, подай я даже слабый повод к примирению с врагом, и таково мнение не только официального Санкт-Петербурга, но и всего простонародья великороссийского...

Лористон резко поднялся, и в шандале качнулось пламя свечей. А за окном еще полыхало зарево костров над Тарутином — жаркое. Нервным жестом он извлек письмо Наполеона:

— Его величество соизволили писать лично вам...

«КНЯЗЬ КУТУЗОВ! Я посылаю к Вам одного из моих генераладыютантов для переговоров о многих важных предметах. Я желал бы, чтобы Ваша Светлость верила тому, что он Вам скажет, и особенно когда выразит Вам чувства уважения и особенного внимания, которые Я издавна к Вам питаю. За сим молю Бога, чтобы он сохранил Вас, князь Кутузов, под своим священным и благим покровом. НАПОЛЕОН».

Ну, что ж! И на том спасибо. Кутузов сложил письмо.

- Чтобы передать его мне, можно было прибегнуть к услугам простого курьера.
- Да! вспыхнул Лористон. Но мой великий император еще велел просить мне у вас разрешения поехать в Петербург для личных бесед с вашим императором Александром...

Кутузов со вздохом брякнул в колоколец:

— Князя Петра сюда! Живо... — Волконский предстал, чтото наспех дожевывая. — Вот человек, облеченный большим доверием нашего государя императора, и он завтра же отъедет обратно в Петербург, где в точности и доложит о вашем желании...

Время уже наступало Наполеону на пятки, и Кутузов верно расценил беспокойство Лористона, который сказал ему:

— Ради спешности дела мой император согласен пропустить князя Волконского на Петербург через... через Москву!

Волконский тоже был человеком ума тонкого.

— А мы, русские, не спешим, — усмехнулся он. — Думаю, что в объезд Москвы дорога-то моя будет вернее...

Время, время! Лористон истерзал перчатки, комкая их нещадно; уже не скрывая волнения, он спросил напрямик:

- Какое значение может иметь наша беседа?

На колени Кутузова вскочил котенок, и он его гладил.

— А никакого! — был ответ, убийственный для Лористона. — Я не склонен придавать нашей беседе ни военного, ни, паче того, политического характера. Все подобные разговоры мы станем вести, когда ни одного чужеземца с оружием в руках не обнаружится на нашей священной русской земле...

Лористон сложил руки на эфесе боевой шпаги:

- Не забывайте: наши армии почти равны в силах!
- Я знаю, откровенно зевнул Кутузов...

За полчаса до полуночи Лористон покинул главную квартиру и вернулся к аванпостам, где его с нетерпением поджидал неаполитанский король — Мюрат... Лористон сказал ему:

- Коленкур умнее меня он избежал позора.
- Нам следует подумать и о себе, отвечал Мюрат. Слишком много получили мы славы и слишком мало гарантий для будущего.

Горячий и необузданный, Мюрат вскочил на коня, и конь

вынес его к бивуакам русским, где возле костра сидел генерал Михаил Милорадович, обглалывая большую жирную куриную ногу.

— Не хватит ли уже испытывать наше терпение? — крикнул ему король. — Выпишите мне подорожную до Неаполя, и я клянусь, что завтра же ноги моей не будет в России.

Галльский юмор требовал ответного — русского.

— Ну, король! — отвечал Милорадович, держа в одной руке бокал, а в другой курицу. — С подорожной до Неаполя вы обращайтесь к тому, кто подписал вам подорожную до Москвы...

Мюрат занимал позицию в авангарде армии.

— Мой родственник, — говорил о нем Наполеон, — это гений в седле и олух на земле. Он теперь повадился навещать русские аванпосты, где казаки дурят ему голову похабными анекдотами и выпивкой. Боюсь, что русские не такие уж наивные люди, как ему кажется, и они просто водят короля за нос...

В ожидании Лористона император не спал, проведя ночь в беседах с генералом Пьером Дарю. Обретя небывалую откровенность, Наполеон раскрыл перед ним свои последние козыри:

— Еще не все потеряно, Дарю! Я еще способен ударить по Кутузову, отбросить его в леса от Тарутинского лагеря, после чего форсированным маршем проскочу до Смоленска.

Дарю тоже был предельно откровенен:

— Едва вы стронете армию из-под Москвы, все солдаты пойдут не за вами, а побегут прямо домой, нагруженные гигантской добычей, чтобы как можно скорее торговать и спекулировать плодами своего московского мародерства...

- Так что же нам делать, Дарю?

- Оставаться здесь, в Москве, которую следует превратить в крепость, и в Москве ожидать весны и подкреплений из Франции.
- Это совет ль в a! отвечал Наполеон. Но... что скажет Париж? Франция в мое отсутствие потеряет голову, а союзные нам Австрия и Пруссия начнут смотреть в сторону Англии... Ваш совет, Дарю, очень опасен... хотя бы для меня!

Сосредоточенный, он выслушал доклад Лористона о посещении им ставки Кутузова. Прямо в открытую рану Наполеона Коленкур безжалостно плеснул свою дозу яда:

— И как велико желание вашего величества к миру, так

теперь велико желание русских победить вас.

Наполеон схватил Коленкура за ухо — больно:

— По возвращении из Петербурга — да! — вы пять часов подряд уговаривали меня не тревожить Россию. Я бы осыпал вас золотом, Коленкур, если бы вы сумели отговорить меня от этого несчастного похода. А теперь? Если уйти, то... как уйти? Европа

сразу ощутит мою слабость. Начнутся войны, каких еще не знала история. Москва для меня — не военная, а политическая позиция. На войне еще можно отступить, а в политике... никогда!

Он резко, всем корпусом, повернулся к Бертье:

— Пишите приказ: дальше Смоленска не тащить к Москве пушки и припасы. Теперь это бессмысленно. У нас передохли лошади, и нам не вытащить отсюда все то, что мы имеем.

Наполеон пробыл в Москве всего тридцать четыре дня. В день, когда он проводил смотр войскам маршала Нея, дворы Кремля огласились криками, послышался отдаленный гул. Все заметили тревогу в лице императора, он окликнул своего верного палалина:

- Бертье, вы объясните мне, что это значит?
- Кажется, Милорадович налетел на Мюрата... Кутузов от Тарутинского лагеря нанес удар! Тридцать восемь пушек уже оставлены русским. Мюрат отходит. Его кавалерия едва таскает ноги, а казацкие лошади свежей. Наши французы забегали по лесам как зайны.
- Теперь все ясно, сказал Наполеон. Нам следует уходить из Москвы сразу же, пока русские не загородили коммуникации до Смоленска... Однако не странно ли вам, Бертье: здесь все принимают меня за генерала, забывая о том, что я ведь еще и император!

Покидая Москву, он произнес эловещие слова:

- Я ухожу, и горе тем, кто станет на моем пути... Иначе мыслил Коленкур, шепнувший Лористону:
- Вот и начинается страшный суд истории...

Анне Никитичне Нарышкиной, владелице села Тарутино, фельдмаршал Кутузов, князь Смоленский, писал тогда, что со временем название этого русского села будет памятно в российской истории наряду с именем Полтавы, и потому он слезно просил помещицу не разрушать фортеций оборонительных — как память о грозном 1812 годе. «Пускай уж время, а не рука человеческая их уничтожит!» — заклинал Кутузов...

Вторую картину — «Лористон в ставке Кутузова» — наш замечательный мастер живописи Н. П. Ульянов создавал в тяжкие годы Великой Отечественной войны, когда враги вновь потревожили историческую тишину Бородинского поля. Его картина «Лористон в ставке Кутузова» служила грозным предупреждением захватчикам, которых в конечном счете ожидал такой же карающий позор и такое же беспощадное унижение, какие выпали на долю зарвавшегося Наполеона и его надменных приспешников...

Очень хотелось мне сказать больше того, что я сказал. Но я, кажется, сказал самое главное, и этого пока достаточно.

ЧТО ДЕРЖАЛА В РУКЕ ВЕНЕРА

В апреле 1820 года древний ветер с Эгейского моря принес к скалам Милоса французскую бригантину «Лашеврет». Сонные греки смотрели с лодок, как, убрав паруса, матросы травят на глубину якорные канаты. С берега тянуло запахом роз и корицы, да кричал петух за горою — в соседней деревне.

Два молодых офицера, лейтенант Матерер и поручик Дюмон-Дарвиль, сошли на нищую античную землю. Для начала они завернули в гаванскую таверну; трактирщик плеснул моря-

кам в бокалы черного, как деготь, местного вина.

Французы, — спросил, — плывут, наверное, далеко?

— Груз для посольства, — отвечал Матерер, швыряя под стол кожуру апельсина. — Еще три ночи, и будем в Константинополе...

Надсадно гудел церковный колокол. Неуютная земля покрывала горные склоны. Да зеленели вдали оливковые рощицы.

Нищета... тишь... убогость... кричал петух.

— А что новенького? — спросил Дюмон-Дарвиль у хозяина

и облизнул губы, ставшие клейкими от вина.

— Год выпал спокойный, сударь. Только вот зимой треснула земля за горою. Как раз на пашне старого Кастро Буттониса, который чуть не упал с плугом в трещину. И что бы вы думали? Наш Буттонис упал прямо в объятия прекрасной Венеры...

Моряки заказали еще вина, попросили поджарить рыбы.

— Ну-ка, хозяин, расскажите об этом подробнее...

Кастро Буттонис глядел из-под руки, как к его пашне издалека шагают два офицера, ветер с моря треплет и комкает их нежные шарфы. Но это были не турки, которых так боялся греческий крестьянин, и он успокоился.

- Мы пришли посмотреть, сказал лейтенант Матерер, где тут треснула у тебя земля зимою?
- О господа французы, разволновался крестьянин, это такое несчастье для моей скромной пашни, эта трещина на ней. И всё виноват мой племянник. Он еще молод, силы в нем много, и так сдуру налег на соху...
 - Нам некогда, старик, пресек его Дюмон-Дарвиль.

Буттонис подвел их к впадине, открывающей доступ в подземный склеп, и офицеры ловко спрыгнули вниз, как в трюм корабля. А там, под землей, стоял беломраморный цоколь, на котором возвышались вдоль бедер трепетные складки одежд.

- Но только до пояса бюста не было. А где же главное? крикнул из-под земли Матерер.
- Пойдемте со мной, добрые французы, предложил старик.

Буттонис провел их в свою хижину: Нет, он никого не хочет обманывать. Ему с сыном и племянником удалось перетащить к себе только верхнюю часть статуи. Знали бы господа офицеры, как это было тяжело.

- Мы несли ее через пашню бережно. И часто отдыхали...

Средь нишенского убожества, обнаженная до пояса, стояла чудная женщина с лицом дивным, и офицеры быстро переглянулись — взглядами, в которых читались миллионы франков. Но крестьянин умел читать только свою пашню, а в людские глаза смотрел открыто и чисто.

- Продам... купите, - предложил он наивно.

Матерер, стараясь не выдать волнения, отсыпал из кошелька в сморшенную ладонь землепашца:

- На обратном пути в Марсель мы заберем богиню у тебя. Буттонис перебрал на своей ладони монеты:
- Но священник говорит, что Венера за морями стоит дороже всего нашего Милоса с его виноградниками.
- Это лишь задаток! не вытерпел Дюмон-Дарвиль. Мы обещаем вернуться и привезем денег сколько ни спросишь...

С вечера задул сильный ветер, но Матерер не брал паруса в спасительные рифы. Срезая фальшбортом клочья пены, «Лашеврет» влетел в гавань Константинополя, и два офицера появились на пороге посольства. Маркиз де Ривьер, страстный поклонник всего античного, едва успел дослушать их о небывалой находке — сразу дернул сонетку звонка, вызывая секретаря.

— Марсюллес, — возвестил он ему торжественно, — через полчаса вы будете уже в море. Вот письмо к капитану посольской «Эстафеты», который да будет повиноваться вам до тех пор, пока Венера с острова Милос не явится пред нами. В деньгах и пулях советую не скупиться... Ветра вам и удачи!

«Лашеврет» под командой Матерера больше никогда не вернулся в родной Марсель, пропав безвестно. А военная шхуна французского посольства «Эстафета» на всех парусах рванулась в сторону Милоса. Среди ночи остров замерцал точкой далекого огня. Никто из команды не спал. Марсюллес уже зарядил пистолет пулей, а кошелек — хорошей дозой чистого золота.

Античный мир, прекрасно-строгий, вызывая восторги людей, понемногу открывал свои тайны, и на шхуне все — от юнги до дипломата — понимали, что эта ночь окупится потом благодарностью потомства.

Марсюллес, волнуясь, хлебнул коньяку из фляжки капитана.

- Пойдем напрямик, сказал он, чтобы не тащиться пешком от деревни до гавани... Видите, светит в хижине огонь?
- Ясно вижу! ответил капитан, уже не глядя на картушку компаса; берег, блестя под луной острыми камнями, резко выступал в белой окантовке прибоя...
- Я вижу людей! заголосил вдруг вахтенный с бака. Они что-то тащат... белое-белое. И корабль! Как Божий день, я вижу прямо по носу турецкий корабль... с пушками!

Французы опоздали. В бухте уже стояла громадная военная фелюга. А по берегу, осиянные лунным светом, под тяжестью мрамора брели турецкие солдаты. И между ними, повисшая на веревках, качалась Венера Милосская.

- Франция не простит нам, задохнулся в гневе Марсюллес.
- Но что же делать? обомлел капитан.
- Десанту по вельботам! велел секретарь посольства. Боевые патроны в ружья, на весла по два человека... Дорогой капитан, на всякий случай прощайте!

Матросы гребли с такой яростью, что в дугу сгибались ясеневые весла. Турки подняли гвалт. Венеру они сбросили с веревок. И, чтобы опередить французов, покатили ее вниз по откосу, безжалостно уродуя тело богини.

— Бочка вина! — крикнул матросам Марсюллес. — Только гребите, гребите, гребите... именем Франции!

Он выстрелил в темноту. Затрещали в ответ пистоли.

Склонив штыки, десант французов бросился вперед, но отступил перед свирепым блеском обнаженных ятаганов.

Венера прыгала по рытвинам — прямо в низину гавани.

— Что вы стоите? — закричал Марсюллес. — Две бочки вина. Честь и слава Франции — вперед!

Матросы в кровавой схватке обрели для Франции верхнюю часть Венеры — самую вожделенную для глаз. Богиня лежала на спине, и белые холмы ее груди безмятежно отражали сияние недоступных звезд. А вокруг нее гремели выстрелы...

— Три бочки вина! — призывал Марсюллес на подвиг.

Но турки уже вкатили цоколь на свой баркас и, открыв прицельный огонь, быстро отгребали в сторону фелюги. А французы остались стоять на черных прибрежных камнях, среди которых блестели осколки паросского мрамора.

— Собрать все осколки, — распорядился Марсюллес. — Каждую пылинку благородства... Вечность мира — в этих обломках!

Бюст богини погрузили на корабль, и «Эстафета» стала нагонять турецкий парусник. Из-за борта высунулась пушка.

- Верните нам ее голову, озлобленно кричали турки.
- Лучше отдайте нам ее зад, отвечали французы.

Канонир прижал фитиль к запалу, и первое ядро с тихим шелестом нагнало турецкую фелюгу. Марсюллес схватился за виски:

-- Вы с ума сошли! Если мы сейчас их потопим, мир уже никогда не увидит красоты в целости... О боже, нас проклянут в веках и будут правы...

Турки с воинственными песнями натягивали драные паруса. Марсюллес сбежал по трапу в кают-компанию, где на диване покоилась богиня.

— Руки? — закричал в отчаянии. — Кто видел ее руки? Нет, никто из десанта не заметил на берегу рук Венеры... Начались дипломатические осложнения (из-за рук).

— Но турки, — сказал маркиз де Ривьер, раздосадованный, — также отрицают наличие рук... Куда же делись руки?

Султан турецкий никогда не противился влиянию французского золота, а потому нижняя часть богини была им предоставлена в распоряжение Франции. Из двух половин, разрозненных враждой и завистью, Милосская Венера предстала в целости (но без рук). Мраморная красавица вскоре отплыла в Париж — маркиз де Ривьер приносил ее в дар королю Людовику XVIII, который был напутан и растерялся от такого подарка.

— Спрячьте, спрячьте Венеру поскорее! — сказал король. — Ах, этот негодный маркиз... Пора бы уж ему знать, что королям не дарят ворованные вещи!

Людовик тщательно скрывал от мира похищение статуи с Милоса, но тайна проникла в печать, и королю ничего не оставалось делать, как выставить Венеру в Лувре — для всеобщего обозрения.

Так-то вот в 1821 году Венера Милосская явилась перед взорами людей — во всей своей красоте.

Археологи и ценители изящного сразу же стали ломать себе головы в мучительных загадках. Кто автор? Какая же эпоха? Вы только посмотрите на этот сильный нос, на трактовку уголков губ; какой крохотный и милый подбородок. А — шея, шея, шея...

Пракситель? Фидий? Скопас?

Ведь это же — доподлинно образец эллинистической красоты!

Но сразу же встал неразрешимый вопрос:

- Что держала в руке Венера?

И этот спор затянулся на половину столетия.

— Венера держала в руках щит, поставленный прямо перед

собой, — говорили одни историки.

- Глупости! возражали им. Одною рукой она стыдливо прикрывала свое лоно, а вторая рука несла воинственное копье.
- Вы ничего не поняли, профан, раздался третий голос, не менее авторитетный. — Венера держала перед собой большое зеркало, в которое и разглядывала свою красоту.

— Ах, как вы неправы, дорогой маэстро! Венера с Милоса уже вышла из той эпохи, когда атрибутику ее составлял круглый предмет. Нет, она делает отталкивающий жест стыдливости!

— Мой амфитрион, вы сами не понимаете разгадку рук. Скорее, что сам создатель, в порыве недовольства, пожелал уничтожить свое создание. Он отбил ей руки, а потом... пожалел.

Да, в самом деле, что же, наконец, держала в руке Венера, найденная на острове Милос греческим крестьянином по име-

ни Кастро Буттонис?..

Лувр манил людей. Все восхищались. Но подвергнуть богиню реставрации нечего было и думать, ибо не выяснен главный вопрос: р у к и! А безрукая Венера стояла под взглядами тысяч людей, вся в обворожительной красоте, и никто не мог разгалать ее тайны...

Миновало полвека. Жюль Ферри, французский консул в Греции, приплыл в 1872 году на остров Милос. Так же тянуло с берега ароматом роз и корицы, так же плеснул ему трактирщик густого и черного вина.

До деревни здесь далеко ли? — спросил Ферри, вращая

стакан в липких пальцах.

- Да нет, сударь. Сразу за горой, вы там сами увидите...

Ферри постучался в веткую лачугу, которая совсем развалилась за эти прошедшие 52 года. Дверь тихо скрипнула.

Перед консулом стоял сын Кастро Буттониса, а на лавке лежал племянник — дряхлый, как и его брат.

Нищета сразила Ферри запахом луковой похлебки и подгорелых в золе лепешек. Нет, здесь ничто не изменилось...

— A вы хорошо помните Венеру? — спросил Ферри у крестъян.

Четыре землистые руки протянулись к нему:

— Сударь, мы тогда были еще очень молоды, и мы бережно несли ее от самой пашни... О, сейчас нам и себя не пронести так осторожно!

Ферри прицелился взглядом на пустой очаг бедняков.

- Ну, ладно. А кто из вас может вспомнить: что держала в руке Венера?
 - Мы оба хорошо помним, закивали в ответ крестьяне.
 - Так что же... ч т о?
 - В руке у нашей красавицы было яблочко.

Ферри был поражен простотой разгадки. Даже не поверил:

- Неужели яблоко?
- Да, сударь, именно яблочко.
- А что держала ее вторая рука? Или вы забыли?

Старики переглянулись.

— Сударь, — ответил один из Буттонисов, — мы не можем ручаться за других Венер, но наша, с острова Милос, была целомудренной женщиной. И будьте покойны: ее вторая ручка тоже не болталась без дела.

Жюль Ферри, вполне довольный, приподнял цилиндр:

— Желаю здоровья...

Он вышел из хижины. Вобрал в себя глоток свежего возду-ха.

Подъем в гору казался легок, как в детстве. Итак, кажется, все ясно...

— Хороший господин! — раздался за его спиной дребезжащий голос: это Буттонис-сын, опираясь на палку, ковылял за ним следом. — Остановитесь, пожалуйста...

Ферри подождал, когда он приблизится.

— Не обессудьте на просьбе, — сказал старик, потупив глаза в землю. — Но священник говорит, что наша Венера стала очень богатой дамой. И живет теперь во дворце короля, какой нам и не снился. Это мы открыли ее красоту, ковыряясь в грязной земле, и с тех пор мы бедны, как и тогда... еще в юности. А ведь вот этими-то руками...

Ферри поспешно сунул старику монету.

- Хватит? - спросил насмешливо.

И, более не оглядываясь, дипломат торопливо зашагал в сторону близкого моря. Как и полвека назад, звонко кричал петух за горою...

С тех пор прошло немало лет. И до сего времени копают

археологи землю острова Милос — в чаянии найти, средь прочих сокровищ, и утерянные руки Венеры.

…Не так давно в нашей печати промелькнуло сообщение, что один бразильский миллионер за 35 000 долларов приобрел руки Венеры Милосской... Только руки! При продаже с него взяли расписку, что три года он должен молчать о своей покупке. И три года счастливый обладатель рук Венеры хранил клятву. Когда же тайна рук обнаружилась, ученые-археологи заявили, что эти руки — чьи угодно, только не Венеры Милосской. Проще говоря, миллионера надули...

А мир уже настолько свыкся с безрукой Венерой с Милоса, что я иногда думаю: а может, и не надо ей рук?

Наверное, не все читатели останутся мною довольны, ибо я не рассказал о Венере Таврической, которая с давних пор служит украшением нашего Эрмитажа. Но повторять рассказ о ее почти криминальном появлении на берегах Невы у меня нет желания, так как об этом уже не раз писалось.

Да, писали много. Вернее, даже не писали, а переписывали то, что было известно ранее, и все историки, словно сговорившись, дружно повторяли одну и ту же версию, вводя читателей в заблуждение. Долгое время считалось, что Петр I попросту обменял статую Венеры на мощи св. Бригитты, которые он якобы заполучил как трофей при взятии Ревеля. Между тем, как недавно выяснилось, Петр I никак не мог совершить столь выгодного обмена по той причине, что мощи св. Бригитты покоились в шведской Упсале, а Венера Таврическая досталась России потому, что Ватикан желал сделать приятное российскому императору, в величии которого Европа уже не сомневалась.

Несведущий читатель невольно задумается: если Венеру Милосскую нашли на острове Милос, то Венеру Таврическую, надо полагать, отыскали в Тавриде, иначе говоря — в Крыму?

Увы, она была обнаружена в окрестностях Рима, где пролежала в земле тысячи лет. «Венус Пречистую» везли в особой коляске на пружинах, которые избавили ее хрупкое тело от рискованных толчков на ухабах, и лишь весной 1721 года она явилась в Петербурге, где ее с нетерпением ожидал император. Она была первой античной статуей, которую могли видеть русские, и я бы покривил душой, если бы сказал, что ее встретили с небывалым восторгом...

Напротив! Был такой хороший художник Василий Кучумов, который на картине «Венус Пречистая» запечатлел момент явления статуи перед царем и его придворными. Сам-то Петр I смотрит на нее в упор, очень решительно, но Екатерина затаила усмешку, многие отвернулись, а дамы прикрылись ве-

ерами, стыдясь глядеть на языческое откровение. Вот купаться в Москве-реке при всем честном народе в чем мама родила — это им не было стыдно, но видеть наготу женщины, воплощенную в мраморе, им, видите ли, стало зазорно!

Понимая, что не все одобрят появление Венеры на дорожках Летнего сада столицы, император указал поместить ее в особом павильоне, а для охраны поставил часовых с ружьями.

— Чего разинулся? — покрикивали они прохожим. — Ступай дале, не твово ума дело... царское!

Часовые понадобились не зря. Люди старого закала нещадно бранили царя-антихриста, который, мол, тратит деньги на «голых девок, идолиц поганых»; проходя мимо павильона, староверы отплевывались, крестясь, а иные даже швыряли в Венеру огрызки яблок и всякую нечисть, видя в языческой статуе нечто сатанинское, почти дьявольское наваждение — к соблазнам...

Шло время, Петра I не стало, отплясала свое веселая Елисавет, о Венере вспомнила Екатерина II, которая и подарила ее князю Потемкину для убранства его Таврического дворца (почему и сама Венера стала именоваться Таврической). Но после смерти Потемкина и Екатерины император Павел I подверг Таврический дворец нещадному погрому, желая обратить его в конюшни гвардии, и наша несчастная Венера долгое время находилась в забвении на складах гоф-интендантской (придворной) конторы, всеми забытая, окруженная вещами, далекими от искусства.

О ней вспомнили лишь в 1827 году и отдали на реставрацию знаменитому скульптору Демут-Малиновскому. А в середине прошлого столетия Венеру торжественно внесли в здание Эрмитажа, где она красуется и поныне, сохранив свое прежнее название — Таврическая...

Свой короткий рассказ о двух прекрасных «сестрах», Милосской и Таврической, я закончу отчасти неожиданно для читателя.

В пору душевного смятения и трагического надлома в жизни писатель Глеб Успенский, будучи в Париже, навестил Лувр и... надолго замер перед Венерой Милосской.

Встреча с нею стала для него целительной. «Это действительно такое лекарство, особенно ее лицо, ото всего гадкого, что есть на душе, — что я даже не знаю, какое есть еще другое?» — спрашивал он сам себя.

И произошло чудо: разом отпали душевные сомнения, жизнь заново осиялась волшебным светом, после чего Глеб Успенский выпрямился от былых невзгод, уверенный в себе и своих силах — как еще никогда не бывал он уверен ранее.

Чудо, спросите вы меня? Да, чудо, отвечу я вам.

Потому-то он свою встречу с Венерой и запечатлел в очерке, который так и назвал: «В Ы ПРЯМИЛА».

...Не будем же меркантильны, блуждая по залам музеев, стараясь по-обывательски угадать, сколько копеек или сколько миллионов рублей стоит тот или иной обломок человеческой древности.

Подлинное искусство оценивается не деньгами и тем более не стоимостью входного билета в музей.

Поверьте, оно способно изменить и улучшить наш бестолковый мир, в котором мы, грешные, еще живы; именно шедевры искусства способны «выпрямить» и всех нас, населяющих этот мир, чтобы мы стали чище, возвышеннее и благороднее...

Всего доброго, мой милейший читатель.

До встречи в Эрмитаже, а может, и даже в Лувре.

Уверен, что многим из нас необходимо «выпрямиться».

одинокий в своем одиночестве

Время от времени газеты оповещают нас о катастрофах в шахтах от взрывов рудничного газа, и я невольно вспоминаю Теодора Гроттуса. В летние сезоны пригородные электрички Риги переполнены приезжими, жаждущими исцеления на бальнеологических курортах, и я снова думаю о Гроттусе. Я слежу за падающей звездой — опять возникает Гроттус. Наконец, на улицах я вижу перекрашенных блондинок, пожелавших стать огненными брюнетками, и, черт побери, в моей памяти опять возрождается загадочный барон Теодор Гроттус...

Что мы знаем, читатель, об этом Мефистофеле?

Справедливо, когда судьбою физика занимаются физики, о химиках пишут химики. Они со знанием дела выявляют суть научных процессов. Но их суждения о человеке остаются односторонними, ибо им зачастую чужды (а порою даже мешают) чисто человеческие черты ученого. В таких случаях литераторы смотрят шире: они ставят на первый план самого человека, а физические формулы или химические реторты служат лишь приятным декором к написанию портрета ученого. Об этом в свое время хорошо сказал еще Николай Лесков: «Литератор не ученый, но он более чем ученый. Он не так фундаментально образован, как последний, но он всестороннее его...»

Ладно! Я не собираюсь наживать себе врагов в мире науки и техники, а чтобы избежать нареканий ученых, приведу здесь цитату из авторитетного академического справочника, в кото-

ром о бароне Гротгусе сказано, что он «изложил первый закон фотохимии, гласящий, что только поглощенный свет может вызвать хим. превращение (закон Гротгуса). Открыл явление ускоренного окисления веществ свободным кислородом под действием света и тем самым вплотную подошел к известной в настоящее время теории фотохимии, активации кислорода. Установил влияние температуры на поглощение и излучение света...»

Из подобных слов, не имея технического образования, не догадаться, что за списком научных открытий Гротгуса затаилось, как хищный зверь в засаде, трагическое одиночество че-

ловека, который хотел спасти самого себя.

Именно спасти, ибо он не мог больше жить!

Зимою 1785 года доктора Моруса, куратора Лейпцигского университета, навестил странный человек, назвавшийся поэтом:

 Меня зовут Христиан Вейсе. Я зашел к вам, чтобы с вашего дозволения был выписан студенческий матрикул.

— На чье имя? — величаво осведомился куратор.

 На имя барона Христиана-Йоганна-Дитриха Гротгуса, семья которого из Митавы, столицы Курляндского герцогства.

— Прекрасно! — согласился доктор Морус, имевший давнюю слабость к титулам, и уже придвинул к себе лист бумаги. — Но я должен знать о возрасте нашего нового студента.

— Об этом лучше не спрашивайте, — захохотал поэт. — Наш высокочтимый студент родился только вчера. Я, как его крестный отец, разумно решил, что для младенца нет лучшего подарка на свете, чем зачисление в студенты с пеленок.

- Это невозможно! - отбросил перо куратор.

— А почему же? — удивился писатель. — Курляндия, как и Карелия, издревле поставляла Европе волхвов, звездочетов и алхимиков. Откуда вы что знаете? Может, отказывая младенцу в матрикуле, вы лишаете мир нового волшебника Нострадамуса.

Христиан Вейсе все-таки уговорил Моруса, и куратор сдался на уговоры, узнав, что бароны Гротгусы занимают не последнее место среди курляндской знати. Весьма довольный, поэт навестил гостиницу, в которой супруги Гротгусы остановились проездом на родину, и торжественно возложил удостоверение студента поверх орущего в колыбели младенца:

- Пусть он сразу набирается высокого разума.

— Наш сын будет камергером, — отвечала гордая мать.

- Скорее уж... музыкантом, - скромно заметил отец...

Здесь я вынужден сделать паузу, дабы сообщить малую толику о том, кто такие Гротгусы («гротен гусен» — большой дом). В давние времена один из «большого дома» Гротгусов был по-

слом Ливонского ордена при царе Иване Грозном; уже тогда Гротгусы владели землями под городом Бауск — именно там, где сейчас красуется дворец-музей Рундале (Руентале), место паломничества многих туристов. Бароны, судя по всему, были большими непоседами, они слонялись по Европе как неприкаянные, служили то в прусской, то в русской армии — как им котелось.

Отец нашего героя Эвальд славился в Германии как пианист и композитор, но, пораженный глухотой, рано умер, оставив годовалого сына на руках молодой вдовы, происходившей тоже из Гротгусов, а значит, родственной мужу. При этом я начинаю думать: не кроется ли в родстве отца и матери та генетическая тайна природы, которая от рождения заложила в их ребенка ту невыносимую боль, от которой Гроттус всю жизнь не мог избавиться, словно наказуемый за грехи родителей?

Овдовев, баронесса Гроттус увезла болезненного ребенка в свое родовое имение Геддуц (ныне Гедучяй), заброшенное в тех местах, где земли литовские смыкались с курляндскими. Здесь мальчик был окружен книгами отцовской библиотеки, коллекциями минералов, играл на рояле, доставшемся его отцу от Эммануила Баха; желая рисовать, сам пробовал составлять краски. Он мечтал быть художником или музыкантом, но... Не от этих ли красок и зародилась в нем первая любовь к химическим опытам? Мальчику исполнилось десять лет, когда Курляндия вошла в состав великой Российской империи, и таким образом Гроттус с детства ощутил себя русским подданным.

Тщеславная мать иногда вспоминала о матрикуле:

— Но я думаю, сын мой, что в науку пусть идут дети аптекарей и пивоваров, а тебе лучше подумать о здоровье...

Непонятные боли накатывались на мальчика приступами, всегда неожиданными, но мучительными. Мать возила сына лечиться в Митаву, где у Гроттуса завелся приятель. Это был аптекарский ученик Генрих Биддер, по роду своего ремесла знакомый с химией. В те времена аптекари готовили даже ликеры и марципаны, отчего в аптеках всегда толпились люди, алчущие выпить и обсудить прочитанное в газетах. Мальчики тоже лакомились сладостями, они играли с шариками ртути, потом ставили с ртутью опыты. Биддер был сирота, он завидовал барону:

- У тебя матрикул уже в кармане, а мне, видит бог, всегда оставаться в аптеке на побегушках.
- Не горюй, Генрих, отвечал Гроттус. Я вернусь из Лейпцига ученым, и ты поставишь мне хороший клистир...

Ему бывало грустно покидать оживленную Митаву, снова возвращаясь в имение, окруженное мрачными лесами, в которых по ночам завывали волки да гугукали зловещие филины.

Мать вышла замуж за лесничего Закена; воспитание ее сына довершали заблудшие в эти края гувернеры, строгие менторы в вопросах морали и философии. Один из них, некто Бреннеке, был явно помешан на том, что Христос все-таки сорвался с распятия:

— Гвозди не выдержали груза его святости, и, бежав с Гол-

гофы, он еще двадцать семь лет скитался среди людей...

Если отбросить этот пункт помешательства, то в остальном Бреннеке был полезным учителем, знатоком истории и литературы, но он терпеть не мог химии, давая ученику пощечины:

— Оставьте свои смрадные опыты, лучше играйте на рояле. Неужели в этих занятиях вы сами не видите следы откровенно-

го чародейства, похожего на общение с дьяволом?..

Включение Курляндии в состав России совпало по времени с Французской революцией, а Митава сделалась как бы «проходным двором» между Европой и Петербургом; латышский историк Ян Страдынь писал, что «все находилось в движении, ожидании, постоянной смене идей и событий». Бреннеке недаром путался эловещей магии химических опытов, ибо Митава в ту пору знала всяческих кудесников — вроде Магнуса Кавалло, возвращавшего дамам косметическую молодость, в салонах титулованной знати веяло сатанинским духом от заклинаний с «того света» графа Калиостро, а знаменитый бабник Джованни Казанова был попросту изгнан из Митавы — как опытный шулер и торговец любовными эликсирами собственной выделки...

Имя генерала Бонапарта уже гремело в Европе, когда юный

Гротгус дружески обнял печального Биддера:

— Прощай, добрый лакомка Генрих! А мы с тобой славно

проштудировали Лавуазье по книжкам Гермштедта.

— Ты едешь в Лейпциг? — вздыхал Биддер. — Но, по слухам, профессура в Лейпциге столь безграмотна, что с ее помощью не отравить даже полудохлой подвальной крысы. Будь я на твоем месте, я бы сразу махнул в Париж, где консул Бонапарт не чуждается самой смелой науки...

Биддер оказался пророком: Гроттус нашел в Лейпциге кафедру химии в дурном состоянии, а тамошняя профессура ковырялась в лабораториях, больше похожих на запущенные сараи. Поздней осенью Гротгус велел запрягать лошадей в карету:

- Генрих прав - надо ехать в Париж...

Политехническая школа Парижа, обласканная Бонапартом, блистала знаменитостями века, и в общении с их умами Гротгус жадно поглощал знания: слог его речи и письма обрел французскую изящность, столь далекую от тяжеловесности лекций немецких профессоров. Однако занятия сказались на его здоровье, вскоре Гротгус заболел нервным переутомлением.

- Болит... все болит, жаловался он слуге Петеру.
 Неожиданно его вызвали в русское посольство.
- К сожалению, было ему сказано, генерал Бонапарт не довольствовался званием консула, пожелав стать императором. Уже клубятся тучи новой войны, а вам, как российскому подданному, следует покинуть пределы безумной Франции...

Из Марселя он отплыл на корабле в Италию, эту стародавнюю родину гальванизма, и по ночам, стоя на корме, подолгу наблюдал за фосфорическим свечением моря, мечтая о разгадке дивного явления природы. В пути он узнал, что ожидается извержение Везувия, и поспешил в Неаполь, чтобы не пропустить это редкое зрелище. Здесь, общаясь с иностранцами, Гротгус сократил свое тройное имя, называя себя Теодором (и с этим именем он вошел в науку). Итальянцы тогда увлекались тайнами электричества, порою видя в нем только забаву, всюду, куда ни придешь, ставили примитивные опыты; красавицы дарили пылкие поцелуи, называя их «электрическими». Английский врач Томпсон преподнес Гротгусу гальваническую батарею:

 Пусть она вызовет у вас приятные ощущения, когда вы вернетесь в свою Курляндию и станете вспоминать Италию...

Распознать причину болей Гротгуса врач не смог, но ознакомил его с богатой коллекцией старинных ядов:

— Выберите сами для себя яд, который я согласен подарить вам в знак нашей дружбы, — сказал Томпсон.

Везувий был неспокойным, и скоро в Неаполе появился знаменитый Александр Гумбольдт, который охотно привлек Гротгуса в свою компанию ученых и художников. 12 августа вулкан заработал, заодно с друзьями Гумбольдта юный курляндец поднялся на вершину вулкана, смело заглянул в клокочущий кратер.

- Не дышите! издали крикнул ему химик Гей-Люссак. Вы можете отравиться газами земной преисподней.
- Напротив, отвечал Гроттус, газы, наверное, еще пригодятся нам, как и электричество. Но если газы нельзя потрогать, то почему бы их не понюхать?.. Он дождался второго извержения Везувия, а время ожидания, пока вулкан грозно молчал, Гроттус заполнил изучением гальванического электролиза, бился над выделением водорода и кислорода на разных полюсах батареи. Не прошло и трех месяцев, как в Риме издали его первый научный труд «О разложении посредством гальванического электричества воды и растворенных в ней веществ»; из Италии слава о молодом ученом незаметно перепорхнула в Париж, а доктор Томпсон переслал труд Гроттуса в лондонские журналы; наконец, имя курляндского барона с почтением

произносили в кругу немецких ученых. Быстро освоив итальянский язык, Теодор Гротгус не спешил на родину, поглощенный разгадкою тайны ночных светляков, которых он безжалостно окунал в воду или в масло, окуривал их парами азота, а потом они заново оживали в струе кислорода. Пожалуй, никто еще до Гротгуса не занимался этой проблемой.

Настал 1806 год, когда Гротгус, томимый неясными предчувствиями, велел Петеру собирать багаж в дальнюю дорогу.

- Мы вернемся в Гедучяй? обрадовался слуга.
- Сначала навестим Париж...

В дороге, уже миновав Милан, Гротгус, утомленный, дремал в карете; была ночь, и было тихо, только мерно постукивали копыта лошадей. Дверца кареты вдруг распахнулась, при свете факелов Гротгус увидел два нацеленных в него пистолета, которые держал разбойник в черной маске.

.

Кошелек или жизнь! — потребовал он.
 Гроттус заметил, что тут целая банда, и ответил:

- Благородные синьоры, моя жизнь только еще начинается, а монеты в моем кошельке кончаются. Убедитесь сами...

Не поверив ему, бандиты разграбили весь багаж, и только тогда, убедившись в бедности путника, они с руганью исчезли во тьме. Гротгус рыдал на плече верного Петера.

— Что плакать, сударь, коли мы живы остались?

 Ах. Петер! — отвечал барон. — Я жалею не свою жизнь, а те раритеты, что собрал в Италии, теперь у меня осталось только вот это... порция яда из старинной коллекции!

Париж! Здесь, незаметный в плеяде ярких светил науки, Гротгус все же не затерялся, работая над газами; став почетным членом Гальванического общества, он был выдвинут Гей-Люссаком на соискание золотой «наполеоновской» медали.

- Покажите медаль, барон, просил вечером Петер.
- Ее получил английский химик Гемфри Дэви, который во многом следует моими же путями, - подавленно отвечал Гротгус. — Кажется, Петер, снова пришло время паковать багаж.

Гей-Люссак отговаривал его от возвращения на родину:

- Вы не боитесь пропасть в Курляндии, где, насколько я извещен, полно волков, медведей, болот и комаров? Где же вы там, в лесу, сыщете даже пустячный гальванометр?
- Я поймаю на болоте лягушку, распну ее на доске, и судорогой своих лапок она ответит мне на колебания тока. Нет, я не боюсь вернуться в родную глушь, ибо мне уже достаточно ясны проблемы, волнующие европейских ученых, а там, в своем Геддуце, я буду избавлен от влияния авторитетов. Там меня не коснутся академические интриги и соперничество...

По дороге на родину Теодор Гротгус был извещен, что Туринская академия наук избрала его своим членом-корреспондентом. Проезжая через Митаву, он велел задержать лошадей возле городской аптеки, украшенной чучелом страшного крокодила:

— Эй, как поживает аптекарский подмастерье?

Но Генрих Биддер, друг детства, уже стал известным врачом и сам владел аптекой. Они обнялись. Люди тогда были слишком сентиментальны, встреча стоила им немалых слез.

— С п а с и меня, — вдруг сказал Гротгус. — Я привез из Европы такую страшную боль в своем теле, что каждый прожитый день обращается в чудовищную пытку. Никто ведь еще не знает, что я живу на краю могилы и даже в своих опытах ищу секрет лекарства, способного исцелить меня.

Генрих Биддер угостил его крепким ликером.

— Что могу сделать я, скромный врач из Курляндского захолустья, если тебе не могли помочь лучшие врачи Европы? Впрочем, барон, моя аптечная лаборатория к твоим услугам...

«Как дорог он мне был! — вспоминал позже Биддер. — К сожалению, как врач я мог ему быть столь же мало полезен, как и остальные мои митавские коллеги. Он страдал неизлечимым органическим недутом в брюшной полости, истинный характер которого не выяснен. К тому же он жил духовною жизнью, а последняя полностью подавлялась физическим страланием».

Гроттус вернулся в карету, долго сидел в оцепенении. Петер сам указал кучеру заворачивать лошадей на Бауск:

— Оттуда лишь двадцать верст до нашего Гедучяя...

Открылась новая полоса жизни Теодора Гротгуса, которая может вызвать удивление небывалым мужеством этого хилого человека, искавшего спасения в неустанной работе. Мать Гротгуса опять овдовела, ученый обрел нового отчима — русского полковника Альбрехта. Маменька оказалась прижимиста, даже усадьбу сыну сдавала в аренду. Местное баускское дворянство откровенно посмеивалось над Гротгусом, ибо его жизнь была очень далека от той жизни, какой жили они, и Гротгус, явно обозленный на соседей, перестал украшать свою фамилию титульной приставкой «фон». В одиночестве отчуждения, сам одинокий, он нашел друга и помощника в своем лакее Петере.

— Конечно, — делился он с ним, — для соседей я непонятен, и, чего доброго, в глазах местного рыцарства я выгляжу помешанным чудаком. Наверное, так и есть, ибо я не секу своих крестьян, а их сирот считаю своими детьми. Наконец, я не гнушаюсь выгонять глистов у своих же рабов-крепостных...

Иногда по ночам из окон усадьбы вдруг вырывалась музыка — это Гротгус почти с яростью обрушивал свои костлявые пальцы на клавиши баховского рояля, доигрывая те мелодии, которые не успел доиграть его покойный отец. В таких случаях гедучяйские крестьяне жалели своего господина:

— Мучается! Опять у него болит... помоги ему Бог.

Хотя бы на одну минуту, читатель, погрузимся в потемки заброшенной усадьбы, представим себе обстановку примитивной лаборатории, где лягушки заменяли гальванометры, куда с большим опозданием доходили известия о новых открытиях в науке, а почтальоны никогда не навещали барона-отшельника, - и нам станет ясно: да, такая жизнь - почти подвиг! Но страшно подумать, что даже в подобных условиях, почти одичав, не мысля о семейном счастье, совсем одинокий, почти отверженный обществом, Теодор Гроттус продолжал побеждать боль, и, побеждая боль, он работал. Но... к а к? Иногда барон лишь выдвигал гипотезу, лишенный возможности подтвердить ее экспериментом, ибо у него не было нужных приборов, а лейденские банки он сам мастерил из обыкновенных стаканов. Но, даже ошибаясь, даже открывая, заново многое из того, что уже было открыто другими, Гротгус «затронул вопросы молекулярной физики и химии, учения об электромагнетизме и фотохимии, астрофизики и биологии, бальнеологии и медицины», так писал о нем профессор Ян Петрович Страдынь, лучший знаток биографии Гротгуса...

1812 год слишком известен, но для Гроттуса он оказался роковым. Весною, еще до нашествия Наполеона, вся Англия невольно вздрогнула от взрыва на шахтах Феллинга, взрыв рудничного газа разметал по штрекам останки погибших шахтеров. Гроттус, узнав об этом, сказал Петеру:

— Для меня этот взрыв знаменателен! Я ведь еще в Неаполе занимался воспламенением газов при давлении и, помнится, не раз беседовал об этом с Гумбольдтом... Мне интересно, что

теперь скажет мой английский коллега Дэви.

Но сначала отозвалась война. Неожиданно в Гедучяе появились конные драгуны Ямбургского полка, пьяный майор Буткевич напал на Гроттуса, его сабля оставила на голове ученого рану и разрубила ему пальцы. Гроттус, ни в чем не повинный, показал Петеру свою искалеченную руку:

— Думать я еще способен, но вот... музыка! Как теперь подойти к роялю с этими культяпками пальцев?

Корпус маршала Макдональда двигался на Митаву, под угрозой нашествия оказался близкий Бауск, и тогда Гротгус бежал в Петербург. На берегах Невы его встретили очень радушно, технические журналы Петербурга стали публиковать его статьи.

- Наконец, доказывали ему русские ученые, что вы там спрятались в своем имении? Не пора ли выходить в широкий мир и занять кафедру химии в Юрьевском университете?
- Но я же не имею никакой научной степени, у меня лишь матрикул студента, но я никогда не держал в руках диплома.
- Э, не беда! Немало дураков имеют научные титулы, да зато не имеют знаний, какими обладаете вы...

Увы, боли становились нестерпимы, и, полусогнутый от страданий Гротгус — после изгнания Наполеона — вернулся в тишь своего имения. Отсюда лишь две дороги: до почты Бауска, чтобы отправить письма, и до Митавы, где добрый Биддер утешит в сомнениях, окружит лаской своей семьи; наконец, в аптеке есть такие приборы, каких нет у него, у Гротгуса.

- А если... жениться? не раз намекал дружище.
- Да кому я нужен такой? скорбно ухмылялся Гроттус. Конечно, больной человек остается больным, и он согласится на все, лишь бы избавиться от раздирающей боли.
- Господи, однажды взмолился Гроттус, где оставить мне свою боль, подобно тому, как рептилия оставляет свою отжившую гадкую кожу? Великий стоик Зенон лишил себя жизни, не в силах превозмочь боль от ушиба пальца на руке. Так что его палец по сравнению с болью всего тела?...

Петер готовил ему горячие ванны из перегнившего навоза, из благоуханного раствора лаванды, фиалок и роз; он же подсказал, что неподалеку, в местечке Смардоны, текут целебные воды. Правда, крестьяне издавна лечили свои недуги в водах лесных ручьев или сидя по самое горло в грязи болот; известно, что великий пересмешник Денис Фонвизин тоже искал спасения на водах Балдоне (там, где ныне известный латвийский курорт), — Гроттус сам делал анализы минеральных источников, но они, шипящие, словно шампанское, мало помогали ему.

— Кажется, — рассуждал он, — Сенека был прав, говоря, что еще не все нам открыто, а многое решится в будущем, когда не станет меня, уставшего страдать... Ведь я полез даже в грязь, беря пример со свиньи. Откуда мы знаем истину? Может, грязь для свиньи — лучшее лекарство из природной аптеки?...

После войны Баварская академия наук избрала Гроттуса своим членом, но у себя дома он признания не получил. Вскоре английский химик Дэви изобрел безопасную лампу для рудокопов, используя для ее создания те идеи, суть которых давно высказывал Гроттус. Однако все лавры достались Дэви, и между

ними, ставшими соперниками, возникла резкая полемика в печати.

— Сэр Дэви, — с обидой говорит Гротгус, — упоминает мое имя лишь там, где находит ошибки в моих расчетах, но зато он коварно молчит обо мне, приписывая себе мысли, родившиеся в моей голове... еще тогда — в Неаполе!

Все это никак не улучшало состояния Гротгуса: и без того замкнутый, он сделался мрачным, нелюдимым, раздражительным.

Изредка его навещал в имении Генрих Биддер:

— Съездим в Митаву! Курляндское общество любителей науки и художников просит тебя подумать, почему пожары в городе чаще всего начинаются с загорания крыши...

Он писал о Гроттусе с большим сожалением: «Врожденная благожелательность к людям напоследок часто затемнялась подозрением и недоверием... Поспешные выводы из неполных и прерванных наблюдений, от которых он вынужден был потом отказываться, очень его огорчали. Он часто говорил, что потомство будет смотреть на него с презрением и насмешкой».

- К чему мне эта печальная жизнь, не раз слышал Биддер от Гротгуса. — Если я не могу работать в полную силу, начиная впадать в крайности выводов или заблуждаясь в них. Разве не кажется тебе, что моя жизнь клонится к концу? Я уповал на врачей и аптеки, сам лечил себя всякой дрянью, а теперь, истерзанный болями, ищу избавления от боли даже в ядах.
 - Что ты принимал? насторожился Биддер.
 - Сок анчарного дерева.
 - Будь разумнее, предупредил Биддер...

Нюрнберг приступил к изданию сочинений Теодора Гротгуса.

Он еще работал, и один Петер знал, каких усилий это ему стоило. Гротгуса увлекал таинственный мир метеоритов, иногда навещавших Землю из космоса, попутно он разрешил вопрос о химической окраске волос. Весна 1822 года выдалась ранняя, широко разлились вешние воды, и Гротгус, всегда одинокий в своем одиночестве, не мог проехать даже до Бауска, чтобы забрать свежую почту. Боль и тоска, тоска и боль... Изуродованной рукою Гротгус однажды вывел поверх листа дешевой писчей бумаги: «Моя последняя воля...» В завещании он давал волю слуте Петеру, просил его носить фамилию «Данкер».

— Неужели конец? — спросил он сам себя.

Он отодвинул яд, подаренный ему в Неаполе английским врачом Томпсоном, и деловитым жестом открыл футляр с тяжелыми карлебадскими пистолетами. Проверил работу курков...

14 марта в деревне Гедучяй крестьяне проснулись от одинокого выстрела — с болью было покончено. Навсегда!

Но одиночество не исчезло — даже после его смерти.

Бурное половодье затопило проселочные дороги, и в Митаве не сразу узнали, что Теодора Гротгуса не стало.

Генрих Биддер, всплакнув, составил письмо-некролог для публикации его в журналах Петербурга, а митавская газета помянула о завещании Гроттуса — слишком щедром. Но тут сразу же вмешался весь «большой дом» Гротгусов; родственники покойного возмутились, что он завещал свое состояние не им, а крестьянам, дабы избавить их в будущем от податей.

— Разве вы не знаете, что барон Гроттус был давно помешан? — напористо доказывали его родичи юристам. — Какое же это завещание, если оно составлено в припадке безумия, и не на гербовой, а на простой писчей бумаге...

Вместе с завещанием был предан забвению и сам ученый — так, что даже от могилы его на опушке Гедучяйского леса не осталось никаких следов, будто и не было человека. Сейчас на месте имения Гроттуса расположен литовский колхоз, старики показывали Яну Страдыню липовую аллею:

— От своих дедов мы слышали, что в конце аллеи когда-то находился могильный склеп... Там уже ничего не осталось!

Знатные наследники сделали все, чтобы до самого исхода столетия имя Гроттуса даже не упоминалось. Но ученые вышли на те рубежи открытий, к которым всю жизнь стремился одинокий Теодор Гроттус. Пришло время назвать имя первооткрывателя, и в 1892 году К. А. Тимирязев провозгласил громадное значение идей Гроттуса для развития науки в будущем времени.

Гроттус, как самоучка, ошибался во многом, но он никогда не ошибался в главном — в тех проблемах, которые обязательно возникнут в грядущей эпохе, в наши дни, читатель.

Злые и ограниченные людишки старались, чтобы имя этого человека исчезло из памяти потомства, а сейчас наши ученые делают все, чтобы воскресить его из мрака забвения.

Но каждый, кто хоть раз прикоснулся к личности Гроттуса, всегда удивляется, невольно восхищенный:

— Как этот несчастный «автодидакт», измученный болями и одиночеством, мог прийти к таким выводам, о которых тогдашняя наука Европы не имела даже представления...

Конечно, в судьбе Гротгуса все трагично. Но, скажите, когда и в каком гении не было заложено признаков трагедийности?

СЫН АРАКЧЕЕВА — ВРАГ АРАКЧЕЕВА

Кого угодно, но Аракчеева лентяем не назову. Он мог пять дней подряд пересчитывать богатый ассортимент военных поселений, пока в числе 24 523 лопат и 81 747 метел не обнаруживал убытка:

- Разорители! Куда делась одна метелка? Шкуру спущу... Выпоров человека, граф становился ласков к нему:
- Теперь, братец, поблагодари меня.
- За што, ваше сясество?
- Так я ж тебя уму-разуму поучил.

О нем масса литературы! В числе редких книг и «Рассказы о былом» некоего Словского (издана в Новгороде в 1865 году); книга не упомянута в аракчеевской библиографии. А начинается она так: «В Н-ской губернии, на правом берегу реки Волхова, находится село Г-но. Чудное это село!» Понятно, что губерния Новгородская, а село — Грузино, которое было не только имением Аракчеева, но и административным центром Новгородских военных поселений.

Все знали тогда о небывалой страсти Аракчеева к Настасье Минкиной, которая появилась в Грузине невесть откуда. Об этой женщине написано, пожалуй, даже больше, нежели о самом Аракчееве. «Настасья была среднего роста, довольна полная; лицо ее смугло, черты приятны, глаза большие и черные, полные огня... Характера живого и пылкого, а в гневе безгранична. Она старалась держаться как можно приличнее и всегда одева-

лась в черное». Привожу эту характеристику Словского потому, что она конкретна и не расходится с другими источниками. Правда, Николай Греч писал о Минкиной иначе: «Беглая матросская жена... грубая, подлая, злая, к тому безобразная, небольшого роста, с хамским лицом и грузным телом». Народ не понимал, отчего всемогущий граф так привязан к Настасье, и ходили слухи, будто Минкина околдовала Аракчеева, закормив его каким-то «волшебным супом», рецепт которого она вынесла из цыганского табора.

До наших дней уцелела великолепная икона богоматери с младенцем, висевшая до революции в соборе села Грузино; под видом богоматери на иконе изображена сама Настасья, а пухлый младенец на ее руках — это и есть Шумский, сын Аракчеева, враг Аракчеева.

Откуда он взялся?.. Настасья, желая крепче привязать к себе графа, решила завести ребенка. Но сама к деторождению была неспособна. Случилось так, что граф долго отсутствовал, а в деревне Пролеты у крестьянки Авдотьи Филипповны Шеиной умер муж, оставив жену беременной. Однажды вечером к жилищу вдовы подкатила графская коляска, из нее вышла Минкина и — в избу.

- Ну что, голубушка? заговорила приветливо. Видит Бог, я с добром прибыла... Когда ребеночка родишь, отдашь мне его, а сама объяви соседям, что Бог его прибрал.
- Нет, нет! зарыдала Авдотья. Как же я дите свое родное отдам? Смилуйся, госпожа наша... Или нет у тебя сердца?
- Сердце мое, отвечала Минкина спокойно, и потому, если не отдашь младенца, я тебя замучаю и, как собаку, забью! А теперь рассуди сама, сколь завидна выпадет судьба младенцу станет он сыном графа, дадим ему воспитанье дворянское, будет жить барином. От тебя требуется лишь едино: молчать да еще издали радоваться счастью своего дитяти...

Возражать Минкиной нельзя — уничтожит! Фаворитка графа обрадовала Аракчеева, что тот вскоре станет отцом. Авдотья Шеина поступила как ей велели: новорожденного мальчика отдала Минкиной и сама же стала его кормилицей. Приехал граф Аракчеев, любовно нянчился с младенцем, а его доверие к Настасье стало теперь неограниченным. Поначалу мальчика называли «Федоровым», потом Аракчеев решил сделать из него дворянина. Эту операцию он поручил своему генералу Бухмейеру, пройдохе отчаянному; тот поехал в город Слуцк, где адвокат Талишевский, большой знаток польской коронной дипломатики (науки о подлинности документов), ловко подделал документы на имя шляхтича Михаила Андреевича Шумского...

Воспитанием мальчика сначала занималась сама Настасья, которую огорчал яркий румянец на его щеках. «Словно мужицкий ты сын!» — говорила она и, чтобы придать сыну бледность, не давала есть досыта, опаивала его уксусом... Много позже Шумский вспоминал:

— Бедная моя кормилица! Я не обращал на нее внимания: простая баба не стоила того... Мне с младенчества прививали презрение к низшим. Если замечала мать (то есть Минкина), что я говорил с мужиком или играл с крестьянским мальчиком, она секла меня непременно. Но если я бил по лицу ногой девушку, обувавшую меня по утрам, она хохотала от чистого сердца. Можете судить, какого зверя готовили из меня на смену графа Аракчеева!

Аракчеев приставил к мальчику четырех гувернеров: француза, англичанина, итальянца и немца, которые образовали его в знании языков и светских приличиях; из рук гувернеров смышленый и красивый мальчик был отдан в пансион Колленса, где стал первым учеником... Аракчеев скрипучим голосом

внушал ему:

 Вам предстоят, сын мой, великие предначертания. Помните, что отец ваш учился на медные грошики, а вы — на

золотой рубль!

Выйля из-под опеки суровых менторов пансиона, Шумский попал в аристократический Пажеский корпус, где быстро схватывал знания («А на лекциях закона божия, — вспоминал он, — я читал Вольтера и Руссо!») В записках камер-пажа П. М. Дарагана сказано: «Аракчеев часто приезжал в Корпус по вечерам; молчаливый и угрюмый, он проходил прямо к кровати Шумского, садился и несколько минут разговаривал с ним. Не оченьто любил Шумский эти посещения...» Да, не любил! Ибо ненависть к царскому временщику была всеобщей, и Мишель уже тогда начал стыдиться своего отца. Весною 1821 года его выпустили из Корпуса в офицеры гвардии, Аракчеев просил царя, чтобы тот оставил сына при нем «для употребления по усмотрению»; на экипировку сына граф истратил 2 038 рублей и 79 конеек — деньги бешеные! Осмотрев юного офицера, граф сказал ему:

 Теперь, сударь, вы напишите мне письмо с изъявлением благодарности моей особе, и письмо ваше подошьем в архив, дабы потомство российское ведало, что я был человеком доб-

рым...

В столице, конечно, все знали, чей он выкормыш, знал и царь, который, в угоду Аракчееву, сделал Шумского сво-им флигель-адъютантом. Современник писал: «Баловень слепой и подчас глупой фортуны, красивый собой, с блестя-

щим внешним образованием — Шумский, казалось бы, должен был далеко пойти: путь перед ним был широк и гладок, заботливой рукой графа устранены все преграды, но... не тутто было!»

Человек умный и наблюдательный, Шумский не мог остаться равнодушным к аракчеевщине... В самом деле, жили мужики в своих, пусть даже убогих избах, но по своей воле, а теперь их жилища повержены, выстроены новые каменные дома («связи»!) — по линейке, по шаблону, так что дом соседа не отличить от своего; старики названы «инвалидами», взрослые — «пахотными солдатами», дети — «кантонистами», и вся жизнь регламентирована таким образом, что мужики строем под дробь барабанов ходят косить сено, бабы доят коров по сигналу рожка, и кому какая польза от того, что «на окошках № 4 иметь занавеси, кои надлежит задергивать по звуку колокола, зовущего к вечерне»? И за кажиую оплошку полагались наказания: гауптвахта, фухтеля, шпицругены. «Мы ведь только печкой еще не биты!» — говорили Шумскому военные поселенцы... Леса не нравились Аракчееву: разве это порядок, если сосна растет до небес, а рядом с нею трясется маленькая осинка? Вырубил граф все леса под корень, опутал землю сеткой превосходных шоссе, обсадил дороги аллеями, как на немецкой картинке, и каждое дерево, пронумеровав его, впредь велел стричь, будто солдата, чтобы одно дерево было точной копией другого. Порядок! Чистота при Аракчееве была умопомрачительной — курицам и свиньям лучше не жить (все уничтожены повсеместно). Собаку, коя осмеливалась залаять, тут же давили, о чем -- соответственно — писалась графу докладная записка, подшиваемая в архив: мол, такого-то дня пес по кличке Дерзай вздумал тишину нарушить, за что его... и т. д. Кладбища сельские граф выровнял так, что и следа от могил не осталось. Аракчеевшина — поле чистое!

И Шумский не хотел быть сыном Аракчеева...

Подсознательно он уже пришел к выводу, что Минкина ему не мать, а граф — не отец его. Однажды во время прогулки по оранжереям Грузина он напрямик спросил Аракчеева:

Скажите, чей я сын?Отцов да материн. Не пойму, чем вы недовольны?...

Шумский поздно вечером навестил и Настасью:

- А чей я сын, мамушка?

Минкина, почуяв недоброе, даже слезу пустила:

— Мой ты сыночек... Иль не видишь, как люблю тебя?

Врешь ты мне! — грубо сказал ей Шумский.

Настасья тяжко рухнула перед киотами.

— Вот тебе Бог свидетель! — крестилась она. — Пусть меня

ноженьки по земле не носят, ежели соврала...

Шумский велел запрягать лошадей. Было уже поздно, в «связях» Грузина погасли огни, только светилась лампа в кабинете графа, когда к крыльцу подали тройку с подвязанными (дабы не звенели) бубенцами. Шумский расслышал шорох возле колонны аракчеевского дворца и увидел свою кормилицу, провожавшую его в столицу.

Кровинушка ты моя... жа-аланный! — сказала она.

Именно в этот момент он понял, кто его мать. А мать поняла, что отныне таиться нечего. Впопыхах рассказала всю правду:

— Только не проговорись, родимый... Сам ведаешь, что бывает с бабами, которые Настасье досадят: со свету она сживет меня

Создалось странное положение: крестьянский сын, полкидыш к порогу Аракчеева, он был камер-пажом императрицы, он стал флитель-адьютантом императора. Шумский признавался: «Отвратителен показался мне Петербург; многолюдство улиц усиливало мое одиночество и всю пустоту моей жизни. Я ни в чем не находил себе утещения». Однажды на плац-параде Александр I был недоволен бригадой Васильчикова и велел Шумскому передать генералу свой выговор. В ответ Шумский услышал от Васильчикова французское слово «бастард», что по-русски означает ублюдок...

-- Нет! -- заорал Мишель в ярости, и конь взвился под ним на дыбы. — Ты, генерал, ошибся: я тебе не бастард... Знай же, что у меня тоже есть родители — и не хуже твоих, чай!

Боясь аракчеевского гнева, скандал поспешно замяли, но Шумский не простил обиды. Пришел как-то в театр, а прямо перед ним сидел в кресле Васильчиков, лицо к государю близкое. Мишель первый акт оперы просидел, как на иголках. В антракте пошел в буфет, где велел подать половину арбуза. Всю мякоть из него выскоблил — получилось нечто вроде котелка. И во время оперного действия он эту половинку арбуза смело водрузил на лысину своего обидчика:

— По Сеньке и шапка! Носи, генерал, на здоровье...

После этого Александр I велел Шумскому ехать обратно в Грузино: Аракчеев назначил сына командиром фузилерной роты и усадил его за изучение шведского языка (Шумский знал все европейские языки, кроме шведского). Он в глаза дерзил графу:

— Наверное, вы из меня хотите дипломата сделать? Отправьте послом в Париж, но не разлучайте с фузилерной ротой...

Герцен когда-то писал, что русский человек, когда все средства борьбы исчерпаны, может выражать свой протест и пьянством. Шумский и сам не заметил, как свернул на этот гибельный путь. Вскоре Минкина, что-то заподозрив, услала Авдотью Шеину из Грузина в деревню Пролеты; Шумский по ночам навещал мать в избе, из долбленой миски хлебал овсяный кисель деревянной ложкой и почасту плакал.

— Не пей, родимый. Опоили тебя люди недобрые.

— Не могу не пить! Все постыло и все ненавистно...

В июле 1824 года Александр I с принцем Оранским объезжал Новгородские поселения, и Аракчеев приложил немало стараний, чтобы «пустить пыль в глаза». На широком плацу, где царь принимал рапорты от полковников, пыль была самая настоящая — от прохода масс кавалерии. Шумский, будучи «подшофе», обнажив саблю, галопом поспешил на середину плаца. Дерзость неслыханная! Но... конь споткнулся под ним, Шумский выпал из седла, переломив под собой саблю.

— Шумский! — закричал царь. — Я тебя совсем не желал видеть. Тем более в таком несносном виде...

Аракчеев сгорбился. Александр I повернулся к нему:

— Это ваша рекомендация, граф! Благодарю...

Шумского потащили на графскую конюшню, где жестоко выпороли плетьми. Аракчеев присутствовал при этой грубой сцене:

- Секу вас не как слугу престола, а как сына своего...

Утром он провожал императора из поселений:

— Государь! А я с жалобой к тебе: *тебе*: *тебе* флигель-адъютант Шумский шалить стал... Что делать с ним прикажешь?

- Что хочешь, но в моей свите ему не бывать...

В 1825 году настал конец и Минкиной. Дворовая девушка Паша, завивая ей волосы, нечаянно коснулась щипцами лица фаворитки.

— Ты жечь меня вздумала? — прошипела Настасья и с калеными шипцами в руках набросилась на бедную девущку.

Вырвавшись от мучительницы, Паша кинулась бежать на кухню, где служил поваренком ее брат Василий Антонов.

— Кто тебя так истерзал? — спросил он сестру.

Услышав имя Настасьи, поваренок из массы кухонных ножей выбрал самый длинный и острый.

Минкина напрасно кричала, что озолотит его на всю жизнь. Антонов вернулся на кухню и вонзил нож в стенку:

— Вяжите меня. Я за всех вас расквитался...

Описать, что происходило с Аракчеевым, невозможно. Врачи даже подозревали, что он сошел с ума.

Подле могилы Настасьи он вырыл могилу и для себя. А потом в Грузино начались казни. В разгар казней скоропостижно скончался Александр I, но Аракчееву было сейчас не до этого.

Все его помыслы были о Минкиной: сгорбленный и состарившийся, граф блуждал по комнатам, повязав себе шею окровавленным платком убитой... Отныне с жизнью его связывала тонкая ниточка — это... сын! И граф не понимал, отчего сын не рыдает по матери!

Они встретились в церкви, и Аракчеев сказал:

— Помолись со мной за упокой ее душеньки...

И тут Шумский нанес ему сокрушительный удар.

— Моя мать жива, — ответил он...

Над могилой Минкиной он изложил Аракчееву всю печальную историю своего появления в графских покоях.

- Чего же мне теперь плакать и молиться?

— Уйдите, сударь, — сказал Аракчеев, пошатнувшись.

Шумский отправился на Кавказ, где вступил в ряды боевого Ширванского полка. Здесь из него выковался смелый и опытный офицер, любимый солдатами за отвагу и щедрость души. Пять лет страшных боев, множество ран и лицо, рассеченное чеченской саблей... Он стал инвалидом и кавалером двух боевых орденов святой Анны. В 1830 году Михаил Андреевич попрощался с Кавказом, а куда деться — не знал. Вернуться в деревню к матери — на это сил не хватило.

— Отрезанный ломоть к хлебу не прильнет, — говорил он.

Полковник А. К. Гриббе, служивший в военных поселениях, пишет в мемуарах, что однажды в Новгороде, когда он шел через мост на Софийскую сторону, его окликнул странный человек — не то чиновник, не то помещик, в коричневом засаленном сюртуке. «Вглядываюсь пристальнее — лицо как будто знакомое, с красивыми когда-то чертами, но теперь опужшее и загорелое, вдобавок — через всю левую щеку проходит широкий рубец от сабли».

— Не узнаешь? — спросил он, придвигаясь к Гриббе.

Это был Шумский, который рассказал о себе:

— Отдал меня Аракчеев под опеку к такому же аспиду, каков и сам, к вице-губернатору Зотову, но я до него скоро доберусь. Меня, брат, с детства тошнит от аракчеевских ранжиров...

Будучи в казенной палате на службе, Шумский запустил медную чернильницу в губернского сатрапа Зотова, который «уклонился от этого ядра, и чернильница, ударившись в подножие царского портрета, украсила чернильными брызгами членов губернского присутствия, кои, стараясь вытереться, еще больше растушевали свои прекрасные физиономии». Аракчеев вызвал Шумского в Грузино:

— Хотя, сударь, вы и подкидыш, но ваше имя столь тесно сопряжено с моим, что, позоря себя, вы и меня оскорбляете.

Предлагаю одуматься — помолитесь-ка за меня в Юрьевском монастыре!

Архимандритом там был знаменитый мракобес Фотий, человек нрава крутейшего, носивший вериги под рясой, а монастырь Юрьевский славился тюремными порядками. В такое-то чистилище и угодил Шумский, где «как опытный мастер скандального дела он постарался расположить в свою пользу многих иноков». Затем, когда большая часть монахов была на его стороне, Шумский затеял бунт... До Фотия дошел замысел Шумского: разбежаться что есть сил и повиснуть на бороде архимандрита, не отпуская ее до тех пор, пока Фотий не облегчит режима в обители. Страх был велик! Фотий нажаловался Аракчееву, а тот переправил «сынка» в монастырь Савво-Вишерский, где настоятелем был Малиновский, человек начитанный и умный, но пьяница первой руки. Вскоре настало в монастыре такое согласие — наливает отец настоятель рюмочку, но не пьет:

— А где послушник Мишель? Без него скушно...

Наливает в келье рюмочку Шумский и тоже не пьет:
— Где этот зверь настоятель? Чего не тащится в гости?...

Кончилась эта монастырская идиллия тем, что однажды Малиновский с Шумским клубком выкатились в церковь из кельи — к вящему соблазну черноризников и черносхимников, взыскующих жизни праведной в затворении от мира грешного. К чести Малиновского надо сказать, что он виновных не искал, а графу Аракчееву доложил честно:

— Лукавый попутал — оба мы хороши были!...

В апреле 1834 года, воскликнув «О проклятая смерть!», граф Аракчеев умер, а Шумский бежал из монастыря. Долго его потом не видели. Наконец объявился: заросший бородой, в армяке мужичьем, с плетью в руке, он служил ямщиком на дальних трактах. Если полиция вмешивалась в его действия и желала «маленько поучить», Михаил Андреевич распахивал на себе армяк, а под ним сверкали боевые офицерские ордена:

- Дворянин, как видите! Сечь меня, увы, нельзя...

Вскоре он снова пропал и обнаружился в Соловецком монастыре, куда был водворен по высочайшему повелению «без права выезда оттуда». Бежать с острова невозможно, но Шумский все же бежал и вдругорядь появился на пороге полковника А. К. Гриббе:

— Здравствуй, друг! Помнишь ты меня в мундире флигельадьютанта, а теперь полюбуйся, каков я в мужицкой рубахе. Эх, жаль, что потерял ямскую шляпу с павлиньим пером... Уж такое красивое было перышко! Кто я? Теперь я беглец, бродяга. Ушел тайным образом, от самого Белого моря питался христовым именем... Где копейку дадут, где хлебца отломят... Вот и

возвратился я на родимое пепелище, в свои пенаты... Один! Совсем один...

Гриббе из своего гардероба мог дать ему только дворянскую фуражку с красным околышем, но Шумский отверг ее:
— Не смеши ты меня, полковник! Каков же я станусь —

— Не смеши ты меня, полковник! Каков же я станусь — при бороде и армяке с дворянской фуражкой на голове... Прощай, брат! Вряд ли мы когда свидимся. Пойду по Руси странничать...

«С тех пор я ничего уже не слышал о Шумском, — писал в 1875 году полковник в отставке А. К. Гриббе, — и не знаю, жив ли он теперь или давно погиб где-нибудь на большой дороге». Между тем Шумский снова попался властям, которые вернули его в стены Соловецкой обители. Сохранилось его письмо от 1838 года к императору Николаю I, в котором он просил избавить его от монашества, но царь распорядился держать его в келье, а за прошлые заслуги на Кавказе велел выплачивать пенсию, как отставному офицеру... Шумский в 1851 году серьезно заболел, и монахи переправили его для лечения в Архангельск, где в городской больнице он и скончался.

Правда, есть глухие сведения, будто он умер не в Архангельске, а на Соловках лишь в 1857 году; когда англо-французская эскадра вошла в Белое море, чтобы бомбардировать стены Соловецкой цитадели, Михаил Андреевич Шумский — уже старик! — вспомнил былое, когда считался неплохим артиллеристом, и под его руководством древние монастырские пушки отвечали на залпы иноземной эскадры...

Но этот факт я оставляю без проверки!

Тот же полковник А. К. Гриббе писал о Шумском: «Из него мог бы выйти человек очень дельный и полезный для общества; при отличных умственных способностях в нем было много хороших сторон — он был доброй и чувствительной души, трусость ему была чужда, а смелость его граничила с дерзостью, доходя иногда до безумия. Шумский погиб в том всероссийском горниле, в котором гибнет столько человеческих личностей, нередко очень даровитых».

Печальный рассказ предложил я тебе, читатель!

ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ

Москва 1836 года... Жаркое летнее утро.

Елизавета Ивановна открыла двери и всплеснула пухлыми руками, такими плавными, и на каждой ладони — розовая ямочка.

— Ваня, — певуче позвала она мужа, — смотри-ка, гость-то у нас севодни какой приятной.

Из комнат выбежал Иван Дурнов, весь в радости: сам великий маэстро навестил жилище скромного московского живописца.

- Карл Палыч! - воскликнул он. - Дорогой вы наш...

Да, это был он. Короткое сильное туловище с животиком, выпиравшим из-под белого жилета, а руки маленькие и нежные, как у избалованной женщины. Но в пожатии они сильные, эти руки.

- Не ждал, Ванюшка? А я запросто... Не разбудил?
- Да нет, что вы! Мы рано встаем...

Брюллов снял шляпу, волосы золотым венцом распались над его массивною, но прекрасною головой. Он поцеловал руку хозяйке, и юная Елизавета Ивановна, кугаясь в старенький платок, невольно смутилась:

- Карл Палыч, что вы... Я по утрам такая некрасивая бываю, сама себе не нравлюсь.
- Синьора, ответил Брюллов, все мы, как правило, всегда некрасивы по утрам. Но вы... Вы даже не знаете, как вы

божественны сегодня. Ванюшка, почему ты не напишешь пор-

трета жены?

И этим он окончательно смутил женщину... Дурнов забегал перед создателем «Последнего дня Помпеи», услужливо отворял двери.

— Ваня, — сказала ему жена, — пойду приберу себя малость.

— Нет, нет! — властно удержал ее Брюллов. — Этот платок, поверьте, вам к лицу. Он украшает вашу прелесть.

— Еще бабушкин.

- Это ничего не значит...

Брюллов прошел в гостиную. Сел плотно, как хозяин.

- Ну, что, Ванюшка, стоишь? Давай, хвастай...

Дурнов, краснея, предъявлял свои последние работы:

— Мазочек вот тут не удался. А так-то ничего вроде... Брюллов недовольно взмахивал короткой рукой:

— Дрянь! Мусор! Выбрось!

Солнечный луч замер на лице юной хозяйки.

Брюллов засопел, будто его обидели.

— Карл Палыч, — снова заробела женщина, — уж вы так на меня севодни смотрите. Право, и неудобно даже... Ведь неприбрана я!

Брюллов молчал, сосредоточенный. Неожиданно крикнул:

— Ванька! Палитру волоки. Ставь холст.

Дурнов одеревенело застыл — в растерянности:

— Зачем?

- Тебя не спрашивают зачем. Ставь, коли велю.

— Мигом... есть холсток. Для вас... мигом!

Перед мольбертом Карл Павлович Брюллов не спеша, со вкусом выбрал для себя кисть и стал отбивать ее ворс на ладони.

— Так и сидите, — сказал хозяйке, пронизывая ее взглядом...

Собрались домочадцы, пришли знакомцы из соседних домов по Никитской улице. Стояли в дверях, недвижимые, наблюдали. Имя Брюллова гремело тогда не только в России, но и во всем мире. Как же не повидать великого человека?

— Господи, — переживала, вертясь на стуле, Елизавета Ивановна, — да некрасивая я севодни. Дозвольте хоть приодеться

MHC!

— Синьора, уже некогда, — отвечал ей Брюллов.

— Лиза, — вступился муж наставительным тоном, — ты гению не перечь. Карл Палыч без тебя лучше все знает...

Стало тихо. Проснулась и зажужжала муха.

— Коли меня не уважаешь, — бубнил Дурнов, — так хоть гения уважь. Или не слыхала, что такое вдохновение?

- Слыхала... Застращал ты меня словом этим.

 Помолчи хоть ты, Ванька, — строго потребовал Брюллов.

В общей тишине щелкала кисть по ладони живописца.

- Вообще-то... дрянь! неожиданно произнес маэстро.
- Что, что? спросил хозяин. Какая дрянь?
- Дрянь, говорю... вдохновение дрянь! Порыв к работе важнее. На одном вдохновении далеко не ускачешь. Гений это лишь талант, который работает, работает, работает... пока не сдохнет. Разве не так, Ванюшка? Корпеть надо тогда получится.

Дурнов вдруг подумал, что гость его, столь знаменитый, берет за погрудный портрет с бар иногда по 10 000 рублей, да еще кривится при этом. Ивану Трофимовичу стало не по себе...

— Между прочим, — пожаловался в потолок, — нуждишка у нас. С хлеба на квас перебиваемся...

Брюллов пасмурно и недовольно глянул на него:

— И я, брат, нуждаюсь... сильно задолжал на Москве! Величавым жестом он взялся за палитру.

Дурнов предложил ему уголек для разметки холста:

- Уголек-то... держите. Вот он.

Брюллов молчал, нацелясь глазом на рдеющую от смущения Елизавету Ивановну. Боясь, что угодил не так, как нужно, Дурнов отбросил уголь и протянул взамен кусок мела:

- Может, мелком фигуру очертите, как и водится?
- Зачем? спросил Брюллов отвлеченно.
- Все живописцы так-то мудро поступают.
- А я, прости, не мудрец, отвечал Брюллов.

И вдруг... о ужас! Кисть его полезла прямо в раствор красного масла. Рука выбросила кисть вперед — и в самом центре девственного холста бутоном пышным расцвела ярчайшая точка.

Никто ничего не понимал, в дверях зашушукались.

- Эй, вы! Потише там... - прикрикнул хозяин.

Брюллов утомленно, словно проделан адский труд, откинулся на спинку стула. Минуты три он с удовольствием любовался этой красной точкой, возникшей посреди холста по его желанию.

- А что же это? осторожно спросил Дурнов.
- Губы:
- Впервые вижу.
- Дурак! Или губ никогда не видел?
- Да нет, кто ж так делает, чтобы с губ начинать?
- Я так делаю. Могу и с уха начать... Чем плохо?

Елизавета Ивановна чуть привстала со стула:

- Можно и мне посмотреть?
- Сиди уж, придержал ее муж.

Брюллов, огранича себя написанием губ, резко отшвырнул кисть. При этом он брезгливо сказал хозяину:

— Мажь...

Дурнов с робостью перенял кисть:

- Карл Палыч, а что мазать-то мне?
- Платок мажь!
- Как мазать?
- Как хочешь, так и мажь. Что ты меня спрашиваешь?

Хозяин начал «мазать». Иногда спрашивал: так ли?

— Мне все равно, — отвечал Брюллов, даже не глядя...

Когда платок был закончен, Карл Павлович от чайного стола всем корпусом, порывисто и живо, обратился к мольберту:

— Ванька, ты — гений... Теперь дай кисть.

Уверенно стал выписывать вокруг губ овал женского лица.

— Чуть-чуть глаза... вот так, — велел он.

Елизавета Ивановна, малость кокетничая, подняла взор. В этот момент она напомнила Брюллову одну из тех римлянок, которых он изображал в картине разрушения Помпеи.

— Так, так! — обрадовался он. — Благодарю, синьора...

И замолчал. Работал рьяно. Потом стал зевать:

- Не выспался... Пойду-ка я.
- Карл Палыч, взмолился Дурнов, не бросайте, закончите!
 - Ах, брат! Дальше как-то неинтересно.
 - Христом-богом прошу... все просим. Закончите!
 - Бери и заканчивай сам, сказал Брюллов, поднимаясь.
 - Да не могу я так, как вы это можете.

Брюллов пошел к двери, явно недовольный собой; издали глянул на портрет и звонко выкрикнул:

— Дрянь! Мусор! Выбрось!

И его тут же не стало... Великий человек удалился.

Иван Трофимович Дурнов был художник маленький, но человек добросовестный. Он понимал, что нельзя править и дописывать начатое гением. Портрет остался незавершенным шедевром...

В таких портретах таится особая прелесть. Как много надо было сказать! И как много еще не сказано! В таких случаях мы додумываем портрет сами....

НАША МИЛАЯ, МИЛАЯ УЛЕНЬКА

Выборгская сторона в Петербурге — не для богатых. Барон был еще молод и прозябал в бедности.

Из полуподвального жилья он видел ноги прохожих: в туфельках, в лаптях, босые или в сапогах, громыхающих шпорами. Беспечально вздохнув и радуясь полноте счастья, он разрезал селедку на две части: с головы съест сейчас, а с хвостом оставит на ужин... Боже, до чего же прекрасна жизнь!

На подоконнике подсыхали игрушечные лошадки, вылепленные из глины, которые барон мастерил для продажи. Прохожие иногда заглядывались на них с улицы. Уж больно хороши! Бегут себе лошадки или встают на дыбы, мнимый ветер развевает у них хвосты из льняных оческов, а вместо глаз — бусинки бисера. Прохожий, вдоволь налюбовавшись, порою наклонялся пониже, заглядывая в глубину подвальных комнатенок, а там он видел молодого человека, который, закатав рукава рубахи, чертил, рисовал или вырезал из бумаги опятьтаки лошалок.

Иные, недоумевая, спрашивали будочника:

- Что за мастеровой живет в угловом доме?
- А шут его знает. Говорят, будто из баронов, был офицером по артиллерии. Тока не верится... Уж больно прост. Даже со мною здоровается. Чудит! А сам куску хлеба рад.
 - На лошадях помешался, что ли?
 - Оно так. Бывало, затащит к себе в подвал кобылу, сам

между ног ее приладится и рисует всяко. Как это не боится? Ведь зашибут копытом. Никто и знать не будет...

Этим бедным бароном был Петр Карлович Клодт, а точнее — барон Клодт фон Юргенсбург, потомок древних рыцарейчиз Вестфалии, которые позже владели в Курляндии замком Юргенсбург, полученным ими в дар от герцога Готкарда Кетлера, предшественника известной всем нам династии герцогов Биронов.

Отец скульптора, Карл Федорович, немало повидал на своем веку, немало сражался, портрет его попал в Галерею героев 1812 года, где красуется и поныне. Дослужившись до генеральских чинов, барон устоял в кровавых битвах эпохи, зато рухнул, как подкошенный, не вынеся оскорблений начальства...

Скульптор до старости помнил и чтил батюшку:

— Он сам бедняк, игрушками нас не баловал. Возьмет колоду карт, нарежет из них лошадок, вот мы в них играли. Клодты с детства безделья и скуки не ведали. Строгали, пилили, клеили, рисовали, чертили, радовались, что так интересно жить...

Мать его, Елизавета Яковлевна Фрейгольд, приходилась теткой Николеньке Гречу, педагогу и писателю, который — не в пример кузенам — умел быть на людях, успешно делал карьеру выгодными знакомствами. По вечерам Петр Карлович иногда навещал Греча, у которого было тепло и шумно от обилия гостей, званых и незваных, писателей, артистов и чиновников.

Кусок селедки, отрезанный от хвоста, оставался несъеден, ибо в доме Греча ужинали даже с вином. На правах родственника Николенька иной раз снисходительно похлопывал Клодта:

- Ну, каково живешь, Петрушка?
- Хорошо... просто замечательно!
- Заплатки-то на локтях сам пришивал?
- Сам. Не в заплатках счастье, когда каждый день жизни таит в себе столько трудов и столько радостей...

Был 1830 год, когда Клодта избрали «вольнослушателем» при Академии художеств; по рисункам барона судили, что из него может со временем получиться недурной гравер. Клодт попал в среду художников, ему близкую, хотя сами-то художники, разделенные по рангам, словно офицеры на вахтпараде, отводили барону место в последних шеренгах своего построения по чинам.

Увы, в искусстве, как и в жизни, существовала своего рода иерархия — кому быть выше, кому ниже, кому где стоять, кому кланяться нижайше, а кому хватит и едва приметного кивка головой. Первым средь мастеров искусства был в ту пору знаменитый скульптор Иван Петрович Мартос, убеленный благо-

родною сединой, маститый ректор Императорской Академии художеств.

Иной час, заметив барона, Мартос небрежно спрашивал:

— Все лошадками балуетесь?

— Люблю лошадей, Иван Петрович... стараюсь.

— Пустое дело! С лошадей добра не наживете. Где бы вам путным чем-либо заняться, а вы игрушками тешитесь.

Иногда же барон чистил свой сюртучишко, испачканный глиной и обляпанный воском, стыдливо приглаживая на карманах нищенскую бахрому ветхой одежды, повязывал шею галстуком и шел в академическую церковь. Петра Карловича не занимала обедня, не тешили голоса певчих, он мечтал увидеть здесь свое погаенное, но сердечное сокровище — Катеньку Мартос!

Что «вольнослушатель»? Так, пустое место. Ему бы стоять подальше, а впереди живописно группировались признанные мастера искусств Российской империи, академики и профессора со своими домочадцами. Здесь же, на самом переднем плане, выделялся и сам Мартос, создатель величественных монументов, ярый ненавистник обнаженной натуры, которую он с гениальным совершенством драпировал в складки классических одежд. Подле него возвышалась его супружища Авдотья Афанасьевна, величавая владычица многочисленной патриархальной семьи, оберегая от нескромных взоров Катеньку, еще девочку-подростка, ставшую предметом лирических вожделений барона.

Порою, осеняя себя широким крестом, почтенная матрона шептала дочери, краснеющей от стыда:

— Не смей глазеть на молодых живописцев, у них только вошь в кармане да блоха на аркане. А тебе, моя сладенькая, по рангу папеньки супруг необходим солидный, богобоязненный, чтобы потом не шерамыжничать по чердакам да подвалам...

В кругу семьи Мартоса, среди его богато разряженных дочерей, бывала и Уленька Спиридонова, круглая сирота, пригретая в доме Мартосов, чтобы в нищете не пропала. Вот ей разрешалось делать в церкви что вздумается, и эта некрасивая широколицая девочка озорно подмигивала дьячкам, гримасничала и корчила рожицы, сама же тишком прыскала в кулачок от смеха. Но барон Клодт, поглощенный любовью, видел одну лишь Катеньку.

А скоро случилось страшное — непоправимое!

Мария Каменская (дочь художника графа В. И. Толстого) в мемуарах писала: «Старик Мартос был вполне убежден в том, что обожаемая им дочь будет гораздо счастливее в замужестве, если он сам. столь опытный в жизни, выберет ей мужа». В один

из дней он позвал Катеньку в залу для гостей, где уже стоял пятидесятилетний некрасивый мужчина, опиравшийся на трость.

 Моя дорогая телятинка! — так заявил Мартос. — Почтенный архитектор Василий Алексеевич Глинка делает честь просить за тобой — объявить прямо: согласна ли ты или нет?

Катенька, вся покраснев до ушей, упорно молчала.

 Молчание — знак согласия! Человек, подать шампанского! — громко крикнул радостный отец...

Старик залпом опорожнил свой бокал, опрокинув его на свой парик, и начал целовать дочь и будущего зятя... Одна только Катенька продолжала молчать. «Таким образом. — писала М. Ф. Каменская, — она, не промолвив ни «да», ни «нет», едва дожив до пятнадцати лет, сделалась невестой пятидесятилетнего и малопривлекательного Василия Алексеевича Глинки». Цитата закончена. Но к ней можно добавить: архитектор уже скопил на старость сто тысяч рублей, и, наверное, эта огромная сумма денег решила «счастье» девочки, покорно шагнувшей пол венец.

Петр Карлович был в отчаянии, но что делать, если никогда даже не мечтал иметь сто тысяч рублей! Он сказал Гречу:

- Не имея за душой лишней копейки, я ведь всегда считал себя богачом: моя жизнь богата интересами, а свой неустанный труд почитаю за величайшее счастье... Как быть?
 - Ешь чеснок, отвечал Греч, мажься дегтем. Зачем? удивился Клодт.

Надвигается холера...

От холеры скончался в 1831 году и архитектор Глинка; юная вдова вернулась к родителям, выложив перед ними сто тысяч рублей. Авдотья Афанасьевна сложила деньги в сундук.

— И то дело, красавушка ты моя. — сказала мать дочери. с такими-то деньгами во вдовстве не засидишься... Гляди, и

енерал не откажется любить тебя да жаловать.

Но тут заявился в дом Мартосов барон Клодт, который, не помышляя о тысячах рублей, сгорал на костре пламенной любви, и он сразу же рухнул перед матерью на колени:

- Вы одна, божественная Авдотья Афанасьевна, можете усроить мое счастье! Не откажите в руке вашей Катеньки, уговоите и своего супруга, почтеннейшего Ивана Петровича.

На это ему было четко сказано:

- В уме ли вы, барон? Как такое могло прийти в голову? Да вазве Катенька ровня вам? Или решили, что одной селедки на воих хватит? Моя доченька изнежена, как цветочек, росла в коле и неге, дочь академика, а вы... Много ли прибыли с лошавок, которых вы по ночам лепите? Нет, голубчик, не там жену

129 5 3 mas 23

себе ищете... Ивана Петровича я даже и волновать вашей просьбой не осмелюсь: он меня и вас турнет сразу!

Монолог почтенной дамы был слишком напыщен и долог. но я сокращаю его до предела, ибо за его словами стоял сундук, наполненный деньгами. Суть же монолога была такова:

- Вот если бы, скажем, моя дочь была мастерица на все руки да притом еще нищая, как Уленька Спиридонова, пригретая нами из милости, так я и мужа-то спрашивать не стала бы: берите хоть сейчас в жены... два сапога пара!

Тут в душе Петра Карловича взыграла гордость вестфальских рыцарей, владевших когда-то замком Юргенсбург, и он поднялся с колен, отряхнув с них пыль. («Вся любовь к вдовущке Глинке мигом, словно чулок с ноги, снялась».)

- Вот и отлично, добрейшая Авдотья Афанасьевна, рассудил барон. — Совершенно согласен, что два сапога — хорошая пара! Если вы считаете свою дочь принцессой, так я согласен жениться на ее домашней прислуге, какова и есть Уленька.
 - Никак изволите шутить со мною, барон?

Петр Карлович разложил все по полочкам:

- Уленька хлопочет с утра до ночи, я тоже трудолюбив. Она бедная, и я нищий. Вот и станет женою мне, что гораздо лучше, нежели бы я затащил в свой подвал балованную дочку ректора академии. Пусть уж будет Уленька голодная и плохо одетая, но вы, отдавая ее за меня, не боитесь этого...

Все решилось в два счета.

— Уля! — позвала Авдотья Афанасьевна сироту-приживалку. — Тут барон Петр Карлович Клодт руки и сердца твоих про сит.

Уленька Спиридонова зашлась от веселого хохота:

— Вот уж не думала, не гадала, что стану я баронессой...

Петр Карлович взял хохотушку за руку:

— Верю, что ты принесешь мне большое счастье...

Мартос отнесся к свадьбе серьезно. В церковь сам приехал с семейством, пригласил и знатных гостей. Невеста с трепетом ожидала явления жениха. Но барон не показывался, и Авдотья Афанасьевна изложила свои серьезные подозрения:

- Сбежал! Кому ж на нищей охота жениться?

В дверях храма возникла суета, священник вопросил:

— Что там за шум? Уймитесь.

Церковный сторож отвечал во всеуслыщание:

- Да тут какой-то оборванец в божий храм ломится. Сказы вает, что его невеста заждалась. По шее давать али как еще?
 - Пусти, возвестил Мартос торжественно.
 Да он вить женихом себя прозывает.

 - Это и есть жених, а вот и невеста его...

Утром, когда молодые проснулись, Уленька спросила:

— Чай будем пить или кофий со сладким сахаром?

Я бы и рад, да где взять? — отвечал барон.

Уленька, румяная после сна, не огорчилась:

 Нет, так нет. Водички из колодца попьем, можно и без кофию жить, лишь бы только любил ты меня, Петруша...

Она стала перебирать белье, подаренное ей Мартосами на свадьбу, и между простынями нашла серебряные рубли (таков был старый обычай: класть деньги в белье новобрачной).

— Со мною не пропадешь, — повеселела Уленька. — Не было

ни грошика, так сразу рубли завелись...

Только она это сказала, как в двери забарабанили, да столь внушительно, что Петр Карлович даже испутался:

- Кто бы это? Уж не дворник ли? Чего ему надобно?

Вошел дворцовый курьер, дядька здоровущий, весь разряженный, как петух, и с удивлением обозрел скудную обстановку жилья новобрачных, где столы были завалены комками сырой глины, обрезками жести, рисунками и муляжами лошадиных голов.

- Наверное, я не туды попал, - оторопел курьер.

— А кого ищете, сударь?

— Барона Петра Карловича Клодта фон Юргенсбурга... Сыскать его велел император, дабы срочно доставить в манеж конной гвардии, где его императорское величество желает по-казать барону лошадей, что привезены в Петербург из Англии...

Николай I похвастал перед анималистом статью английских жеребнов, стоивших ему немалых денег, потом сказал:

— Барон! Давно наслышан об успехах твоих в лепке лошадиных фигур. Это кстати. Мой архитектор Стасов перестроил Нарвские триумфальные ворота, но теперь для колесницы Победы на аттике требуется изваять шестерку лошадей. Думаю, никто лучше тебя с такой работой не справится. Считай этот заказ моим личным заказом. Сделаешь хорошо — награжу поцарски...

Обратно домой Клодт вернулся, обвещанный с ног до го-

ловы кульками со сладостями, расцеловал свою Уленьку:

 А ведь ты и впрямь принесла мне счастье. Сейчас будем пить кофе с сахаром, а затем поедем по магазинам.

— Зачем?

— Ты купинь самое красивое, самое нарядное платье. Будень одета лучне всех женщин на свете, как сказочная принцесса...

...Госпожа Мартос готова была грызть себе локти:

 Ай, дура старая! Откуда ж мне знать, что баронишка этот наверх попрет? Такие подарки жене подносит такие платья ей покупает... Промахнулась я, глупая! Недоглядела. Ведь даже мой Иван Петрович, уж на что ректор и академик, и то не раз говорил: «Кому нужен барон с его лошадками да зверушками из глины?» А он-то теперь из глины золото месит... Ох, горазд, промахнулась я, дура старая. Вот бы такое счастье Катеньке, которая на сундуке-то сидит и слезьми обливается...

Екатерина Ивановна Глинка, дочь Мартосов, утешилась в браке с врачом Шнегасом и умерла молодой в 1836 году, упре-

кая мать за то, что дважды сделала ее несчастливой:

— Нет того, чтобы меня спросить! Я бы пошла за барона. А теперь все досталось Ульке, которая из-под меня горшки выносила. Видела я вчера, как ехала она по Невскому — уже брюхатая! Боже, какая ж она счастливая... Люди сказывают, что теперь она каждый день на себя новое платье примеривает!

Шестерка вздыбленных лошадей, влекущих колесницу Победы над пропастью, стала для Клодта его первым и вдохновенным порывом к всемирной известности и широкой славе.

Квадриги черные вздымались на дыбы На триумфальных поворотах...

Так знать лошадь, как изучил ее Клодт, не знал никто, он был способен точно и совершенно изобразить ее прекрасное тело в любом ракурсе, самом неожиданном, даже с точки зрения человека, попавшего под копыта в момент кавалерийской атаки.

В 1885 году Уленька (Ульяна или Иулиания Ивановна) Клодт принесла мужу первенца Мишу. Уже на склоне лет, сам признанный художник, он рассказывал молодым, что его мать была неунывающей оптимисткой, радостной в жизни, она любила всех, и все любили ее, веселую проказницу. «Она была не так красива, сколько миловидна и грациозна, а главное — в ней бил неиссякаемый источник жизнерадостности и веселья».

Когда-то Петр Соколов, женатый на сестре Карла Брюллова, нарисовал Уленьку карандашом — еще девочкой: широкоскулое и курносое личико, чуть подцвеченное сангиной, а сколько в нем прелести, сколько наивной и чистой простоты! Но вот миновали годы, и в доме баронов Клодтов стал появляться сам «великий Карл», волшебник русской кисти... Усталый, измученный, человек неровный, обидчивый, капризный, часто оскорбляемый и оскорблявший других, он бросал шляпу в угол, раздраженный:

— Нет, так жить больше нельзя! Один только дом в Петербурге, где я отдыхаю средь блаженства и мира, это ваш дом, где царит прекрасная Уленька... ах, как я завидую тебе, Петруша!

Только что Брюллов пережил постыдный скандал с неудачной женитьбой, а в доме Клодтов искал спасения от сплетен, окружавших его. Ему не хотелось работать, но Уленьке он велел:

- Сиди вот так, как сидишь. Буду рисовать.
- Господи, да я совсем не готова...
- И не надо! Пусть другие дуры готовятся, а ты прекрасна всегда... Мне хорошо и тепло с тобою, среди твоих друзей, я люблю тебя, люблю твоего Петю, и не только ваших гостей, но даже зверей, что живут в вашем доме на правах лучших людей. Сиди. Не двигайся. Перестань хохотать. Я начинаю...

Уже не девочка, а женшина и мать, Уленька предстала на портрете Брюллова, заключенная в овал, глядя на нас, потомков, простым, но милым лицом. Кажется, вот-вот дрогнут ее тубы, и мы снова услышим ее смех, отзвучавший в былом веке!

 Как я завидую твоему мужу, — говорил ей Брюллов...
 А муж работал, и в семье Клодтов даже не удивлялись, если отец, как хороший шорник, садился чинить старую лошадиную сбрую, вдруг наделял детвору игрушками собственной выделки. Великий мастер, уже сам заслуженный академик, барон умел делать все, и все в его руках ладилось.

— А как же иначе? На то и живем, — усмехался он...

Никогда не жалевший денег на то, чтобы украсить неяркую внешность жены, сам Петр Карлович всегда оставался в затрапезе мастерового. Друзья, ученики, звери — вот его круг.

Брюллову он искренно признавался:

- Я терпеть не могу бывать в Париже!
- Да почему же так, Петя?
- Я могу быть спокоен только близ Уленьки, без нее я не могу быть счастливым, мне всегда грустно и тяжело. Зато как удивительна моя жизнь, когда Уленька рядом со мною...

Жизнь была прекрасной — в прекрасном труде!

Четверка лошадей, укрощаемых волей сильного человека, прославила Аничков мост в столице, копии с клодтовских коней пожелали иметь в Берлине и Неаполе. Иностранные скульпторы приезжали в Петербург, чтобы учиться у Клодта. Знаменитый баталист Орас Верно навестил барона в его мастерской:

— Теперь в мире не существует скульптора-анималиста, который бы осмелился заявить, что не знает образцов, достойных

для подражания. Вы, барон, свершили невозможное...

Не только чиновный Петербург, но Берлин, Рим и Париж признали Петра Карловича своим академиком. С угра уже на ногах, небрежно одетый, Клодт встречал знатных гостей и поклонников в мастерской, где его по ощибке принимали за рабочего. Лучше всего он чувствовал себя среди тружеников, а формовщики и литейщики садились за стол барона, словно князья. Слава никак не соблазняла мастера, а на деньги он смотрел просто. Бедным просителям Клодт обычно говорил:

— Я занят. Покопайся в комоде. Возьми сколько надо... Все брали из комода кто сколько хотел и, конечно, долгов не возвращали. Михаил Клодт рассказывал о своем отце:

— Моего папочку просто грабили! Однажды повадилась шляться к нам здоровущая дама под траурной вуалью. Падала на колени. Рыдала. Басом взывала о пособии. Отец, конечно, отсылал ее прямо «в комод». Потом, когда эта дама убралась, горничная сказала папе: «На лестнице-то эта стерва юбки свои задрала, а там видны сапоги со шпорами». — «А я и сам заметил, что это гренадер, — отвечал папа. — Но если уж даже гренадер плачет и в ногах у меня ползает, так лучше дать...» Бог с ним!

Клодт не страшился никакого труда, а отдых видел лишь в перемене занятий. Когда умер знаменитый литейщик Вася Екимов, барон занял место у плавильного горна, освоил литейное дело, став начальником литейных мастерских; он делал отливки столь добротно, что потом их даже не надобно обрабатывать зубилами.

— Побольше бы нам таких баронов, — с уважением судачили рабочие, когда Клодт, отойдя от горна, весь в вихре раскаленных брызг, хлебал квас, заедая его горбушкою хлеба...

На лето он вывозил семью в Павловск, где ютился на скромной даче. Уленька любила бродить по лесам, собирая грибы и ягоды, она возвращалась в венке из цветов, загорелая и чистая, прекрасная и обожаемая, и Клодт откровенно любовался своей подругой. Гостей на даче было не счесть, и Михаил Клодт так рассказывал о дачной жизни:

— Бывало, как наедут, аж дача трещит. Ну, дам клали спать в доме, а мужчин сваливали вповалку на сеновал или в конюшню. Никто не обижался. Отец был выдумщик. Изобрел всякие дома на колесах. Случалось, едет наш семейный тарантас, а следом бегут за нами детишки: «Цыгане приехали... цыгане!»

На крыльце клодтовской дачи сидел страшилище волк и, хищно лязгая зубами, встречал гостей, вроде швейцара, — добрейший зверь, сроднившийся с людьми до такой степени, что стал товарищем детских игр, а семью Клодтов он считал своею родной «стаей». По соседству проживали на даче Брюлловы, которых частенько навещал Петр Соколов, академик акварельной живописи, почти воздушной, пленительной.

Бывал он и у Клодтов, однажды сказав Уленьке:

 Рисовал я тебя еще девочкой. Давай-ка, присядь на минутку да не вертись... хочу снова делать с тебя портрет. Сейчас он хранится в Третьяковской галерее, вызывая общее восхищение. Казалось, годы совсем не коснулись этой женщины, которая, вернувшись с прогулки, присела возле букета цветов, настроенная позировать, но поглощенная своим большим женским миром, в котором — семья, муж, работа и... счастье.

- Петр Федорович, скажи, я очень состарилась?

Нет, — отвечал Соколов, — все такая же... резвушка.

- А еще кто я?

— Еще ты болтушка.

— A еще?

- Еще ты баронесса...

После смерти баснописца Крылова по всей стране была объявлена всенародная подписка на сооружение ему памятника в Летнем саду столицы, где Иван Андреевич любил при жизни гулять, а теперь гуляли дети, знавшие наизусть его басни. Клодт победил на конкурсе своих талантливых коллег — Витали и Пименова. Клодтовский Крылов — это «ума палата», он воссел поверх пьедестала, как в кресле, а под ним мирно расположился целый мир его героев: львы и слоны, лягушки и лисицы, лошади и мартышки, петухи и бараны, а ворона держала сыр в клюве. Этим памятником Крылову завершилось украшение Летнего сада!

- Ты устал? - спрашивала жена.

- Нет. Но, кажется, начала уставать ты.

- Да. Я начала уставать от безмерности своего счастья...

Дом Клодтов был всегда наполнен не только людьми, но и зверями, позировавшими художнику, и, как заметили очевидцы, все звери жили единой дружной семьей, переняв от хозяев лучшие качества доброты и ласки. Один только осел (на то он и осел!) оказался крайне строптивым, он часто убегал из дома, обожая, как это ни странно, похоронные процессии с оркестром, которые торжественно замыкал собственной персоной, сопровождая покойников до кладбища, после чего возвращался в свое стойло — как ни в чем не бывало. Однажды, получив заказ на создание фигуры рыкающего льва для украшения генеральского надгробия, Петр Карлович очень переживал, что у него в доме не догадались завести хорошего льва:

- Уж я бы, душенька, в бифштексах ему не отказывал,

дети бы его в парк ради прогулок за хвост выводили.

— И не проси! — отвечала Уленька. — Сегодня тебе льва для украшения генеральского праха, а завтра адмирал помрет, так тебе крокодила подавай... Ты сам-то подумай, во что наш дом превратился, гостей к нам и калачом не заманишь!...

Клодт трудился, как раньше, но однажды признался:

 Мозг по-прежнему ясен, руки преисполнены силой, но болят ноги. Очевидно, сырость мастерских все-таки сказалась...

В доме появились первые внуки, и великий мастер засел за сапожный верстак, чтобы шить детскую обувь.

- Как твои ноги? беспокоилась за него Уленька.
- Болят, пожаловался он жене, ходить трудно, а сидя надо что-то делать. Хоть сапожки внучатам...

Но милая, милая Уленька все-таки опередила его.

22 ноября 1859 года она скончалась, ее могилу на Смоленском кладбище украсила лаконичная надпись: «Клодт фон Юргенсбург, баронесса Іулиания». Петр Карлович остался один.

В ноябре 1867 года задували метели, когда он жил на даче в «Халола», и внучка просила дедушку вырезать ей лошадку.

Клодт взял игральную карту и ножницы.

— Деточка! Когда я был маленьким, как ты, мой бедный отец тоже радовал меня, вырезая из бумаги лошадок...

Лицо его вдруг перекосилось, внучка закричала:

Дедушка, не надо смешить меня своими гримасами!
 Клодт покачнулся и рухнул на пол.

Когда собрались родственники, они застали его лежащим среди вырезок фигур животных, а на сапожном верстаке стояли недошитые детские башмачки.

Сын Михаил надел фартук и стал снимать маску с лица.

— Тяжкая была работа, — говорил он в старости. — Знасте, отец всю жизнь трудился, как вол, но умер сущим бедняком. Не умел копить. Не умел и не хотел. К славе был равнодушен, а корыстен не был. После него в комоде остались шестьдесят рублей и два лотерейных билета... Нам, Клодтам, пришлось хоронить отца на пособие от Академии художеств.

Все любили супругов Клодтов, а не любили их только клеветники и завистники чужой славы, — и не это ли является наилучшей характеристикой для художника и семьянина?

Но, думая о мастере, я всегда ставлю рядом с ним Уленьку. В старой русской жизни очень много чистых и светлых образов женщин и матерей, которые ничего героического не свершили, но своим присутствием в жизни, своей любовью и лаской умели хранить драгоценное тепло семейных очагов, свято любящие и свято любимые.

В моем представлении образ Уленьки, как и Светлана поэта Жуковского, проплывает в истории подобно легкому светлому облаку. Память о ней я посвящаю Клодтам-художникам, ее потомкам, живущим и работающим среди нас...

ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Этот человек легендарен — и в жизни и в смерти. Декабрист — Бестужев, писатель — Марлинский.

Сосланный в морозы Якутска, он был переведен в пекло Кавказа; в ту пору можно было слышать такие наивные суждения:

— Бестужева-то декабриста оставили в Сибири на каторге, а писателя Марлинского послали ловить чеченскую пулю...

Кавказ — обетованная земля для ссыльных и неудачников, для всех, кто не выносил однообразия и пустоты столичной жизни. Унтер-офицерский чин и солдатский «Георгий» поверх шинели — это уже завтрашний прапорщик. Декабристы искали на Кавказе спасения от солдатской лямки. А лямка была тяжела! Недаром же, когда декабрист Сергей Кривцов получил наконец чин прапорщика, он, седой человек, пустился в пляс. Правда, к нему тут же подощел осторожный князь Валериан Голицын (тоже декабрист) и шепнул на ухо:

— Mon cher Кривцов, vous deroger à votre dignite de pendu. (Милый Кривцов, вы роняете ваш сан висельника.)

Кавказ пленял Бестужева не только выслугой — здесь он мог писать, и это главное. И. С. Тургенев вспоминал, что Бестужев-Марлинский «гремел как никто — и Пушкин, по понятию тогдашней молодежи, не мог идти в сравнение с ним». Герои Марлинского предвосхитили появление лермонтовского Печорина; им подражали «в провинции и особенно между армейца-

ми и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались сумрачно, сдержанно — с бурей в душе и пламенем в крови... Женские сердца пожирались ими. Про них сложилось тогда прозвище: фатальный». Секрет успеха яркой и взрывчатой прозы Марлинского в том, что он как никто разгадал дух своей эпохи — это был дух романтиков мятежа и благородных рыцарей, тонких акварельных красавиц и мечтательных моряков-скитальцев.

И средь пустынь нагих, презревши бури стон, Любви и истины святой закон...

По мнению современников, ни один из портретов не передавал подлинной внешности Бестужева-Марлинского. «Это был мужчина довольно высокого роста и плотного телосложения, брюнет с небольшими сверкающими карими глазами и самым приятным, добродушным выражением лица». На большом пальце правой руки Бестужев носил массивное серебряное кольцо, какое носили и черкесы, — с его помощью взводились тугие курки пистолетов. Писатель Полевой прислал ссыльному поэту белую пуховую шляпу, которая по тем временам являлась верным признаком карбонария... Таков был облик!

В гарнизоне крепости Дербента с Бестужевым случилась беда. Через двадцать пять лет Дербент посетил французский романист А. Дюма, сочинивший надгробную эпитафию той, которую ссыльный декабрист так сильно любил:

Она достигла двадцати лет.
Она любила и была прекрасна.
Вечером погибла она,
Как роза от дуновения бури.
О могильная земля, не тяготи ее!
Она так мало взяла у тебя в жизни.

Но прежде, читатель, нам следует представиться по всей форме коменданту Дербента — таковы уж крепостные порядки!

Комендантом был майор Апшеронского полка Федор Александрович Шнитников; он и жена его Таисия Максимовна славились на весь Кавказ хлебосольством и образованностью. Понятно, как тянуло Бестужева по вечерам в уютный дом коменданта, где царствовала молодая красивая женщина, где танцевали под музыку маленького органа, где до угра тянулись умные разговоры... А куда еще деть себя? Историк кавказских войн генерал Потто писал: «Тяжелая однообразная служба в гарнизоне с ружьем в руках и с ранцем за спиною, он целые часы

проводит в утомительных строевых занятиях, назначается в караулы или держит секреты. Среди такой обстановки Бестужев, человек с высоким образованием, страдал физически и нравственно». Шнитников, на правах коменданта, иногда вызывал к себе подполковника Васильева, грубого солдафона, мучившего Бестужева придирками по службе, и говорил ему:

- Прошу вас помнить: солдат в батальоне у вас много, а

писатель Марлинский — един на всю Россию.

 Марлинского у меня по спискам не значится! А солдат Бестужев есть солдат, и только.

 Верно, что солдат. Но ежели не цените в нем писателя, так имейте хотя бы уважение к бывшему офицеру лейб-гвар-

дии...

При штурме Бейбурта декабрист дрался столь храбрецки, что «приговор» однополчан был единодушен: дать Бестужеву крест Георгиевский! Однако в далеком Петербурге император начертал: «Рано», — а тут и война закончилась, линейный батальон снова занял дербентские квартиры. Солдаты искренне жалели Бестужева.

— Не повезло тебе, Ляксандра! — говорили они, дымя трубками. — Вот ране, при генерале Ермолове, ины порядки были. Выйдет он из шатра своего. А в руке у него, быдто связка ключей от погреба, гремит целый пучок «Егориев». Да как гаркнет на весь Кавказ: «Вперед, орлы!» Ну, мы и попрем на штык. А после свары Ермолов тут же, без промедления, всем молодцам да ранетым на грудь по «Егорию» вешает... Да-а, брат, не повезло тебе, Ляксандра!

Бестужев не жил в казарме, а снимал две комнатенки в нижнем этаже небольшого домика; здесь он сбрасывал шинель солдата, надевал персидский халат и шелковую ермолку на голову, садился к столу — писать! Русский читатель ждал от него новых повестей — о турнирах и любви, о чести и славе. А по ночам он слышал дикие крики и выстрелы в городе... Шнитников его предупреждал:

— Александр Александрович, будьте осторожны, голубчик! Вокруг бродят шайки Кази-Муллы, и в Дербенте сейчас не-

спокойно.

- Я свою жизнь, если что случится, - отвечал Бестужев, -

отдам очень дорого. Сплю с пистолетом под подушкой!

Кази-Мулла (учитель и пестун Шамиля, тогда еще молодого разбойника) неожиданно спустился с гор и замкнул Дербент в осаде. Начались сражения, Бестужев ринулся в схватки с таким же пылом, с каким писал свои повести.

— Один «Георгий» меня миновал, — признавался он друзьям, — но теперь пусть лучше погибну, а крест добуду...

Шайки Кази-Муллы отбросили, и в гарнизон прислали два Георгиевских креста для самых отличившихся рядовых.

— Ляксандру Бестужеву... ему и дать! — галдели солдаты. —

Он и пулей чеченца брал, он и на штык неробок.

«Приговор рядовых» отправили в Тифлис, и Бестужев не сомневался, что Паскевич утвердит его награждение. В это время он любил и был горячо любим.

Ты пьешь любви коварный мед, От чаши уст не отнимая...

Готовишь гибельный озноб — И поздний плач, и ранний гроб.

Оленька Нестерцова, дочь солдата, навещала его по вечерам — красивая хохотунья, резвая, как котенок, она (именно она!) умела разгонять его мрачные мысли.

— Вот, Оленька! Добуду эполеты, уйду в отставку и вернусь в Питер, чтобы писать и писать.

— А меня с собой не возьмешь разве?

- Глупая! Мы уже не расстанемся...

Женитьба на солдатской дочери Бестужева не страшила, ибо отец его, дворянин старого рода, был женат на крестьянке. Майор Шнитников и Таисия Максимовна обнадеживали де-кабриста:

- Быть не может, чтобы в Тифлисе не утвердили «приго-

вор» о награждении вашем. Вот уж попразднуем!...

Однако в восемь часов вечера 23 февраля 1833 года какой-то злобный рок произнес свое мрачное слово: нет. Оленька Нестерцова, как обычно, пришла навестить Бестужева, но в комнатах его не оказалось, а денщик Сысоев раздувал на крыльце самовар.

— Аксён, — спросила его девушка, — не знаешь ли, где сей-

час Александр Александрович?

Да наверху... у штабс-капитана Жукова с разговорами.
 Вишь, самовар им готовлю, да не разгорается, язва окаянная!

— Скажи, что я пришла.

- Ага. Скажу...

Выписка из архивов дербентской полиции: «Бестужев явился на зов... между им и Нестерцовой завязался разговор, принявший скоро оживленный характер. Собеседники много хохотали, Нестерцова в порыве веселости соскакивала с кровати, прыгала по комнате и потом бросалась опять на кровать. Она «весело резвилась», — по ея собственному выражению, но вдруг...»

Раздался выстрел, комнату заволокло пороховым дымом.

Ну, вот и все... прощай, дружок! — сказала она.

Свеча, выпав из руки Бестужева, погасла. Он выбежал в сени, чтобы разжечь вторую, а когда вернулся, пороховой утар в комнате уже разволокло на тонкие нити. Ольга лежала поперек кровати, платье ее намокало от крови, она безжизненно и медленно сползала вниз головою на пол, при этом продолжая еще шептать:

- Это я... одна лишь я виновата. Бедный ты...
- Нет! закричал Бестужев, разрыдавшись над нею.

Он совсем забыл, что сегодня ночью, проснувшись от криков, взвел курок и сунул пистолет под подушку. Оружие лежало между стенкою и подушкой; Ольга нечаянно тронула его и пуля вошла в нее! Со второго этажа спустился штабс-капитан Жуков:

- Самовар готов. А чего здесь стреляли?
- Сашка не виноват, сказала Ольга, зажимая ладонью рану, и пальцы ее казались покрытыми ярко-вишневым лаком. Жуков остолбенел от увиденного.
- Беги к Шнитникову, попросил его Бестужев. Расскажи ему все, что видел...

Врачи не могли спасти девушку. Ольга умирала в жестоких страданиях, но до самого последнего мгновения (уже в бреду) благородная подруга декабриста повторяла только одно:

 Бестужев не виноват... резвилась я, глупая. И не знала, что пистолет... Сашка любил меня, а я любила моего Сашку...

Казалось бы, все ясно: роковая случайность. Шнитников, выслушав следователей, посчитал дело законченным. Но не так думал командир батальона Васильев.

— Он и на помазанников божиих руку поднимал, — говорил Васильев, намекая на участие Бестужева в восстании декабристов. — Так что ему стоит шлепнуть из пистоля какую-то безродную девку?

Началось второе — придирчивое — расследование.

- Зачем вы держали заряженный пистолет наготове?
- А как же иначе! отвечал Бестужев. На днях в соседнем доме изрубили целое семейство, в доме напротив зарезали женщин, под моими окнами не раз находили убитых... Я не страшусь погибнуть в бою, но мне противна сама мысль, что я могу быть зарезан презренным вором. Потому и держал пистолет под подущкой!

Ольга перед кончиной столь часто повторяла о невиновности Бестужева, что это дошло и до Тифлиса, откуда Паскевич устроил нагоняй Васильеву, а дело велел «предать воле божией». Но Георгиевского креста декабрист, конечно, не получил.

— Теперь и не надо! — сказал он Шнитникову, а перед Та-

исией Максимовной не раз плакал: — Себя мне уже давно не жаль, но я век буду мучиться, что погибла юная жизнь...

Отныне уже никто не видел его смеющимся. Он часто говорил о смерти, которая уберет его с земли как солдата и оставит жить на земле как писателя. Александр Александрович начал сооружать над морем памятник. Сохранилась фотография могилы Оленьки, сделанная в начале нашего столетия. Надгробие представляло собой массивную колонну из дикого камня. Со стороны запада на обелиске была изображена роза без шипов, пронзаемая зигзагом молнии (намек на выстрел!), а под розою одно лишь слово: «Судьба». Трехгранную призму, на которой высечены слова эпитафии Дюма, свергла наземь чья-то злобная рука...

Через год он был произведен в чин прапорщика и пришел проститься с могилою Оленьки; из крепости уже трубил рожок...

> О дева, дева, Звучит труба! Румянцем гнева Горит судьба! Уж сердце к бою Замкнула сталь. Передо мною -Разлуки даль. Но всюду-всюду. Вблизи, вдали, Не позабуду Родной земли: И вечно-вечно -Клянусь, сулю! -Моей сердечной Не разлюблю...

Современник пишет, что почти все дербентцы провожали его «верст за 20 от города, до самой реки Самура, стреляя на пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы; музыканты били в бубны и играли на своих инструментах, другие пели, плясали... и вообще вся толпа старалась всячески выразить свое расположение к любимцу своему Искандер-беку (как называли горцы Бестужева).

1837 год застал его в Тифлисе — в этом году погиб на дуэли Александр Пушкин; полковник Мирза-Фатали Ахундов прочел декабристу свои стихи на смерть великого русского поэта. Бестужев перевел стихи Ахундова с азербайджанского на русский язык — они разошлись по всему Кавказу в списках.

Это был его венок на могилу убитого друга.

А весною на рейде Сухуми уже качались корабли Черноморской эскадры, шла погрузка десанта на палубы. Оставались считанные дни до отплытия.

Ветер наполнил паруса, унося эскадру к мысу Адлер. На палубе сорокачетырехпушечного фрегата «Анна» солдаты распевали сочиненную Бестужевым песню:

> Эй вы, гой-еси, кавказцы-молодцы, Удальцы да государевы стрельцы! Посмотрите, Адлер-мыс недалеко, Нам его забрать и славно, н легко... Ай, жги-жги, говори, Будет славно и легко!

Вот и мыс Адлер... День был теплым. Легкая волна напомнила Бестужеву его повести... Сердце кольнуло болью о былом — невозвратном:

Я за морем синим, за синею далью Сердце свое схоронил. Я тоской о былом ледовитой печалью Грудь от людей заградия...

Прямо из бурунов прибоя десант шел в атаку, и белое прибойное *кружево* великолепно рифмовалось с фамилией самого *Бестужева*.

Здесь, на мысе Адлер, все и закончилось навеки! Никто не видел ран Бестужева, не видел его убитым.

В трескотне выстрелов, размахивая шашкой, он ускакал в чащу чеченского леса, словно в легенду, и увел за собой свою легендарную жизнь писателя, декабриста, воина...

Кавказская литература наполнена версиями о его гибели.

Один сослуживец Бестужева в старости вспоминал, что «тело его не нашли меж убитыми, а на одном из черкесов найдены были его пистолеты и кольцо, и поэтому сначала долго думали, что он взят в плен». За точные сведения о судьбе Бестужева штаб Кавказского корпуса объявил награду! Явился за наградой чеченец с гор, который (в знак примирения с русскими) повесил шашку себе на грудь.

 Искандер-бека не ищите, — сказал он. — Конь занес его прямо в толпу черкесов, они взяли его, долго разговаривали о

чем-то, а потом изрубили его своими шашками...

Говорили, будто главнокомандующий на Кавказе получил от Бестужева записку: «Я в плену. Меня зорко стерегут, я опутан какой-то сетью... Вере отцов не изменил и продолжаю любить родину. Я написал большое произведение, которое меня

прославит. Привет братьям и всем, кто не забыл изгнанника Александра Бестужева».

Народная молва приукрасила эту легенду одной деталью.

— Передайте Бестужеву, — наказал якобы Паскевич, — чтобы сидел в горах, пока мы весь Кавказ не завоюем. Если же с гор спустится, то будет до смерти заключен в крепости...

Сухумские старожилы свято верили, что где-то высоко в аулах живет, словно горный орел, какой-то русский офицер, которого зовут Искандером; он высок, строен, умен и образован, пользуется средь горцев почетом, но они стерегут его денно и ношно, чтобы он не бежал в долину...

Писатель П. В. Быков со слов своего отца, лично знавшего Бестужева, писал: «Какой-то казак будто бы клялся и божился ему, что видел Александра Бестужева в богатой сакле, что у него жена-красавица, за которой он взял хорошее приданое, и что он по секрету (от горцев) выкупает наших пленных, а они этого даже не подозревают...»

Иногда пленных выкупали за поваренную соль, в которой горцы всегда остро нуждались. Старый кавказский воин Г. И. Филипсон писал в своих мемуарах: «В 1838 году я узнал, что у убыхов есть в плену какой-то офицер, но когда его выкупили за 200 пудов соли, оказалось, что это был прапорщик Вышеславцев, взятый горцами в пьяном виде и надоевший своим хозяевам до того, что они хотели его убить... Бестужев пропал без вести. Мир душе его! Он не дожил до серьезной критики своих сочинений, которые читались всегда с упоением».

Бестужев-Марлинский, как и его соратник Рылеев, умел сочетать романтику литературы с романтикой революции. В мемуарах декабристов он представлен «запальщиком» активности, «горячей головой» — в буре восстания он вывел Московский полк на Сенатскую площадь. После поражения восставших Бестужев решил не скрываться от суда — сам явился на гауптвахту Зимнего дворца и сдал шпагу. Благородный рыцарь, он не стращился расправы и в письме к Николаю I открыто признал, что хотел привлечь Измайловский полк, чтобы во главе его атаковать дворец...

Пропал без вести! За этими словами всегда есть надежда, и всегда в таких словах кроется непостижимая тайна. Когда я был на Кавказе в тех местах, мне все казалось, что сейчас с гор спустится стройный офицер в белом бешмете с газырями и, подав мне руку, печально спросит:

- Неужели моих повестей больше не читают? Жаль...

УДАЛЯЮЩАЯСЯ С БАЛА

В обстановке бедности, близкой к нищете, в Париже умирала бездетная и капризная старуха, жившая только воспоминаниями о том, что было и что умрет вместе с нею. Ни миланским, ни петербургским родичам, казалось, не было дела до одинокой женщины, когда-то промелькнувшей на русском небосклоне «как беззаконная комета в кругу расчисленных светил».

В 1875 году ее закопали на кладбище Пер-Лашез, предав забвению. Но «Графиню Ю. П. Самойлову, удаляющуюся с бала...», помнили знатоки искусств, и она снова и снова воскресала во днях сверкающей молодости, оставаясь бессмертной на полотнах кисти Карла Брюллова. Казалось, она не умерла, а лишь удалилась с пышного «маскарада жизни», чтобы еще не раз возвращаться к нам из загадочных потемок былого. А. Н. Бенуа, тонкий ценитель живописи, писал, что отношения мастера к Самойловой достаточно известны, и, «вероятно, благодаря особенному его отношению к изображаемому лицу, ему удалось выразить столько огня и страсти, что при взгляде на них сразу становится ясной вся сатанинская прелесть его модели...»

Чувствую, следует дать родословную справку, дабы ни мне, ни читателю не блуждать в дебрях истории. Начнем с князя Потемкина-Таврического. Его родная племянница Екатерина Васильевна Энгельгардт безо всякой любви, а только от скуки стала женою екатерининского дипломата графа Павла Скав-

ронского. Когда этот аристократ окончательно «догнил» среди красот Италии, вдова его — на этот раз по страстной любви! — вышла замуж за адмирала русского флота, мальтийского кавалера и графа Юлия Помпеевича Литту. От первого брака Екатерина Васильевна имела двух дочерей: Екатерина стала женой прославленного полководца князя Петра Ивановича Багратиона, а ее сестра Мария вышла за графа П. П. фон дер Палена.

Павел Петрович Пален от брака с Марией Скавронской оставил одну дочь — Юлию Павловну, родившуюся в 1803 году. Современников поражала ее ослепительная внешность «итальянки», а черные локоны в прическе Юлии никак не гармонировали с бледными небесами севера. Впрочем, сохранилось смутное предание, что ее бабка, жившая в Италии, не слишком-то была верна своему мужу — отсюда и пылкость натуры Юлии, ее черты лица южанки...

Именно она одарила дружбою и любовью художника, сохранившего ее красоту на своих портретах. Написав эту фразу, я невольно задумался: а можно ли отвечать на чувства женщины, которая то приближается, то удаляется от тебя?

Наверное, можно. Карл Павлович Брюллов доказал это!

Странно, что эта богатейшая красавица засиделась в невестах и только в 1825 году нашла себе мужа. Это был столичный «Алкивиад», как называли графа Николая Александровича Самойлова, внучатого племянника того же Потемкина-Таврического.

В замужестве она не изведала счастья, ибо «Алкивиад», будучи образцом физического развития, являлся и образцовым кутилой. Управляющим же его имениями был некий Шурка Мишковский, пронырливый конторщик, ставший доверенным графа в его делах и кутежах, а заодно и тайным утешителем молодой графини. В журнале «Былое» за 1918 год были опубликованы те места из мемуаров А. М. Тургенева, которые до революции не могли быть напечатаны по цензурным соображениям. А. М. Тургенев, много знавший, писал, что Мишковский за свои старания угодить обоим супругам получил от Самойловой заемных писем на 800 000 рублей. Узнав об этом, адмирал Литта огрел его дубиной:

— Ежели ты, вошь, не возвратишь векселя графини, обещаю тебе бесплатное путешествие до рудников Сибири...

В конце 1826 года возникли слухи о примирении супругов, в письме от 1 декабря поэт Пушкин даже поздравил графа Самойлова с возвращением в объятия жены. Но вскоре последовал окончательный разрыв — после того, как Юлией увлекся Эрнест Барант, сын французского посла (тот самый Барант, с

которым позже драдся на дуэли Михаил Лермонтов). Чета Самойловых разъехалась, и молодая женщина поселилась в Славянке под Петербургом, доставшейся ей по наследству от графов Скавронских. Богатство и знатное происхождение придавали Самойловой чувство полной независимости, свободной от стеснительных условий света. Иногда кажется, что она даже сознательно эпатировала высшее общество столицы своим вызывающим повелением.

Восстание декабристов было событием недавним, и Николай I пристально надзирал за чередою ночных собраний в Славянке (за Павловском, ныне дачная станция Антропшино), куда съезжались не только влюбленные в графиню, но и люди с подозрительной репутацией. Чтобы одним махом разорить дотла это гнездо свободомыслия, император однажды резко заявил Самойловой:

- Графиня, я хотел бы купить у вас Славянку. Если цари просят, значит, они приказывают.

— Ваше величество, — отвечала Юлия Павловна, — мои гости ездили не в Славянку, а лишь ради того, чтобы видеть меня, и где бы я ни появилась, ко мне ездить не перестанут.

— Вы слишком дерзки! — заметил цезарь.

— Но моя дерзость не превосходит той меры, какая приличествует в приватной беседе между двумя родственниками...

Таким ответом (еще более дерзким!) Юлия дала понять царю, что в ее жилах течет кровь Скавронских, которая со времен Екатерины I пульсирует в каждом члене семьи правящей династии Романовых. Назло императору, желая доказать, что в Славянку ездили не ради самой Славянки, Юлия Павловна стала выезжать для прогулок на «стрелку» Елагина острова, а за ней, словно на буксире, на версту тянулся кортеж всяких карет и дрожек, в которых сидели поклонники графини, счастливые

даже в том случае, если она им улыбнется.

Среди безнадежно влюбленных в Самойлову был и Эммануил Сен-При, гусарский корнет, известный в Петербурге карикатурист (его помянул Пушкин в романе «Евгений Онегин» и в стихах «Счастлив ты в прелестных дурах».) Но молодой повеса счастлив не был — застрелился! Поэт Вяземский записывал в те дни: «Утром нашли труп его на полу, плавающий в крови. Верная собака его облизывала рану». Причиной самоубийства гусара считали неразделенное чувство, вызванное в нем опять-таки Самойловой. Со стороны могло показаться, что Юлия Павловна способна нести мужчинам одни лишь страдания и несчастья, но зато для Карла Брюллова она стала его спасительницей...

Это случилось в 1828 году, когда Везувий угрожал Неаполю

новым извержением кипящей лавы. Год был труден для Брюллова, измученного трагической любовью к нему некоей Аделаиды Демулен: ревнивая до безумия, она кинулась в воды римского Тибра, а друзья Брюллова жестоко обвиняли его в равнодушии.

— Я не любил ее, — оправдывался Карл Павлович, — и пос-

леднее письмо ее прочитал, лишь узнав о ее смерти...

В доме князя Григория Ивановича Гагарина, посла при Тосканском дворе, уже заканчивался ужин, когда, ошеломив гостей, вдруг стремительно появилась статная рослая женщина, само воплощение той особой красоты, которую хотелось бы лицезреть постоянно, — так Брюллов впервые встретил графиню Юлию Самойлову, и хозяин дома дружески предупредил художника:

— Бойтесь ее, Карл! Эта женщина не похожа на других. Она меняет не только привязанности, но и дворцы, в которых живет. Не имея своих детей, она объявляет чужих своими. Но я согласен, и согласитесь вы, что от нее можно сойти с ума...

Самоубийство корнета Сен-При никак не задело Самойлову, но зато гибель несчастной Демулен повергла Брюллова в отчаяние. Князь Гагарин, чтобы оберечь художника от хандры и сплетен, увез его в имение Гротта-Феррата, где Брюллов залечивал свое горе чтением и работой. Но и в эту тихую сельскую жизнь, словно мятежный вихрь, однажды ворвалась Юлия Самойлова.

- Едем! решительно объявила она. Может, грохотание Везувия, готового похоронить этот несносный мир, избавит вас от меланхолии и угрызений совести... Едем в Неаполь!
 - В пути Брюллов признался, что ему страшно.
 - Вы боитесь погибнуть под прахом Везувия?
- Нет. Рафаэль прожил тридцать семь лет, а я вступаю уже в третий десяток и ничего великого еще не свершил.
 - Так свершайте, смеялась Юлия...

Кто он и кто она? Ему, труженику из семьи тружеников, пристало ли заглядываться на ее красоту? Петербург отказывал Карлу даже в присылке пенсионных денег, а рядом с ним возникла женщина, не знавшая меры страстям и расходам, навещавшая иногда Францию, где у нее было имение Груссе, переполненное фамильными сокровищами. Наконец, как прекрасно ее палаццо в Милане, а еще лучше вилла на озере Комо, где ее посещали композиторы Россини и Доницетти... Самойлова была умна и, кажется, сама догадалась, что угнетает бедного живописца.

- Так и быть, я согласна быть униженной вами.
- Вы? удивился Брюллов.

— Конечно! Если я считаю себя ровней императору, то почему бы вам, мой милый Бришка, не сделать из меня свою рабыню, навеки покоренную вашим талантом? Ведь талант — это тоже титул, возвышающий художника не только над аристократией, но даже над властью коронованных деспотов...

Брюллов писал с нее портреты, считая их незаконченными, ибо Юлия Павловна не любила позировать — некогда! Ей всегда было некогда. На одном из полотен она представлена возвращающейся с прогулки, она порывисто вбегает в комнату — под восхищенными взорами девочки и прислуги-арапки. Бегом. бегом...

- Некогда, я привыкла спешить, - говорила она.

Наконец грянул «Последний день Помпеи», и он прославил живописца — сразу и на века! Брюллов стал кумиром Италии: за ним ходили по пятам, как за чемпионом, поднявшим гирю небывалого веса, мастера зазывали в гости, жаждали узнать его мнение, высоко ценили каждый штрих брюлловского карандаша, наконец, Карла Павловича донимали заказами.

*Брюллов меня просто бесит, — разгневанно писала княгиня Долгорукая, давно умолявшая художника о свидании. — Я его просила прийти ко мне, я стучалась к нему в мастерскую, но он не показался. Вчера я думала застать его у князя Гагарина, но он не пришел... Это оригинал, для которого не существует доводов рассудка! Выть рассудочным Брюллов не умел и не хотел. Маркиза Висконти, очень знатная дама, которой он обещал рисунок, тоже не могла залучить маэстро к себе. Вернее, он приходил к ней, но каждый раз оставался в прихожей дворца, удерживаемый там красотою сопливой девчонки — дочери швейцара. Напрасно маркиза и ее гости изнывали от нетерпения: Брюллов, налюбовавшись красотою девочки, уходил домой, сонно позевывая. Наконец маркиза Висконти сама спустилась в швейцарскую.

— Гадкая девчонка! Если твое общество для Брюллова дороже общества моих титулованных друзей, так скажи ему, что ты желаещь иметь его рисунок, и... отдащь его мне!

Получался забавный анекдот: рисунок для маркизы был сделан по заказу дочери швейцара той же маркизы. Если светская молва обвиняла Самойлову в ветрености, то Брюллов, воспевавший ее в своих картинах, тоже бывал непостоянен. Но при этом: «Верный друг», — пылко говорила Юлия художнику. «Моя верная подруга», — нежно отзывался о ней Брюллов... Много позже, когда возникал мучительный спор о чистоте их отношений, графиня Юлия Павловна в раздражении отвечала:

— Ах, оставьте! Поймите, что между мною и великим Карлом ничего не делалось по вашим правилам... Правила могли существовать для всех, но только не для меня и не для Карла!

Знатоки творчества Брюллова, проникшие в тайну их отношений, пристально изучали гигантское полотно «Последний день Помпеи», отыскивая среди погибающих лицо главной героини:

— Вот он сам, спасающий атрибуты священного искусства... рядом с ним и она! С кувшином на голове, а в глазах застыл ужас. Богиню его сердца легко узнать и в павшей женщине, уже поверженной колебаниями земли. А вот и опять Самойлова, привлекающая к себе дочерей — жест матери, полный отчаяния...

Знаменитая «Мадонна Литта» кисти Леонардо да Винчи (ныне укращающая Эрмитаж) досталась графине Самойловой от адмирала Юлия Помпеевича Литты, боготворившего свою «внучку» как родную дочь. Он буквально обрушил на нее свое колоссальное наследство в Италии и в России, сделав Юлию не в меру расточительной; постоянно окруженная композиторами, артистами и художниками, эта женщина, в душе очень добрая, старалась помочь всем. Если на родине она считала себя ровней императора, то под солнцем Италии тоже не оказалась чужой, ибо графы Литта, когда-то владевшие городом Миланом, были известны в истории Италии.

Юлия Павловна могла бы сказать Брюллову:

— Не странно ли? Средь пращуров моего «деда» были и такие, при дворе которых работал великий Леонардо да Винчи, а теперь я, наследница их потомков, имею у своих ног тебя... моего славного, моего драгоценного друга Бришку!

...Иван Бочаров, наш талантливый историк искусств, столь много сделавший для раскрытия тайн брюлловского творчества в Италии, отыскал в Милане даже побочных потомков — сородичей графини Самойловой, но раскрытие одних загадок тут же порождало другие загадки — и любви, и творчества. Наверное, нам теперь легче выяснить, куда и на кого промотала Юлия Павловна свое наследство от адмирала Литты и графов Скавронских, нежели узнать, куда делись утраченные шедевры кисти Брюллова, которыми он столь щедро одаривал свою блистательную подругу...

Карл Павлович Брюллов всегда был для нее «Бришка драгоценный», но для нас он останется национальной гордостью!

Пушкин ведь тоже мечтал иметь рисунок его руки...

Возвращение Брюллова на родину было триумфальным, и Пушкин хотел заказать ему портрет пленительной Натали, уверенный, что красота жены вдохновит гениального маэстро.

В одном из писем поэт описывал жене свое посещение Перовского, который показывал ему не законченные Брюлловым эскизы для картины на тему о взятии Рима Гензерихом. Свое восхищение Перовский пересыпал бранью, ибо с Брюлловым он повздорил:

— Заметь, как прекрасно этот подлец нарисовал всадника, мошенник такой! Как он сумел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия! Как нарисовал он всю эту группу, пьяница он, мошенник и негодяй...

О том, как работал Брюллов на родине, написано очень много.

У него все получалось. Слава гения росла, но росло и недовольство той сумбурною жизнью, какою он вынужден был жить в окружении собутыльников. Брюллову захотелось трезвого покоя и семейного уюта. В доме баталиста Зауэрвейда, любимца двора Николая I, случайно он встретил тихую и скромную девушку — Эмилию Федеровну Тимм, дочь рижского бургомистра. В самом расцвете наивной юности, нежная, как весенний ландыш, она показалась усталому мастеру именно той единственной, которая, может быть, удалит из сердца давнюю страсты к чересчур пылкой, излишне переменчивой, вечно неудовлетворенной Юлии. Карл Павлович всегда подпадал под сильное влияние музыки, а тут... Тут изящная Эмилия Тимм увлекла его игрою на рояле и своим пением, причем ее почтенный отец искусно подыгрывал дочери на скрипке.

...Нет, Брюллов не кинулся на колени перед ангельским созданием, не клялся в вечной любви; прежде всего он был художник, и потому выразил свой восторг в создании портрета прекрасной Эмилии; сейчас он хранится в Третьяковской галерее, где его считают шедевром гения. Казалось бы, все уже ясно...

Но вскоре Брюллову пришлось писать шефу жандармов Бенкендорфу позорное объяснение. «Я влюбился страстно, — признавал художник. — Родители невесты, в особенности отец, тотчас составили план женить меня на ней... Девушка так искусно играла роль влюбленной, что я не подозревал обмана...» Свадьба состоялась 27 января 1839 года. Тарас Шевченко, бывший тому свидетелем, вспоминал, что Брюллов в день свадьбы был настроен мрачно, словно заранее предчуял будущую беду: «В продолжение обряда Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись; он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту».

Затем началась семейная жизнь, вполне добропорядочная: молодая Эмилия краснела от нескромных шуток, с учениками мужа поигрывала в картишки, расплачиваясь с ними за проигрыш не пятаками, в которых они так нуждались, а исполнением каватины из оперы «Норма», и казалось, что Брюллов вполне доволен выбором своего сердца.

Но... Вот оно, это эловещее проклятое «но»!

8 марта, через месяц после свадьбы, Эмилия покинула дом Брюллова, по столице расползались самые грязные сплетни:

- Вы слышали? Наш великий Карл оказался садистом, бедняжка не выдержала мук и бежала от него в одной рубашке.
- А я, господа, слышал иное! Брюллов повздорил с отцом жены за картами и разбил ему голову бутылкой... вдребезги!
- Неправда! Будучи пьян, он вырвал из ушей Эмилии серым вместе с мочками и выгнал несчастную на улицу босиком...

То, что Эмилия от Брюллова бежала, — это правда! Но правда и то, что из своего же дома бежал сам Брюллов; укрываясь от позора, он нашел убежище в семье скульптора Клодта. Разрыв между супругами был скоропостижен и казался необъясним, ибо никто в Петербурге ничего не понимал. А когда люди ничего не знают, тогда их фантазия не знает пределов. Историки долгие годы не раскрывали секрет этого странного разрыва, объясняя свое молчание причинами соблюдения морали. Но при этом, оставляя читателя в неведении, историки — невольно! не снимали вины с Брюллова; таким образом, читатель был вправе думать о живописце самое худое. Но отныне печать молчания сорвана, и нам позволено сказать сущую правду. Эмилия Тимм была развращена своим же отцом, который, выдавая ее за Брюллова, желал оставаться на правах любовника дочери. Мало того, когда разрыв уже состоялся, этот мерзавец (кстати, заодно с дочерью) требовал от художника «пожизненной пенсии». Брюллов страдал.

— Как я покажусь на улице? — говорил он жене Клодта. — На меня ведь пальцем станут показывать, как на злодея. Кто поверит в мою невинность? А это «волшебное создание» еще осмеливается требовать с меня пенсию... За что?

Дело зашло далеко. Так далеко, что император Николай I повелел Брюллову объяснить графу Бенкендорфу точные причины своего развода. Карл Павлович, насилуя самого себя, был вынужден допустить посторонних людей в ту грязь, в которой его постыдно испачкали. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как раз в это время не стало графа Литты, который, невзирая на свои семьдесят лет, считал себя еще завидным женихом, читал без очков, а вино хлестал как гусар на бивуаке. За минуту до смерти он алчно слопал громадную фор-

му мороженого (рассчитанную на 12 порций), а последние слова в этом грешном мире адмирал посвятил искусству своего повара:

— На этот раз мороженое было просто восхитительно!.. Но в смерти графа Литты явилось к Брюллову спасение.

По делам наследства в Петербург срочно примчалась графиня Юлия Самойлова; в Царском Селе она кратко всплакнула над могильной плитой «деда» Литты и поспешила явиться в столичном свете, где ее с большим трудом узнавали. «Она так переменилась, — сообщал К. Я. Булгаков, — что я бы не узнал ее, встретив на улице: похудела и лицо сделалось итальянским. В разговоре же она имеет итальянскую живость и сама приятна...»

Сразу оповещенная о клевете, возводимой на ее друга, Юлия Павловна — сплошной порыв, как на ее портретах! — кинулась к нему в мастерскую. Она застала его удрученным бедами.

Он был несчастен, но... уже с кистью в руке.

— Жена моя — художество! — признался Брюллов.

Юлия все перевернула вверх дном в его квартире. Она выгнала кухарку, нанятую Эмилией Тимм; она надавала хлестких пощечин пьяному лакею; она велела гнать прочь всех гостей, жаждущих похмелиться, и, наверное, она могла бы сказать Брюллову те самые слова, которые однажды отправила ему с письмом: «Я поручаю себя твоей дружбе, которая для меня более чем драгоценна, и повторяю тебе, что никто в мире не восхищается тобой и не любит тебя так, как я — твоя верная подруга».

Так может писать и говорить только любящая женщина...

Утешив Брюллова, она вернулась в Славянку; здесь, в интерьере парадного зала, ее изобразил художник Петр Басин, приятель Брюллова, знавший Самойлову еще по жизни в Италии. Басин исполнил портрет женщины в сдержанной манере, графиня как бы застыла в раздумье; портрет кажется лишь сухопротокольным отчетом о внешности графини, не более того. Карл Павлович тоже начал портрет любимой женщины, однако совсем в иной манере, изобразив ее опять-таки в порыве никем не предугаданного движения — почти резкого, почти вызывающего, почти протестующего.

Так возникла знаменитая «Графиня Ю. П. Самойлова, удаляющаяся с бала у персидского посланника». Между Самойловой и обществом, которое она покидает, Брюллов опустил тяжелую, ярко пылающую преграду занавеса, словно отрезав ей пути возвращения в общество. Она сорвала маску, представ перед нами во всем откровении своей красоты, а за портьерой занавеса — словно в тумане — колышутся смутные очертания маскарадных фигур. Самойлова снова удаляется. Неужели... навсегда?

Занавес — словно пламя, в котором сгорает все прошлое, и обратно она уже никогда не вернется. «Санкт-Петербургские ведомости» вскоре известили читателя, что графиня Самойлова покинула столицу, выехав в Европу... навсегда!

Покидая родину в 1840 году, она продала Славянку богачу Воронцову-Дашкову, которую вскоре перекупил у него император, назвав это имение на свой лад — Царская Славянка. Через девять лет Брюллов, уже смертельно больной, тоже покинул Россию, надеясь, что его излечит благодатный климат Мадейры, но вскоре он вернулся в Италию; можно догадываться, что в канун смерти он все-таки виделся с Юлией Павловной, но... Что мог он сказать ей, остающейся жить, и что могла ответить она ему, уходящему из этого сложного и роскошного мира?

Правду следует договаривать до конца. Заядлая меломанка, Самойлова часто бывала в опере, и однажды, послушав, как заливается тенор Перри, она уехала из театра в одной карете с певцом, объявив ему по дороге домой, чтобы он готовился...

- К чему? обомлел тенор.
- Я решила сделать из вас своего мужа...

В старой литературе этого певца почему-то иногда величают «доктором». Есть основания подозревать, что Перри увлекли не любовные, а лишь меркантильные соображения: он возмечтал пережить Самойлову, дабы овладеть несметными богатствами русской аристократки. Однако сей молодой человек - в расцвете сил и таланта — не выдержал накала ее страстей и вскоре же умер, оставив Самойлову сорокатрехлетней вдовой. А через год после его кончины в России умер и первый муж Юлии Павловны — знаменитый «Алкивиад», почему она долго носила траур по двум мужьям сразу. Очевидцы, видевшие ее в этот период жизни, рассказывали, что вдовий траур очень шел к ней, подчеркивая ее красоту, но использовала она его весьма оригинально. На длиннейщий шлейф траурного платья Самойлова сажала детвору, словно на телегу, а сама, как здоровущая лошаль, катала хохочущих от восторга детей по зеркальным паркетам своих дворцов.

Затем она удалилась в Париж, где медленно, но верно расточала свое богатырское здоровье и свое баснословное богатство на окружающих ее композиторов, писателей и художников. Лишь на пороге старости она вступила в очередной брак с французским дипломатом графом Шарлем де Морнэ, которому исполнилось 64 года, но после первой же ночи разошлась с

ним и закончила свои дни под прежней фамилией — Самой-лова.

Писать об этой женщине очень трудно, ибо сорок лет жизни она провела вне родины, и потому русские мемуаристы не баловали ее своим вниманием. Если бы не ее близость к Брюллову, мы бы, наверное, тоже забыли о ней...

Но, даже забыв о ней, мы не можем забыть ее портреты. Вот она — опять удаляется с бала. И никогда не вернется...

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЧЕТКИ

Начало истории — прямо-таки из романа времен благородных рыцарей и прекрасных дам. Только дело происходило не в Валенсии или Провансе, а в старой Казани, перед Танечкой Саблуковой стояли на коленях не Дон-Кихот с Дон-Жуаном, а всего лишь два юных семинариста в замызганных рясах, и животы у них были подведены от давнишнего недоедания.

 О, как мы любим вас! — согласно взывали они к девице. — Наши чувства к вам одинаковы, только натуралии у нас разные. Вот и решили сообща, чтобы вы сами выбрали себе

угодного...

Семинаристы были сыновьями бедных дьячков, между собой двоюродные братья: пригожий Саня Корсунский и раскосый (чуваш по матери) Никита Бичурин. Девушке нравился Корсунский, о чем она созналась, и Бичурин сразу поднялся с колен:

— Вот и конец! Теперь, по уговору меж нами, Саньке под венец с тобою идти, а мне монашеский сан принимать, дабы

не мозолил я вам глаза, любви вашей мешая...

Корсунский потом уехал с женою в Петербург, стал чиновником и даже разбогател, а Никита Яковлевич Бичурин для мира исчез. Под монашеским клобуком появился новый человек — Иакинф. Было ему тогда лишь 22 года. Иакинф уже блистательно владел латынью, свободно говорил по-немецки; дерзал переводить с французского вольтеровскую «Генриаду». Мо-

лодого монаха оставили в Казани, где он читал лекции по грамматике и риторике, его повысили в духовном сане.

Не будем наивно думать, что в монахи шли только глубоко верующие люди. Напротив, за стенами русских монастырей зачастую укрывались ищущие сытости вольнодумцы, потерпевшие крушение надежд и жизненные невзгоды, под благовест церковных колоколов люди погребали несчастную любовь. Убежденный атеист, Иакинф Бичурин затаил свою натуру под видом смиренника, отрешенного от земных страстей, ловко скрывая свое безбожие.

Это давалось нелегко. Недаром же впоследствии декабрист Николай Бестужев перековал свои кандалы на гирлянду монашеских четок — в подарок отцу Иакинфу:

— Чую, будут они грузны для тебя, как и для нас тяжки были кандалы такие... Потаскай, сам сведаешь!

Впрочем, это случилось позднее, а в 1802 году Иакинф был назначен в Иркутск — ректором тамошней семинарии и архимандритом Вознесенского монастыря. Из Казани он вывез с собою молодого послушника, который стелил ему постель, возжигал перед ним свечи, ставил самовар и прочее. Так бывало днем... А ночью «послушник» сбрасывал рясу и становился прекрасной женщиной, бежавшей от барщины искать воли.

— Выбрось из головы Таньку свою, — шептала она по ночам, ревнуя. — Нешто я хуже недотроги казанской?..

Эта любовная история была однажды разоблачена, женщину вернули под власть помещика, а Бичурина заточили в темнице Тобольского монастыря — именно в той камере, где в давние времена сидел, потрясая цепями, неистовый протопоп Аввакум.

Иакинфа Бичурина спасла от кары... политика!

Россия очень бережно относилась к своим дальневосточным владениям, прощая многие амбиции династии цинских богдыханов. Но своего посла в Пекине не имела, роль посольства там исполняла духовная миссия — с монахами и студентами, изучающими китайский язык. Как раз в это время русский кабинет отправил в Китай особое посольство во главе с графом Юрием Головкиным, чтобы разрешить стародавние споры. Проездом через Тобольск граф узнал о заточении Иакинфа:

— И почему это у нас дураки в Сенате заседают, а умных людей в тюрьмах содержат? Буду писать лично императору...

Однако дипломат добрался лишь до кочевий Урги (ныне город Улан-Батор). Китайские мандарины требовали от графа исполнить унизительный церемониал «коу-тоу», отрепетировать серию поклонов и приседаний перед идолом, заменив-

шим в их воображении самого богдыхана. Головкин унижаться не стал:

 Мне, русскому послу, не пристало ползать на четвереньках перед вашим истуканом, вылепленным из глины...

Петербург в особом меморандуме протестовал: «Возвращение российского посольства, преждевременное и неприличным образом вынужденное, есть неслыханное для нас происшествие!» Юрий Головкин настоял перед кабинетом, чтобы обновили русскую миссию в Пекине, а отца Иакинфа сделали главою миссии.

— У них там много всяких китайских церемоний, — напутствовал он монаха, — но ты в Пекине не слишком-то церемонься. Сам увидишь, что делать в царстве богдыханов... Паче того, со времен Кяхтинского трактата между великой Россией и Поднебесной империей объявлен «вечный мир»!

В январе 1808 года в Пекин въехала Х духовная миссия. дабы сменить IX миссию. Иакинф оставил церковные дела в покое, сразу же приступив к изучению китайского языка. Его редко видели в храме, он пропадал на базарах и в харчевнях. осваивая разговорный язык. «Не хваля себя, могу сказать, что живу здесь единственно ради отечества, а не для себя. — писал Иакинф из Пекина друзьям на родину. — Иначе в два года не мог бы я выучиться так говорить по-китайски, как ныне я говорю». Познание Китая давалось с трудом: масса ошибок в транскрипции личных имен и в географии страны, допущенных учеными Европы, привела к невообразимой путанице в написании и произношении китайских слов. Пекинские мудрецы допустили монаха до своих сокровищ; Иакинф подкупил их невольным трепетом, с каким обращался с древними книгами. Конечно, он не смел коснуться пальцами текста, особенно бережно листал манускрипты, писанные красными чернилами, что, по мнению мудрецов, сразу в восемьсот раз повышало их ценность.

Настал 1812 год. Петербургу было не до того, чтобы думать о духовной миссии в Пекине, которая в канун войны (и даже после изгнания Наполеона) не получала ни копейки денег. Дабы монахи и студенты не побирались на улицах, Иакинф самым безбожным образом распродал церковную утварь. В 1813 году китайцы восстали против династии Цин. Иакинф описал восстание как очевидец, дополнив статью историей прошлых бунтов в Китае. Опубликованная в «Духе журналов» русской столицы, эта статья стала первой научной работой Иакинфа.

Он любил труд, который одному человеку, кажется, и не осилить. А потому смело брался за переводы необъятных томов китайской истории, вникал в поучения азиатских философов. В

душе вольтерьянец, следуя по стопам французских энциклопедистов, Бичурин даже преувеличивал восточную мудрость, облагораживал местные нравы и законы. «В таком государстве, писал он о Китае, — без сомнения, есть много любопытного... много хорошего, поучительного для европейцев, кружащихся в вихре различных политических систем».

Историки Европы выводили корни китайцев от Египта или даже Вавилона, искали их первоистоки в библейских легендах; немецкие синологи видели в племенах Тянь-Шаня «усунь» следы прогерманского происхождения. Бичурин — вопреки всем! — точно указал на самобытность культуры Китая, которая офор-

милась в долинах среднего течения реки Хуанхэ.

— А Господь Бог, — говорил он, — не додумался заглянуть в эти края, так что и Библия тут сбоку припека. Немецким же

духом в Азии никогда и не пахло...

До Иркутска стали доходить слухи, будто глава миссии запустил храм в Пекине, не обнаруживая никакого почтения к церковным святыням. В 1821 году священный синод прислал в Пекин нового владыку миссии Петра Каменского.

— Зверы! — сказал он Иакинфу. — Ты погляди, во что храм божий обратил. Даже мышонку огарка свечного не оставил... все пусто, хоть лошадей заводи с улицы. Куда же все подевалось, харя твоя мерзопакостная? Давай ключи от миссии.

Иакинф Бичурин брякнул ключами на пол.

- Нагнись и подыми сам, - сказал он Каменскому...

Каменский послал донос в священный синод. Бичурину было велено сдать дела миссии, а самому выехать в Петербург для оправданий. Иакинф выступил в путь караваном верблюдов, увозя в столицу четыреста пудов книжной учености по философии, экономике, географии и истории Китая.

Но мужам синодальным было не до его интересов.

— Где бы нести китайцам слово божие, вместо этого ты в Пекине вавилонском беса блудного тешил. — Его упрекали во многих грехах, даже за пристрастие к китаянкам, искренно удивляясь: — Чего ты в узкоглазых нашел хорошего?

— Не судите о них по картинкам, исполненным европейцами, — отвечал Иакинф. — Китаянки столь приятного обхождения, что во всем мире таковых не сыскать, и никогда они скандала не учинят, как это принято в странах цивилизованных...

В столице Бичурин сразу (и на всю жизнь) подружился со знатоком Востока и полиглотом, владеющим знанием редкостных языков: монгольского, бурятского, тибетского. Это был барон Павел Львович Шиллинг, изобретатель первого в России электромагнитного телеграфа, основатель литографского дела, физик и дипломат; он был и приятелем поэта А. С. Пушкина.

— А мое детство прошло в Казани, когда вы, мой друг, осиливали науки в тамошней семинарии. Куда вы смотрите?

— Среди множества редкостей вашего кабинета, — заметил Бичурин, — я вижу и саблю с надписью «За храбрость».

— Да! Бывал не только дипломатом, но сражался и с Наполеоном, а эту саблю получил за битву при Фер-Шампенуазе...

Синоду же был безразличен ученый Бичурин, владыки церкви видели в нем лишь «поганую» овцу из стада божьего, и приговор иерархов синода был слишком суров: Иакинфа разжаловать в рядовые монахи, сослать на вечное заточение в монастырь со строгим режимом. Так он, еще недавно гулявший по улицам Пекина, оказался в тишине острова Валаам. Но, покидая столицу, монах еще надерзил в святейшем синоде:

— В монастырь заточить меня вы способны, и даже под схимой пожизненно, — сказал он. — Но вы не в силах отрешить меня от науки, коей я остаюсь предан... тоже пожизненно!

Современник оставил нам свидетельство, что на Валааме Бичурин вел далеко не монашеский образ жизни: «Когда, бывало, зайдет к нему в келью игумен и станет звать к заугрене, он обыкновенно отвечает ему: «Отец игумен, идите уж лучше сами в церковь, а я вот уже более семи лет не имел на себе этого греха...» Экономя время на молитвах, он обложил себя грудами книжной учености, писал книги — о Тибете и Монголии, заглядывал в темное прошлое Джунгарии и Туркестана, составил описание Пекина с приложением плана китайской столицы. Пока он трудился в келье Валаамской обители, барон Шиллинг использовал светские связи родственников, нажал на все придворные пружины, чтобы вызволить Бичурина из монастырского заточения. Карлу Нессельроде, ведавшему иностранными делами Российской империи, барон не однажды локазывал:

— Надобно известить его величество, что нельзя удалять из науки человека, способного внести полезную лепту в наше востоковедение. Россия нуждается в подробном изучении Китая ради соблюдения с ним дружбы, и эта держава, для нас еще во многом загадочная, никогда не перестанет быть нашей соседкой.

Три года ушло на хлопоты друзей, чтобы вырвать Бичурина из «вечного заточения». Монаху разрешили вернуться в Петербург; его зачислили в штат чиновников Азиатского департамента; служащий днем, он обязан был ночевать в келье Александро-Невской лавры столицы. Все начатое еще в Пекине и завершенное на Валааме быстро воплощалось в книгах, выходивших одна за другой. Бичурин становится знаменит, его переводили в

Париже, им уже интересовалась Европа, о нем часто писали в русских журналах. «Московский телеграф» извещал публику: «Благодарим почтенного отца Иакинфа за то, что он решился, наконец, издавать в свет свои записки и сочинения о Китае... о стране замечательной, у нас мало известной и доныне по большей части дурно и неверно описываемой». В 1828 году Никита Яковлевич и барон Павел Львович Шиллинг были избраны в члены-корреспонденты Академии наук, тогда же Бичурин поднес Пушкину свой первый дар — описание таинственного Тибета.

Но однажды, беседуя с бароном Шиллингом, монах-чиновник завел речь о раскрепощении от духовного сана.

- Что ты задумал? Или сам не знаешь, что монашеский

клобук чуть ли не гвоздями к голове приколачивают!

— О том мне ведомо, — отвечал Бичурин. — Но еще не изоб-

рели кривых гвоздей, которые нельзя было бы выдернуть...

Переписывание китайских иероглифов — занятие каторжное, и барон Шиллинг, мастер на все руки, удачно применил способ литографирования, чему немало дивились зарубежные ученые. Именно с помощью литографии Павел Львович издал «Сано-Цзы-Цзин, или Троесловие». В предисловии было сказано: «В сей книжке изложены все философские умствования китайцев с изъяснением понятий и выражений, странных для европейца...»

С этой книгой Бичурин навестил Пушкина:

 Александр Сергеевич, опять дарю от чистого сердца, яко переводчик сей удивительной книги...

Пушкин не только читал, но даже изучал труды Бичурина, черпая из них факты для своей работы. Монах бывал в доме поэта, познакомился с его друзьями, и вот что странно: Иакинфа чтили люди, любившие и поэта, а травили его те же самые враги, которые травили и Пушкина.

Прямо чудеса! — судачили сплетники. — Этот монах родился в русской деревне под Чебоксарами, а глаза у него сами собой превратились в узенькие щелки, как у китайца. Неужели

пребывание в Пекине способно так изменить человека?..

Не оставив своих эпикурейских привычек, Бичурин с а м давал публике немало поводов для анекдотов. Его часто видели на столичных проспектах в окружении дам полусвета: женщины бережно вели его под руки, а сам кавалер был в монашеском подряснике, но клобук заменял модной шляпой, как денди. Позже он угодил в веселую компанию Брюллова, Глинки и драматурга Кукольника; подобрав края рясы, Иакинф отплясывал там вприсядку, словно загулявший деревенский парень. Святейший синод, конечно, был достаточно извещен обо всех

6 Заказ 23

его фокусах. Но что он мог поделать с Бичуриным, если в его услугах постоянно нуждалось министерство иностранных дел, а сам император Николай I отсчитывал сотни рублей для издания его научных трудов.

Министерские чиновники отзывались о Бичурине:

— До чего же негодный монах! Но смотрите, что творится с его книгами: их читают не только в публике, но даже министры. Сочинения отца Иакинфа высочайше предписано иметь в университетах, они рекомендованы для гимназий...

Наконец случилось небывалое: востоковеды Европы спешно исправляли свои прежние труды о Китае, Джунгарии и Монголии, ибо допустили в них немало ошибок, а теперь сверяли свои знания с работами русского монаха. Настал день, которого с большим нетерпением ожидал Павел Львович Шиллинг:

— Поздравь меня. Я свыше получил согласие на устройство научной экспедиции к рубежам Китая, а ты, друг, не покинешь меня в этом предприятии... оба поедем в Кяхту!

Барон щедро разлил по бокалам шампанское:

- За удачу! Назову и третьего соучастника.
- Кто же он?
- Пушкин. Он давно желает бежать из этого мира интриг, зависти, клеветы и подозрений, дабы на границах с Китаем обрести подлинную свободу. Наконец, досказал Шиллинг, у него в Сибири полно друзей... сосланных декабристов!

Пушкин и впрямь загорелся желанием побывать в Китае:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья, Куда б ни вздумали, готов за вами я Повсюду следовать, надменной убегая: К подножию ль стены далекого Китая... Повсюду я готов. Поедем... но, друзья, Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя? Забуду ль гордую, мучительную деву...

Наталья Гончарова (гордая и мучительная дева) не могла удержать его: Пушкин был готов ехать! Однако побывать в Китае поэту не довелось. Император не сразу соизволил выпустить из монастыря на волю Иакинфа Бичурина, но он совсем не хотел потерять надзор над поэтом, который в Сибири рассчитывал повидать друзей-декабристов...

Пограничную Кяхту русские люди знали по тем «цыбикам» китайского чая, которым торговали в Москве и Петербурге; коробки с чаем, обтянутые красивым шелком, были разрисованы пейзажами Китая, гуляющими под зонтиками нарядны-

ми китаянками. Выпив чай, русские провинциалы не спешили выбрасывать эти коробки, а долго держали их в доме как украшение семейного быта.

Кяхта была столицей богатых чаеторговцев; в недалеком Селенгинске проживали ссыльные декабристы, средь них и Николай Бестужев, наезжавший в Кяхту, где писал портреты местных жителей... В этом удивительном городе, пристроившемся на самом отшибе России, барон Шиллинг и монах Иакинф развернули свою экспедицию. Бичурин уже давно испытывал острый интерес к истории монголов, он задумчиво рассуждал:

— Именно через Кяхту пролегли пути древней цивилизации Востока, и надеюсь, мы сыщем здесь такие сокровища письменности, кои не могли найти прежние изучатели Азии...

«Я здесь не без дела, — отписывал он на родину. — Обучаю детей китайскому языку, переделал китайскую грамматику... привожу к окончанию перевод монгольского словаря». Отрываясь от занятий, он выполнял и важные поручения министерства по расширению торговых связей России с Китаем. Но главное — школа! Бичурин набрал детишек, сам вел с ними занятия. В кяхтинской школе никогда не слышали свиста розги, зато ученики отца Иакинфа быстро осваивали китайский язык.

Шиллинг с бурятскими и монгольскими ламами был по-

гружен в изучение древних книг; он сказал Бичурину:

— Книг такое множество, что для перевозки их в Петербург потребно выложить из кармана восемь тысяч рублей. Мои родственники уже извылись, глядя на мои траты. То на физику, то на изыскание тайн азиатских, то на законы электричества... Я разрываюсь между двух стихий: Востоком и Электричеством!

Бичурин ответил, что он тоже расколот надвое:

 Кому принадлежу? Церкви или науке? Не скрою, что избрал второй путь. Так помогите мне выдернуть те самые гвозди, которыми к моей голове приколочен клобук монашеский...

Шиллинг оповестил Нессельроде из Кяхты, что требуется избавить Иакинфа от стеснительных уз монашества, дабы он вышел на стезю науки под мирским именем Никиты Яковлевича. Бичурин сам просил церковь об этом, и синод вроде бы с ним согласился. Нессельроде тоже был солидарен с вескими доводами барона Шиллинга, предсказывая Бичурину скорую карьеру чиновника при Азиатском департаменте. Все складывалось как нельзя лучше, если бы не личное вмешательство императора Николая I, повелевшего Бичурину жить «по-прежнему в Александро-Невской лавре, не дозволяя ему оставлять монашество...»

Да, кривые гвозди, — опечалился Бичурин.
 Двух человек, слишком разных, барона и монаха, объеди-

няло общее уважение к тем народам, которых в Европе даже за людей не считали. Но они видели уникальные книги в убогих юртах бурят, под мычание коров выслушивали предания местных лам. Европа только слышала, но слабо верила в существование великого «Ганджура», полного свода буддистского учения; в незапамятные времена его целыми столетиями переписывали с санскрита на язык тибетский: «Ганджур», по мнению Шиллинга, состоял из 106 громадных томов, а страницы его шире газеты. Именно в окрестностях Кяхты они и нашли полный «Ганджур» (даже 108 томов), который когда-то очень давно буряты выкупали у ханов Бухары за целое стадо в семь тысяч быков...

— Мы все вернем обратно, — обещал Шиллинг буддистам. — Если раньше у вас уходили века на переписывание священных книг, то в Петербурге любая книга в единственном экземпляре приобретает тысячи близнецов. Не считайте меня волшебником. Я не скрываю чуда, которое называется «тираж»...

Нагруженные древними книгами и томами «Ганджура», они вернулись в Петербург, где еще не все доросли до того, чтобы оценить значение их научного подвига, а когда Шиллинг устранвал электрический телеграф, его даже высмеивали:

— Барон рассчитывает беседовать с далекими друзьями, передавая свои мысли через медную проволоку... Чушь какая!

1837 год оказался для России трагическим: на дуэли погиб А. С. Пушкин, в этом же году скончался и барон П. Л. Шиллинг. Бичурину оставалось только оплакивать своих друзей.

Никита Яковлевич родился в 1773 году, но лета не ослабили его сил, не уняли порывов сердца. Высокий ростом, жилистый, как бурлак, в движениях порывистый, он не сдавался старости. Его черные глаза сверкали еще молодо. Священный синод давно махнул на него рукой, как на отпетого бродяту, зато Бичурина признала Академия наук, присудившая ему первую Демидовскую премию; он получил ее за сочинение по истории калмыков.

Пришлось снова навещать Кяхту, где для училища синологов он составил библиотеку на восточных языках. В 1838 году Никита Яковлевич вторично заслужил Демидовскую премию за китайскую грамматику, которая «показывает удивительную легкость, с какою можно выучиться читать и переводить с китайского. Он доказал это на практике в кяхтинской школе, где его ученики чрезвычайно легко и скоро стали разуметь по-китайски».

Бичурин всегда верил в могущество Китая, вольно или невольно восхищаясь его порядками и нравами жителей.

— Что могут знать о Китае в развращенной Европе? — рассуждал он. — Один знаток задуривал неучей, будто табачные плантация близ Кантона поливают мочою падших женщин, отчего и урожаи там хороши. Европеец, попав в Китай, мнит себя мудрецом в стране дикарей, а китаец плюет вослед европейцу, называя его варваром. Не спорю, что у китайцев преувеличенная национальная гордость, но таким же качеством обладают французы, немцы, англичане и даже мы, грешные...

«Опиумная» война вызвала в нем приступ ярости.

— Бессовестные! — отзывался Иакинф о колонизаторах. — В обмен за опиум вывозили из Китая груды серебра, а теперь пушками убеждают китайцев в пользе курения отравы. Но я в недоумении: как три тысячи британских матросов могли управиться с великой империей, населенной миллионами людей?..

Белинский писал: «Китай силен, но держится пока с севера миролюбием России», а сам Бичурин в своем почти слепом

почитании Китая стал доходить уже до крайности:

Вот это по-азматски, — ликовал он, наблюдая хорощее. —
 А вы остались испорченным европейцем, — упрекал он, заметив дурное в человеке. — Обратитесь лицом к Востоку...

Бичурин устал, и сам порой удивлялся тому, как много он успел написать. Знаменитый ориенталист Генрих Клапрот, почти враждебно к нему настроенный, вынужден был признать, что сделанное Бичуриным под силу целому институту с немалым штатом ученых. Научный авторитет Иакинфа был неоспорим, востоковеды Европы просили его быть арбитром в своих спорах, и решение русского монаха оставалось для них безоговорочным.

Намотав на руку железные четки, выкованные из кандалов декабристов, в развевающейся на ветру долгополой рясе, язвительный и громогласный, он всюду вызывал удивление. Его не раз спращивали: откуда такие странные четки?

— Не скажу! — отвечал Бичурин. — Кузнецы, ковавшие это железо, еще не обрели бессмертия, нужно время, чтобы мои четки стали народной святыней... Боюсь, вы меня не поймете!

Только близкие ему люди знали, что под монашеский клобук Бичурина подвела несчастная любовь к Татьяне Саблуковой, и виновница этой драмы, ныне богатая барыня вдова Корсунская, жила в Петербурге. Никита Яковлевич не забыл своей горькой любви, до самой кончины Татьяны Лаврентьевны он навещал ее, дети и внуки женщины стали для него родными, называя его дедушкой. Перед смертью она успела сказать ему:

— Прости меня! Я-то знаю, что по моей вине ты в монахи постригся, а теперь мой последний вздох принимаешь...

Умевший ненавидеть, Бичурин был очень добр. Он терпеть

не мог, когда дочь покойной, Софья Александровна Мицикова, наказывала детей, а своих лакеев отсылала в полицию ради их сечения. В таких случаях Никита Яковлевич вступался за крепостных с такой же яростью, как и за детишек:

- Это варварство! В Китае так бы не поступали...

В 1843 году он стал трижды лауреатом Демидовской премии. К деньгам относился равнодушно, никогда не знал, сколько у него в бумажнике. Однажды за партией в преферанс полез расплачиваться, но бумажника — при себе не обнаружил. Заподозрили домашнего лакея. Мицикова велела дворнику тащить лакея на двор, драть его нещадно, но лакей в краже не сознался.

— Да что вы делаете! — возмущался Бичурин. — Плевать я хотел на эти премиальные, только оставьте человека в покое...

Через год или два бумажник нашли. Бичурин велел позвать лакея и при всех вручил ему свой бумажник:

— Сколько б там ни было денег, все твои. Бери за свои невинные страдания. Бери, дурак, не отказывайся... Ты ведь, я знаю, драным всегда будешь, а лауреатом — никогда!

В доме Мициковых прижился молодой художник Костя Флавицкий, позже прославленный картиною «Княжна Тараканова», а тогда он был пропадавший в нищете неудачник. Но Костя осмелился ухаживать за Наденькой Мициковой, которую Бичурин почитал своей «внучкой», и невзлюбил Флавицкого, называя его «прощелыгой». Но при этом тайно помогал ему деньгами, оплачивал наем квартиры, даже сам нанял молочника, чтобы тот снабжал Флавицкого молоком... Г-жа Софья Мицикова осуждала его:

— Сумасшедший! Чуть ли не всю Демидовскую премию моему же лакею отдал. С утра лба не перекрестит, сразу за книгу, а в храм божий на аркане его не затащишь. Зато мечтает в балете побывать, дабы оценить волшебные па Тальони...

Это правда. Никита Яковлевич, в нарушение заветов монашества, театр обожал. Удачно гримируясь, одетый под купца, он ездил в театр любоваться балеринами, слушал в опере лучших итальянских певцов. Но его уже начинала грызть старческая тоска о прошлом, со слезами он поминал Пушкина и Шиллинга; молодежи, окружавшей его, Никита Яковлевич рассказывал забавные случаи из жизни современников — Крылова, Жуковского, Брюллова и Глинки, а в конце рассказа как правило он впадал в меланхолию, вытирал слезу:

— Для вас, молодых, все это уже история, а для меня это была жизнь. Умру вскорости и тоже перейду в область преданий... Только вот вспомнят ли обо мне?

Наденька Мицикова просила подарить ей четки.

Глупая ты девчонка, — отвечал ей Бичурин. — Для тебя

это лишь повод потешиться, а для меня это ведь тоже история. Не дам! Подрастешь, и оставлю четки тебе на память.

Между тем Виссарион Белинский, всегда высоко ценивший научные заслуги Бичурина, резко отозвался об описанном им «гражданском и нравственном состоянии» Китая. Белинский был возмущен не только искренно, но и справедливо:

— Это уже ни на что не похоже! Беру книгу Иакинфа и читаю, что в Китае все живут в райском блаженстве, никто из китайцев не ведает взяток и насилий, потом я раскрываю последнюю книгу Николая Греча, где автор глубоко скорбит, что

во Франции перестали сечь людишек розгами...

«Книга почтенного отца Иакинфа, — писал Белинский в рецензии, — истинное сокровище для ученых по богатству важных фактов», а далее разоблачал великодушие Бичурина, который не заметил деспотии цинских богдыханов, закрыл глаза на повальную нищету народа, умолчал о коррупции продажных мандаринов. Я не знаю, с каким чувством отец Иакинф воспринял критику Белинского; в это время он уже начал болеть. Монах жил в загородном доме Мициковых на Выборгской стороне, в зелени сада занимал скромную беседку, крыша которой протекала, с утра до ночи пил чай, продолжая трудиться. Более трех лет он писал историю народов Азии, Сибири и Дальнего Востока.

В 1851 году он был удостоен четвертой Демидовской премии. Почуяв что-то неладное со своим здоровьем, Бичурин подарил свои четки «внучке» Наденьке. Мициковы снимали дачу на станции Мурино, старый монах ходил с деревенскими девками в лес за грибами, собирал ягоды, крестьяне любили его за добрую душу, все кланялись ему, когда он шел по деревне с лукошком опят или сыроежек. Однажды в лесу с ним случилась какая-то загадочная история. Его нашли привязанным к дереву, над ним висели на сучке золотые часы, циферблат которых был украшен 12 апостолами, в бумажнике Иакинфа остались целы 300 рублей.

- Я ведь слышал, когда меня люди в лесу окликали.

— Так чего же вы сами-то не отозвались?

- Нельзя было, - понуро отвечал Бичурин...

После этой истории, тайну которой он унес в могилу, Никита Яковлевич заболел. Пробовал писать, но «почти плача, жаловался, что у него ничего не выходит... И тогда же, — вспоминала Наденька, — он говорил мне, что у него сделано духовное завещание, в нем он определил, в какие музеи должны быть отправлены после его смерти вывезенные им из Китая древности».

Но скоро больной старик показался мадам Мициковой лиш-

ней обузой, и она, вызвав карету, отправила его в Александро-Невскую лавру, где у Бичурина была своя келья...

Иакинфа все забыли, иногда лишь его навещала Наденька, ставшая к тому времени невестой Моллера. В своих мемуарах она, сама уже старуха, писала, что смотрела на луну и думала о всяком любовном вздоре, «с упоением я вслушивалась в этот вздор, а дедушка был забыт». После свадьбы она решила навестить его. Ключник с неудовольствием отворил ей двери.

— Напрасно ходите сюда, — сказал монах женщине. — Давно пора отцу Иакинфу предстать перед судом отца небесного...

Монахи старались не допускать родственников до кельи Иакинфа, они придумывали разные причины, чтобы его кончина прошла незаметно для общества. Если святейший синод раньше мстил ему за безбожие и прегрешения в светской жизни, то почему оказались столь жестоки монахи? Кажется, они сами желали ускорить кончину Бичурина, ибо уже началось бессовестное расхищение его пожитков. В один из визитов Моллер застала «дедушку» зябко дрожащим под каким-то нищенским отрепьем. Она знала, что у него никогда не переводились запасы чая, полон сундук мехов, присылаемых друзьями из Кяхты.

Она кинулась к сундуку, чтобы достать шубу, но там было уже пусто, а в шкафу болталась лишь старенькая ряса.

— Холодно... чаю... забыли меня. Все оставили...

Надя велела прислужнику лавры поставить самовар, строго спросила — куда девалась шуба, где все меха?

— Отвезли к меховщику... на хранение... — соврал тот.

Своих часов Надя не имела, обещая мужу не опоздать к обеду, и вспомнила о часах «дедушки» с 12 апостолами. Обыскав всю келью, не нашла их и снова обратилась к келейнику:

- Послушайте, а где же часы отца Иакинфа?

- Мы их сдали в починку, - нагло отвечал тот...

С каждым разом монахи становились грубее, не хотели впускать женщину в обитель, Надя подолгу барабанила в колокол у ворот, чтобы их открыли. «При виде дедушки я невольно содрогнулась. Переменился он ужасно... громко стонал...

- Обижают... не кормят... забыли... не ел...».

Так записано в ее мемуарах. Она с плачем взмолилась:

— Покормите отца Иакинфа, где же ваше милосердие?

Монах-прислужник назидательно ответил:

— Зачем ему пища земная, если ждет его пища небесная?..

Надя Моллер вдруг ошутила зловоние. По грязной рубашке Бичурина ползали отвратные насекомые. «Наволоки на подушках, простыни — все было грязно и воняло. Закрыт он был ситцевым драньем, из которого торчали клочья ваты. Я приподня-

ла одеяло и отшатнулась: по простыне ползали мелкие белые черви, умирающий дедушка лежал в нечистотах». Так — в смраде, в гноище, среди ползающих червей и насекомых — церковь оставила умирать человека, далекого от святости: четырежды лауреата Демидовской премии, основоположника отечественной синологии, которая уже затмила востоковедение всей Европы...

Чего здесь ходите? — вдруг обозлился монах. — Уйдите,

и незачем смущать покой умирающего старца...

«Он выждал, пока я оделась, вышел со мною и долго шел молча сзади меня, постукивая клюкой монаха по каменному полу коридора обители. Это было в конце апреля, а в начале мая пошли у нас хлопоты о найме дачи...» Среди бытовых хлопот родственники забыли Бичурина, и лишь 13 мая 1853 года в газете «Северная пчела» вычитали о его смерти.

— Боже мой! Завтра уже хоронят, — сказала мать.

Всей семьей Мициковы и Моллеры поехали на следующее угро в Александро-Невскую лавру, чтобы не опоздать к отпеванию. Но впустивший их в лавру монах сказал, что они опоздали:

— Мы вашего ученого нехристя уже закопали.

 Господи! Да почему не известили о его кончине? Мы единственные его родственники, — сказала г-жа Мицикова.

- У братии монашествующих нет земных родственников, -

отвечал привратник. - Есть один отец небесный...

Никита Яковлевич был погребен на старом Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, и могила его сохранилась. Позже она была отмечена памятником: подле некрополической справки о датах жизни выстроилась колонка китайских иероглифов. Туристы, посетив кладбище, удивляются — откуда здесь взялись иероглифы? Между тем китайские письмена гласили о Бичурине подлинную истину: «ПОСТОЯННО И ПРИЛЕЖНО ТРУДИЛСЯ НАД ИСТОРИЧЕСКИМИ ТРУДАМИ, УВЕКОВЕЧИВШИМИ ЕГО СЛАВУ».

Разве не странная судьба выпала этому человеку? Вольтерьянец-безбожник смолоду, а пошел в монахи.

Всю жизнь прожил в окружении умнейших друзей, а умер в забвении одиночества, окруженный врагами и хапутами.

Наконец, оставил после себя целую библиотеку написанных им книг, но до сих пор еще не все они вышли в свет, и рукописи Никиты Яковлевича продолжают печатать уже в наше время. Ожидает публикации и гигантская книжища «Все проникающее зеркало» об истории Китая, составляющая 16 толстых томов.

Да, умел старик поработать... нам бы так!

В 1953 году ученая общественность нашей страны отметила столетие со дня смерти Н. Я. Бичурина, а в 1977 году состоялась особая научная сессия востоковедов СССР, посвященная двухсотлетию со дня рождения Бичурина.

В одном из докладов о нем были приведены его пророческие слова, сказанные Никитой Яковлевичем еще в 1844 году:

«Очень неправо думают те, которые полагают, что западные европейцы давно и далеко опередили нас в образовании, следовательно, нам остается только следовать за ними. Эта мысль ослабляет наши умственные способности... рассудок наш будет представлять в себе огражение только чужих мыслей, часто странных и нередко нелепых».

Об этом, читатель, не стоило бы забывать.

Русские, мы всегда и всем будем обязаны России, благодарные за все нашим пращурам... На этом и конец!

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ЗВЕЗДАМ

Ветер раскачивал старый фонарь, который надсадно скрипел, едва освещая осклизлые ступени, ведущие в подвальную таверну. Древний ганзейский Любек давно погасил огни, а здесь, в ночной гавани Травемюнде, еще торговали трактиры — для моряков и одиноких пассажиров. Их задерживал в Любеке крепкий норд-ост, не позволявший кораблям выбраться даже за волноломы. Была ненастная осень 1837 года...

В дешевой харчевне коротал время молодой человек, просивший хозяина поджарить для него яичницу. Казалось, ему нет дела до перебранки матросов, готовых схватиться за ножи, и он со вниманием листал парижский альманах «Салон» Генриха Гейне; легенда о «летучем голландце», миф о кораблескитальце поражали воображение... Один из матросов — уже пожилой, с медной серьгою в ухе — оторвал его от чтения.

— А ветер не унимается, — сказал он. — И денег у меня не осталось. Может, ты угостишь меня, приятель?

Молодой человек достал тощенький кошелек:

- Я всего лишь бедный музыкант, но... Почему бы и не поделиться? Надеюсь, талера вам хватит?

Матрос поймал в кулак сверкнувщую монету.

- Вы добрый человек, сударь, отвечал он. Бог воздаст вам завтра свежим попутным ветром... А куда путь держите?
 - Меня ждут в Риге, но из-за ветра опаздываю.
 - Вы, наверное, тамошний житель, сударь?

— У меня нет своего дома. Я перебрался, спасаясь от долгов, из Магдебурга в Кенигсберг, где служил капельмейстером, а теперь от прусских кредиторов бегу в русскую Ригу.

Матрос швырнул монету на прилавок и сказал:

- Э! Хорошо бегать холостому, а попробовал бы драпануть от чиновников короля с женою и скарбом.
- Я... женат, уныло отвечал музыкант. Но моя жена не стала ждать, когда я расплачусь с долгами, и покинула меня, бедняка, ради богатого коммерсанта... Меня зовут Рихард, я Рихард Вагнер...

Это имя еще не звучало мятежным набатом, бравурные триумфы Байрейтских торжеств еще не прозвучали на весь мир, но зато к угру спасительный ветер наполнил старые штопаные паруса, и этот ветер подхватил музыканта на его пути в Россию. Вагнер дочитывал легенду о корабле-призраке, который, подобно ему, проклятый богами и обществом, стремился к новым заветным берегам и никак не мог достичь их... Только тьма, только холодный ужас людского отчаяния, и нигде не вспыхнет даже слабой искры надежды...

Там, где теперь расположена библиотека Академии наук ЛССР, ранее размещался Рижский театр, основанный еще бароном Отто-Генрихом Фиттингофом, и уж поверьте: если это здание способно в наши дни выдерживать многие тонны книжной мудрости, то оно, конечно, не дало трещин от трубных гласов, которыми Вагнер излишне усиливал звучание своего оркестра... Генрих фон Дорн, сам опытный дирижер, кричал ему:

- Опять трубы! А где же нежные скрипки, поющие о любви? Зачем вы разрушили мелодию дерзким ударом в литавры?
- А что делать? отвечал Вагнер. Что делать, спрашиваю я вас, если мне было суждено родиться в том проклятом году, когда пушечные громы и молнии в битве при Лейпциге устраняли одного великого тирана, дабы заменить его толпою мелких коронованных злодеев?.. Да, милый Дорн, я согласен с вами, что под мою оркестровку можно строить баррикады на улицах!
 - К чему вы стремитесь, несчастный?
 - Через тернии к звездам...

Рига показалась Вагнеру гораздо приветливее опостылевшего Кенигсберга; он вспоминал, что после тяжкого опыта службы в немецких театрах «организация рижского театрального предприятия действовала на меня приятно-успокаивающе». Вагнер поселился в Старом городе на Кузнечной, среди старинных амбаров и сонных домов с конюшнями, где путались, образуя лабиринты, Малярная, Сапожная и Мясницкая, тупики которых уводили фантазию далеко-далеко — в древность... Пост директора Рижского театра тогда занимал Карл фон Гольтей - неудачный актер, зато удачливый делец-драматург.

Он огорчился сам, заодно огорчил и Вагнера:

— Не повезло! Я выписал из Берлина примадонну с богатыми туалетами, но она, к несчастью, увлеклась одним потсдамским гусаром, и я теперь не знаю, Рихард, какой смазливой бабенке можно доверить серьезные арии?

Вагнер положил на пюпитр свою дирижерскую палочку, на конце которой была миниатюрная женская ручка, вырезанная из слоновой кости.

— Моя свояченица Амалия Планер успешно пела в Берлине, а сейчас бедствует в Дрездене без ангажемента. Уверен, эта благородная девушка способна заменить вашу влюбчивую примадонну, правда, Амалия не имеет роскошных туалетов.

- Считайте, что ангажемент за нею, - решил Дорн...

Амалия Планер предупредила Вагнера, что в Дрездене недавно появилась его Минна; брошенная и несчастная, она собирается писать ему, чтобы вымолить прощение. Вскоре Вагнер получил покаянное письмо от жены: раскаиваясь в своем легкомыслии, Минна уповала теперь на возвращение к Рихарду, которого она, увы, ранее недооценивала. Но теперь она радуется за него, ставшего дирижером в Риге, и рассчитывает получить его приглащение. («Никогда прежде, — писал Вагнер, — я не слышал из уст Минны подобных речей... Я ответил, что меж нами не будет произнесено ни единого слова о происшедшем, что всю вину я принимаю на себя»). Между тем в Риге у него завелся добрый приятель — молодой кавалерийский ротмистр Карл фон Мекк, поклонник симфонической музыки.

— Вы слишком уступчивы, маэстро, — сказал ротмистр. —

Можно ли прощать женщине такие грехи?

— Милейший Карл, — отвечал ему Вагнер, — знакомы ли вам «Житейские воззрения кота Мурра»? Вчитайтесь в то место, где безумный капельмейстер Крейслер, обреченный на вечное страдание, взбунтовался против жалких условностей этого подлого мира... А я — тот же бунтарь Крейслер!

Наступил холодный октябрь, когда сестры Планер приехали в Ригу («на мою новую родину», записал Вагнер). Композитор ютился в тесной неуютной квартирке, а суровая патина бедности уже наложила на его жилье свой незримый отпечаток.

Минна расплакалась и ушла горевать в спальню.

Амалия Планер жестоко насмехалась над своей сестрой:

- Наверное, даже кошка с мартовского карнавала не возвращается такой ободранной и жалкой, какой вернулась твоя жена из объятий богатого кавалера. Неужели простишь и на этот раз?
 - Я не желаю ей эла. Я уже простил.
 - Простил ладно, что ты ей скажещь?

Вагнер прошел в спальню, где сидела поникшая жена:

— Вот ключи от дома, вот мои последние деньги, а на кухне греется утюг, которым я собирался гладить выстиранные простыни. Поверь, я умею делать все, но я ненавижу то, что мешает мне и моей музыке.

Минна вытерла слезы и пересчитала деньги:

- Не так уж щедро расплачиваются с тобой, могли бы платить и побольше. А у меня в ушах звон от твоей музыки.
- Не касайся моей музыки, отвечал Вагнер, как я не касаюсь твоего прошлого...

Появился и Карл Гольтей с цветами для женщин.

- Вагнер, ах, до чего же мила ваша женушка!
- Но я чертовски ревнив, злобно отвечал Вагнер.

У подъезда его ожидал в коляске фон Мекк:

- Маэстро, я приехал, чтобы довезти вас до театра.
- Спасибо, дружище, я не избалован вниманием.

Ротмистр засмотрелся на окна.

- Боже! Сюда смотрит удивительная красавица.
- К сожалению, отвечал Вагнер, это не жена смотрит на своего мужа, а бедная Амалия взирает на богатого фон Мекка!

По дороге в театр он признался ротмистру, что уже начал работу над новой оперой «Риенци»:

— Слишком часто моя музыка вызывала в публике изумление и даже издевательский смех. Но я закалился в борьбе, любое оскорбление отскакивает от меня, как чугунное ядро от неприступной фортеции. В музыке, как и в жизни, тоже существуют подлость и крохоборство. Но я прокладываю гати через музыкальные болота, я хочу выстроить для народов музыкальные дворцы, хочу возвести прочные мосты в счастливые миры могучего людского духа! Только так, дружище: через тернии — к звезлам...

Здесь уместно сказать: хотя музыкальная жизнь Риги складывалась самостоятельно, как бы особняком от русской, но все-таки она гармонично вписывалась в мелодию нашей общей музыкальной культуры; со времен барона Фиттингофа рижане приглашали оперные труппы из Италии и стран германских, здесь, на подмостках Риги, пели солисты Вены и Петербурга, рижане уже знали не только Гайдна, Моцарта и Бетховена, но

и музыку первых российских композиторов.

В портфеле Вагнера-дирижера лежали партитуры опер Моцарта, Беллини, Дж. Россини, Обера, Доницетти и Керубини, с оркестром оперной труппы он давал симфонические концерты. Свое знакомство с рижской публикой Вагнер начал с того, что развернул пюпитр к оркестру, встав спиною к залу. Он дирижировал в той манере, какая принята сейчас во всем мире, но тогда... Тогда это казалось неслыханной дерзостью.

На все попреки Гольтея Вагнер отвечал:

— Мне нужен контакт с музыкантами, чтобы они видели не фалды моего фрака, а мои глаза, мое лицо, мой восторг, мое вдохновение.

Ему явно не хватало силы звучания. Гольтею он жаловался:

- В оркестре лишь четыре скрипки, два альта и один кон-

трабас... Мне очень трудно выразить себя!

Потому-то Вагнер и любил выезжать с труппой в Митаву, бывшую столицу Курляндского герцогства, где имелась более просторная сцена и общирная оркестровая яма. Пожалуй, только два человека понимали его стремления, его размах — это был певец Иосиф Гоффман, это был второй дирижер Франц Лебман. Они знали от фон Мекка, что Вагнер создает оперу «Кола Риенци, или Последний трибун»; друзья предупреждали композитора, что его опера вряд ли будет поставлена.

 Гольтею удобнее угождать вкусам местных бюргеров, а ты, бедняга, вкатываешь свой камень на самую вершину Олим-

па, — он скатится обратно и раздавит тебя!

Гольтей соблазнял Вагнера к написанию водевиля.

— Я не имею склонности к легкой музыке, — отказался Вагнер, — у меня совсем иные задачи...

Гольтей начал сплетничать о Вагнере:

— Если Вагнер и гений, как уверяет меня в том ротмистр фон Мекк, то гений мне не нужен. Моя певучая лавочка способна процветать только от заурядных людей, и чем они глупее, тем выгоднее для процветания моего театра...

Мстительный, он сократил Вагнеру жалованье.

— Вы не умеете ладить с певцами! — кричал Гольтей. — Вы требуете от них дисциплины, как фельдфебель в казарме от солдата. Но если мадам Шредер вчера ужинала со мной, то она может позволить себе опоздать утром на репетицию... А ваше жалованье, помните, зависит от моих доходов!

Перебранка с Гольтеем ощутимо сказывалась на кошельке

Минны, и она стала проситься на сцену:

- Если есть голос, почему бы не продать его?

Но Вагнер знал, что Минна — певица посредственная, а в

театре она видит лишь средство для пополнения бюджета, и потому он сказал, что при нем она петь не будет:

- Риге вполне хватит и одной Амалии Планер.
- У меня внешность выгоднее, чем у Амалии, и с такой внешностью я бы заработала больше тебя — дирижера...

Вагнер снял новую квартиру в районе Петербургского форштадта, тогда еще только начинавшего застраиваться (дом, где жил Вагнер, стоял на углу нынешних улиц Ленина и Дзирнаву). Минна поддерживала видимость достатка и семейного благополучия. Вагнер любил бывать в семье Генриха Лорна, с которым вскоре перешел на дружеское «ты». Это время вспоминалось потом как почти благополучное, когда к ужину «стоял русский салат, двинская лососина и свежая икра... Мы втроем чувствовали себя на дальнем севере очень недурно!» Вагнеру. саксонцу по рождению, рижские широты казались уже «дальним севером». Но скоро между сестрами Планер произошел острый разлад, и они перестали разговаривать. В этой ненормальной и даже тягостной обстановке Вагнер продолжал творить музыку.

 Главное, — говорил он фон Мекку, — не расслаблять ни мышц, ни нервов, ни мозга. Надо, чтобы дело не топталось на месте, а постоянно двигалось к цели... Но, боже, как иногда трудно Тристану пить любовный напиток из одной чаши с такой Изольдой, как моя Минна Планер!

Скоро состоялся неприятный разговор с Гольтеем.

- Я недоволен вами, Вагнер, начал директор. Вы привили театру характер храма с порядками монастыря, а богатая публика желает видеть в театре иное...
- Неужели вертеп? усмехнулся Вагнер.
 Ну если не вертеп, то хотя бы место развлечения. Ваши намерения не принесут добра и лично вам. А мне нужен веселый и забавный водевиль... Водевиль и туалеты!

(«Серьезная опера, особенно же богатый музыкальный ансамбль. - писал Вагнер о Гольтее, - были ему прямо ненавистны»). Гольтей считал, что в оперу ходят не ради музыки.

- Приятнее слушать певичек, дабы оценить их телесную грацию и поймать момент, когда обнажится их ножка.

Вагнер же считал музыку основой оперы.

- Голоса певцов лишь накладываются поверх музыки, как в хорошем бутерброде намазывают масло на хлеб насущный.

Гольтей считал разговор оконченным:

— Но ваша музыка — это как раз не то масло, чтобы мазать его на хлеб к завтраку. Спросите у жены: она подтвердит! Франц Лебман, ближайший друг, говорил Вагнеру:

— Слушай, Рихард! Если тебе завтра сломают шею, я займу твое место дирижера. Мне бы надо радоваться тому, как ты скандалишь, но я только огорчаюсь... Ты страдал уже достаточно и куда побежишь после Риги?

— Не знаю. На этот раз с женою и скарбом.

— Вот-вот! Серьезный сюжет твоей оперы «Риенци» сразу приведет тебя к разрыву с дирекцией.

— Возможно.

— Так пожалей, Рихард, сам себя. Тем более что Генрих Дорн уже засел как раз за такую оперу, какая нужна Гольтею...

Дорн вскоре же выступил в германской прессе со статьями о Вагнере, высмеяв его пристрастие к трубам. Это не помешало Вагнеру честно продирижировать дорновскую оперу, маписанную в угоду вкусам дирекции. Успех оперы Дорн мог приписать искусству Вагнера, который из пустейшей партитуры своего коварного друга выжал все лучшее, сознательно притушив в музыке Дорна ее слабые моменты...

Стояли сильные морозы, Вагнер простудился на репетициях и слег.

Но Гольтей заставил его покинуть постель:

- Я обещал, что моя труппа будет петь в Митаве...

Эта поездка в санях до Митавы, а потом дирижирование в плохо протопленном зале свалили Вагнера окончательно. Минна всполошилась, а Гольтей уже разболтал по всей Риге:

— Со смертного одра ему уже не дотянуться до пюпитра.

Кажется, он отмахал свое этой дурацкой палочкой...

Спасибо рижскому врачу Пругцеру — он поставил Вагнера на ноги, посулив ему долгую жизнь. Но во время болезни Гольтей улизнул из Риги в Берлин, надеясь сделать карьеру при королевском дворе. В один из дней, когда Вагнер вернулся домой из театра, Минна испутанно шепнула ему:

- У нас полиция, тебя ждут...

Это была не полиция, а лишь чиновник рижского губернаторства. Русский человек, он свободно владел немецким, а к Вагнеру испытывал даже симпатию.

- У меня не совсем-то приятное поручение, которое я обязан исполнить как должностное лицо... Дело в том, что критические статьи господина Дорна, помещенные в немецких журналах, открыли кредиторам ваше местопребывание. Теперь управление рижского губернаторства получило судебные иски к исполнению от властей городов Магдебурга и Кенигсберга... Господин Вагнер, способны ли вы расплатиться с долгами?
 - Нет, честно отвечал композитор.
 Чиновник явно хотел помочь Вагнеру:

- Поймите меня правильно, я не преследую вас, я лишь желал бы облегчить ваше положение... Но предупреждаю: если вы решитесь бежать из Риги, как ранее бежали из Магдебурга и Кенигсберга, то стоит вам пересечь границу, как вы сразу окажетесь за решеткой королевской тюрьмы в Пруссии.
 - А если я останусь в Риге? спросил Вагнер.
- Тогда я вынужден потребовать от вас, чтобы, согласно судебным искам, вы расплатились с немецкими кредиторами.

Вагнер, чуть не плача, показал ему свою партитуру:

- Видите? Это моя опера, которая сделает меня Крезом, и тогда я разом смогу выпутаться из долгов...
- Охотно верю, господин Вагнер, что с вашим талантом вы еще станете знаменитым, но... поймите же и меня! Я ведь только чиновник, требующий исполнения буквы закона.

Вагнер запихал в портфель нотные листы «Риенци».

- Так что же мне делать? потерянно спросил он. Чиновник оглядел скудную обстановку квартиры.
- Подумаем, что нам делать... Ведение исков поручено местным адвокатам, связанным дружбой с Гольтеем и Дорном, а эти господа, как я слышал, не слишком-то вас жалуют.
- Да! выкрикнул Вагнер. Гольтей, сокращая мне жалованье, хотел выжить меня из Риги... Теперь я это понял!

После ухода чиновника появилась разгневанная Минна:

— Я долго скрывала от тебя, но теперь скажу... Пока ты пропадал в театре, меня усиленно соблазнял Гольтей. Тебе казалось, что он сокращает жалованье из творческих побуждений. А на самом деле наш кошелек становился все тоньше и тоньше по мере того, как росла моя неуступчивость в домогательствах этого престарелого мерзавца.

Вагнер окаменел. Минна продолжала:

— Твои доходы были бы в два или даже в три раза больше, уступи я Гольтею. Но я решила остаться честной перед тобой, и тогда этот подлец стал навязывать мне в любовники богатого рижского негоцианта Бранденбурга... Теперь ты сам видишь, — заключила Минна, — каково живется, если следовать твоим идеальным представлениям о жизни!

И когда в доме Вагнеров поселилось тяжкое уныние, а нужда снова хватала за горло, появилась сияющая Амалия Планер:

— Я счастлива! Только что ротмистр фон Мекк сделал мне предложение, и я решила навсегда остаться в России.

Амалия фон Мекк прожила долгую жизнь, ее муж дослужился до чина генерала русской армии. Оба они погребены в Санкт-Петербурге — на Белковом лютеранском кладбище.

Вместо Гольтея директором театра стал Иосиф Гоффман.

 Рихард, у меня камень за пазухой, который я, как новый директор, должен запустить в твою голову...

— Что еще стряслось? — обомлел Вагнер.

Оказывается, Гольтей, покидая Ригу, уволил Вагнера, а на

место первого дирижера посадил Генриха фон Дорна.

— Это уже подлость... Даже не Гольтея, а Дорна! — возмутился Вагнер. — Ведь он мой друг, и он знает, что с концертов симфонической музыки я мог бы постепенно расплачиваться с кредиторами. А теперь я лишен даже этой возможности.

Иосиф Гоффман остался благородным человеком:

— Что я могу сделать для тебя, Вагнер? Давай хоть сейчас я подпишу с тобой контракт на будущий сезон.

- А как я проживу год настоящий?...

Вагнер решил повидаться с Генрихом Дорном; он умолял своего друга отказаться от контракта, говоря ему:

— Так поступил бы любой порядочный человек.

— Порядочный... Но я вполне свободен от укоров совести, — отвечал Дорн. — Твоя опера «Риенци» еще валяется в портфеле, а моя уже имела несомненный успех. Я больше тебя заслужил место дирижера, и будь спокоен, Рихард: уж я-то не повернусь к публике задницей, как это делаешь ты...

Минну композитор застал в полном отчаянии.

— Будь оно все трижды проклято! — говорила жена. — Лучше бы я уступила Гольтею, и тогда бы ты остался дирижером в

Риге, а теперь... Что делать теперь? Ты знаешь?

— Не знаю, — отвечал подавленный Вагнер. — Но я верю, что со временем, когда люди станут перелистывать энциклопедии, они не найдут там имени Гольтея или Дорна. Там будет мое имя! Потомки, я верю, будут чтить меня именно за то, что я никогда не изменял своим принципам...

Жизнь в Риге становилась невыносима. Семейные скандалы и житейские дрязги, сплетни о прошлом Минны — все это вы-

водило Вагнера из равновесия.

Пришел верный Франц Лебман и спросил Вагнера:

- Рихард, есть ли у тебя хоть искра надежды?

 Да! Я еще из Кенигсберга отослал в Париж партитуру своей оперы «Запреты любви» на имя знаменитого Скриба.

— Не верьте ему, — вмещалась Минна. — Мне уже опостылела жизнь в воздушных замках, которые строит Рихард. И что Скрибу до Вагнера, если в Париже гремит Мейербер?

- Я писал и Мейерберу, - сознался Вагнер.

 — А у него только и дела, что хлопотать о каком-то жалком капельмейстере из Риги...

Лебман поставил все с головы на ноги.

- Рихард, что ответил тебе Скриб?
- Ничего не ответил.
- А что ответил тебе Мейербер?
- Тоже ничего.
- Тогда не злись на Минну: она звезд с неба не хватает.
- Она-то, может быть, и не хватает. Но я, Франц, остаюсь верен своему правилу: через тернии к звездам...

Среди рижан, истинных ценителей искусства, нашлось немало почитателей Вагнера, и они, возмущенные несправедливостью, убеждали композитора не оставлять Ригу, обещая вознаградить его за потерю жалованья в театре частными уроками музыки, устройством любительских концертов. Вагнер был растроган сочувствием посторонних людей, но его манили уже иные берега. Он все более убеждал себя, что в музыкальном вавилоне — Париже скорее найдется гигантская сцена для воплощения его грандиозных оперных замыслов...

Кстати (или некстати!) в Ригу приехал кенигсбергский приятель Авраам Меллер, склонный ко всяким авантюрам.

— Париж — это не Рига! — убежденно заверял он Вагнера. — Стоит вам только появиться в Париже, и все оркестры заиграют ваши мелодии, так что этот Мейербер почернеет от зависти, а тогда... Тогда и никакие долги не страшны!

Вагнер сказал: стоит ему выехать за пределы Российской империи, как пруссаки сразу же поволокут его в тюрьму.

— Вы наивное дитя, — возразил Меллер. — Какой же должник пересекает границу в казенном дилижансе? Конечно, на ваши паспорта сразу будет наложен арест. Порядочные же люди переходят границы по тропинкам контрабандистов...

Так и случилось! Летом 1839 года Вагнер с женою нелегально перешли границу с Пруссией и, тайком сев в Пиллау на купеческое судно, поплыли морем во Францию... Через много лет, когда имя Вагнера гремело повсюду, к нему в Мюнхене притащился неряшливый, жалкий старик.

— Я ваш поклонник и ваш бывший покровитель — Генрих фон Дорн... Неужели вы не помните меня, великий маэстро?

— Нет, не помню, — расплатился с ним Вагнер.

...Советский музыковед Евгений Брауде много писал о «вагнеризме». Но мое внимание заострилось на одной его примечательной фразе: «Сценические принципы, которыми он (Вагнер) сорок лет спустя руководился во время Байрейтских театральных празднеств, были применены им впервые в Риге...».

Если везде было плохо, то в Париже было еще хуже. Мейербер отделался от Вагнера рекомендательными письмами, которые не имели никакой цены в театрах Парижа, а Скриб много обещал, но ничего не сделал, чтобы помочь безвестному композитору.

— Ну, хорошо, — сказали Вагнеру в театрах, чтобы раз и навсегда от него отвязаться, — мы, так и быть, принимаем от вас лишь текст оперного либретто, но мы сразу же отвергаем

всю вашу музыку - как ненужную и бестолковую...

Вагнер закончил оперу «Риенци» и уже приступил к созданию «Летучего голландца». Мейербер советовал ему:

- Если вы хотите добиться в Париже хоть какого-либо ус-

пеха, ищите себе авторитетного соавтора...

Нечем было платить за квартиру. Вагнер жил впроголодь, занимаясь любой поденщиной, лишь бы не протянуть ноги. На лето он с Минной выезжал за город, чтобы собирать грибы и кормиться грибами. Рига с ее лососиной и миногами казалась теперь раем. После трех лет невыносимой нужды и унижений Вагнер покинул Париж ради Дрездена, где поставили его оперу «Риенци», после чего Вагнер стал в Саксонии придворным капельмейстером, но при этом король подчинил композитора генерал-интенданту Люттихау, который даже и не скрывал от Вагнера презрения к нему...

Вагнер пытался анализировать свои неудачи:

— Очевидно, моя музыка таит в себе угрозу революции. Она, как и любая революция, или навсегда покоряет, или сразу же отталкивает. Но можно ли доверять вкусам обывательской публики, уже развращенной «кунштюками» мейерберовщины, игрою колоратурных хитростей, за которыми не стоит ничего, кроме усилия голосовых связок... Значит, мое время еще не пришло!

Но в Германию пришла революция, а дружба с Михаилом Бакуниным укрепила Вагнера в мысли, что грядет «мировой пожар», который осветит новые горизонты, который откроет ему, композитору, новые берега... Потрясая львиной гривой, Бакунин горячо убеждал композитора:

— Маэстро! Если государство отвергает талант, если власть делает художника зависимым от капризов бюрократии, а любое дыхание артиста регулируют инструкциями и трафаретами,

значит, такое государство должно быть разрушено...

Дрезден восстал, и на баррикады — с ружьем в руках! — поднялся композитор Рихард Вагнер, отстаивая свое право быть таким, каков он есть. Он завоевывал признание своего таланта оружием. А когда революция в Дрездене была разгромлена, Ваг-

нер снова... бежал! Раньше он бегал как неисправный должник, преследуемый кредиторами, а теперь спасался как революционер, преследуемый полицией сразу нескольких государст в Позднее, когда Вагнера спрашивали, как же он, профессио нальный музыкант, сумел скрыться, а Михаил Бакунин, профессиональный революционер, попался в руки полиции, Ваг нер вполне рассудительно отвечал любопытным:

- Наверное, Мишелю Бакунину не хватало опыта побегов

от кредиторов, каким в избытке обладал я...

Снова началась полоса скитаний, и не было в Европе театра, который согласился бы иметь дело с композитором-революционером. Но от тех героических времен осталась нам железная логика Вагнера:

«В ночи и в нужде... через тернии - к звездам!»

А когда же пришла к нему слава?

— Не помню, — отвечал Вагнер...

Наш историк музыки А. П. Коптяев писал, что слава Вагнера сравнима лишь со сказкой, «когда на открытие Байрейтского театра съехались императоры, короли и герцоги, литературные и артистические знаменитости века. Смерть в 1883 году в Венеции кажется эпилогом какого-то чудного сна, роскошной легенды, чары которой не позволяют нам верить, что все это действительно было в исторической перспективе».

ПОЛЕЗНЕЕ ВСЕГО - ЗАПРЕТИТЬ!

Смею думать, русская цензура убила писателей гораздо больше, нежели их пало на дуэлях или в сражениях. Тема подцензурного угнетения писателя дураком-чиновкиком всегда близка мне, и я дословно помню признание Салтыкова-Щедрина, столь обожаемого мною: «Чего со мной ни делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный...»

«Й заметьте себе, — подхватывал Стасов в статье о Модесте Мусоргском, — урезыванье никогда не распускает свою безобразную лапу над вещами плохими, посредственными. О нет! урезывателю подавай все только самые крупные, самые талантливые, самые оригинальные куски — только над ними ему любо насытить свою кастраторскую ярость. Ему надо здоровое, чудесное, животрепещущее мясо, полное силы и бьющей крови!»

Вот как живописно отзывались великие о цензуре...

Не желая залезать в непролазные дебри прошлого, напомню, что в 1794 году рукою палача сожгли «Юлия Цезаря» Шекспира (в переводе Карамзина), а при Павле I был запрещен даже «Гулливер» Дж. Свифта. Пушкин тоже немало страдал от засилья цензуры, и, думаю, начать придется именно с него, котя далее речь пойдет совсем о другом человеке...

27 мая 1835 года поэт представлялся великой княгине Елене Павловне, женщине умной и образованной. Об этом он извещал жену: «Я поехал к ее высочеству на Каменный остров в

том приятном расположении духа, в котором ты меня привыкла видеть, когда надеваю свой великолепный мундир. Но она так была мила, что я забыл и свою несчастную роль и досаду. Со мною вместе представлялся ценсор Красовский...»

Великая княгиня сказала этому живоглоту:

- Вероятно, вас немало утомляет обязанность читать все, что появляется средь новой литературы?
- Да, согласился **Красовский**, это занятие нелегкое, паче того, теперь нет здравого смысла в том, что пишут.

«А я стою подле него», — сообщал Пушкин жене. Но великая княгиня сама поняла несуразность подобного ответа; Пушкин в дневнике отметил, что Елена Павловна поспешила отойти от Красовского подальше, нарочно заговорив с поэтом о Пугачеве...

Я достаточно извещен, что у нас писать о цензорах не принято, но, смею надеяться, современные цензоры не обидятся, если я загляну в преисподнюю, где в поте лица трудился их достойный предтеча — Александр Иванович Красовский.

Время было под стать его мракобесию — время Николая I, о котором Герцен справедливо писал: «Николай Павлович тридцать лет держал кого-то за горло, чтобы тот не сказал чего-то...»

Чтобы не сказал лишнего, добавлю я от себя!

Грешен, люблю начинать с конца — с могилы героя.

Раскрываю второй том «Петербургского некрополя» и на 513-й странице нахожу искомого мною прохвоста. Вот он: Красовский Александр Иванович, тайный советник, председатель Комитета иностранной цензуры, 19 ноября 1857, на 77 году жизни.

Вышел он из семьи благочинной; отец его, протоиерей Иоанн, был духовным собеседником императора Павла I, служил сакелларием (смотрителем) придворной церкви; ученый священник, отец Иоанн оставил свое имя в русской этимологии, за что и попал в члены Российской академии. Отпрыск этого почтенного лингвиста, воспитанный в страхе божием, сначала подвизался в амплуа переводчика, затем был библиотекарем, а в 1821 году заступил на пост цензора, и с этой стези уже не свернул, обретя славу самого лютейшего скорпиона. Сначала он служил в цензуре внутренней, досаждая писателям придирками такого рода, которые служили пищей для забавных анекдотов.

Например, Дашков жаловался стихотворцу Дмитриеву, что «у Красовского всякая вина виновата: самому Агамемнону в Илиаде (Гомера) запрещается говорить, что Клитемнестра вышла за него замуж будучи девой...». Красовский не уступал:

— Честь и хвала девице, сумевшей в святости донести до мужа самое драгоценное на свете. Но русский читатель — это вам не Агамемнон, и он, прочтя «Илиаду», сразу пожелает разрушить непорочность своей кухарки или же прачки... Нельзя!

Какой-то поэт писал красавице: «Один твой нежный взгляд дороже для меня вниманья всей вселенной...» Красовский от

любви был весьма далек, зато он узрел нечто другое:

— И не совестно вам писать, будто вы «близ нея к блаженству приучались»? Наша вселенная имеет законные власти, несущие всем нам блаженство свыше в виде указов или инструкций, а вы, сударь, желаете испытать блаженство подле своей любовницы... Так постыдитесь развращать наше общество! Нельзя.

Другой поэт датировал стихи в день великого поста, и от этого совпадения Красовский пришел в тихий ужас:

— Ведь империя-то погибнет, ежели наши стихотворцы учнут прославлять любовные утехи в день господень, когда каждый верноподданный желает возноситься душою к небесам, взыскуя у господа едино лишь милостей его... *Нельзя!*

А что тут удивляться афоризмам Красовского, если генерал Дубельт, помощник Бенкендорфа, выразил отношение к русским писателям еще более вразумительно:

— Каждый российский писатель — это хищный зверь, коего следует держать на привязи и ни под каким видом цепи не ослаблять, а то ведь дай им волю, так они всех нас загрызут...

Теперь понятно, почему Красовский был зорок, словно ястреб, который с высоты всегда узрит даже самую малую поживу. Рукою бестрепетной он похерил крест-накрест статью о вредности грибов, а соображения его были весьма здравыми.

— Помилуйте, — доказывал он (и доказал), — как можно писать о вредности грибов, ежели грибы постная пища всех верующих, и, подрывая веру в грибки, элонамеренный автор умышленно подрывает основы народного православия... Нельзя!

С юных лет Красовский был не просто бережлив, а скуп до омерзения. Изношенную одежду и обувь не выбрасывал, а год за годом складывал в особый чулан, называя его «музеем»; туда же помещал и банные веники, безжалостно исхлестанные по чреслам до состояния голых прутьев, без единого листика. Аккуратист, он развешивал свои старые портки, галстуки и помочи обязательно в хронологическом порядке:

 Сей сюртук нашивал я в царствование блаженного Павла Первого, упокой господь его душеньку. Сими помочами я удерживал на себе штаны в царствование благословенного Александра, а сим галстуком запечатлел счастливое восхождение на престол ныне благополучно царствующего Николая Павловича, дай ему боженька здоровья — во веки веков...

Касаясь научно-познавательной ценности этого «музея». очевидец сообщал; «Всему имелась подробная опись, все барахло каждолетно проветривалось, выколачивалось, чистилось, проверялось по описи и потом бережно укладывалось в хламохранилище камердинером Красовского — как бы директором этого «музся», уже впавший от нравственного влияния своего барина в полнейший идиотизм». На полках «музея» хранились бутылки с вином, которого Красовский не пил, и банки с вареньем, которого он не пробовал. Все — для гостей! На каждую бутылку или банку заводилась особая мерка, чтобы проверить честность «директора», и «горе ему, если бывали недомерки: Красовский пилил его своей говорильней с недельным заводом...» Зато на каждой посудине было аккуратно отмечено: в таком-то году и такого-то числа из сей бутылки отпито г-ном Бухмейером полрюмки, а из этой вот банки мадам Яичкова изволила откущать две ягодки...

Веселая жизнь, читатель! Не правда ли?

Женщин Александр Иванович упорно избегал, находя в этой отрасли человечества нечто сатанинское. Кроме того, из рассказов мужей он был достаточно извещен о том, что женщины такие мерзкие твари, для которых великая мать-природа изобрела различные магазины, где они возлюбили тратить деньги, заработанные честным мужским трудом, а посему — ну их всех! И без них проживем, копеечка в копеечку, глядишь, и рубелек набежит...

Бюрократ до мозга костей, Александр Иванович устных докладов не принимал, говоря недовольно:

— Что вы тут мне балясы точите? Вы мне напишите, чтобы я бумажку в руках держал...

Очень бы хотелось посмотреть на Александра Ивановича, но, к сожалению, мне никогда не встречались его портреты. Современники же, говоря о его внешности, отметили лишь одну деталь — гигантские, как у летучей мыши, уши, расплюснутые вроде блинов, которые «взбегали вверх до самой макушки и тянулись вплоть до затылка...»

Думаю, на такие уши не каждая женщина и польстится!

11 мая 1832 года состоялся крутой взлет карьеры Красовского: его назначили председателем Комитета иностранной цензуры. Русские писатели от него избавились, зато худо стало писателям иностранным. Худо, ибо — по мнению Александра Ивановича — вся западная литература являла собой «смердящее

гноище, распространяющее душегубительное эловоние». В самом деле, как подумаещь о тлетворном Западе, так волосы дыбом встают — ведь один тамошний Бальзак чего стоит!

 Полезнее всего — запретить, — рассуждал Красовский... Комитет иностранной цензуры находился в доме Фребелиуса на Средней Мещанской улице, и когда Красовский там появился, министр народного просвещения граф Уваров (тот самый, что, по словам Пушкина, воровал казенные дрова)

был вполне доволен: Красовский у меня — как собака, привязанная возле ворот. Только при нем я и могу почивать спокойно... Из дома Фребелиуса слышалось рычание:

 Париж – любимое гнездилище дъявола, разве не так? Так, миленький, так. Гони всех в щею... Чего там думать?

. А думать надо. Для того и существует эта проклятая гадина литература, чтобы читатели мыслили — и так и эдак, и вкривь и вкось, наотмашь и напропалую. Всякая литература, к сожалению, порождает разные мысли. В этом главный вред от литературы, ибо она, зловредная, не умеет говорить одно и то же, а каждый писатель желает выражать собственное мнение... Следовательно, борьба с литературой начинается борьбою с писателем!

С чиновниками же в комитете легче управиться.

- Господа, - объявил Красовский, появясь в доме господина Фребелиуса, — те из вас, кои уже связаны брачными узами, могут служить и далее, но строго предупреждаю, что карьера холостых оборвется в случае их женитьбы...

— Почему так строго? — загалдели молодые чиновники, искренно желавшие влачить по земле тяжкие цепи Гименея.

Александр Иванович внятно и доходчиво объяснил:

- Семейное счастье, согласен, есть необходимое з л о, которое не преследуется законом лишь ради приумножения населения. Однако женатый человек неспособен быть отличным чиновником, ибо его внимание поневоле раздвоено между службою и любовными утехами. Кроме того, женатый чиновник думает не о том, как бы вести бумагопроизводство по чину, а более озабочен иным вопросом — где бы ему занять денег на женские прихоти, столь щедро представленные в лавках Гостиного двора...

Любимцем его стал писарь Родэ, славный запоями и каллиграфическим почерком, убежденный холостяк, и Красовский ставил его в пример как образец новой человеческой породы:

- Вы посмотрите на Родэ! Он работает с утра до ночи, как

паровая машина, и усталости не ведает. А почему, спрашиваю я вас? Да потому, что он холост, а вечерами не возбуждает себя чтением всяких Бальзаков, напротив, он старательно вникает в премудрость Господню... Верно я говорю, Родэ?

— Справедливо изволили заметить, — отвечал тот, уже вознамерясь занять у кого-либо на очередную выпивку с пляс-ками...

Здесь уместно добавить, что Красовский, с полного маху рубивший годовы «всяким Бальзакам», оставался неучем, ибо он даже не читал европейских газет. Его подчиненные читали их, а вот он... пренебрегал! Совсем уж дико и нелепо, что из множества русских газет Александр Иванович облюбовал одну лишь «Северную пчелу» Фаддея Булгарина, который следовал указаниям Дубельта, подсказавшим ему главные темы: «Театр, выставки, Гостиный двор, толкучка, трактиры, кондитерские лавки...» — вот круг интересов, которые насыщали плоть и душу Красовского. Мало того, он завел особого писца, который день за днем переписывал в с ю газету Булгарина от руки. Сколько ни ломай голову, все равно не догадаться, зачем Красовскому требовался еще и рукописный экземпляр газеты.

Впрочем, я, кажется, начинаю догадываться — зачем?

Красовский, как и все бюрократы, обожал любое, пусть даже бесполезное, занятие, лишь бы создавать видимость напряжения его чиновного аппарата. При нем писанина ради писанины достигла гомерических размеров, он и сам вязнул в бумагах, словно заблудшая скотина в болоте, но ему очень нравилось видеть себя в окружении бумаг, бумажек и бумажонок, которые усиленно переписывались, копировались, откладывались, перекладывались, нумеровались, различаясь по алфавиту и по датам... Наконец настал великий день, когда Красовского озарило свыше.

— Стоп! — заорал он. — Отныне для красоты казеннобумагописания повелеваю употреблять разноцветные чернила. Это будет прекрасно! Чернилами красными выделять существенное, синими — объясняющее, а черными выписывать отрицательные явления в литературе этой дотла прогнившей Европы...

Система проверки иностранной литературы была оформлена Красовским в три несокрушимых раздела:

- 1) литература запрещенная,
- 2) дозволенная, но с купюрами в тексте, и
- 3) позволительная...

Однажды к нему в кабинет ворвался некий господин, исполненный благородной ярости, и развернул перед ним томик стихов Байрона, угодивший во вторую категорию.

- Полюбуйтесь на свое варварство! - возопил он, едва не

плача. — Я выписал эту книгу из-за границы, а ваши цензоры вырезали из нее целую поэму... Всю — целиком!

На лице Красовского появилось умильное выражение.

— Дайте-ка этого Байрона сюда, — попросил он и, взяв книгу, вдруг стал кричать на посетителя. — Как вы смеете защищать этого крамольного автора? Почему сами не пожелали вырезать из книги богохульные страницы? Вы чиновник? Вот и прекрасно. Я обладаю правом обратиться к полиции, чтобы впредь она надзирала за вашим чтением...

Услышав такое, некий господин (да еще чиновник) схватил шляпу и убежал, даже оставив том Байрона на столе главного цербера. Никакой нормальный человек не выдерживал общения с таким занудою, каким был Красовский: чиновников Комитета иностранной цензуры посторонние люди иногда спрашивали:

- Господа, да в уме ли ваш председатель?..

Служить под началом Красовского могли лишь очень закаленные люди, согласные унижаться и пресмыкаться. Среди его секретарей одно время числился и Павел Савельев — археолог и лауреат Демидовской премии. Красовский как-то попрекнул его в честолюбии.

 Ошибаетесь, — с гневом возразил Савельев. — Одно уже то, что я служу под игом вашего превосходительства, есть самое яркое свидетельство тому, что я совсем лишен честолюбия...

Чиновники комитета, чтобы Красовский не стоял у них над душою, нашли верный способ, как избавляться от его высоконравственных поучений о вредности женского пола. Желая отвадить Красовского, они нарочно обкладывали свои столы французскими журналами, раскрыв их на иллюстрациях с изображениями парижанок. Александр Иванович, увидев такую «мерзость», спешил отойти подальше и даже отплевывался, как от пакости:

— Фу, фу, фу... Одно непотребство, и лучше бы глаза мои не видели этого!. Вот до чего дошло безверие французов: девка не стыдится задрать юбки, чтобы поправить чулок, а художник тут как тут... сразу запечатлел ее непотребство! Неужто и в нашей благословенной державе экий срам заведется?

Надо же так случиться, что как раз напротив дома Фребелиуса однажды сняли квартиру две отчаянные Аспазии, которые по утрам, будучи в дезабилье, ложились грудью на подоконник и делали молодым цензорам всякие знаки, помахивая белыми ручками: мол, заходите вечерком, мы берем недорого. Красовский иногда тоже подходил к окнам, а чиновники за его спиною выразительными жестами указывали девицам, что вот

этот нетопырь горазд по женской части, денег же у него — куры не клюют. Все это имело неожиданный финал для Красовского, который однажды, выходя из комитета, был сразу же расцелован уличными красотками.

— Душечка, — щебетали они, — ежели тебя на том свете черти в ад поволокут, так ты, миленький, с ушей гореть станешь.

Александр Иванович призвал на помощь полицию, Аспазий выселили на окраины столицы, а чиновники долго еще ругались:

— Ну что за жизны! Даже пошутить не дают...

Кстати, в доме Фребелиуса размещался не только комитет, владелец его сдавал квартиры частным и казенным съемщикам. Красовскому захотелось распространить права цензуры на все этажи дома, чтобы проследить за нравственностью жильцов, осквернявших себя общением с женщинами. Одного из жильцов он зазвал к себе в кабинет, предлагая ему прочесть тоненькую брошюру, а сам куда-то удалился. Жилец, ничего худого не подозревая, раскрыл брошюрку, в которой была напечатана молитва о покаянии... Александр Иванович вернулся — с ехидной улыбочкой:

- Ну, как? Прочли?
- Прочел.
- Покаялись?
- В чем? удивился жилец казенной квартиры.
- Вы, сударь, имеете квартиру, оплачиваемую казной государя-императора, которую и оскверняете гнусным прелюбодеянием.
 - Что за чушь! возмутился жилец, вскакивая.
- Извольте сидеть, выговорил Красовский. За это время, пока вы читали молитву, я успел навестить вашу квартиру.
 - И что же вы там узрели, ваше превосходительство?
 - Я увидел в ваших комнатах женскую шляпу.
 - Верно, согласился жилец. Моя служанка оставила.
 - Значит, вы состоите в незаконном сожительстве.
 - Неправла!
- Сущая истина, засмеялся Красовский. Я был в вашей спальне, где видел двухспальную кровать.
 - Так и что же с того?
- А то, что двухспальная кровать есть прямое свидетельство тому, что вы завели ее ради любострастия со служанкой.
- Господи! воскликнул жилец. Да эта кровать давно в моей спальне, еще до того как я нанимал служанку.
- Без отговорок! Или вы изгоняете служанку, нанимая для услуг старуху, или... я вынужден обратиться к полиции.

Несчастный жилец потом спрашивал чиновников комитета:

Господа, да здоров ли ваш председатель?

Здоров! И отправления его желудка были вполне нормальные, о чем свидетельствует дневник А. И. Красовского, преданный публичному тиснению в одном из старинных журналов. Всю сознательную жизнь он отмечал в дневнике наблюдения за погодой, высекал на скрижалях чудесные сновидения и работу своего драгоценного желудка. Александр Иванович основательно полагал, что все это пригодится для будущей картины его прилежного жития!

Не могу отказать себе в удовольствии процитировать выдержки из дневника, дабы читатель уяснил для себя, что не еди-

ным хлебом жив человек... Вот, пожалуйста, читайте:

«2 января. Пасмурно, потом ясно. Оправление желудка было обыкновенное — в 11 ч. Обедал... Лег спать спокойно.

4 января. Ясно. Сон был хорощ... Оправление желудка в 3 ч.

пополудни — обыкновенное, без напряжения.

9 января. Пасмурно. Во сне виделся большой круг синего цвета с пятью радиусами, еще какая-то девица, временами лежавшая, потом встававшая...

13 января. Ясно. Во сне виделись министры, рассуждающие о

цензурных делах. Оправление желудка порядочное.

24 января. Пасмурно. Оправление желудка в 11 ч. После обеда виделся во сне какой-то ребенок, со слезами на глазах просивший у меня конфет.

28 января. Пасмурно. Во сне виделся гроб с телом, уже испортившимся. Оправлялся четыре раза, но не так порядочно, как все-

гда.

3 февраля. Во сне приходила какая-то женщина, требуя у меня денег. Не обедал, довольствуясь двумя яичками всмятку.

15 февраля. Пасмурно. Во сне виделся незнакомый дом, в кото-

ром я безуспешно искал нужник для оправления желудка...

4 марта. Ясно. Благодарю тебя, Создатель и Хранитель меня, даровавший мне провести 67 лет на этом свете и долготерпевший беззакониям моим... Оправление желудка порядочное.

1 апреля. Пасмурно, ясно. Во сне виделось, как я обедал, а потом Вл. Ив. Панаев, на коленях просящий у меня прощения...

Оправление желудка порядочное — в 10 ч. и в 2 ч. дня.

26 апреля. Во сне виделся государь, много говоривший о лекарствах и удостоивший меня киванием головы. Желудок расстроен.

3 мая. Дождь, потом ясно. Во сне виделась графиня Клейнми-

хель, за руку ведущая меня к обеденному столу...

4 мая. Ясно. Сон был хорош. Снился император Павел, приказывающий мне уйти, и выпадающий из правой десны зуб мой. Оправление желудка в 12 ч., а потом и в 2 ч. 5 мая. Дождь. Во сне виделись люди, дружно идущие в баню. Еще видел, как по Обуховскому шагает частный пристав. Обедал у коменданта Петропавловской крепости.

8 мая. Ясно. Снилась женщина, которую по ее собственному желанию бросали вверх, и, сделав в воздухе круг, она возвращалась невредима; еще видел ужасные портновские иглы с большими ушами у них.

17 мая. Ясно, дождь. Оправление желудка с усердием. Виделся покойный министр князь К. А. Ливен, слушавший дела о цензуре и

строго указавший, чтобы я не смел улыбаться...

24 мая. Дождь, после обеда ясно. Оправление желудка сначала малое в 11 ч. и большое в 1-м ч. дня. Виделась встреча с французским королем, лишенным престола, которого я угощал на свой счет в трактире для извозчиков.

15 июня. Ясно. Во сне виделся граф С. С. Уваров, здраво рассуждающий о новом цензурном уставе, и еще слепая старуха, давно

ищущая свободы. Оправление желудка было малое.

30 июня. Ясно и пасмурно. Ночью, как и вчера, слышалось громкое бурчание в животе...»

Думаю, читатель, этих выдержек с избытком хватит, чтобы сложить образ автора дневника; напомню, что был 1848 год, в Европе строились баррикады, Николай I послал войска для усмирения Венгрии, чтобы помочь Габсбургам, но все эти вопросы никак не волновали Красовского. Верный своим принципам, он в своем комитете повелел усилить строгость цензуры, а писать указал побольше, и все написанное чиновниками прочитывал с небывалым усердием, а большинство казенных бумаг велел тут же копировать — для архива.

— Да когда же он сдохнет? — перешептывались молодые чи-

— Да когда же он сдохнет? — перешептывались молодые чиновники, которым не разрешалось жениться. — Ведь уже тайный советник, куда уж выше? Мог бы и на покой проситься...

Чтобы ускорить блаженную кончину Красовского, чиновники стали писать как можно больше; там, где смысл укладывался в один краткий абзац, они разводили тягомотину на многих страницах. Но здоровье председателя не пошатнулось от лавин бумаг, в которых он утопал, словно крыса в подвале, и над стопами донесений бодро возвышались бледные гигантские уши...

— Надобно его развратить, — решили чиновники, приходя в отчаяние. — Может, вкусит от земных благ хоть малую толику и загуляет, как все порядочные люди... не до бумаг станется!

Как раз в это время нашелся повод для искушения. Трудолюбивый писарь Родэ, страдавший запоями (но высоко ценимый Красовским за изящество почерка), сошелся с молоденькой немкой из дома терпимости. Родэ влюбился в нее, получив от Красовского дозволение на брак лишь после того, как принял православие и ежегодно заучивал наизусть целую главу из Библии.

Свадьбу решили справлять в том же публичном доме, но сразу возник вопрос: как залучить Красовского в вертеп? Думали недолго — и придумали. Невеста за червонец отыскала «благородного отца», чтобы «экселенц» подтвердил благородное происхождение его «дочери». Красный фонарь над крыльцом конечно, убрали, а салон украсили белым роялем. Для искушения Александра Ивановича избрали самую могучую деву Дуньку Косоротую, знаменитую сверхизобилием мясной плоти. Дунька пожелала на свадьбе именоваться «графиней Мантейфель», ибо она еще не забыла страстной любви корнета с такой же фамилией, который, разгулявшись, выбрасывал ее из окна вместе с мебелью...

Красовский на свадьбу явился, и «экселенц», ангажированный до утра за червонец, по-немецки заверил гостя в подлинном благородстве невесты. Красовский играл роль посаженого отца, конечно же никак не догадываясь, куда он попал и кто его окружает. «Графиня Мантейфель» бдительно опекала высокого гостя, и временами чиновникам казалось, что сердце их начальника сейчас непременно дрогнет, после чего Дунька Косоротая сопроводит его в отдельный кабинет. Но... увы! Никакие соблазны в виде множества пудов грудей и бедер не разгорячили Красовского, и, вернувшись со свадьбы, он, как водится, зарегистрировал в дневнике отличную работу своего желудка...

А ведь хитрущий был человек! Явное порождение той эпохи, когда требовалось не рассуждать, а лишь повиноваться, Красовский всей своей полусогнутой фигурой выражал униженное раболепие перед вышестоящими, а беспардонное ханжество стало для него вроде ходулей, на которых он ловко передвигался по ступеням карьеры. Сановная знать в те времена имела свои (домашние) церкви, и Красовский смолоду втирался в общество аристократии, выражая перед сановниками империи свое богоутодное рвение. Глядишь, и его заметили. А заметив, и отличили...

Правда, революция 1848 года в Европе доставила ему немало хлопот, тоже способствуя его возвышению. Ясно, что вся крамола, уже проверенная на таможне, беспощадно резалась, уничтожалась в «читальне» цензурного комитета, но однажды Красовского вдруг осенило.

— Ноты! — истошно завопил он. — Мы совсем забыли о нотах... Откуда мы знаем, что станут думать в публике, слущая музыку, развращенную революцией!

193

Все примолкли. Один только нетрезвый Родэ заметил:

— Ноты мы читать не умеем, и тут без рояля и оркестра не обойтись. И дирижера надобно, чтобы палкой махал. Только вот беда — мы играть не умеем. На барабане я еще могу так-сяк отобразить свое волнение, а дале — пшик!

- Господа, неужели никто не умеет играть на рояле?

 Ни в зуб ногой, — хором признались чиновники, которым и без музыки хватало всякой работенки.

— В таком случае, — распорядился Красовский, — прошу придирчивее вникать в песенный текст под нотами — не содержится ли в словах романсов крамольных призывов к беспорядкам?..

Дальше — больше! Вдруг взбрело Красовскому в дурную башку, что эта подлая, завистливая и давно разложившаяся Европа засылает в недра России крамольные прокламации, которые следует искать... в мусоре на городской свалке. Скоро во дворе дома Фребелиуса выросла гора бумажной макулатуры из разодранных книг, газетного рванья и ошметков журналов, годных лишь для заворачивания «собачьей радости» в неприхотливых лавчонках окраин столицы.

— Ищущий да обрящет! — зычно возвестил Красовский.

Эта фраза звучала в его устах как призыв к атаке.

Проклиная фантазии начальства, чиновники с героическим самопожертвованием ринулись на штурм неприступной бумажной горы, но, конечно, ничего крамольного не обнаружили даже на вершине макулатурного Везувия, где им хотелось бы водрузить знамя победы. Однако не таков был человек Александр Иванович, чтобы поверить в невинность оберточной бумаги. Подвиг Геркулеса, одним махом очистившего Авгиевы конюшни, вдохновил тайного советника на новое — гениальное! — решение:

— Если уж бумаги попали в наш комитет, значит, мы обязаны составить им подробную опись в алфавитном порядке с указанием — на каком языке писано, когда и где издано, из какой книги вырвано, а где слов вообще нету...

Тут Красовский малость задумался. Но думал недолго:

— Все бумаги без печатного текста следует проверить особо тщательно: нет ли в них водяных знаков, призывающих российских сограждан к возмущению противу властей. Начинайте!..

— Урра-а-а, — возвестил при этом Родэ, после чего смело попросил у Красовского один рубль ради нужного похмеления.

Никогда и ничем не болея, питаясь едино лишь великопостною пищей, ни разу в жизни не посетив даже театра, Красов-

ский был сражен наповал результатами Крымской кампании. Вернее, ему, бюрократу, было глубоко безразлично, кто там и кого побеждал в Севастополе, — его убило новое царствование Александра II, в которое публика открыто заговорила о необ-кодимости реформ и гласности; Красовский был потрясен, когда до него дошли слова самого императора:

- Господа, прежний бюрократический метод управления великим государством, каковым является наша Россия, считайте, закончился. Пора одуматься! Хватит обрастать канцеляриями, от которых прибыли казне не бывает, пора решительно покончить с бесполезным чистописанием под диктовку началь-

ства... Думайте!

И тут случилось нечто такое, чего никто не мог ожидать.

Красовский, смолоду согнутый в дугу унизительного поклона, неожиданно выпрямился, а его голос, обычно занудный и тягомотный, вдруг обред совсем иное звучание - протестующее.

— Как? — рассвирепел он. — Сократить штаты чиновников и бумажное делопроизводство, без коего немыслимо управление народным мышлением? Чтобы я перестал писать, а только разговаривал с людьми? Господа, да ведь это... революция!

Поворот в настроениях Красовского был слишком резок, почти вызывающий: он, всю жизнь куривший фимиам перед власть имущими, решительно перешел в лагерь чиновной «оппозиции», нарочито — назло царю! — указав в своем комитете, чтобы чиновники усилили цензурный режим, чтобы не жалели бумаг и чернил, чтобы писали даже больше, нежели писали раньше — до реформ.

 Бумагопроизводство следует расширить, — указывал он. Я знать не желаю, о чем там наверху думают, но в моем Комитете каждая бумага должна получать бумаги ответные. А мы, яко всевилящие Аргусы, угроим надзор за веяниями Запада, кои никак не пписываются в панораму российского жития... Вот, пожалуйста, новый журнал дамских мод из Парижа! Нарисована дама как дама. По спереди у нее на платье подозрительный разрез, сзади тоже обширная выемка. На что они нам намекают? Нельзя...

Смерть сразила его разом, и в Петербурге гадали.

- Ну, ладно на этом свете... тут все понятно. Но зачем этот человек понадобился на том свете?

Досталось же тогда полиции и судебным исполнителям, когда они приступили к описи имущества покойного. Из «музея» долго вылетали дряблые банные веники, ветошь перегнившей одежды и рваные чулки тайного советника с подробными указаинями, когда он этим веником парился, в каком году он с глубоким сожалением отказался от ветхозаветных полштанников.

- Есть же еще идиоты на свете! - заметил частный пристав, нежданно появляясь из дверей «музея» с самоваром в руках. — Глядь, совсем новый. Хоть чайку попьем. Вот и вареньице от покойника осталось. А варено, как тут им писано, еще в год убиения императора Павла. Полвека прошло... авось не подохнем!

После Красовского остался колоссальный капитал — в СТО ТЫСЯЧ рублей, который вырос с процентов по давнишним вкладам в ломбардах столицы. Прослышав об этом, из костромской глуши нагрянули в Петербург затрушенные и алчные сородичи покойного, ближние и дальние, совсем ошалевшие. когда узнали, что на их дурные головы свалилось такое неслыханное богатство.

Но, как и водится между родственниками, они все перегрызлись меж собой при дележе наследства, и от ста тысяч рублей никому и полушки не досталось - весь капитал они разбазарили на дошлых столичных судей, которые и разложили наследство Красовского по своим глубоким карманам...

На этом и закончилась жизнь человека, после которого остались анеклоты и дневник, отданный на хранение в Императорскую Публичную библиотеку, да еще уцелел доходчивый афоризм, не потерявший своего значения и в наши благосло-

венные дни:

— Полезнее всего — запретить!

посмертное издание

Плакать хочется, если почести выпадают человеку лишь после его смерти, когда издают книги, которые автор не мог увидеть при жизни. Зачастую публика с восторгом принимает произведение, вырвавшееся на свет божий из-под тяжкого гнета цензуры. Но иногда случается, что читатели, ознакомясь с такой книгой, испытывают разочарование.

— А что тут хорошего? — рассуждают они. — Лежала книжка и пусть бы себе лежала дальше. Ни тепло от нее, ни холодно. Вот уж не пойму, ради чего ее теперь продают. Чепуха какая-то!

Так бывает, когда время ушло вперед, ярко выделив перед обществом новые конфликты, а книга, написанная задолго до этого, уже «состарилась», неспособная взволновать потомков, как она волновала когда-то ее современников. Нечто подобное произошло и с романом «Село Михайловское»; критики даже выступили с попреками — зачем, мол, поднимать из могилы это «старье», если от автора один прах остался.

Н. И. Греч, автор предисловия к роману, оправдывался:

— Дамы и господа! Как можно было не печатать роман, если при жизни сочинительницы его до небес превознесли корифеи нашей литературы — поэты Жуковский и Пушкин, а написан роман по личному настоянию незабвенного Грибоедова...

Издательницей романа была вдова сенатора Прасковья

Петровна Жандр, и на исходе прошлого столетия она появилась в Гомеопатической лечебнице на Садовой улице Петербурга.

Главному врачу больницы она сказала:

- Не откажите в любезности принять в дар от меня остатки тиража романа «Село Михайловское». Если публика не раскупает, так, может, болящие от скуки читать станут. Все равно тираж гниет в подвалах, где его крысы сгрызут...
 - А кто автор этого романа? спросил врач.
 - Варвара Семеновна Миклашевич, урожденная Смагина.
- Не знаю такой... извините, поежился гомеопат. Может, вы напомните мне, кто она такая?

На далеком отшибе, в губернии Пензенской (боже, какая это была глушь!), жил да был помещик Семен Смагин, владелец шестисот душ. Когда Емельян Путачев появился в его усадьбе, Смагина сразу повесили, а жена его с детками малыми в стог сена забилась, и там сидели тихо-тихо, пока «царь-батюшка» не убрался в края другие...

Вареньке было в ту пору лишь полтора годика.

Но вот выросла она и расцвела, сделавшись богатой невестой в губернии. Появились и женихи. Однако она искала умника, а глупым сразу отказывала. Наконец один такой олух, выстлушав отказ, долго не думал и застрелился.

— Ну, прямо под моими окнами, — ахала Варенька. — Охты

мне, страсти-то какие... прости его, господи!

Тут притащился к ее порогу старый прохиндей Антон Осипович Миклашевич, служивший в Пензе при губернаторе, и
тоже стал в ногах у нее валяться. Клялся, что на руках ее носить
станет, чтобы там выпить или в картишки сыграть — ни-ни, о
том и речи быть не могло. Варенька дала согласие на брак, а
много позже признавалась друзьям, что любви не было:

 Один страх господень! Потому как молодой невежа под моим окошком застрелился, а вдруг, думала я, и этот хрыч

старый возьмет да на воротах моего дома повесится?..

Муж занимал в Пензе место прокурора — гроза губернии. Поэт князь Иван Долгорукий в «Капище моего сердца» так обрисовал молодую прокуроршу: «Она была барыня молодая, умная и достойная, но увлекалась чисто романическими восторгами, и от того много дурачеств в свой век наделала...» Я не знаю, какие там фокусы вытворяла молодая жена прокурора, но зато сам прокурор в одну ночь спустил за картами все ее состояние.

Варвара Семеновна оскорбилась, даже поплакала:

— После этого, сударь, вы еще детей от меня желаете? Да

вы противны мне с фарисейской рожей своей... Знала б я раньше, что вы такой, я бы вам и мизинца своего не дала!

Антон Осипович в роли супруга не блистал моралью. Но зато как прокурор он украшал себя разными злодейскими доблестями, отчего и был привечен императором Павлом I, который из Пензы вытребовал его в Петербург. Как раз в это время Варвара Семеновна с отвращением ощутила свою беременность.

И на том спасибо, — заявила она мужу. — Но более ничего от вас не желаю и вам желать не советую...

Приехали они в столицу — честь честью, даже новой мебелью обзавелись. Но тут прокурор что-то не так сказал, не так повернулся, не той ноздрей высморкался, почему и был посажен императором в Петропавловскую крепость. Комендантом русской «Бастилии» был тогда очень веселый и добрый человек — князь С. Н. Долгорукий, в свете прозвище Каламбур Николаевич.

— Мадам, — сказал он рыдающей Варваре Семеновне, — что вы слезки-то льете? Да приходите к нам обедать... Чин у меня флигель-адъютантский, а паек у нас арестантский!

Пока муж сидел, она каждый день ходила в тюрьму, чтобы разделять с ним казенную пищу узника. Но в один из дней явилась в крепость, комендант спросил ее:

- Вы зачем, мадам, изволили снова пожаловать?
- Как зачем? Обедать-то мне надо.
- Так здесь же не ресторация, захохотал Каламбур Николаевич, — паче того, вашего мужа из крепости уже вывезли.
 - Неужто в Сибирь? ужаснулась Варенька.
 - Хуже того в кабинет государя-императора...

Император расцеловал дряблые щеки узника и, не дав ему переодеться, велел срочно ехать в Михайловскую станицу на Дону, где и быть прокурором, а с женою резрешил повидаться не более трех минут. Миклашевич успел жене наказать:

— Продавай все и скачи за мною на Тихий Лон...

Варвара Семеновна, уже будучи на сносях, поехала вдогонку за своим мужем. Но в пути начались схватки, в какой-то землянке, среди чужих людей, без врача и повитухи, она родила сына — Николеньку. Когда же Павла I прикончили гвардейцы, супруги Миклашевич возвратились в Петербург.

Несчастная в браке, презирающая мужа, женщина всю душу иложила в сына — он был для нее всем на свете. Прокурор, быстро дряхлевший, вскоре отошел в лучший мир, и Варвара Семеновна слезинки не пролила, все ее чувства были отданы сыну, которым не могла надышаться; даже делая визиты зна-

комым, она появлялась с ребенком на руках, не желая ни на минуту с ним расставаться. Николеньке исполнилось восемь лет, когда он вдруг умер, и это был такой удар для нее, что она вернулась с кладбища поседевшая. Каждый день навещала могилу сына, и когда ей говорили, что надо бы поставить над могилою памятник, Варвара Семеновна отвечала:

— Зачем ему памятник, сделанный из камня, если я каждый день стою над могилою — как живой памятник...

Что может спасти женщину? Только любовь...

Муж оставил Варвару Семеновну кругом в долгах, она распродала все, что имела, а жила тем, что бог даст, как птица небесная. Когда-то завидная невеста, из-за которой стрелялись, сразу стала нищей вдовой, никому не нужной. В это время, совсем одинокая, встретила она Андрея Андреевича Жандра, который одарил женщину возвышенной страстью. В душе поэт, был он мелким чиновником при морском министерстве, а жалованье имел — словно кот наплакал.

— Варвара Семеновна, — предложил Жандр, — двое бедных всегда богато живут, так пусть станет един наш кров, под сенью которого вечерами разделим мы общую трапезу...

Историк Д. А. Кропотов писал: «Петербургское общество уважило эту необыжновенную связь, ездило на вечера к Жандру и радушно принимало посещения его и Варвары Семеновны». Такую пару можно было уважать, ибо они уважали друг друга, и когда с Жандром случилась беда, Варвара Семеновна рыяно отстаивала его перед жандармами в таких выражениях: «Десятый год он составляет мое единственное утешение. Не имея никакой собственности, почти все мне отдает, совершенно живет для меня; назад четыре года была я больна, неподвижна шесть месяцев, так он ходил за мной, как самый нежный сын за своей матерыю...» Сильна была любовь, но — платоническая!

Не так-то уж был прост Андрей Жандр, и не только хороший человек, как писала о нем Варвара Семеновна. Писатели считали Жандра собратом по перу, актеры — своим драматургом, а декабристы не таили от него своих замыслов. Вестимо, что друзья Жандра стали близкими для Варвары Семеновны, которая из своих рук потчевала ежевечерних гостей — Рылеева, Бестужева, Катенина, она нежно любила поэта Сашу Одоевского. Наконец, в их доме Грибоедов был своим человеком, не только дружившим с Жандром, но совместно с ним писалась для театра комедия «Притворная неверность».

Весною 1824 года, появясь в Петербурге, Грибоедов обрел множество приятелей, будущих декабристов. В эту пору жизни он изучал восточные языки, за кулисами театров ухаживал за

актрисами, вызывая ревность у их знатных поклонников. В доме Жандров он искал успокоения для души, невольно теряя ту «холодность», которая была присуща ему и даже необходима, как маска актеру... Варвара Семеновна много рассказывала Грибоедову о прошлом захолустной провинции, и в рассказах ее зримо представали яркие типы отжившей эпохи — с их вольтерьянством и дикостью, со слезливой лирикой сантиментов Руссо и явным палачеством самодуров. Александр Сергеевич говорил:

— Вам, голубушка, не рассказывать, а самой писать надобно, чтобы золотой век матушки Катерины не сохранился для истории лишь со стороны Эрмитажа, но дабы ведали потомки и самые темные задворки русской провинции с ее ужасами.

— Не знаю, как писать. Неучена.

- Господи! Да пиштите, как все мы пишем...

Нет сомнения, что Грибоедов даже любил Варвару Семеновну, видя от нее столько материнской заботы, какой не видел от родной матери, и в минуты хандры Жандра он внушал ему: «Оглянись, с тобою умнейшая, исполненная чувства и верная сопутница в этой жизни, и как она разнообразна и весела, когда не сердится...» В канун восстания декабристов Миклашевич справляла свои именины, еще не догадываясь, что одни ее гости повиснут в петле, другие пойдут на каторгу. Странно, что, угощая князя Одоевского, она вдруг испутанно вскрикнула:

- Ай, Саша! Почудилось, будто вижу тебя в халате.

- В каком халате, хозяющка?

— В арестантском... вот наваждение!

Когда начались аресты декабристов, Варвара Семеновна укрыла князя Одоевского в своем доме, а сыщикам устроила от ворот поворот. Но потом взмолилась перед Жандром:

— Ради нашей любви, друг мой, достань для Саши статское

платье, чтобы мог он, бедный, уйти от насилия...

Жандр помог Одоевскому бежать. Пешком декабрист покинул столицу, надеясь сыскать убежище на даче Мордвинова; но родной дядя и выдал его, велев лакеям скругить племянника, чтобы доставить его под суд. Вслед за этим был арестован и Жандр, что повергло женщину в отчаяние. «Простите моему отчаянию, — так писала она судьям. — Если б вы знали, как я страдаю, — вы бы сжалились...» Жандр твердо держался на допросах, никого не выдавая при следствии, а затем его пожелал видеть сам император Николай I:

— Ты почему сразу не выдал преступника князя Одоевского?

На это Жандр отвечал царю слишком дерзко:

- А вы, будь на моем месте, способны выдать друзей?..

Плачущая, еще больше поседевшая Варвара Семеновна обняла выпущенного из крепости Жандра, который для историков так и остался лишь «причастным к декабрю 1825 года»:

- Любимый мой... один ты у меня остался!

Грибоедов тоже был арестован, но содержался в помещении штаба. «Горе от ума» было тогда слишком известно, а сам автор комедии обладал таким обаянием, что часто уходил изпод ареста, появляясь в доме Жандров со штыком в руках.

- Откуда штык у тебя? спрашивала Варвара Семеновна.
- Да у часового отобрал. Ему-то он давно надоел, а пойду от вас ночью, так лучше со штыком... безопасней!

Отныне жизнь Миклашевич протекала под секретным надзором полиции, имя ее совмещали с именем вдовы Рылеева, а сыщики доносили о ней царю в скверных словах: «Старая карга Миклашевич, вовлекшая в несчастие Жандра, язык у нее змеиный...» Правда, что декабристы остались для женщины дороги на всю жизнь, и в своем романе она воскрешала их светлые образы. А. А. Жандр, уже глубоким стариком, рассказывал молодежи:

— Под именем Заринского она вывела Сашу Одоевского, под Ильменевым — повешенного Рылеева, а в молодом Рузине можно узнать Грибоедова. Характеры их, склад речи, даже наружность этих образов совершенно сходны с оригиналами. О, как они далеки от нынешних молодых людей! Варвара Семеновна лишь перенесла своих героев в былое время собственной младости, но в святости сохранила их гражданские и моральные идеалы.

Весною 1828 года Грибоедов успел прочесть первые страницы романа, а вскоре получил назначение посланником в Персию; он был печален и, прощаясь, трагически напророчил:

— Нас там всех перережут... Вспоминайте обо мне!

Грибоедов подарил Жандру свой список комедии «Горе от ума», которую ему не суждено было увидеть — ни на сцене, ни в печати. Варваре Семеновне он тогда же сказал:

— А вы пишите... не боги горшки обжигают! И нельзя втуне хранить бесценные сокровища своей памяти о минувшем.

Издалека приходили от него письма. Грибоедов сообщал Варваре Семеновне из Эчмиадзина: «Жена моя по обыкновению смотрит мне в глаза, мешает писать, зная, что пишу к женщине, и ревнует... немного надобно слов, чтобы согреть в вас опять те же чувства, ту же любовь, которую от вас, милых нежных друзей, я испытывал в течение нескольких лет...»

В январе 1829 года Грибоедова не стало.

— Теперь-то уж я закончу роман, — решила Миклашевич, —

дабы исполнить предсмертную волю моего друга...

Роман назывался «Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия», и он явился как бы преддверием будущих «Записок охотника» Тургенева, проникнутый гневным протестом против условий крепостного права, — в этом Варвара Семеновна осталась верна себе и заветам своих друзей. В один из дней 1836 года, утомленная, но благостная, она широко раздвинула оконные шторы в спальне Жандра, разбудив его словами:

Пора на службу, мой милый, но прежде поздравь меня...
 Я отслужила свое, поставив в конце романа жирную точку.

- Печально, ежели он останется в рукописи.

— Он дорог мне даже таким... Вставай!

Не стало Грибоедова, зато в жизни Миклашевич появился Пущкин, который тогда же напомнил читателям в «Современнике»: «Недавно одна рукопись под заглавием «Село Михайловское» ходила в обществе по рукам и произвела большое впечатление. Это роман, сочиненный дамою. Говорят, в нем много оригинальности, много чувства, много живых и сильных изображений. С нетерпением ожидаем его появления».

Пушкину оставалось жить всего лишь один год.

В конце жизни он навещал Жандра и Миклашевич.

— Поэт приезжал к нам просить эту книгу, — рассказывал Жандр. — Тогда книготорговцы, возбужденные слухами о романе, предлагали нам тридцать тысяч рублей, уверенные в прибыли. Я не помню, что говорил Пушкин авторше, но мне он сказывал, что не выпускал романа из рук, пока не прочел...

Неизвестно, как бы сложилась судьба «Села Михайловского», если бы не гибель поэта. В канун роковой дуэли Пушкин взял у Миклашевич лишь первую часть книги и, увлеченный ее содержанием, обещал предпослать к отдельным главам свои же стихотворные эпиграфы. Василию Андреевичу Жуковскому выпала скорбная честь разбирать бумаги покойного поэта, среди них он обнаружил и начало рукописи романа. Вскоре он появился в доме Жандра, где познакомился с Варварой Семеновной.

— Вам бы мемуары писать, — сказал он. — Ах, сколько мелочей старого быта мелькает в вашем романе, уже забытых... Поди-ка догадайся теперь, что дворяне в царствование Екатерины ездили в гости со своими умывальниками и ночными горшками... А что вам говорил Александр Сергеич?

- Пушкин желал, чтобы роман скорее увидел свет.

 Чего и я от души желаю, — отвечал Жуковский, тогда же выпросив у Миклашевич остальные части романа.

«Он в три дня прочитал все четыре части и так хорошо знал весь ход романа, что содержание каждой части разбирал подробно, — вспоминал потом Жандр. — Он заметил некоторые длинноты и неясности, и В. С. все это тогда же исправила».

Жуковский даже сочувствовал писательнице:

- Чаю, настрадаетесь вы со своей книгой...

- И немудрено, ибо роман, блуждая в рукописи среди читающей публики, сразу же сделался гоним. Был уже 1842 год, когда в доме графа Михаила Виельгорского гости его музыкального салона однажды обступили цензора Никитенко, спрашивая:
- Александр Василич, когда же будет предан тиснению несчастный роман стареющей госпожи Миклашевич?
- Увы, понуро отвечал Никитенко, втайне сочувствуя авторше, никак нельзя пропустить. У нее там все начальники мерзавцы, губернаторы жулики, а помещики сплошь разбойники с большой дороги, что никак не дозволит цензура светская. Но в романе немало и героев из духовного звания, есть даже архиерей, порядочный негодяй, и все столько дурно отражены, что сего не пропустит цензура духовная...

Но интерес к роману не угасал, и Николай Иванович Греч во время публичных чтений о литературе напоминал:

- Россия имеет хороший роман, к сожалению, известный более понаслышке. Смею думать, что при появлении его в свете он займет достойное место в Пантеоне нашей словесности верностью изображения нравов, оригинальностью своих героев. Сочинен он дамою, женщиной проницательного ума и твердого характера, которая была очевидицей описанных ею событий.
 - А кто эта дама? спрашивали Греча.
- Стоит ли всуе тревожить ее имя, осторожничал Греч, памятуя о крамольных связях Миклашевич с декабристами. Могу заверить вас в одном: испытавшая в жизни тяжкие удары судьбы и неотвратимые потери, авторша запечатлела для нас нравственно-печальное состояние своей отчизны в те далекие времена, когда ей было около тридцати лет...

Вскоре же Степан Бурачок, корабельный инженер, он же издатель журнала «Маяк», большой поклонник отжившей старины (и даже ее недостатков), решил потихоньку от цензуры тиснуть «Село Михайловское» ради спекулятивных целей, дабы повысить интерес к своему журналу. Но издатель был сразу же уличен в плутовстве, получив хорошую головомойку от начальства.

— Стыдно! — сказали ему мрачные церберы. — Где бы вам самому бороться с растлением современной литературы, вы, пуще того, приглашаете читателя в сущий вертеп разбойников, каковым и является роман неугомонной госпожи Миклашевич...

Варвара Семеновна болела. Двадцать лет длилась ее любовь, и эта любовь была обоюдно платонической, на какую не все люди способны. Предчуя близкую кончину, она сама вложила в руку любимого Жандра девичью руку Параши Порецкой, своей давней воспитанницы (по слухам, солдатской дочери):

— Меня скоро не станет, Андрюща, так вот тебе жена будет верная и молодая... Не дури! Осчастливь Парашу и да будь

сам счастлив с нею...

Ей же она вручила полную рукопись своего романа.

— Мне уже не видеть его в печати, — плакала Миклащевич. — Но жизнь не может считаться завершенной, пока с высот горних не увижу свой роман в публике, и ты, милая, живи долго-долго... чтобы издать его в иных временах... лучших!

В декабре 1846 года Варвара Семеновна скончалась, и Жандр похоронил романистку подле могилы сына Николеньки, которого она так любила. Но, кажется, Жандр умышленно отодвинул гроб от места погребения мужа-прокурора, сказав при этом:

- Она и при жизни-то терпеть его не могла...

В конце 1853 года, претерпев многие служебные невзгоды, Жандр был сделан сенатором, причисленным к департаменту герольдии. Ему предстояла еще долгая жизнь, и Андрей Андреевич не оставил следов в герольдии, зато для поколения новых историков он сделался источником достоверных преданий былого времени; четко и разумно поминал он своих друзей, ставших уже великими. «Очень высокий, сухой, как скелет, старик в узеньком пальто, которое выказывало еще всю его худобу... лицо в морщинах, маленькое, серые глаза смотрят умно и серьезно» — таким описывали его в 1868 году, когда Россия переживала период либеральной «оттепели», и тогда же появились надежды на публикацию романа «Село Михайловское».

— Конечно, — рассуждал Жандр, — любая книга, как и овощ, годится к своему времени. Боюсь, что роман незабвенной для меня Варвары Семеновны уже перезрел на литературном огороде и вряд ли ныне доставит публике то удовольствие,

какое таил он в своей первозданной свежести...

Пройдя двойную цензуру, светскую и духовную, роман В. С. Миклашевич увидел свет в шестидесятых годах, изданный в двух томах, — через тридцать лет после его написания. Время для публикации было неудачное: русское общество стремилось к новым идеалам, молодежь попросту не желала обора-

чиваться назад, в потемки былого, чтобы знать, как жили их деды и бабки, а злодейства тиранов прошлого многим людям казались теперь наивными сказками. В газете «Голос» появилась рецензия. «Нет сомнения, — писалось в ней, — что, если бы «Село Михайловское» явилось в печати тридцать лет назад, оно при всех своих недостатках заняло бы видное место в ряду романов того времени и, может быть, не осталось бы без влияния и на развитие всей нашей беллетристики, а теперь...»

А теперь главный врач Гомеопатической лечебницы равнодушно выслушал рассказ Прасковыи Петровны Жандр, убогой вдовы покойного сенатора. Желая остаться любезным, спросил:

- Сколько же вам лет, мадам?
- На девятый десяток пошла, прошамкала старуха, и ее лицо даже засветилось в беззубой улыбке.
- Не знаю что и посоветовать, призадумался врач. Так и быть, скажите швейцару, чтобы перетаскивал книги... Может, кто-либо из наших больных и почитает на досуте.

Прасковья Петровна свалила остатки нераспроданного тиража в вестибюле больницы и, сгорбленная, вышла на Садовую улицу, где ее ожидала пролетка. Все умерло в прошлом.

Время было иное, путающее старуху своей новизной.

Кто-то из россиян уже попал под колеса первого трамвая, названный газетчиками «мучеником прогресса», первые автомобили уже изрыгнули клубы бензинового перегара, а в квартирах петербуржцев названивали телефоны. Что делать в этом мире ей, не забывшей, как она, еще девчонкой, подавала чай живому Пушкину? Осталось одно — уйти...

И она бесследно исчезла, как и остатки того тиража многострадальной книги, который не раскупили читатели.

ЗАКРОЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕРИЦА

Надежда Петровна Ламанова говорила:

— Костюм есть одно из самых чутких проявлений общественного быта и психологии. Одежда является как бы логическим продолжением нашего тела, у нее свое служебное назначение, связанное с нашим образом жизни и с нашей работой. Костюм должен не только не мешать человеку, но даже и помогать ему жить, радоваться, горевать и трудиться...

Чувствуете, как много требований к одежде!

И много лет подряд, когда бы я ни касался материалов о быте Москвы конца прошлого века, мне всюду встречалось это имя — Надежда Петровна Ламанова; о ней писали как о человеке, довольно-таки известном в жизни России. Сначала я пропускал это имя через фильтр своей памяти как имя личности, которая ничего героического в нашей истории не совершила. Что мне с того, что с Ламановой «соперничали великолепно вышколенные мастерицы города Лиона — Лямина, Анаис и другие чародеи женских нарядов»?.. Но вот прошло много лет, мое мнение об этой женщине обогатилось, и теперь я, напротив, уже сам стал выискивать ее имя — везде, где можно.

Станиславский говорил о Ламановой:

— Это же второй Шаляпин в своем роде. Это большущий талант, это народный самородок!

В самом деле, к этой женщине стоит присмотреться...

В 1861 году у офицера Ламанова, ничем не прославленного, родилась дочка, которую нарекли Надеждой; деревенька Шузилово в нижегородской глуши дала ей первые впечатления детства. Но вот окончена гимназия, и девочке сразу пришлось взяться за труд. Родители умерли, а на руках Нади Ламановой остались младшие сестры. Она выбрала себе иглу...

Игла, наперсток, утюг, ножницы, аршин. Скучно! Но что поделаещь? Жить-то надо...

Это было время, когда технический прогресс грозил ускорить темпы жизни, а значит, должен измениться и покрой одежды. Фрак остался лишь для торжественных случаев: мужчина из сюртука переодевался в короткий пиджак — почти такой же, какой носим и мы, который уже не мешал резким движениям; женщина нового века готовилась сбросить клещи корсета — этот ужасный пресс отдаленных времен, ломающий ребра, сжимающий тазовые кости, затрудняющий дыхание, но зато создававший эфемерную иллюзию «второго силуэта фигуры».

Надя Ламанова приехала в Москву и стала учиться на портновских курсах госпожи Суворовой, потом работала моделисткой у мадам Войткевич... Шить она, конечно, умела, но шить не любила, о чем откровенно и заявляла:

- Терпеть не могу ковыряться с иглой...

Ее волновал творческий процесс — мысленно она одевала людей на улице в такие одежды, какие рисовала ее богатая фантазия.

Надя была совсем еще молоденькой девушкой, когда стала ведущим мастером по моделированию одежды, о ней уже тогда заговорили московские красавицы, отчаянные модницы:

— Шить надо теперь только у мадам Войткевич — там есть одна новенькая закройщица, мадемуазель Ламанова, которая истиранит вас примерками, но зато платье получится как из Парижа...

Париж был тогда традиционным законодателем мод.

— Париж, — рассуждала Надя Ламанова, — дает нам только фасон, но этого еще мало, чтобы человек был красив, а фасон — лишь придаток моды. Однако люди-то все разные, и что идет одному, то на другом сидит, как на корове седло... Нет уж! Людей надобно одевать каждого по-разному, соответственно их привычкам, их характеру, их фигуре... Особенно — женщину, которая самой природой назначена украшать человеческое общество!

Надежде Петровне исполнилось 24 года, когда она поняла, что для воплощения своих творческих замыслов ей необходима самостоятельность. На свои первые сбережения она открыла в

Москве мастерскую под вывеской «Н. П. Ламанова», и хотя вскоре вышла замуж за юриста Каютова, но из престижа фирмы осталась для своих заказчиц под девичьей фамилией — под этим же именем она вошла в историю нашего искусства... Да, да! Я не ощибся, написав именно это всеобъемлющее слово — «искусство».

Надежда Петровна еще со времени гимназии испытывала большую тягу к живописи, а ее муж, Андрей Павлович Каютов, был актером-любителем, выступая на подмостках под псевдонимом «Вронский». В доме Ламановой-Каютовой своим человеком стал юный мечтатель Константин Станиславский; как близкий друг приходила сюда на чашку чая знаменитая актриса Гликерия Федотова... Что удивляться? Надежда Петровна была человеком добрым и мягким, отзывчивым и хлебосольным, а в искусстве всегда хорошо разбиралась.

Зато в своей мастерской она была деспотична, как Нерон в сенате, как городовой в участке, как бюрократ в канцелярии.

— Повернитесь, — командовала она. — Поднимите руку... да не эту — правую! Нагибайтесь... не жмет? Сядьте. Встаньте.

У нее, как у художника, был свой взгляд на вещи.

— Искусство требует жертв, и это не пустые слова, — утверждала она. — Мне неинтересно «просто так» сшить красивое платье для какой-нибудь красивой дурочки. Когда я берусь за платье, возникают три насущных вопроса: для чего? для кого? из чего?

Эти вопросы — как три слона, на которых она ехала.

Но сначала я должна изучить свою натуру...
 По Москве шла неулобная для портнихи слава:

— Ходить к Ламановой на примерки — сущее наказание...

Это правда! Надежда Петровна работала над платьем, как живописец работает над портретом. Иной раз создавалось впечатление, что она, подобно Валентину Серову, брала «сеансы» у заказчиц. Подолгу и пристально Ламанова изучала свою «натуру», прежде чем соглашалась облечь ее в одежды своего покроя. При этом — никакой иглы, никакого наперстка и никакого утюга с тлеющими углями. Между губ Ламановой зажаты несколько булавок, и она, придирчиво осматривая фигуру, вдохновенно обволакивала ее тканью, драпируя в торжественные складки, и все это закалывала булавками.

— Теперь снимайте, — говорила заказчице. — Только осторожнее, чтобы булавки не рассыпались... Эскиз готов!

Иногда ее просили:

- Только, пожалуйста, сщейте вы сами.

Надежда Петровна отвечала:

— Я вообще не умею шить.

— Да, — продолжала Ламанова, — я только оформляю модель, какой она мне видится! Шить — это не мое дело. Ведь архитектор, создавая здание, не станет носить на своем горбу кирпичи, его не заставишь вставлять стекла в оконные рамы для этого существуют подмастерья...

В Москве тогда был собран пышный букет знаменитых кра-

савиц.

Вера Коралли, Маргарита Карпова, Лиза Носова, Вера Холодная, Лина Кавальери, Генриетта Гиршман, Маргарита Мрозова, Ольга Гзовская, «королева танго» Эльза Крюгер — и много-много других. Все они втайне мечтали, чтобы их обшивала деспотичная чародейка Надежда Ламанова.

Она имела самую блестящую (и самую, кстати, капризную) клиентуру, и скоро на вывеске ее фирмы появились многозначительные слова: «Поставщик двора ея императорского величества». Но это было скорее бесплатным приложением к то шумной славе, которую она уже завоевала в Москве и в Петер бурге...

Валентин Серов — великий художник-портретист.

Надежда Ламанова — великая мастерица-модельерша.

Между ними, если присмотреться к стилю их работы, есть много общего. Между прочим, они были давними друзьями.

Серов любил бывать в доме Ламановой-Каютовой.

Швейцар этого дома позже рассказывал:

— Валентин Ляксандрыч давно были нездоровы, только от людей ловко болесть прятали. С нашей барыни они портет ездили писать, так еще на прошлой неделе мне говорить изволили; «Ой, плох я стал, Ефим, на лестницы всходить не могу, сердце болит». Я вся их на лифте и подымал, а в прежние-то годы,

иначе, как бегом, Серов по лестницам не ходили...

1911 год — последний год жизни Серова; в этом году Надежде Петровне исполнилось 50 лет, и Серов начал работать над ее портретом... Он писал Ламанову на картоне, используя три очень сильных и резких материала — уголь, сангину, мел! По силе звучания этот портрет можно сравнить с портретом, который Серов написал с актрисы Ермоловой. Искусствоведы давно заметили: «При всем различии обликов этих двух женщин в них улавливается нечто родственное... это чувствуется в постановке фигур, в выборе того психологического состояния портретируемых, к которому Серов внимательно относился. И Ермолова, и Ламанова изображены в момент творчества, в состоянии внешне спокойном, но исполненном напряженной работы мысли...»

Как это точно! Посмотрите еще раз портрет Ермоловой. Писан по заказу москвичей в 1905 году.

Теперь посмотрите сделанный в 1911 году портрет Ламановой.

Острым и цепким взором она, интеллигентная русская дама, примерилась к своей «натуре», которая стоит за полями картона; ее полнеющая фигура вся подалась к движению вперед, а левая рука мастерицы уже тянется к вороту белоснежной блузки, привычным жестом сейчас Ламанова достанет булавку, чтобы заколоть складки будущего платья, которому, может быть, суждено стать произведением русского искусства...

«21 ноября в седьмом часу вечера Валентин Александрович сделал свой последний штрих на этом портрете, и в общих чертах он уже был закончен. Затем простился с хозяйкой, поехал к своему другу И. С. Остроухову, провел у него вечер в скромной товарищеской беседе, и утром 22 ноября, после краткого сердечного припадка, он был уже в гробу...» Смерть застала великого Серова над портретом Ламановой!

Надежде Петровне было 56 лет, когда грянула революция.

К этому времени она была уже зрелым, всеми признанным мастером. Казалось бы, ей будет особенно трудно пережить грандиозную ломку прежнего уклада жизни, казалось, она уже не сможет освоиться в новых и сложных условиях. Но это только казалось. Именно при Советской власти начался расцвет творчества Надежды Петровны, бывшей «поставщиком двора ея императорского величества».

«Революция, — писала она, вспоминая былое, — изменила мос имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь...» Начиналась вторая моло-

дость знаменитой российской закройщицы.

И тут она показала такое, что можно лишь ахнуть...

Время было голодное, трудное, страна раздета, не было даже ситцев... «Из чего шить?» Ателье имели «богатый» выбор материй: шинельную дерюгу, суровое полотно и холст, по грубости близкий к наждачной бумаге. История русского моделирования одежды преподнесла нам удивительный парадокс: полураздетая страна в солдатской шинели, донашивая старые армяки и дедовские картузы, на Международных конкурсах мод в Париже стала брать первые призы. В этом великая заслуга Надежды Петровны Ламановой!

Впрочем, не только ее — будем же справедливы.

В 20-30-е годы костюму придавали большое значение, и

вокруг журнала мод СССР сплотились такие мастера кисти, как Кустодиев, Грабарь, Головин, Петров-Водкин, Экстер, Юон и скульптор Мухина; над проблемами покроя одежды работали даже некоторые писатели...

В таком окружении Ламановой было интересно дерзать!

Она стала ведущим художником-экспертом, создавая одежды для международных выставок. Слава о ней как о художнике костюма вышла далеко за пределы нашей страны, и Ламанову энергично переманивали к себе на «сладкое житье» Париж, Нью-Йорк, Лондон... Но у нее, нуждавшейся и плохо одетой, никогда не возникало мысли оставить свое любимое отечество.

И она работала! Никогда не хватало времени.

Театр Вахтангова, театр Революции, театр Красной Армии — она успевала общивать всех актеров. Она создавала костюмы для фильмов «Аэлита», «Александр Невский», «Цирк» и «Поколение победителей». Но никогда не изменяла своей старой любви — к Станиславскому и его детищу МХАТу.

Сорок лет жизни она посвятила театру, на торжественном занавесе которого пролетает стремительная чеховская чайка.

Одна актриса наших дней вспоминала, что после спектакля Станиславский «вставал со своего режиссерского места и шел через весь зал навстречу Н. П. Ламановой и целовал ей руки, благодаря за блестящее выполнение костюмов. И тут же он говорил нам, молодежи, что Надежда Петровна Ламанова считает себя хорошей закройщицей, но на самом же деле она — великий художник костюма; как скульптор, она знает анатомию и умеет великолепно приспособить тело актера к телу образа».

В бумагах Станиславского сохранилась трогательная запись: «Долгое сотрудничество с Н. П. Ламановой, давшее блестящие результаты, позволяет мне считать ее незаменимым, талантливым и почти единственным специалистом в области знания и

создания театрального костюма».

Врачи посоветовали больному Станиславскому загородные прогулки на автомобиле по московским окрестностям. Медицинская сестра, сопровождая артиста, брала в дорогу шприц и камфору, а Станиславский приглашал в попутчики Надежду Петровну. Два старых друга, великий режиссер и великая закройщица, люди международной славы, сидели рядом, и ветер от быстрой езды шевелил их седые пряди волос... Это была неизбежная старость, но осмысленная старость. Жизнь прожита, но прожита не как-нибудь, а с большой, хорошо осознанной пользой.

Надежда Петровна пережила своих друзей — она умерла восьмидесяти лет в октябре 1941 года, в грозном октябре той лютой

годины, когда, лязгая гусеницами танков, железная машина прага устремлялась к Москве, и смерть великой закройщицы осталась в ту пору почти незамеченной... Это понятно!

Мне могут возразить:

— А стоит ли так возвеличивать труд Ламановой? Ведь, по суги дела, что там ни говори, ну — закройщица, ну — модельерша, но все-таки, рассуждая по совести, просто она хорошая ремесленница. При чем здесь искусство?

А я отвечу на это:

- Что касается Ламановой, то это уже не ремесло это искусство! Причем большое искусство... Одежды, вышедшие из ее рук, приняты на хранение в Государственный Эрмитаж, как произведения искусства, как образцовые шедевры закройного дела...
 - ...Искусству, оказывается, можно служить иглой и ниткой.

ИЗВЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПЛЮШКИН

Конечно, все мы высоко чтим Плюшкина, однако напомнить о нем никогда не будет лишним, ибо этот человек заслуживает внимания и уважения в любознательном потомстве.

Валдай издревле славился на Руси богатством расторопных жителей, склонных к торговле; край был сытный, привольный, разгульный; в реках водилась жирная форель, находили и жемчужные раковины; изобилие скота в уезде просто ощеломляло, а сам город был знаменит не только валдайскими колокольчиками, но и кренделями особой выпечки, так что путник не проедет мимо, прежде не вкусив от Валдая его природных благ.

Вот в этом краю и родился Федор Михайлович Плюшкин... Отец его жил с торговли, но в 1848 году отца прибрала холера, а мать, в делах коммерции несведущую, вконец разорили бывшие компаньоны. Поплакала она и сказала сыну:

— Мал ты ишо, десяти годочков нетути, а жить при деле надобно, иначе дураком помрешь. Кому кланяться? Братцы твово тятеньки, дядя Коля да дядя Ваня, уж на что свирепы, ну чисто собаки на всех кидаются, а делать, сыночек, неча — к родным супостатам на поклон идти надобно...

Пошли! Дядя Коля сразу на них орать начал:

 На што ты мне, Анька, пащенка суешь? Или думаешь, глупая, что я Федьку ублажать стану, ежели он племянником мне доводится? Да я никого даром не кормил и кормить не стану.

— Возьми, Николай Федорович, — взмолилась мать, на колени падая. — Не дай пропасть сиротинушке, а уж он постарается. Не гляди, что мал... он у меня смышленый!

Ладно, оставьте, — разрешил дядя. — Поглядим, на ка-

кое проворство способен...

В четыре часа утра сдергивали с полатей, чтобы снег перед домом убрать, потом с ведрами — за водой, время самовар ставить, а покупатели из дядиной лавки не желают товары нести — Федя тащит; так весь день и крутился мальчонка. Подвырос он, и дядя Николай стал посылать его с товарами по ярмаркам — следить за извозчиками, чтобы чего не сперли. Бывало, едет-едет, а морозы-то лютейщие. На остановках в пути извозчики водки нажрутся да, в тулупы завернувшись, дрыхнут по амбарам, а бедный Федя на возу скрючится, спит на морозс, ажно слезы на щеках замерзают.

Но однажды зимою такой случай выдался. Стоял как-то Федя с метлой возле лавки, вышел и дядя на улицу — прозеваться. Тут к ним подковылял юродивый Тимоха Валдайский, босиком по снегу шастая, и стал что-то нашептывать Николаю Плюшкину по секрету. Дядя послушал его речей да как треснет убогого в ухо — бедный Тимоха в сугроб так и завалился. Дядечка сказал ему:

— Ты мне тут не колдуй, тварь вшивая! Штобы я, купец второй гильдии, да побираться ходил... не-а, тому не бывать.

А юродивый — из сугроба — на Федю палкой указывал:

— Эвон, отрок с метлой... гляди, какой ясный! Вот его угол всегда будет полон добра всякого, а ты, Николай Плюшкин, завшивеешь, как я, и к нему за милостыней шляться станешь...

Ох, не понравилось дяде Николаю такое пророчество, дол-

го он переживал, думая, потом заявил племяннику:

— Езжай от меня... мне с твоей будущей конкуренции стали вши сниться. Я письмо написал в Москву — фабриканту Бутикову, чтобы приспособил тебя. С глаз долой — из сердца вон! Езжай, а то и всамделе завшивею...

Федя в Москве-то и подюжал для расцвета юности, ежедневно таская пудовые тюки на Остоженку. Но Бутиков скоро его приветил, разглядев в парне грамотность и любовь к чтению.

- Вот что! сказал фабрикант. Из крючников перевожу тебя в приказчики... на всем готовом. Семь рублев жалованье... Рад ли? А кстати, кой годочек тебе пошел?
 - Двадцатый, пояснил Федя Плющкин.

- Тады семи рублев хватит. Живи и наслаждайся...

И верно — хватало, даже маменьку финансировал. Но в доме

Бутикова расцветала Наташа, дочь фабриканта, и так молодые полюбились друг другу, что роман меж ними в таинстве не остался. Бутиков же совсем не хотел иметь такого зятя, как Плюшкин, который семи рублям радуется.

— Удались-ка ты во Псков, отвезещь деньжата моим креди-

торам, опосля сиди во Пскове, жди от меня указаний.

Приехал Федя во Псков, где недавно поселился и дядя Коля, купивший в городе дом для своих магазинов. Федя исполнил хозяйское поручение, стал ожидать, что прикажут ему далее делать, и вскоре Бутиков известил его, чтобы катился на все четыре стороны, а Наташки не видеть ему, как своих ушей...

Федя устоял, но мать его зашаталась от горя:

- Хосподи! На што ж мы жить-то нонеча станем?..

Перебрала вдовица свое барахло, что от мужа осталось, сняла с пальца кольцо золотое, велела идти на поклон к дяде Николаю, чтобы тот ссудил деньгами под залог вещей его покойноч го братца. Услышав такое, Николай Плюшкин осатанел:

- Под такое-то барахло... да ишо кредитовать тебя? Узнаю

добра молодца по соплям до колена... дурак такой!

Вышиб его дядя прочь, швырнув юнцу десять рублей:

— Вот тебе, племящек родненький... на разжирение!

Приютил Федю с матерью другой дядя — Иван, у которого тоже был дом во Пскове, и в этом доме Иван Плюшкин не только магазин содержал, но и номера сдавал для проезжающих; а чтобы приезжие не скучали, он даже театр имел — с актерами.

— По мне так живите, — благодушничал дядя Ваня. — Можете в театре моем даже комедь подсматривать... не жалко!

На десять рублей, что швырнул ему дядя Коля, Феденька накупил всякого барахла — иголок швейных, гребенок, наперстков, мыла, тесемок, катушек с нитками разноцветными, а матушка его — искусница! — сотворила немало «венчиков» (бумажных цветочков, ибо в те времена, читатель, русские крестьяне на шляпах-гречневиках имели обыкновение носить цветочки). Вот с таким товаром Федя стал коробейником и пошел по деревням псковским, еще от околиц баб и девок зычно скликая:

— А кому нитки, а кому иголочки вострые, а кому наперсточки, чтобы не уколоться... Налетай, у других дороже! А вот и книжечка для вечерне-семейного чтения — «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе любимого мужа...».

Далеко ушел Федя Плюшкин, даже до Порховского уезда, и однажды вернулся с таким барышом, что сам не поверил. Уже в старости, известный не только в России, но даже в Европе, Федор Михайлович переживал тогдашнюю выручку:

— Семьдесят семь копеек... кто бы мог подумать! Маменька как увидела, так и села. Вот праздник-то был! Поели мы сытно, а потом комедию даром смотрели... Это ли не жизнь?

Торговля — дело наживное, только знай, чего покупателю требуется, и через три годочка коробейник Федя Плюшкин имел уже сто рублей...

С этими деньгами поехал он в Петербург, чтобы накупить выгодных товаров. Столичным коммерсантам понравился парень, непьющий и разумный; поверив Плюшкину, они даже открыли ему кредит, и скоро он завел в Пскове собственную лавчонку, где и начал торговать дешевой галантереей. Псковские модницы повадились навещать его лавку, что размещалась в доме на углу Сергиевской и Петропавловской улиц: в этом же доме Федя Плюшкин снимал комнатки — для себя и для матушки.

— Слава те, Хосподи, — крестилась маменька, — жить стали так, что люди позавидуют. Мне бы еще внуков баюкать, чтобы старость была утешная. Уж я бы и померла спокойно...

Федя Плюшкин жил иными заботами; его тянуло к людям умным, начитанным, сам много читал. От галантереи не поумнеешь, потому парень, отсидев в лавке, вечерами постигал книжную мудрость. Да и сам Псков, еще не тронутый вандализмом казенных архитекторов, раскрывал многие тайны былого — еще цела была крепостная стена, выстоявшая под напором Стефана Батория, еще красовались древние храмы, помнившие Марфу Борецкую, наполняя град звонами древних колоколен, а сколько легенд, сколько преданий... Однако Плюшкин поначалу увлекался природными курьезами. Завел клетки для птиц редкостных, где-то раздобыл даже заморскую диковину — колибри; не успевал менять воду в аквариумах, где плавали рыбешки — несъедобные, зато красивые. Скоро разместил в своей квартире террарий для всяких рептилий.

Однажды еще с порога порадовал свою матушку:

— Вы, маменька, тока не пужайтесь — я для вашего удовольствия гадюку принес. Таких, как моя, даже у царя во дворце не водится... Гляньте, как ощерилась да шипит — у-у-у!

Анна Ивановна так и обмерла от страха:

- Пресвятая мати-богородица, да когдась ты в дурня мово разум вколотишь? Где бы ему жениться, а он... Мало тебе попугаев да ершей с миногами ты еще и гада приволок... Ведь заедят нас ночью, ты о себе-то подумал ли, коли тебе родимой матушки не жалко?
- Не, маменька, не думал. Но очень уж мне по нраву, чтобы вокруг меня плавали, летали, ползали да чирикали.

— Женись, дуралей! — настаивала матушка. — Жена тебе всех канареек, всех гадюк с ядом заменит. Сразу осчастливит...

Повинуясь матери, Федя отъехал на родимый Валдай, где и выбрал в жены Марью Ивановну Шаврину; были меж ними любовь и согласие — на всю жизнь. Поворчит иногда Машка да и смирится. Но летом 1867 года случилась беда: дом дяди Ивана, в котором Федя держал лавку, сгорел дочиста, одни стенки остались. Плюшкины сообща делили обгорелые кирпичи и сам участок, где дом раньше стоял. Племяннику отвели самый угол участка и даже кирпичей ему накидали, сказав при этом:

— Ты у нас больно ученый, все в книжку глядишь. Вот и посмотрим, каково сам уладишься на погорелище...

Федя подзанял денег, и скоро на углу Петропавловской вырос его собственный дом в два этажа, ничем не примечательный, архитектуры самой простенькой. Внизу разместил торговлю ситцами да побрякушками для псковских барышень, а второй этаж отвел для прожитья. Дабы отразить любовь к старине, выкатил он перед магазином древнюю мортиру с кучею ядер времен Батория, а жена даже обиделась, сложив губки «бантиком»:

— Ты бы обо мне заботу возымел! На што мне пушка твоя, я бы вечерком хотела в садике посидеть... с сиренью.

Для любимой жены Плюшкину ничего было не жаль. Но просто садик его никак не устраивал, и скоро Машка по вечерам грызла орехи каленые — вся в окружении канадских елочек да американских папоротников, а сам Плюшкин, начитавшись всяких пособий по ботанике, «производил опыты со всевозможными прививками, разведением грибов и акклиматизацией чужестранных растений... Жажда знаний, особенно при том скудном образовании, которое он имел, была у него прямо поразительная» — так было сказано в некрологе на смерть этого человека.

- Нет на тебя угомону, выговаривала ему жена.
- И не жди не будет, отвечал Феденька.

Так и жили. Но скоро Плюшкин перестал метаться, обретя главный интерес жизни — к истории как таковой и к тем предметам старины, которые помогали ему освоиться в истории, как в своем доме. Прослышав, что завелся в Пскове такой чудак, который любое «старье» покупает, к Плюшкину потянулись мальчишки, находившие древние монеты, посуду и оружие предков, наезжали крестьяне из деревень, желавшие выручить лишний рубелек за всякую ненужную заваль из своих сундуков. Федор Михайлович покупал все, что несли, и правильно делал, приобретая даже такой хлам, который выбрасы-

вал потом на помойку. Много позже он объяснял ученым-археологам свое поведение:

— Я, поймите, был вынужден приобретать все подряд, что бы ни предложили! Потому как если бы я покупал выборочно, а не все, что несли, то в другой раз продавцы ко мне бы не пришли. А теперь, глядите, у меня всякого жита по лопате!

Старуха мать, осчастливленная внуками и внучками, не смела перечить сыну, когда Плюшкин властно расселил семейство в тесных «боковушках», а весь второй этаж здания отвел под создание музея старины. Теперь и мортира с ядрами, поставленная перед магазином, служила верным указателем душевных вкусов хозяина. Нежданно-негаданно, как это и случается в жизни, о собрании Плюшкина заговорили в столичной печати, затем эхом откликнулись и газеты европейские... Правда, наезжим во Псков корреспондентам не все казалось достойным внимания, исподтишка они даже посмеивались, увидев на стендах музея Плюшкина коллекцию старинных лаптей и башмаков, выставку бальных туфелек тех женщин, которые давным-давно отплясали свой век.

Федор Михайлович все насмешки сурово пресекал:

— Да не отворачивайтесь от лаптей! Где вы еще, господа, подобную выставку сыщете? Ни в Эрмитаже, ни в Третьяковской галерее, ни в Румянцевском музее такой выставки отродясь не бывало. Зато вот в музее Парижа целый зал отвели под витрины с обувью предков, так теперь нет отбою от заезжих туристов — ведь всякому интересно, что носили их предки...

«Псковский г-н Ф. М. Плюшкин вполне оправдывает свою знаменитую фамилию», — острили журналисты в газетах, и это очень обижало Федора Михайловича, который жене призна-

вался:

— Все бы оно ничего, да уж больно мне господин Гоголь подгадил... фамилией! Собираю я вот всякую мелочь от времен стародавних, а люди-то глядят и смеются, подлые: «Во, Плюшкин-то, мол... сразу видно, с кого все крохи побрал — с Гоголя!»

Марья Ивановна распивала чаек из чашки, когда-то украшавшей сервиз Екатерины I, она черпала вареньице ложечкой шведской королевы Христины, а над ее кокошником с головы боярышни Милославской красовался пейзаж работы Пуссена. Домашний уют г-жи Плюшкиной щедро освещала старинная люстра из усадебного дома генералиссимуса А. В. Суворова.

— Не журись, Феденька, — отвечала она. — На всякий роток не накинешь платок. Иные и хотели бы иметь такой дом — полная чаща, да не могут — кишка тоньше нашей...

Между тем Плюшкин не просто собирал старину, он само-

учкой развился в большого знатока истории. Псковский купец, он вдруг заявил о себе уже серьезно, вполне научно, когда вмешался в грубую реставрацию знаменитых Поганкиных палат, документами из своего собрания доказав археологам, что они делают крыльцо не псковского, а московского типа:

— Эдак вы, господа хорошие, историю искажаете! Да-с. Вы уж извините, но безграмотности я не потерплю...

.

Как и предсказывал юродивый, иногда к Плюшкину являлся дядя Николай и, терпеливо покашливая у порога, ожидал милостыни — Христа ради и ради хлеба насущного. Получив от племянника пособие, старик, давно разорившийся, сумрачно и почти враждебно оглядывал музейные покои, говорил без зависти, но зато с каким-то угрожающим сожалением:

- Ох, высоко залетел, Федька... гляди, свалишься!

— Залетел, верно. Однако не выше второго этажа. Мне бы и третий надобен, чтобы все собранное разместить...

Плюшкин был сравнительно молодым, когда стал членом Псковского Археологического общества, в которое принимали людей только знающих; человек большого добродушия и щедрый, Плюшкин по праву стал попечителем детских приютов для сирот и подкидышей. Двери своего хранилища он держал открытыми, осмотр сокровищ дозволял без платы за вход, а экскурсоводом выступал сам хозяин, каждой вещи, каждой картине и любому предмету Федор Михайлович давал точное определение, даже не скрывая, как и когда эти вещи ему достались.

- Здесь вы видите атрибуты масонства, принадлежавшие императору Павлу Первому... в этом же ларце собраны драгоценные перстни и старинные путовицы, иные весом в полфунта. А вот дамские камеи эпохи Наполеона, тут же обратите внимание на коллекцию вееров с рисунками в духе Ватто и собрание табакерок — золотых, фарфоровых, перламутровых, а эта вот выточена из слоновой кости... Пройдемте далее. Перед вами бранные доспехи русских витязей, щиты и шлемы времен Ледового побоища. Обращаю ваши взоры на собрание древних монет Пскова, каких нет даже в императорском Эрмитаже, иные монеты оправлены черепаховой костью. Здесь, дамы и господа, образцы русской народной вышивки, душегрейки и сарафаны. украшенные бисером, а вот набор кошельков наших пращуров... Наконец, мы узрели серию разбойничьих кастетов. А в углу комнаты поникло знамя Наполеона и разложен английский платок с изображением московского пожара. Прошу удивиться прекрасному лунному пейзажу, сделанному из селедочной чешуи... Сие есть работа каторжников!

Посещавшие музей Плюшкина всегда изумлялись тому, что японские и китайские вещи Федор Михайлович приобрел для своего музея, никогда не бывав ни в Японии, ни в Китае.

Да как же вам это удалось? — спрашивали его.

— А сам не ведаю... Ведь тут, не забывайте, проживали разорившиеся дворяне, от них много чего осталось. А ежели покопаться в бабкиных сундуках... у-у-у, чего там только нету! Но она добро тебе покажет, ничего не продаст, сундук захлопнет и сама на него сядет. Тут, на Псковщине, благо она к рубежам близко, ныне появились наезжие из Европы комиссионеры — скупают все подряд, и все то, на что мы сейчас поплевываем, за границей весьма высоко ценится. Вот и собираю редкости в свой музей, как в сундук, и сижу на собранном, словно бабка, а может, после моей кончины соотечественники и скажут обо мне благодарственное слово.

Подлинный коллекционер, вкладывая в собрание всю свою душу, Федор Михайлович никогда не посмел бы задуматься о

продажной ценности своих уникальных сокровищ.

— Не считал гроши, когда покупал, а посему стыдно рубли считать для продажи, — говорил он. — Я ведь, милые мои, в гроб с собою все это не заберу — и пусть все, мною собранное,

и достанется русским человецам... на память обо мне!

В 1889 году скончалась мать Плюшкина, дожившая до свадьбы внучки, а через год после кончины матери разъехались служить сыновья — Михаил да Сережа. Старик всплакнул, но тут же поспешил занять комнаты детей музейными экспонатами. В доме Плюшкина спальня, столовая, кабинет, прихожая только назывались так, на самом же деле все домовые покои были битком забиты собранием старинных вещей, и, кажется, один только хозяин мог разобраться, где что лежит, где что в тени притаилось, едва заметное, но зато драгоценнейшее. От самых первых ступеней лестницы, ведущей на второй этаж, сразу начинался музей, богатствам которого могли бы позавидовать даже в столицах Европы, не имевших ничего подобного...

Мне поневоле делается страшно!

Да, мне страшно рассматривать гигантский разворот громадных страниц журнала «Искры», сплошь заполненный фотоснимками плюшкинского дома-музея. Страшно еще и потому, что ни я, автор, ни вы, читатели, никогда больше этого не увидим — нам остались жалкие крохи. Известно, что П. М. Третьякову тоже было тесно, все залы его знаменитой галереи уже не вмещали собрание картин, но в доме Плюшкина буквально (я не преувеличиваю) было негде ткнуть пальцем в стену — ни единый сантиметр в комнатах второго этажа не оставался пустым.

Не сразу пришла к Плюшкину известность, в Псков зачастили историки, коллекционеры, археологи и просто жуликиторгаши, желавшие дешево купить, чтобы продать подороже; приценивались к вещам, брезгливо косоротились от слов Плюшкина:

- Не ради того собирал, чтобы выгоду иметь...

Столичный историк Илья Шляпкин, навещавший Псков ради знакомства с музеем, не раз укорял Плюшкина:

— Эх, Федор Михайлович! Собрали вы столь много, что скоро второй этаж обрушится и раздавит ваш магазин внизу дома... Но, простите, какой же музей без научного каталога?

Каталогом оставалась сама голова хозяина, который, входя в преклонные годы, сделался образованнейшим археологом, нумизматом, искусствоведом и даже вещеведом (если так можно выразиться). Федор Михайлович частенько говорил:

— Не считал, сколько у меня единиц хранения, но соперничать со мною может только один московский миллионер Петр Иванович Щукин... Меня, как и Щукина, ученые грамотеи винят во «всеядности». Верно, что для меня старая путовица с мундира полтавского гренадера иногда кажется дороже брильянтового перстня с пальца светлейшего князя Потемкина. Но прошу — не судите строго мою неразборчивость. Это правда, что у меня всякого жита по лопате, но моя «всеядность» проистекает от громадной любви ко всему, что уцелело от нашего прошлого...

Так рассуждал Федор Михайлович Плюшкин.

Что же нам от его музея осталось?

Скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, какой из музеев нашей провинции не позавидовал бы теперь собранию живописи из дома Плюшкина? Шутка ли — собрать более тысячи живописных полотен, и не просто картинок, какие поныне встречаются в наших комиссионках, а - подлинные шедевры кисти Левицкого, Грёза, Боровиковского, Буще, Венецианова, Тернера, Брюллова, Сальваторе Розы, Маковского. Верещагина и многих-многих других. А какое было великое изобилие гравюр, офортов, литографий! Наконец, на фотоснимках дома-музея Плюшкина я вижу массу миниатюр: есть указание на редкостную миниатюру с изображением Ивана Грозного... знать бы, где она! В иконах я плохо разбираюсь, но со стен хранилища Плюшкина — чувствую — на меня глядят лики святых, писанные еще в незапамятные времена, и я понимаю, что таким великолепным собранием икон можно бы гордиться любому музею... Где же они теперь? Не счесть было и автографов. писем, которые, возможно, и не пропали, ибо в коллекции Плюшкина были даже письма поэта Пушкина, были и портреты его предков. О собрании же монет, перстней, вериг схимников, женских украшений, фарфора, пытошних инструментов, хрусталя, древнейших манускриптов, указов царей, посуды предков, коллекций часов, оружия, предметов культа Приапа, кошельков, привязных карманов, барских шандалов и мужицких поставцов для держания лучин — обо всем этом я уж и не говорю.

Была нужна книга, чтобы составить опись вещам...

Федор Михайлович, — спрашивали иногда Плюшкина, —
 а вы не боитесь, что вас обворуют? Знаете, стащат один ларец
 с перстнями — и на всю жизнь себя обеспечат

— Не боюсь, — отвечал Плюшкин. — Я, сударь, огня страшуся. Тут недавно полыхнуло поблизости, так со мною сердечный приступ случился, потом и почки схватило. Слава богу, пожар загасили, а я целый месяц в постели валялся...

Был 1905 год, когда Федор Михайлович, почасту болея, стал думать, куда бы пристроить свои сокровища. О том, чтобы

продать музей в частные руки, он и не помышлял.

 Я свое получил при жизни, — говаривал он. — Дай Бог каждому вдоволь насладиться лицезрением редкостных раритетов, а теперь, близясь к порогу смерти, я могу передать свои

сокровища едино лишь моему отечеству...

Все, что имело отношение к истории Псковщины, он хотел подарить псковскому музею, размещенному в Поганкиных палатах; остальное же Плюшкин желал бы передать в Русский музей, с которым и начал вести переговоры. Однако чиновники из Петербурга тянули дело, хотя и обещали, что место для размещения плюшкинских экспонатов в Русском музее найдется. В 1909 году — после одного неприятного случая — Федор Михайлович был вынужден закрыть двери своего хранилища для публики.

— Приехали ко мне солидные господа петербужцы, — рассказывал он, — предъявили рекомендательные письма от знатных особ столицы. А когда они, мерзавцы, ушли от меня, я гляжу, нет двух миниатюр, нет часиков императрицы Екатерины, пропали и редчайщие монеты, сделанные из перламутра.

Уже больной, Плюшкин тихо передвигался по комнате,

часто отдыхал в кресле, сидя под иконою Богородицы.

И не стыдно тебе, старик? — попрекала его жена-стару ха. — Под кем сидишь-то? Под блудницею графа Аракчеева...

Верно! На громадной иконе, под видом богоматери с младенцем, возведя очи горе, была изображена Настасья Минкина, известная фаворитка Аракчеева, и Плюшкин того не отрицал: — А что? Хороша ведь, язва... залюбуещься!

Профессор Илья Шляпкин не поленился подсчитать.

 Федор Михайлович, — сказал он, — могу вас поздравить
 с тем, что в вашем музее собрано более МИЛЛИОНА исторических экспонатов. Таким образом, — уточнил Шляпкин, — ваша коллекция занимает ТРЕТЬЕ место в России и ОДИННАДЦА-ТОЕ место во всем мире — по количеству редкостей. Плюшкин и сам не ожидал этого. Он разрыдался:

 Кто бы мог подумать? Ведь коробейником по деревням ходил... семьдесят семь копеек однажды выручил, до сих пор тот день помню. Эх, полным-полна моя коробочка! Прошайте. я свое дело сделал, как и должно гражданину российскому...

Переговоры с Русским музеем безбожно затянулись, и, не дождавшись решения столичных чинодралов, Федор Михайлович Плюшкин опочил сном праведным 24 апреля 1911 года.

Почти сразу после его смерти П. А. Столыпин, председательствуя в Совете министров, настоял на скорейшем приобретении плющкинского собрания для Русского музея, и все министры дружно поддержали его в этом мнении, говоря:

— Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы коллекция

покойного господина Плюшкина ушла за границу...

Тогда же было решено подготовить особый законопроект, дабы казна не скупилась в приобретении от наследников всего плюшкинского собрания редкостей. Но осенью того же года Столыпина застрелили в киевском театре, после чего дело о покупке музея Плюшкина снова застопорилось. Правда, в Псков нагрянула весьма авторитетная комиссия ученых, в числе которых были очень громкие имена; эта комиссия была составлена из специалистов по живописи и нумизматике, по древностям Египта, России и Востока, по археологии каменного века, по оценке старопечатных изданий, а знаменитый ювелир Карл Фаберже не поленился выступить в роли оценщика старинных драгоценностей.

Сыновья Плюшкина, люди довольно-таки сведущие в оценке вещей покойного отца, были крайне удивлены, когда ученые хотели скупить монеты древнего мира на вес, словно картошку на базаре, оценивая фунт монет в 13 рублей.

— Помилуйте, — возмутился Михаил Плюшкин, юрист и уже статский советник, — да вы нас дураками считаете. Ведь вот одна эта монета ценится среди знатоков в тысячу рублей...

Ученые мужи весь музей Плюшкина оценили в 80 тысяч рублей, о чем и было доложено императору Николаю II.

 Дорого, — загрустил тот. — Более шестидесяти тысяч дать нельзя. При этом желательно приобрести только предметы религиозного культа и вещи приапического толка, ибо давно назрел вопрос о создании отдела эротики в моем Эрмитаже... После визита комиссии музей напоминал свалку, все было

перемешано, будто на пожарище, многое сломали, разбили, пообрывали со стен, все перепутали, «и от прежнего внешнего вида музея, от прежнего порядка остались одни воспоминания да прекрасные фотографии». Как раз в это время в Псков примчался специалист древностей из Британского музея, некий антиквар Коген, который, оглядев только од ну комнату Плюшкина, сразу же предложил:

- Сто семьдесят пять тысяч рублей... угодно ли?

Плюшкины отказались от выгодной сделки, ибо хорошо помнили заветы отца — чтобы ни одна вещь не ушла из отече-

В 1913 году коллекция Ф. М. Плюшкина, который более сорока лет своей жизни посвятил собиранию, была оценена и куплена за сто тысяч рублей, о чем говорит бумага директора Департамента Государственного Казначейства, копию которой любезно прислали мне внук и правнук моего героя, проживающие в Ленинграде. Приведу ее содержание:

«Милостивый Государь Сергей Федорович.
По приказанию Г. Председателя Совета Министровь, Министровър Министров Министро

нистра Финансов, имею честь уведомить Васъ, что по всепод-даннейшему его докладу въ 27 день июня сего года последовало Высочайшее соизволение на приобретение въ казну собранныхъ Вашим покойным отцомъ коллекций русскихъ древностей на 100.000 руб.

Для приема этих коллекций будуть командированы въ г. Псковъ уполномоченные отъ Русского Музея ИМПЕРАТО-РА АЛЕКСАНДРА III И ИМПЕРАТОРСКОЙ археологической Комиссии, деньги же будут уплачены при приеме коллекший.

Примите, Милостивый Государь, уверение въ совершенном моемъ уважении и искренней преданности». Большинство экспонатов музея Ф. М. Плюшкина находится

в запасниках Русского музея. Будем надеяться, что когда-нибудь они будут открыты для обозрения.
И последнее. Мне очень хотелось бы знать: есть ли в совре-

менном Пскове хоть одна улочка, названная именем гражданина Плюшкина? Вряд ли! Ибо жители станут думать, что названа она в честь гоголевского Плюшкина... И пусть городские власти не листают тома громоздких энциклопедий: в них не нашлось места для того, чтобы сохранить память о нашем repoe.

ДУШИСТАЯ СИМФОНИЯ ЖИЗНИ

Моя жена долго искала в продаже французские духи «Шанель № 5», но не нашла их и купила духи отечественные. Я вгляделся в марку на флаконе, прочел название фирмы:

— «Новая заря»! Поздравляю. Вполне возможно, эти дуки

ничуть не хуже французских.

— Разве? — удивилась жена.

Я показал ей снимки двух бюстов, мужского и женского, работы скульптора Анны Семеновны Голубкиной, что ныне выставлены для обозрения в Третьяковской галерее.

— Ты ничего не знаешь об этих людях?

— Нет.

— Между тем они оба имеют прямое отношение к тем духам, которые ты купила. Очевидно, мне придется рассказать тебе одну историю. Вернее — историю одной жизни.

Старый парижский мыловар Атанас Брокар имел на улице Шайо крохотную лавчонку, где торговал помадой для волос и туалетным мылом. Было лето 1859 года, когда, задумчиво раскурив трубку, он пожелал говорить с сыном Генрихом:

— Из Ландревилля пишут, что скончался твой дед, почти сто лет жизни вдыхавший винные пары Бургундии и Шампани. Тебе, мой сын, всего двадцать, а ты уже нанюхался всякой дряни, из которой мы извлекаем ароматы... Слушай! — сказал отец. — Париж давно испорчен такими благовониями, кото-

рые лучше бы называть вонью. Помнишь, как мы пустили в котел для варки мыла свежий конский навоз и выручили с этого дерьма немало. Ты неплохой химик, а из Москвы приехал парфюмер Гика, ищущий ученого лаборанта. Благословляю тебя. Поезжай.

- С чего лучше начинать мне, отец?

— Начни с мыла. В этом поганом мире еще не все люди благоухают цветами, зато каждый бродяга хоть раз в жизни должен помыться с мылом, чтобы не выглядеть свиньей...

Константин Гика спросил молодого Брокара:

- Как величать вас в Москве?

- Меня зовут Генрихом, я сын Атанаса.

- Значит, в Москве станете Генрихом Афанасьевичем...

Москва встретила француза сутробами, окриками «лихачей», трубными возгласами военного оркестра, игравшего возле дома генерал-губернатора. Молодой человек был сообразительным и, работая лаборантом, присматривался, что может дать ему Россия и что он способен дать России. Его даже обрадовало, когда он узнал, что крестьяне в деревнях считают кусок мыла «барской прихотью», хотя множество бань в Москве и провинции убеждали Брокара в давней чистоплотности русского простонародья. Гика никак не мог заполнить мылом пустующий рынок России, но в Москве уже набирала мощь парфюмерная фирма Альфонса Ралле.

Генрих Афанасьевич еще не овладел русским языком и потому охотно навещал вечерами магазин хирургических инструментов на Никитской улице, который содержал бельгиец Томас Равэ; с ним можно было отвести душу в болтовне на фран-

цузском...

Равэ долго жил гувернером в провинции, имел похвальные аттестаты от господ Щетинина, Тютчева и Кашпиревых. Но однажды в магазине Равэ послышался с лестницы шелест женского платья, и приятный девичий голос спросил:

- Папа, почему у нас так пахнет цветами?

 Иди сюда, моя прелесть, — велел Равэ, — ароматы принес мсье Брокар, занятый в парфюмерии... Это моя дочь Шарлотта, — сказал Равэ, котда девушка спустилась в магазин.

Шарлогта Андреевна (хотя отца ее звали Томасом) родиявсь в России и другой жизни, кроме русской, не знала; она считала себя русской, любила русскую поэзию, боготворила Пушкина. Брокар ей, кажется, понравился. Она увела его в девичью «светелку», показала альбомы, в которые от руки переписывала «Бориса Годунова», украшая пушкинские строки своими акварельными иллюстрациями. Но, беседуя с Шарлотгой, Врокар догадался, что сердце девушки уже занято любовью к

известному певцу, умевшему покорять женщин божественным тенором.

- Завтра мой папа устраивает музыкальный вечер, сказала Шарлотта, — и я буду рада, если вы разделите мои восторги от голоса этого певца... Ах, как он поет!

 Я приду, — сухо раскланялся Брокар.
 Он пришел с громадной корзиной фиалок, советуя Шарлотте поставить ее на крышку рояля.

- Это вам и... вашему певцу, - многозначительно произнес Брокар. — Надеюсь, запах этих дивных цветов усилит вокальные способности ващего любимого тенора.

Тенор с позором бежал из дома Равэ, не в силах взять голосом не единой высокой ноты. Шарлотта сказала Брокару:

- Оказывается, вы не только химик, но еще и колдун.
- Тайна моего ремесла, отвечал Брокар...

Он-то, как парфюмер, хорошо знал, что запах фиалок способен разрушить гармонию голосовых связок (о чем, кстати, ему не раз говорили старые опытные певцы). В лаборатории Брокар втайне от хозяина Гика скоро изготовил эссенцию, способную делать запахи более устойчивыми. Наконец он решился просить у Томаса Равэ руки его дочери.

- Видите ли, отвечал Равэ, мои дела идут хорошо, а я человек практический, и мне сразу хотелось бы знать, каково будет обеспечение моей дочери с вашей стороны.
 - Я получаю сто двадцать рублей в месяц.

— Этого мало, — вздохнул Равэ. — Вы же сами понимаете, что моему сокровищу требуется более дорогая оправа...

Брокар срочно выехал на родину, где процветали давние парфюмерные фирмы Любэна, Пино, Леграна и Пювера, которые предложили ему доходные должности в своих лабораториях. Легран, хорощо знавший семью Брокаров, заманивал его на пост директора фабрики с годовым окладом в пять тысяч франков.

- Нет, отказался Брокар, я уже связан с Москвою узами серлечной привязанности и приехал... продавать!
 - Вы привезли хоть кусок русского мыла?
 - Я привез нечто большее...

Связавшись с фирмой Бертрана в Грассе, он продал ей секрет концентрации запаха, за что и получил 25 000 франков. С этими деньгами Генрих Афанасьевич возвратился в Москву.

- Запах нематериален, сказал он Равэ, но он становится даже осязаем, когда превращается вот в такие купюры.
 - Вы мне нравитесь, отвечал Равэ...

Певец с его тенором был забыт. Шарлотта заказала венчальное платье. Осенью 1862 года Брокар стал женатым человеком в возрасте двадцати четырех лет. Выбор его был правильным: Шарлотта, русская по привычкам и воспитанию, не только читала стихи, но по себе знала скромную жизнь русской провинции, ведала нужды и потребности простого русского человека.

Мне твои химические формулы непонятны, — сказала она мужу. — Но хотелось бы знать, с чего ты начнешь.
 Генрих ответил, что отец передал рецепт обработки коко-

совых орехов для выделки «кокосового» мыла. Наконец. ему давно известен секрет получения глицеринового мыла.

 Согласна, — кивнула Шарлотта, — но прежде, мой дружочек, ты бы сходил в простую русскую баню и посмотрел бы,

есть ли там у кого мыло и как русские люди парятся...

После парилки, исхлестанный веником, Брокар вернулся домой в полном изнеможении и сразу свалился на постель.

— Это чудовищно! — сказал он. — Но мыла я что-то не заметил. Русские борются с грязью вениками, которые, по моему мнению, одинаковы с ударами палаческого кнута...

Весною 1864 года Брокар открыл в Теплом переулке свою «фабрику», наняв двух рабочих — мужика Герасима и молодого парня Алексея Бурдакова, которых сразу же предупредил:

- Никаких пьяных суббот, никаких «после бани по стопочке», никаких «по случаю воскресенья» быть не должно. В нашем тонком деле обоняние не должно соприкасаться с алкоголем.
 - Не жисть, а каторга, мрачно изрек Герасим.
 - Где наша не пропадала! весело согласился Алексей... Русские спросили его, что такое «парфюмерия»?

- Запах, - пояснил им Брокар...

Юных пианистов учителя били линейкой по пальцам:

- Играй, играй, играй... во что бы то ни стало! Брокар вспоминал подзатыльники отца:

— Нюхай, нюхай, нюхай... и запоминай запахи!

...Парфюмерия, как и музыка, принадлежит к древнейшему виду искусств, а парфюмер больше всего похож на композитора, который фантазирует, сочетая различные ароматы, словпо раскладывая музыку по нотам. Запах человека и его одежды как бы дополняет внещность самого человека, особенно - женшины.

Еще на заре человечества люди очень активно реагировали на все запахи, приятные для них или пугающие новизной, так возникло пятое чувство — обоняние. Из глубин веков дошли до нас первые благовония, сохранившие ароматы древности в усыпальницах египетских фараонов. Библейская Суламифь, соблазнявшая Соломона, плясала перед ним, излучая ароматы возбуждающих масел, пропитавших ее гибкое тело. В древних Афинах любая красавица знала, что руки должны пахнуть мятой, а лицо — пальмовым маслом. Изнеженные патриции гордого Рима буквально купались в благовониях, они опрыскивали ими не только свою еду, но даже улицы, по которым должен проехать император.

Города средневековья погибали среди отбросов и помойных канав, даже короли бывали вымыты дважды: при их рождении и перед их погребением. Женщины не ведали даже примитивной гигиены и, чтобы заглушить неприятный запах, окружали себя сильно пахнущими духами, вплоть до резкого мускуса, а путники той мрачной эпохи, еще не видя города, догадывались о его близости по запаху духов и помоев. Алхимики искали не только «секреты» золота и фарфора, но составляли остропахнущие мастики и эссенции, не боясь смешивать воедино мочу младенца с настойкой из лепестков герани, порошок истолченных болотных жаб они перемешивали с цветами индийских пачулей.

В лавках Парижа времен Екатерины Медичи открыто торговали ядовитыми духами, чтобы отравить соперника или соперницу; тогдашние дамы знали, каким запахом привлечь кавалеров, а какие духи способны вызвать в мужчинах отвращение. Генрих Наваррский, зная об этих тонкостях, заклинал свою метрессу Габриэль д'Эстре: «Совсем не мойся, моя драгоценная: я буду у тебя не раньше, чем через три недели...» По аромату духов можно было определять сословное положение человека, ибо простая швея не имела права пользоваться духами, какие употребляла маркиза. Мода на запахи менялась, как и мода на одежды, и самые знатные дамы в понедельник благоухали иначе, нежели в субботу.

В 1608 году флорентийские монахи завели первую в мире парфюмерную фабрику. Еще через сто лет появилась «кельнская вода», и эта «вода» стала провозвестником знаменитого русского «Тройного» одеколона. Французская революция подарила миру духи под названием «Гильотина», а Бонапарт именовал духи своими победами при Маренго и Аустерлице. Кстати, Наполеон был большим франтом: даже в 1812 году, отправляясь в грабительский поход на Россию, он тащил за собой громадный чемодан, набитый духами, помадами и притираниями; одной только «кельнской воды» он расходовал в день по два флакона...

Генрих Афанасьевич начинал все-таки с мыла!

Однажды он дал Шарлотте понюхать парижские духи «Почему я люблю Розину», а сам высморкался в платок, опрысканный духами «Я настоящий мужчина». Он сказал жене, что

никак не ожидал встретить в России столь сильную конкуренцию:

— Альфонс Ралле со своими духами давно популярен среди московских барынь, в Петербурге набирает силу фабрика Жоржа Дюфтуа, а я... Каков бы я ни был композитор ароматических фантазий, но я способен сейчас производить только мыло.

Фабрика А. Ралле теперь называется «Свобода», фирма Ж. Дюфтуа — это «Северное сияние» в Ленинграде, а будущая «Новая заря» самого Брокара начинала жизнь в подвале дома Фаворских, где на жаркой плите стояли две кастрюли, в них булькало густое и противное варево, должное стать средством для омовений. В конце рабочего дня на столе раскладывали дневную норму: от двадцати до ста кусков мыла. Потом Алексей или Герасим грузили товар на санки и развозили его по заснеженной Москве:

— Эй, не надо ль кому хорошего мыла от Брокара?

 Катись далее, — отвечали купцы в лавках. — Мы уже закупились мылом от Ралле, и нам твово мыльца не надобно...

Вечерами, стесняясь, Брокар отдавал жене два или три рубля

дневной выручки. Шарлотта оказалась практичнее мужа:

— Мылом тоже можно забить конкурентов! Подумай сначала о детском мыле. Дети не любят умываться, значит, мыло должно быть нарядной игрушкой, чтобы умывание стало для них приятной забавой. Подумай о мыле для простого народа. Русский мужик повезет твое мыло с базара, чтобы дарить его своим домочадцам вроде «гостинца», и прежде всего им должны любоваться.

— А как это сделать? — спросил Генрих Брокар.

— Так и делай... Для детворы мыло пусть имеет форму зверушек, медвежат или зайчиков, а мыло для крестьян делай похожим на красную морковку или зеленый огурец. Если кто по ошибке и попробует его на зуб — только посмеются! Но главное условие, — властно диктовала Шарлотта Андреевна, — чтобы любой кусок детского или народного мыла стоил никак не дороже одной копейки... Именно одна копейка принесет миллионы!

Брокар пустил в продажу «копеечное» мыло, и для него не потребовалось даже рекламы: детское мыло радовало детей, а мыло в форме огурцов расходилось по самым глухим деревням. Из копеек складывались тысячи рублей, и скоро пришлось выбираться из подвала дома Фаворских на другое место. Брокар оставил Герасима рабочим, но смышленого Алексея Бурдакова он ввел в свой дом. Между ними состоялся серьезный разговор.

 Алеша, — сказал Брокар, — я поеду на Нижегородскую ирмарку, а ты останешься главным. Я решил передать тебе рецептуру кокосового и глицеринового мыла, завещанную мне еще отцом. Теперь стоит подумать о туалетном мыле ценою до пяти копеек. Я займусь приданием ему должных ароматов, а ты при варке мыла добивайся его нежной прозрачности...

Скоро появились красочные этикетки для помад и мыла, доходы росли, Брокар перевел фабрику на Зубовский бульвар, затем переехал на Пресню, но скоро и там сделалось тесно. Понадобились цеха для размещения машин и громадных котлов, некуда было складывать громадные поленницы дров, пожираемых печами. Теперь на фабрике трудились уже тридцать человек. Многие из этих ветеранов намного пережили хозяина, и средь них еще недавно проживал в Москве на пенсии «парфюмер № 1 в СССР» Павел Васильевич Иванов, часто вспоминавший Брокара:

— Генрих Афанасьевич вставал раньше всех, с шести утра он трудился в лаборатории. Человек был сухой, зато справедливый и к нам, работникам, относился хорошо. На фабрике полно разных спиртов, но никто даже лизнуть не смел. В этом деле хозяин был строг: чуть заметит кого с похмелья, сразу выставляет за ворота фабрики... Сам труженик великий, он терпеть не мог всяких лентяев, лодырей тоже выпроваживал на улицу.

Брокару и самому нелегко бывало устоять в сделках с купцами, закупавшими у него товар для ярмарок. Словно списанные из комедий Островского, осмеянные в рассказах Горбунова и Лейкина, эти замоскворецкие Тит Титычи или Карпы Карпычи в сапогах бугылками звали Брокара «спрыснуть дельце»:

— Закатимся до угра к «Яру», арфисточек молоденьких позовем али поглядим, как цыганки пляшут... Не хошь? Тады в баню закатимся, шампанью поддадим на каменку. Покедова нам мозоли срезают да когти стригут ножницами, мы коньячком побалуемся. Тоже не хошь? Ну, хоша бы в шашки с нами сыграй, мы твою «дамку» в «клозет» усадим... Окажи нам почтение!

Осенью 1869 года Брокар перевел фабрику за Серпуховскую заставу, где она потом раскинулась на весь квартал и на этом месте сохранилась до нашего времени. Духи оставались роскошью, парижская фирма Любэна не сходила с уст русских модниц, но Брокар уже много лет работал над созданием русских духов. А пока он выпустил на рынок «Цветочный» одеколон, заполнивший русские магазины. Завидуя успеху Брокара, парфюмеры стали выпускать подделки, столичные бонвиваны, надушившись брокаровским одеколоном, растрясали свои платки перед дамами:

— Разве я стану употреблять эту русскую дрянь? Нет, я пользуюсь исключительно парижским одеколоном по названию «Садик моей возлюбленной»... Понюхайте, мадам! Каково?

Шарлотта Андреевна, лучше мужа изучившая русские вкусы и запросы российского рынка, умело руководила сбытом помад, кремов, пудры, мыла и одеколонов, всегда окруженная коммивояжерами из провинции, художниками с эскизами оберток и наклеек. Бывая наездами в Европе, Генрих Афанасьевич отписывал жене из Парижа, что здесь все чертовски подорожало и «вообще здесь работать было бы гораздо труднее, нежели в России... сорта здешних мыл, — сообщал он, — находятся на весьма невысоком уровне, и у нас в России вырабатываются гораздо лучшие и тонкие мыла. Вот видишь, каким я гордым стал!»

Мотался он по Европе не ради отдыха, вынюхивая в парфюмерных магазинах самые модные запахи, которые оставались в его памяти, как нотные знаки в душе музыканта, стимулируя Брокара к новым опытам по синтезу ароматов, чтобы воссоздать новые душистые «букеты». Жена иногда спрашивала:

— Ты никогда не хочешь вернуться во Францию?

— Я вернусь во Францию, чтобы там умереть, но жить и работать я могу только в России, где больше простора для творчества такого художника, каков я...

Жена сообразила, что продажа парфюмерии оптом в чужие руки торговцев сомнительна, и в 1872 году в Москве на Никольской улице открылся фирменный магазин Брокаров, где бедный человек покупал кусок «греческого» мыла, скромная чиновница долго выбирала «румяную» помаду, но иногда к магазину подкатывала коляска аристократки, капризно требовавшей:

— Не могу уснуть без парижских саше.

- Извините, мадам, у нас только московские...

Брокар, мастер на все руки, выделывал и «саше»: особые подушечки, которые прятали на ночь в белье или в постели, чтобы они ароматизировали миндалем и ванилью, лавандой и розами. А когда Москву навестила герцогиня Эдинбургская, Брокар поднес гостье из Англии букет «из роз, ландышей, фиалок и нарциссов». Герцогиня не сразу поняла, что все цветы были вылеплены из воска, но фиалка пахла фиалкой, а ландышем.

- Как вам удалось это, кудесник?
- Секрет моей фирмы, поклонился Брокар.

— Но такого чуда нет даже в Европе!

- То, чего нет в Европе, можно найти в Москве...

Послереформенная Москва была переполнена сокровищами. Дворянские гнезда, уже разоренные, поставляли на тол-

кучки остатки прежней роскоши своих обнищавших владельцев. Среди всяческой завали иногда попадались и настоящие шедевры, достойные того, чтобы украшать лучшие музеи мира. Генрих Афанасьевич повадился навещать рынок у Сухаревой башни, где случайно купил у расхожих антикваров картины старой фламандской школы. Но однажды ему здорово повезло. За два-три рубля, даже с неохотой, приобрел он доску, покрытую старинной живописью, до того уже потемневшей, что сюжет угадывался с большим трудом. Принес домой, небрежно бросил покупку в кресло, а потом и сам уселся поверх доски. Случайно зашел знакомый московский художник, а доска под Брокаром вдруг треснула.

- Генрих Афанасьевич, на чем вы сидите?
- Доска какая-то. Даже не разглядел, что тут написано.
- Позвольте глянуть... Художник взял доску и ахнул. Да это же подлинный Альбрехт Дюрер! Нужно только снять с него вековую грязь и как следует реставрировать...

Росло собрание картин, подрастали и дети: дочь Женечка и двое сыновей, Эмилий с Александром. Девочку он оставил нежиться с матерью, зато сыновей круто прибрал к своим рукам. С детства приучал их трудиться в лаборатории, безжалостно штудировал возле мыловаренных котлов. Брокар был строг: он тряс их за уши, раздавал пощечины, если сыновья, не дай бог, не могли отличить запах жимолости от настойки плюща, если они путали аромат бразильского дерева с удушливым майораном.

— Балбесы! — злился Брокар. — Парфюмерия — это творчество, а вдохновение парфюмера может создавать волшебную симфонию ароматов. Как в музыке существуют отдельные тональности, так и парфюмер выделяет нужные гаммы запахов. Разве же острый диссонанс резеды или мускуса не напоминает вам удар в боевые литавры? Наконец, подобно живописцу, выделяющему яркое пятно на картине, я годами быось над тем, чтобы создать духами то настроение, какое определит благородное поведение человека... Увы, — горестно заключал Брокар, — мы знаем имена художников и композиторов, но еще никто не аплодировал мне как а в т о р у очаровательных духов.

Парфюмер, по мнению Брокара, способен управлять настроением публики: дурной запах раздражает, а хороший повышает здоровую энергию, вызывая в человеке творческие эмоции.

— Напрасно смеетесь, — обидчиво говорил Брокар. — Недаром же великий поэт Байрон окуривал себя запахом трюфелей, а парижские писатели жгут в своих кабинетах индийские

благовония. Я уверен: производительность труда даже простого рабочего сразу повысится, если в цехах заводов не будет вонищи, а воздух наполнится ароматом левкоев и глициний...

Брокары открыли второй магазин на Биржевой площади, и тут пришлось звать полицию, ибо громадная толпа угрожала разрушить двери и разбить витрины, чтобы проломиться до прилавка. Дело в том, что Шарлотта Андреевна придумала небывалый сюрприз. Всего за один рубль продавались «наборы»: в элегантной коробке были уложены сразу десять парфюмерных изделий с одинаковыми ароматами (духи, одеколон, пудра, кремы, саше, помады и прочее). Успели продать только две тысячи «наборов», после чего полиция, вся в запарке, велела закрыть магазин, не в силах справиться с напиравшей толпой.

— Это уже успех, — ликовала Шарлотта Андреевна.

Нет, это уже слава, — отвечал муж...

Много лет подряд Генрих Афанасьевич ставил в лаборатории химические опыты, стараясь извлечь из растений нужный аромат со сложным «букетом», запах которого удовлетворял бы всех мужчин и женщин, доступный для самой разнообразной публики.

— Нужен приятный и дещевый, — говорил Брокар.

Так сложилась гамма «Цветочного» одеколона, ставшего «гвоздем» на Всероссийской Промышленной выставке в Москве. Фирма получила золотую медаль, а Брокар отпраздновал это событие пуском фонтана из «Цветочного» одеколона — для всех! Снова понадобилась полиция, ибо, когда фонтан заработал, публика словно обезумела: женщины мочили в струях одеколона шляпы и перчатки, а мужчины, потеряв стыд, мочили в бассейне фонтана свои пиджаки. Формулу «Цветочного» одеколона Брокар хранил в строгом секрете, но скоро в стране появились подлелки.

— Вот и отрыжка славы, — точно определил Брокар.

Подделывали не только аромат. На флаконы клеили поддельные этикетки, точно копировали коробки и даже хрустальные флаконы. Брокару пришлось завести особое клеймо, похожее на почтовую марку, которую не могли фальсифицировать. С давних пор Брокар работал над созданием духов, способных конкурировать с наилучшими в мире — парижскими! Казалось, он был уже близок к цели: русские духи получали золотые медали на выставках в Бостоне, в Антверпене и, наконец, на Международной выставке в Париже, этой нерушимой цитадели всемирной парфюмерии... Генрих Афанасьевич впал в отчаяние.

— Никакие медали не помогают! — сказал он жене. — Ничто не в силах убедить русскую публику, что отечественные духи не хуже, а, напротив, даже лучше парижских...

«Цветочный» одеколон прочно завоевал всероссийский рынок, его производством занимался громадный цех с массой рабочих, годовая выработка флаконов перевалила уже за миллион штук, а вот духи Брокара по-прежнему томились на прилавках, ибо женщины соглашались даже переплатить за духи фирмы Любэна, не доверяя духам русской выделки. Генрих Афанасьевич воспринимал это как бедствие, от огорчения он даже расхворался.

Шарлотта Андреевна, зная о причинах его расстройства, долго думала, чем бы помочь мужу. Наконец пригласила на чашку чая Алексея Ивановича Бурдакова, который из прежнего парня Алеши, таскавшего на санках куски первого мыла, превратился в солидного господина при золотой цепочке от часов поверх бархатного жилета. Крепкий русским задним умом, он стал доверенным лицом хозяйки фирмы. Теперь он смелой рукой налил себе коньяку, закусил птифуром и приготовился слушать.

- Алеціа, сказала ему Шарлотта Андреевна, с духами прямо беда! Наши дамы гоняются за парижскими, платя за них втридорога, а наша фирма выпускает духи с более тонким и стойким ароматом, наконец, наши духи намного дешевле. Однако наши дуры не верят, что русские способны соперничать в качестве с фирмами Пино или Любэна... Как быть? Думал ли ты об этом?
- И не раз, Андреевна. Есть у меня мыслишка одна, да боюсь, что Генрих Афанасьевич не согласится.
- А мы ему ничего не скажем. Все останется между нами... Сообща они решились на публичную провокацию. Партию дорогих духов Любэна, обложенную на таможнях высокой пошлиной, они разлили по флаконам фирмы Брокара, а духи своей фабрики продавали во французских флаконах. Настало тревожное ожидание результатов, и поначалу все было тихо.
- Началось, возвестил однажды Бурдаков. Любэновские духи в наших флаконах никто не берет, зато все глупое бабье кидается на наши духи во флаконах парижских. Иные-то дамы даже скандалят в магазинах, возвращая обратно наши духи, иные требуют назад свои деныи, не догадываясь, что ругают-то не наши, русские, а именно любэновские духи...

После этого фирма Брокар объявила в газетах о своем умышленном обмане покупателей, чтобы доказать, к чему приводит излишнее преклонение перед иностранным товаром, тогда как русская марка ничуть не хуже европейской. Скандал был велик, но, кажется, именно такого скандала и добивалась Шарлотта Андреевна, чтобы поставить все на свои места. Вскоре после этого случая Брокары справили «серебряную свадьбу».

Генрих Афанасьевич поднес жене скромный флакон с новыми духами.

- Спасибо. Надеюсь, ты придумал им название?

Какой же композитор выносит на суд публики симфонию, не именуя ее? Понюхай, это — «Персидская сирень».

Духи с таким названием обощли все европейские столицы, завоевывая золотые медали на выставках, признанные чудом мировой парфюмерии... Брокар печально признался жене:

— Неужели это мой последний аккорд?

Всем обязанный щедротам России, Брокар котел бы, наверное, расплатиться с нею за все то доброе, что получил на родине жены и своих детей. Думается, поэтому он и сам отвечал добром на труд рабочих фабрики «Брокар и К°», часто жертвовал немалые деныги на развитие русской археологии, делал богатые вклады в Общество московских библиографов.

Человек скупой, как и все французские буржуа, Генрих Афанасьевич не жалел денег ради обогащения своих коллекций. Конечно, его картинная галерея никак не могла равняться по своей ценности с собраниями Третьякова или Щукина, но всетаки полгысячи полотен старых мастеров фламандской, голландской и русской школы — это ведь тоже не пустяк!

Брокар самоучкой развивал свой вкус, сам определил свои исторические интересы и не упускал случая приобрести старинный шифоньер французской королевы, ценную инкунабулу или чашку мейсенского фарфора. Известный в кругу антикваров, он собрал витрину дамских и мужских серег XV века, редкостные миниатюры на кости и виды старой Москвы, скупал гобелены и ткани, у него были даже фрески из Пале Рояля, часы и табакерки разных времен, набор дамских вееров и кошельков, уникальный хрусталь и стекло русских фабрик.

Генрих Афанасьевич не держал собранную им сокровищницу взаперти, ежегодно он открывал двери своего дома, чтобы она была доступна для публичного обозрения. Наконец, в конце XIX века Брокар устроил в Торговых рядах старой Москвы выставку картин своей галереи и предметов искусства прошлого, открытие которой В. А. Гиляровский почтил восторженными стихами.

Выставка заняла несколько громадных помещений, а знатоки искусств не раз удивлялись:

— Бог мой! Да тут есть такие редкости, достойные найти место даже в императорском Эрмитаже...

Эта выставка и стала последним, заключительным аккордом в душистой симфонии жизни славного парфюмера Брокара.

В декабре 1900 года он скончался и — мертвый — вернулся на родину, погребенный в усыпальнице местечка Провэн...

Сейчас на концертах часто звучит музыка старинных времен, давно угасших; старейшие моды одежды и дамских причесок иногда причудливо возрождаются в новых модах нашего времени, и вот я думаю: не воскресить ли нашим парфюмерам забытые рецепты духов и благовоний Брокара, какими восхищались наши молоденькие прабабушки?

А на флаконах с духами следовало бы ставить не только название фирмы, но имена авторов духов, чтобы мы знали их, как знаем имена композиторов, писателей и художников.

Будем помнить: духи для женщины — это rep6 ее красоты, ее привычек, ее характера, ее чудесных капризов.

Будем же уважать женщину с гербом!

Духи создают образ привлекательной женщины, желающей любить и быть любимой. Недаром же еще в древнейшем Шумерском царстве красавицы имели духи по названию: «Приди, приди ко мне...»

Разве это слова? Нет, это ведь тоже музыка...

ПЕНЬ ГЕНЕРАЛА ДРАГОМИРОВА

Знаменитый русский математик Остроградский утверждал: «Правила в математике существуют только для бездарностей». Знаменитый полководец, принц Мориц Саксонский, говорил: «Все науки имеют правила, лишь одна война не имеет правил». Может быть, в военном деле, как и в искусстве, правила только мешают?

А самые строгие критики нашей армии, немецкие генералы, открыто признавали: «Русский офицер никому не уступит в личной храбрости». Верно, что презрение к смерти у наших офицеров выражалось даже бравадой: с папиросой в зубах, помахивая тросточкой, они фланировали под ливнями косящих траву пулеметов. Офицерский корпус России всегда нес непомерные потери, ибо русский офицер считал делом чести идти впереди солдат, принимая на себя первую пулю. Наверное, это было опять-таки неправильно, но, очевидно, так было нужно.

А когда речь заходит о храбрости русского воина, я сразу вспоминаю генерала Драгомирова, и-чем больше развивается военная наука о боевой психологии солдата, тем чаще наши историки возвращаются к этому имени... Генерал от инфантерии, начальник Академии Генштаба, почетный член университетов Москвы и Киева, военных академий Франции и Швеции, автор лучшего учебника русской полевой тактики — этот человек неотделим от нашей славной военной истории! Я уже

писал о Драгомирове, когда он, еще молодым офицером, состоял военным агентом при штабе сардинского короля...

Михаил Иванович Драгомиров — грузный телом, тонкий разумом, независимый гордец, тяжело ранен на Шипке в колено пулей навылет. Заслуга его — во внимании к солдату, он желал «обращать армию в школу грамотности». Драгомиров воспитывал в солдате волевое превосходство над мощью противника, делая ставку на высокий воинский дух. Киевский военный округ, которым он долго командовал, был кузницей передовых военных идей. Попасть офицеру в Киев — значило пройти «драгомировскую академию»: там выковывались кадры генштабистов.

Михаил Иванович оставил после себя множество книг. «В мирное время, — настаивал он, — солдата надобно учить только тому, что предстоит ему делать во время войны».

— Все остальное уже лишнее, — доказывал он, — и все лишнее будет только мешать солдату на поле боя. А что бесполезно на войне, то вредно вводить в практику обучения...

Основной тезис Драгомирова отвечает и нашему времени: «Главным фактором в боевом деле всегда был и останется ЧЕ-ЛОВЕК, а технические усовершенствования только усиливают природные свойства человека...». Драгомировская армия — армия особого склада: «На походе можно идти не в ногу, можно курить и разговаривать, ружье неси как тебе удобнее». Офицеры получали от Драгомирова жестокий выговор, если хоть один солдат натрет ноги в сапогах, — почему не разрешили идти босиком?

«Побольше сердца, господа! — восклицал Драгомиров в приказах. — В бою на одной казенщине далеко не ускачете. А кто не бережет солдата, тот недостоин чести им командовать...»

Враг муштры и рукоприкладства, он хотел видеть солдата выносливым, бесстрашным, самостоятельным. Отсюда и упор на физические и нравственные качества рядового. В своих «волевых установках» Драгомиров иногда доходил до крайности, не в меру превознося роль удара штыком! Он утверждал, что пуля — только помощница штыка, который, по его мнению, решает исход битвы, пуля лишь прокладывает дорогу штыку. Но эта ошибочная теория поколебалась в англо-бурской кампании, ее окончательно разбил опыт войны русско-японской. В своем увлечении боевыми качествами солдата Драгомиров иногда заблуждался. Не признавал будущего за пулеметами. Отрицал нужду в бронещитах на пушках. Терпеть не мог саперных работ. Не желал видеть солдата ползущего или окопавшегося. С ненавистью писал об «адептах поголовных ползаний на брюхе,

распростираний, коленопреклонений и приседаний» — он признавал солдата лишь в полный рост!

И прожил свою жизнь, как солдат, не кланяясь и не приседая, самого черта не боясь на свете. Власть военного министра Ванновского почти не признавал, а генералов, присылаемых в Киев, игнорировал. Однажды приехал командовать корпусом бравый генерал Косич, и Драгомиров встретил его грубостью:

- А я вас разве к себе приглашал?

Косич за словом в карман не лез:

— А я разве к вам напрашивался?

— Вас прислал из Петербурга сам министр?

Я не министру служу — отечеству...

— Тогда будем друзьями, — обнял его Драгомиров.

Для ревизии Киевского округа из столицы прикатил гвардейский генерал; Драгомиров не принял его у себя, велев адъютантам раз и навсегда отказывать «фазану» в визитах:

- Говорите, что командующий в отъезде...

Наконец «фазан» (как называли шаркунов из столицы) не выдержал и в приемной стал доказывать, что Драгомиров у себя в кабинете, он видел даже свет в его окнах, и, если не желает к нему выйти, он напишет ему записку. С этими словами присел к столу, но не обнаружил возле чернильницы ручки.

- Перышко сломалось, - с усмешкой произнес адъютант

- Тогда дайте мне карандаш.

— И карандаш затерялся...

Взбещенный, генерал стал громко бранить адъютанта, но тут приоткрылась дверь кабинета, в щель выставилась рука Драгомирова, держащая перо, уже смоченное чернилами:

- Адъютант! Воткни его «фазану» прямо под хвост...

Заступник рядового солдата, он понимал и офицерские нужды. Жена Драгомирова — добрая украинская хозяйка, издала, кстати, прекрасную поваренную книгу, соперничавшую до революции с печально знаменитой книгой Молоховец. Зная, как нелегко живется молодым офицерам на скромное жалованье, Софья Авраамовна Драгомирова из своего поместья вывозила живность и зелень обозами, ежедневно накрывала громадный стол для поручиков и штабс-капитанов. Однажды в гарнизоне Харькова был издан нелепый приказ: «Офицерам посещать лишь первоклассные рестораны и ездить только на парных извозчиках». А на 55 рублей, получаемых младшими офицерами, едва поддерживался внешний кворум приличной жизни... Драгомиров появился в Харькове, вечером его ждали в офицерском собрании, командующий сразу направился к начальнику гарнизона.

- Нет ли пятиалтынного? спросил он. Извозчик остался внизу, ждет, когда расплачусь, а кошелек в Киеве забыл.
 - Но извозчик в один конец стоит гривенник.
- Ax! отвечал Драгомиров. Да ведь при моих средствах не станешь раскатывать на парных фаэтонах. Вот и пришлось взять обычного «ваньку» в одну конягу...

Глупый приказ был, конечно, сразу же отменен!

Михаил Иванович не боялся вступать в острые конфликты и с императором. Когда в Киеве начались волнения революционной молодежи, царь велел направить против студентов войска. Драгомиров ответил: «Армия не обучена штурмовать университеты». Тогда царь приказал! Михаил Иванович приказ исполнил и, окружив университет пушками, продиктовал царю телеграмму: «Ваше величество, артиллерия в готовности, войска на боевых позициях, противники Отечества не обнаружены...»

Но когда я думаю о Драгомирове, он почему-то предстает передо мною в последние годы жизни. Я вижу его в степной глуши на хуторе близ Конотопа, где из высокой травы стрекочут цикады. Однажды тут раздались два выстрела — и выросли две могилы на хуторе. Сыновья Драгомирова покончили с собой, не в силах выносить отцовской деспотии. Всем известны портреты обаятельной дочери генерала Софы (по мужу Лукомской): ее писали акварелью Серов и Репин. Особенно значителен серовский портрет. Видный французский психиатр, как только глянул на него, сразу предсказал — лишь по глазам Софыи Михайловны! — точное развитие душевной болезни этой красивой женщины, на которой отразился суровый гнет отцовской натуры... Так иногда бывает: был защитником чужих людей, а семью затиранил!

Драгомирова в нашей стране знают все, кто хоть единожды видел картину Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Он стоит в центре группы, с папахой на голове, в зубах его трубка, а улыбка — каверзно-хитрущая; кажется, что с его губ сейчас сорвется соленое словцо, разящее наповал...

В 1903 году Михаил Иванович вышел в отставку... и тут споткнулся о пень! Пень этот и по сю пору не выкорчеван.

Достигнув высоких чинов по службе, Драгомиров даже гербом не обзавелся, хотя и был дворянином старого рода.

«Человек не гербами украшается», — говорил он...

Местного дворянства генерал явно сторонился. Да и ехать в Конотоп — лошадей жалко гонять. Что там? Жара. Истомленные зноем левады. Мостки над канавками, в которых плещутся жирные гуси. И улицы в шелухе семечек, истребляемых обыва-

телями в количествах невероятных. Каждый кавалер уездного значения, идя на гулянье, несет в карманах семечек фунтов по пять (аж на нем штаны раздуваются) и щедро угощает барышень цельми горстями. А разговоры такие: у кого семечки вкуснее? Уездная почта пересылала на хутор Драгомирову обширную корреспонденцию. Старый извозчик Ефрем Брачий рассказывал до революции писателю Сергею Минцлову, как однажды рано утречком приехал на хутор с телеграммой. Драгомиров был уже на ногах, и лютейше, будто кровного врага своего, он корчевал... пены!

— Вижу, пень здоровущий. Возле него генерал похаживает. Подал я телеграмму. Прочел он и говорит: «Ты привез, такойсякой-размазанный?» Сознаюсь. Генерал два рубля дал. Из порток вынул и дал. А сам взялся за пень. Аж покраснел от натуги. Сам рычит, будто зверь какой. Трудится, значит... Потом сел на траву... Такое уж, видать, у него положение. Не мог иначе. Каждое угро таким вот манером. Отставка! Когда ж еще и жить

человеку?..

Изо всего дворянства Драгомиров сдружился с одним лишь пьющим почтмейстером Федченко. Даже страшно подумать, на что тратились силы. Казалось бы, уже старик — на восьмой десяток поехал: остановись! Нет. Пень, водка и шампанское — вот конец славной жизни... А кабинет Драгомирова — это библиотека: книги разноязычны, каждый томик в идеальном порядке. Дисциплина и в расстановке мебели. На стенах портреты — Суворов, Наполеон и Жанна д'Арк, о которой Драгомиров создал когда-то научную монографию. От усадьбы ведет дубовая аллея, в конце ее — кладбище! Сюда по вечерам, в кальсонах и шлепанцах, с бутылкой и рюмкой, являлся он... великий стратет! Лежали под ним, им же попранные, сыновысамоубийцы. Понимал ли он (солдата понимавший!) всю трагедию их жизни? Вряд ли. Даже камнем могилы их не отметил, а сровнял землю лопатой, будто грядку под засев огурцами...

На рассвете — лом, графин, рюмка — и за пень! Отчего такая бессмысленная борьба с пнем?

Мне кажется, этот пень заменял ему сейчас все в жизни. Не будь этого пня на хуторе, и жизнь Драгомирова вообще потеряла бы всякий смысл. А рядом с ним тихо догорала, как свечка, жена, имевшая несчастье быть его близкой. Софья Авраамовна была культурной женщиной, а он, ее муж, даже не знал (или, точнее, не желал знать), что у нее тоже свой мир, свои настроения. А ведь она ценила его. Тайком ведя дневник, заносила в него оригинальные мысли мужа, оброненные им случайно. Для истории или просто так... от скуки, от жары, от одиночества!

Время от времени, по званию генерал-адъютанта, Драго-

миров отъезжал в Петербург — на дежурство при дворе. Там, в окружении царя, он давно уже сделался притчею во языцех. Трудно человеку, даже волевому и умному, противостоять царственным особам... Зато Драгомиров делал это отлично!

Как-то император Николай II решил над ним подшугить:

— Михайла Иваныч, отчего нос у вас подозрительно красный?

И гордо отвечал ему Драгомиров при всей свите:

— А это потому, ваше величество, что на старости лет мне ото всяких глупых щенков приходится получать щелчки по носу...

Остроты его были убивающими. После маневров собрались штабные. Были элесь и великие князья. Один из них говорит:

— Позвольте и мне высказать свое мнение!

Валяйте, ваше высочество, — разрешил Драгомиров. — Один ум хорошо, а полтора ума — еще лучше...

Драгомиров невзлюбил Льва Толстого за его утверждение, что война противна человеческой природе. Генерал считал, что «война есть дело, противное не всей человеческой природе, а только одной ее стороне — инстинкту самосохранения». И случилось же так, что Михаил Иванович выбрался в Петербург на очередное дежурство как раз за два дня до русско-японской войны. Народная молва ошибочно сочла, будто царь начал войну лишь по авторитетному настоянию Драгомирова. Но именно война с Японией казалась Драгомирову «по-толстовски» противной человеческой природе и разуму. Михаил Иванович понимал, в какую безрассудную авантюру бросается русский солдат, и он восставал против войны изо всех сил... За ужином в Зимнем дворце кто-то из придворных спросил генерала, чем закончится война на Дальнем Востоке, и Драгомиров тут же дал точный ответ — с присущей ему грубостью и лапидарностью:

— А вот чем закончится... — Он приподнялся, произведя одно резкое звучание, после чего основательно перекрестил под собою стул. — Вы, господа, меня спросили — я вам ответил!

Николай II хотел сделать Драгомирова главнокомандующим в войне с Японией, но понял: бесполезно. Михаил Иванович выехал с дежурства на родину совсем больным. На вокзале в Конотопе его встречал приятель Федченко. В зале ожидания Драгомиров прилег на лавку и долго не мог отдышаться. Федченко спросил: правда ли, будто война с японцами началась по его совету? Драгомиров вскочил с лавки. Невзирая на присутствие множества публики, ждавшей посадки на поезд, генерал стал крыть на все корки Петербург, царя и дураков министров. Городовые и жандармы стояли тут же, делая почтительно под козырек. Уж если с а м Драгомиров говорит такое, ну, быть беде для России!.. По дороге на свой хутор он навестил убогую мазанку

Федченко. Под дубом (в тени которого, если верить преданию, Тарас Шевченко варил кашу с Горкушей) генерал открыл бутылку с французским шампанским. Приятелю он сказал:

— Помру... Эта война меня сразу подкосила!

Михаил Иванович умер в разгар революции 1905 года. Вся

семья генерала, кроме жены его, находилась тогда в Киеве. Поезда не ходили. Софья Авраамовна направилась в забастовочный комитет, чтобы выпросить для себя паровоз и вагоны.

— Мы вашего супруга знаем, — отвечали рабочие депо. — От него обид не было. Но... дайте расписку, мадам, что с этим

паровозом вы не привезете войска для подавления революции! Софья Авраамовна такую расписку дала. Похороны военного мыслителя состоялись под конвоем городовых. Ни одного солдата не шло в траурном карауле за гробом. В этом посмертном унижении есть что-то нехорошее... А пень, над которым Драгомиров трудился целых два года, так и остался догнивать в земле!

На меня как на литератора всегда производят сильное впечатление призывы Драгомирова к воинам... Вот чему он учил:

«Всегда бей — никогда не отбивайся».

«Только тот бьет, кто до смерти бьет».

«Не жди смены — ее не будет: поддержка будет».

«С убитых и раненых патроны для себя забирай». «Не думай, что сразу дается победа; враг тоже стоек!»

«Молодец тот, кто первый крикнет ура».

«Обывателя не обижай — он тебя поит и кормит».

«А солдат — это еще не разбойник...»

В. И. Ленин высоко оценивал некоторые «волевые установ-ки» Драгомирова. В 1918 году при выпуске Книжки красноар-мейца («обязательной для всей Красной Армии») Владимир Ильич сознательно включил в эту памятку бойца девизы-изре-чения Суворова и Драгомирова. Статьи Драгомирова переизда-ются и в наше время. Некоторые идеи его о воспитания войск актуальны до сих пор, и часть их, самая положительная, при-нята и на вооружение нашей армии. Человек он был, конечно, выпукло мыслящий, крупный, широкий, характерный, с раблезианским ядом на устах и очень большим внутренним досто-инством. Но он — как тот пень, который безуспешно корчевал, об него можно и споткнуться.

Закончу здесь словами самого Драгомирова:
«...Пишущая братия редко берется за определения: боится наврать! Но нужно же начать когда-нибудь и комунибудь. Если навру, авось другие меня поправят, а дело выиграет...»

ГРАФ ПОЛУСАХАЛИНСКИЙ

События развивались так: 15 мая русская эскадра адмирала Рожественского понесла поражение возле Цусимы, через три дня победители обратились к президенту США с просьбой о мирном посредничестве, а затем, уже подав заявку на мир с Россией, самураи 24 июня начали оккупацию Сахалина. Все происходило стремительно. Япония не имела сил продолжать изнурительную войну, но «Русские ведомости» — после Цусимы — тоже истерично взывали: «Мир во что бы то ни стало, хотя бы на самых тяжелых условиях. Довольно крови и слез...»

У нас все знают, что русско-японскую войну развязали Америка и Англия, желавшие обоюдного ослабления соперников. Вашинттон и Лондон заранее предвкушали то удовольствие, какое они получат, издали наблюдая за чужим кровопролитием. Но Теодор Рузвельт, тогдашний президент США, никак не ожидал усиления Японии, которая со временем могла стать опасной для Америки на просторах Тихого океана. Он не был пророком, но, возможно, разглядел в будущем трагедии, подобные Пёрл-Харбору. Потому-то, получив из Токио просьбу о посредничестве, Рузвельт торопливо надел маску христианского миротворца, предложив город Портсмут для ведения переговоров.

Николай II, напуганный революцией в стране, соглашался на мир с Японией. Возглавить русскую делегацию он обязал министра юстиции Муравьева. Но, по утверждению знающих

людей, Сергей Юльевич Витте дал Муравьеву взятку в двести тысяч рублей, чтобы тот уступил ему право ехать в Портсмут. Как заметил академик Е. В. Тарле, «интуиция, политический инстинкт Витте всегда были сильнее, чем его мысль». А интуиция подсказывала, что каков бы ни был результат Портсмутского мира, он спасет его политическую репутацию, которая потрескивала, как борта корабля, задевающего зубья подводных рифов...

Витте спас карьеру и получил титул графа. Впрочем, в русском обществе тогла можно было слышать насмешки:

— Были Потемкин-Таврический, Румянцев-Задунайский, Суворов-Рымникский, а теперь имеем Витте-Полусахалинского.

Россия никогда не забывала об уступке самураям южной части Сахалина, а Витте с раздражением оправдывался:

— Я не хотел отдавать японцам Сахалин в Портсмуте — это была личная уступка японцам самого императора!

Американская пресса изображала Россию страной дикой и мрачной, русские рисовались почти людоедами, а Япония — страной процветающей культуры и демократии; пока там, в России, палачи в красных рубахах отрубали головы несчастным «нигилистам», Япония благоухала магнолиями и хризантемами, неся свободу народам Китая, она старалась привить первые навыки цивилизации угнетенным корейцам... Переломить эти прояпонские и антирусские настроения в США было нелегко!

Еще с парохода, пересекавшего океан, Витте дал первое политическое интервью — и оно было первым интервью, принятым по радио, что явилось сенсацией для всего мира. Секретарь делегации Коростовец доказывал Витте, что, если самураи заартачатся, можно смело послать их ко всем чертям:

— Генерал Линевич собрал на Сыпингайских высотах мощную русскую армию, еще способную переломить ход всей пойны

Витте отвечал, что не имеет плана переговоров:

— Единственное, что я продумал, так это желание быть в Америке демократичнее самого американского президента...

Америка встречала делегацию почетным караулом, из рядов которого слышались выкрики на русском языке:

— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство.

Это горланили евреи, бежавшие из России и сразу завербованные в американскую армию. Витте отвечал на их возгласы, как сделал бы и в России — помахиванием шляпы... Помощником Витте был барон Роман Романович Розен, умный человек, посол в Вашингтоне, много позднее окончивший жизнь под

колесами американского автобуса. Японскую делегацию возглавлял барон Даютаро Комура, министр иностранных дел, ему помогал Такахира, японский посол в США, согнутый после недавней операции по удалению аппендикса. Чопорные и замкнутые, едва цедящие слова сквозь зубы, японцы никак не могли понравиться удалым американцам, которые в любом деле и даже в политике! - хотели бы видеть прежде всего развлека-'тельное «шоу» (зрелище).

— Господин Коростовец, — говорил Витте, — улыбайтесь до ушей и не ленитесь махать шляпой... даже здешним гопникам!

Японцы, воспитанные на скрытности, жили при запертых дверях, никому на глаза не показываясь, а Витте широко распахнул свои двери в отеле, впуская к себе любителей автографов, нищих прожектеров, прожженных бизнесменов, психо-паток дам, желавших вместе с ним фотографироваться. Репортеры американских газет, алчущие сенсаций, гурьбой шлялись за Витте:

- Скажите, любите ли вы свою жену?
- Как вам нравятся американские города?
- Сколько у вас денег?
- Впечатляют ли вас американские женщины?Сколько вы способны выпить водки?..
- Какие комары кусачее наши или русские?

Витте отвечал, что без ума от своей жены, города Америки лучше Ирбита или Сызрани, денег у него — кот наплакал, американки превосходны, водки он совсем не пьет, а комары в США кусаются больнее русских. Наконец Витте, сойдя с поезда, вполне «демократично» пожал руку машинисту, а репортеры писали, что Витте бросился целовать машиниста, ибо свою карьеру министр начал с паровозного кочегара. Коростовец отметил в дневнике, что «легенда о поцелуях с машинистом сделала для популярности Витте гораздо больше, нежели все наши дипломатические любезности...».

Сергей Юльевич знал, к т о управляет Америкой, и потому очень охотно принял депутацию подлинных хозяев страны, банкиров Штрауса, Зелигмана, Давидсона и Шиффа, которые изза кулис влияли на прессу, управляя мнением американской публики. Витте с умом сказал им, что Япония истощена:

— Зато наш золотой запас остался неисчерпаем!...

Японцы изнывали от зависти к успехам Витте, не в силах огорошить американцев постановкою своего «шоу». В один из дней, надев черные смокинги, при черных цилиндрах, держа в руках черные зонтики, они дружно отмаршировали в христианскую церковь, чтобы прослушать проповедь о любви к ближнему своему. Но никакого «шоу» из этого не получилось, зато Такахира растревожил янки признанием, что каждый день войны с Россией обходился Японии в два миллиона иен:

 Всего же мы истратили на войну больше миллиарда иен и теперь вправе требовать с русских миллиардные контрибуции...

Рузвельт принял Витте и Розена на своей даче в Остербее,

предупредив, что России прав на Сахалин не отстоять:

— Тем более японцы уже на Сахалине, а у вас после Цусимы нет даже флота, чтобы вернуть остров обратно. Если мы, американцы, прочно засели в Панаме, не собираясь выезжать оттуда, так и японцы никогда не уберутся с Сахалина.

- Пример неподходящий, - возразил Розен, - ибо Япо-

ния — не Америка, а Россия — это вам не жалкая Панама.

Рузвельт настаивал, чтобы Россия оплатила все военные расходы Японии по японским чекам, но Витте довольно-таки грубо отвечал президенту, что русский народ не собирается «кормить» будущие войны Японии:

— Мы можем вести переговоры, учитывая лишь те военные результаты Японии, каких она в этой войне достигла, но мы не

будем уступать Японии в ее иллюзорных планах...

Этот разговор состоялся 22 июля, и на следующий день обе миссии, русская и японская, отплыли в Портсмут по реке Ист-Ривер. Витте и его свита разместились на крейсере «Чагунага», плывшем под флагом русского посла, но все стюарды крейсера почему-то оказались японцами. На берегу стояли толпы людей, иные даже на крышах размахивали флагами, но русских флагов было все-таки больше, нежели японских. Оркестры играли «Да эдравствует Колумбия!». В публике иногда свистели, как в театре. Рузвельт ожидал гостей на яхте «Мэй Флауэр» (майский цветок), где и представил русским японскую делегацию.

- Господин Витте, - спросил президент, - не желаете ли

вы дружески позавтракать с господином Комурой?

За столом Рузвельт произнес бравый и энергичный спич в защиту мира на земле, но при этом слишком выразительно смотрел на русских, словно именно они были «поджигателями» этой войны. Витте шепнул профессору Федору Мартенсу:

 Пока что мы наблюдали только за работой желудков, но завтра предстоит поработать мозгами и поиграть на нервах...

Портсмут — курортный городишко с лесными пейзажами, напоминающими финское побережье. Русских поместили в отеле «Вентворт», где было мало комфорта, окна затягивали проволочные сетки от обилия комаров. В соседнем пруду купались тощие американки — все в черных чулках и в черных перчатках. Равнодушно глядя на этих пуританок, Витте сказал Розену:

— На худой конец, если японцы не согласятся на примирение, Россия способна вести войну до последней крайности, и мы еще поглядим, кто из нас дольше продержится...

27 июля — первый день конференции, посвященный процедурным вопросам. Дипломаты расселись за столом, над ними, освежая воздух, крутились электрические пропеллеры. Комура уже взял напрокат несгораемый шкаф, чтобы хранить от шпионов любую паршивую бумажку, японцы стремились засекретить от мира переговоры, чтобы сделать тайну из своих грабительских притязаний. Сергей Юльевич понял это!

 — А почему я не вижу здесь журналистов? — вдруг спросил он японцев. — Мы же собрались не как разбойники в пещере, чтобы делить добычу, и потом делегация России желает вести

переговоры в условиях самой обширной гласности...

Призыв к гласности не пропал даром: пресса США стала поддерживать русских, а не японцев. На следующий день состоялось первое деловое совещание. Чувствовалось, что японцы готовят России такой ошеломляющий удар, от которого она согнется и уже не выпрямится. В наступившей тишине барон Комура протянул Витте список японских требований из 12 пунктов.

— Японское правительство, — изрек он при этом, — готово сделать все, чтобы достичь мирного соглашения.

Витте едва глянул на пункты требований, крайне унизительных для России, и почти равнодушно отложил список в сторону, как откладывают вчерашнюю газету. Пункт № 5 гласил: «Сахалин и все прилегающие (к нему) острова, все общественные сооружения и все имущества (на Сахалине) уступаются Японии...»

На этом заседание 28 июля 1905 года и закрылось.

Японцы хотели очень многого: протектората над Кореей, отчуждения Квантуна и железных дорог, созданных в Маньчжурии на русские деньги, требовали разоружения Владивостока, передачи Японии русских кораблей, интернированных в иностранных портах, желали владеть всем Сахалином. Отбиться от самурайских претензий по всем 12 пунктам было трудно, но особенно болезненно для престижа России было требование о выплате контрибуций. В самом же Сахалине японцы видели не только «кормушку» рыбным туком для своих рисовых полей, но и важный стратегический плацдарм, с которого всегда можно влиять на дальневосточную политику русского кабинета...

30 июля японцы снова встретились с русскими, и Комура был удивлен, что делегация России сразу же отвергла четыре японские претензии, в том числе пункт № 5 — об уступке Са-

халина, и пункт № 9 — о выплате контрибуций. При этом Витте держал себя столь надменно, что барон Комура не выдержал:

- Не ведите себя здесь как победитель!
- В чем дело? шутливо отвечал Витте. В этой войне не было победителей, а значит, не может быть и побежденных. Да, мы согласны, чтобы Япония, как и раньше, ловила рыбку у берегов Сахалина, но уступать Сахалин мы не намерены.

Состоялся обмен мнениями о контрибуциях.

— Контрибуцию, — веско заметил барон Розен, — платят побежденные народы, желающие, чтобы неприятель поскорее убрался от них восвояси. Даже на Парижском конгрессе, после падения Севастополя, никто из держав-победительниц не осмелился требовать с России возмещения военных убытков.

Витте добавил, что Россия согласна возместить японские расходы, но только в тех пределах, какие были сопряжены с содержанием в Японии русских военнопленных:

— Тут мы не станем спорить! Россия оплатит все издержки, связанные с содержанием и лечением наших пленных.

Переговоры обострились, противники перешли к резкостям, русская сторона с издевкою запросила японскую:

- Пусть ваша армия попробует занять Москву, тогда, быть может, вы и получите с нас контрибуции.
- В таком случае, парировал Комура, мы бы не просили у вас денег, а продиктовали бы вам любые условия.
- Вряд ли! смеялся Витте. Наполеон побывал в Москве, но условия мира продиктовала все же Россия... в Париже! Сидя же в Московском Кремле, Наполеон бог знает до чего додумался, но ему и в голову не пришло выпрашивать у России денег, чтобы выбраться из войны с Россией...

В присутствии многих журналистов Витте нарочито громко распорядился узнать для него расписание пароходов, отплывающих в Европу. «Дело идет к разрыву! — писали американские газеты. — Японская лиса не в силах бороться с русским медвелем». Рузвельт был шокирован! Мнения публики и газет США склонялись на сторону России, он же, поддерживая Японию, мог загубить свою политическую карьеру. В переговорах назревал кризис, а президент слишком дорожил славою «христианского миротворца». Он вызвал Комуру и сказал, что само слово «контрибуции» может быть обидным для русского самолюбия:

— Впредь говорите о «возмещении военных издержек»...

2 августа началось обсуждение сахалинского вопроса. Комура обложил себя баррикадами документов, в которые постоянно заглядывал, а перед Витте лежала пачка папирос, и ничего больше. Комура ринулся в атаку, отвоевывая Сахалин.

- Вы, - сказал он, - смотрите на оккупацию нами Саха-

лина как на насильственный акт, а не как на правовое решение. Потому и прошу вас привести доводы в пользу этого мнения.

Федор Федорович Мартенс сразу отчеканил ответ:

— Права русской нации на Сахалин определились еще в те давние времена, когда Япония никаких прав на Сахалин не заявляла. Между тем Сахалин является продолжением материковой России, отделенный от нее столь узким проливом, который наши беглые каторжане рисковали форсировать даже на плотах из двух бревен. Для нас Сахалин остается часовым, поставленным возле дверей Дальнего Востока, вы же, японцы, стараетесь сменить караул у наших дверей, заменив его японским. Боюсь, — заключил Мартенс, — что захват вами Сахалина в будущем явится «брандером», таранящим мирные отношения с Японией.

Комура вдался в нудную лекцию по истории, доказывая, что Сахалин является географическим дополнением Японского архипелага. Затем он сказал, что — да! — Россия никогда не делала из Сахалина базы для нападения на Японию:

— Но если бы война началась не в Маньчжурии, то вы, русские, могли бы угрожать нам с берегов Сахалина.

На это сердито фыркнули и Розен, и Витте:

— Зачем нам вообще было нападать на Японию?

— Тем более с Сахалина, где у нас тюрьмы да каторга!

Комура не мог доказать исторических прав на обладание Сахалином. Он заговорил тоном самурая: если остров уже занят японскими войсками, так чего тут спорить? Витте ответил, что факт занятия Сахалина японскими войсками еще не означает того, что Сахалин должен принадлежать Японии!

— Не доказав своих притязаний на Сахалин, вы основываете их исключительно на силе военного права! Но при этом, — сказал Витте, — напрасно хотели бы опираться на «народные чувства» японцев, якобы мечтающих о райской жизни на Сахалине. Ваше «народное чувство» — было записано в протоколе — основано не на том, что Россия забрала что-то принадлежащее Японии. Напротив, — логично рассуждал Витте, — вы просто сожалеете, что Россия РАНЬШЕ ВАС освоила Сахалин и его богатства. Если же говорить о «народных чувствах», то какие же чувства возникнут в душе русского человека, если он на законных основаниях много лет уже владел в с е м Сахалином?!

Два часа прений не дали результатов. Переговоры зашли в тупик. Сахалин нависал над столом Портсмута, как дамоклов меч, и Комура, нервничая, слишком энергично стряхивал пепел с папиросы, а Витте закидывал ногу на ногу и крутил ступней, посверкивая ботинком. Оба они напоминали гроссмейстеров за шахматной доской, действующих на психику один друго-

му. Витте часто просил чаю — Комура тоже. Если бы Витте попросил водки, наверное, и все японцы пожелали бы напиться.

Американские газеты писали, что сахалинский вопрос неразрешим; от русских мы чаще всего слышим слова «завтра будет видно», а на устах японцев — «шиката ганас» (ничего не поделаешь). Портемутский отель «Вентворт» вдруг содрогнулся от мощного грохота: это японцы демонстративно возвращали несгораемый шкаф, взятый ими напрокат, чтобы напугать русских срывом переговоров, а русские дипломаты, как заметили вездесущие репортеры, затребовали свое белье из стирки...

Рузвельт срочно повидался с Розеном, дав понять барону, что в случае срыва переговоров он не засидится на месте посла в Вашингтоне, именно теперь пришло, кажется, время для его

личного вмещательства в дела мира:

— Я вынужден писать вашему императору...

Николай II, отвечая на телеграммы Витте, делал на них пометки: «Сказано же было — ни пяди земли, ни рубля уплаты. На этом я буду стоять до конца». Но американский посол Мейер стал убеждать царя, что японцы согласятся уйти с северной части Сахалина, а любая затяжка войны вызовет вторжение самураев в Сибирь. Николай II сначала упорствовал, отвечая Мейеру, что он дал «публичное слово» не уступать, но после двух часов бесплодной болтовни он сдался.

— Хорошо, — сказал царь, — к югу от пятидесятой параллели японцы могут считать себя на Сахалине хозяевами...

Чтобы поиграть на нервах японцев, Витте велел расплатиться за гостиницу, придавая своему лицу выражение мрачной решимости. Комура, явно испутанный, уже колебался, соглашаясь на возвращение России северного Сахалина, но...

— Но северную часть Сахалина мы согласны продать!

Без вознаграждения мы не можем закончить войну.

На этом он и попался. Витте использовал промах Комуры и разгласил журналистам, что для Японии важнее всего деньги, из-за которых она и начала эту войну. Американские газеты сразу же поместили карикатуры: японский микадо дубасил палкою русского царя, при этом спрашивая его: «Сколько ты мне заплатишь, чтобы я тебя отпустил живым?..»

Симпатии рядовых американцев окончательно перешли на русскую сторону. Никто не смел уже говорить, что Япония начала войну, дабы нести светочи цивилизации и культуры в страны Азии. «Барон Комура, стоя лицом к лицу с мрачной реальностью войны, продолжение которой было бы, несомненно, гибельным для Японии, был вынужден уступить», — в таких словах писал японский историк Акаги. Но именно в эти дни

иностранные наблюдатели в Маньчжурии отмечали резкий перелом в настроении японских солдат, уставших проливать кровь, — они все чаще сдавались в плен русским...

Подписывая протокол прошлого совещания, Витте спросил— на какой он писан бумаге? Коростовец объяснил, что русские документы составлены на американской, а японские—на японской. Розен, прислушиваясь к их разговору, заметил:

— Японская бумага прочнее, ее трудно разорвать.

В беседу вмешался Комура, сказавший:

— Зато на вашей бумаге нельзя соскоблить слова...

16 августа Витте удалился с бароном Комурой для беседы наедине, после чего появился красный, как вареный рак, но зато с улыбкою на разгоряченном лице:

Господа! Поздравляю — японцы нам уступили...

Витте зачитал японский отказ о выкупе северного Сахалина, а Комура признал перед журналистами, что Япония отказывается от денежного вознаграждения. Вслед за этим из Токио пришло сообщение: на улицах японской столицы начались погромы и пожары, масса невинных жертв, и если Комура осмелится вернуться на родину, он будет убит как предатель.

Американские газеты резко изменили фронт. Теперь они писали о грядущей «желтой опасности», которая от берегов Японии накатывается на всю Азию, на весь Тихий океан.

Над крышами Портсмута долго гремели орудийные салюты в честь мира, звонили колокола храмов, а на всех заводах и фабриках Америки разом застонали гудки...

Витте удалился к себе в номер, сказав секретарю:

— Мне уже надоело быть вежливым и постоянно улыбаться. Больше никаких журналистов и фотографов ко мне не допускать! Я желаю отдохнуть ото всей этой болтовни...

...Наш академик В. М. Хвостов, авторитетный специалист в вопросах международного права, писал, что отторжение Сахалина от России в Токио даже не считали таким уж обязательным требованием: «Ясно, что если бы царь и его дипломаты проявили должную выдержку, то можно было бы Сахалин отстоять!»

Сахалинский вопрос, не разрешенный в Портсмуте, был окончательно разрешен в августе 1945 года.

Его в кратчайший срок — и без лишних разговоров — разрешили наши десантники, солдаты Советской Армии и матросы Тихоокеанского флота, которые одним стремительным броском вернули Сахалин русскому народу — хозяину!

ДАМА ИЗ «ГОТСКОГО АЛЬМАНАХА»

В 1929 году «Готский альманах», старинный и авторитетный справочник всей европейской знати, упомянул, «что еще жива княгиня Екатерина Радзивилл, урожденная графиня Ржевуская, родная племянница Эвелины (Евы) Ганской, жены знаменитого Бальзака. Удостоенная такой чести, названная аристократка не приняла русскую революцию, но политическое убежище искала все-таки на родине — в Ленинграде, где и проживала на Лиговке. Сообщая об этом факте, Андре Моруа в своей книге о Бальзаке утверждал конкретно: «В жизни Екатерины Радзивилл все сплошная выдумка и ложь...»

Я смотрю на фотографию женщины, скромно одетой и причесанной, невольно думая о том, что пути житейские, как и пути господни, неисповедимы. Здесь неизбежно последует перерыв, чтобы задуматься над главным — с чего начинать?

Начать можно и с анекдота, но вполне пристойного, исторического... Пост российского посланника в Париже занимал одноглазый князь Николай Орлов, однажды к нему в кабинет вошел секретарь посольства, сильно взволнованный:

- Швейцар не пропускает странного человека, называющего себя вашим дедушкой, чего быть не может. Наверное, сумасшедший! Прикажете звать полицию или санитаров из бедлама?
 - В нашей жизни, отвечал Орлов, все может быть. До-

гадываюсь, что меня пожелал видеть супруг моей бабушки. А моей матери он доводится отчимом... Лучше я сам стущусь вниз.

дабы распахнуть перед ним свои внучатные объятия!

Речь шла о графе Адаме Адамовиче Ржевуском, сестрою которого была Эвелина Ганская-Бальзак. Воспитанник галицийских иезуитов, граф Адам еще в пору офицерской младости женился на старухе-вдове Жеребцовой, обладавшей солидным капиталом (дочь от ее первого брака, с Жеребцовым и была матерью князей Орловых). Сам Ржевуский, далекий от своей польской родни, постоянно проживал в Петербурге, состоя в свите царя. Судя по всему, он обладал твердым характером. В один из дней, когда граф поступил вопреки воле императора, Николай I подвел его к окну, из которого виднелись тюремные равелины Петропавловской крепости.

Ржевуский, ты видишь? — зловеще спросил он.

— Вижу, ваше величество.

— А что это такое? — грозно вопросил император.

— Это... гробница царей дома Романовых!

Сватаясь к Эвелине Ганской, Бальзак не был принят Адамом Ржевуским в его доме, а когда писатель жил в имении Верховня на Украине, граф осыпал сестру грубыми попреками за этот «неравный» брак с «мещанином». Но Эвелина, ставщая женой умирающего писателя, знала, что имя Бальзака будет ей хорошим дополнением к титулу — залогом успеха в парижском обществе: все в мире забудут ее первого мужа Вацлава Ганского, зато будут помнить бессмертного Бальзака...

Эвелина не видела агонии Бальзака: ее сердце в это время уже принадлежало модному портретисту Жигу. Растрепанная и полураздетая, она вышла из спальни лишь затем, чтобы убедиться в своем вдовстве. Сколько Бальзак описал в своих романах семейных трагедий, но такой, как его смерть, он придумать не мог. Бальзак очень любил мечтать о миллионах, которые он заработает при жизни, предваряя Эвелину: «К несчастью, творчество мое составит состояние, когда мне уже не нужно будет никакого состояния». Так и случилось. Весь архив писателя достался его вдове, сделавшись главным источником ее обогащения. Началась эксплуатация «Человеческой комедии»; дьявольским трудом, который и свел Бальзака в могилу, писатель невольно обогатил других, недостойных такого общирного наследства...

Между тем граф Адам Ржевуский овдовел и женился вторично. На этот раз он взял в жены молоденькую Анечку Дашкову, дочь министра юстиции. Но в марте 1858 года она умерла, оставив мужу дочь Катеньку, которая и станет главной геронней нашего рассказа. Девочке запомнилась смерть в Рязани ее

бабушки, урожденной Пашковой, восстание поляков, которое подавлял ее отец, сам польский шляхтич, и путешествие в Париж, где она видела своих теток — Эвелину Бальзак в ее доме на улице Фонтеню и Каролину Делакруа, жену известного живописца, державшую в Париже светский салон. О вдове Бальзака племянница позже вспоминала: «Она научила меня той силе сопротивления, которой я обладаю. Она внушала мне, что обстоятельства могут согнуть человека, но человек, верный своим принципам, обязан выпрямиться...»

Кате исполнилось 14 лет, когда отец сказал ей:

— Я приготовил тебе прекрасную партию! Если твои тетки стали женами беспутных парижских писак, Бальзака и Делакруа, то я нашел тебе жениха в Берлине.

Кто он? — спросила девочка.

— Князь Вилли Радзивилл из немецкой ветви этого рода, по чину майор славной германской армии. Его бабка была принцесса Луиза Прусская, племянница короля Фридриха Великого. Родственная династия Гогенцоллернов, ты будешь очень счастлива, дитя мое! — заключил отец, непреклонный...

Венчание и свадьба девочки с немецким майором состоялись в Верховне, давнем имении Ганских, откуда когда-то выехал Бальзак в Париж, чтобы умереть, не испытав семейного счастья. Странно, но это так: молодая ни слова не знала понемецки, муж разговаривал с ней на французском языке.

Радзивиллы имели в Берлине старинный дворец, который позже канцлер Бисмарк купил у них для себя и своего министерства. Но в ту пору, когда в нем появилась юная княгиня, в доме было уже тесновато, фрау майорша, приученная к петербургской роскоши, была недовольна, что ее загнали под самую крышу, в мансарду. В своих мемуарах, описывая подробности берлинской жизни, она почти забыла о своем муже, сообщая кратко: отъехал, вернулся, заболел, поправился. Первое рождество на чужбине было отмечено визитом германской императрицы, которая привезла Радзивиллам громадный мешок с подарками. «Этих подарков все очень боялись; трудно было вообразить что-либо уродливее вещей, какие дарила императрица. Я в первый раз удостоилась милости, получив от нее чудовищный градусник из зеленой бронзы, сделанный в форме берлинского памятника «Победы», который сам по себе уродлив...»

Со временем княгиня Радзивилл прочно вошла в берлинский свет, где процветали дамские салоны с заезжими говорунами, где на концертах Вагнера, входившего в моду, дамы впадали в истерику, а на приемах в королевском дворце бравые прусские генералы, зажав треуголки между колен, алчно поглощали дармовую лососину под майонезом. Екатерина Адамовна скучала без

мужа, выезжавшего на маневры армии, но еще больше скучала с мужем. Отдыхать от скуки она ездила в Россию, где у нее было небольшое именьице на Волге, и встречи с русской природой, русскими крестьянами и обычаями русской деревни тешили ее сердце, ибо она считала себя русской...

Женщина была умна, сообразительна, с детства наслушалась в Петербурге политических разговоров, из своей берлинской мансарды она смело судила о европейской политике. Равнодушная к музыке Вагнера, княгиня любила посещать рейхстаг, выслушивая политические дебаты, Екатерина Адамовна была в восторге от речей Августа Бебеля. «Никогда еще старинное здание не оглашалось такими возгласами, как в этот момент, — писала она. — Всякий невольно был тронут воззванием старика к чувствам справедливости и человеколюбия...»

Каждый год она с мужем навещала Петербург, чтобы повидать стареющего отца; своих детей на всю зиму оставляла в русской столице на попечение бабушки, сама выезжала в Ниццу. После скоропостижной смерти генерала Скобелева ей пришлось разговаривать с фельдмаршалом Мольтке, который сказал:

— Не скрою, смерть Скобелева вызвала во мне радость!

«Я никогда не забуду, как смутился старый фельдмаршал, когда я ему сказала, что белый генерал был моим двоюродным братом» (их родство было через Пашковых). В 1882 году умерла в Париже ее тетка Эвелина Бальзак, а чета Радзивиллов приняла русское подданство; они покинули Берлин и поселились в Петербурге. Впрочем, английские журналисты, знавшие княгиню лучше других, писали, что она не просто покинула Берлин, а была вышвырнута оттуда по настоянию Бисмарка, ибо за кулисами германской политики пыталась проводить свою политику — в личных целях! Кроме того, княгиня Радзивилл написала роман, «который наделал большого шума, представив подноготную германской политики», что вызвало приступ ярости железного канцлера.

Так проходило время до 1899 года, когда княгиня Радзивилл вдруг исчезла из светской жизни. Она бросила мужа, оставив ему четверых своих детей. Начиналась самая безумная полоса ее жизни. Андре Моруа пишет, что княгиня «создала из своей собственной жизни р о м а н, до странности похожий на бальзаковские романы». Наша героиня была как раз в бальзаковском возрасте. Это очень опасный возраст, когда женщина сама не знает, на что она способна...

Чего искала она, бежав от детей и мужа?

Но княгиня вдруг оказалась в Англии, где следила за расписанием пассажирских пакетботов, отходящих в Кейптаун.

На одном из них должен был отплыть Сесил Родс — гений колониального грабежа, мечтающий о создании единой британской колонии от новостроек африканского Кейптауна до острова Кипр; в ту пору этого международного террориста именовали «африканским Наполеоном» или «первым гражданином Великобритании и всех тех стран, где говорят поанглийски».

Колониальное величие Англии было издревле созидаемо авантюристами, а политики Уайт-Холла лишь придавали видимость законности всем узурпациям. Английская королева Виктория, тряся брылами дряблого подбородка, однажды спросила Родса:

- Сесил, что вы там делаете в Южной Африке?
- Увеличиваю владения вашего величества.
- Правда ли говорят, что вы ненавидите женщин?
- В с е х на свете, кроме вашего величества...

От имени Родса произошло название страны «Родезия».

Своей столицей он сделал город Кимберли, где черные рабы добывали бриллианты для британской короны и слитки золота для банковских полвалов Натана Ротцильда.

Но «алмазная лихорадка» в Африке не была воспета ни Бретом Гартом, ни Джеком Лондоном, почему проспиртованный Клондайк или дремучий Юкон стали известнее Кимберли и золотых россыпей Ранда с их преступной экзотикой. Здесь полновластно владычил Сесил Родс, и он вспоминается мне каждый раз даже сегодня, когда в телевизионных программах «Время» показывают кровавые кошмары дней и ночей бунтующей Южной Африки...

Нестерпимый блеск африканской Голконды увлекал к шахтам Кимберли всех подонков мира, сюда сбегались многие представители отбросов. общества, алчущие наживы, и средь них оказалась наша прекрасная героиня, вписанная в «Готский альманах» дотошными генеалогами... Трудность ее женской задачи осложнялась чересчур важным обстоятельством: Сесил Родс принадлежал к редкой породе мужчин — он был яростным женоиснавистником, о чем и сам не раз возвещал открыто:

— Нет такой обольстительной Саломеи, которая бы своим грсховным танцем отвлекала меня от важных дел по созданию новой африканской Англии с телеграфом и железной дорогой — от моих шахт Кимберли до гробниц фараонов в Каире. Я не могу уничтожить всех женщин в мире. Но я способен не замечить этих животных, только мешающих нам, мужчинам, делать свое дело...

Екатерина Радзивилл понимала, что победа над таким чудовищем викторианской эпохи будет нелегка, и возлагала надежды только на скуку дальнего плавания от Лондона до Кейптауна.

Окруженный сонмом прихлебателей и секретарей. Родс за столом кают-компании с ненавистью озирал женщину в беленькой кофточке с пышным коком волос над высоким лбом. Сначала он на все ее вопросы лишь огрызался, как бульлог. берегущий драгоценную кость, из которой еще не высосан весь мозг

- Наверное, алмазы из ваших копей воруют, сэр?

— О да! — ворчал Родс, оскалясь. — Но по дороге от шахты

до бараков компаунда всех негров обыскивают.

«Компаунд» — так назывались опутанные проволокой негритянские гетто, ставшие прообразом будущих концлагерей. Екатерина Адамовна втягивала Сесила Родса в беседу, как тянут непокорного быка на бойню. Следовал ее деликатный вопрос:

-- Разве нельзя добытый алмаз проглотить?

- Негры их и глотают, мрачно пояснил Родс. Но в конце рабочего дня мы даем им столько касторки, что все алмазы вылетают, как пробки из шампанского, после чего стражи порядка ковыряются в баках для нечистот, выискивая караты.

— Боже, как это грубо! — ужаснулась княгиня.
— Да, — согласился Родс, — самые драгоценные бришлианты воняют дерьмом, и тут уж ничего не поделаешь...

Радзивилл не плясала перед ним танец Саломеи, но Родс вскоре и сам ощутил угрозу своей мужской независимости. Своих попутчиков он предупредил:

- Это очень опасная женщина... даже для меня! Потому прошу вас не оставлять меня наедине с нею. Мало ли что может случиться в потемках тесной каюты...

Радзивилл, наверное, вспомнила свою тетку Бальзак, которая преподавала ей уроки принципов, ведущих только к победам. Она ловко и быстро перестроила свой фронт, обнажив перед Родсом более острое оружие, каким обладала, — это была

Разгоралась англо-бурская война, весь мир был возмущен насилием Уайт-Холла, и потому Родс схватил наживку вместе с крючком, как глупый карась. Княгиня привела его в восторг.

Своим попутчикам он стал объяснять совсем другое.

— Откуда берутся такие удивительные женщины? — говорил он. - Кажется, она в Берлине не теряла времени напрасно и достаточно поковырялась в протухших мозгах самого Бисмарка. Я в Лондоне даже у наших лоботрясов парламента не встречал столько понимания, какое нашел в этой стыпливой тихоне.

Пакетбот еще не доплыл до Кейптауна, когда в свите Родса всезнающие секретари стали тишком поговаривать:

— Наш главный рудокоп, кажется, решил жениться. Как бы в наши «копи царя Соломона» не забралась эта пассажирка,

у которой никто не догадался спросить паспорт...

Княгиня — еще в море — верно определила, что Родсу осталось недолго жить, и, наверное, ее расчет был настолько же безошибочен, как за полвека до этого был точен расчет ее тетки, ведущей под венец умирающего Бальзака. Между тем находиться подле Родса было жутковато, а выслушивать его даже страшно:

— Расширение — это все! Мир почти поделен, а то, что осталось, лишь жалкие объедки, которые скоро расхватают другие. Жаль, что я не могу добраться до звезд! Я бы аннексировал даже планеты, включив их в могучую систему Британской империи... Вы, очевидно, замужем? — неожиданно спросил Родс.

Но такой вопрос не застал княгиню врасплох.

— Нет, — скромно солгала она, — я разведена с мужем, не найдя в нем должного отклика на мои духовные запросы...

Что ей теперь этот германский майор с закрученными до ушей усами? Теперь ее руку держал сам великий Родс, король золота и бриллиантов, премьер Капской колонии и будущий владыка всей Африки.

Сразу из гавани он отвез женщину в свое имение Грут-Муур, где у него была гигантская, но безобразная вилла «варварской» архитектуры. Здесь княгиня повела себя как хозяйка. Пожалуй, она вела себя с Родсом даже не как женщина, желающая усмирить его в узах брака, а, скорее, как писатель, собирающий материал о главном герое будущего авантюрного романа.

Впоследствии она писала, что Родс «не имел никакого понятия о разнице между добром и злом, подчиняясь непреодолимой жажде мести врагам и бесповоротному самолюбию... он жаждал только одного — власти, а стремился лишь к одному — к силе! Родс никогда не сознавал, что совершил нечто дурное, постоянно восторгаясь всем тем, что он делал, что говорил или что он думал». Но в этой характеристике, чересчур правдивой и слишком жестокой, уцелело одно признание княгини, выгодное и опасное для нее: «Родс догадывался, что я держала в своих руках его политическую репутацию...» Правда, ее не раз коробило от цинизма, который Родс никогда не скрывал. Однажды, обедая в обширном кругу гостей, он заговорил о недавнем восстании племени матабиле. Забыв дату, он повернулся к лакею, который был сыном Лобенгулы, вождя этого племени:

- Напомни, в каком году я зарезал твоего отца!...

В другой раз он велел расстрелять невинного человека, после чего не устращился принять у себя его вдову:

— Вы напрасно решили, что от жалости к вам я всю ночь страдал бессонницей. Вы верно думаете обо мне, что я палач...

Радзивилл играла с огнем: если у Родса нет чувства жалости даже к народам, так что ему судьба женщины, осмелившейся держать его репутацию? Когда ласками, когда намеками она вынуждала сатрапа писать ей любовные записки, исподтишка наблюдая, как он расписывается в банковских чеках, — и сама потихоньку училась копировать родсовский почерк. Кажется, в своих претензиях она потеряла меру, и тогда от Родса снова услышали:

- Ради бога, не оставляйте меня с нею наедине...

Наверное, он просто испугался, что женщина знает о нем слишком много, а скоро узнает больше чем надо. Смерть уже поставила на лице Родса свою шаблонную печать, но болезны не сделала его мягче. Презирая всех, он совсем не обижался, видя, что люди, окружавшие его, тоже выражают ему свое презрение. Екатерина Адамовна даже обрадовалась, когда Родс отлучился в Каир и Рим — ради деловых визитов. О том, что случилось далее, она корректно умолчала в своих мемуарах. Но тайная разведка Сесила Родса уже не сводила с нее глаз, и вскоре его известили, что его «невеста», такая милая, такая обворожительная дама из «Готского альманаха», подала в банк чек на 29 тысяч фунтов стерлингов, подписанный е г о рукою.

— Я никогда этого не делал! — сразу заявил Родс, и он был

прав, ибо чеков на ее имя никогда не подписывал.

Родс велел судить княгиню за подлог и сам, бросив лечение в Европе, срочно вернулся в Кейптаун, чтобы присутствовать на процессе. «Его показания, — отметил Андре Моруа, — были убийственны для обвиняемой». По настоянию Сесила Родса, жалости никогда не ведавшего, аристократку упрятали в душную камеру вонючей тюрьмы с клопами. Там она и сидела долгих два года, дождавшись известия о смерти своего «жениха».

В. А. Тимирязев (брат нашего знаменитого ученого) писал:

«Таким образом княгиня Радзивилл заканчивает роковую историю ее отношений к Сесилу Родсу, накидывая на нее некую таинственную завесу. Что касается до истинной правды, то вряд ли придется ее дождаться...»

Но мы этой правды все-таки дождались!

Посмертная слава бальзаковского гения росла во всем мире, и Радзивилл, выпущенная из кейптаунского клоповника, вер-

но рассудила, что надежнее опираться на величие славы своего «дяди», нежели искать нежности в шайке империалистов...

Тем временем муж потребовал развода с нею, опороченной связью с Родсом и подлогом с чеками. Дурная молва гнала княгиню прочь из Африки, но аристократия Европы тоже отвергала ее как мошенницу, способную залезть в чужой карман. Тогда княгиня обратила свои тоскующие взоры на Америку, и решение ее никак не назовешь легкомысленным. Американцы, эти наивные простаки, сами не имея своей аристократии, кроме денежной, охотно глазели на аристократов Европы, веря всему, что они скажут. Радзивилл решила использовать свое знатное происхождение, свое родство по мужу с Гогенцоллернами, а свои речи в Америке она заводила прямо с короля Фридриха Великого.

— Наконец, — завершала она свои лекции, от которых шалели «демократы», — я племянница великого романиста Бальзака.

Она разила простаков наповал. Явление княгини в Штатах можно было сравнить только с ожиданием кометы Галлея, явление которой предвещало большую смуту. Конечно, она возбудила большой интерес среди заокеанских любителей «человеческой комедии», которые увидели в ней неиссякаемый источник свежей информации о самом Бальзаке и о соблазнившей гения Эвелине Ганской...

Теперь «бальзаковский» роман писался без передышки!

В 1904 году она сыскала в Лондоне издателя своих мемуаров, предупредив его, что это лишь первый том воспоминаний.

- Чем кончается? был задан ей вопрос.
- Смертью британской королевы Виктории.
- А почему не Сесила Родса? последовал вопрос.
- Родса я отодвинула во второй том.
- А я желаю, чтобы он поместился в первом...

Мемуары были переведены на русский язык в самый разгар русско-японской войны. В этой войне отличился ее сын, князь Вацлав Радзивилл, офицер русской армии, ставший героем обороны Порт-Артура: отчаянный разведчик, он дважды, маскируясь под китайского хунхуза, переходил линию фронта с депешами.

Но матери, кажется, было мало дела до своих детей, оставленных вместе с мужем. Через два года ее брак с Радзивиллом был расторгнут, а петербургская и берлинская родня краснела при упоминании ее имени. В канун мировой войны она стала женою мюнхенского инженера Карла Кольба. Под фамилией второго мужа она в 1913 году опубликовала в России воспоминания о своем отце, графе Адаме Ржевуском.

А в 1915 году в парижском монастыре на улице Вожирар умерла падчерица Бальзака — графиня Анна Мнишек: последняя свидетельница жизни Бальзака с Эвелиною Ганской отправилась в небытие, и отныне уже никто не мог помещать Радзивилл-Кольб отпраздновать свое право на близкое родство с женою великого писателя. Проще говоря, ей на старости лет котелось устроить свое благополучие на костях тех сородичей, что навеки успокоились на парижском кладбище Пер-Лашез...

Началась новая эпоха, которую она восприняла враждебно. Из Петербурга, ставшего Ленинградом, княгиня позже удалилась в Европу, чтобы стричь купоны со своего аристократизма, заверенного на страницах почтенного «Готского альманаха». К тому времени в Европе уже вполне сложилось научное бальзаковедение, и потому Екатерине Адамовне было гораздо сложнее выступать в роли племянницы Бальзака. Она пошла иным путем, на котором легче всего обмануть почитателей бальзаковского гения.

Так появились на свет в Париже сначала одиннадцать, а потом и семнадцать писем Эвелины Ганской к ее брату — графу Адаму Ржевускому, которые якобы уцелели лишь в копиях. Вот образчик начального письма, открывавшего «невшательский» роман 1833 года: «Я наконец познакомилась с Бальзаком, — якобы писала Ганская брату. — Помнишь, ты предсказывал, что он ест с ножа и сморкается в салфетку. Ну так вот, если он и не совершил второго преступления, то в первом оказался повинен».

В подобных письмах развернулся роман Ганской с писателем, точнее — выдумка об этом романе ее племянницы, которая сама сочиняла письма от имени своей тетки. Это был такой же подлог, как и в деле с фальшивыми чеками.

Екатерина Адамовна, надо признать, хорошо подготовилась к фальсификации чужой любви. У нее всегда был готов ответ:

- Не волнуйтесь! Весь архив графов Ржевуских укрыт мною в надежном месте, сейчас еще не время обнажать его тайны. Но я при жизни оставлю завещание, чтобы его опубликовали.
 - Когда? возникал естественный вопрос.
 - В тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году...

Она знала, что в 1958 году ее не будет в живых. Но в этом году исполнится ровно сто лет со дня ее рождения.

Княгини давно не было уже на белом свете, когда бальзаковеды Франции и Америки уличили ее во лжи — последней лжи в ее жизни...

Я не знал, с чего мне начать, а теперь не знаю, чем мне закончить. Наверное, тем, что сказано.

ПОРТРЕТ ИЗ РУССКОГО МУЗЕЯ

С чеканным стуком падала туфля на каменные плиты храма Шатель, а холодные своды при этом гулко резонировали. Обнаженная высокая женщина с перстнями на пальцах рук и ног всходила на шаткое ложе, как на заклание.

Изгиб ее спины был удивителен, как и вся она. В этой женщине — все приметы времени, в котором она жила. Современники писали: «Худощавое стальное тело, странно напоминающее кузнечика. Очарование ядовитое, красота на грани уродства, странное обаяние!»

И вот, когда я увидел ее впервые, я мучительно обомлел:
— Кто она? Откуда пришла к нам? И почему она здесь?

Встреча моя с нею произошла в Русском музее...

Меня волновал этот резкий мазок, с такой сочностью обоэначивший ее спину и лопатки. И почему она (именно она!) до сих пор привлекает внимание к себе? Почему столько споров, столько страстей, которые продолжаются и поныне... Только потом я узнал, что для нее (специально для нее!) были написаны:

ГЛАЗУНОВЫМ — «Саломея» («Пляска семи покрывал») в 1908 голу:

ДЕБЮССИ — «Мученичество Святого Себастьяна» в 1911 году;

РАВЕЛЕМ — энаменитый балет «Болеро» в 1928 году; СТРАВИНСКИМ — «Персефона» в 1934 году. Но особенно остро меня всегда тревожил один момент в биографии этой женщины. Когда она предстала перед Серовым. Но для этого надо быть последовательным. Начнем с начала.

И сразу — вопрос: а где оно, это начало?

Конец всегда найти легче, нежели начало. А начало я отыскал в дне 27 августа 1904 года, когда Вера Пашенная, скромница в бедном сатиновом платье, пришла в Малый театр держать экзамен при студии. Ее буквально ослепил этот зал, но уже на склоне лет она призналась, что от этого дня «ярко запомнилась только од на фигура!» Мимо нее прошла красавица в пунцовом платье, вся в шорохе драгоценных кружев, за нею волочился длинный шлейф... «Меня поразила прическа с пышным напуском на лоб. Онемев, я вдруг подумала про себя, что я совершенно неприлично одета и очень нехороша собой...»

Так появилась Ида Львовна Рубинштейн, и скоро видный актер и педагог А. П. Ленский стал хвастать по Москве своим

друзьям:

— А у меня теперь новая ученица — будущая Сара Бернар!.. Ида Рубинштейн родилась в еврейской семье киевского миллионера-сахарозаводчика. Училась в петербургской гимназии. Длинноногая девочка, нервная и томная, «она производила впечатление какой-то нездешней сомнамбулы, едва пробудившейся к жизни, охваченной какими-то чулесными грезами...» Ида сознавала обаяние своей поразительной красоты и. казалось, уже смолоду готовила себя к роли околдованно-трагической. Начинала же она с изучения русской литературы, которую пылко любила. Ее привлекала тогда художественная декламация. Но голос дилетантки терялся в заоблачных высях. не возвращаясь на грешную землю. Это был пафос — взлет без падения. «Не то! Совсем не то...» Ида Рубинштейн заметалась из театра в театр. Станиславский уже заметил ее и звал Иду в свой прославленный театр. Но Ида оказалась у Комиссаржевской, где она «...не сыграла ровно ничего, но ежедневно приезжала в театр, молча выходила из роскошной кареты в совершенно фантастических и роскошных одеяниях, с лицом буквально наштукатуренным, на котором нарисованы были, как стрелы, иссиня-черные брови, такие же огромные ресницы у глаз и пунцовые, как коралл, губы; молча входила в театр, не здороваясь ни с кем, садилась в глубине зрительного зала во время репетиции и молча же возвращалась в карету».

Актер А. Мгебров не понял, зачем Ида приходила в театр. А дело в том, что Комиссаржевская готовила к постановке пьесу Оск. Уайльда «Саломея». Ида Рубинштейн должна была выступить в заглавной роли. Библейская древность мира! Всей своей внешностью она как нельзя лучше подходила к этой роли. Из-

нестный театровед В. Светлов писал: «В ней чувствуется та иудейская раса, которая пленила древнего Ирода; в ней — гибкость змен и пластичность женщины, в ее танцах — сладострастноокаменелая грация Востока, полная неги и целомудрия животной страсти...»

Казалось бы, все уже ясно, путь определен. Готовясь к этой роли. Ида Рубинштейн прошла выучку таких замечательных режиссеров, как А. Санин и В. Мейерхольд. Опытные мастера русской сцены уже разгалали в Иле тот благородный материал. из которого можно вылепить прекрасную Саломею. Но... тут вмешался черносотенный «Союз русского народа» во главе с Пуришкевичем. Ополчился на Саломею и святейший синод постановку запретили, театр Комиссаржевской прекратил сушествование.

А издалека за Идою следили зоркие глаза Станиславского.

«Звал же я ее учиться как следует, — сообщил он с горечью отвергнутого учителя, — но она нашла мой театр устаревшим. Была любительницей и училась всему... Потом эти планы с Мейерхольдом и Саниным, строила свой театр на Неве. Сходилась с Дункан — та прогнала ее. Опять пришла ко мне и снова меня не послушалась!»

«Саломея» увлекала ее. Иде казалось, что она сможет обойти запрет синода, поставив пьесу в домашних условиях. Не тутто было! Но в это время она встретилась с непоседой Михаилом Фокиным.

— Научите меня танцевать, — попросила она его. Этому обычно обучаются с раннего детства, и Фокин глядел на Иду с большим недоверием. Какое непомерно узкое тело! Какие высокие, почти геометрические ноги! А взмахи рук и коленей как удары острых мечей... Все это никак не отвечало балетным канонам. Но Фокин был подлинным новатором в искусстве танца.

Фокин в балете — то же, что и Маяковский в поэзии.

Попробуем, — сказал великий реформатор...

Как раз в это время Париж был взят в полон «русскими сезонами»; Сергей Дягилев пропагандировал русское искусство за границей. Респектабельный, с элегантным клоком седых волос на лбу, он почти силой увез в Париж старика Римского-Корсакова. «Буря и натиск!» Шаляпин, Нежданова, Собинов. Перед ощеломленной Европой был целиком пропет «Борис Годунов» и вся (без купюр) «Хованщина». Мусоргский стал владыкою европейских оперных сцен. Русский портрет, русские кружева, декорации... Но Дягилев морщился:

- А где балет, черт побери?

Ида Рубинштейн бросила мужа, оставила дом и, следуя за

Михаилом Фокиным, очертя голову кинулась в Европу, как в омут. Вдали от суеты, в тихом швейцарском пансионе Фокин взялся готовить из Иды танцовщицу. Неустанный труд, от которого болели по ночам кости! Никакого общества, почти монашеская жизнь, и только одна забава: хозяин отеля поливал из шланга водою своих постояльцев.

Вряд ли тогда Ида думала, что ее ждет слава.

«Русский сезон» продолжался. И вот, когда французы по горло уже были сыты и русской живописью, и русской музыкой, и русским пением, вот тогда (именно тогда!) расчетливый С. Дягилев подал напоследок Парижу — как устрицу для обжоры! — Иду Рубинштейн.

И оглушающим набатом грянуло вдруг: слава!!!

Валентин Александрович Серов приехал в Париж, когда парижане уже не могли ни о чем говорить — только об Иде, все об Иде. В один день она стала знаменитостью века. Куда ни глянешь — везде Ида, Ида, Ида... Она смотрела с реклам и афищ, с коробок конфет, с газетных полос — вся обворожительная, непостижимая. «Овал лица как бы начертанный образ без единой помарки счастливым росчерком чьего-то легкого пера; благородная кость носа! И лицо матовое, без румянца, с копною черных кудрей позади. Современная фигура, а лицо — некоей древней эпохи...»

Конечно, натура для живописца наивыгоднейшая!

Серов увидел ее в «Клеопатре» (поставленной по повести А. С. Пушкина «Египетские ночи»). На затемненной сцене сначала появились музыканты с древними инструментами. За ними рабы несли закрытый паланкин. Музыка стихла... И вдруг над сценою толчками, словно пульсируя, стала вырастать мумия. Серов похолодел — это была царица Египта, мертвенно-неподвижная, на резных котурнах. Рабы, словно шмели, кружились вокрут Клеопатры, медленно — моток за мотком — освобождая ее тело от покровов. Упал последний, и вот она идет к ложу любви. Сгиб в колене. Пауза. И распрямление ноги, поразительно длинной!

— Что-то небывалое, — говорил Серов друзьям. — Уже не фальшивый, сладенький Восток банальных опер. Нет, это сам Египет и сама Ассирия, чудом воскрешенные этой женщиной. Монументальность в каждом ее движении, да ведь это, — восхищался Серов, — оживший архаический барельеф!

Художник верно подметил барельефность: Фокин выработал в танцовщице плоскостный поворот тела, словно на фресках древнеегипетских пирамид. Серов был очарован: все его

прежние опыты создания в живописи Ифигении и Навзикаи вдруг разом обрели выпуклую зримость.

— Увидеть Иду Рубинштейн — это эта п в жизни, ибо по этой женщине дается нам особая возможность судить о том, что такое вообще лицо человека... Вот кого бы я охотно писал!

Охотно — значит, по призыву сердца, без оплаты труда.

— А за чем же тогда дело стало? — спросил художник
 Л. Бакст.

Серов признался другу, что боится ненужной сенсации.

- Однако ты нас познакомь. Согласится ли она позировать мне? А если да, то у меня к ней одно необходимое условие...
 - Какое же?
- Я желал бы писать Иду в том виде, в каком венецианские патрицианки позировали Тициану.
 - Спросим у нее, оживился Бакст. Сейчас же!

Без жеманства и ложной стыдливости Ида сразу дала согласие позировать Серову обнаженной. Жребий брошен — первая встреча в пустынной церкви Шатель. Через цветные витражи храм щедро наполнялся светом. Пространство обширно. О том, что Серов будет писать Иду, знали только близкие друзья. Для остальных — это тайна...

— А не холодно ли здесь? — поежился Серов.

Ида изнеженна, как мимоза, и ей (обнаженной!) в знобящей прохладе храма сидеть по нескольку часов в день... Вынесет ли это она? Проникнется ли капризная богачиха накалом его вдохновения? Не сбежит ли из храма? И еще один важный вопрос: выдержит ли Ида убийственно-пристальный взор художника, который проникает в натуру до самых потаенных глубин души и сердца? А взгляд у Серова был такой, что даже мать не выдерживала его и начинала биться в истерике: «Мне стращно... не смотри на меня, не смотри!»

Из чертежных досок художник соорудил ложе, подставив под него табуретки. Он закинул его желтым покрывалом. Впервые он (скромник!) задумался о собственном костюме и купил для сеансов блузу парижского пролетария. Этой неказистой одеждой Серов как бы незримо отделил себя от своей экзотичной и яркой натурщицы. «Ты — это ты, я — это я, и каждый — сам по себе!»

Кузина Серова вызвалась во время работы готовить для него обеды на керосинке. Листок бумаги, упавший на пол, вызывал в храме чудовищный резонанс, шум которого долго не утихал. А потому Серов предупредил сестру:

- Ниночка, я тебя прошу: вари что хочешь или ничего не

вари, но старайся ничем не выдать своего присутствия. Пусть госпожа Рубинштейн думает, что мы с нею в Шатель наедине...

Никто не извещал улицу о ее прибытии, но вот в храм донесся гул восторженных голосов, захлопали ставни окон, из которых глядели на красавицу парижане, сквозь прозрачные жалюзи в соседнем монастыре подсматривали монахи.

— Вот она! — сказал Серов, и лицо его стало каменным...

Ида явилась с камеристкой, которая помогла ей раздеться. Серов властным движением руки указал ей на ложе. Молча. И она взошла. Тоже молча. Он хотел писать ее маслом, но испугался пошловатого блеска и стал работать матовой темперой. Лишь перстни он подцветил маслом. В работе был всего один перерыв — Ида ездила в Африку, где в поединке убила льва. Серов говорил:

— У нее самой рот, как у раненой львицы... Не верю, что она стреляла из винчестера. К ней больше подходит лук Дианы!

В работу художника Ида никак не вмешивалась, и он писал ее по велению сердца. Древность мира слилась с модерном. Тело закручено в винт. Плоскость. Рискованный перехлест ног. Шарф подчеркнуто их удлиняет. В фоне — почти не тронутый холст, и это еще больше обнажает женщину. Нет даже стены. Ида в пространстве. Она беззащитна. Она трогательна. И гуляет ветер...

Актриса позировала выносливо, неутомимо, покорно, как раба. Она безропотно выдержала сеансы на сквозняках. Только однажды возник неприятный случай. Храм Шатель пронзил звон кастрюльной крышки. Серов вздрогнул. Ида тоже. Такой восторг, и вдруг — обыденная проза жизни...

- Вам готовят обед? спросила Ида.
- Извините, отвечал Серов. Но у меня нет времени шляться по ресторанам... Чуть-чуть влево: не выбивайтесь из света!

Серов закончил портрет и вернулся на родину. В Москве мать живописца среди бумаг сына случайно обнаружила фотокопию с портрета Иды.

— Это еще что за урод? — воскликнула она.

Во взгляде Серова появился недобрый огонек:

- Поосторожней, мама! Поосторожней...
- Ида Рубинштейн? догадалась мать. И это красавица? Это о ней-то весь мир трубит? Неужели она поглотила лучшие твои творческие силы в Париже? Разве это красавица?
 - Да, отвечал Серов, это настоящая красавица!
 - И линия спины, по-твоему, тоже красива?
- Да, да, да! разгневался сын. Линия ее спины красива!..

В 1911 году серовская «Ида» поехала на Всемирную выстав-

ку в Рим. Скандал, которого Серов ожидал, разразился сразу... Впрочем, единства мнений в критике не было. Проницательный Серов сразу заметил, что портрет Иды Рубинштейн, как правило, нравится женщинам... Серова поливали грязью. Про его «Иду» говорили так:

— Зеленая лягушка! Грязный скелет! Гримаса гения! Серов выдохся, он иссяк... теперь фокусничает! Это лишь плакат!

Серов всегда был беспощадным реалистом, но в портрете Иды он превзошел себя: еще несколько мазков, и портрет стал бы карикатурой. Серов остановил свой порыв над пропастью акта вдохновения, как истинный гений! Дитя своего века, Серов и служил своему веку: над Идою Рубинштейн он пропел свою лебединую песню и оставил потомству образ современной женщины-интеллигентки в самом тонком и самом нервном ее проявлении... Из Рима портрет привезли в Москву, и здесь ругня продолжалась. Илья Репин назвал «Иду» кратко:

— Это гальванизированный труп!

— Это просто безобразие! — сказал Суриков...

Серов умер в разгаре травли. Он умер, и все разом переменилось. Публика хлынула в Русский музей, чтобы увидеть «Иду», которая стала входить в классику русской живописи. И постепенно сложилось последнее решающее мнение критики: «Теперь, когда глаза мастера навеки закрылись, мы в этом замечательном портрете Иды не видим ничего иного, как только вполне логическое выражение творческого порыва. Перед нами — классическое произведение русской живописи совершенно самобытного порядка...»

Именно так, как здесь сказано, сейчас и относится к портрету Иды Рубинштейн советское искусствоведение.

Ида Львовна не вернулась на родину. Она продолжала служить искусству за границей. Дягилев, Фокин, Стравинский, А. Бенуа — вот круг ее друзей. Абсолютно аполитичная, Ида вряд ли представляла себе значение перемен на родине. Но она никогда не принадлежала к антисоветскому лагерю.

Писатель Лев Любимов в 1928 году брал у Иды в Париже интервью. Она ошеломила его: все в ней было «от древнего искусства мимов». В тюрбане из нежного муслина, вся в струистых соболях, женщина сидела, разбросав вокруг розовые подушки.

— Напишите, — сказала она, — что я рада служением русскому искусству послужить и моей родине...

Как-то я взял в руки прекрасную книгу «Александр Бенуа размышляет». Раскрыл ее и прочитал фразу: «Бедная, честолюбивая, щедрая, героически настроенная Ида! Где-то она теперь, что с нею?..»

Ида Рубинштейн всегда считала себя русской актрисой. Но гитлеровцы, оккупировав Францию, напомнили ей, что она не только актриса, но еще и... еврейка! В этот момент Ида проявила большое мужество. Она нашла способ переплыть Ла-Манш и в Англии стала работать в госпиталях, ухаживая за ранеными солдатами. Под грохот пролетающих «фау» она исполняла свою последнюю трагическую роль.

Уже не Саломея, давно не Клеопатра. Жизнь отшумела...

После войны Ида вернулась во Францию, но мир забыл про нее. Иные заботы, иные восторги. Ида Львовна перешла в католическую веру и последние десять лет жизни провела в «строгом уединении». Она умерла в 1960 году на юге Франции. Мир был оповещен об этой кончине скромной заметкой в одной парижской газете.

Женщиной, прошедшей по жизни раньше тебя, иногда можно увлечься, как будто она живет рядом. Я увлекся ею... Иду Рубинштейн я понимаю как одну лишь страничку, скромным петитом, в грандиозной летописи русского искусства. Но при чтении серьезных книг нельзя пропускать никаких страниц.

Прочтем же и эту!

А когда будете в Русском музее, посмотрите на Иду внимательнее. Пусть вас не смущает, что тело женщины того же цвета, что и фон, на котором оно написано. Серов всегда был в поисках путей к новому. Пусть слабый топчется на месте, а сильный — всегда рвется вперед.

ПИСЬМО СТУДЕНТА МАМОНТОВА

Может, так и надо, чтобы никто об этом не знал? Россия строила крейсеры и пряла лен, она возводила баррикады и солила на зиму огурцы, народ гулял на свадьбах и бряцал кандалами, — но ведь никто и в самом деле не знал, что где-то под боком у столицы ежедневно творится что-то такое, что может привести в ужас любого... На конце тонкой платиновой проволоки иногда свисала чистая прозрачная капля. Отяжелев, она срывалась с платины и падала на стекло. Одной такой капли было достаточно, чтобы весь Санкт-Петербург стал мертв.

Россию ломало на сгибе двух веков — время нам близкое. Лев Толстой еще катался на коньках; Максим Горький, размашистый и щедрый, входил в молодую славу; по вечерам духовые оркестры раздували над провинцией щемящие вальсы; вдоль бульваров поволжских городов гуляли с кулечками орешков кустодиевские купчихи; босяки лихо загружали баржи арбузами; над зеленью пригородных дач хрипели расфранченные трубы граммофонов...

А в устье Невы или Фонтанки иногда заходил с моря одинокий катер Балтийского флота; тихо урча мотором, он медленно крался под мостами, причаливал к набережной, на которой, сунув руки в карманы пальто, его поджидал сугубо штатский человек. Молча он прыгал на палубу катера, и мотор увеличивал обороты на винт — катер спещил в сизые хляби Финского залива. Слева по борту, словно в сказке, разгорались феерические огни Петергофа и Ораниенбаума, справа массивной глыбой заводов и доков вырастал Кронштадт. Разводя за кормою волну, катер торопливо увозил молчаливого пассажира все дальше — в открытое море. Темнело...

Наконец из воды показывалось громоздкое сооружение, словно изваянное циклопами, — это был форт «Александр I», над которым реял черный флаг, а возле пристаньки качался под ветром фонарь и виднелась одинокая фигура жандарма.

Катер подруливал к пристани, никогда не подавая швартов, будто боясь коснуться стен этого форта, и жандарм принимал пассажира в свои объятия.

— Оп! — говорил он. — Вот мы и дома. Милости прошу...

Открывались тяжкие крепостные ворота, изнутри форта шибало промозглым холодом ознобленного камня. По витой лестнице прибывший поднимался наверх, снимал пальтишко и, толкнув двери, попадал в просторное помещение, где его встречали. Встречали смехом, новостями, шутками, расспросами, шампанским. Это были чумологи, а форт «Александр І» был «чумным фортом»: именно здесь, вблизи столицы, русские врачи, добровольные узники форта, давали бой той заразе, что расползалась по земному шару, имея цепную реакцию в таком логичном, но отвратительном распорядке:

КРЫСА — БЛОХА — ЧЕЛОВЕК...

Антибиотиков тогда не было; в полной изоляция от мира врачи создавали противочумную вакцину. Великий ученый Нобель, изобретатель динамита, провел свою одинокую жизнь средь гремучих раскатистых взрывов и остался цел. Но в условиях «чумного форта» уцелеть было труднее. Облаченные в прорезиненные балахоны, в галошах, с масками на лицах, врачи вступали в лаборатории, где даже глубокий вздох грозил гибелью; за стеклянной перегородкой сновали, волоча тонкие облезлые хвосты, завезенные из Китая крысы — там, в крысином вольере, уже бушевала смерть. Спасения от чумы не знали, а значит, спасения и не было. В восемь часов вечера форт запирали на засовы, ключи от ворот клал себе под подушку жандарм, осатаневший от неудобств жуткой жизни.

— Подохну я с вами, — говорил он зловеще. — Все люди как люди, живут и в ус не дуют, а я связался с учеными... не приведи Бог! Будь я дома, так в пивной бы сидел, как барин, а туг... эх!

Утром на пристани находили оставленные катерами продукты и почту. Волны с грохотом дробились о старинную кладку башен, в коридорах форта гуляли сквозняки — острые и ледяные, как ножи. Санитары, шаркая галошами по камням, обмывали горячим лизолом перила, дверные ручки, даже электіховыключатели. А бывало и так: черный флаг, дрогнув, сползал вниз, из трубы форта валил приторный дым, с моря подходил катер, матрос принимал от жандарма урну с пеплом. Вот и все, что осталось от человека, который еще вчера надеялся побороть «черную смерть».

> Царица грозная, Чума Теперь идет на нас сама...

Это Пушкин, это его «Пир во время чумы»...

Издавна человечество преследовала чума. Бедствия от этой страшной болезни испытали на себе все народы мира. Особенно много страдал Китай. При страшной скученности безграмотного населения, погибая от эпидемий, опиокурения и феодального хаоса, он оградил себя от западной цивилизации древними суевериями и традиционным пренебрежением ко всему европейскому. В самый канун XX века из Китая в Европу был завезен источник чумной инфекции — серая крыса-пасюк. Эта вспышка чумы (по названию «гонконгская») взяла немало жертв, но зато позволила ученым выделить из крысиных трупов то, что раньше ускользало от изучения, - чумную бащиллу! Опытный и неуловимый убийца человечества, величиной всего в полтора микрона, был распят на стекле и разложен под микроскопом, как преступник на эшафоте. Близился торжественный момент его казни.

А теперь, читатель, окунемся в студенческую жизнь!

Илья Мамонтов один раз послушался родителей — постунил в Пажеский корпус; во второй раз послушался самого себя из пажей вышел. Сонливый и рассеянный увалень, это был отличный товарищ, щедрый и покладистый... Дома сестры его. гимназистки Шура и Маша, встретили бывшего пажа словами:

- Теперь, Илька, тебе одна дорога в гусары!
- Хорош я буду гусар... с пенсне на носу.

 Иля, — сказала мать, — избери стезю жизни сам...
 С аристократической Фурштадтской стезя привела Илью на демократическую Выборгскую сторону, где русскую молодежь и удавна манило строгое здание Военно-медицинской академии. Переход был слишком резок и вызывающ. Вместо клубничного мусса Илья теперь поедал за завтраком «собачью радость», нарезанную кружками, в трактире пил чай вприкуску или внакпилку. Бывший паж его величества сам напросился в ординатуру Обуховской больницы, где лечилась беднота рабочих окраин. А когда в столице разгулялась холера, Мамонтов, близорукий и спарательный, пошел в холерные бараки. Из этих бараков он однажды вывел за руку мальчонку, родители которого умерли, и привел сироту в свой дом.

— У него никого нет, — сказал домашним. — Зовут его Петькой, а отчество по мне будет — Ильич... Я усыновляю его!

Так, не будучи женат, он стал отцом, а неизбежные заботы о мальчике сделали Илью еще более строгим к самому себе. Осенью 1910 года Мамонтов уже был на пятом курсе академии, когда до медиков столицы докатились слухи, что в Харбине появилась чума — не бубонная, а легочная (самая заразная, самая опасная!).

Вечером он вернулся домой согнутый от боли.

- Что с тобою? спросила мать.
- Я сделал себе противочумные прививки.
- Зачем?
- Еду в Харбин... на чуму!
- Сын мой, надо же иметь голову на плечах.
- На плечах, мама, не только голова, но и погоны будущего врача. Если чуму не задержать в Харбине, она, как сумасшедшая, со скоростью курьерских поездов проскочит Сибирь и явится здесь, в Европе! При императоре Юстиниане, мамочка, чума взяла сто миллионов жизней и даже... даже изменила ход истории человечества! Так что ты меня не отговаривай...

Заснеженная темная Россия мигала на полустанках редкими фонарями; желтоглазо мерцали тусклые огни захолустных деревень (там еще жгли прадедовскую лучину); леса, леса — и очень редко городские вокзалы, в сиянии электричества, оживленные музыкой и гамом ресторанов, прозвоненные шпорами офицеров, с носильщиками, с жандармами. Илья ехал через всю Россию, а Россия, казалось, ехала через него, проникая в душу студента своими далями, убогостью и обилием, светом и мраком. Наконец поезд вкатил вагоны в пустынную Маньчжурию. Китайские солдаты выбегали из палаток; вооруженные палками и секирами палачей, они строились под значками с уродливыми драконами.

Харбин! Илью потрясло не то, что он в Китае, а будто и не выезжал из России. Типичный русский город, каких немало в провинции: булыжные мостовые, фонари на перекрестках, а под фонарями — городовые с «селедками»... Ниже города, вдоль пристаней, в лабиринте кривых переулков, в эловонии опиокурилен, публичных домов и игральных притонов, жила чума, но все атаки ее на русскую часть Харбина отбивались санитарной инспекцией и врачебным надзором; зато в китайских кварталах царила жуть, и под ногами детей прыгали громадные жирные крысы, которых китайские кули ловили, жарили посреди улиц, поедали и тут же умирали...

В гостиницу Мамонтова не пустили.

- Чумовых нам не надобно, заявил хозяин. У меня почтенная публика-с. Дамский оркестр на скрипках соль мажор запузыривает. Господа разные мадамам разным букеты подносят... А вы здесь со своей чумой, извините за выражение, будете нереальны!
 - Куда же мне деваться?
 - Идите к своим в бараки...

В четырех верстах от Харбина был разбит противочумный лагерь; в казарме — больница, за высоким забором — громадный двор, куда по рельсам загнали сотню вагонов, ставших палатами для больных; тут же, заметенные снегом, высились штабеля трупов, имевших какой-то необычный асбестово-фиолетовый оттенок. В бараках собрались медики-добровольцы, съехавшиеся в Харбин со всей России. Мамонтов протянул им руку, и она... повисла в воздухе.

— Отвыкайте от этого, — сказала ему медсестра Аня Снежкова. — Сначала пройдите дезинфекцию, а уж потом здоровайтесь.

Илья покраснел от смущения перед девушкой, пенсне упало с его носа и стало раскачиваться на черной тесьме...

Вечером Аня Снежкова велела ему собираться.

- А где взять балахон, маску и галоши?
- Вденьте гвоздику в петлицу фрака, если догадались привезти его сюда. Я приглащаю вас на бал в клуб КВЖД.
 - А разве... Вот не думал, что на чуме танцуют.
 - Чудак! Может, это наш последний вальс в жизни...

Когда музыка оттремела, Мамонтов сказал Ане Снежковой:

 Поверьте, что я человек вполне серьезный, моему сыну уже двенадцать лет, и я... я сегодня очень счастливый, Анечка!
 Как и все чистые, непорочные люди, он влюбился с перво-

го взгляда. А утром их ждала встреча с чумой — самой настоящей...

Самое трагическое в том, что здесь никого нельзя было обмануть и никто сам не обманывался. Врачи хорошо знали, чем кончается встреча с чумою. Заразившись, они сами заполняли бланки истории болезни на свое имя, а в последней графе выводили по-латыни роковые слова: Exitus letalis (смертельный исход)! Почерк обреченных был разборчивый, у женщин даже красивый. Когда до смерти оставалось совсем немного, умирающему — по традиции — подносили шампанское, он пил его и прощался с коллегами. Потом все выходили и оставляли его одного... Сыворотка из форта «Александр I», с успехом примененная в Индии против бубонной чумы, здесь, в Харбине, осилить легочную чуму не могла: кто заболел — тот умирал! Но чума, словно издеваясь, порой выписывала сложнейшие иероглифы загадок: нашли русскую девочку, что сидела на постели, бездумно играя между умершими отцом и матерью; врачи взяли ее в барак, проверили — здорова, как ни в чем не бывало... Счастливая! Но врачи на такое «счастье» не рассчитывали. Бывало, что под конец рабочего дня один из них говорил замедленно:

— Я, кажется, сегодня увлекся и допустил ощибку. Сдвинул маску, когда этого нельзя было делать. Пожалуйста, не подходите ко мне. Ужин оставьте в коридоре, я его возьму и сам закроюсь. В случае чего не тратьте на меня вакцину — она пригодится другим.

Из форта «Александр I» приехал в Харбин известный профессор-чумолог Д. К. Заболотный*, при всех обнял и расцеловал Мамонтова.

— Барышни, — сказал он медсестрам, — вы тоже поцелуйте Илью: это подлинный рыцарь, в чем я убедился, работая с ним в Питере на холере... Кончай, Илья, академию, и я беру тебя в ассистенты. Будем вместе гонять чуму по белу свету, пока не загоним ее в тесный угол, где она и сдохнет под бурные овации всего мира!

Потом профессор отозвал в сторону Аню Снежкову.

- Анечка, сказал он ей. Йлья хороший человек, но малость нескладный. Чумогонство не терпит рассеянности. Даже слишком собранные натуры, застегнутые и замотанные до глаз, и то иногда ошибаются. А он за все хватается голыми руками, пенсне у него вечно болгается на шнурке... Присмотрите за ним!
- Хорошо, Данила Кириллыч, отвечала Снежкова. Я-то ведь очень осторожна в работе, промашки нигде никогда не допущу...

Изолировать больных от здоровых, а здоровых оградить от чумы — такова задача, которую поставил Заболотный перед врачами. Каждое утро сотни китайцев толпились близ пропускного пункта, надеясь, как обычно, проникнуть в русскую часть Харбина, где они искали себе дневной заработок и пищу. Карантин охраняли сибирские стрелки в мохнатых шапках, врачи осматривали каждого китайца. Обутые в матерчатые тапочки, китай-

^{*} Заболотный Д. К. (1866—1929) — всемирно известный эпидемиолог, «чумогон», как называл он себя; академик и президент Украинской академии наук; при похоронах Заболотного за его небывалое мужество в борьбе с чумою ему были отданы воинские почести. Я не знаю другого примера, чтобы воинские почести отдавались врачу!

щы часами выстаивали на снегу — сплошная серая стенка, не выражавшая нетерпения, как это бывает с русскими, когда их долго мурыжат в очереди.

Но это лишь оборонительная операция, а врачи вели и наступление.

Илья понял, что это такое, когда в составе «летучки», неповоротливый от тяжести защитных доспехов, он проник в китайский район Фудзядзян, куда русские до этого никогда не шглядывали. В опиокурильне было темно и сыро, как в могиле, только вспыхивали огоньки трубок. Хозяин курильни следил за порядком: вынув трубку изо рта уснувшего (или умершего?) наркомана, он совал ее в рот другому китайцу. Когда вскрыли пол, там лежали уже разложившиеся чумные трупы. Здесь, в Фудзядзяне, китайцы уже не были покорны, как на пропускном карантине, — здесь они отбивались от осмотра, и даже умирающие от чумы старались заполэти в какую-нибудь щель, чтобы врачи не нашли их... Аня Снежкова глухо и невнятно (через плотную маску) сказала Илье:

- Проверим вон ту фанзу. Пошли, и слушайся меня!

Казалось, что фанза давно вымерла. Но едва санитары тряхиули дверь, как отовсюду посыпались на снег китайцы. Илья не поверил своим глазам: фанза — вроде будки, а населяло ее человек сорок, и, конечно, половина из них уже зараженные; они выкрикивали угрозы, а из их ртов текла кровь черного цвета (явный признак чумы). Мамонтов полез на чердак, откуда долго сбрасывал вниз труп за трупом.

Когда мертвецов набралось две телеги, Аня Снежкова сказала:

- Теперь ты понял, что такое одна китайская фанза...

Но самое ужасное было в том, что китайцы отвергали всяческую помощь врачей, всеми силами сопротивлялись вмешательству медицины. Тревога по поводу действий медиков звучала даже на страницах газет. Так, жалея своих «несчастных, запертых в вагоны, плачущих» соотечественников, газеты возмущались тем, что «три раза в день (!) их осматривают доктора и всякого, чуть кашляющего и слабого, объявляют зараженным чумою». Врачам попало как раз за то, за что надобно похвалить: прижды в день общаться с чумными — это три раза сыграть в кошки-мышки со смертью; это все равно что солдату трижды в лень подниматься в штыковую атаку! Русские врачи были замочны в спецодежду, и только глаза у них оставались открытыми. Кос-кому из больных пришла в голову совершенно безумная мысль: плевать врачам в глаза! Первой жертвой оказался студент Беляев — через несколько дней он умер от чумы...

Данила Кириллович Заболотный сказал:

— Китайская вежливость вошла в поговорку. Но в этом случае китайцы повершили все рекорды своей церемонности. Что ж, господа хорошие! Работать все равно нужно...

Ане Снежковой профессор еще раз напомнил:

- Илья старается и может перестараться. Вы, миленькая, не давайте ему излишне увлекаться. Мало ли что...
 - Не волнуйтесь. Он от меня не отходит.
 - Влюблен?
 - Кажется, да. Но сейчас это выглядит глупо.
 - Любовь, Анечка, никогда не бывает глупой...

Мамонтов много часов проводил в лаборатории — над анализами чумной мокроты. Вечером он выстаивал под напором струй гидропульта, который смывал с его «доспехов» миллионы бацилл. Беда вскоре пришла, но совсем не с той стороны, с какой ее можно было ожидать. Это случилось при посещении китайской деревни Ходягоу, где чума уже собрала богатый урожай. В брошюре врача-эпидемиолога И. Куренкова, который виделся с последней участницей этого дела, эпизод описан так: «...В одной фанзе энергично действовала сестра милосердия Аня Снежкова, ей удалось взобраться на чердак. Через несколько минут она спустилась оттуда, ее халат был изорван и покрыт пылью, а марлевая повязка съехала набок.

 — Éсли бы вы знали, что там делается! — чихая и кашляя, проговорила девушка. —Все вперемешку...

Мамонтов бросил на нее быстрый взгляд.

— Не волнуйтесь, Илюша, ничего со мной не случится...» Вечером она несколько раз покашляла. Мамонтов принес градусник:

- Аня, без лишних разговоров.

- Может, и повышенная. Простудиться немудрено...

Температура была подозрительной. Илья сам производил анализ. На предметном стекле микроскоп высветлил кружок, в котором резвились крохотные «бочонки». Илья капнул на стекло фуксином, и бациллы сразу окрасились биполярно — их концы покраснели. Он сдернул с лица маску и заплакал. Это была чума! Снежкову изолировали, Мамонтов вымолил разрешение ухаживать за нею...

— Илья, — сказала ему девушка наедине, — если ты меня полюбил, так скажи мне это. Пусть я умру любимой...

Он ей сказал, и она заплакала.

Вакцина, камфора, кислород — иных средств лечения не было.

Из поездки срочно вернулся в Харбин Заболотный:

 Илья, ты поступаешь рыцарски, не отходя от Снежковой, но как чумолог ведешь себя неосторожно. Я понимаю твои чунства, но нельзя же столь долго пребывать в противочумном костюме... Кстати, как ты себя чувствуещь?

- Как и все.

Аня при свидании сама сказала ему:

- Илья, спасибо тебе за все. Лучше бы ты ушел...

За ужином он сдержанно кашлянул.

- Ерунда, - сказал. - Кто из нас не кашляет?

— На анализ! — велел ему Заболотный...

Первый анализ — чисто. Второй — чисто. Третий. Четвертый.

Продолжайте и дальше, — настоял профессор...

Десятый анализ. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый.

— Все чисто, — сказал лаборант. — Никакой чумы.

— Хорошо, — повеселел Заболотный. — Ради моего успокоения, голубчик, сделайте четырнадцатый, и на этом закончим...

Четырнадцатый анализ был ужасен.

- Ну, что вы молчите? спросил Данила Кириллович.
- Кишмя кишит... гляньте сами!

Заболотный навестил Илью, который ему пожаловался:

- Не повезло мне. В такое время схватил простуду...
- Тебе, Илья, и правда не повезло. Мы сделаем что можем, но больше того, что можем сделать, мы сделать не в силах!

На следующий день в комнату, где он лежал в одиночестве, из Харбина чья-то добрая душа прислала первые тюльпаны.

- Можно, я перешлю их Анечке? - спросил он.

— Не надо! Аня уже вся в цветах...

Ани Снежковой в это время уже не было на свете, но смерть се решили от Мамонтова скрыть. Юноша весь день лежал тихо, задумчивый, потом постучал в стенку и попросил студента Исаева сыграть ему на гармошке. Через стенку донеслась раздольная песня:

Ой, да подведите коня мне вороного, Покрепче держите под уздцы. Эх, едут с товаром дорогой широкою Муромским лесом купцы...

Глухая стенка в рыжей известке отделяла его от поющих. Это был барьер между жизнью и смертью — уже непреодолимый!

В синеве окон чуялись весенние разливы, чирикали харбинские воробы, очень похожие на питерских, такие же бодренькие.

Илья попросил бумаги и стал писать прощальное письмо...

Он все понял, когда при нем откупорили шампанское. Потом начался бред, средь бессвязных слов прорвалось:

— Ну вот, а мы еще ругались из-за трупов...

Это были его последние слова.

Сгустились сумерки, его не стало. В комнату вошел профессор Заболотный, постоял над телом ученика, взялся за письмо:

— Это матери. Продезинфицируйте, пожалуйста...

Была ранняя весна 1911 года; на Невском в Петербурге дворники обкалывали ото льда панели. Шура и Маша Мамонтовы отпросились с уроков в гимназии:

— Нам нужно встретить... брата, его везут из Харбина.

Мать, почернев от горя, надела поверх буклей траурную кисею, взяла за руку Петьку, и всем семейством они отправились на вокзал к приходу дальневосточного экспресса. Старый служака, военный фельдшер в шинели, пропахшей лизолом и карболкой, вышел из вагона, безошибочно зашагал в их сторону.

- Видать, госпожа Мамонтова? - спросил, понурясь.

Раскрыв чемодан, солдат из небогатых пожитков извлек небольшую урну с прахом сожженного Ильи Мамонтова.

— Он вот здесь. Понимаю — тяжело. А что поделаешь?

Мать, рыдая, отступила назад:

— Шура, Маша... возьмите вы. Я не в силах понять, что произошло. Неужели это все, что осталось от моего Или?

Урну из рук солдата перенял сосредоточенный Петька:

— Давайте, я понесу... nany!

Соллат снял фуражку. Говорил, словно извиняясь:

— И письмо от сынка имеется. Профессор две фотокарточки шлет Здесь вот Илья ваш за тридцать часов до кончины, а здесь — за лять часов... сам просил товарищей сымать его. Вы уж не пугайтесь — урночку и конверт мы продезинфицировали!

Письмо, как и солдат, тоже пахло лизолом и карболкой.

Илья Мамонтов перед смертью писал:

«Дорогая мама, заболел какой-то ерундой, но так как на чуме ничем, кроме чумы, не заболевают, то это, стало

быть, чума...

Мне казалось, что нет ничего лучше жизни. Но из желания сохранить ее я не мог бежать от опасности, которой подвержены все, и, стало быть, смерть моя будет лишь обетом исполнения служебного долга... Жизнь отдельного человека — ничто перед жизнью общественной, а для будущего счастия человечества нужны жерты...

Я глубоко верю, что это счастье наступит, а если бы не заболел чумой, уверен, что мог бы жизнь свою прожить честно и сделать все, на что хватило бы сил, для общественной пользы. Мне жалко, может быть, что я так мало поработал. Но я надеюсь и уверен, что теперь будет

много работников, которые отдадут все, что имеют, для общего счастья и, если потребуется, не пожалеют личной жизни...

Жизнь теперь — это борьба за будущее... Надо верить, что все это недаром и люди добьются, хотя бы и путем многих страданий, настоящего человеческого существования на земле, такого прекрасного, что за одно представление о нем можно отдать все, что есть личного, и самую жизнь...

Ну, мама, прощай... Позаботься о моем Петьке! Целую всех... Твой Иля».

Когда я много лет назад впервые прочел это письмо студента Мамонтова, оно меня потрясло. Какое мужество! Какое благородство! Какое богатое гражданское сознание!

Удивительно, что перед смертью Илья допустил лишь одно восклицание — в той фразе, в которой просил за своего «сына» — человека будущего. Письмо как бы произнесено ровным голосом — так обычно говорят люди, уверенные в своей правоте. Он и в самом деле был прав, этот студент Мамонтов, каких в России тогла были тысячи и тысячи.

МЯСОЕДОВ, СЫН МЯСОЕДОВА

В Московском училище живописи, ваяния и зодчества ожидали визита высокого начальства, когда в кабинет князя Львова, директора училища, ввалился швейцар и пал в ноги:

— Ваше сятество, стыда не оберемся... избавьте!

— В чем дело, милейший? — удивился князь и только тогда заметил, что швейцар перепоясан, словно кушаком, толстою железною кочергой. — Да кто ж это тебя так, братец мой? — Опять Ванька... Мясоедов, сын Мясоедова! Завязал ку-

рям на смех, а мне-то каково в дверях гостям кланяться?...

Владимир Милашевский писал: «Оригиналом из оригиналов, уникумом, перед которым все меркло, был художник Иван Мясоедов», сын знаменитого передвижника Григория Григо-

рьевича Мясоедова.

Г. Г. Мясоедов был человеком сложным, в общении невыносимым; его резкий самобытный характер иногда оказывался даже для друзей и близких тяжел не по силам. Не ужившись с первой женой — пианисткой, он сошелся с молодой художницей Ксенией Ивановой, которая в 1881 году родила ему сына — Ивана. А далее начинаются загадки, которые можно истолковать лишь причудами большого таланта. Григорий Григорьевич не позволил жене проявлять материнские чувства, мальчику же внушал, что его мать — это не мать, а лишь кормилица. Не отсюда ли, я думаю, не от самой ли колыбели и начался острейший разлад между отцом и сыном?..

Наконец Г. Г. Мясоедов безжалостно оторвал ребенка от матери, доверив его заботам семьи своего друга — пейзажиста А. А. Киселева (тогда еще москвича). Это случилось, когда Мясосдов позировал Репину для картины «Иван Грозный и сын сто Иван». Облик художника воплотился в облике царя-убийцы, а позже Мясоедов вспоминал:

-- Илья взял царя с меня, потому что ни у кого не было такого зверского выражения лица, как у меня...

А семья Киселевых была талантливая, веселая, многолетпая. Софья Матвеевна, жена художника, решила заменить Ване родную мать. Казалось, этот отверженный подкидыш, попав в общество сверстников, здесь и обретет счастливое детство. Но этого не произошло... Я позволю себе сослаться на записки Н. А. Киселева, сына пейзажиста, который в Ване Мясоедове встретил ребенка, не желавшего признавать слово «нельзя». На каждое «нельзя» он отвечал гнусным, противным воем. В нем сразу же «стали выявляться его отрицательные стороны, чего так боялась моя мать. Он оказался абсолютно невоспитанным. Ни в малейшей степени ему не были знакомы самые примитивные правила повеления». Сколько ни билась с ним добрейшая Софья Матвеевна, ничего не получалось, и у нее скоро опустились руки:

— Исчадье ада! Что из него выйдет — подумать страшно...

В ту пору передвижники жили единой дружной семьей (разлады в их Товариществе возникли позже). Когда устраивались выставки картин в Москве, это событие отмечалось добрым застольем в доме Киселевых — шумно, весело, празднично. Детей кормили отдельно от взрослых, но гости пожелали увидеть сына своего собрата — Ваню Мясоедова. Николай Маковский больше других упрашивал Софью Матвеевну:

— Да покажите нам его... Что вы прячете?

- Прячу, ибо знаю, что добра не будет.

— А все-таки покажите, — настаивал Маковский. Мясоедов, сын Мясоедова, был представлен гостям. Но глядел на всех волчонком, исподлобья. Убедившись, что смотрины его закончены, мальчик вдруг шагнул к Николаю Маковскому, одетому лучше всех, вытер сопливый нос об рукав его сюртука... Это была уже не шалость капризного ребенка — это было умышленное злодейство. Софья Матвеевна при всех расплакалась.

- Чаша моего терпения переполнилась...

После этого казуса Мясоедов забрал свое немыслимое чадо от Киселевых и в 1891 году пристроил его в полтавское реальное училище, которое Ваня и закончил, не блистая аттестациси. Но «искра божия» уже была в душе Мясоедова-сына, и юноща, оставив тихо дремлющую Полтаву, поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Киселевы тогда уже перебрались на берега Невы, учителями Ивана стали превосходные мастера — Н. А. Касаткин и В. Н. Бакшеев.

Бакшеев говорил Григорию Григорьевичу:

- Ваш сынок Ваня ах, какой это талантище!

— Несчастье мое, — отвечал Мясоедов-отец... А ведь Бакшеев не льстил маститому передвижнику, его сын получал высшие оценки в живописи и в рисунке. Бакшеев не стал допытываться, в чем отец видит «несчастье», но в своих мемуарах отметил: «Он боялся, что его сын пойдет по пути артистов цирка и бросит живопись...»

«Дубина!» — отозвался отец о сыне.

Правда, что Ванечка рос богатырем. Его физическое развитие совпало по времени с развитием русского спорта, когда чемпионаты силовой борьбы становились праздниками для народа. Иван все чаще отрывался от мольберта — ради цирковой арены. Феноменально могучий от природы, он увеличивал силу беспощадными тренировками. Его внимание обратилось к античному миру, потому что там царил культ человеческого тела. Иван освоил греческий язык, дабы легче проникнуть в древний мир гармонии и красоты. В цирках он выступал за деньги, как профессиональный борец, под псевдонимом «пе-Красан». Отец, узнав об этом, презрительно фыркал:

— Чемпион мира и окрестностей...

Иван Мясоедов своего добился, его фигура обрела удивительную гармоничность, он походил на Геркулеса. Я вот думаю: что это - мода, поветрие? Ведь тогда же портретист Браз ударом кулака разрушал камины и печи, Машков и Кончаловский (еще молодые ребята) изображали себя обнаженными, демонстрируя свои мышцы, а наш чудесный мастер Мешков на сво-их плечах относил на водопой жеребенка и таскал его к реке до тех пор, пока жеребенок не превратился в коня...

«Художник должен быть сильным!» — утверждал Иван.

Летние каникулы он проводил в полтавской усадьбе отца, отношения с которым не были еще враждебными, но становились все холоднее. Гуляя в саду, стареющий художник постоянно спотыкался о разбросанные гири, которые даже нельзя было убрать с дороги (так они были массивны).

- Дурак! - кричал он сыну.

Отец был не прав. И напрасно упрекал сына в том, что его интеллект растворился в мускулатуре. Изучив греческий язык, Иван уже постигал итальянский. Известный актер В. Гайдаров бывал тогда в Полтаве и в своих мемуарах отметил, что Ивана окружало интересное общество. Именно здесь он встретил режиссера Н. Н. Евреинова, друзьями Ивана были и Волкенштей. ны, представители культурной семьи с давними революционными традициями... Мало того, Иван Мясоедов печатался в популярном журнале «Геркулес», в котором выступал и Максим Горький — с призывом быть сильными и здоровыми: «Было бы чрезвычайно хорошо, если бы мы, русские, усвоили этот девиз!>

Пропагандируя культ красоты и силы человеческого организма, Иван Мясоедов сочинил «манифест», который и был опубликован Евренновым — для всеобщего сведения. Работая в цирках. Иван Мясоедов ставил на аренах мифы Древней Греции с участием акробатов в икарийских играх, смело вволил под купол воздушных красавии в античных хитонах... Он и сам был красив! Подчеркивая это, он сделал на лице, вокруг глаз, голубоватую татуировку, чтобы его упорный взгляд казался демоническим и загалочным. Все это лишь бесило старого передвижника, своим полтавским друзьям он говорил:

- Нет, это не мой сын, а какое-то отродье. Я человек слабый, болезненный... откуда взялся этот верзила? Художника из него никогда не выйдет, а что выйдет — неизвестно!

В 1901 году богатыря охотно приняла под свою сень Петербургская академия художеств, он попал на выучку к В. Маковскому, который не затруднялся в выборе сюжетов для учени-

- Да что вы, темы найти не можете? Посадим натуршиков за стол, пусть пьют чаёк — разве не сюжет для картины? Рисунок преподавал «свирепый» профессор Гуго Залеман.

- Сегодня рисуем человеческий скелет, объявил он.
- Простите, но я пейзажист, сказал кто-то.
- Вот и прекрасно! рычал Залеман. Значит, вы обязаны изобразить скелет гуляющим по берегу моря...

Академическая школа, при всех ее недостатках, все-таки дала Мясоедову владение формой и цветом, без которых немыслим никакой художник. Друзьями его стали Федор Кричевский и Георгий Савицкий (тоже сын передвижника). Кричевский оставался верен своей теме — украинскому крестьянству, а Савицкий невольно поддался влиянию Мясоедова, они совместно изучали «Илиалу» и «Одиссею». Мясоедов был влюблен в превность, даже дома он искусно драпировался в тогу римского патриция, курчавая челка (тоже античная) спускалась на лоб. Уже тогда Мясоедов был кумиром студенческой молодежи. На тралиционных балах-маскарадах в Академии хуложеств он всегда выигрывал первые призы «за костюм». появляясь перед публикой полуобнаженным, с коротким мечом в руке, с волосами, стянутыми золотым обручем...

- Тыфу! — выразительно реагировал на это отец.

А между тем о сыне его уже ходили легенды: в римском Колизее он выступил в роли гладиатора. Рим удостоил его премии за красоту торса, в Испании он поверг наземь здоровущего быка (недаром же Федор Кричевский сделал его портрет в облачении мадридского тореадора). Наш прославленный живописец А. М. Герасимов случайно встретил Ивана Мясоедова в гостях у писателя В. Гиляровского: «До этого я знал его только по фотографиям в журналах. С играющими мускулами, с венком из виноградных листьев на голове, с лицом Антиноя, он был похож на античную статую!» — таким он запомнился Герасимову...

Академия художеств формировала художника в течение семи лет. И лишь под конец учения Мясоедов возобновил знакомство с семейством Киселевых, избегая при этом хозяина дома, но сумев понравиться Софье Матвеевне, хотя она (по старой «материнской» привычке) беспощадно шпыняла своего беспутного «сына»:

— А ну! Пошел из-за стола — руки мыть...

Н. А. Киселев в своих записках отметил, что Иван производил странное впечатление - молчаливый, сосредоточенный, замкнутый. «Никогда не говорил о своей жизни, планах, не участвовал в общих разговорах». Лишь постепенно он раскрыл свою лушу.

— Хочу поступить в батальный класс Франца Рубо. Мечтаю

о большом полотне — отплытие аргонавтов в Колхиду.

— А чего ты не женишься? — спросил его Коля Киселев.
 — Мне нужна не столько жена, сколько натурщица, всем

своим обликом отвечающая моим представлениям о древней красоте...

Киселева, однако, удивило, что, помимо живописи, Иван увлекается граверным искусством. Его влекла (и сильно влекла!) сложная техника воплощения тончайших оттисков на бу-Mare.

- Зачем это тебе, Ваня?

 Можно заработать, — был ответ...
 В ту пору Киселеву не могло прийти в голову, какую извилистую линию проведет граверный штихель в могучей руко Ивана... Учителя же он избрал себе гениального — самого М а т Художник П. Д. Бучкин вспоминал, что мастерскую Матэ часто посещали два друга — Иван Мясоедов и Федор Кричевский. своих учебных офортах они тщательно повторяли свои живо

писные работы. Так что опыт в гравировальных делах у Ивана Мисоедова уже был, а учитель ему попался — наилучший в тогппиней России!

Осенью 1907 года, когда Мясоедов поступил в мастерскую Рубо, отец писал о нем: «Бродит, пускает пузыри, а выйдет вино или квас — неизвестно... Живет во флигеле, где v него постоянно торчат молодые люди, его рабы и наперсники, которых он угнетает своим величием и абсолютностью приговоров...» В следующем году Иван уже взялся за написание картины «Аргонавты», «в осуществление которой, — сообщал отец из Полтавы, - я не верю, но мешать ему в этом не хочу, хотя наперед знаю, что доброго из этого выйдет мало... Он в мире признает стоящим чего-нибудь только себя, метит он очень высоко, и не без основания, но все это слишком рано. Он хочет удивлять, а удивлять-то еще нечем...». Очень строго отец судил своего сына!

Строго и несправедливо. Иван Мясоедов окончил Академию художеств блистательно - с золотой медалью. Его программной работой стало огромное и торжественное полотно «Поход минийцев (Аргонавты, отплывающие от берегов Гре-

ции за золотым руном в Колхиду)».

Наградою за успех была заграничная поездка. Италия в ту пору была встревожена мессинским землетрясением. Будучи в Риме, Мясоедов, конечно, посетил тамошний цирк, на манеже которого выступали лучшие силачи мира. Шпрехшталмейстер под конец объявил:

- Почтенная публика! Если средь вас найдется желающий испробовать силу и повторить хотя бы один номер нашей про-

граммы... наш цирк отдаст ему весь кассовый сбор!

Соблазн был велик. Нашлись охотники подзаработать. Но, как ни тужились, могли убедиться лишь в том, что гири не по их силенкам. Вот тогда-то из партера и поднялся наш Ванечка:

- Я приехал из России, синьор. Позвольте мне...

Неподъемные тяжести стали порхать над манежем, как мячики. Своей силой он превзошел цирковых атлетов, и директор цирка подал ему полнос с деньгами. Мясоедов деньги принял:

- Прекрасные синьориты и вы, благородные синьоры! Я, русский художник, жертвую весь этот кассовый сбор в пользу бедных итальянцев, пострадавших от землетрясения в Мессине...

Что тут было! Итальянцы разом встали, устроив Ивану бурные овации. Это и понятно: жителей Мессины спасали экипажи кораблей русской эскадры, а теперь русский богатырь Иван жертвует баснословный гонорар на благо тем же мессинцам...

Всегда приятно думать о благородстве человека!

10 3aggs 23

Передвижничество изживало само себя, среди «стариков» начались распри и несогласия... Г. Г. Мясоедов порвал с Товариществом, безвылазно проживая в Полтаве. Он не смирился с тем новым, что обильно вливалось в усыхающие артерии прошлого. Вокруг неукротимого апостола былых заветов образовалась оскорбительная пустота, он замкнуяся в своем саду, ненавидя людей, и терпел только музыку:

— Все лгут, и только музыка еще остается честной...

Гнетущий покой в Полтаве лишь однажды был потревожен приездом Н. А. Киселева, сына его давнего друга. Визит в Полтаву был связан с XXXVIII выставкой передвижников. Старик помог Киселеву найти помещение для картин, выставка прошла успешно. Но визит в Полтаву доставил немало неприятных минут: у калитки усадьбы его встречал не сам Мясоедов, а сын Мясоедова.

— Коля? — удивился Иван Мясоедов. — Наверное, к нему? — И кивнул в глубину сада, где виднелся отцовский дом. — Если к нему, так я провожу тебя. Но только до крыльца. Дело в том,

что мы с отцом не видимся. Живем как чужие люди...

В голосе сына сквозила явная враждебность по отношению к отцу, и Н. А. Киселев верно рассудил, что в этом доме на отшибе Полтавы уже произошла семейная трагедия. А вскоре ушел из этого мира Мясоедов-старший; он умирал, окруженный музыкантами, которые играли ему Баха и Шопена... Я держу перед собой портрет умирающего, исполненный с натуры рукою его сына: как страшен момент агонии! И я отказываюсь понять, что более двигало рукою сына — искусство или ненависть к отцу? Зачем он с таким старанием выводил линии спазматически открытого рта, обводил контуры страдальчески заостренного лица?

Мясоедова-отца не стало, но остался он — сын его...

На двух посмертных выставках (в Полтаве и в Москве) он безжалостно расторговал все богатое наследие отца, не пощадив и его коллекции, составленной из дарственных работ Репина, Ге, Шишкина, Дубовского, братьев Маковских... Нам, потомкам, остались от этих выставок-продаж одни жалкие каталоги. Но можно ли простить художнику то, что простительно купцу-торгашу?

...После поездки в Полтаву Киселев сказал матери:

— Иван встретил меня очень странно. И не пожелал общения со мною. Он проводил меня до дома отца с какой-то по дозрительной поспешностью. Словно он боялся, что я стану напрашиваться на визит к нему в его отдельное жилье, во флигеле.

- Он еще не женился? спросил Софья Матвеевна.
- Да кому он нужен со своими выкрутасами... Всю жизнь, наверное, будет искать заморскую принцессу на горошине!

«Принцессой на горошине» оказалась Мальвина Верничи, приехавшая к ним на гастроли в амплуа партерной акробатки.

— Вот это она... моя жена!

Я раскладываю портреты Мальвины: вот четкий профиль, как на античной камее, с пышной копною волос на затылке, вот она в прекрасной наготе... Да, женщина красивая! Но красота ее какая-то эловещая, далекая нам, не от мира сего. Таких женщин лучше обходить стороной, любуясь ими из безопасного далека. Теперь в прозрачном хитоне эта бесподобная красавица из цирка варила на кухне макароны для своего мужа...

Георгий Савицкий, увидев Мальвину, ахнул:

- Ваня, дай мне твою жену ненадолго.
- Зачем?
- Вылитая Иродиада! Буду писать с нее.
- Бери, разрешил Мясоедов, только не задерживай долго, ибо она необходима мне для картины «Отдых амазонок»...

Жилось ему не так уж легко. Порою мне кажется, что он бросал кисти ради манежа, снова превращаясь в «де-Красаца», только потому, что в доме не хватало денег на макароны. В. А. Милашевский оставил нам такую живописную сцену в студенческой столовой:

«Мясоедов появлялся в сопровождении своей хорошенькой жены-итальянки, очень маленькой женщины. Он не столько обнимал ее, сколько покрывал ее плечи одной своей ладонью. Они стояли вместе у кассы... совещались на итальянском языке — хватит ли на две порции бефстроганова. Бедный гладиатор!»

Никто не знал, чем Мясоедов занят, каковы его творческие планы, но занятий гравюрой он, кажется, не оставил.

...В 1919 году Иван Мясоедов навсегда покинул родину. А перед отбытием в эмиграцию он безжалостно, даже с каким-то садизмом, уничтожил в усадьбе все, что касалось его отца, — все его эскизы, всю переписку, все наследие мастера.

Откуда такая лютейшая ненависть?

Мясоедов, сын Мясоедова, растворил себя в накипи чужой для нас жизни; до его друзей, оставшихся на родине, доходили о нем только слухи, которые невозможно проверить. Полтава жила своими заботами и чаяниями, об Иване стали забывать. Но вот однажды в окрестностях Полтавы решили устроить обсерваторию. Долго искали для нее место, пока не обратили внимание на заброшенную усадьбу Г. Г. Мясоедова, возле которой догни-

вал и флигель его сына Этот флигель почему-то и сочли самым удобным местом для строительства. Начали разрушать постройку, и тут... Тут мы перенесемся в московскую квартиру архитектора А. В. Шусева. Его гостеприимством пользовались тогда многие. Среди гостей случайно оказался архитектор из Полтавы, который и рассказал о загадочной судьбе этого флигеля:

- В нем жил Иван Мясоедов, там же была и его мастерская. Но под рабочим столом художника мы обнаружили засекреченный лаз с очень хитрым затвором, ведущий в подземелье. У нас закралось подозрение, что тут дело нечисто... Действительно, в куче старого мусора мы неожиданно обнаружили отлично сработанное клише с тончайшим граверным узором. Это была матрица, вполне готовая для печатания фальшивых денег.
 - Русских? оживленно спросил Щусев.
 - Нет, американских долларов...

Тогда же Н. А. Киселев поведал Щусеву о том, что Иван Мясоедов недаром, как видно, постигал технику граверного искусства («И мы оба порадовались, что судьба избавила отца от больших страданий, послав ему своевременную смерть»). Но история на этом не закончилась... По словам того же Н. А. Киселева, события развивались так. Молодое Советское государство нуждалось в культурных контактах с заграницей, в концертное турне по Германии выехала молодая скрипачка Вера Щор. Германия переживала тяжелые времена, всюду царила нужда, зато процветали нувориши-спекулянты, а в Берлине на каждом углу торчали на костылях нишие калеки. После одного из концертов к Вере Шор подошел прилично одетый молодой человек. Он сказал, что в Берлине находится художник Иван Мясоедов, у которого собирается русское общество, и это общество будет чрезвычайно ей благодарно, если она повторит свой скрипичный концерт в условиях мясоедовского ателье.

— Если вы согласны, — заключил молодой человек, — я провожу вас... Это не так далеко отсюда.

Вера Шор согласилась. Молодой человек провел ее темными закоулками в теснину мрачного двора, по черной лестнице они поднимались до верхнего этажа. На условный стук двери открылись, и Вера Шор оказалась в богатой квартире, украшенной антикварной мебелью, коврами и картинами. Громадный стол — это в нищем-то Берлине! — буквально ломился от обилия дорогих яств, уникальных вин и заморских фруктов.

Иван Мясоедов рассеял ее недоумение словами:

— Да, по нашим временам такой стол — редкость. Но я богат, у меня много заказов... популярность в Германии. . даже в Италии!

После концерта он щедро расплатился с музыкантшей, взяв

с нее слово, что перед отъездом на родину она непременно позвонит ему, дабы договориться о повторении этого чудесного вечера. Вера Шор так и поступила. Но по телефону ей ответили, что Иван Мясоедов уже заключен в тюрьму — как фальшивомонетчик. Скрипачка не могла понять, какой же смысл в период девальвации германской марки идти на преступление ради той же марки.

В трубке телефона высмеяли ее наивность:

— Ваш соотечественник работал над производством устойчивой валюты. Он печатал фальшивые британские фунты стерлингов...

Кто-то из друзей Н. А. Киселева, бывавший тогда в Италии; видел даже газету, сообщавшую, что художник Иван Мясоедов «приговорен к пожизненным каторжным работам в одной из отдаленных английских колоний». Казалось бы, на этом можно поставить точку. Однако рассказ Н. А. Киселева был дополнен академиком А. А. Сидоровым (ныне покойным).

В 1927 году он выехал в Германию по делам Наркомпроса, а в Берлине навестил русского гравера В. Д. Фалилеева, «сохранившего, — как пишет Сидоров, — всю привязанность к советской родине». Каково же было удивление Сидорова, когда здесь же, на квартире Фалилеева, он встретил и нашего Ивана Мясоедова, которого украшала громадная борода (увы, седая!).

«Он только что вышел из тюрьмы Веймарской республики... Был молчалив и по-прежнему предан мечте о красоте и здоровье «нового человека». Мне подарил он на память свой рисунок... Образ вакханта, искусственный жест — эстетизация видения, образа и рисунка». Когда Сидоров решил похвалить этот рисунок, Иван Григорьевич сказал — даже с гордостью:

— Дело, конечно, прошлое, но в академии умели учить. Но голько теперь я рисую лучше, потому что рисую... из головы!

Итак, Сидоров встретил Мясоедова уже на свободе.

Подтвердился слух, что Веймарская республика пощадила художника после того, как он с небывалым талантом расписал фресками тюремную церковь.

... Мясоедов, сын Мясоедова, умер в 1953 году.

Осталось сказать последнее — самое утешительное. Недавно общественность Полтавы отметила 100-летие со дня рождения Ивана Григорьевича Мясоедова; в художественном музее города открылась выставка его работ, которая, как сообщалось в нашей печати, «свидетельствовала об И. Г. Мясоедове как о самобытном и талантливом живописце, тонком рисовальщике».

Меня такая похвала не удивила...

Да, был талантлив. Да, судьба его трагична.

Наконец, все могло сложиться иначе.

ВЫСТРЕЛ В ОТЕЛЕ «КЛОМЗЕР»

Над Веною императора Франца-Иосифа рассветало; начальник австрийского Генштаба Конрад фон Гетцендорф сказал:

— Сделаем так, чтобы об этом узнали посторонние. Позвоните в отель «Кломзер», попросите портье разбудить полковника Рэдля, что приехал из Праги... пусть подойдет к телефону.

Портье через минуту в ужасе прокричал в трубку:

- Полковник Рэдль лежит на постели весь в крови... он застрелился! А кому он понадобился в такую рань?

— Повесьте трубку, — велел фон Гетцендорф. — Теперь сплетня о самоубийстве побежит из отеля и дальше...

Двадцать шестого мая 1913 года австрийское телеграфное агентство сделало официальное сообщение о смерти Рэдля: «Высокоодаренный офицер, которому, несомненно, предстояла блестящая карьера, в припадке нервного расстройства покончил с собой... Эта фальшивая телеграмма в тот же день лежала на рабочем столе начальника российского Генштаба генерала Я. Г. Жилинского в Петербурге.

— Ну что ж, — хмыкнул он. — Рэдль стоил нам страшно

дорого. Но мы недаром с ним столько лет провозились...

Солнце светило в Вене и Петербурге одинаково ярко, из Ниццы спешили ночные экспрессы, везущие в вагонах-лоханях свежие цветы. Европа жила как обычно, и лишь несколько человек в мире раздумывали о смерти Рэдля: кто выиграл и кто проиграл?

У истории — предыстория... В 1896 году, когда проходила коронация Николая II (и последнего), в числе прочих гостей в Москву прибыла и румынская королева Мария — полуангличанка, полурусская. Женщина ослепительной красоты, она в Бухаресте разыгрывала роль византийской принцессы, возрождая нравы времен упадка Римской империи. В Москве к длинному шлейфу королевского платыя, как и положено в таких случаях, приставили пажа. Это был некий В.; когда он взялся за пышный трен платыя королевы, она живо обернулась и сказала по-русски:

— Боже, какой Аполлон! А вы не боитесь моих когтей?...

Перед отъездом в Бухарест она устроила пажу вечер прощания, затянувшийся до угра. Но самое пикантное в том, что королева была под надзором русской разведки, ибо отношения с румынской династией в ту пору были крайне натянуты, и, конечно, В. тоже попал под наблюдение. Разведка отметила его ловкость, сообразительность, умение сходиться с любыми людьми, знание светских обычаев и склонность к мотовству. Любовный успех у королевы вскружил ему голову, и, выйдя из пажей в лейб-гвардию, В. занимался не столько службой, сколько романами со столичными львицами и тигрицами. Вскорости задолжал в полку, разорил отца, попался на нечистой игре в карты, а когда запутался окончательно, русская разведка схватила его за жабры.

- Согласитесь, сказали ему, что, если ваши позорные связи обнаружатся, гвардия и дня не станет держать вас под своими штандартами. Вы уже некредитоспособны. Но мы готовы великодушно предоставить вам случай исправить скверное положение... Это ваш последний шанс!
 - Что я должен делать? спросил В., расплакавшись.
- Вы поедете в Вену, где будете прожигать жизнь, как это вы делали и раньше в Петербурге. Все расходы берем на себя. Деньги вы должны тратить не жалея, и чем шире будет круг ваших венских знакомств, тем щедрее мы станем вас субсидировать.
- Я начинаю кое-что понимать, призадумался В. Вы, господа, решили подкинуть меня, как жирного карася, в тот германский садок, где плавают хищные акулы.
- Нас не волнует, что вы понимаете и чего не понимаете. Нам важно, чтобы жадная до удовольствий Вена оценила вас как щедрого повесу, который не знает, куда девать бешеные леньги.
 - Задача увлекательная! согласился В.
 - Не отрицаем. Она тем более увлекательна, что в Вене

можно узнать все, если действовать через женщин... Итак, вы едете!

В. закружило в шумной венской жизни. Он служил как бы фонарем, на свет которого тучей слеталась ночная липкая публика, падкая до денег и удовольствий, порочная и продажная. Русская разведка, издали наблюдая за окружением В., старательно процеживала через свои фильтры певцов и кокоток, ювелиров и опереточных див, королев танго и королей чардаша, интендантов и дирижеров, высокопоставленных дам и разжиревших спекулянтов венгерским шпиком. Прошел год, второй. В. кутил напропалую и уже начал подумывать: не забыли ли о нем «под аркою» Главного штаба? Нет, не забыли. Однажды, придя под утро в отель, В. застал в своем номере человека, в котором с трудом узнал одного из тех, кто его завербовал.

— Среди ваших приятелей, — сказал он, — недавно появился некий майор Альфред Рэдль... Что вы можете сказать о нем?

Непутевый В. был, кстати, достаточно наблюдателен.

 Рэдль, — доложил он, — явно страдает от непомерного честолюбия. Никогда не быв богатым, он завистлив к чужому богатству. Подвержен содомскому пороку, который окупается чрезвычайно дорого, отчего Рэдль вынужден кредитовать себя в долг.

- Очень хорошо, заметил приезжий. Но это все качества отрицательные. А что можете сказать положительного о Рэлле?
- Он мне... противен! Вот это самое положительное мнение. Но согласен признать, что Рэдль человек необычный. Владеет массою языков. Знаток истории и географии мира. Умеет держать себя в руках. Не знаю, умен ли он. По некоторым его фразам могу заключить, что Рэдль интересуется новинками техники... Ну и, наконец, могу повторить, что он замечательно отвратителен!
- Это уже лирика. Немцы в таких случаях говорят, что отбросов нет есть кадры. Скажите: а просил ли Рэдль у вас ленег?
 - О да! Он даже слишком навязчив в просьбах....
 - Вернул ли взятое?
 - Нет.
 - Чудесно! Давайте ему, сколько ни попросит.
- Слушаюсь. А теперь я спрошу вас... Рэдль до сих пор не проговорился о своей службе. Я хотел бы знать: кто он?
- Сейчас он начальник агентурного бюро при австрийском Генштабе. Работает против нас против России... Вскоре В. при свидании с Рэдлем огорченно сказал, что

Вскоре В. при свидании с Рэдлем огорченно сказал, что денег больше не стало и он вынужден вернуться на родину.

— Я сильно задолжал вам и, к сожалению, не могу свосвременно рассчитаться... Жаль, — вздохнул Рэдль (кажется, искренно), — что я теряю щедрого и приятного друга.

— Не огорчайтесь! — отвечал В. — Скоро у вас появится новый русский друг, который и богаче меня, и щедрее меня...

Вернувшись на родину, В. уже не мог оставить привычек широкого образа жизни и стал опускаться. Буквально с панели его взял на службу бакинский нефтепромышленник Нобель. В. стал его московским агентом по обслуживанию иностранных гостей фирмы: возил к «Яру» слушать Варю Панину, утощал их блинами с икрой, в Кремле показывал Царь-пушку. Революция прикрыла эту синекуру, но В. не пропал. По некоторым данным, в конце своей жизни он обучал игре в бридж.

Австрия, как писали тогда, это «двуединая монархия, которая с одной стороны омывается Адриатическим морем, а с другой стороны загрязняется императором Францем-Иосифом»! Вена — самый дорогой город в Европе; о венской жизни, сложной и трудной, нельзя судить по игривым опереттам Иоганна Штрауса... Вот конкретные данные из верных источников. Отель — 20 франков в сутки за пустые стены. Скромный обед — 6 крон, а это два с полтиной. «Венец не позволит себе ничего. кроме кружки пива, он привык обедать дома... В ресторанах Вены принято лишь завтракать. На обедающего смотрят с подозрением: уж не казнокрад ли? Множество славян, живущих в Вене честным трудом, нищенствуют; для них даже проезд на конке — роскошь. Кому же здесь хорошо? «Бережливые немцы попрятались по своим норам, за исключением кичливой финансовой аристократии. Пиршествуют в Вене только еврейские банкиры да разные международные пройдохи...» Понятно, что майор Рэдль, одержимый стыдным пороком, который обходился ему баснословно дорого, с нетерпением поджидал «русского друга», еще не догадываясь, что он уже здесь — рядом...

На пост русского военного агента в Вене заступил полковник Марченко, обаятельный человек, большая умница, образованный генштабист, отличный проницатель людских слабостей. Перед отъездом из Петербурга генерал Жилинский сказал ему: «Завербуйте Рэдля, и больше нам ничего не надо от вас...» Генштаб вскоре же получил от Марченко исчерпывающую характеристику Рэдля:

«Среднего роста, седоватый блондин с короткими усами, несколько выдающимися скулами и улыбающимися, вкрадчивыми глазами. Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, работоспособный. Склад ума мелочный. Вся наружность слащавая. Речь мягкая, угодливая. Движения рассчитанные, замедленные. Более хитер и фальшив, нежели умен и талантлив... Цин и к!»

Марченко сначала опутал Рэдля долгами, обворожил комплиментами, а потом припер его к стенке. Свидание произошло на конспиративной квартире. Опытный разведчик, атташе знал, что Рэдль уже завел под столом фонограф, дабы записать его слова, через щели в стене он будет сфотографирован дважды (анфас и в профиль), а подлокотники кресла, в котором сидел Марченко, смазаны особым составом, удобным для снятия дактилоскопических отпечатков... Рэдль как следует взвесил все «за» и «против». Понял, что деваться некуда: сейчас он целиком в руках русского полковника.

— Ну, что ж. Я согласен... помочь вам! Ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потянула его за хвост.

Марченко даже не удивился:

- Я так и думал, что вы не откажетесь от выгодной комбинации. А теперь российский Генштаб заинтересован в том, чтобы вы стали богатым и сделали головокружительную карьеру. Поверьте, что это будет и вам приятнее, и нам полезнее.
 - Как Петербург может сделать мою карьеру в Вене?
- Это уж наша забота... А сейчас при мне уничтожьте валик фонографа, разбейте негативы снимков и сотрите мои следы с этого кресла. Я понимаю: вы человек, идущий вровень с наукою нашего времени, но я, к моему немалому прискорбию, человек все-таки отсталый и всякие новшества недолюбливаю...

Рэдль продался в 1902 году!

А русский Генштаб сдержал свое слово — он устроил Рэдлю «блестящую» карьеру. Делалось это просто. Допустим, один из агентов начал «франтить», иначе говоря, не давал точных сведений или продавал сведения и Германии, а шпионы-двойники всегда опасны. Такого «франта» безжалостно выдавали Рэдлю со всеми потрохами! Рэдль за «раскрытие русского шпиона» имел материальные выгоды по службе, а взамен выдавал «под арку» австрийского агента, засланного в Россию. Когда же случалось так, что предатели со стороны России (а такие бывали!) предлагали Рэдлю планы русской армии, Рэдль заменял подлинные планы фальшивыми, а об изменнике тотчас же сообщал в Петербург.

Мировая война была неминуема, и будущие противники не церемонились, действуя настойчиво, цепко и беспринципно. Европу уже много лет потрясали политические кризисы, готовые вот-вот разразиться грозой батарей; разведки всех стран усиленно работали, генштабисты Вены и Берлина изучали армию России, со всеми ее достоинствами и недостатками, причем генерал фон Гетцендорф пришел к забавному выводу «Рус-

ских победить невозможно, но и самим русским трудно стать победителями!» В этих сложных условиях Рэдль, расчетливый и хладнокровный, как хишник, работал с колоссальным усердием, заслуживая похвалы начальства (как в Вене, так и в Петербурге). Вскоре он прославился в венский военных кругах как ловкий «разоблачитель» русской агентуры. Стал полковником и был назначен помощником начальника разведотдела. Венская военная олигархия доверяла Рэдлю полностью, и вскоре для русских уже не было тайн австрийской армии. Рэдль брал из бюро секретные документы к себе на квартиру, ночью делал с них фотокопии, а утром бумаги снова лежали в запретном сейфе. На явочные адреса нейтральных государств почта доставляла пакеты с фотокопиями, их изымали русские агенты, а в Вену на вымышленное имя поступали денежные переводы. Рэдль жил широко и даже купил себе автомобиль, что по тем временам не каждый мог себе позволить....

Так тянулись годы. Согласно австрийским уставам каждый офицер Генштаба должен был время от времени стажироваться в войсках. Подошел срок и Рэдлю уйти из бюро — его отправили в Прагу, где сделали начальником штаба Австрийского корпуса. Но даже здесь он сохранил доступ к самой секретной документации. На своей холостяцкой квартире полковник оборудовал потаенную фотолабораторию, где по ночам продолжал щелкать «кодаком», печатая копии для России. Ничто не предвещало беды!

Настала весна 1913 года — Европа уже дышала порохом...

Второго апреля в «черном кабинете» императора Франца-Иосифа работали перлюстраторы, вскрывавшие подозрительные письма. В руках чиновника оказались сразу два конверта, на которых адрес был отстукан на пишущей машинке: Никону Ницетасу, до востребования. Судя по штампам, конверты отправлены со станции Эйдкунен — на русско-германской границе. Подержав конверты над струей горячего пара, чиновник легко вскрыл их: в одном было 6000, в другом 8000 крон. Перлюстратор положил деньги перед начальником императорского «черного кабинета»:

— Вот четырнадцать тысяч и... никакой записки.

- Явный гонорар шпиону. Обратные адреса указаны?

Да. Парижский и женевский.

Последовал звонок в бюро агентуры Генштаба.

- Перешлите конверты нам, - приказали оттуда.

Проверка показала, что император Франц-Иосиф не имеет подданного с именем Никон Ницетас. А так как отправной адрес был прусским, обратились за содействием к полковнику

Николаи — главарю германского шпионажа. Тот позвонил из Берлина в Вену.

- Ищите у себя, - сказал он...

Гетцендорф переправил конверты обратно в «черный кабинет», где их исправно запечатали. После чего обычным почтовым порядком конверты с деньгами поступили на венский почтамт — в отдел выдачи писем до востребования. Чиновника отдела предупредили:

— Сейчас от вашего стола мы незаметно протянем электрический провод до полицейского участка, из окон которого виден вход в ваше помещение. В случае, если появится человек, желающий получить письма на имя Никона Ницетаса, вы обязаны нажать кнопку звонка... А больше вам знать ничего не следует!

Настал май, и май уже заканчивался. Второй месяц сидевшие возле окна сыщики не сводили глаз с дверей почтамта и ждали звонка. Но звонка не было! Сыщики стали относиться к дежурствам шаляй-валяй. В Генштабе тоже разуверились, что таинственный Никон Ницетас явится за деньгами. Чиновник почтамта иногда поглядывал на кнопку звонка и скоро привык к ней... Лишь 24 мая, когда до закрытия почты оставались считанные минуты, перед окошечком «до востребования» появился долгожданный человек:

- Прошу выдать мне почту на имя Никона Ницетаса...

Это было так неожиданно, что чиновник сначала выдал ему два конверта и лишь потом вспомнил о кнопке. Весь в поту, он давил и давил на эту кнопку, но из полиции никто не являлся. Дело в том, что детективы разбрелись по комнатам—звонка не слышали. Когда же они прибежали, все было кончено: Никон Ницетас уже захлопнул дверцу такси— укатил прочь...

— Номер авто — девяносто три, — заметил один агент. Опрос чиновника почтамта ничего не дал:

— Вы знаете, я так растерялся, что ничего не запомнил...

Историки, как и психологи, давно приметили, что в событиях человеческой жизни казус роковой случайности иногда играет большую роль. Детективы, упустив шпиона, в полной прострации блуждали перед почтамтом. Хорошо, если их понизят в должности, но могут вообще выкинуть со службы. Тогда набегаешься... В этот же момент, когда они уже поставили на себе крест, с легким шуршанием шин на площадь вкатилось венское такси.

- Девяносто три, - сразу опознали они машину...

Если сегодня кому-либо в мире и повезло, так это им!

- Кого сейчас вез? набросились они на шофера.
- Не знаю. Но господин вполне приличный.
- Где ты его высадил?
- У отеля «Кломзер».
- Вези и нас. Туда же! Быстро...

На заднем сиденье такси они нашли забытый пассажиром чехол от перочинного ножичка. В вестибюле отеля допросили портье:

- Кто за последние полчаса возвращался в отель из города?
- Только полковник Рэдль, что вчера приехал из Праги.

Агенты переглянулись: опять неудача! Рэдль — слишком большая шишка в секретном бюро Генштаба, и он — вне подозрений. На всякий случай чехол от ножичка они передали портье:

— Мы постоим в сторонке, а вы, любезный, все-таки покажите его гостям отеля — может, кто и признается!

По мраморной лестнице, в элегантном смокинге, что-то мурлыкая себе под нос, уже спускался полковник Рэдль. В самом хорошем настроении! Он бросил ключ от своего номера на стол портье:

- Я буду в ресторане... вернусь поздно.

Портье с испутанным видом предъявил ему чехол:

- Простите, полковник, это случайно не...

На месте Рэдля любой разведчик мира должен был улыбнуться и ответить с безразличием: «Простите, не имею привычки иметь при себе перочинный нож». Но Рэдль уже протянул к нему руку:

— Да, это мой... спасибо вам.

Он уронил его в такси, когда с помощью ножа торопливо взрезал конверты с деньгами. Рэдль глянул на типов, что слонялись по вестибюлю, с нарочитым вниманием глазея по сторонам, и понял, что это конец... конец всему! Сразу сгорбившись и старчески шаркая, он направился к выходу на улицу, уже не сомневаясь, что эти типы следуют за ним, наступая ему на пятки...

Один из детективов уже звонил по телефону в бюро.

— Это был полковник Рэдль, — сообщал он шепотом. Австрийский Генштаб объял ужас! Гетцендорфа отыскали в

Австрийский Генштаб объял ужас! Гетцендорфа отыскали в ресторане, где он со вкусом обсасывал фазанье крылышко.

— Деньги взял Рэдль, — сказали ему.

Начальник Генштаба машинально продолжал жевать.

— Что будет, если это дойдет до ушей старого императора? Нет, нет! Я не верю... Срочно пошлите на почтамт человека: нужно сличить роспись получателя конвертов с почерком Рэдля. С почтамта позвонили — почерк один и тот же!

Катастрофа, — сказал фон Гетцендорф...

Рэдль все это время прилагал страшные усилия, чтобы оторваться от погони. В конце концов, еще не все потеряно. Деньги в кармане, а в гараже - мощный «Бенц», способный проломить радиатором любой пограничный шлагбаум... Полковник петлял в переулках, забегал в магазины, подолгу торчал в уборных, но. оглянувшись, каждый раз убеждался, что агенты прилипли к нему, как пластырь к больному месту. Их было двое! На глазах сыщиков полковник задержался возле мусорной урны и стал демонстративно рвать над нею бумаги. Это был стращный, но оправданный риск! Он рвал не просто бумажонки — он рвал свои шпионские донесения, приготовленные для отправки в Россию. Рэдль рассчитывал, что один из детективов останется разгребать урну, а от второго сыщика он сможет оторваться... Это не удалось: погоня продолжалась!

Рэдль вдруг гибко переменил тактику. Он позвонил своему приятелю Виктору Полляку, который был генеральным прокурором в Верховном суде Австрии, и предложил ему «посидеть вечерок» в ресторане. В данном случае он поступал как игрок. ставящий на банк свой последний грош... Заказав архиизысканный ужин, Рэдль пил старейшие ликеры мира, он поглощал самые пикантные закуски. При этом говорил Полляку, что давно страдает пороком, который обходится ему дорого, говорил о смятении чувств и надломленной психике... После ужина прокурор, мало что понявший, но встревоженный, позвонил Гайеру, бывшему в Вене начальником тайной политической полиции. Гайер, продувная бестия, уже был в курсе измены Рэдля, но ответ дал какой надо:

- Не знаю, что случилось с Рэдлем! Пускай выспится... За полчаса до полуночи, подавленный и помятый, волоча за собой на хвосте сыщиков, Рэдль вернулся в «Кломзер».

- Номер убрали? - спросил он портье.

— Нет. Без вас никто не входил...

За отелем было установлено такое плотное слежение, что даже самый хитрый клоп, если бы он хотел выбраться на улицу. не мог бы этого сделать. Гетцендорф, растирая виски, сказал:

— Самое главное — не допустить огласки этого дозора... Ровно в полночь Рэдля навестили в номере два офицера. Полковник Урбанский — начальник контрразведки. Полковник Ронге — бывший заместитель Рэдля в бюро.

О чем они там беседовали, судить трудно. Урбанский позже писал, что Рэдль якобы сказал ему:

- Поезжайте в Прагу, там, на моей квартире, вы найдете все обо мне, что ищете, а говорить с вами я не желаю.

Ронге писал, что Рэдль будто бы заявил ему:

- Я могу рассказать все, но только одному тебе.

Это лишь версии. Очевидно, домыслы.

Ясно только одно:

— Дайте мне револьвер, — попросил Рэдль.

Но возможна и другая ситуация:

— Вот тебе револьвер, — сказали Рэдлю...

До пяти часов утра он не решался покончить с этой историей. Только на рассвете раздался приглушенный подушкою выстрел. В отеле «Кломзер» никто даже не проснулся... Урбанский выехал в Прагу, где на квартире Рэдля обнаружил фотолабораторию. Имущество самоубийцы было распродано с аукциона. Фотоаппарат купил один гимназист. Принес его домой и обнаружил в нем пленку. Он ее проявил, а там оказались фотоснимки с документов австрийского Генштаба. Об этом узнали газеты Праги и разболтали по всему миру. Промах Урбанского стоил ему карьеры. Опростоволосилось и австрийское телеграфное агентство: весь мир узнал, что Россия имела своего агента в самом центре немецкого империализма...

Русская разведка совершала немало ошибок, но имела и очень много заслуг перед родиной. У нас чаще пишут о ее недостатках, нежели о ее успехах. Это неправильно. Еще задолго до войны наши разведчики сумели раздобыть пресловутый «план Шлиффена» — план прорыва германских дивизий к Парижу через земли нейтральной Бельгии. Германия, как зеницу ока, берегла в недоступных местах три экземпляра «Приказаний на случай войны», подписанных лично кайзером. Русская разведка ухитрилась выкрасть один из этих трех экземпляров. За несколько часов до начала первой мировой войны «под аркой» на Невском, в условиях сугубой секретности, был награжден высоким военным орденом российский офицер. Награжден за то, что он уже выиграл ту войну, которая завтра начнется! Подвиг его остался для общества неизвестен. Но это был самый крупный разведчик России. К сожалению, о нем почти ничего не узнать. Так, словно он навсегда засекречен. Известно лишь одно: когда он поворачивался в профиль, вы ясно видели — перед вами... Наполеон (столь разительно было сходство!).

А дело полковника Рэдля до сих пор привлекает к себе внимание историков и всех разведчиков мира. Рэдль работал на Россию целых одиннадцать лет. За такой срок можно продать не только планы своей армии, но и самого императора Франца-Иосифа, если бы кто-либо в нем нуждался... Первое упоминание о деле Рэдля я встретил в русской печати 1915 года — в статье доцента Михаила Хохловкина, который в канун войны

проживал в Вене, гневно бурлившей при известии о «предательстве в верхах». Хохловкин встречался с профессором русской истории Гансом Иберсбергером, проходившим научную стажировку в Московском университете на кафедре профессора Ключевского. Известный историк, он был и австрийским шпионом в России! В этом нельзя сомневаться. Иберсбергер был близок к генштабистским кругам Вены, и еще в феврале 1914 года, за полгода до «июльского кризиса», он сказал Хохловкину:

— Вы, как военнообязанный, возвращайтесь домой. Скоро

будет война, и вы должны явиться в свой полк...

Иберсбергер говорил, что «Австрия после измены Рэдля могла очень легко пасть жертвой России, если бы Россия воспользовалась моментом». Это понятно: все военные планы Австрии были в русских руках. До сих пор в истории продолжается дискуссия на тему: много или мало выдал Рэдль секретов Австрии?

Э. Захариас, разведчик США, работавший против Японии, пишет: «В результате измены Рэдля шансы Австрии на успех в войне с Россией в 1914 году значительно снизились, так как не было возможности внести радикальные изменения в систему крепостей, на которой базировался австрийский план развертывания» (автором плана являлся генерал фон Гетцендорф). Захариас отчасти прав: Рэдля разоблачили в мае 1913 года, а в июле 1914 года уже вспыхнула война — времени у Вены не оставалось!

Австрийская армия сразу же напоролась на героический отпор сербского народа; успех сопротивления плохо вооруженной Сербии объясняется еще и тем, что планы Австрии против славян были заранее переданы в Белград из Петербурга, а Петербург получил их от Рэдля. Быть может, и взятие нами крепости Перемышль и знаменитый Брусиловский прорыв тоже подготовлены на основе агентурных данных...

Вена поначалу, чтобы успокоить общественное мнение, утверждала, что Рэдль передал русским лишь мелочи. После поражения в войне (когда из «лоскутной» империи Габсбургов выделились самостоятельные государства — Венгрия и Чехословакия) реакционные силы Вены, дабы оправдать свое поражение, стали называть Рэдля «могильщиком великой и славной империи».

Истина лежит где-то посередине...

Но во всей этой истории есть один момент, крайне запутанный.

В номере отеля «Кломзер» полковники Урбанский и Ронге мило побеселовали с полковником Рэдлем.

После чего дали ему револьвер и оставили одного.

Тут можно развести руками — в полном недоумении! Как же так? Схвачен крупнейший шпион России.

Теперь бы, казалось, надо схватить его за глотку и трясти до тех пор, пока он не расскажет все о своих связях.

Вместо этого ему желают остаться мужественным и удаляются, милостиво дозволив уйти не только от суда, но и от следствия.

Тут что-то не так!

А что не так?..

На этот вопрос ответить трудно. Можно лишь догадываться. Очевидно, кому-то было нужно как можно скорее вложить револьвер в руки провалившегося агента. З н а ч и т...

Уж не значит ли это, что в числе высших офицеров австрийской разведки был еще кто-то, работавший в пользу Рос-

сии?

Он и спешил устранить Рэдля как ненужного свидетеля! А кто он был?..

Этого мы уже никогда не узнаем.

Но если это так, то можно лишь восхищаться оперативной точностью дальнобойной русской разведки!

последние из ягеллонов

Бари... Я не знаю, посещают ли этот город в Калабрии наши туристы. Но до революции русские паломники ежегодно бывали в Бари, чтобы поклониться его христианским святыням; из Одессы их доставлял в Италию пароход «Палестинского общества», а билеты богомольцам продавали по заниженным ценам. Наши бабушки и дедушки, даже деревенские, хорошо знали этот город с его храмом Николая Чудотворца, и неудивительно, что в ту пору многие жители Бари владели русским языком. Наконец, в 1944 году в Бари по-хозяйски базировались наши самолеты и жили наши летчики, которые, совместно с американскими, обслуживали в горах Югославии армию маршала Тито.

Конечно, во все времена древняя базилика Николая охотно посещалась людьми, в числе ее памятников всех поражала беломраморной помпезностью усыпальница Боны Сфорца, которая была женою польского короля Сигизмунда Старого... Тут я вынужден остановиться, чтобы напомнить: Польша — наша старинная соседка, иногда скандальная и крикливая, но с которой нам все равно никогда не расстаться; сама же история Польши столь тесно переплетена с нашей, что не знать прошлого поляков — хотя бы в общих чертах! — просто непозволительно.

Но однажды я заметил, что мой приятель (человек вроде бы достаточно образованный) небрежно перелистал красочный альбом картин знаменитого Яна Матейко и... зевнул.

- Зеваешь? Не любишь этого художника?
- Люблю, скромно сознался приятель. Но, к сожалению, смысл его исторических полотен теряется в бездне моего незнания. Вот тут некая Сфорца принимает лекарство от врача, а вот какая-то Барбара Радзивилл... красивая бабенка! Помилуй, откуда нам знать эти имена, если мы и свои-то растеряли, заучив со школьной скамьи лишь такие «светлые» личности, как Иван Грозный да Петр Первый, которые клещами палачей да легендарными дубинами прививали европейский лоск нашим достославным предкам, желавшим едино лишь сытости и покоя...

Мне осталось только вздохнуть. Что сказать в ответ, если читатели иногда спрашивают меня — откуда взялась на Руси принцесса Анна Леопольдовна, сына которой благополучно зарезали, почему вызвали из Голштинии сумасбродного Петра III, своих, что ли, дураков не хватало?.. Грустно все это. Но одной грустью делу просвещения не поможешь. Тем более что рассказ о Боне Сфорца я уже начал. Она овдовела в 1548 году, когда скончался ее муж Сигизмунд Старый, сын Ягеллончика...

Катафалк с телом усопшего стоял в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове; суровые рыцари в боевых доспехах склонили хорунжи (знамена) Краковии, Подолии, Мазовии, Познани, Волыни, Померании, Пруссии и прочих земель польских.

Жалобно запел хор мальчиков. Монахи поднесли свечи к знаменам, и они разом вспыхнули, сгорая в буйном и жарком пламени. Тут раздался цокот копыт — по ступеням лестницы прямо в собор выехал на лошади воевода Ян Тарло в панцире; поверх его шлема торчала большая черная свеча, коптившая едким дымом.

В руке Тарло блеснул длинный меч:

— Да здравствует круль Сигизмунд-Август!

Имя нового короля, сына покойного, было названо, и каншлер с подскарбием разломали государственные печати — в знак того, что старое королевые кончилось. Сигизмунд-Август снял с алтаря отцовские регалии, и, согласно обычаю, он расшвырял их, как негодный хлам, по углам собора. В это же мгновение герцог Прусский и маркграф Бранденбургский (вассалы польские) выхватили из ножен свои мечи. С языческим упоением они сокрушали реликвии былой власти над ними. Громко зарыдали триста наемных плакальщиц. Над головами множества людей слоями перемещался угар тысяч свечей и дым сгоревших хорунжей.

Бона Сфорца вдруг резко шагнула вперед и алчно сорвала с груди покойного мужа золотую цепь с драгоценным крестом:

Не отдам земле — это не ваше, а из рода Сфорца...
 В дни траура король навестил мать в королевском замке.

Еще красивая, стройная женщина, она встретила сына стоя; ее надменный подбородок утопал в складках жесткой испанской фрезы. Молодой король приложился к руке матери, целуя ее поверх перчатки, украшенной гербами Сфорца, Борджиа и Медичи, близкородственных меж собою.

— Покойный отец мой, — начал он деловой разговор, — совсем недавно выплатил дань Гиреям крымским, чтобы они дали нам пожить спокойно. Но, получив дань, вероломные татары уже вторглись в наши южные «кресы», угоняя в Крым многие тысячи пленников. Теперь, если выкупать их на рынках Кафы*, нужны деньги, а наша казна пуста...

— Чего ты хочешь, глупец? — жестко спросила Бона.

— Я желаю знать: насколько справедливы те слухи, что вы, моя мать, отправили миллионы дукатов в Милан и в «золотую контору» аугсбургских банкиров Футтеров?

Бона Сфорца безразлично смотрела в угол.

— Какие вести из Московии? — спросила отвлеченно.

— Иван Васильевич венчал себя царским титулом, а крымским ханством начал владеть кровожадный Девлет-Гирей. Но я... жду. Я жду ответа о казне Польши, бесследно пропавшей.

Скрип двери выдал гнусное любопытство врача Папагоди,

но Бона сделала знак рукою, чтобы сейчас он не мешал.

- Я не только Сфорца, отвечала мать, гневно дыша, во мне течет кровь королей Арагонских, кровь благочестивых Медичи и Борджиа, и еще никто не осмеливался попрекать нас в воровстве... Ступай прочь! Зачем ты велел закладывать лошадей?
 - Я отъезжаю в Вильно.

Бона Сфорца издала яростный дикий крик:

— Твое место в Кракове или в Варшаве... Или тебе так уж не терпится снова обнюхать свою сучку Барбару Радзивилл, которую всю измял бородатый верзила Гаштольд, даже в постели не снимавший шлема и панциря?

Король бледнел от страшных оскорблений матери.

- Но я люблю эту прекрасную женщину, отвечал он тихо.
- Ах, эта любовь!
 с издевкою произнесла Бона.
 Меня за твоего отца сватал сам великий германский император Карл, и тебе надобно искать жену из рода могучих Габсбургов, пусть из Вены или из Толедо. Бери любую принцессу из баварских

Кафа — нынешний город Феодосия; с давних времен был главным рынком работорговли, где татары продавали русских, украинских и польских женщин для восточных гаремов.

или пфальцских Виттельсбахов, по тебе тоскует вдовая герцогиня Пармская, наконец, вся Италия полна волшебных невест из Мантуи, Пьяченцы и Флоренции, а ты... Кого ты избрал?

- Я никогда не оставлю Барбару, заявил сын.
- А-а-а, снова закричала мать, тебе милее всех эта дикарка из деревни Дубинки, где она расцвела заодно с горохом и вонючей капустой... Чем она прельстила тебя?
 - Тем, что Барбара любит меня.
 - Тебя любила и первая жена Елизавета Австрийская.
- Да! вспыхнул король, обозленный словами матери. Да, любила... Но вы сначала разлучили меня с нею, а потом извели потаенным ядом из наследия благочестивых Борджиа.

Дверь распахнулась, вбежала Анна Ягеллонка, сестра молодого короля. Рухнула на колени между братом и матерью:

- Умоляю... не надо! Даже в комнатах фрауцыммер слышно каждое ваше слово, и лакеи смеются... сжальтесы! Не позорыте же перед холопами свое достоинство Ягеллонов...
- Хорошо, согласился Сигизмунд-Август, нервно одернув на себе короткий литовский жупан. Мертвых уже не вернуть из гробов, но еще можно вернуть те коронные деныи, что тайно погребены в сундуках аутсбургских Фугтеров.

Бона Сфорца злорадно расхохоталась в лицо сыну:

— Ты ничего не получищь. И пусть пропадет эта проклятая Польша, где холодный ветер задувает свечи в убогих каплицах и где полно еретиков, помещанных на ереси Лютера...

После отъезда сына она тоже велела закладывать лошадей. Ес сопровождали незамужние дочери — Анна и Екатерина Ягеллонки. Спины лошадей, потные, были накрыты шкурами леопардов.

— Едем в замок Визны, — сказала Сфорца; под полозьями саней отчаянно заскрипел подталый снег. — О, как я несчастна! Но вы, дочери, будете несчастнее своей матери... Я изнемогла илали от солнца прекрасного Милана. Как жить в этой стране, если к востоку от нее — варварская Московия, а из германских княжеств наползает на Полонию лютеранская ересь! Я не пожалсла бы и миллиона золотых дукатов, чтобы в городах моего королевства освещали мне путь костры святой инквизиции.

...Было время гуманизма и невежества, дыхание Ренессанса коснулось даже туманных болот Полесья, а ветры из Европы доносили дым костров папского изуверства. Правда, в Польше тоже разгорались костры: заживо сжигали колдуний, упырей, корожеек и отравителей. Но казни еще не касались «еретиков» пютеранской веры, поляки тогда были веротерпимы, и Реформиция быстро овладевала умами магнатов и «быдла». Бона Сфорца скизала:

— Без псов господних нам не обойтись... «Псами господними» называли себя иезуиты.

В каминах мрачного замка Визны жарко потрескивали дрова, но все равно было зябко. Бона Сфорца накрыла голову испанским беретом из черного бархата, ее платье — платье вдовы — было густо осыпано дождем ювелирных «слез», отлитых при дворе испанского короля Филиппа II из чистого мексиканского серебра.

Махра Вогель, ее приемная дочь, тихо играла на лютне.

— Когда-то и я трогала эти струны, — сказала Бона, вычурно ступая на высоких котурнах. — Но все прошло... все, все, все! Теперь я жду гонца из Вильны, а он все не едет.

Может, его убили в дороге, — подсказала Махра.
Такое у нас бывает... часто, — согласилась Бона.

Она выглянула в окно: за рекою чернели подталые пашни, дремучие леса стыли за ними, незыблемые, как и величие древней Полонии. Наконец она дождалась гонца, который скакал пять суток подряд, скомканный вальтрап под его седлом был заляпан грязью, как и он сам. Гонец протянул пакет:

- Из Литвы, ваша королевская ясность.

- Кто послал тебя ко мне?

— Петр Кмит, маршал коронный.

— Что ты привез?

— То, о чем знают уже все. Король и ваш сын Сигизмунд-Август ввел Барбару Радзивилл в Виленский дворец, публично объявив ее своей женою и великой княгиней Литовской...

Нет, ничто не изменилось в лице Боны Сфорца.

— Ты устал? Ты хочешь спать? — пожалела она гонца.

— Да, устал. Хочу спать и — пить...

Сфорца перевернула на пальце перстень, сама наполнила бокал прохладной венджиной и протянула его гонцу:

— Пей. С вином ты уснешь крепко...

Потом из окна она проследила, как гонец, выйдя из замка, шел через двор. Ноги его вдруг подкосились — он рухнул и уже не двигался. В палатах появился маршалок замка:

Гонец умер. Еще такой молодой... жалко!Но он ведь слишком утомился в дороге...

Перстень на ее пальце вдруг начал менять окраску, быстро темнея. Махра Вогель перестала играть на лютне:

— Что пишут из Литвы?

 Дурные вести — у нас будет молодая королева, и сам всевышний наказал гонца, прибывшего с этой вестью.

Теперь осталось дело за малым: возмутить шляхту и сейм, всегда алчных до золота, чтобы они не признавали брака ее

сына. Петр Кмит был давним конфидентом Боны, по его почину быстро собрался сейм. Подкупленные шляхтичи требовали от Сигизмунда-Августа, чтобы он оставил Барбару Радзивилл.

— Эта паненка, — кричали ему, — уже брачевалась со старым Гаштольдом, что был воеводой в Тракае на Виленщине, так зачем нашему королю клевать вишни, уже надклеванные ястребом?

Сигизмунд оставался непреклонен в своем решении:

— Болтуны и пьяницы, замолчите! Я ведь не только последний внук Ягеллончика, но я еще и человек, как и все мы... грешные. А любовь — дело сердца и совести каждого христианина. И вы знайте: да, я безумно люблю Барбару...

Напрасно люблинский воевода Тарло рвал на себе кунтуш:

— Сегодня она только княгиня Литовская, а завтра ты назовещь ее нашею королевой... Пересчитай мои рубцы и шрамы, король! Я сражался за наши вольности с татарами, с германцами, с московитами, когда тебя еще не было на этом свете. Так мне ли, старому воину, кланяться твоей захудалой паненке?

Сигизмунд-Август усмехнулся с высоты престола:

— Воевода! Барбара достаточно умна и образованна, чтобы даже не замечать, если ты не удостоишь ее своим поклоном...

Во время этого «рокоша» Бона Сфорца сидела в ложе, укрывая за ширмою своего фаворита и врача Папагоди, который был поверенным всех ее тайн и всех ее страстей. Сейм уже расходился, и тогда Бона с кроткой улыбкой подошла к сыну.

— Я уважаю твое чувство к женщине, покорившей тебя, — сказала она, прослезясь. — Будь же так добр: навести меня вместе с Барбарой, я посмотрю на нее, и мы станем друзьями...

Здесь уместно сказать: при свиданиях с матерью король не снимал перчаток, ибо в перстнях ее таились тончайшие ядовитые шипы — достаточно одного незаметного укола, чтобы мать отправила на тот свет родного же сына. Сигизмунд-Август отвечал, что согласен навестить ее вместе с Барбарой:

— Но прошу вас не блистать перед ней перстнями...

Барбара, желая понравиться свекрови, украсила голову венком из ярких ягод красной калины — это был символ девственной и светлой любви. Бона расцеловала красавицу:

— Ах, как чудесны эти языческие прихоти древней сарматской жизни! А я начинаю верить, что ваша светлая любовь к моему сыну чиста и непорочна, — добавила Бона с усмешкою.

Стол был накрыт к угощению, в центре его лежала на золотом блюде жирная медвежья лапа, хорошо пропаренная в пчелином меду и в сливках. Но Барбара, предупрежденная мужем об искусстве врача Папагоди, всем яствам предпочла яб-

локо... только яблоко! Да, сегодня перстней на пальцах Боны не было. Бона взяла нож, разрезая яблоко надвое, и при этом мило сказала:

- Разделим его в знак нашей будущей дружбы...

Наследница заветов преступных Борджиа, она хорошо знала, какой стороной обернуть отравленный нож, чтобы самой не пострадать от яда. Бона Сфорца осталась здоровой, съев свою половину яблока, а любимая Барбара Радзивилл вскоре же начала заживо разлагаться. Ее прекрасное лицо, ставшее сизо-багровым, отвратительно разбухло, губы безобразно раздвинулись, распухая; наконец, ее дивные лучистые глаза лопнули и стекли по щекам, как содержимое расколотых куриных яиц. От женщины исходило невыносимое зловоние, но король не покинул ее до самой смерти и потом всю долгую дорогу — от Кракова до Вильны — ехал верхом на лошади, сопровождая гроб с ее телом...

Барбара была отравлена в 1551 году, а вскоре Сигизмунд-Август, дважды овдовевший, прогнал от себя и третью жену Екатерину из дома венских Габсбургов, брак с которой силой навязала ему мать. Но вслед за изгнанием жены король — в жесточайших попреках! — начал изгонять из Польши и свою мать: — Только не забудьте забрать и своего любимца Папагоди,

 Только не забудьте забрать и своего любимца Папагоди, которого лучше бы именовать не исцелителем, а могильщиком...

Заодно с любовником Бона Сфорца вывезла из Польши несметные богатства, награбленные еще при жизни Сигизмунда Старого. Семья миланских герцогов Сфорца не пожелала видеть экс-королеву в своем Милане, и Бона перебралась в Бари, где завела пышный двор. Близилось ее шестидесятилетие, но Бона еще мечтала об удовольствиях, для чего и заботилась о возвращении молодости, над секретом которой немало хлопотал Папагоди в своей тайной лаборатории. Вскоре, узнав о ее богатствах, испанский король Филипп II выпросил у нее в долг 420 000 золотых дукатов, и Бона охотно отдала их королю, зная, что эти деныги пойдут на искоренение «ереси», чтобы жарче разгорались огни инквизиции.

— Мы распалим в Европе такие костры до небес, что даже у антелов на небесах обуглятся их ноги! — восклицала она.

После этого, получив личное благословение папы римского, Бона Сфорца собралась нежиться на солнце еще много-много лет. Был уже конец 1557 года, когда врач Папагоди, веселый и красивый, поднес ей кубок с эликсиром для омоложения.

— Выпейте, — сказал он нежно. — Глупо принимать ванны из крови невинных девочек, как это делают некоторые знатные

дамы, если вернуть живость юности можно через такой вот декокт, который я приготовил для вас по самым древним рецептам...

Это был отяичный декокт — пополам с ядом. Как тут не воекликнуть: «О tempora, о mores!»

Смерть Боны Сфорца совпала с началом Ливонской войны, которую слишком рьяно повел Иван Грозный; но, вводя свои войска в земли Прибалтики, царь невольно затрагивал интересы и польской короны, а сама Польша — и даже ее воинственная шляхта — к войне с Россией никак не была готова.

Сигизмунд-Август отмахивался от разговоров о пушках:

- Увы, все пушки заряжаются не порохом, а деньгами...

Он почти слезно умолял банкиров Футгеров (этих предтечей династии Ротшильдов), чтобы они, мерзавцы, вернули Польше деньги, вложенные в их банк его матерью, но Футгеры нагло отрицали наличие вклада. Король обратился в Мадрид к Филиппу II, чтобы тот, благородный Габсбург, вернул долги матери...

Король Испании даже не ответил королю Польши!

Ливонская война, столь опрометчиво затеянная русским царем, затянулась на многие годы, но Сигизмунд-Август не помышлял о победах. Отчаясь в жизни, презренный даже для самого себя, король ужасался при мысли, что остается последним Ягеллоном, и бросился в омут распутства, пьяный, он кричал по ночам:

- Умру, и... кому достанется Речь Посполитая?

Он окружил себя волхвами, кудесниками и магами. Знаменитый алхимик и чародей пан Твардовский (этот польский Фауст) окуривал короля синим дымом, и тогда перед ним возникал дух Барбары Радзивилл. Отделясь от стены, она, почти лучезарная, тянула к нему руки, и король, отбросив чашу с вином, кидался навстречу женщине, а потом скреб пальцами холодную стенку:

— Не мучай! Приди... еще хоть раз. Вернись...

Сигизмунд-Август скончался в 1572 году, и, как сообщает наш великолепный историк С. М. Соловьев, он умер в позорной нищете: «В казне его не нашлось денег, чтобы заплатить за похороны, не нашлось ни одной золотой цепи, ни одного даже кольца, которые должно было надеть на покойника». После смерти последнего Ягеллона в Польше наступило опасное «бескрулевье», в котором сразу появилось немало претендентов на его корону — в том числе хлопотал о ней и русский царь Иван Грозный, вожделевший «почати» от Екатерины Ягеллонки.

Но в короли поляки избрали парижского вертопраха Генриха Валуа, сына Екатерины Медичи, который, поразвратничав в Варшаве, однажды ночью бежал из Польши, и новое «бескрулевье» завершилось избранием в короли Стефана Батория, согласившегося жениться на беззубой старухе Анне Ягеллонке. А «невеста» русского царя — Екатерина Ягеллонка — стала женою шведского короля Юхана III, и вот они оба, мужья Ягеллонок, стали побеждать слабую армию Ивана Грозного...

рия, согласившегося жениться на беззубой старуже Анне Ягеллонке. А «невеста» русского царя — Екатерина Ягеллонка — стала женою шведского короля Юхана III, и вот они оба, мужья Ягеллонок, стали побеждать слабую армию Ивана Грозного...

Здесь мне желательно сказать о другом! Ровно через 26 лет после вырождения Ягеллонов безобразно выродилась на русском престоле и правящая династия Рюриковичей; но, согласитесь, есть что-то общее в том, что эти династии, когда-то могучие, завершали свой кровавый путь в презренном маразме слабоумия, в пакости самого гнилостного разврата.

боумия, в пакости самого гнилостного разврата Не вернуться ли нам в древний городок Бари?

Может быть, теперь, когда в нашей стране верующие обретают свободу совести, может быть, повторяю, возобновятся поездки паломников по местам древнейших христианских святынь, и, может быть, они навестят и город Бари, где увидят Бону Сфорца, стоящую на коленях поверх гробницы со своими же костями.

В этом случае хотел бы предостеречь, что кланяться перед Боной Сфорца не надо — она не святая! Эта зловещая дама сделала все, чтобы на земле не осталось Ягеллонов...

«ПЛЯСКА СМЕРТИ» ГОЛЬБЕЙНА

В конце 1543 года старшина цеха живописцев и маляров города Базеля велел писцу раскрыть цеховые книги:

- Говорят, в Лондоне была чума, и, кажется, умер Ганс

Гольбейн, сын Ганса Гольбейна из Аугсбурга.

Писец быстро отыскал его имя в цеховых книгах:

— Вот он, бродяга! Так что нам делать? Ставить крест на нем, или подождем других известий из Лондона?

— Ставьте крест на Гольбейне, — решил цеховой старши-

на. — Наверное, он уже отплясывает со своим скелетом...

...«Пляска смерти» Гольбейна была слишком известна в Германии; гравюрные листы с этим сюжетом украшали покои королей и лачути бедняков, ибо смерть для всех одинакова. Каждый, едва появясь на свет, уже вовлечен в чудовищную пляску со своим же скелетом. Гордая принцесса выступает в церемонии, а смерть учтивым жестом приглашает ее в могилу. Она срывает тиару и с папы, сидящего на римском престоле. В жуткую «пляску смерти» вовлечены все — судья, обвиняющий людей, купец, подсчитывающий выручку, врач, принимающий больного, и невеста, спешащая к венцу. Пусть коварный любовник увлекает знатную даму — смерть уже стучит в барабан, празднуя свою победу. Но Гольбейн иногда бывал и снисходительным. Вот бедняга землепашец тащится за плугом, но скелет даже помогает ему, нахлестывая лошадей. Смерть обходит стороной и нищего, сидящего на куче всякого хлама... Не в этом

ли великий смысл? Да и что иное можно ожидать от живописца, если вся его жизнь была «пляской смерти» — в обнимку со своим палачом.

Пока не погрузишься в эпоху Гольбейна, до тех пор портреты его кажутся лишь бесплотными иллюстрациями времени. Но стоит окунуться в эпоху (на срезе средневековья и Возрождения), когда кубок вина ценился дороже головы человека, а вопли сгорающих на кострах чередовались с самой грязной похабщиной королей и фрейлин, тогда станет жутко при мысли; как мог художник жить и творить в том чудовищном времени?

Европа! Старые скрипучие корабли, древние города, пронизанные крысиным визгом, полумертвые храмы с погостами, дряхлеющие королевства... Вдали смутно забрезжили берега Англии.

Гольбейн разделял каюту с ганзейским негоциантом Георгом Гизе, плывущим в Лондон по торговым делам.

- Вам не страшно ехать в страну, где сегодня сжигают про-

тестантов, а завтра будут топить в Темзе католиков?

— От купцов требуют хороших товаров, но в Ганзе не спрашивают, поклоняемся ли мы престолу Римскому или внимаем разгневанным речам Лютера... Ну, а вы-то? — спросил Гизе, поблескивая живыми глазами умного и бывалого человека. — Не лучше ли было бы вам, Гольбейн, оставаться в Германии, как остался в ней и Альбрехт Дюрер?

Гольбейн сказал, что Базель уже спохватился, не желая терять своего живописца, но обещали платить в год только 30

гульденов, а прожить трудно даже на восемьдесят.

— Я обижен Германией, — скорбел Гольбейн. — Мои картины выбрасывали из церквей, их жгли на кострах как сатанинские. Однажды на продольном полотне я распластал труп угопленника, я открыл впадину его рта, но моя жестокая правда смерти вызвала элобную ярость всех, всех, всех...

— Неужели всех? — со смехом спросил Гизе.

— Да. Мне пришлось обмакнуть кисть, в красную краску, обозначив на теле раны, и мой угопленник превратился в Христа. Так люди отвергли правду человеческой смерти, зато ее приняли под видом страданий спасителя нашего...

Качка затихала — корабль уже входил в Темзу.

...Английский король Генрих VIII (из династии Тюдоров) напрасно зазывал в свои владения Тициана и Рафаэля — никто из них не оставил благодатную Италию, и королю пришлось второй раз приглашать немца Ганса Гольбейна, которого в Аугсбурге заставляли красить уличные заборы.

Была мерзкая, дождливая осень 1532 года...

— Спасибо королю, знающему мне цену. Я не забуду, как порд Норфолк при дамах щелкнул меня по носу, но тут же был сражен оплеухой короля. «Эй ты, невежа! — сказал король. — Из дюжины простаков я всегда наделаю дюжину милордов, но из дюжины милордов не сделать мне даже одного Гольбейна...»

С двумя учениками Гольбейн ехал в графство Гардфортское, где в замке Гундсона кардинал Уоллслей обещал ему дать прибыльную работу. Дороги раскисли, лошади тяжело ступали по слякоти.

- Не боюсь даже малярных трудов, говорил мастер. Мне уже не раз приходилось расписывать алтари в Люцерне и вывески для колбасных лавок в Базеле, я красил даже крыши в Аутсбурге, но страсть моя портреты. К сожалению, горестно завздыхал Гольбейн, люди уверены, что изобразить человека так же легко, как портняжке выкроить ножницами знамя. Однако если бы наше искусство было всем доступно, то, наверное, Англия имела бы целый легион своих живописцев. А где же они? Пока что их у вас нету... Вы, британцы, неспособны провести на бумаге волнистую линию, ваше ухо законопачено бараньим жиром, а потому оно закрыто и для нежной мелодии.
- Зато у нас, гордо отвечали ученики, немало кораблей и шерсти. Наконец, в нашем королевстве не переводится выпивка, а каждый британец знает, что для него где-то уже пасется овца: придет время, и он эту овцу сожрет!

Мокрые стебли овсов, растущих по обочинам, запутывались в колесах. Гольбейн, озябнув, окружил свою шею мехом.

— У меня на родине сейчас царят метафизика и жажда идеплов, а вы, англичане, желаете лишь суетной любви и насыщения мясом, плохо проваренным. Если же какой-либо милорд и жертвует один грош на искусство, он совершает это с таким важным видом, будто уговорил дикаря прочесть святое Евангелие... Впрочем, — осторожно добавил Гольбейн, — я не впадаю в осуждение страны, приютившей меня, и король которой охотно создает мне хорошую репутацию и богатство.

Прибыв в Гундсон, они остановились у «Черного быка», заказали два кувшина вина. Гольбейн просил хозяина зажарить для них индейку пожирнее. Ученики спешили напиться:

- Мастер, у нас бокалы уже кипят от нетерпения!
- У меня тоже, отвечал Гольбейн. Но я вижу, что нашу индейку отнесли на стол к какому-то уроду... Эй, хозяин! Кто эта скотина? Я ведь любимый художник вашего короля.

Трактирщик надменно ответил:

- Твою индейку съест человек, талант которого король воз-

любил пуще твоего таланта. Это... палач короля, и ты бы только

видел, как ловко отрубает он головы грешникам!

Дождь кончился. Стадо мокрых овец, нежно блея, возвращалось с далеких пастбищ. В окно трактира виднелся замок и общирный огород, на котором издавна выращивали зелень для стола британской королевы Екатерины Арагонской.

— А когда я был в Англии первый раз, — заметил Гольбейн, — то бедная королева, желая полакомиться свежими овощами, прежде посылала курьера за салатом или спаржей через

канал — во Францию!

Палач со вкусом разодрал индейку за ноги, он алчно рвал зубами сочное мясо. Профаны старались пить намного больше своего учителя, обглоданные кости они швыряли в раскрытые двери трактира, где их подхватывали забегавшие с улицы собаки.

— Скоро с этого огорода, — шепнул ученик, — все ягодки достанутся другой... Говорят, наш король жить не может от безумной любви к фрейлине Анне Болейн. Старая королева сама и виновата, что, посылая за салатами, заодно с травой прихватила из Парижа в Лондон и эту смазливую девку.

— А я слышал, — сказал второй ученик, звучно высасывая мозг из кости, — что эта девчонка заколачивает двери спальни гвоздями и она не уступит королю, пока папа римский не даст его величеству согласия на развод с его первой женой.

Палач уничтожил индейку. И подмигнул Гольбейну.

— Тише, тише, — испугался Гольбейн. — Я лишь бедный художник в чужой стране, и мне ли судить о делах вашего короля?

Палач вышел и вернулся с огорода, держа в руке цветок,

который он с поклоном и вручил Гольбейну:

— Я догадался, кто вы... Гольбейн! Я слишком уважаю вас. Если вам не очень-то повезет при дворе нашего славного короля, я обещаю не доставить вам лишних переживаний. Поверьте, я свое дело знаю так же хорошо, как и вы свое дело.

— Благодарю, — учтиво отвечал Гольбейн. — Ваши добрые

слова доставили мне искреннее удовольствие...

А в сумрачной галерее Гундсонского замка пылали огромные камины, музыканты тихо наигрывали на гобоях. Ближе к ночи кардиналу Уоллслею доложили о приезде знатных гостей. Вошли тринадцать мужчин в масках, они просили сразу начинать танцы. Один из них сорвал маску, открыв большое белое лицо с рыжей бородой — это был сам король Генрих VIII, который смелой поступью направился к молодым фрейлинам. Камергер сказал Гольбейну, чтобы убирался отсюда прочь — на антресоли, куда и проводили художника лакеи. Скоро на ант-

ресолях появился Генрих, ведя за руку смущенную девушку с гладкой прической, из-под которой торчали непомерно громадные бледные уши.

— Посмотри, Гольбейн! — воскликнул король, жирной дланью, унизанной перстнями, поглаживая нежный девичий затылок. — Скажи, где ты видел еще такую красоту? Я хочу иметь портрет моей драгоценной курочки Анны Болейн... На, получи!

Генрих VIII отстегнул от пояса один из множества кошельков, украшавших его, и швырнул кошелек мастеру, который и поймал деньги на лету, невольно вспомнив собак в трактире, хватавших обглоданные кости. Анна Болейн скромно ему улыбалась...

Ганс Гольбейн вернулся к своим ученикам:

— Пора растирать краски, время готовить холсты... Будем трудиться ради сохранения примет своего времени. Потомки да знают, как выглядели брюхатые короли и тощие нищие, как одевались фрейлины и проститутки... Что там за складка возле губ Анны Болейн? Ах, оказывается, его королевское величество слишком сегодня строг... Запечатлеем и это!

Есть отличный рисунок с Анны Болейн, которую художник изобразил павшей на колени. Что-то жалкое, что-то вымученное, что-то безобразное, но только не молитвенное чудится в этой женщине, уже с юности вовлеченной в «пляску смерти» художника. Гольбейн создал очень много, но осталось после него очень мало. Время, беспощадное к людям, не пощадило и его творений. Наверное, он мог бы поведать о себе далекому потомству:

— Жизнь моя останется для вас загадочна и таинственна, как и дебри Америки, зато мои портреты сберегут для вас всю жестокую правду времени, в котором я имел несчастие жить и страдать со всеми людьми... как художник! как человек!

А ведь миновало всего 40 лет с того момента, когда Колумб открыл Америку. Лондон имел в ту пору уже около ста тысяч жителей, его улицы кишмя кишели ворами, попрошайками, нищими и сиротами. В моду входил строительный кирпич, оконное стекло перестало удивлять людей. У всех тогда были ложки, но вилок еще не знали. Мужчины пили вино, оставляя пиво для дстей и женщин. Замужние англичанки одевались скромно, но девушки имели привычку обнажать грудь. Полно было всяких колдуний и знахарок, обещавших любое уродство превратить в волшебную красоту. Казни для англичан были столь же привычны, как и карнавалы для жителей Венеции. Головы казненных подолгу еще висели на шестах, пока их не срывал ветер, как

пустые горшки с забора, и они, гонимые ветром, катились по мостовым, с развевающимися длинными волосами и никого уже не путая впадинами пустых глазниц. Прохожий просто отпихивал голову ногой и продолжал свой путь дальше — по обыденным делам...

Климент VII, папа римский (из рода знатных Медичи) получил письмо от Генриха VIII: король умолял его как можно скорее разлучить его со старой женой, ибо уже нет сил выносить страсть к молодой Анне Болейн... Папа был вне себя от гнева:

Этот чувственный олух решил схватить меня, как свинью, за два уха сразу, чтобы тащить на заклание! Но он забыл, что Екатерина Арагонская — племянница германского императора Карла, под скипетром которого почти вся вселенная...
 Гнев папы имел основания. Совсем недавно ему пришлось

Гнев папы имел основания. Совсем недавно ему пришлось бежать из Ватикана, когда в Рим ворвались оголтелые войска Карла V; они вырезали половину жителей вечного города, Тибр был завален трупами, дворцы сгорали в пламени, разбойники оскверняли не только женщин, но даже детей, все женские монастыри подвергли массовому изнасилованию, ландскнехты Карла V жгли людей над кострами, расшибали камнями людские черепа, римлянкам отрезали носы, отрывали уши клещами, а глаза выжигали раскаленными вертелами... Папа рассуждал далее:

— Если теперь дозволить английскому королю развестись с племянницей Карла V, император вернется сюда с мечом, а Риму не вынести второе нашествие испано-германских ванлалов...

Папа припугнул Генриха VIII буллой, в которой грозил отлучением от церкви, если будет и далее настаивать на разводе с женой... Король зачитал эту буллу перед парламентом:

- Ответ мой папе таков - в Каноссу не пойдем!

Случилось невероятное: маленькая вертлявая девица отрывала Англию от католической церкви. Желая примирить католицизм с протестантством, король объявил о создании новой церкви в Англии — англиканской! Главою этой церкви король сделал самого себя, а буллу от папы разодрал в клочья. Свой плотский, низменный эгоизм он возводил в степень государственной политики... Канцлер Томас Мор предупредил Генриха:

— Ваше величество решили играть с огнем?

Автору «Утопии» король отвечал диким хохотом:

— Что делать, Том, если я люблю погреться у огня...

Гольбейн поселился среди своих земляков — в лондонском квартале «Стальной двор», который давно облюбовали для своей биржи ганзейские купцы, много знающие, оборотистые,

дольновидные, как пророки. Здесь художник снова встретил непоцианта Георга Гизе, портрет которого он теперь и писал в деловито-сложном интерьере его торговой конторы. Живая натура и живописец, изображающий эту натуру, редко делаются друзьями: между ними порою возникает бездна, и тот, кого портретируют, силится навязать художнику свою волю, свои истины, даже свои вкусы... Проницательный Гизе рассуждал:

— Я слышал в Любеке, что вы когда-то разукрасили поля «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского своими забавными рисунками. Но какие рисунки вы приложили бы к философской «Утопии» английского лорда-канцлера Томаса Мора?

На вопрос негоцианта мастер ответил:

- О-о, его «Утопия» это ведь только утопия!
- Вряд ли... Гизе, подойдя к дверям, выглянул на улицу и вернулся за стол. Нас никто не слышит, сказал он, распечатывая пакет из Гамбурга с ценами на щетину и мыло. А я спрошу: кто рекомендовал вас королю?
- Не королю, а канцлеру Томасу Мору меня рекомендовал Эразм Роттердамский... они ведь друзья, и я счастлив, что моя жизнь озарена доверием ко мне этих великих мыслителей.
 - Так ли уверен Мор после истории с Болейн?
 - Вы боитесь за судьбу Томаса Мора?
- Но связанную с вашей судьбой... Сможете ли вы работать в стране, где даже канцлеры не знают, где они будут сегодня ночевать у себя дома или в темницах Тауэра? Английский король считает преданными ему лишь тех, кто в нем, тупом и безжалостном деспоте, разглядит силу ума и его величие... Так не лучше ли возвратиться в Германию, чтобы красить заборы?

Вскоре Генрих VIII обвенчался с Анной Болейн, а прежнюю жену заточил в замке; дочь от нее, Мария Тюдор, была признана им незаконнорожденной; тем более что Анна Болейн уже не скрывала от публики свой выпиравший живот...

— Я присягал только королю, — заявил Мор. — Но я не присягал двоеженцу, ставшему антипапой!

Генрих VIII в таких случаях долго не думал:

- И сгоришь на костре... как еретик.
- Выходит, мы оба любим играть с огнем.

Великий гуманист был отдан на расправу «Звездной палате»; его приговорили: отрубить руки и ноги, извлечь внутренности, бросить их в костер, после чего можно лишать головы. Перед казнью пьяный король навестил своего бывшего канцлера.

— Каково? — спросил. — Только мои негодяи лорды и могли придумать такую муку. Но я добрее: отрубим голову — и все. После казни Гольбейн встретился с Георгом Гизе.

11 3akas 23 321

— Так что осталось от вашего покровителя?

-- «Утопия» Мора и мои портреты Мора. Разве этого мало?.. Список портретов Гольбейна — стращный синолик затравленных, сожженных, обезглавленных... за что? Елва ли от Гольбейна осталась даже треть его наследия. Где уничтожено пожаром, где руками злых и глупых тупиц. Но иногда люди срывали со стен старые обон, а под ними яркими красками снова вспыхивала забытая, но бессмертная живопись Гольбейна... Портретам великого гуманиста Томаса Мора повезло — они уцелели!

Спорные вопросы религии лишь маскировали королевский деспотизм. Сегодня отрубали головы католикам, завтра вешали протестантов. Но в любом случае содержимое их кошельков исправно поступало в копилку короля. В бойкой распродаже конфискованных земель богачи наживались, а белняки нишали.

В сентябре 1533 года Анна Болейн родила дочь Елизавету, и

король уже не скрывал своего отвращения к жене:

— Будь я проклят, до чего она мне опостылела!

Женшину, снова беременную, он жестоко избил, истоптав ее ногами, и Анна Болейн выкинула мертвый плод. Королю снова понадобился Гольбейн, который не замедлил явиться. Подле Генриха улыбалась художнику наглая красавица Дженни Ceibayo.

Король бросил Гольбейну кошелек с золотом:

- Теперь все стало проще, ибо никакой папа из Рима уже не может помешать нам. Давай-ка берись за кисти, сделай портрет моей ласковой курочки Джен... ах, как она хороща!

Генеральный викарий Томас Кромвель громил монастыри

Англии, но, кстати, не удержался от упрека королю:

— Нельзя же менять жен — это вам не перчатки.

Генрих VIII ответил, что Анна Болейн... неверна ему:

- Потому я выбрал Дженни Сеймур.

— Каковы же признаки прелюбодеяния Анны Болейн?

- Спросите Дженни Сеймур, она все видела...

— Что могла видеть эта чертовка?

— Она застала негіристойную сцену: Анна Болейн лежала в постели, на которой сидел этот выродок — лорд Рошфор.

Но он же ее брат! — воскликнул Кромвель.
Это все равно, — ответил король, и белое плоское лицо его сделалось розовым, как свежая ветчина. — Скажу большее. Во время рыцарского турнира Анна бросила платок Генри Норрису; вы бы видели, Кромвель, с каким изящным благоговением он прижал этот платок к своему развращенному сердцу.

— Не он ли победил на турнире всех рыцарей Англии? Наконец, платок ему бросила не торговка селедками на базаре.

- Да, королева! Тем хуже для нее...

Анну Болейн разлучили с дочерью, вместе с Норрисом и Рошфором заточили в Тауэре. Король в эти дни охотился на оленей, сочинял любовные баллады, распевая их перед Дженни Сеймур, он играл ей на лютне... Дженни говорила ему:

— Ваша страсть ко мне бесподобна, но я удовлетворю вас только в том случае, если принесете мне голову этой грязной

потаскушки Анны Болейн... Успокойте меня!

В ясный майский день, держа в руке белый цветок, Анна Болейн взошла на эшафот. В Лондоне были закрыты все лавки, театры левого берега Темзы пустовали, народ волновался и ждал, что скажет «прелюбодейка» на прощание.

— Спасибо великодушному королю, который прибавил еще

одну ступень к лестнице моего случайного возвышения!

Несчастная женщина, она ведь публично льстила извергу, боясь, что топор коснется не только ее, но и маленькой дочери. Измерив свою шею руками, Болейн сказала палачу:

- Кажется, я не доставлю вам особых хлопот.

— Шея у вас лебединая, — согласился палач. — Не волнуйтесь, миледи, еще никто из моих клиентов не посылал жалоб и проклятий на меня с того беспечального света...

На следующий день Генрих VIII объявил дочь Елизавету незаконнорожденной и празднично обвенчался с Дженни Сеймур. Он объявил Ганса Гольбейна своим придворным живописцем:

— А чтобы мои лакеи не давали тебе пинков под зад, вот тебе и ключ моего камергера. Тебя могут отволтузить в моем дворце с палитрой, но кто тронет тебя, придворного?

Ученики хором поздравили мастера с камергерством:

- Не выпить ли всем нам по такому случаю?

- Пейте сами, бездарные бараны...

Вскоре Генрих VIII, озабоченно-хмурый, снова позвал Гольбейна и громко хлопнул себя по громадному чреву, заявив:

— Что-то опять у меня не так... не то, что хотелось бы! Эта потливая Джен воняет по ночам в постели, как хорек. Я дам тебе кучу денег. Поезжай-ка на материк с ящиком красок. Говорят, овдовела шестнадцатилетняя Христина, дочь датского короля, что была за герцогом Миланским. Привези портрет этой девчонки-вдовы в траурном платье. Может, она-то как раз то, что мне надо! Я буду ждать тебя с нетерпением.

В поиски невесты вмешался и Томас Кромвель; он советовал Генриху VIII связать свою жизнь с принцессой Клеве, впавшей в лютеранскую «ересь», дабы этим браком примирить церковь англиканскую с учением всей европейской Реформации.

— А куда я дену Дженни Сеймур? Чувствую, что при таком короле, как я, Гольбейну не придется сидеть без дела...

Генрих VIII не просто убивал. Прежде чем казнить, он своих жертв ласкал, нежно задурманивая их королевским вниманием. Кажется, погибель Кромвеля уже была предрешена, когда король присвоил ему титул графа Эссекса... Кромвель настаивал:

— Велите Гольбейну исполнить портрет с принцессы Анны

Клеве — протестантки... ее красота бесподобна!

«Пляска смерти» продолжалась. Король спрашивал:

— Боже, когда я избавлюсь от потеющей Джен?

Дженни Сеймур родила сына (будущего короля Эдуарда VI) и умерла, избавленная от смерти на эшафоте. Кромвель сказал, что теперь, когда престол Англии обеспечен наследником, можно признать законность рождения Марии Тюдор от Екатерины Арагонской, умершей в заточении, и можно признать законность Елизаветы, рожденной от Анны Болейн, лишенной головы...

Король подумал. Вздохнул. Улыбнулся:

— Не хватает еще одной головы...

- Чьей?

А ты потрогай свою...

Кромвель был умен, но не догадался. Он напомнил королю, что в Германии свято хранит свою непорочность прекрасная принцесса Анна Клеве, а посол уже выслал в Лондон ее портрет, написанный Гансом Гольбейном:

- Почему бы вам не взглянуть на него?

Анна Клеве была представлена Гольбейном поколенно; строгая, она смотрела с холста в упор, ее красивые руки были покорно сложены на животе. Король обрадовался:

 Какая нежная курочка, так и хочется ее скушать с пучком крепкого лука... Ах, соблазнитель Гольбейн! Как он умеет

вызывать во мне страсть своей превосходной кистью...

Генриха VIII охватило такое брачное нетерпение, что он даже выехал в Рочестер — навстречу невесте. Две кареты встретились посреди дороги. Из одной выбрался король, из другой, осклабясь гнилыми зубами, вылезла худосочная карга.

— Откуда взялась эта немецкая кляча?

— Это и есть ваша невеста — Анна Клеве.

— На портрете Гольбейна она выглядела иначе...

В квартале «Стального двора» появился королевский палач и снова поднес Гольбейну красную гвоздику.

- Не смею не уважать вас, сказал он. Но вы, кажется, попали в немилость... Помните, что в моем лице вы имеете друга, а мое искусство не позволит вам долго мучиться.
 - Почему вы так добры ко мне? удивился Гольбейн.
- Я был маляром, как и вы когда-то. Теперь мы оба мастера в своем деле, а художники всегда поймут один другого...

Именно в это время на родине Гольбейна уже продавались на базарах листы его «Пляски смерти», исполненные в гравюрах Лютценбургера. Кто не знал имени Гольбейна, тот узнал по этим политипажам. Начиналась слава — бессмертная, и «Пляски смерти» Гольбейна дошли до нас — не только в гравюрах, но даже в будущей музыке Листа, Сен-Санса и других композиторов. Но до чего же чудовищны кастаньетные перестуки костей у скелетов, пляшущих среди могил в лунные ночи!..

В день свадьбы король спросил Кромвеля:

- Подумай, чего не хватает для веселья?
- Неужели эшафота? ужаснулся викарий.
- Ты догадлив, приятель. Не старайся разжиреть, чтобы не возиться с твоей шеей, похожей на бревно для корабельной мачты. Впрочем, не бойся... я ведь большой шутник!

Свадьба была 6 января 1540 года, а на следующий день ко-

роль отплевывался, выбираясь из спальни:

— Ну, удружил мне Кромвель! Вовек не забуду такой услуги. Черт меня дернул связаться с этой лютеранкой, которая ни слова не знает по-английски, а я не понимаю немецкого...

Утром Кромвель еще заседал в парламенте, а после обеда уже был обвинен в измене королю... Генрих VIII сказал:

— Если обвинение состряпано, какой умник скажет, что обвиненный не виноват? Такого в моем королевстве не бывает.

Голова Кромвеля слетела с плахи. Король ликовал:

— Готовьте посольство в Неаполь, и пусть мне подышут принцессу без недостатков. Хватит перебирать этих малокровных северянок, у которых не осталось волос на макушках...

Посольство ответило, что невесту нашли. Принцесса неаполитанская — стройна, фигура ее идеальна, бюст возвышенный и располагающий к приятным сновидениям, волосы у нее, как пламя, ножки крохотные, она часто хохочет, характер покладистый и зовущий к радости... Генрих VIII прервал секретаря:

- Годится! Читай же главное что там в конце?
- В конце послы сообщают, что принцесса из Неаполя будет идеальной супругой, но у нее есть маленький недостаток.
 - Какой же? насторожился король.
- Она слишком упряма. И вот эта упрямица вбила себе в голову, что скорее помрет, чем станет женою вашего королевского бесподобия. А во всем остальном она имеет все достоинства, нужные для супружеского счастья...

Генрих VIII долго не шевелился на троне.

 Да, — сказал он, медленно оживая. — Упрямство — недостаток серьезный. А я, кажется, начинаю стареть...

Анна Клеве не стала возражать против развода. Король был

так удивлен безропотностью этого уродливого создания природы, что провозгласил ее сестрой:

- И пусть она живет, сколько ей влезет...

Гольбейну пришлось писать портрет новой королевы — Екатерины Говард; это была закоснелая католичка, и потому, чтобы угодить жене, Генрих VIII с новой силой обрушился на протестантов. Англиканская церковь стала каким-то безобразным чистилищем, где не знаешь каким алгарям поклоняться: всюду таилась смерть... Генриху VIII представили список любовников Екатерины Говард, и это его заметно огорчило:

— Как не везет! Ну, ладно. Всех этих молодцов, что угодили

в список королевы, я быстро перевещаю...

Екатерина Говард была обезглавлена. «Пляска смерти» продолжалась. Весной 1543 года король снова пригласил Гольбейна:

— Сейчас ты увидишь женщину, перед которой невозможно устоять даже таким королям, как я. Правда, черт ее дернул уже дважды остаться вдовою, но кто же не любит вишен, надклеванных птицами? Сейчас будещь писать ее портрет...

Портрет последней жены Генрика VIII стал для художника, кажется, последним. Осенью Лондон навестила чума. Безобразной гостьей она явилась и в дом Гольбейна. Зловещие мортусы в черных одеждах, воняющих дегтем, подцепили его тело крючьями и поволокли на погост, даже не зная, кого они тащат.

— Дорогу! — орали мортусы. — Все расступитесь прочь и даже не смотрите на эту падаль... Плюньте, сотворите святую молитву и ступайте дальше по своим делам...

Англия свято сберегла могилу короля-палача, но она ко-

щунственно затоптала могилу Ганса Гольбейна.

Трудно найти конец для такой страшной истории...

Германия, породив Гольбейна, свои права на Гольбейна как бы добровольно уступила Англии, и англичане со временем стали гордиться им, будто Гольбейн был англичанином. Все его наследие было давно растеряно, частью попросту уничтожено, но — век за веком! — Гольбейна канонизировали в святости мастеров Возрождения, и цена на любой клочок бумаги с его рисунком быстро возрастала. Наконец, в 1909 году именно из-за Гольбейна в Англии возник даже громкий публичный скандал.

Случилось это так. В галерее герцога Норфолка находился портрет Христины Миланской, который англичане привыкли считать национальной собственностью. И вдруг стало известно, что американский миллионер Фрик покупает его за 72 000 фунтов стерлингов, а герцог охотно продает... нет, вернее, уже продал! Газеты позорили дирекцию Национальной галереи в Лондоне, которая не удосужилась еще раньше приобрести этот пор

трет работы Гольбейна. Между тем богатый американец грозил Норфолку, что больше месяца ждать не собирается:

Деньги на бочку — и картина моя!

Англия, затаив дыхание, следила за перипетиями небывалой битвы — напряженной, как баталия при Ватерлоо. Спешно объявили добровольный сбор денег, дабы перекупить картину Гольбейна у Фрика. До срока оставалось четыре дня, а богатейшая страна не могла собрать и половины нужной суммы. Наконец настал роковой день, когда портрет Гольбейна вот-вот должен механически перейти в собственность «богатого дядюшки» из США... Люди следили за полетом времени, отсчитывая последние часы. Не уплывет ли Гольбейн за океан, как уплыли из Европы уже многие уникальные шедевры искусства?

- Гип, гип, ура! - послышались крики на улицах...

Нашелся некий патриот-аноним, в самый последний момент внесший в банк сразу 40 000 фунтов, и картина не покинула Англии. Случай отчасти даже смешной, но с трагическим привкусом. При этом я вспомнил королевского палача, который с цветком в руках говорил Гольбейну, что лишит его головы быстро и безболезненно.

Я уверен: до тех пор, пока люди будут ценить искусство, они будут высоко чтить и подвиг жизни Гольбейна — великого гуманиста, подобного его друзьям, Эразму Роттердамскому в

Базеле и Томасу Мору в Лондоне...

Нашей стране на Гольбейна не повезло! О нем много пишут, но в каталогах музеев не встретишь его произведений. Однако не будем терять надежды, что где-нибудь в глухой русской провинции, под спудом заброшенных холстов вдруг отышут его уграченное произведение — как это случилось уже с «Мадонной» Леонардо да Винчи, как это случилось с «Евангелистами» Франса Хальса...

первый университет

Время было лютейшее, ужасающая «бироновщина», хотя сам герцог Бирон менее других повинен в угнетении русского народа. Пушкин верно заметил, что он был немцем, ближе всех стоял к престолу и потому именно на него сваливали вину за все злодейства. Между тем в массовых репрессиях той поры виновата была сама императрица, подлинно «кровавая героиня» дома Романовых, пощады не ведавшая, а главным палачом состоял при ней не германец, а чистокровный русский — Андрей Иванович Ушаков.

По указу царицы со всей России везли ко двору дур и дураков, уродов и помешанных, просто говорливых баб-сплетниц. От них Анна Иоанновна получала ту полезную «информацию» о жизни народа, которым она управляла. Впрочем, не отвергая науку, однажды она через телескоп наблюдала за движением планеты Сатурн, ибо верила в астрологию. Когда же царица шествовала в храм ради молитвы, титулованные потомки Рюрика сидели на лукошках с сырыми яйцами, они и кукарекали ей, они ей и кудахтали...

В конце 1734 года место президента в Академии наук оказалось «упалое» (то есть вакантное). До царицы дошло, что ученые очень боятся, как бы власть не забрал секретарь Данила Шумахер, и она вызвала к себе барона Иоганна Альбрехта Корфа.

— Вот ты и усмири... науку-то! — сказала императрица.

О президентстве забудь и думать. Ежели в академии ученые пол-

ками дерутся и все зеркала побили, так наказываю тебе быть при науках в ранге «главного командира», дабы всем ученым дуракам страху нагнать поболе...

Корф был ворчун. Иногда он высказывал такие крамольные мысли, за которые, будь он русским, его бы сразу отвели к Ушакову на живодерню. Корф не был похож на пришлых искателей удачи, а русских не считал «варварами». При дворе с ужасом говорили, что барон все деныи тратит на приобретение редких книг, в Швеции он не побоялся читать даже «Библию дьявола», прикованную к стене цепью, которую с трудом поднимали шесть человек...

«Главный командир» академии вольнодумствовал.

— Странные дела творятся в науках, — говорил он друзьям. — Ученые Парижа считают, что Земля удлиненна в своих полюсах, подобно яйцу куриному, а в Лондоне доказывают, что господь бог расплющил ее, словно тыкву. Мне же хочется думать, что она круглая, как тарелка, и я верю в ее вращение...

Корф сразу заметил, что гимназия при Академии наук пустует, ибо все ученики ее разбежались, иных видели на папертях столичных храмов, где они христа ради просили милостыньку. Пойманные с поличным, школяры горько плакали:

— Да вить с голоду-то кому умирать охота?...

Корф распорядился, чтобы по всей России объявили «розыск» острых умом юношей, пригодных для того, дабы науки осваивать. Такой указ получил и Стефан Калиновский, ректор Заиконоспасской академии в Москве, и он даже растерялся:

— Господи! Да где я двадцать остроумных сышу, ежели студенты мои по базарам шляются, едино о щах с кашей думают. Которые и были у меня остроумны, тех по госпиталям пристроили, чтобы они естество человеческое показывали...

Среди избранных для учебы в столице оказался и некий Михайла Ломоносов. Ректор глянул на парня и сказал:

— Эко ты, дылда, вымахал! Сбирайся в дорогу до Питерсбурха, там у тебя остроумие развивать станут...

В декабре 1735 года явился грозный прапорщик Попов:

— Которые тута для ученья отобраны, теих забираю с собой. Оденьтесь потеплее, дабы в дороге не дрогнуть...

Среди счастливцев был и Дмитрий Виноградов.

— Митька, — сказал ему Ломоносов, садясь в санки, — а не шбыот нас там, при академии? Говорят, в тайной столичной «дикастерии» начальник ее Ушаков сильно лютует.

— Хоть бы кормили, и то ладно, — отвечал Виноградов...

Ехали учиться 12 студентов, из них только двое выбились в шуку, остальные же, как писал Ломоносов, «без призрения и поброго смотрения, будучи в уничтожении, от уныния и отчаяния опустились в подлость и тем потеряны...». Потеряться в те

времена было легко, а вот найти себя — трудно!

В день 1 января, когда Россия вступала в новый 1736 год, перед студентами взвизгнул шлагбаум, осыпая с бревна лежалый снег, и перед юношами открылась столица... Из домовых окон желто и мутно проливался свет, фонари зябко помаргивали, слезясь по столбам конопляным маслом. Кони вынесли их к Неве...

— Эвон академья-то ваша, — показал варежкой Попов.

Город, в котором жил и творил великий Тредиаковский, был наполнен всякими чудесами. В лавке академической Ломоносов купил книгу Тредиаковского о правилах русского стихосложения.

— Не! — сказал он себе после прочтения. — Эдак далече не ускачешь. Уж я попробую сотворить, но иным маниром...

На обзаведение школяров Корф выделил сто рублей.

— Я для них столы уже купил, — похвастал Шумахер.

— А сколько стоит кровать? — спросил барон.

- Триналцать копеек.
- Вот видите, как дешево. А я целых сто рублей отпустил.
 Там у нашего эконома Фельтена еще куча денег останется.

— С чего бы им остаться? — кротко вздохнул Шумахер.

— Можно, — размечтался барон, — сапоги и туфли пошить для школяров. Чулки купить гарусные. И шерстяные, чтобы не мерэли. Гребни костяные — насекомых вычесывать. Ваксу, дабы сапоги свои чистили... От ста рублей много еще денег останется!

— Да не останется, — заверил его Шумахер.

Тут Корф догадался, что деньгам уже пришел конец.

— Послушайте, — заявил он Шумахеру, отвесив ему пощечину, — я не великий Леонардо Эйлер, но до ста умею считать и любого вора от честного человека отличить сумею...

Студенты пока не жаловались, до ушей барона бурчание их животов не доходило. Зато у Шумахера слух оказался острым:

Вижу, что вам не сладкий нектар наук надобен, а каша...
 Прокопий Шишкарев, это ты кричал, будто я вас обкрадываю?

Шишкарев был разложен на лавке и бит батогами. Начиналось развитие «остроумия». Затем было велено Алешку Барсова «высечь при общем собрании обретающихся при Академии учеников...». Высекли! До чего же сладок оказался нектар науки. Ломоносов оставался небитым. Не об этом ли времени он писал позже:

> Меня объял чужой народ, В пучине я погряз глубокой...

Корф заранее списался с берг-физиком Иоганном Генкелем, жившим во Фрейберге, чтобы тот взялся обучать русских школяров химии и металлургии. Генкель ответил, что за деньги любого дурака обучить согласен. Но лучше прислать таковых, кои в латыни и немецком языке разбираются. Корф отобрал для учения в Германии поповича Дмитрия Виноградова и Михаила Ломоносова, сына крестьянского, указав им срочно учиться немецкому языку. К ним приставили третьего студента — москвича Густава (Евстафия) Райзера, сына горного инженера... Вот его отец, Винцент Райзер, и навестил Корфа в его палатах, оснащенных шкафами библиотеки, составленной из 36 000 томов.

— Барон, — сказал Райзер, — я старый бергмейстер, и я знаю, что Генкель в горных науках разбирается, как свинья в аптеке. Не лучше ли было бы наших студентов послать сначала в Марбург, где парит высоким разумом знаменитый философ Христиан Вольф... Вольф к русским относится хорошо, еще при Петре Великом он приложил немало стараний, дабы в России завели Академию наук.

Корф согласился — пусть едут сначала в Марбург.

Он сам вышел проститься с отъезжающими студентами.

— Конечно, наша академия будет посылать вам деньги. Но, если немцы в Марбурге предложат вам платить за обучение танцами, вы откажитесь, ибо для развития химии в России танцевать необязательно. Я наслышан, каковы нравы тамошних студентов, а потому бойтесь главных причин человеческой глупости — женщин, вина, табака и пива!.. Я верю, — продолжал Корф, — что вас ждет великое будущее. Кто-либо из вас троих да будет навеки прославлен. Возможно, это будете вы, — повернулся он к Райзеру (который стал в России горным инженером, как и отец его).

— Надеюсь и на вас, сударь, — обратился Корф к Виноградову (который открыл «китайский секрет» и создал русский фарфор). — Может, повезет и... в а м! — неуверенно произнес барон Корф, с усмешкою оглядев Ломоносова, слушавшего его с большим вниманием...

Ветер наполнил корабельные паруса, и осенью 1736 года они были уже в Любеке, откуда прибыли в Марбург, где их лушевно приветствовал сам Христиан Вольф; в Марбурге учились еще два русских лифляндца — барон Отто Фиттингоф и Александр фон Эссен (оба уроженцы нынешней Латвии). Университет Марбурга уже отметил свое 200-летие; русские юноши получили студенческие матрикулы, в которых указывались им правила поведения, идущие от традиций мрачного среднелесковья: страх божий есть начало премудрости, нельзя зани-

маться колдовством и волшебничать, ни в коем случае не плясать на чужих свадьбах, в ночное время не шляться по улицам, укрывая лица черными масками...

Для русских все это было чуждо и внове! После Москвы с ее простонародными нравами, после блеска русской столицы Марбург показался глухой провинцией. Узенькие улочки, плотно стиснутые дома в древней плесени; горожане гордились тем, что когда-то сам буйный Лютер бывал в Марбурге, рассуждая о таинствах святой Евхаристии... Христиан Вольф обладал тогда гигантской славой, а русских он поучал смирению.

— Посмотрите на меня! — призывал он. — Прусский король изгнал меня из Берлина под страхом виселицы, но разве я потерял к нему уважение? Нет. Учитесь и вы почитать вышестоящих, ибо так повелел всевышний. Мы, — утверждал Вольф, — живем в самое прекрасное время, живем в самом лучшем из миров, и скоро вы сами убедитесь в чудесной гармонии мира, где все идет к лучшему... Когда вы поедаете мясо животных, то благодарите небеса за то, что вы не животные, обреченные на съедение!

Вольф видел гармонию даже в скрипении королевских виселиц, а «самый лучший из миров» состоял из богатых и нищих, где богатый пожирал бедного словно мясо. Корф недаром предупреждал о соблюдении нравственности. Академик М. И. Сухомлинов писал, что немецкие студенты тогда «шумными ватагами ходили по городу, врывались в церкви во время свадеб и похорон, громили купеческие лавки и винные погреба, пакостили синагоги, разбивали окна в домах». Процветали тайные корпорации «срамников», члены которых давали клятву: никогда не мыться, в общественных местах портить воздух и всюду учинять самые гнусные мерзости, на какие только способен человек. Недаром же Фридрих Энгельс писал, что прошлая Германия — «только навозная куча, но они (немецкие обыватели) хорошо чувствовали себя в этой грязи, потому что сами были навозом... Это была одна гнилая и разлагающаяся масса...». Конечно, после тихой, чистоплотной и патриархальной Москвы русские студенты выглядели святошами.

Христиан Вольф, дурной философ, был отлично образован во всех других науках, и, пока не касался всеобщей «гармонии», он был блистательным знатоком технических материй. Его высокая мораль, мировой авторитет, колоссальные познания действовали на молодежь заразительно. На лекциях Вольфа ловили не только его слова; студенты отмечали в своих конспектах: здесь господин профессор изволил засмеяться, а тут он смахнул слезу. Вольф читал в университете лекции по 16 наукам сразу, начиная с высшей математики и кончая коммента-

риями к сочинениям Гуго Гроция о праве войны и мира. Райзер, Фиттингоф, Эссен с колыбели владели немецким языком, и Вольф озабоченно спрацивал:

— А вы, господин Виноградов, вы, господин Ломоносов, вам не трудно ли понимать мои уроки, прочтенные на немецком?

Они его уже понимали. Ломоносов осваивал даже французский, а без немецкого было просто не обойтись. Дело в том, что его поселили в доме вдовы марбургского пивовара Цильха, дочь которого Елизавета-Христина вызвала в холмогорском увальне самые нежные чувства. В таких делах, как любовные излияния, без хорошего знания языка не обойдещься. Обычно у нас пишут, что русские студенты, поддавшись соблазнам вольности, много кутили, отчего и нуждались в деньгах. Но это несправелливо. Конечно, им не хотелось ходить в прежнем затрапезе, они завели себе парики, кружева для манжет, щеголяли в щелковых чулках. Шпага тоже нужна — появись студент на улице Марбурга без шпаги на боку, и его штрафовали в целый гульден. Нужда русских студентов объяснялась чем угодно, но только не кутежами.

Лучше поверим немцу Пюттеру, который жил рядом с Ломоносовым, хорошо изучив его привычки. Все свои деньги Ломоносов расходовал на книги, платил фрау Цильх за стол и квартиру. Скромный в быту, он, по словам Пюттера, вел размеренный образ жизни, без излиществ: его завтрак состоял «из нескольких селедок и доброй порции пива». Селедка же в те времена была пищею бедняков! Пюттер писал, что скоро «сумел оценить как его прилежание, так и силу суждений и образ мыслей...». Тогда все вокруг дрались, но Ломоносов драк избегал, а если бурши задирали русского «дикаря», Ломоносов стелил всех кулаком в ухо — наповал. Христиан Вольф ведал о нуждах русских питомцев, он выгораживал их в письмах к русской академии, ссужал в долг Ломоносову и другим.

- Вся ваша беда в том, что вы, русские, слишком доверчи- пы, — рассуждал Вольф. — Когда вы заимствуете дены у меня, уго для вас не опасно: ваша академия «де сьянс» со мною расплатится. Но зачем вы доверились наглым ростовщикам, которые теперь будут побирать с вас бешеные проценты?
 - Что же делать? приуныл Ломоносов.Буду писать барону Корфу...

Больше всех задолжал Фиттингоф, а меньше всех набрал лолгов бережливый Райзер. Корф в Петербурге прочел сообщепис Вольфа: «Я, право, не знаю, как спасти их из этого омута. и который они сами безрассудно кинулись», — говорилось о лолгах ростовщикам Марбурга. Корф брякнул в колоколец, выниная Шумахера:

— Распорядитесь о переводе денег господину Вольфу, дабы он рассчитался за студентов с марбургскими кредиторами.

- Да нету в академии денег, - отвечал Шумахер.

- Однако вы нашли тысячу рублей, дабы прекрасным фейерверком отметить победы армии графа Миниха над турками...

Накануне этих грозных и далеких от «остроумия» событий. хлопотливая Елизавета-Христина Цильх увидела русского постояльца плачущим. Она поставила кружку с пивом на стол и полошла к нему. Ломоносов смотрел в окно, а там, на фоне черневшего к ночи неба, будто гигантский павлин распахнул свой дивный хвост.

Ты плачень? — спросила девушка.

- Плачу. Смотри сама. Даже сюда, в пределы германского Гессена, дошло мое родное северное сияние, по-латыни всеми учеными людьми прозываемое «Аврора бореалис»...

Фрейлен Цильх взялась наволить порядок на его столе, заваленном конспектами лекций и стихами, стихами, стихами...

Елизавета-Христина показала на одну из строчек:

— Прочти мне ее по-русски, — попросила она.

РВУ ЦВЕТЫ ПОЛ ОБЛАКАМИ, — отвечал Ломоносов.

После этих слов он расцеловал дочь пивовара.

«Более всего, — докладывал Христиан Вольф барону Корфу, - я полагаюсь на успехи г-на Ломоносова... молодой человек преимущественного остроумия... не сомневаюсь, чтобы возвратися в отечество, не принес пользы, чего (ему) от сердца и желаю...»

Заканчивались последние лекции в Марбурге.

- Скажите, господин тайный советник. - спросил Фит-

тингоф у Вольфа, - есть ли у блохи кожа?

— Несомненно, — отвечал Вольф, — но из блошиной шкуры нам не сделать подметок, ибо она слишком нежна и порвется. Потому люди блох не шадят и легко давят между ногтями пальцев.

- Благодарю, господин советник, - поклонился Фиттин-

гоф...

В феврале 1739 года студент Михайла Ломоносов женился на прекрасной дочери марбургского пивовара. О том, что он женат, в Петербурге долго не знали, да и сам Ломоносов, по

договоренности с женою, скрывал это.

Вольф считал, что подготовка русских студентов в теории им завершена, теперь они нуждаются в хорошей практике. Барон Корф распорядился: отправить «руссов» в город Фрейберг, саксонскую столицу горного дела, где их учение продолжит известный берг-физик Генкель. Настал день разлуки. Христиан

Вольф сам проводил своих питомцев в дорогу. С бережливостью порядочного немца он выделил каждому по четыре луидора, но только в тот момент, когда они садились в карету. «При этом, — докладывал он Корфу, — особенно Ломоносов, от горя и слез, не мог промолвить ни слова». Наверное, он горевал не только из-за разлуки с Вольфом, но думал о жене, которую оставлял в неизвестности будущего.

- Прощайте! - И сытые кони сразу взяли в карьер...

Русские студенты еще находились в пути, а на стенах домов Фрейберга магистрат уже развесил строгие объявления, чтобы никто из горожан не давал им в долг даже пфеннига, ибо Россия некредитоспособна оплачивать их долги.

Иоганн Генкель заверил магистрат в своей скупости:

— Я не Христиан Вольф, который потворствовал этим дикарям в их разгулах. Я ученый наук практических, и от меня русские каждый грошик станут добывать с кровью из носа...

Слово свое он сдержал! Когда три студента прибыли в славный Фрейберг, Генкель отсчитал для каждого десять талеров:

Это вам на бумагу с чернилами, на пудру и на мыло.
 Выкручивайтесь как угодно, но два года учебы под моим на-

чальством вы обязаны перебиваться как знасте...

Если в Петербурге студентов обворовывал Шумахер, то здесь главным вором был сам Генкель. В это же время Фрейберг посетил русский академик Готтлоб Юнкер, изучавший соляное дело, ибо русские люди в соли всегда нуждались, а соляные копи Бахмута не могли разрешить соляной проблемы. Толковый и знающий человек, Юнкер охотно сошелся с русскими студентами. Поговорив с ними, он доложил в Петербург, что умнее всех оказался, конечно же, немец Райзер, затем неплох Ломоносов, а Митьку Виноградова он задвинул на последнее место. Юнкер увлеченно рассказывал студентам о походах русской армии против крымского хана; сам же он состоял историографом при фельдмаршале Минихе; оды Юнкера в честь герцога Бирона издавались тогда в самых роскошных переплетах, а вместо гонорара он получил камзол, общитый серебряным позументом. Так что это был человек со связями.

Иоганн Генкель терпеливо выслушал его упреки:

 Вы посмотрите на русских студентов. Это же — оборванцы! Желаю, чтобы вы пошили для них приличное платье...

Генкель, скрепя сердце, отсчитал Райзеру и Виноградову деньжат для покупки сукна и приклада для новой одежды. Потом он придирчиво оглядел верзилу Ломоносова:

— На такого большого шить — сразу разоришься! Ничего.

Походи так. Только на локтях заплатки поставь...

Но скоро Юнкер обратил на Ломоносова особое внима-

ние, ибо, сам будучи поэтом, он любезно приветствовал поэта, еще никому не известного, но уже осмелившегося крити-ковать тогдашнее светило русской поэзии — Василия Тредиаковского.

- Так ему, дураку, и надо! сказал Юнкер, остро завидуя громкой славе Тредиаковского. А вы пишите, мой друг. Не стесняйтесь. Ваши стихи надобно бы показать в Петербурге. Может быть, они удостоятся внимания не только секретаря Данилы Шумахера, но даже... даже... мне страшно сказать!
 - Скажите, поклонился ему Ломоносов.

— Даже самой императрицы Анны Иоанновны... вот как! Русская литература может сказать Юнкеру спасибо. Он разглядел талант в этом нескладном парне, а его рассказы о подвигах русской армии в знойном пекле южных степей оказались для Ломоносова полезны. Зато вот Генкелю мы «спасибо» не скажем. Это был не только педант, но и графоман, возомнивший себя великим ученым. Бывший аптекарь, он умел только хапать деньги, а вот дать студентам знания не умел. Академик В. И. Вернадский писал об этом пройдохе: «Генкель был химик старого склада, без следа оригинальной мысли, даже суеверным... полное непонимание всего нового или возвышающегося над обычным — таковы его характерные черты». Ломоносов, к своему удивлению, обнаружил, что из Марбурга он вывез познаний и опыта гораздо больше, нежели их было у самого Генкеля. Вот еще одно авторитетное мнение ученого Б. Н. Меншуткина: «Ломоносов как бы попал в среду, которая была живой еще 50 лет назад... он сразу окунулся в затхлую атмосферу ученого ремесленника, давно ушедшего от научной работы». Но зато этот берг-физик Саксонского королевства оказался ловким шпионом, и скоро в Петербурге проведали от Генкеля, что Ломоносов ведет «подозрительную переписку» с Марбургом, у него в голове только крепкое пиво и толстые девицы...

Ломоносов произнес страшное саксонское, ругательство:

— Но! — что по-русски означало «собачья нога», — Генкель чересчур важничает, а всю науку разложил по своим полочкам, как штанглазы в аптеке. Он судит о процессах в природе, о каких известно любому школяру, а если что у него спросишь, он отводит меня в угол и шепчет на ухо: «Увы, но это тайна Саксонского королевства...» Да я, — продолжал Ломоносов, лучше полезу в шахту с киркой и лопатой, мне там любой старый штейгер расскажет о рудах больше этого старого дурака . Генкеля...

Была молодость, была любовь, случались и праздники! Шахтеры приветствовали своего русского собрата: — Оса! — В этом «Глюкауф» заключались все страхи подзем-

ной жизни, все надежды на то, чтобы живыми выбраться из глубин земли и снова увидеть озаренное звездами небо...

Пылали в ночи, как факелы, плавильные печи. Из недр выходили рудокопы с лампочками. Они строились в шеренги, нерушимой фалангой текли по улицам древнего Фрейберга, их шаг был тяжел и жесток. В линии огней, принесенных ими из горных глубин, мелькали белки глаз, видевших преисподнюю тверди. Возглавлял шествие рудоискатель с волшебной вилкой ивовым прутиком, на конце расщепленным. Торжественно выступали, одетые в черный бархат, мастера дел подземных бергмейстеры и шихтмейстеры. Пламя факелов освещало подносы, на которых шахтеры несли богатство земли человеческой. Между горок серебра и меди, руд оловянных и свинцовых высились пирамилы светлого асбеста. И не боевые штандарты несли шахтеры на свой праздник, а несли купоросное масло в громадных бутылях. Ликующе звенели над Фрейбергом цитры и триангели. На дверях домов, даже на могилах кладбищенских всюду увидишь, как гербы, шахтерские кирки, скрещенные с ломами: это — священные символы их каторжного труда.

- Oca! - кричал Ломоносов заодно с шахтерами...

Вместе с друзьями, Евстафием и Митькой, он сам работал в забоях рудников, называемых красноречиво: «Божье благословение», «Коровья шахта», «Земля обетованная» или — даже так! — «Два часа ходьбы от Фрейберга». Но жить становилось день ото дня все труднее: Генкель. мурыжил их затверженными истинами, хамил где мог, кричал, словно капрал на новобранцев. Немецкие студенты за курс учебы платили ему сто рейхсталеров, зато с русских он драл по 333 рейхсталера. Нужда заела, одежонка сносилась. Генкель сжалился, выдал Ломоносову талеров, чтобы купил себе пару башмаков и две холщовые рубашки. Но этого было мало.

Я добавлю грошей, — согласился Генкель, — при условии, что в лавке вы купите мои научные сочинения, слава о мудрости которых дошла даже до голых дикарей Патагонии...

Если Христиан Вольф выкладывал деньги из своего кармана, дабы помочь русский студентам, то Генкель все деньги, присылаемые из Петербурга, клал в свой карман и при этом мелочно, как базарный торгаш, доказывал барону Корфу, что русские с их гомерическим аппетитом его разорили. Однако во Фрейберге хлеб, масло и сыр только снились студентам.

— Ешьте суп, — убеждал их Генкель. — Суп — это великое изобретение германской кухни, и суп заменит вам все...

Ломоносов известил самого Шумахера: «Мы принуждены были раз по десяти к нему ходить, чтобы хоть что-нибудь себе выклянчить. При этом он каждый раз по полчаса читал нам

проповеди, с кислым лицом говоря, что у него нет денег... а сам (как я узнал) на наши же деньги покупал паи в рудниках и получал барыши», богатея с рудничных доходов и спекуляций. Ломоносов, отказывая себе даже в супе, платил еще по два гроша городскому магистру, чтобы позволил читать «Галльскую газету». Магистр видел его нищету и голь, но даром читать газету не давал:

- Сначала плати гроши, а потом читай...

Конфликт с Генкелем был неизбежен. Чтобы смирить непокорного Ломоносова, Генкель все чаще заставлял его растирать сулему, вонища которой была невыносима. Когда подмастерья растирали краски для Тициана или Рафаэля, то они гордились своей работой, ибо служили гениям, а дышать зловонием во славу Генкеля...

— Нет уж! — сказал Ломоносов. — Пусть он сам нюхает...

Два гроша за чтение французской газеты Ломоносов платил не напрасно: в сентябре 1739 года вся Европа бурлила, взволнованная известием: русские войска взяли неприступную крепость Хотин, их боевые трофеи неисчислимы: сам трехбунчужный Колчак-паша сложил саблю к ботфортам Миниха, признав свое поражение.

Михайла Васильевич испытал внезапный восторг...

Задумавшись, он резко отодвинул от себя ненавистную сулему. В проеме окна ему виделся чужой город. Большие рыжие кошки шлялись по крутым черепичным крышам Фрейберга и не боялись свалиться. Ломоносов смотрел на них, но думал о своем. Он отлично понимал, что значит для России геройское взятие Хотина.

Сами собой, будто нечаянно, сложились первые строки:

Восторг внезапный ум пленил — Ведет наверх горы высокой, Где ветр в лесах шуметь забыл...

— Мишка, ты куда? — окликнул его Виноградов.

— Мне сейчас не мешай. Пойду...

На улицах он рассеянно задевал прохожих и лотки торговок, с которых местные девицы раскупали сверкающие минералы для украшений. Только бы не расплескать восторг понапрасну в толпе горожан. Ломоносов был углублен в самого себя:

Не Пинд ли под ногами эрю? Я слышу чистых сестр музыку! Пермесским жаром я горю, Теку поспещно к оных лику...

Лишь бы не угасли в памяти эти строчки. Только бы донести сосуд поэзии, уже переполненный, до своего стола:

Златой уже денницы перст Завесу света вскрыл с звездами; От встока скачет по сту верст, Пуская искры, конь ноздрями...

Дома его ожидала недописанная диссертация на тему о физике, но Ломоносов отодвинул ее — с такой же легкостью, с какой отбросил от себя и банку с сулемой. Сейчас не до физики! Его пленял восторг внезапный — восторг поэтический.

Виделись ему горы под Ставучанами, на которые ломились несокрушимые каре непобедимой российской армии...

Славянское солнце стояло в этом году высоко!

Выше... выше! Чтобы рвать цветы в облаках...

Ломоносов штурмовал высоты парнасские, как солдаты штурмовали стены хотинские. Он писал оду — «Оду на взятие Хотина», но писал ее совсем не так, как писали стихи до него другие поэты.

Отныне зачиналась новая поэзия России:

Из памяти изгрызли годы, За что и кто в Хотине пал, Но первый звук славянской оды Нам первым криком жизни стал. В тот день на холмы снеговые Камена русская взощла И дивный голос свой впервые Далеким сестрам подала.

Через воинскую победу, гордый за свое отечество, Михайла Ломоносов выковал для себя победу поэтическую. Он прочел стихи академику Юнкеру, и тот сразу же сказал:

— Давайте мне свою оду. Я отъезжаю в Петербург...

На курьерских лошадях ода Ломоносова мчалась в Россию. Вместе с одой в столицу пришло и письмо Ломоносова «О правилах российского стихотворства». В этом письме молодой поэт бросал рыцарскую перчатку Тредиаковскому, вызывая его для поединка на турнире поэтическом...

А вскоре из Марбурга пришло известие: Елизавета-Христина Цильх, его тайная жена, принесла ему девочку.

Ломоносов в волнении небывалом выбежал на площадь Фрейберга, близкую к часу вечернему. Молчаливые женщины наполняли водою кувшины из фонтанов. Из-под Донатских ворот, от шахты «Божье благословение», возвращались в свои предместыя измученные рудокопы. Они снимали шляпы, приветствуя прохожих, и те отвечали им обычным поздравлением.

Глюкауф! — говорил шахтерам и Ломоносов...

Он желал им благополучных подъемов из недр к солнцу. И они отвечали ему тем же словом, как бы советуя подняться еще выше.

Высокие горы окружали старинный Фрейберг. Высокие горы окружали и Хотинскую крепость. Высокие истины предстояло еще доказывать. Приходилось штурмовать. Иначе нельзя. Будем учиться побеждать!
Люди, хоть изредка вспоминайте о Хотине...

Вот уж не думал Ломоносов, что, сочинив свою оду, подрубит сук, на котором сидел, распевая вдохновенно, Василий Тредиаковский... Молния, сверкнувшая под Хотином, блеснула над Фрейбергом, а в Петербурге она жарко опалила крылья Тредиаковского. Начинался закат его славы — так солнце, восходя, всегда свет луны затмевает. Ломоносовские стихи были написаны ямбом четырехстопным, и это казалось столь необычно для привычного слуха, что стихи Ломоносова стали в копиях по рукам ходить.

Тредиаковский к чужой славе горячо ревновал.

— Чему радуетесь, глупни? — говорил он. — Ямб четырехстопный противен слуху российскому. А мой способ писания есть самый лучший. Я же и утвердил его в поэтике русской...

Сначала, как и водится среди поэтов, Тредиаковский накатал на Ломоносова элодейскую эпиграмму. Малость отлегло от души. Затем он принес на Ломоносова «жалобу» в Академию наук:

— Кто знает вашего Ломоносова? Он делам горным учится, а в поэзии я самый главный и поношение чести не потерплю...

Скупердяй — тот за одну копейку удавится. Поэт согласен удавиться за единое слово.

Но тут в судьбу поэта вмешался Данила Шумахер:

— Ода-то Ломоносова на имя государыни представлена. Ты сам-то соображаещь, к чему твои возражения привести могут? Или позабыл, каков кнут имеет Андрей Иванович Ущаков...

Оду Ломоносова в академии изучали. «Мы, — писал академик Штелин, — были очень удивлены таким еще небывалым в русском языке размером стихов... все читали ее, удивлялись» Напрасно Тредиаковский умолял принять его «жалобу». Шумахер ответил:

 А куда нам ее? Или отправить самому Ломоносову во Фрейберг? Так денег на почтовые расходы в академии нету...

А события во Фрейберге шли своим чередом. Ломоносов, потеряв терпение, начал бушевать, требуя от Генкеля сущей

ерунды — честности! Генкель бестрепетно отписывал в Петербург, что Ломоносов опять скандалит. Отчитываясь перед академией, Ломоносов не щадил Генкеля: «Я же не хотел бы променять на его свои, хотя и малые, но основательные знания, и не вижу причины, почему мне его почитать путеводной звездой...»

Была уже весна 1740 года, когда вся русская троица явилась на дом к Генкелю. Ломоносов не за себя просил, а за Райзера и Виноградова, чтобы Генкель не скрывал от них жалованья. На

это достопочтенный профессор показал им фигу.

— Даже если на улицах попрошайничать станете, — были его слова, — я ни единого грошика вам не уступлю...

После такого посула он набросился на студентов с кулака-

ми. При этом кричал, что все русские грабители:

— Разорили меня совсем! Ваша царица богата, и мне известно, что она может платить за вас, дураков, еще больше... А тебя, Ломоносов, ждет прямая дорога — в солдаты!

У себя дома Ломоносов впал в бешенство. Окно на улицу было открыто, даже прохожие останавливались, чтобы послушать, как русский студент обзывает Генкеля «собачьей ногой».

— Ломоносов, — жаловался Генкель, — столь дерзостен, что ругал меня именно в тот момент, когда по улице проходил капрал, а из окна соседнего дома выглядывал ветеран-полковник...

Ломоносов в клочья разодрал все «научные» труды Генкеля, а сам без гроша в кармане покинул Фрейберг, унося с собой только пробирные весы с гирьками, ибо без таких весов немыслимо заниматься химией. Он надеялся застать русского посла на ярмарке в Лейпциге, но посол выехал в Кассель. Делать нечего, а в ногах тоже есть правда: пошагал Ломоносов в Кассель, где посла тоже не мог сыскать. Давно и обостренно тосковал он по родине, но все-таки завернул в Марбург, где оформил тайный брак с Елизаветой-Христиной. Семья пивовара не обладала достатком, сидеть же на хлебах своей тещи Ломоносов не пожелал. Решил вернуться в Россию, а там... что будет, того не миновать! И пошел через всю Германию в Гаагу, опять пешком — так птица-дергач, когда другие летят, пешком возвращается в места родимых гнездовий.

В пути ему встретился калека — без ушей и без носа. Ломоносов разломил краюху хлеба, поделившись с несчастным:

- Отчего тебя так обкорнали? Уж не вор ли ты?

Инвалид сказал, что невольно служил королям прусским, заодно преподал Ломоносову толковый урок осторожности:

— Ты парень здоровый, за такими-то в Германии охотятся. По землям немецким ходи с опаскою, и сам не заметишь, как проснешься в Потсдаме от палки капрала... Глянь на меня!

- Да вижу, что уродом оставили.

— Это в Потсдаме! За частые побеги мои. Отрезали нос и уши, двадцать лет в тюрьме Шпандау сидел. А когда кровью ходить стал, меня выпустили — иди, мол, куда знаешь...

Где пешком, а где присаживаясь на запятки карет, даже на барке по течению Рейна — так Ломоносов добрался до Гааги, где и заявил послу графу Головкину, что желает вернуться на родину. Головкин, вельможа знатный, свысока ему ответил:

— Премного наслышан о ваших дерзостях! Да будет вам ведомо, что барона Корфа ныне в академии уже нет, его заместили Карлом фон Бреверном, который указал вас сыскивать...

«Граф совсем отказал мне в помощи, — вспоминал Ломоносов. — Затем я отправился в Амстердам и нашел здесь несколько знакомых купцов из Архангельска, которые мне совершенно отсоветовали без приказания в Петербург возвращаться... потому я опять должен был возвратиться в Германию». По дороге в Дюссельдорф Ломоносов остановился ради ночлега на постоялом дворе; был он голоден, но грошей хватало только на одну кружку пива. За соседним же столом весело пировали люди в компании офицера. Этот офицер сначала внимательно оглядел могучую стать Ломоносова, затем сам подошел с улыбкой, пригласил поужинать.

— Да у меня и грошей нету, — отвечал Ломоносов,

— Не беда! — хохотал офицер. — Зато у нас полно талеров,

есть даже саксонские гульдены. Иди к нам ради веселья!

Ломоносова встретили за столом как друга, от души потчевали, подливали ему вина. Очнулся Ломоносов в казарме, а на шее у него болтался красный галстук прусского новобранца. Невольно вспомнил калеку без ушей и без носа, стал галстук отвязывать.

Но тут вошел вчеращний офицер — с поздравлением:

— Ты молодец, что от службы королям Пруссии не отказываешься. И пяти лет не пройдет, как станешь капралом.

— Да я русский, а берлинским королям не слуга!

— Тогда, — отвечал офицер, — пошарь в своих карманах...

Из карманов вдруг посыпались прусские талеры.

— Что? Попался, свинья худая? Или забыл, что вчера задаток брал и пил за честь полка королевских гусар?

Тут Ломоносов понял, что надо спасаться.

— Вот какая удача мне выпала! — заорал он. — Да я и не

мечтал о такой чести, чтобы гусаром в Потсдаме быть...

Всех рекругов под конвоем отвезли в крепость Везель. Многие новобранцы рыдали, а Ломоносов больше всех радовался, внешне показывая капралам, как он доволен судьбой солдата. Однако немецких рекругов разместили в Везеле по частным квартирам, а его, русского, оставили в караульне крепости —

ради присмотра. Днями, когда стражи играли в карты, Ломоносов приучил себя спать, чтобы к вечеру бывать бодрым. Промашки в таком деле допустить нельзя, ибо без ушей и без носа жить плохо... Однажды после полуночи он тихо встал. Караульня крепости была наполнена храпением спящих. Дымно чадил фитиль в плошке, освещая грязные стены, по которым маршировали отважные легионы непобедимых прусских клопов. Ломоносов вылез через окно, ползком, как ящерица, миновал дремлющих часовых. Перемахнул через крепостной вал, а там — ров, наполненный затхлой водой. Переплыл его! Перед ним чернел высокий частокол гласиса. Перемахнул через него! Впереди лежало чистое поле... Он еще не успел удалиться от Везеля, когда со стороны крепости бабахнула сигнальная пушка.

— Господи, помоги! — И Ломоносов побежал...

Бежал всю ночь, бежал из Пруссии до самой границы Вестфалии, а за ним, преследуя его, стучали копыта лошадей: погоня! Ломоносов укрылся в лесу, и только в Вестфалии выбрался на дорогу. У шлагбаума его окликнули недреманные стражники:

- Эй! Кто таков? Куда путь держишь?

— Да студент я бедный, — отвечал Ломоносов. — Загулял по трактирам. Вишь, и галстука нет, все с себя пропил.

- Ну, иди, коли так. Учись далее, будь умнее...

Скоро Академия наук в Петербурге получила от него письмо. «В настоящее время, — писал Ломоносов, — я живу инкогнито в Марбурге у своих приятелей и упражняюсь в алгебре, намереваясь оную к теоретической химии и физике применить. Утешаю себя пока тем, что мне удалось в знаменитых городах побывать». Карл Бреверн, глава академии, вызвал секретаря Шумахера:

— Послушайте, сколько же будет Ломоносов болтаться по Германии, как неприкаянный? Составьте отношение для наших послов в Европе, чтобы помогли ему. Наконец, сыщите

для него толику денег, дабы он мог домой выбраться.

Через Христиана Вольфа, жившего в Галле, был получен вексель на сто рублей, и Ломоносову было велено плыть в Петербург — сразу же как откроется навигация на морях. Ломоносов расквитался с долгами в Марбурге, а жене своей наказал:

 Не плачь! Не бегу я от тебя, а лишь покидаю на время. Ты даже не пиши мне, пока не устрою своего будущего, ибо одной

коркой хлеба мы, дорогая, сыты не будем.

Был жаркий июль 1741 года, когда Ломоносов вернулся на родину, с замиранием сердца ступил на родную землю. Петерорг еще досыпал утренние часы, за крышами Двенадцати Кол-

легий крутились крылья ветряных мельниц, паслись козы на травке, а зевающие кавалеристы вели коней к невскому водопою.

— Здравствуй, родина! — И очень хотелось плакать...

В это время на Руси случилось критическое «междуцарствие», на престоле Романовых оказался ребенок Иоанн, при нем коекак правила страной беспутная мать, принцесса Анна Леопольдовна, но Академия наук, как и вся Россия, тоже оставалась бесхозной, ибо Бреверна, бывшего приятеля Бирона, удалили, власть над академией полностью оказалась в руках секретаря Данилы Шумахера. Ломоносову он объявил, что у него уже имеется прочная слава одописца, за что его возведут в звание альюнкта.

— А для житья выделим тебе две каморки в доме генерала Бона, что на Васильевском острове, где давно живут разные служители от ботаники. Но жалованья ты от меня не жди.

— Вот те раз! — удивился Михайла Васильевич.

— Удивляться не советую. Двор Анны Леопольдовны все деньги себе побрал на забавы, возьми книги в лавке академической, а потом на базаре продай их с выгодой... все так делают!

Иначе говоря, советовал жить, спекулируя.

Избавь меня от хищных рук И от чужих народов власти, Их речь полна тщеты, напасти, Рука их в нас наводит лук...

При академии встретился ему напыщенный господин.

- Кто он таков, что важнее самого Ньютона?

— Наш коллега Ле-Руа, учивший азбуке детей герцога Бирона, а ныне он вполне научно доказал, что могилу Адама, прародителя нашего, следует искать на острове Цейлон...

Ломоносову для начала поручили разобрать коллекцию минералов. Все разобрал, только один камень был непонятен ему своим происхождением. Об этом он испросил Шумахера:

— Из какой глубокой шахты его раздобыли?

— O! — закатил глаза Шумахер. — Этот минерал самый драгоценный в собрании академии. Его обнаружили там, куда ни один шахтер не рискнет забираться со своей киркой и лопатой. Минерал был удален из правой почки польского короля Яна Собеского...

Ломоносову хотелось выбросить его на помойку:

— Вижу, что наши ученые далеко не чудотворцы...

На престол взошла Елизавета Петровна, не любившая немцев, и, когда Шумахера вывели из академии под конвоем солдат, яко вора и преступника, Ломоносов не скрывал радости: - Теперь заживем вольно, всласть поработаем...

Елизавета считала пришлых людей «эмиссарами дьявола» и, встретив в бумагах немецкое имя, сразу его вымарывала:

— Впредь на все важные места сажать токмо русских...

Но в карцер посадили самого Ломоносова, а виноватым он себя не считал. Просто в Боновом доме стало ему невмоготу. Там царил особый мир — ботаников и садовников, которые жили меж собою дружной семьей, сообща громили русские квартиры, оскверняли в домах иконы, а заправлял этим разбоем староста евангелической церкви Иоганн Штурм (тоже садовник). Ломоносов осатанел, когда у него с вешалки украли новый камзол, и пошел объясняться с этим вот Штурмом, чтобы его балбесы вернули украденное... Пришел, а там — дым коромыслом, все пьяные; имена их уцелели для русской истории, вот они: Люрсениус, Брашке, Граве, Шмидт, Прейссер, Битнер, какой-то копиист Альбом, а столяр Фриш стал орать:

— Эй, бейте этого дурака, что камзол ищет...

Ломоносов схватил «болван», на котором мастера парики свои распяливали, и пошел этим «болваном» работать справа налево, все гости были им враз повержены, а сам Штурм звал караул:

— Спасите! Моя жена с большим брюхом из окна выскочила...

Ломоносова посадили под арест, но скоро и выпустили, а императрица Елизавета даже обозлилась:

— По мне так вернее Ягана Штурма выдрать, чтобы камзол Ломоносову вернул, а столяру Фришу и копиисту Альбому надобно всыпать как следует, чтобы себя не забывали...

Ломоносов перевел с немецкого на русский язык пышную оду Юнкера о коронации Елизаветы; на возвращение ее из Москвы в столицу он сам сочинил оду. Но в мае 1743 года Ломоносова снова томили под арестом, лишили его половины жалованья. Ломоносов буйствовал за честь науки, а невежество мстило ему, злобствуя.

— Ученость высоко чту, — утверждал Ломоносов, — но шарлатанов с дураками в науке бил, бью и буду бить...

На теле Ломоносова сохранились следы ранений.

— Меня ведь тоже бивали, — рассказывал он друзьям.

Ломоносов никому спуску не давал, ибо сознавал свое препосходство над копошившейся в науке мелюзгой, он буянил ради свершения великих дел, которые предстояло сделать, и он исегда хотел честно трудиться, а эта мелюзга только мешала сму...

Чересчур горько складывались его стихи:

Счастлива жизнь моих врагов!

...То, что Ломоносов свершил для науки, для нас с вами, читатель, слишком известно, и перечислять его труды нет необходимости. Пушкин писал о нем: «Он создал первый университет, он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Ломоносов — еще до Пушкина — переводил из Горация:

Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди... Не вовсе я умру; но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю.

«Рвать цветы в облаках» — это редко кому дается!

«ЦЫЦ И ПЕРЕЦЫЦ»

Дело давнее... Сергей Кириллович Станиславский, мелкотравчатый дворянин, обходя лужи, старательно поспешал на службу при канцелярии строений, где он кажинный денечек бумаги разные переписывал, трудами праведными достигнув коллежского регистратора, а на большее и не рассчитывал.

На Басманной близ Разгуляя стоял громадный домина, сплошь обитый железом, и чиновник невольно придержал шаги, заметив на его воротах бумагу, обращенную ко вниманию проходящих. Смысл афиши был таков: ежели какой-либо дворянин желает иметь невесту со знатным приданым, то пусть объявится в этом доме, никаких страхов не испытывая, ибо нужда в супружестве возникла неотложная и решительная.

- Чей дом-то этот? спросил чинуша прохожего.
- Стыдно не знать, сударь, последовал ответ с укоризною. Соизволят проживать здесь великий богач Прокофий Акинфиевич Демидов, и вы в этот дом лучше не суйтесь.

Сергей Кириллович стал на афишу показывать:

— А вот, гляньте, тут в женихе надобность приспела.

Прохожий глянул на бумагу с большой опаскою.

— Это для смеху! — пояснил он. — Господин Демидов хлеба не поест, прежде не повредив кому-либо. Ему забавы нужны всякие, чтобы над образованным человеком изгиляться. Явитесь вы к нему, так он вам так всыпет, что своих не узнаете...

Побрел бедный чиновник далее, размышляя: «Оно, может,

и так, что всыпят. Но за оскорбление чести дворянской через полицию можно сатисфакции требовать, чтобы деньгами поругание мое оплатил. Маменька-то вчера уж как убивалась, что давно пирогов с изюмом не кушала. Меня же и попрекала, сказывая: эвон как другие живут, собирая с просителей акциденции, сиречь взятки. А ты, дурак такой, только ушами хлопаешь, нет от тебя никаких удовольствий.. Вернусь». С таким-то решением Станиславский вернулся к дому, что внешне напоминал фортецию неприступную, и постучал в ворота. Добрый молодец отворил их и высморкался, спрашивая:

- Зван или не зван? Бить аль погодить?
- Я... жених, сознался чиновник. Из дворян... по объявлению. Мне бы невесту поглядеть, да чтобы мне приданое показали.
 - А-а-а. Тады милости просим, входите...

Вошел Станиславский в хоромы и тут даже штаны прохудил от вящего изумления. Вот как миллионщики-то живут, не чета нам! Тихо играли органы, встроенные в стены палат, посреди столов струились винные фонтаны, прыгали ручные обезьяны, порхали под резным потолком невиданные птицы, гдето кричал павлин, а мимо чиновника, до смерти перепугав его, вдруг пробежал не то зверь, не то человек и, зубы огромные скаля, стебанул его — прямо по загривку.

- Это кто ж такой будет? спросил чиновник служителя.
- Это, мил человек, будет не человек, а подобие его, научно прозываемое ранкутанком... За большие деньги из Африки вывезли! С утра кормлен, так что не бойся: жрать не станет. Ступай дале. Хозяину доложили — чичас явится...

Станиславский ни жив ни мертв, увидев миллионера Прокофия Акинфиевича Демидова: был он в халате, снизу исподнее, на голове колпак, а босые ноги в шлепанцах домашних (кои тогда, читатель, назывались «шептунами»). Вышел Демидов и спросил:

- Дворянин? По Департаменту герольдии записан ли?
- Писан, пискнул чиновник. Имею счастие состоять в чине регистратора, состоя при бумагах разных, а значение запятых мне известно, за что от начальства похвалы удостоился.
- Ну и дурак... Не все ли равно, где запятая ляжет? Вот точка это другое дело, от нее многое, брат, зависит. Ты точки-то когда-нибудь ставил ли в бумагах своих?
 - Точки у нас директор канцелярия саморучно ставит.
 - Ладно. Значит, решил зятем моим стать?
 - По афише. Как было объявлено.
 - Небось и приданое желаещь иметь?
 - Так а кто ж не желает? Не дурак же я!

Демидов подумал и велел встать чиновнику на четвереньки. Потом забрался на него и велел возить по комнате. Очень трудно было Станиславскому, но возил, пока не ослабел, и тогда Демидов сам сел и ему велел сесть. Стал тут миллионер думу думать. В ту пору Демидов пребывал в «дистракции и дизеспере» (как выражались тогда на смеси французского с нижегородским). Дело в том, что хотел он выдать дочек своих за купцов или заводчиков, но лишь одна Анька послушалась, за фабриканта Земского выйдя, остальные же дщерицы заартачились: не хотим быть купчихами, а хотим быть дворянками! Сколько уж прутьев измочалил Прокофий Акинфиевич, сколько дурех этих по полу ни таскал за косы — нет, уперлись, подавай им дворянина.

Оттого-то и появилось на воротах дома его объявление...

— Анастасию Первую, — указал он, а жениху объяснил: — У меня их две Настъки: коли Первая не приглянется, так я тебе Вторую явлю... ты не путайся: не девки, а змеи подколодные!

Величавой павою выплыла из комнат Анастасия Первая.

- Вот, сказал ей отец, жених дворянский, как и хотела! Тут эта девка чуть не плюнула в Станиславского:
- А на што мне такой завалящий? Ах, папенька, не могли разве пригоженького залучить? Да и чин-то у него каков? Мне бы, папенька, гусара какого или советника статского, чтобы у дел важных был или чтобы с саблей ходил.
- Цыц и перецыц! гаркнул Демидов. Не ты ли от звания купеческого отвертывалась? Не ты ли кричала, что лучше за первого попавшегося дворянина желаешь... Так вот тебе первый попавшийся. А коли будешь рыпаться, так я не погляжу, что жених тут: разложу на лавке да взгрею волей родителя...

Это не анекдот! Вот так и стал нищий коллежский регистратор владельцем колоссального состояния, заимел богатейшую усадьбу, а маменька его пироги с изюмом уже отвергала:

— От них рыгается! Ныне-то, люди умные сказывали, есть пироги такие, в кои целый нанас запихивают, и прозываются они парижски «тиликатесом». Вот такого хочу — с нанасом!

...Было начало царствования Екатерины Великой.

Москва тех времен, еще «допожарная», была обстроена дворцами знати, в которых едва помещались оранжереи, библиотеки, картинные галереи, бронза и мрамор. Иностранцы, посетив тогдашнюю Москву, писали, что им казалось, будто русские обобрали всю Европу, чтобы иметь в каждом доме частный мужи. Европейцы не раз попадали впросак от незнания барской жизни: низко кланялись дамам, облаченным в роскошные шубы, в потом выяснилось, что это служанка, а меха у них такие же, как у барынь. Опять-таки непонятно: крепостные иногда становились миллионерами, и даже такой богач, как граф Шереметев, занимал в долг миллионы у своего раба Никифора Сеземо-

ва... Вот и разберись в тогдащней московской жизни!

Прокофий Акинфиевич родился в Сибири, в период царствования Петра Великого. Он был внуком Никиты Демидова, что основал в Туле ружейное дело, а на Урале обзавелся заводами и рудниками. Прокофий рано женился на Матрене Пастуховой, но раньше времени загнал молодуху в могилу, чтобы сожительствовать со своей комнатной девкой Татьяной Семеновой, от которой — не венчан! — тоже имел детишек. Танькато была статью как гренадер, грудь имела возвышенную, каждую весом в полпуда, а глаза у нее, ей-ей, словно полтинники — сверкали. Бывало, как запоет она «Я милого узнаю по жилету», — так Демидов на колени перед ней падал, крича:

— Ой, убила-а! Совсем убила... хорони меня, грешного!

Было у него от первой жены четыре сына, он их в Гамбург отправил учиться, но там они забыли русский язык, и, когда вернулись на родину, Демидов, словно в насмешку, дал на всех четырех одну захудалую деревеньку с тридцатью мужиками и велел строго-настрого на глаза ему никогда не показываться:

— Мне эдакие безъязыкие не надобны... Пшли прочь.

Дочек же, слава богу, дворяне (с приданым) мигом расхватали. А разругавшись с сыновьями, Демидов — назло им! лучшие свои заводы на Урале распродал Савве Яковлеву Собакину, с чего и началось обогащение Яковлевых, новых Крезов в России.

— Батюшка ты мой разлюбезный, — внушала ему Татьяна, — не пора ль тебе меня, сиротинушку, под венец утащить?

— Цыц и перецыц, — отвечал Демидов. — Успе-ется...

Демидов часто и подолгу живал в столице, не гнушался он и Европой, не раз бывая в краях заморских. Начудил он там, конечно, немало! Саксонцы, французы, голландцы видели в нем лишь сумасброда, дивясь его выходкам и капризам, за которые Демидов расплачивался чистоганом, денег не жалея: «только холодные англичане открыли ему глаза, подвергнув русского миллионера самой наглейшей эксплуатации, не постаравшись даже прикрыть ее внешними приличиями» — так писал Н. М. Грибовский, демидовский биограф, в самом начале XX века. Лондонским негоциантам удалось за большие деньги сбыть Демидову свою заваль, но Прокофий Акинфиевич этого им не простил...

 Мы тоже не лыком шиты, — решил Демидов, вернувшись на родину. — Я этой англичанке такую кутерыму устрою, что ажно весь флот без канатов и снастей останется. Одним махом он скупил все запасы пеньки со складов столицы. Англичане же каждый год слали целые флотилии за пенькой. Вот приплыли купцы из Лондона, а им говорят:

- Пеньки нет! А какая была, вся у Демидова...

Сунулись они было в контору его, а там заломили за пеньку цену столь разорительную, что корабли уплыли восвояси с пустыми трюмами. Через год англичане вернулись, надеясь, что Демидов одумался, а Демидов, снова скупив всю пеньку в России, заломил цену еще большую, нежели в прошлом году, и корабли английского короля опять уплыли домой пустыми.

— С кем связались-то? — говорил Прокофий Акинфиевич. — Пущай они там негров или испанцев обжуливают, а «мохнорылым» русского человека обдурить не удастся. Вот и разорились...

Ах, читатель, если бы его месть пенькой и закончилась!

Нет. Оказывается, еще будучи в Англии, Прокофий Акинфиевич уже отомстил своим британским конкурентам самым ужасным способом. Он дал взятку сторожам британского парламента, весьма респектабельного учреждения, ночью проник в этот парламент. А там он спустил штаны и оставил — на память англичанам! — непревзойденный по красоте и благоуханный «букет» в кресле самого... спикера. Об этом в России пока ничего не знали.

— Да и кто узнает-то? — рассуждал Демидов. — Скорее промолчат, дабы перед всем миром не позориться.

В содеянном он сознался любимому зятю по дочери Анастасии Второй. Это был Марк Хозиков, происхождением швед, но обрусевший, который состоял секретарем при Иване Ивановиче Бецком, сыне князя Трубецкого от шведки, и вот через этих людей Демидов проворачивал свои дела в высших сферах правительства. Хозикову иногда он и плакался:

— Бывали у меня времена худые. Герцог-то Бирон моего братца Ваню на эшафоте колесовал, а другой братец Никитка в передней того же герцога лизоблюдствовал. За это сикофанство и получил он наследство от тятеньки, а мне остался хрен на патоке, в одной рубахе остался, даже посуду отняли. Веришь ли? Яко пес худой, из деревянной миски лакал языком, ложечки не имея. Слава богу, что Лизавета взошла, будто солнышко красное. Тут при ней-то люди русские и возрадовались...

В этих словах Демидова не все правда, но доля правды была: Бирон казнил и миловал, но заводы Невьянские он все же получил от отца, иначе с чего бы эти миллионы? Через Хозинова он знал, что Екатерина II не всегда им довольна. Еще в 1769 году она писала московскому губернатору: «Что касается во дерзкого болтуна Демидова, то я кое-кому внушила, чтобы

до него дошло это, что если он не уймется, так я принуждена буду унимать его силой».

В чем же провинился Демидов?

Смолоду влюбленный в песни народного фольклора, не всегда безобидного для власть имущих, Прокофий Акинфиевич и сам пописывал едкие сатиры, глумясь над придворными императрицы. Узнав об этом, Екатерина распорядилась сжечь сатиры Демидова «под виселицей и рукой палача». Думаете, он испугался? Совсем нет. Напротив, Демидов само наказание превратил в потеху.

— Цыц и перецыц! — сказал он управляющему. — Завтра же ты проси сдать в наем все дома с балконами, что стоят вокруг эшафота с виселицей. А я разошлю приглашения знати московской, чтобы при казни она присутствовала со чадами, за это я их стану, яко Лукулл, особым обедом потчевать...

Мало того, к месту гражданской казни он привел громадный оркестр — с трубами, тулумбасами и литаврами. Когда в руке палача под виселицей вспыхнули сатиры Демидова, музыканты грянули праздничной музыкой, стали туг люди танцевать на площади, а сам Демидов сидел на балконе, весь в цветах, словно именинник, и аплодировал палачу своему:

- Браво-брависсимо... Всем цыц и перецыц!

Князь М. Н. Волконский, губернатор первопрестольной, прислал к Демидову квартального офицера с наказом — внушить Демидову, чтобы унялся, смирясь в благопристойности:

— А мои слова считать волей монаршей. Ступай...

Прокофий Акинфиевич принял квартального как лучшего друга, не знал куда посадить, стол для него накрыли лучшими винами и яствами, дрессированный орангутанг, зверило лютое, даже обнимал квартального, рыча что-то нежное.

— Друг ты мой ненаглядный! — сказал Демидов губерна торскому посланцу. — Волю монаршую я рад исполнить, и пер вую чару опорожним за здоровьице нашей великой матушки

государыни... Мудрость-то! Мудрость-то у ней какова!

Тут и Танька, тряся грудями, в ладоши хлопала:

— Пейдодна, пейдодна, пейдодна, пейдодна...

Через полчаса квартальный офицер валялся под столом:
— Эй, люди! Теперича начнем казнить его, как положено

Пьяного раздели донага, обрили наголо, словно каторжно го. Демидов велел не жалеть для него меду. Квартального медом густо намазали, обваляли в пуху лебяжьем и отнесли почивать и отдельную комнату — чин по чину. А возле копчика приладили ему хвост от лисицы — зело нарядный, изрядно пушистый.

— Пущай дрыхнет, — сказал Прокофий Акинфиевич... А сам через замочную скважину наблюдал за ним поти хоньку, дожидаясь его приятного пробуждения. Только увидел, что стал квартальный разлеплять светлые очи, медом заплывшие, тут он и ворвался в комнату — с угрозами и криком:

— Как ты, офицер полиции, смел являться ко мне с изъявлением воли монаршей в таком непотребном виде? Вставай, сейчас я тебя явлю губернатору, чтобы он наказал тебя...

История гласит, что полицейский упал к ногам Демидова, умоляя не позорить его, но Демидов велел слугам тащить его по Москве к дому Волконского, чтобы все москвичи наглядно убедились, каковы у них квартальные... Бедный квартальный даже хвоста у себя не заметил, так и шел по улицам, лисьим хвостом помахивая, и лишь перед домом губернатора Демидов смилостивился, сказав, что «прощает» его, и подарил полицейскому парик, дабы накрыть бритую голову, а заодно дал ему мешок с золотом, чтобы тот хулого о нем ничего не сказывал.

Пишу я вот это, читатель, а перед глазами у меня все время стоит знаменитый портрет Прокофия Демидова гениальной кисти Левицкого, что ныне укращает залы Третьяковской галереи. Помните, наверное, что Демидов изображен на фоне цветущего сада в халате и колпаке, эдакий добрый дедушка, он с небрежной деловитостью облокотился на садовую лейку. Представляя это гениальное полотно русской общественности, Сергей Дягилев в 1902 году писал: «Великий благотворитель и не менее великий чудак, Прокофий Акинфиевич, всю жизнь заставлявший говорить о себе не только провинциальное общество Москвы, не только всю Россию, но и все европейские центры, которые он посетил во время своего экстравагантного путешествия...»

Между тем, читатель, Демидова подстерегала бе да, связанная именно с этим его «экстравагантным» визитом в Англию и — особенно — с тем «букетом», который он там оставил.

Англичане, как выяснилось, ничего не прощали!

Мы, читатель, сейчас немало рассуждаем и пишем о матерях-отказницах, кои оставляют своих детишек в родильных домах или приютах. У вы, с этой же проблемой я столкнулся впервые — не удивляйтесь! — еще при написании романа «Фаворит». Как это ни странно, но во второй половине XVIII века, осиянного высокой нравственностью народа и учением христианства, такое тоже случалось.

Екатерина об этом знала и говорила об этом не раз:

— Прямо Содом какой-то! Удовольствие от парней получит, сама брюхо набьет, а потом младенца находят в горохе на огородах да на капустных грядках. С этим надо бороться. Не матки их беспутные заботят меня, а сироты несчастные, ма-

353

теринской ласки и молока материнского лишенные... Вот бедато в чем!

Дени Дидро помог ей добрым советом: из подкидышей, что будут воспитаны государством, следует образовать н о в о е сословие в России — людей свободных, и чтоб эти люди впредь ни при каких условиях не могли бы попасть в кабалу закрепощенных. Екатерина с этим была согласна.

— Я пойду и далее, — заявила она. — Воспитанники государства, женясь на крепостных девках, вызволяют их от рабства помещика, а воспитанницы, брачуясь с крепостными, сразу же от брачного венца делают мужей своих тоже свободными...

Задумано было хорощо. Не было только денег, чтобы устроить «Сиропитательные дома» (позже нареченные «воспитательными»). Россия сражалась с Турцией, и, чтобы вести такую войнищу на Дунае, деньги тоже требовались — и немалые! Фаворитом при «матушке» состоял тогда Гришка Орлов, он ее спрашивал:

- Матушка, а сколь тебе надобно?

- Миллиона четыре, никак не меньше. Но банкиры европейские, раздери их холера, в кредит более не дают, ибо, души гадючьи, не больно-то верят в славу оружия российского.

— Так и плюнь на них! У нас Прошка Демилов имеется.

вот ты его и хватай за «яблочко», чтобы раскошелился...

С этим решением он сам предстал перед Демидовым, прося в долг «матушке» сущую ерунду — всего четыре миллиона рублей (не ассигнациями, а золотом, конечно).

— О какой матушке волнуещься? — спросил Демидов. — О матушке России или о той, кою ты по ночам всячески развле-

касшь?

Орлов сказал, что у всех у них по две «матушки».

Императрице не дам! — сразу отрезал Демидов.
Почему? — удивился Гришка Орлов, граф, князь и про-

- Боюсь давать тем, кто имеет право растянуть меня и вы-

сечь, а тебе дам, ибо захочу, так я и тебя высеку...

Орлов посмеялся, винцом погрешил и сказал, что казна при возвращении ссуды накинет ему три процента. Демидов сказал:

— Не надо мне ваших процентов. Я свое условие ставли ежели в сроках не управитесь, то я обрету право — при всем честном народе — накидать тебе в морду сразу три оплеухи

Орлов кинулся в Зимний дворец, докладывая императри це — так, мол, и так. Процентов Демидов не желает, зато согла сен обменять их на три оплеухи. Это графа заботило:

— Матушка, ведь не поспеешь к сроку долг-то вернуть? А

этот дуралей выведет меня на площадь и свое получит...

Ох, и тошно же мне с вами со всеми! — отвечала Екатерина. — Но делать нечего — соглашайся быть битым, чтобы война

продлевалась до победы, а казна процентов не ведала...

Мысли о подкидыщах и сиротах не покидали ее, а ведь Дидро и Вольтеру не станешь объяснять, что русская казна исчерпана. Тут-то как раз и появился на пороге ее кабинета британский посол лорд Каткарт, от которого императрица и узнала о том «наследстве», которое Демидов оставил в парламентском кресле спикера. Возмущенная, императрица сначала посулила, что сошлет Демидова в Сибирь, и, кажется, была к этому готова. Но, женщина практичная, Екатерина даже из этой зловонной кучи решила иметь экономическую выгоду ради своих целей.

Прокофий Акинфиевич выслушал от нее первые слова, зву-

чащие для него приговором:

— Сказывают, что ты в Сибири урожден был, так я тебя, приятеля своего, и сошлю в Сибирь, чтобы ноги там протянул... О нас, русских, в Европе и так всякую дурь болтают, Россию шельмуя, а ты... что ты? Или другого места не сыскал, кроме парламента, чтобы свою нужду справить? Готовься к ссылке...

Демидов рухнул перед женщиной на колени:

Матушка... родимая... пожалей!

- А ты меня разве пожалел, на всю Европу бесчестя?

— Ваше величество, что угодно... просите. Последнюю рубашку сыму, с торбой по миру побираться пойду... все отдам! Екатерина, искусная актриса, дышала гневно.

— Мне от тебя всего и не надобно...

Тут Екатерина припомнила, как Демидов устроил в Петербурге гулянье для простого народа, где среди каруселей и балаганов выставил жареных быков и устроил винные фонтаны, бьющие дармовым вином, отчего в столице от перепоя скончались более полутысячи человек. Она размахнулась и отвесила ому пощечину:

— На каторгу! Надоел ты мне. Даже когда добро стараешься

делать, от тебя, кроме зла, ничего не бывает...

Демидов ползал в ногах у нее, рыдал и воспрянул, когда понял, чего от него требуется — всего-то лишь денег на создамие «Сиропитательного дома» для подкидышей и сироток. Тамино вот образом одна лишь «куча», оставленная в кресле британского спикера, обощлась ему в ОДИН МИЛЛИОН И СТО СЕМЬ ТЫСЯЧ рублей, опять-таки чистым золотом. «Воспитательный дом» вскоре появился и в Петербурге, а Демидов, имется, о тратах не жалел: в Москве он отдал для приюта свой

каменный дом, завел при нем скотный двор и даже составил инструкцию о том, как получать от коров высокие удои молока. Правда, в этой истории случилось не все так, как задумали ранее. Крепостные стали умышленно подкидывать в «Воспитательные дома» своих младенцев, чтобы они уже никогда не ведали барщины, а сразу становились свободными гражданами (вот во что обратились идеи Дидро, золото Демидова и хлопоты императрицы!)...

Постепенно старея, Прокофий Акинфиевич не оставил своих чудачеств, и в какой-то степени он заранее предвосхитил тех купеческих Тит Титычей, что дали пищу для пьес Островского. Порою же чудачества его принимали форму глумления над людьми. Так, иногда он давал деньги в долг с условием, что цифру долга напишет на лбу должника, требуя, чтобы эту цифру он не смывал до тех пор, пока не вернет денег.

- А до сего пущай все видят, сколь ты задолжал мне...

Однажды явилась к нему старая барыня, и просила-то она сущую ерунду — всего тысячу рублей, и Демидов не отказал ей:

— Почему и не дать? Только, не взыщи, у меня на сей день золотишка не стало — медяками возьмешь ли, дура?

- Возьму, батюшка, медяками. Как не взять...

Надо знать, что медные деньги тогда были тяжелы и массивны и, чтобы увезти тысячу рублей в медяках, требовалось бы не менее трех телег. Старухе отвели пустую комнату, высыпали в ней навалом мешки с медью, Демидов велел старухе отсчитывать тысячу рублей, складывая медяки в ровные столбики. Старуха ползала на коленях до самого вечера, а Демидов, похаживая возле, нарочно задевал столбики, рассыпая их, чтобы сбить старуху со счета. Наконец и ему эта возня прискучила:

— А что, мать, не возьмешь ли золотом? Ведь гляди, уже зеваю, спать бы пора, а ты и до свету не управишься.

— Возьму, родимый, и золотом, как не взять!..

Время от времени Демидов вызывал охотников из числа лентяев — целый год пролежать у него дома в постели, не вставая с нее даже в тех случаях, когда «ватерклосс» требовался, и за это он сулил богатую премию. Но даже самые отпетые лодыри не выдерживали и, получив от Демидова не премию, а плетей на конюшне, убегали из его дома, радуясь, что их миновала пытка лежанием. Одно время среди молодых дворян возникла глупейшая мода — носить очки, и Прокофий Акинфиевич мигом отреагировал, пародируя: у него не только дворня, не только кучера, но даже лошади и собаки были с очками. То-то хохотала Москва! Удивил он сограждан и своими цутами; две гигантские лошади шли в коренниках, два осла впереди, один форейтор был карликом-пигмеем, а второй был таким громал

ным верзилой, что его длинные ноги по мостовой тащились. Одежда выездных лакеев Демидова была пошита из двух половин: левая часть — парча, шелк и бархат, а правая — дерюжина да сермяга, левая нога каждого в шелковом чулке, а башмак сверкал алмазами, зато правая — в лаптях и онучах мужицких.

- Пади, пади, - попискивал лилипутик.

— Пади, пади-и! — громыхал басом Гулливер...

Нет, читатель, это уже не чудачество, а нечто совсем иное. За всем этим маскарадом скрывался потаенный смысл: Прокофий Акинфиевич презирал аристократов и, где только мог, тешился пародиями над их претензиями и чванством. Как раз в ту пору восходила новая звезда придворной элиты — Безбородко, утопавший в роскоши, транжиривший тысячи на любовниц, и Демидов питал к нему особое отвращение. Побывав в Москве, Безбородко напросился в гости к Демидову, а потом отклонил свой визит, ссылаясь на важные дела, а Демидов-то уже потратился для убранства стола, гостей-то уже назвал... Гости спрашивали:

— А где же главный столичный гость — Александр Андреевич Безбородко? Ведь ради того, чтобы повидать его, мы и явились.

- Сейчас приведут его, - мрачно ответил Демидов...

Раздался страшный визг — лакей втащил громадную свиноматку с отвислым брюхом, но в придворном кафтане, и силком усадили ее в вольтеровское кресло, предназначенное для самого важного гостя. Прокофий Акинфиевич, отпуская свинье нижайшие поклоны, радушно уговаривал ее:

— Ваша превеликая светлость, не побрезгуйте... Живем мы не по-вашему, люди простые, откушайте, что бог послал. Не угодно ли опробовать камерани? А вот, удостойте просвещенного внимания, ананасы из оранжерей Нарышкиных. Не обижайте нас, ваша светлость...

Свинья отчаянно визжала, будто ее режут, но, разглядев стол, убранный всякими заморскими яствами, взгромоздилась на него, хрюкая, она пожрала все подряд, что там было, уделив особое внимание винограду, присланному из Тавриды, а после ананасов сочно рыгала, пресытившись.

Демидов с поклоном провожал ее от стола:

— Век будем помнить, что удосужили нас, сирых, своим высочайшим визитом. Не обессудьте, ежели утодить не смогли...

Лишь за два года до смерти Демидов — в возрасте 74 лет — узаконил свою связь с Татьяной Семеновой церковным браком. Среди их дочерей была одна, имя которой для истории почемуто не сохранилось, но зато известно, что она стала женою Пепочкина. Меня это особенно волнует как генеалога. Почему?

Да по той причине, что именно из этой фамилии вышел наш знаменитый народоволец, шлиссельбуржец и почетный академик Н. А. Морозов, который скончался в 1946 году в своем же (!) имении на берегу реки Мологи. Вот как бывает.

Снова глянем на портрет кисти Левицкого, писанный «по случаю» — в ознаменование того, что на деньги Демидова в столице был построен родильный дом, по тем временам чудо редкостное. Но, спросят меня, при чем на портрете сад и почему здесь лейка? Они необходимы — и как фон, и как деталь, многое объясняющие в жизни Прокофия Акинфиевича. Был он прирожденный ботаник, разводил в Москве цветники, содержал огородные теплицы для тропических растений, собрал коллекцию редкостных лавровых и папоротников, которые очень

высоко оценивались петербургскими учеными.

Да, читатель, не спорю, Демидов был отчаянный самодур. но дураком никогда не был. Известна и вторая его страсть любовь к народному фольклору, а это занятие в те времена было не таким уж безобидным, как вы думаете. Ведь еще в конце XIX столетия известны случаи, когда князья Волконские избивали баб и мужиков, если те осмеливались на гуляньях распевать песню «Ванька-Ключник, элой разлучник...», ибо во времена далекие Ванька-ключник разлучил какого-то князя Волконского с его женою, и долгие годы эта народная песня публиковалась в России без упоминания князя Волконского. Под запретом была песня «Мимо рощи я шла одинехонька», ибо в ней задевалось женское самолюбие Екатерины II. О том, что народные песни казались тогда крамолой, судите сами — письмо Демидова к академику Г. Ф. Миллеру от 1768 года пробилось в печать только в 1901 году; в нем Демидов сообщал, что в России народная песня уже задавлена, а он эти песни вывез из Сибири, «понеже туда всех разумных дураков посылают, которые нашу прошедшую историю и поют на голосу...».

Сказав о Демидове дурное, не премину сказать и хорошее. Все его родичи отличались жестокостью, просто зверствовали, от них на уральских заводах стон стоял. Родной брат Никита (тот самый, что перед Бироном холопствовал) пощады к людям не ведал, и, хотя он известен у нас перепиской с Вольтером, но людские страдания были для него пустым звуком. Прокофий Акинфиевич, в отличие от родимых супостатов, все-таки о своих рабочих заботился, вникая в их нужды, он укрощал деспотизм в управлении заводами, выделяясь даже человеколюбием.

Скажу и далее о хорошем. Понимая, что для торговли с Европой страна нуждается не просто в купцах, а экономистах и финансистах, Демидов в 1772 году основал Коммерческое училище, которое при Павле I было переведено в столицу. Когда же в Москве открывали университет, Демидов пожертвовал ему свои деньги — для неимущих, чтобы учились, в нужде постыдной не прозябая; тогда же для бездомных студентов он подарил свой дом, «дабы оне в тесноте не обучались». А когда университст был еще в проекте, Демидов выдвинул свой проект — предложил свои ПОЛТОРА МИЛЛИОНА рублей, желая видеть Московский университет непременно на Воробьевых горах (странно, что в наше время он там и появился). но, что в наше время он там и появился).

Закончу рассказ с о л ь ю, которая в те времена была в большой цене, малодоступная простому народу. Что сделал Демидов? Просто так подарить соль москвичам он не мог, ибо натура была такая, что ему в любом случае хотелось бы «начудить», чтобы люди опять ахали. В самый разгар жаркого лета Прокофий Акинфиевич выразил непременное желание кататься на санях. Но где взять снег для такой прогулки? Демидов скупил всю соль, какая была на складах, и велел соорудить из этой соли санный путь длиною в три версты, по которому и прокатился на тройке с бубенцами.

Потом вылез из саней и махнул народу московскому, что сбежался смотреть на его чудачество:

— Цыц и перецыц, люди! Я удовольствие получил, теперь вы эту соль по своим домам тащите — она ваша... П. А. Демидов скончался осенью 1786 года.

ДЛИНА ТЕНИ ОТ СГНИВШЕГО ПНЯ

Лужский уезд Петербургской губернии и сама река Луга когда-то были обстроены великолепными усадьбами, о которых я имею представление по журналам «Столица и усадьба», «Старые годы». Не знаю, чем объяснить, но к Луге я тянулся смолоду, исходил берега Череменецкого озера, в густых зарослях открывал всеми забытые могилы, заросшие крапивой, видел едва приметные фундаменты усадебных зданий, от которых ничего не осталось, да еще липовые аллеи, ведущие в никуда... Печально!

Не буду заманивать читателя в историю этих краев, бывших окраин Новгородской общины, скажу только, что в давние времена берега Луги были сплошь обставлены деревнями, очень густо заселенными крестьянами и дворянством, а сама река еще в древности славилась судоходством, на ней стояли даже маяки. Были в этих местах и свои народные богатыри — Иван, Орел да Афанас, много на Луге бытовало легенд о древних кладах.

Все это в прошлом. Глянем во времена ближние.

Начну так. Был во Франции маркиз Жан-Франсуа де Траверсе, который, спасаясь от гильотины Робеспьера, бежал в Россию где и стал прозываться Иваном Ивановичем; будучи морским офицером, он еще при Екатерине II стал служить на русском флоте, при сыне ее он принял русское подданство, а при внуке ее стал адмиралом и морским министром России, котя русским языком владел очень плохо. Моряк более каби-

нетный, маркиз сам далеко не плавал и другим не позволял. Он бывал спокоен, если корабли Балтийского флота в море не выходили, маневрируя в видимости Кронштадта, отчего этот район близ столицы моряки и прозвали «маркизовой лужей» (так он называется и поныне). Здесь же я сразу извешу читателя, что, умерший в 1830 году, маркиз де Траверсе еще при Екатерине II был жалован от нее добротным имением Романщина, что неподалеку от Лути.

Маркиз был вдов, но его жена — по приезде в Россию — успела одарить его двумя сыновьями, которые оба назывались Александрами; старший из них, тоже адмирал, служил командиром порта в Архангельске; были у министра и две дочери: Клара меняла мужей быстрее, чем перчатки, и жила отдельно от папеньки, а младшая, Мария, тихая и некрасивая, о замужестве еще не помышляла, живя при своем отце в его лужском имении.

Сыновьями отец не был доволен. Александр, что служил в Архангельске, откровенно брал взятки, а все деньги спускал в картишки; младший же Александр, будучи флигель-адъютантом, тоже был мот порядочный и, служа на флоте, выше капитанских чинов не поднялся... Перейдем к делу!

Осенними вечерами вокруг Романщины завывали волки. Шаткие сквозняки колебали пламя свечей в жирандолях. Двери заперты, пора ложиться спать...

- Мари, сказал маркиз дочери, послушав вой волков за околицей усадьбы, я чувствую, жизнь моя на исходе, и меня, не скрою, тревожит твоя судьба... Сыновья выросли такими мотами, что они, боюсь, оберут тебя до последней нитки, оставив тебя без приданого, никому не нужной.
 - К чему эти невеселые речи, отец? спросила Мари.
- Чтобы ты, моя дочь, была готова принять от меня завещание, в котором я укажу тебя своей главной наследницей. А когда сыщешь хорошего мужа, то... вот тебе и приданое!

Старый маркиз поднял медный сундучок, Мария откинула его крышку и даже вскрикнула, ослепленная грудою бриллиантов, часть которых отец вывез еще из Франции, а остальные скопил во время службы в новом ему отечестве...

Когда все в доме уснули, старик крадучись вышел в сад и глубоко в земле закопал сокровища — как раз в таком месте усадьбы, о котором не будет им сказано даже в завещании для любимой дочери.

...Кстати! Маркиз И. И. де Траверсе был уроженцем острова Мартиника; одно время он переписывался с Жозефиною Богарне, тоже уроженкою Мартиники, которая стала женою императора Наполеона; в письмах к русскому адмиралу она, императора

ператрица Франции, именовала его своим кузеном, но степень их подлинного родства осталась для меня загадочной, ибо понятие «кузенства» в те времена было слишком широким.

Снова вернемся к генеалогии, без которой трудно разбираться в истории, но из лужской Романцины теперь перенесемся, читатель, в древний Ревель... Комендантом Ревеля был Владимир Григорьевич Паткуль, а его приятелем — адмирал Леонтий Васильевич Спафарьев, смотритель маяков и командир Ревельского порта. Первый имел сына Александра Паткуля, который воспитывался с будущим Александром II, а Спафарьев имел красавицу дочку Санечку, и две семьи соседствовали домами близ пригородного Екатеринталя, который, слава богу, до наших времен каким-то чудом все-таки уцелел...

Итак. Минуту внимания, и далее обещаю не мучить читателя генеалогией. Однажды с моря пришел корабль, который привел в Ревель маркиз Александр Иванович де Траверсе, младший сын министра и флигель-адьютант императора. Очень быстро он увел Санечку Спафарьеву под венец, и вскоре у них родилась дочка — маркиза Мария Александровна, которая в 1841 году стала женою Александра Владимировича Паткуля — того самого, что воспитывался вместе с наследником престола. На время оставим генеалогию — вернемся к ларцу с бриллиантами!

Заодно, читатель, отступим назад, в 1830 год, когда в Романщине скончался старый маркиз, оставивший дочери Марии Ивановне свое завещание. Прослышав о смерти отца, в Романщину разом нагрянули два ее брата — и оба Александры Ивановичи, один при эполетах, второй с аксельбантом.

— Где завещание отца? — сразу потребовали они.

Некрасивая маркиза не стала его скрывать.

Пожалуйста, читайте, — протянула она бумагу...

Покойный завещал дочери Романицину и... клад фамильных драгоценностей, который, согласно воле отца, она имела право откопать лишь по выходе замуж, а где закопаны бриллианты — об этом, писал отец в завещании, дочь извещена им устно.

- Где? сразу спросили братья.
- Вот этого я не знаю, понуро отвечала Мари.
- Как не знаешь, если в завещании указано, что отец на словах передал тебе о месте его сокрытия.
- Да, согласилась сестра, я знаю, что отцом написано именно так, но перед смертью он лишился дара речи и ничего сказать мне уже не мог...

Братья переглянулись, как заговорщики.

- Посмотри на себя, обозлились оба, неужели с внешностью мартышки, какой наградила тебя природа, ты еще надеешься найти себе мужа? Напрасно хитришь перед нами, будто не знаешь о месте, где зарыт клад... Отдай его нам!
- Помилуйте, я сказала вам сущую правду, заплакала Мари. Отец действительно уже не мог показать мне это место, где закопал ларец. Лучше пожалейте меня...

Два маркиза, один адмирал, а другой флигель-адъютант, пылко жаждавшие наследства (и немалого), церемониться с сестрою не стали. Очень грубо, словно тюремщики, они затол-кали девушку в темный и холодный чулан, закрыли ее на засов.

— Вот и сиди, пока не скажешь, — объявили ей братья. — A

если не поумнеешь, так мы придумаем тебе худшее...

Напрасно Мария Ивановна взывала к жалости, барабанила в двери, умоляя смилостивиться, — нет, братья не выпускали ее:

— Скажи, где отец закопал бриллианты, и выпустим...

Но она ведь того не знала! Братья не давали ей есть, они мучили сестру жаждой, наконец просто избивали ее:

- Говори - и ты получишь, черт с тобой, свою долю.

— Отпустите, — просила несчастная, — ничего мне не надо теперь, забирайте всю Романцину, а меня отпустите...

Наконец братья-маркизы сами поняли, что сестра ничего не скажет, и — назло ей — заточили ее в древний Череменецкий монастырь Лужского уезда. Здесь маркиза Мария Ивановна от горя сошла с ума, она не раз просилась обратно в Романцину, показывала в усадьбе разные места, но сколько ни копали землю, ничего не нашли, и вскоре сестра в монастыре и скончалась...

После этой монахини даже следа на земле не осталось, а ее племянница, ревельская маркиза Мария Александровна, что стала женою А. В. Паткуля, вспоминала о своей безумной тетке как-то небрежно и даже брезгливо. Вот и пришло нам, читатель, время рассказать о ней, очень красивой женщине, которая появилась с мужем при дворе Николая I, вызывая восхищение многих, а поэты воспевали ее красоту:

Где померанец и олива Свой развевают аромат И где вдоль сонного залива Октавы Тассовы звучат, Тебя природа сотворила... И эти огненные взоры И южная твоя краса Печальные развеселили горы И пасмурные небеса...

Став женою А. В. Паткуля, товарища детских забав наследника престола, красавица сразу же стала и любовницей наследника — будущего царя Александра II, который одарил женщину великолепным домом в Царском Селе на Средней улице, а мужа ее (товарища детства) сделал впоследствии обер-полицмейстером Санкт-Петербурга... тут все ясно! Мария Паткуль скончалась в 1900 году, оставив нам интересные мемуары, которые, как вы догадываетесь, и лежат сейчас передо мною, раскрытые...

Овдовев в 1877 году, она оставалась до старости очень интересной женщиной, устраивая у себя по вечерам журфиксы для царскосельского общества. У нее было немало детей, но я поведу речь лишь об одном из ее сыновей — Владимире Александровиче Паткуле, которому и досталась лужская Романщина по наследству, как прямому правнуку морского министра, а вместе с усадьбою досталось и неразгаданное завещание.

Сам же Владимир Паткуль ничего собою не представлял, удалившись в отставку еще в чине поручика. Зато вот жена его Юлия Николаевна, урожденная Вараксина, была натурою впечатлительною, внешне похожею на таборную цыганку, которой бы ворожить на вокзалах или гадать по руке на счастье...

Что сказать вам еще? Были дети, была устроенная жизнь в старинной усадьбе, дом Паткулей был полной чашей, но Юлия Николаевна все же настырно внушала мужу:

- Ты бы вот не сидел сложа руки, словно чурбан, а взял бы да еще раз проглядел завещание своего прадеда.
 - Зачем, душечка? И так все ясно.
- Ясно, да не совсем-то ясно. Может, что-то откроется новое в тексте для разгадки клада? Поверь, я всем довольна, наши дети не рыдают от голода, сидя на лавке, но, имей мы миллион, разве бы я не блистала в высшем свете?

Грозный XX век неумолимо накатывался на людей, суля им тревоги, смятение и разочарование, а здесь, в тишайшей Романщине, еще витала скорбная тень маркиза с Мартиники, опять жалобно хрустела пожелтевшая от ветхости бумага, и оживали призраки мертвецов, оскаленных в едкой усмешке презрения к своим алчным потомкам...

Дело о кладе снова возникло до 1902 года, ибо еще был жив сенатор Николай Борисович Якоби, именно в этом году умерший. Окружной прокурор столицы, сын знаменитого ученого, Якоби любил навещать Романцину ради приятного отдыха подалее от городской суеты. Паткули решили посвятить его в тайну завещания, и Якоби, как опытный юрист, вник в фамильные бумаги маркизов де Траверсе, а потом развел руками:

- По закону вы имеете право на обладание этим кладом, сказал он, но... Как вы его сыщете? Наверняка ведь и до вас, милейшие, тут копали... Нашли?
- Нет, ответила Юлия Николаевна. Ничего не нашли, а в семейных преданиях упоминалось, что там была целая куча старинных бриллиантов. Может, во времена Екатерины Великой они могли бы украсить руки торговки, но в нашем нищенском веке, согласитесь, их ценность безмерно возросла.
- Не спорю, согласился Якоби, деликатно зевнув в румяную ладошку. Только в успех поисков мне плохо верится... А как, господа, быстро свечерело. Не пойти ли нам спать?
 - Пора, охотно поднялся из кресла Паткуль.
- Стойте! вдруг задержала их Юлия Николаевна, и горячечной рукой она долго массировала свой лоб. Нет, нет, нет, бормотала женщина, почти вдохновенная. Я теперь начинаю догадываться, что нам делать. Ведь обо всем, что нас мучает, может рассказать сам маркиз...
 - Какой? удивился муж.
- Твой прадед. Иван Иванович, который уже попал в лексиконы и энциклопедии, как историческая персона.

Якоби задумался, а Паткуль сказал жене:

- Юлия, в уме ли ты сегодня? Иди в спальную, ложись и как следует выспись, чтобы к утру вся дурь из головы вылетела. Мадам Паткуль обвела черными глазами мужчин:
 - Нет, теперь я не усну...

Только сейчас сенатор Якоби догадался о том, что угнетает хозяйку дома, и вдруг он серьезно одобрил ее решение:

- Попробовать можно. Чем черт не шутит!
- Я вас не понимаю, сознался отставной поручик. Вы хоть объясните мне, что вы подразумеваете?

Юлия Николаевна четко и строго растолковала мужу:

— Нам остался последний способ — вызвать дух маркиза, и вряд ли покойник станет теперь скрывать от нас то место, где он зарыл драгоценности, паче того — на том свете никакие бриллианты уже не нужны...

Именно в те годы было очень модно «столоверчение», или общение с духами посредством спиритизма, и Якоби кивнул:

— Стоит ли удивляться? Английский профессор Оливер Лодж не сомневается, что эфир есть духовная среда, поглощающая души усопших, и вызвать из эфира своего предка возможно...

Спать уже расхотелось, от слов сразу перешли к делу.

Якоби, бывавший на спиритических сеансах, разграфил круг на бумаге, в центре его положили чайное блюдечко, вокруг которого хозяева и гость водрузили свои пальцы, а Юлия Николаевна, обратившись в угол потемнее, спращивала:

— Иван Иваныч, это мы... не пугайтесь, мы плоть от плоти ваши потомки. Ваша светлость, мы ждем... явитесь! Умоляю.

Но морской министр, сохранивший свое имя в анналах истории и в «маркизовой луже» на морских картах, не желал покидать эфир, чтобы заглянуть в Романщину, блюдце даже не колыхнулось от нервической силы пальцев, и тогда Якоби сказал:

 Мы, конечно, жалкие профаны, а здесь требуется очень опытный медиум, ибо маркиз опочил не вчера, а очень давно.

Так и быть — я поговорю с «навозным жуком».

— А это еще что такое? — удивился Паткуль.

Якоби разъяснил, что в высшем свете Петербурга «навозным жуком» принято называть министра земледелия А. С. Ермолова, который изобрел телегу для удобной доставки навоза.

— Алексей Сергеич давненько связан с потусторонними силами, и он не откажет мне, если я попрошу его подсказать мне хорошего медиума. Мне как раз завтра надо побывать в городе...

Утренним поездом сенатор отъехал в Петербург, а через деньдва, усталый, вернулся в Романщину, обмахиваясь шляпой:

— Ну и жарища сегодня. Поздравляю. Успех обеспечен.

— Да что вы? Уверены, Николай Борисыч?

— Вполне. Ермолов сказал, что в Царском Селе есть такой частный фотограф Анисимов, у которого немало поклонников в самом интеллектуальном обществе столицы. Недавно, говорят, ему даже во время сеанса удалось не только вызвать дух графа Бенкендорфа, но он даже заснял его на фотокарточку, а теперь торгует шефом жандармов по трешке за штуку... Вот и адрес этого Анисимова, только прошу вас, Юлия Николаевна, не афишировать свой визит, все должно быть шито-крыто.

— Не сомневайтесь в моей скромности...

Мадам Паткуль даже не позволила мужу провожать ее до станции Луга, но визит в Царское Село слишком затянулся, она не возвращалась день, два, три... пошел пятый день!

— Я начинаю волноваться, — говорил Владимир Паткуль сенатору Якоби. — Знаете, сама обстановка интимеса... гасят свет, голоса... шуршания... как бы чего не вышло!

— Не волнуйтесь, — утешил его Якоби, — Анисимов женат, и ни одна его клиентка еще не писала на него жалоб...

Наконец Юлия Николаевна вернулась, еще от калитки усадьбы она расстегнула жакет, сбросила шляпу и перчатки, решительно устремленная — вперед, вперед, только бы войти в дом.

— Не подходите ко мне! — крикнула она. — И чтобы никаких больше вопросов. Все скажу потом. Только не сейчас...

Женщина стремительно прошла в спальню, одним рывком

опустила на окна плотные шторы, ничком рухнула на постель и мгновенно уснула как убитая.

- Странно, - заметил сенатор Якоби...

В доме все ждали ее пробуждения, Юлия Николаевна проснулась ближе к полуночи и вышла к чайному столу оживленная.

— Ну, вот и все, — заявила она, — а маркиз Иван Иваныч

шлет своим потомкам самый сердечный привет...

— Да не томи душу, — взмолился перед нею Паткуль. — Ответь главное: сообщил ли он, где зарыл фамильные сокровища? Юлия Николаевна обвела всех просветленным взором:

- Да, конечно! Клад уже в наших руках.

— Слава богу, — перекрестился Паткуль. — Хоть недаром ездила, а то ведь я тут с ума сходил! Нет и нет... Право, не знал даже, что и думать... Копать-то, узнала ли, где?

Юлия Николаевна объяснила, почему так долго задержа-

лась.

— Оказывается, это все не так просто. Маркиз ни в какую не поддавался на уговоры Анисимова явиться перед нами, а когда его спросили по поводу клада, он даже бранился, употребляя при этом некоторые... нефранцузские выражения. Наконец, когда я расплакалась, он сжалился и сказал, чтобы я срочно возвращалась в Романщину, он явится мне во сне и все расскажет. Вот я и спешила поскорее уснуть.

- Приснился он тебе?

- Почти сразу. Очень элегантный мужчина.

— Сказал?

— Да, ничего не скрывал. Теперь дайте бумагу и карандаш... На чистом листе бумаги возник загадочный кружочек.

Что это? — хмыкнул сенатор Якоби.

— Дуб.

От этого дуба карандаш вывел длинную прямую линию.

- A это что? - спросил муж.

- Тень.

- Какая тень?

— Тень от дуба ровно в полдень.

— А что же делать далее? — спросил Якоби

— Там, где в полдень кончается тень от дуба, следует отмерить тридцать шагов вперед, затем обратиться лицом к скотному двору и отсчитать еще тридцать шагов... Там и клад!

Вся семья Паткулей, включая детей и прислугу, высыпала

во двор, а гувернантка, чопорная, сказала:

— Все это очень мило, но... но... но...

— Копать безо всяких «но», — отвечали ей.

- Да что вы собираетесь копать, если в Романщине давно не растет ни одного дуба, а скотного двора нет и в помине.
- В самом деле, сказал Якоби, если дуб и существовал при жизни маркиза, то потом его, наверное, спилили.
- В чем дело? сказала гувернантка. Если дуб спилили, значит, после него должен остаться пень.
- Верно! обрадовался Паткуль, и все силы благородного семейства были направлены на отыскание пня...
- Нашла-а-а, вдруг закричала кухарка. Все кинулись к ней, и возле старой веранды, в гуще крапивы, действительно был обнаружен полусгнивший пень.
 - Вот и все, сказал Паткуль и зашагал.
 - Подожди до полудня, остановила его жена.

Стали ждать полудня, а гувернантка, язва такая, сказала:

- Как же вы, господа, собираетесь отсчитывать тридцать шагов от точки окончания тени, если вы не знаете высоту дуба?
 - Опять неудача, огорчился Паткуль.
 - Наконец, где же скотный двор? намекнула гувернантка.
 - В самом деле где был скотный двор?
- Там же, где и дуб, раздраженно отвечала мужу Юлия Николаевна. Чем задавать глупые вопросы, лучше просмотри старинные планы усадьбы и найдешь...

Верно! На старых планах был отмечен хлев, а с их помощью отыскали и осевший в землю фундамент скотного двора.

Стал накрапывать дождик, гувернантка раскрыла зонтик.

— Я вернусь домой, — сказала она, с сарказмом добавив: — Но как можно высчитать длину тени, падающей от дуба, который давно спилен, и остался один только пень.

— Вот... язва, — сказала по ее адресу мадам Паткуль.

С тех самых пор семья Паткулей, в жилах которых перемешалась благородная кровь французских, немецких и русских дворян, покоя уже не ведала, медленно, но верно разоряясь на всякие усовершенствования, а сам хозяин даже взялся за изучение тригонометрии и высшей математики, рисуя всякие чертежи, где гнилой пень играл отправную точку его расчетов.

Владимир Александрович однажды, облачившись в мундир поручика гвардии, поехал в Петербург, чтобы в кругу профессоров императорского университета получить самую точную консультацию — как вычислить длину тени от дуба, если самого дуба нет и в помине, зато остался один гнилой пень?

Обратно из столицы он вернулся уже не один, а привез с собою целую артель землекопов и с ними инженера-геодезиста, который, глянув на фронтон классической усадьбы, сразу же заявил, что он соблюдает диету, и потому его возненавидела кухарка, которой пришлось для этого «пшюта» готовить отдель-

ное блюдо. Затем рабочие, безуспешно перелопатив половину цветущего сада и навалив всюду кучи земли, ушли вечером на станцию, а точнее — в станционный трактир, где учинили драку с лужскими аборигенами, а в Романщине появился пристав полиции, чтобы выяснить — откуда взялись эти работники.
— И кто будет платить за побитую в трактире посуду?

- Кто бил, тот и платит, легкомысленно изрек Паткуль.
 Но рабочие ссылаются на хозяина: кто, говорят, нас нанимал, тот пущай и расплачивается, а трактиршик, осмелюсь заметить, приходится мне кумом, так что...

Так что Владимир Александрович заплатил и за посуду.

Барон Иван фон Нолькен, хорошо знавший семью Паткулей, будучи в эмиграции, вспоминал: «Хотя площадь поиска оказалась слишком значительной, все же Паткуль лично приступил к поискам зарытых маркизом драгоценностей». Скоро к труду землекопов приобщилась и вся его семья. Сыновья, приехавшие на каникулы из Пажеского корпуса, уже не танцевали с соседскими барышнями, а тоже включились в работу.

Так бедные Паткули и копали землю до тех пор, пока в России не случилась революция. После чего они побросали лопаты и отбыли в неизвестном направлении.

Читатель и друг, что ты на это мне скажещь?

БЕСПЛАТНЫЙ МОГИЛЬЩИК

Ох, нелегко бывает раскапывать прошлое... Иной раз даже возникает необъяснимое ощущение, будто люди, жившие прежде нас, сопротивляются моему к ним вниманию, нарочно скрывая от потомков не только дурное, что они оставили в этом мире, но утаивают от нас даже хорошее, похвал достойное.

Для начала раскрываю симпатичный томик Б. Л. Модзалевского, набранный убористым петитом, — «Список членов императорской Академии наук», изданный в 1908 году, на 79-й странице нахожу нужного человека... Вот он! Александр Иванович Лужков, почетный член, библиотекарь и хранитель резных камней в Эрмитаже, избран в сентябре 1789 года, умер...

Когда? Речь пойдет о человеке настолько забытом, что раньше именовали его Иваном или Алексеем Федоровичем, а теперь называют Александром Ивановичем... Кому верить?

Не странен ли этот почетный член академии? Много лет подряд вижу его в рубище, заросшего волосами, как он, поплевав на руки, копает лопатой могилу поглубже — не для себя, бедного, а для тех, что его беднее...

Пожалуй, лучше довериться Модзалевскому, а тогда и дата смерти Лужкова в 1808 году, надо полагать, справедлива.

Но боже, как трудно подступаться к этому человеку!

Известно, как не хотел М. В. Ломоносов отдавать единственную дочь Елену за хитрого грека Алексея Константинова, кото-

рый зачастил в дом ученого, желая стать его зятем. Но Ломоносов умер — и проныра достиг желаемого, получив за невестой немалое приданое. Не это суть, главное то, что Константинов выгодною женитьбою обеспечил себе карьеру — стал библиотекарем императрицы Екатерины...

Вот уж настрадалась она с ним! Сама великая книжница, женщина не терпела лентяя, который запустил ее личную библиотеку, и она не знала, как избавиться от такого горе-библиотекаря. Потемкин тогда был в могуществе своего фавора, и она тишком, огласки лишней не делая, просила его подыскать для Эрмитажа надежного и грамотного человека:

- Сыщи мне такого, чтобы сора из избы не выносил, чтобы языки ведал, грамотного, да чтобы трудов не устрашался.
 - Матушка, а разве пиит Петров негож для дел книжных?
- Годен и мил. Но он с музами каждую ночь якшается да и занят горазд частными поручениями моего кабинета...

Однажды ехали они в Царское или из Царского, кони — как звери, молотили копытами, несли карету, словно в пропасть, Екатерина хваталась за ремни, чтобы с диванов ее не сбросило.

- Отчего так? говорила она. Нигде столь скоро не ездят, как в России, и нигде так не опаздывают, как в России?
 - Дороги-то худы, матушка.
- Ах, дороги! Держи меня, Гриша, крепче, у меня ажно зуб на зуб не попадает... это на рессорах-то, а каково без рессор кататься? Чаю, мне в жизни за всем не поспеть, так при внуках моих или правнуках обретет Россия дороги благопристойные... Кстати, ты о наказе-то моем не забыл ли?

Потемкин ответил, что нужного человека сыскал, прозывается он Лужковым, сам из дворян, а чином невелик — вахмистр лейб-кирасирский, четыре языка ведает, а до книг великий охотник.

- Где ж ты с ним познакомился?
- Да где ж, матушка, на Руси святой хорошие люди знакомятся? Вестимо, только в трактире...

Лужков был ей представлен. Екатерина умела людей очаровывать, и минуты не прошло, как они хохотали, будто друзья старые, вахмистр не отказался от чашки кофе, сваренного самой императрицей, она дала шлепка обезьяне, чтобы по головам не прыгала, она согнала с канапе злющую кошку, дабы присел подле нее Лужков... Вахмистр ей понравился. Екатерина начертала две цифры «750» и «1200», показала их гостю.

— Я небогата, — сказала она. — Устроит ли вас первая сумма жалованья, а вторую я потом обещаю, когда бездельников вссх прогоню, и будете довольны. Мы с вами поладим...

От Константинова она, слава богу, избавилась, а «карманный поэт» Петров не мешал Лужкову наводить порядок в эрмитажной библиотеке, где он расставлял книги не по ранжиру, словно солдат, а старался сортировать их по темам, для чего и каталог составил. Лужков трудился и в Минц-кабинете, где хранились драгоценные камни, древние геммы, камеи, монеты и эстампы. Ключи от Минц-кабинета всегда находились у Лужкова, а Екатерина любой бриллиант отдавала ему без расписки, доверяя вахмистру больше, чем кому-либо.

— Умен Лужков, посему и честен, — говорила она. — Уж на что свой человек Марья Саввишна Перекусихина, и та абрикосы со стола моего под подолом уносит, а Лужков, хоть сажай его в бочку с золотом, все едино — нагишом из бочки той вылезет. К нему и полушка чужая не прилипнет...

Но однажды, пребывая в задумчивой рассеянности, Екатерина взяла да и сунула в карман ключи от библиотеки. И дня не минуло, как Лужков запросил у нее отставки.

— В уме ли ты, Иваныч? Или обидел кто тебя?

— Я, государыня, более не слуга вам, ибо вы ключи в свой карман сунули, выказав этим жестом свою подозрительность. Мне от вас и пенсии не надобно... Прошайте!

Императрица несколько дней ходила за вахмистром, словно неприкаянная, умоляла ключи забрать, клялась и божилась, что по ошибке в карман их спрятала. Наконец даже заплакала.

— Черт такой! — сказала она всхлипнув. — Как будто у меня других дел нету, только с тобой лаяться... Так не прикажешь ли, чтобы я перед тобой, дураком, на коленях стояла?

Кое-как поладили. Заодно уж, пользуясь женской слабостью, Лужков выговорил у Екатерины право расширить библиотеку, освободив для нее лишние комнаты в Эрмитаже, ибо книги уже «задыхались» в теснотище немыслимой, шкафов не хватало.

— А когда, матушка, книги в два ряда стоят, так считай, что второго ряда у тебя нету: надобно, чтобы корешки каждой из книг напоказ являлись, как бы говоря: вот я, не забудьте!..

Между императрицей и библиотекарем возникли отношения, которые я хотел бы назвать «дружескими». Совместно они разбирали старые дворцовые бумаги с резолюциями Петра I, над которыми и смеялись до слез; будучи скуп, царь писал: «Бабам, сколь сладкова не давай, все пожрут, и потому не давать». Екатерина хохотала до упаду, потешаясь решением Петра I отказать фрейлинам в чае и в сахаре: «Оне чаю ишо не знают, про сахир не слыхали, и приучать их к тому не надобно...»

Екатерина поощряла Лужкова в переводе философских и научных статей из «Энциклопедии» Дидро, просила ничего искажать:

— Даже в том случае, ежели что-либо мне и неприятно. Сам

знаешь, Иваныч, что всем бабам на свете не угодишь!

Великий Пушкин писал о ней: «Если царствовать значит знать слабости души человеческой и ими пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ея великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты ея привязывали...» Помнится, что граф Луи Сегюр, французский посол при дворе Екатерины, тоже не переставал удивляться:

«Царствование этой женщины парадоксально! Не смысля ничего в музыке и устраивая в доме Нарышкина «кошачьи концерты», она завела оперу, лучшие музыканты мира съезжаются в Россию, как мусульмане в Мекку. Бестолковая в вопросах живописи, она создала в Эрмитаже лучшую в мире картинную галерею. Наконец, вы посмотрите на нее в церкви, где она молится усерднее своих верноподданных. Вы думаете, она верит в бога? Нисколько. Она даже с богом кокетничает, словно с мужчиной, который когда-нибудь может ей пригодиться...»

Было при Екатерине в России такое «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг», тиражировавшее переводы в триста экземпляров, — над этими переводами трудился целый сонм тогдашней «интеллигенции» (беру это слово в кавычки, ибо слово «интеллигенция» тогда не употреблялось). Для этого, собрания утруждался и наш Лужков, переводивший статью Руссо «О политической экономии, или государотвенном благоучреждении». Екатерина сама и подсказала ему отатью для перевода.

Была она в ту пору крайне любезна с библиотекарем:

— Так и быть, покажу я тебе висячие сады Семирамиды... Пришло время вспомнить добрым словом Александра Минайловича Тургенева (мемуариста и дальнего сородича Ивана Сергеевича). Отлично знавший многие придворные тайны, этот Гургенев писал, что Лужкова императрица «уважала, даже, можно сказать, бо я л а с ь, но нельзя подумать, чтобы она его вобила...».

Странная фраза, верно? Между тем в ней затаилось нечто новещее — весьма опасное для Лужкова...

С шести часов утра Лужков каждый день, как заведенный, мотал в библиотеке Эрмитажа, и с шести же часов утра неизченно бодрствовала императрица, иногда испрашивая у него или иную книгу... Однажды, поставив на место томик Франциа Рабле, которого всегда почитала, женщина подмигнула ему приятельски:

-- Поднимемся, Иваныч, в сады мои ароматные...

Под крышею Зимнего дворца росли прекрасные березы, почти лесные тропинки — с мохом и ягодами — уводили в интимную сень тропических растений, там клекотали клювами попутаи, скакали кролики, резвились нахальные обезьяны, а под защиту бюста Вольтера убегал хвостатый павлин, недовольно крича...

- Присядем, - сказала Екатерина библиотекарю.

Развернула она перевод «О политической экономии» и спросила Лужкова: почему нет у него веры в монархию добрую?

- Единовластие, - был ответ, - закону естественному не соответствует, а при самодержавном правлении где сыскать свободы для вольности мышления, где сыскать защиты от произвола персоны, единовластной и сильной... как вы, к примеру?

Екатерина не привыкла, чтобы ее вот так приводили на бойню и оглушали в лоб — обухом. Она сказала:

— Сами же философы утвердили свой довод о том, что чем обширнее государство, тем более оно склонно к правлению деспотическому.. Смотри, Иваныч, сколь необъятна Русь-матушка, и для просторов ее гомерических пригодна власть только самодержавная, а демократия вредна для нее станется.

. Лужков резал ей правду-матку в глаза, и стали они спорить, но Екатерина, сама великая спорщица, правление обще-

народное отвергала, и на то у нее были свои доводы:

— Да посади-ка Фильку в Иркутск, а Еремея в Саратов, так они там таких дел натворят, что потом и через сотню лет не распутаешь. Дай народным избранникам волю республиканскую, так за дальностью расстояния, от властей подалее, они вмиг все растащат, все пропьют, все разворуют. Лишь одна я, самодержица российская, и способна свой же народ от алчности защитить. А разве ты, Иваныч, и в меня не веришь?

- Верю в добро помыслов ваших, но чужды мне принципы единовластия, кои вы столь талантливо перед Европой утверж-

даете.

— Опасный ты человек. — заключила разговор Екатерина. — Но ты не надейся, что я тебя в Сибирь сошлю или в отставку выгоню... Не-ет, миленький, ты от меня эдак просто не отделаешься. Я тебя нарочно при себе держать стану, чтобы в спорам с тобою моя правота утвердилась... На! — вернула она Лужкову статью зловредную. - Вели в типографию слать, чтобы печаты ли, и возражать не стану: пущай дураки читают...

С тех пор и начались меж ними очень странные отношения, какие бывают между врагами, обязанными уважать один друго го. По-моему, еще никто из историков не задавался вопросом в чем сила правления Екатерины Великой? Отвечу, как я сам этот вопрос понимаю. Сила императрицы покоится на том, что она окружала себя не льстецами, а именно людьми из оппозиции своему царствованию; она не отвергала, а, напротив, привлекала к сотрудничеству тех людей, о которых заведомо знала, что они не любят ее, но в этом-то как раз и заключался большой политический смысл; если ее личный враг умен и способен принести пользу своему государству, то ей надобно не сажать его в крепость, где от него никакой пользы не будет, — нет, наоборот, надобно его награждать, возвышать, возвеличивать, чтобы (под ее же надзором!) он всегда оставался полезным слугою Отечества.

— А то, что он меня не любит, — говорила она, посмеиваясь, — так мне с ним детей не крестить. Пущай даже ненавидит — лишь бы Россия выгоду от его мыслей и деяний имела...

По утрам она очень ласково привечала Лужкова:

— Добрый день, Иваныч, уже работаешь? Молодец ты... Что новенького? Какие книги достал для меня в Германии вездесущий барон Николаи? Что слыхать о продаже библиоте-

ки Дени Дидро?

Оба начинали миролюбиво, но постепенно возбуждались в спорах, переходили на крик; Лужков уже давно получал 1200 рублей в год от щедрот императрицы, но продажным не был и свою правоту доказывал, иногда даже кулаком постукивая на императрицу. Дворцовые служители не раз видели, как Екатерина Великая, красная от возмущения, покидала библиотеку в раздражении:

— С тобой не сговоришься... Упрям, как черт!

— Упрям, да зато прав, — слышался голос Лужкова...

Александр Михайлович Тургенев писал, что Лужков даже не делал попыток отворить двери императрице, он «спокойно опускался в кресло, ворчал сквозь зубы, принимаясь за прерванную ее посещением работу». Каждый божий день у них поторялась одна и та же история — поздороваются, поговорят о том о сем, тихо и мирно, а в конце беседы так разгорячатся по вопросам политики и философии, что только кулаками не машут, только книгами еще не швыряются... Но однажды пришла в библиотеку ласковая, нежная.

— Ну, хватит нам лаяться! — сказала она. — Я вот тут пьесу очинила «Федул и его дети», оцени мое доверие, что тебе

порвому до бенефиса показываю...

Стал Лужков читать «Федула», а императрица, сложив ручна коленях, сидела, как паинька, и только вздыхала пронижно. Лужков дочитал ее сочинение и вернул... м ол ч а.

Недобрый знак. Екатерина похвал от него ожидала:

Ну, что скажешь, Иваныч, нешто я такая бездарная?
 Лужков ее авторского самолюбия не пощадил:

- Да что тут сказать, государыня? Наверное, хорошо...
- «С этим сказанным х о р о ш о лицо Лужкова никак не сообразовывалось, показывая мину насмешливого сожаления». Конечно, императрица поняла цену его «похвалы» и вскочила:
- Философ несчастный! Смейся, смейся, кривляй рожу свою, а вот погоди, как театр откроется да поставят пьесу мою с актерами, так небось мой «Федул» будет от публики аплодирован.

Лужков против этого не возражал:

- В этом нисколько не сомневаюсь, ваше величество. Публика будет даже рыдать от восторга, ибо автор-то ей известен. Кто ж осмелится сомневаться в таланте своей императрицы?
 - Да пропади ты пропадом! И Екатерина удалилась...

В конце января 1793 года женщина рано утром пришла в библиотеку, молча протянула Лужкову пакет из Франции, и он прочел донесение посла о том, что Людовик XVI гильотинирован. Лужков вернул пакет обратно — со словами:

- В этом, что произошло, не усматриваю ничего странного.
- Как? Свершилось ужасное злодеяние, а ты... спокоен? Лужков, понимая волнение женщины, услужливо придвинул для нее кресло, сам уселся напротив и сказал так:
- Ваше императорское величество, чему же мне удивляться, если в с е отрубили голову о д н о м у? Напротив, вызывает большее удивление именно то, что о д и н облечен правом отрубать головы в с е м, и я не перестану дивиться тому, с какой готовностью люди протягивают под топор свои шеи...

Екатерина вскочила, в дверях разразившись бранью:

— Да чтоб ты треснул, проклятьй! Я ему деньги плачу немалые, словно генералу, он в моем же дворце ест-пьет да еще смест радоваться, когда монархам головы рубят... Тьфу ты! Недаром «светлейший» тебя в трактире отыскал. Жаль, что умер «светлейший», а то бы я вас обоих обратно в трактир отправила!

Две недели они после этого случая не разговаривали. Потом встретились и посматривали один на другого косо. Екатерина все-таки не выдержала и улыбнулась. Лужков тихо спросил ес:

- Ваше величество обиделись на меня?
- А ты на меня? спросила она его в ответ.

И их отношения вернулись на прежнюю жизненную колсю. Впрочем, жить ей оставалось совсем немного.

Павел I, вступив на престол после смерти матери, грохоча ботфортами, сразу навестил библиотеку Эрмитажа, поговорил с Лужковым о книгах, потом напрямик спросил библиотека ря — желает ли он и далее служить при его величестве?

. — Если служба моя будет угодна вашему величеству.

— Да ведь все знают, что я горяч... Не боищься?

— Нет. не боюсь я вас — даже «горячего».

Разом взметнулась трость в руке императора:

- Как ты смеешь не бояться своего законного государя?
- Не боюсь, ибо уповаю на справедливость...

Трость опустилась, ударив по голенищу ботфорта:

- Хвалю! Молодец. Хорошо мне ответил... Я достаточно извещен от матери, что ты человек добрый и умный, я всегда уважал тебя, — сказал Павел, — но... Нам с тобой под одною крышею не ужиться. Проси у меня что хочешь. Я ни в чем не откажу тебе, а жить вместе нам будет трудно...

Далее случилось невероятное — такое, чем очень редко может похвастать российская история: Лужков вернул в казну государства более 200 000 рублей — серебром и золотом, которое не было даже оприходовано в конторских журналах; об этой сумме никто и не знал, и он, титулярный советник, мог бы спокойно присвоить эти деньги себе... Павел I был поражен:

- Скажи, Лужков, чего желаешь в награду за сей подвиг?
- Едино лишь отставки себе желаю.

Павел I указал — быть Лужкову в чине коллежского советника.

- Говори, чего бы хотел еще, кроме пенсии?
- Хочу места на кладбище, что на Охте, дабы мне там клочок земли отвели, я жилье себе выстрою.
 - Никак помирать собрадся?
 - Нет, жить буду. Чтобы помочь всем убогим...

Павел отвел для него двести сажен земли кладбищенской, на Охте же был выстроен для Лужкова домик, в нем он приютил двух отставных солдат, у которых никого близких на свете не осталось. Сколько бы ни собралось ниших возле ворот кладбищенских. Лужков ни одного из них не обделял милостыней — из своей пенсии. Сам же он с солдатами кормился в ближайшей простонародной харчевне. Каждый день по три часа он писал, а написанное солдатам не читал и никому не показывал...

Пережил он и Павла I, а в царствование его сына Лужков день за днем — копал на Охтенском кладбище могилы для бедняков, ни гроша за свой труд не требуя. С отрывания могил Лужков начинал божий день — с лопатой в руках его и заканчивал. В этом он усматривал «философию» своей жизни.

Он умер, а записки его бесследно исчезли.

Упомянув о пропаже лужковских мемуаров, А. М. Тургенев міключал: «Потеря эта весьма важна для летописи нашей».

Мне остается только печально вздохнуть, присоединившись к мнению летописца той эпохи, весьма странной для понимания моих современников, живущих в конце XX века.

РЖЕВСКИЙ САМОРОДОК

Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг...

Все четыре слова пишутся с больших букв, дабы никто не сомневался в государственной важности подобного учреждения. По сути дела, эта организация образовалась в те давние времена, когда в России возник насущный вопрос — о замене металлических монет бумажными ассигнациями. Иначе говоря, от механической чеканки следовало перейти на раскрашивание бумаги теми узорами и цифрами, которые бы превращали бумагу в денежную единицу. Нет смысла говорить о важности денежной купюры; она должна быть очень выразительной — и в самом рисунке, и в прочности наложенных на нее красок.

Между тем на Международных промышленных выставках русские ассигнации, выпущенные типографией Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, брали первые призм именно за высокое качество их удивительной раскраски. А теперь я задам коварный вопрос: знает ли наш читатель автора этих красителей? Увы, таких «героев» помнить у нас не принято. Конечно, я очень далек от того, чтобы величать свою мать Россию «родиною слонов», как это бывало при Сталине, но все-таки сочту нужным напомнить читателю о русском мужике Терентии Ивановиче Волоскове.

Ради него мною и пишутся эти вот строки!

Когда-то уездный Ржев считался одним из зажиточных го-

родов России, с его жителей не взимали плату за лечение, и даже лекарства в аптеках отпускались больным бесплатно — столь богато было городское хозяйство. Господи, чего только ржевцы не делали! И топоры ковали, салом, хлебом да медом торговали, и детские игрушки вырезали, и льны пряли, и канаты корабельные вили, и пастилу ягодную варили. По секрету скажу, что издревле было у ржевцев еще одно прибыльное дело, о котором сами они болтать не любили: мастерили в Ржеве дубовые гробы-долбленки, столь удобные для покойников, что за этими гробами из других городов приезжали, впрок запасаясь, чтобы потом до самой смерти о них не думать...

Древний город. Настолько древний, что в потемках его давности заблудились историки, не в силах иногда отличить истину от легенды. Ставленный в незапамятные времена в верховьях кормилицы Волги, Ржев бывал и крепостью, бывал он и княжескою столицей, ржевцы считались народом бойким, чистоплотным, смекалистым, за себя постоять умели. Когда во дни праздничные начинался церковный благовест, ах, как наряжался народ, поспешающий в храмы, и впереди семей выставляли невест на выданье, шествовали они томными павами, иная мнет платочек в руке, а сама и глаз не вскинет, а уж коли заиграл жених на гармони иль балалайке да соизволит она принять от него горстку орешков с изюмом — тут старики разом крестятся, приговаривая:

- Ну, гулять нам по масленой на свадьбе...

А сам-то город весь утопал в старинных садах, на огородах чего-чего только не росло, ажно глаза разбегались от обилия плодов и фруктов. Наверное, потому-то над Ржевом, словно над медоносною пасекой, вечно кружили гудящие рои пчел да порхали над цветочными травами огромные махаоны... Так жили!

Наверное, так (или примерно так) живала и ржевская семья крестьян Волосковых. Не знаю, насколько это справедливо, но существует мнение, будто в русской провинции бывали места, где жители плясать да петь были горазды, в иных краях книги читали, а вот Ржев и его окрестности славились механиками-самоучками. Где надо плотину исправить, где мельницу соорудить, где коляску изобрести — тут ржевские были горазды. Терешка Волосков урожден был в годы, о коих лучше не вспоминать, во времена Анны Иоанновны, но ей, сердешной, видать, рук не хватало, чтобы до Ржева дотянуться, почему здесь и жили как жилось, о высоких материях не помышляя. Отец Волоскова был из числа умельцев. Иной раз такое красивое мыло сварит, что хотелось его с хлебом есть ложкою, но более старался он краски составлять... Без красок-то ведь жизнь убогая!

Отрока своего сек по субботам, как и положено, чтобы в чтении упражнялся, так что не дураком произрастал Терешка — читать умел. К отцу присматриваясь, выспрашивал о значении винтиков и колесиков, которые двигают часовую стрелку. Наконец однажды изловчился, разумом напрягаясь, и сам смастерил часы весом в четыре пуда. Отец послушал, что они не тикают, а будто жвачку жуют какую, и всыпал сыну розог как следует:

— В науку, в науку тебе, скважина ты негодная... Кто ж часики, дурак, из глины делает?

Но, розгу отбросив, отец и сам подивился, что глиняные часы время указывали точно. Давно (и не мною, читатель) примечено, что почти все самоучки-механики на святой Руси начинали свой тяжкий путь с изобретения часов. Это и понятно — время знать всегда надобно, а часы по тем временам были предметом роскоши, стоили дорого, их нашивали при себе лишь вельможи знатные. После часов глиняных Волосков сделал часы из дерева, которые отцу не слишком-то нравились:

— Чего они у тебя стучат, будто кто молотком гвозди заколачивает? Снова пороть аль погодить?..

Терентий подрос и выточил детали новых часов — из металла. Память у него была превосходная. «Так, например, занимаясь святцами, он расположил их по суставам и по чертам (линиям) на руках таким образом, что мог тотчас же отвечать, в каком месяце и в какой день будет праздноваться святой, о котором его спрашивали...» Ржевские священники тому дивились:

— Тебе, малый, цены б не было, ежели бы ты не собак гонял, а шел бы в дела наши, церковные. Сказывают, и ночей не спишь!

Не спал. Вдруг приохотился к звездному миру, к загадкам расположения светил и по ночам вникал в их свечение, для чего изобрел телескоп, прикоснувшись к великим таинствам оптики. Отец розги отбросил — взялся за вожжи:

— Женись, балбес, женись, орясина. А тогда уж и считай по ночам звездочки. Вот и посмотрю, что твоя жена скажет, ежели ты до угра на крыше сидишь.

Перечить отцу парень не осмелился. Справили ему кафтан, наладил он балалайку, напихал полные карманы орехами да конфетами и появился в соседнем селе Куржавине, где уж больно девки хороши были. Скоро привел Терентий в дом молодуху Маланью, стал ей хорошим мужем, а она была ему хорошей женою. Тут и батюшка помирать стал, внушая сыну ради прошания:

— Ты краски... о красках-то помни! Нонеча белила в цене,

а ты о кармине подумай. Меня вот не станет, ты загляни в чан медный, где ране я купорос квасил, тамотко раствор уготовлен...

Умер папенька, царствие ему небесное. Сам-то он, ежели уж судить о нем честно, невелик был химик, варил мыло да краски более по наитию, иногда и сам не ведал что получится, но спасибо, что перед кончиною правильно сына надоумил. Ржевские белила уже тогда были в большом ходу по всей великой Руси, а Терентий Иванович, ставя опыты да с учеными книгами сверяясь, наладил производство лаковых баканов, наконец, однажды получил пунцовый ярчайший кармин — одно загляденье. Даже глазам не верилось — чудесным светом озарилась вся мастерская.

За самоваром, сахарок прикусывая, сказал он жене:

- Ну, Малаша, этакую красотищу негоже во Ржеве от многолюдства припрятывать, нешто заборы кармином красить? Да в Европах-то, чаю, тамошние Рафаэли о таких карминах и не слыхивали... Надобно мне в Питере побывать!
 - А там-то што, в Питере?

— А тамотко Академия художеств, сказывали, дом большущий, в нем сидят дядьки ученые, они без красок, как и мы без воздуха, жить не могут. Где они еще такой кармин видели!

Правда, ходили слухи, будто Волосков яркий пурпур кармина получил случайно; кошка хвостом вильнула, опрокинула раствор не в тот чан, какой нужно, а результат был неожиданным: вот он, кармин, зарделся! Но таким ведь образом — от нелепой случайности! — и многие научные открытия совершились. Собрался Волосков в дорогу, отслужил в церкви молебен, расцеловался со всей ржевской родней, поплакали тут все — единым хором, и покатил Терентий Иванович на рессорах, да по ухабам.

В совете Академии художеств сидели господа очень важные, шевеля пальцами, чтобы любоваться игрой бриллиантов, но, как выяснилось, это сейчас они стали важными, а ранее-то многие из крепостных вышли, смолоду куску хлеба радовались, немало средь живописцев было и людей иностранных, но все художники оказались доброжелательны, кармин вызвал у них восхищение.

- Господа, говорили они, да как запылают багрянцыто на картинах, ежели их таким вот кармином писать... чудо!
- А ежели малиновый бархат одежд старинных? Глядите, сколь глубоки переливы теней получаются... Ну, Терентий Иваныч, за такой кармин спасибо тебе. От белил твоих тоже не откажемся.

Получил Волосков от академиков похвальный лист, стал

он с того времени «поставщиком» красок для русской Академии художеств. Слава о белилах его дошла до Европы, стал он торговать с Парижем, Гамбургом да Женевою, лаковый бакан шел по цене в 75 рублей за един фунт, а кармин был столь превосходен, что с одного фунта давал Волоскову 144 рубля чистой прибыли...

Однажды подсчитал Волосков выручку, посмотрел он, как его Маланья примеряет перед зеркалом новый кокошник, весь осыпанный перлами жемчужными, и закручинился, говоря:

- Сколь ты нишим-то на паперти подавала?
- Да уж не обделила убогих. Каждому по копеечке.

— Теперича, коли разбогатели, надобно нам, Малашенька, обо всех несчастных подумать. Грешно о сирых забывать. А рука дающего николи не оскудеет...

Отныне каждый день в доме Волосковых варили обед для бедных, собиралось ради кормления до полусотни жителей, которых бог недостатком обидел, и, накормленные, расходились они, держа в руках дарственные пятаки да гривны, благословляя доброго человека. Но сам Волосков оставался скромником, ходил в зипуне мужицком, в руке имел посох странника, а за поясом его всегда книга торчала: чуть свободная минута или присядет для отдыха — книга сразу подносилась к глазам. Читал он много, ссужаемый книгами из библиотеки ржевского предводителя дворянства, да и сам, бывая в Москве или в Твери, денег на книги не жалел... Сам тоже писал немало — только не книги, а вел переписку с единоверцами по вопросам религии, и в его письмах бог всегда был един с мирозданием, которое созерцал он ночами через телескоп собственного изобретения. Не уцелел этот самодельный телескоп, но сохранилось свидетельство от современников, что был он семифутовый, как в научных обсерваториях...

Николай Петрович Архаров, губернатор тверской и новгородский, бывая во Ржеве по делам службы, охотно навещал Волоскова и в трубу на звезды тоже не раз любовался.

- Гляди мне, Терентий Иваныч, шутливо грозил он, подмигивая (озорник был этот Архаров), гляди, как бы тебе не скатиться в тот овраг, из коего еще ни един ученый мужик живьем не выбрался.
- Ах, Николай Петрович, гость мой превосходительный! Уж и не пойму, то ли пужаете, то ли приласкать решили меня...
- Да ведь люди-то с этакими головами, какая у тебя, непременно кончают жизнь изобретением перпетуум-мобилс. Слыхал ли?

Волосков от проблем вечного двигателя был еще далек.

Не, — говорил он губернатору, — ежели по совести, так

вернулся я в годы юности, о часах снова думая. Но о таких часах, каких во всем свете еще не бывало и... не будет.

— Какие ж это часы?

- Говорить о них раненько. Думать надо.
- Ну думай. Не надо ль чего от меня?
- Благодарствую. У меня все есть, слава богу. А не хватает только покою, очень уж все интересно мне...

В 1785 году Екатерина Великая, администраторша гениальная, ввела новое городовое положение, и Терентий Иванович Волосков стал первым во Ржеве городским головою, охотно избранный для служения всем народом. Тогда ему пошел уже шестой десяток, забот прибавилось, а золотую цепь головы он надел поверх того же скромного зипуна, а посоха в руке и книги за поясом не оставил. В доме его тоже не было никакой роскоши, но зато царили чистота и опрятность. В это время Волосков проводил наблюдения за солнцем, и столь увлекся, рассматривая огненное светило, что однажды слез с крыши, испутав жену признанием:

— Малаша, родимая, а ведь вижу-то я тебя единым лишь оком — левым, а правое-то уже ничего не видит.

Жена, конечно, в слезы:

- Господи! И все-то у тебя не как у людей. Жить бы нам с белил да кармина, жить бы да радоваться, так впялился ты в солнышко, будто звезд тебе не хватает. Вот и наказал боженька!
- Не вой, отвечал Волосков жене. Мне и без твоих слез дел хватает. Я и с единым оком управлюсь, чтобы ахнула вся Россия, узрев такое, чего мир-то еще не видывал...

Сказал так и вдруг начал смеяться.

- Чего тебя разбирает-то? подивилась жена.
- Да вспомнил детство. Как часы из глины слепил... Ох, и больно же посек меня тятенька!
 - Дождешься. Снова, гляди, как бы не высекли...

Гостям своим Волосков протягивал работящие руки:

— Вот вам длани мои! Гляну на суставы, всмотрюсь в извилины, по коим хироманты судьбы предсказывают, и сразу укажу дни святых, когда и кого поминать надобно, чему смолоду удивлял я мужей церковных... Теперь же, — говорил Терентий Иванович, — мечтаю о создании часов-автомата, который бы мвлял взору нашему весь мир в сочетании со временем проистекающим, и вы, люди добрые, не смейтесь... такое сбудется!

Людям же знающим, а не просто любопытным Волосков практовал о целях своих более подробно:

— Великий математик и астроном Карл Гаусс исчислял те же задачи календарного исчисления, кои входят в понятия эпакта, индикто и вруцелето, что необходимо и в нашем российском обиходе, чтобы, скажем, точно предугадать, в каком году и на какой день выпадет нам отмечать сретение или пасху. Если уж и Гаусс, не чета мне, не гнушался подобными темами, задачами, так и мне, убогому, сам господь бог велел призадуматься. А просто знание времени — это легко, мне же необходима общая картина нашего мироздания!...

Задача, кажется, непосильная! Представьте, читатель, хотя бы великое множество шестеренок. Ведь если одна совершает оборот за одну лишь минуту, то рядом с нею работает шестеренка, которая обернется вокруг своей оси лишь один раз за четыре года, чтобы предсказать год високосный. Часы, над которыми Волосков столь долго трудился, назвать просто часами — язык не повернется, ибо часовой автомат указывал не только годы, числа или время суток, — нет, это был как бы подвижный «месяцеслов», совмещенный с общею картиной небосвода: катилось по кругу золотое солнце, восходила серебряная луна, все двигалось, все вращалось, все были размеренно и точно, как в самой природе...

Повидавшие эти часы величиною в шкаф, наполненный таинственным скрипом и шуршанием деталей, искренно ахали, дивясь, и говорили мастеру: почему бы не украсить их всякими финтифлюшками? На это Волосков отвечал продуманно:

— А на Руси испокон веку так принято: по одежке встречают, по уму провожают. Зачем сдепить мне глаза внешним убранством? Ежели главное не снаружи, а внутри затаилось...

Жалко мне старика. Часы он сделал, но все кончилось тем, что, наохавшись, гости разъехались по своим делам, а вот ученый люд Петербурга даже не полюбопытствовал. Это невнимание к его трудам сказалось на Волоскове, он стал почасту впадать в меланхолию, а часы велел жене завесить плотною шторой:

— А ну их! Разве не прав был мудрейший из царей Соломон, что на старости лет понял: все суета сует и всяческая суета...

А ведь Архаров-то, губернатор бывший, оказался провидцем: Терентий Иванович завершил свою жизнь именно тем, чем обычно заканчивали все механики-самоучки, — последние годы жизни он трудился над загадкою перпетуум-мобиле, но и это дело скоро оставил, ибо уже достаточно утомился при жизни, в которой не нашел признания, и одни лишь краски, полыхавшие огненным пурпуром, малость расцветили печаль его старости.

Предводитель дворянский Карабанов сказал ему:

— Эх, Терентий Иваныч, не умеешь ты жить... Другой бы на твоем месте замотал эти часы в рогожку, повез бы в Петербург Да подарил бы их императору, — глядишь, и академики

бы о тебе доклады писали, и пииты бы в твою честь оды сочиняли, был бы ты на виду, носил бы на груди во такие медали.

— Поздно, — отвечал ему Волосков...

Терентий Иванович скончался в 1806 году. Немало было охотников купить его мудреные часы, но вдова мастера не продавала их ни за какие деньги. Историк В. Попов писал в 1875 году, что, «очевидно, Волосков пал жертвою бюрократического равнодушия и низкого уровня общественного развития». Может, и так, не могу этот вывод оспаривать. А писатель И. Ф. Тюменев, ровно сто лет назад посетивший Ржев, писал, что беспримерные часы Волоскова «ныне хранятся в Тверском музее». Это было напечатано им в 1894 году, но после того как древняя Тверь обернулась для нас областным Калинином, многое в нашей жизни круто переменилось — и никак не к лучшему, потому я не имею уверенности, что уникальные часы сохранились...

Не слишком ли печальный конец, читатель?

Россия очень скоро забыла о Волоскове, лишь его земляки, ржевские горожане, нарекли «Волосковою» ту возвышенность в городе, на которой когда-то стоял дом знаменитого мастера. Зато уцелела память о Терентии Ивановиче в красках.

Сам-то он не оставил прямых потомков, но перед кончиной успел передать секреты своего ремесла внучатому племяннику — Алексею Петровичу, тоже Волоскову, который и продолжил начатое своим дедом, и волосковские краски, до сих пор не померкшие, вспыхивали на картинах наших великих живописцев, их радужные сочетания остались в символической мишуре ассигнаций...

Что добавить еще, читатель? Наверное, это как раз тот слу-

чай, когда добавлять ничего не надо.

ЕСИПОВСКИЙ ТЕАТР

На этот раз я приглашаю своего читателя в... театр.

Только не в московский или петербургский, которые подробно описаны в наших солидных монографиях, — нет, я заманиваю вас в глухомань старой русской провинции, где в конце XVIII столетия насчитывалось около двухсот частных театров с крепостными Анютками и Тимохами, которые по вечерам, подоив коров или наколов дровишек, дружно входили в благородные роли Эвридик и Дидон, Эдипов и Фемистоклов. В конце самых кровавых трагедий публика, естественно, требовала развлечений.

«...Тута наш Эдип горящую паклю голым ртом жевать приметца и при сем ужасном опыте не токмо рта не испортит, в чем всяк любопытный опосля убедитца, в рот ему заглянув, но и грустного вида не выкажет. За сим уважаемые гости с фамилиями (семьями, говоря иначе) почтительнейше просютца к ужыну в конец липовой аллей, туды, где моя аранжирея...» здесь, читатель, я процитировал театральную афишу села Су

рьянино Орловской губернии.

Боже мой, как давно это было, и если уцелело Сурьянино до наших времен, то колхозники вряд ли посещают местный театр, где актеры без боязни жуют горящую паклю, после чего фамильно» гуляют в оранжереях, поспешая к веселому ужину Между прочим, я давно заметил: каждый раз, когда речь заходит о крепостном театре (именно таким он и был в русской

провинции), сразу же вспоминают знаменитую Парашу Жемчугову:

- Вот вам! Крепостная девка, а стала «ея сиятельством»,

продлив род графов Шереметевых до самой революции...

Но случай с Парашей исключительный, недаром же о ней так много написано. Спасибо и Герцену за его «Сороку-воровку», Лескову за «Тупейного художника», князю Кугушеву за его «Корнета Отлетаева», они задолго до нас распахнули пыльные кулисы крепостного театра, расписанные доморощенными Рафаэлями, — те самые кулисы, за которыми скрывались любовь и ненависть, коварство и искренность. История таких дворянских театров имела немало летописцев, но из прискорбно-героической летописи я, читатель, безжалостно вырву для вас только одну старинную страницу...

Слушайте! Я буду рассказывать то, что известно из стародавних воспоминаний, а заодно расскажу о том, что ускользнуло от пристального внимания наших историков-театроведов.

В самый канун прошлого века среди множества частных театров когда-то славился и театр помещика Петра Васильевича Есипова в его селе Юматово, что находилось в сорока верстах от Казани. Место глухое, в стороне от больших дорог, а театр все-таки существовал, хотя владелец его ни титулом, ни чином не блистал — всего-то лишь отставной прапорщик. Кстати, холостяк!

Отыграв летний сезон в Юматово для гостей и заезжих, Есипов на зиму вывозил труппу в Казань, где он выстроил городской театр, постепенно разоряясь на музыкантах и декорациях, отчего денег ему хватало только на освещение сцены, а зал тонул в кромешном мраке, почему публика ездила к Есипову со своими свечками, губернаторша привозила в свою ложу домашнюю лампу. Петр Васильевич допускал в театр не только горожан, но и местных татар, для которых однажды поставил оперу «Магомет». Когда же на сцену вынесли чалму Магомета, среди татар возникло смятение: торопливо скинули с ног своих туфли, попадали ниц для молитвы и, наконец, всей толпой клынули вон из театральной залы, оглашая спящую Казань возгласами: «Алла...»

По словам знаменитого Филиппа Вигеля, этот Есипов был ушиблен» Мельпоменой, и своим же театром, Мельпомене услужая, он от «ушибов» лечился. Вигель сам бывал у него в Юматово — в самый разгар летнего сезона. «Хозяин встречал нас с музыкой и пением... это был добрый и пустой человек, рано остарившийся, который не умел ни в чем себе отказывать, а чувственным наслаждениям он не знал ни меры, ни границ, — поминал Вигель. — Через полчаса мы были уже за ужином...»

Тогда бытовал такой порядок: женщины садились по одну сторону стола, мужчины — по другую. Но каково же было удивление Вигеля, когда он оказался между двумя красавицами, а вся столовая наполнилась нарядными женщинами, которые вели себя чересчур свободно, призывно распевая перед гостями:

Обнимай, сосед, соседа, Поцелуй, сосед, соседку...

Только теперь до Вигеля дошло, что это не окрестные барыни, а крепостные артистки Есипова; хозяйски руководя застольем, они подливали Вигелю пенную чашу. «Не знаю, — писал он в мемуарах, — какое название можно было дать этим отравленным помоям. Это было какое-то дичайшее смешение водок, вин и домашних настоек с примесью, кажется, деревенского пива, и все это было подкрашено отвратительным сандалом...»

Мне все понятно: не хватало денег на освещение театра — не было их и для закупки хорошего вина, и Вигель тогда же отметил, что село Юматово, кажется, было уже последним имением Есипова — все остальные давно проданы или заложены. Но театр процветал! Ушибленный им, Есипов им же и лечился.

Писатели Аксаков, тоже знакомый с труппой Есипова, отличал в ней красавицу Феклушу Аникиеву, к ногам которой казанская публика не раз швыряла кошельки с золотом, а Филипп Вигель, думаю, не мог не заметить и Груню... тихую и красивую Груню Мешкову, которая за господским столом вела себя с почти царственным величием примадонны.

Из глубин века XVIII мы, читатель, уже вторглись в следующее столетие, и здесь, на переломе эпох, сразу же сообщаю, что театр П. В. Есипова просуществовал до 1814 года, и виновато в этом не только оскудение его владельца — в этом повинно и нечто такое, о чем наши ученые еще не имеют определенного представления, не в силах объяснить таинственные явления. Те самые явления, которые наши легковерные пращуры извечно приписывали к серии чудес «загробного мира».

А в наше повествование уже вторгается смелая женщина. Точнее — не только смелая, но отчаянно храбрая. О таких, как она, принято говорить — «сорвиголова»!

С детства нам памятно хрестоматийное: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...» Да, в старое время, как и поныне, немало водилось женщин, которым лучше бы родиться мужчинами. Кажется, они и сами сознавали это, не расставаясь с пистолетами, многие носили мужской костюм (вспомним, наконец, императрицу Елизавету, которая не стыдилась

танцевать с дамами и фрейлинами в гусарских штанах). «Девица-кавалерист» Надежда Дурова или же лихая партизанка Василиса Кожина вошли в отечественную историю, и даже на эскадре адмирала Рожественского, плывущей в пекло Цусимы, обнаружился матрос, при тщательной ревизии оказавшийся девицей. Ох. многое мы позабыли!

Конечно, Александра Федоровна Каховская, урожденная Желтухина, дворянка Казанской губернии, никак не годится для помещения ее имени в учебник истории. Однако, по свидетельству современника, «природа ошибкой создала Каховскую женщиной, наделив ее всеми качествами мужчины. Она была смела и отважна до безумия: для нее совсем не существовало чувство страха. Каховская просто не понимала — как можно чегото бояться!»

Словно в насмешку, судьба одарила ее таким мужем, жизнь с которым напоминала боевые испытания на воинском полигоне. Когда супруги открывали огонь из пистолетов, то все жители деревни спасались за околицей от шальных пуль, кружившихся над ними, словно шмели над медом. Кончилась эта семейная идиллия одним удачным броском кинжала, пронзившим ногу Каховской, после чего она всю жизнь не могла избавиться от хромоты. Подхватив грудного младенца, прижитого ю в краткие перерывы между баталиями, Александра Федоровна вскочила в седло и, выстрелив на прощание в своего прагоценного мужа, крикнула:

- Больше ты меня никогда не увидишь...

Александра Федоровна уже не пыталась найти угещение в браке, всю свою жизнь посвятив воспитанию сына. Как она воспитала его — этого я не знаю. Но мне известно, что юный Каковкий, служивший потом в кирасирах Петербурга, редко промаивался на дуэлях, за что и был посажен в Петропавловскую репость. Александре Федоровне было тогда под сорок лет. Пропышав о беде с сыном, она помчалась в столицу — верхом!

Семьсот пятьдесят верст от Казани при тогдашнем бездороне, да еще в осеннюю слякоть, без провожатых и слуг, Алекмидра Федоровна проскакала одна, и Александр I выпустил ее ния из заточения, говоря приближенным:

А разве можно отказать такой женщине?...

Николай Иванович Мамаев, казанский старожил, с детпри знавший Каховскую, писал в мемуарах, что не только опаспри искали Каховскую, но и сама Каховская как будто сама
прочно выискивала опасности. Лучшим развлечением для нее
престрелка в ночном лесу с разбойниками, она отчаянно
при наперерез взбесившейся тройке лошадей, удерживая

их на самом краю оврага. Но из любых приключений женщина выходила даже без единого синяка, очень довольная испытанным ею риском.

— Если жить, так лучше всего на полном скаку, чтобы ветер свистел в ушах, — говорила она. — Не танцевать же мне... Да и кому я нужна такая? До утра подержат, а утром выгонят!

Каховская была некрасива, волосы ее очень рано поседели, и, будто предвосхищая моду будущих нигилисток, она стригла их очень коротко; при этом была близорука и не расставалась с лорнетом, «рукоятью которому служило кольцо, которое она вздевала на свой указательный палец». Наконец, все в Казанской губернии знали Каховскую как человека удивительно доброй души, она никому и никогда эла не сделала, все ее любили и уважали...

Однажды летом, в истомляющий зноем день, Александра Федоровна собралась навестить своего брата* в его именьице Базяково, что лежало в закамских лесах. Дорога предстояла дальняя. Шестерик лошадей, заранее откормленных овсом, был впряжен в старинную развалюху-карету со слюдяными окошками. Песчаная дорога и несносная жарища очень скоро истомили лошадей, а за лесом уже начиналась гроза, все разом потемнело, зигзагами вспыхивали в отдалении молнии, ветер раскачивал и валил наземь гигантские сосны, пошел дождь, а ямщик забеспокоился.

— Барыня, — сказал он Каховской, — как хошь, гляди сама, экие деревья поперек дороги падают, да и лошадушки из сил выбились. Уж ты будь добра — повели назад поворачивать.

Распахнув дверцу кареты, Каховская огляделась:

— Заворачивай направо в проселок, отселе, кажись, версты три, не более, до есиповского Юматово, а я чаю, что Петр Василич Есипов будет рад меня видеть...

Лошадей завернули («вместе с тем гром и молния, как бы довольные тем, что принудили ее переменить свой путь, начали удаляться»), и вскоре за лесом забрезжили теплые лучинные огни в окошках деревни. Юматовский староста, хорошо знавший Каховскую, встретил ее с поклоном на пороге своей избы, сообщив, что Есипов давно не живет в деревне, а дом господский пустует:

— Все беды начались с того, как сбежала Груня Мешковы, которую барин почитал главным украшением своего театра,

[•] Это мог быть один из братьев А. Ф. Каховской — Петр или Сергей Желтухины, портреты которых помещены в Военной галерее Эрмитажа как прославленных героев войны 1812 года. Братья Желтухины, под стать своей сестре, тоже славились отвагой.

после чего Петр Василич и сам отъехал в Казань на житъе. Не знаю, правда ли, но люди пришлые сказывали, что болеть стал почасту...

Каховская сказала, что ей надобно переночевать:

- Гроза-то прошла, но, может, другая к ночи собирается.

— Милости просим, — радушно отвечал староста. — Но боюсь, что несвычно вам будет в избе нашей. Но мои семья на полатях потеснится, а вашу милость на лавке укладем...

Александра Федоровна удивилась:

- Будто ты, Антипыч, впервой меня видишы! Да я сколько раз у барина твоего гостила так вели отворить дом господский, не обворую же я его хоромы. Опять же и неловко мне, ежели стану детишек твоих в избе беспокоить.
 - Не смею, сударыня, вдруг отвечал ей староста.

Тут Каховская даже обозлилась на него:

- Так тебе же и попадет от барина, ежели Петр Василич проведает, что ты меня в его же дом ночевать не пустил.
- Эх, барыня, не стращай ты меня гневом господским! отвечал Антипыч. И совсем не того я боюсь и но го.
 - Так чего ж ты боишься?

Антиныч путливо огляделся по сторонам, сказал:

- С той поры, как барин отъехал, нечисто там стало.
- Эка беда! отмахнулась Каховская, глянув на проясневшее небо. — Ежели и не прибрано, так мне все равно.
- Я о другом, сударыня, тихо произнес староста. В дому господском даже лакеи жить отказались, потому как уже не раз люди прислужные видали в дому привидение.
- Так на ловца и зверь бежит!. обрадовалась Каховская, даже подпрыгнув от радости, словно шаловливая девочка. Уж сколько баек разных про нечистую силу слыхивала, а вот видеть еще не доводилось... Отворяй дом господский. Не лишай меня, Антипыч, такого великого удовольствия... веди!
- Воля ваша, согласился староста; он зажег фонарь, взял ключи и сказал: — Ну, пойдемте... отворю вам. Только на меня потом не пеняйте, ежели што случится...

Дождь кончился. С листьев падали тяжелые капли.

В природе наступило успокоение.

Двери в господскую домовину с тяжким скрипом отвори-

Изнутри пахнуло нежилой сыростью и запустением.

- Прикажете сразу отвести в опочивальню? спросил станоста.
- Нет, отвечала Каховская, веди прямо туда, где явля-

Юматовский староста, горничная и лакей Есипова, сопровождавшие Каховскую, явно тряслись от ужаса, и Александра Федоровна, заметив их страх, распорядилась:

— Неволить никого не стану. Принесите мне из кареты пистолет, французский роман, который не дочитала в дороге, две подушки, распалите свечу и... можете уходить.

Оставшись одна-одинешенька в пустом, гулком и скрипу-

чем доме, женщина предварительно осмотрелась.

Это была ломберная комната, из которой застекленная веранда выводила в старинный сад, таинственно почерневший к ночи. Каховская с пистолетом в руке обошла и соседние комнаты, ничего подозрительного в них не обнаружив. Затем придвинула «ломберный» столик к дивану, положила возле свечи пистолет и легла, чтобы наслаждаться любовной интригой французского романа.

— Какой ужас! — однажды воскликнула она, дочитав до того места, где герой романа объявил героине, что страсть его иссякла, он полюбил другую...

Конечно, нервы у Каховской немного пошаливали, и на каждый шорох она быстро реагировала взведением курка пистолета.

Но пока все было спокойно, уже начал одолевать сон, время близилось к полуночи, взошла луна... Зевнув, Каховская отложила роман и решила уснуть, но случайный взгляд, брошенный на окна веранды, заставил ее невольно ужаснуться.

- Кто ты? - шепотом спросила она.

При этом вскинула руку, поднося лорнет к глазам.

Сомнений не было — нет, староста ее не обманывал.

В дверном проеме веранды стояла женская фигура, вся в белом, при ярком лунном свете она излучала какое-то небесное сияние. Но тут Каховская заметила, что призрак женщины слабым движением головы как бы призывает ее следовать за собой.

— Хорошо... я иду, — согласилась Каховская.

Она поднялась с дивана, левой рукой взяла шандал со свечой, в правой держала пистолет — и тронулась следом за призраком, невольно покоряясь явственному призыву. В саду ветер сразу задул свечу. Было жутковато во мраке ночного сада, но Каховская шла следом за белой фигурой женщины, которая время от времени мановением руки увлекала ее за собой в глубину садовой аллеи.

Наконец привидение остановилось, словно указывая цель пути, и... тут же исчезло. Александра Федоровна оставила на этом месте шандал с погасшей свечой, вернулась в есиповский дом, легла и сразу очень крепко уснула.

Конечно, юматовские крестьяне уже известились, что отчаянная барыня ночевала в доме Есипова, и, когда Каховская воспрянула ото сна, возле крыльца ее уже поджидал староста.

- Антипыч, повелела ему Каховская, скликай всех юматовских мужиков и баб даже с детишками, пусть и священник с причтом своим ко мне явится немедленно.
 - А что случилось-то, хосподи?
 - Сама не знаю. Но распорядись взять лопаты...

Большая толпа крестьян сопровождала ее вдоль того же пути, который она проделала ночью — следом за привидением. Детвора даже радовалась, мужики поглядывали с опаской, бабы чего-то пригорюнились, а старый попик часто восклицал:

- Молитесь, православные! С нами сила небесная...

Вот и этот шандал, оставленный ночью на земле.

- Копайте здесь, - указала Каховская.

Глубоко копать не пришлось. Людским взорам открылся полуистлевший скелет, козловые башмаки с бронзовыми застежками, нитка бус, обвивавшая ребра, уцелела нетленная русая коса.

— Груня! — раздался вогль из толпы.

Это узнала свою дочь старуха Мешкова — узнала по косе и по бусам, и тут все разом заговорили, что Груня-то Мешкова не бежала от актерской неволи, как не раз утверждал их барин, горюя, а вот же она... вот, вот, перед нами!

Каховская не выдержала — разрыдалась.

— Отец, — сказала она священнику, — вели собрать эти кости да погреби их по христианскому обряду, чтобы Груня более не блуждала по ночам, людей путая, а я... я более не могу!

Отдохнувшие за ночь лошади уже были впряжены в карету, кучер еще раз подтянул упряжь, расправил в руках вожжи.

- Ну, барыня, так в Базяково едем? - спросил он.

— Нет, — отвечала Каховская, кладя слева от себя французский роман, а справа заряженный пистолет. — Мой братец обождет. Разворачивай лошадей обратно... мы едем в Казань!

Казанский дом П. В. Есипова располагался на углу Покровской улицы и Театральной площади (не знаю, как они сейчас называются). Лошади громко всхрапнули у подъезда, но никто из дома не выбежал, встречая, никто даже из окон не выглянул. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, где находились покои Есипова, Каховская — лицом к лицу — столкнулась со священником, который спускался вниз, неся «святые дары».

- Вы к нему? многозначительно вопросил он женщину. — Так поспешите. Уже кончается.
 - Как? обомлела Каховская.
 - А так... на все воля господня.

Александра Федоровна одним махом миновала последние ступени и, отодвинув врача, который не пускал ее далее, заявила:

— Не мешайте мне. Он еще не все сказал.

— Все сказал, все! — разом загалдели домашние лакеи. — Исповедь-то была, все сказал и уже отходит.

— Прочь от дверей... я сама его исповедую!

И, войдя, она двери за собой плотно затворила. Есипов лежал на смертном одре, но, кажется, нисколько не удивился появлению Каховской, вопрос его прозвучал вполне разумно и внятно:

Чему обязан вашим визитом, сударыня?
 Каховская решила не щадить умирающего.

— Петр Василич, — сказала она, — ты сейчас предстанешь перед судией вышним, а потому говори правду... едино лишь правду желаю от тебя слышать. Скажи: ЗАЧЕМ ТЫ УБИЛ ГРУ-НЮ МЕШКОВУ?

Глаза Есипова, уже померкцие, глядевшие чуть ли не с того света, вдруг яростно блеснули, и казалось, вылезут из орбит.

— Кто, кто сказал? Откуда сие стало известно? — захрипел он, силясь подняться с подушек на локтях.

- Мне об этом сказала... о н а.

-- Кто?

- Сама Груня...

Старый театрал рухнул на подушки, и казалось, что умер. Но затем все тело Есипова содрогнулось в рыданиях.

— Я думал унести свой грех в могилу, но ты... вы и Груня...

Ладно! Пусть так. Скажу все... мне уже ничего не страшно!

Есипов вдруг горячо заговорил о своей мучительной страсти к театру, разорившему его, он сознался, что Груня Мешкова, самая талантливая актриса на свете, была его последней усладой, он даже помышлял на старости лет жениться на ней.

— Это был драгоценный перл моей сцены и адамант души моей. Ничего не жалел для нее! — выхрипывал из себя умирающий. — Я сапожки ей добрые справил, я бусами ее одарил, а она...

Навзрыд плачущий Есипов вдруг стал метаться, речь делалась бессвязной, но Каховская все же понимала его. Оказывается, кто-то из лакеев наушничал барину, что Груня неверна ему, собираясь бежать в Москву с одним из крепостных же актеров. В один из вечеров Есипову нашептали, что убедиться в измене он сам может — ночью у нее свидание с любовником в самом конце липовой, аллеи. Есипов не стерпел, что крепостная актриса предпочла ему, дворянину, крепостного же актера, и действительно он в самом конце аллеи застал Груню Мешкову.

— Я так любил ее, я так не хотел этого...

Разве она была не одна? — спросила Каховская.

- Одна, - сознался Есипов.

- Так что же?

- Но я уже не мог слышать никаких ее оправданий. А по-TOM ...

Умирающий замолк с открытыми глазами. Каховская напомнила:

- Так что же потом?

- Потом я своими же руками и закопал ее под клумбой в конце той же аллеи. Вот теперь знаете все. Прощайте...

«Затем с ним началась предсмертная агония. Каховская вскри-

чала людей, и Есипов на ее же руках и скончался...»

А далее что-то непонятное случилось с самой Александрой Федоровной. Всегда энергичная и бодрая женщина, экспансивная в разговорах и поступках, она разом поникла, быстро состарилась, неожиданно ее разбил паралич. Глаза, прежде столь ясные и выразительные, потускнели... Именно такой застал ее Н. И. Мамаев, навещавший Каховскую с матушкой, и рассказ о встрече Каховской с ночным привидением он слыщал из ее же уст.

— Как все странно! — не переставала удивляться Александра Федоровна. — Ехала я к братцу, ни о чем ином не думая, но гроза вынудила меня изменить путь. Порою кажется, само провидение заставило меня ночевать в пустом доме, всеми заброшенном и проклятом, а тень Груни Мешковой выбрала не когонибудь, а именно меня, женщину с мужским характером, которая не побоялась следовать в сад за этой же тенью. Наконец, что-то, для меня так и необъяснимое, увлекло меня прямо к Есипову, которого смерть на миг отпустила из своих объятий, дабы я услышала его откровенную исповедь... Все это вряд ли случайно, — заключила Каховская. — Во всем, что со мною случилось, я вижу какое-то преднамеренное сцепление странных и загалочных обстоятельств...

Прощаясь с Мамаевыми, она тихо заплакала:

— Что ж, отныне очередь за мной. Увижу ль я вас? Одного никак не пойму — чем я провинилась в этой жизни?..

Александра Федоровна долго еще страдала, прикованная к постели, и скончалась только в 1829 году.

На старости лет, пребывая в почетной, но бедной отставке, Николай Иванович Мамаев писал свои мемуары, временами ликуя иль плача от нахлынувших воспоминаний. Касаясь судьбы театрала Есипова и Каховской с тенью крепостной актрисы Груни Мешковой, мемуарист пришел к очень разумному выводу:

«Явление это, по своему свойству выдающееся из ряда обыкновенных и, по-видимому, находящееся в ясном противоречии с общеизвестными законами природы, заслуживает самого серьезного изучения, и, вероятно, при дальнейшем старательном анализе подобных фактов и рядом опытов будет объяснено следующими за нами поколениями, и тогда из области сверхьестественного и чудесного перейдет в сферу научных исследований. В НАСТОЯЩЕЕ ЖЕ ВРЕМЯ ТАКИЕ СЛУЧАИ ОСТА-ЮТСЯ ДЛЯ НАС ПОКА ЧТО ЗАГАДКОЙ...»

Мне думается, что это мнение образованного человека прошлого столетия никак не расходится с авторитетным мнением ученых и философов нашего неспокойного и даже сумбурного времени.

Возле нас — необъяснимое, путающее, волнующее...

ЯРОСЛАВСКИЕ СТРАДАНИЯ

Сейчас уже многое утеряно безвозвратно. Это сколько же надо перепахать архивов, чтобы по крупицам сложить судьбу отставного поручика Семена Самойлова?.. Знаю, что жил в Ярославле, знаю, что был безграмотен, знаю, что состоял при охране необходимых вещей — кнутов для сечения, щипцов для вырывания ноздрей и штемпелей для накладывания знаков на лицах. Мало! Мало я знаю об этом человеке, но, в конце-то концов, не ради него и пишу, а ради того времени, в котором проживал сей лыком шитый, безграмотный поручик...

Еще в начале нашего разрушительного века Ярославль почитался красивейшим из городов русских — ах, какое великолепие храмов, какие дивные служебные здания, а как прекрасны особняки коммерсантов и местной знати! Но если отринуть внимание в глубину века осьмнадцатого, то узрим Ярославль несколько иным, а память сразу подсказывает мысль о гигантском болоте, что еще со времен царя тишайшего кисло в городе под названием Фроловского, и загулявшие ярославцы, сту-

пив в это болото, домой уже никогда не возвращались.

Скотину жители Ярославля не гоняли тогда на окраинный выпас, а просто выпускали на улицах, благо трава там росла в изобилии. Что же касается свиней, так это была забота дворянина Васи Шишкина, который служил по свинячьему надзору: Шишкина все свиньи в городе уважали, оповещая своих друзей об его появлении нестерпимым визгом, издавая который они и

разбегались, довольно хрюкая, если спастись удавалось. Сей мужественный дворянин ярославского происхождения был от начальства приставлен для борьбы со свиньями, чтобы они могил не разрывали, а детей-ползунков загрызть не пытались... Свинья же, она и есть свинья!

В те давние времена, читатель, ярославцы с ума еще не сходили, а кто разума лишался, тех называли «сумасбродными» и заковывали в колодки, словно каторжных, чтобы, на цепи сидючи, они умным людям разговаривать не мешали... Стыдно сказать, но сказать придется: Ярославль медициною избалован не был, а единственный городской врач Гове лечил только семью герцога Бирона, который в Ярославле отбывал ссылку. Кладбищ в городе не хватало, почему и хоронили усопших возле каждой церквушки, которых в Ярославле было великое множество. Трупы же неопознанных жителей выставлялись для публичного обозрения сроком на три дня, дабы все прохожие могли наглядно убедиться, что это кто угодно, только не их родственник, после чего мертвецы поступали к «божевику», который и закапывал их где придется, «дабы от долгого лежания не последовало противной духоты, а от того и воздуха заметное повреждение».

Кстати, о воздухе! Не извещен, что думалось ярославцам о будущем экологии, но о чистоте воздуха поговаривали. Ярославль славился выделкой кож, сурика и белил, а некоторые жители повадились на своих дворах варить колбасу, отчего и благоухало. Опять же и места нужные, не столь отдаленные, куда людей пока еще не ссылают, но куда они своими ногами ходят... Однако, при великом множестве ароматов, от колбасы до сурика, ярославцы митингов не устраивали, в узком семейном кругу рассуждая:

— Наши деды терпели, и нам бог велел терпеть. Ништо! Всяк колбаске рад станется, а дерьмо-то, чай, свое — не чужое...

Только из этих слов, пожалуйста, не делайте вывод, будто ярославцы были людьми смиренными, готовыми все терпеть. Увы! История на своих скрижалях не однажды высекала ярчайшие примеры их буйного характера. Так, во времена Смугные, когда еще Марина Мнишек у них проживала, они всех незваных пришельцев зверски побили. С московской же властью они тоже не в ладах жили. Во времена оны, незаконными поборами чреватые, ярославцы своих воевод, кои не старались им угождение сделать, бросали живьем в чан с кипящей водой и варили до тех пор, пока мясо от костей не отстанет... Теперь вот Бирон у них проживал со своей горбуньей. Дело темное, правды не узнаещь, а все-таки подпалили его во славу божию, чтобы не слишком зазнавался. Это случилось в мае 1760 года, и

сынок герцога Петрушка, сам будущий герцог, в Петербург жаловался, что все несгоревшее «было перебито и раскрадено. Несчастия не случилось бы, если б не полицмейстер — грузин, а он такой бездельник!» Звали этого бездельника князем Давидом Геловани... Уж не предок ли того самого, что любил нам в кино показывать «отца всех народов»?

Если же быть честным до конца, то пожары были ярославцам не в диковинку. Ярославль полыхал почти ежедневно, и тогда гремели церковные колокола, возвещая тревогу, только не думайте, что из депо выезжала бравая пожарная команда во главе с усатым брандмейстером. Нет, такого еще не бывало! Зато отовсюду сбегались любители погреться у чужого огня, готовые задарма упражняться в таскании от реки ведер с водою. Чтобы город горел не столь часто, начальство мудрейше указывало топить печки только дважды в неделю, а пироги испекать в дворовых печах. И однако, невзирая на эти строгости, пожары не унимались, а сами погорельцы потом ходили по городу, рассказывая о своих впечатлениях:

— Да это все Матрена моя виновата! Сходи да сходи, говорит, в баньку да отмойся, ведь на тебе, проклятом, даже рубаха шевелится... Ну, я, дурак, и послушался — пошел. Тока за веник взялся, тута ка-а-ак полыхнет, и пошло, и поехало, тока успевай людей созывать... Счас пойду да оттаскаю Матрену за волосья ее, чтобы впредь мужа свово не учила!

Так было или не так — об этом муза истории, божественная Клио, стыдливо умалчивает, в подробности не вникая. Тем более бродяг всяких в Ярославле всегда полно было, их побаивались; особливо шатучих князь Геловани хватал, подвергая обыску — «не окажется ли при оных (от чего боже нас сохрани!) к пожарному случаю каких-либо сумнительных орудиев». Спичек тогда еще не придумали, но и кресало могло служить ярким доказательством недобрых намерений. О том, что ярославцы, в душе поэты, даже воспевали свои пожары, можно судить по названиям ярославских окрестностей: Горелое, Паленое, Гарь, Опалево, Жары, Отневка, Смольное, Отоньки и так далее...

Пришло, кажется, время поговорить о жидкостях, еще не имевших в ту пору нарядных этикеток и называвшихся «горячительными напитками». Трезвостью ярославцы не грешили, горячили себя офицеры гарнизона, употребляли станочники знаменитой мануфактуры Ивана Затрапезного, исправно по-хмелялись люди посадские и люди мастеровые, до полудня на двух ногах твердо стоящие. Но... но... страшно писать, читателы Вот уж кто действительно умел пить в Ярославле, так это мелкотравчатые чиновники, коих со времен царя Гороха приняло величать «крапивным семенем». Дабы отвратить их от упот-

ребления зелья хотя бы в служебные часы (от семи утра до двух пополудни), столоначальники в канцеляриях отбирали у полчиненных сапоги, шапки и рукавицы, дабы удержать слабых у рабочего места. Но даже в лютейшие морозы, босые и раздетые, они сигали по сугробам до ближайшего заведения. Будучи уличенными в винопитии, они бывали не раз вторгаемы в губернское узилище — «дондеже не отрезвятся и в разум окончательно не придут...». Здесь же, не отходя от кабака, расскажу вам о градации чинов в преобильном мире «крапивного семени». Нет, не титулярные, не коллежские — об этом они и не мечтали! У них карьера строилась по такой лесенке: писчик, копиист, подканцелярист и - наконец-то, слава те, Господи! - канцелярист, а выше сего звания они подняться и не стремились. Был, правда, один небывалый случай, когда — за красивый почерк копииста Ивана Неотелова наместник произвел сразу в канцеляристы. После такого безумного возвышения Неотелов трудиться на благо любезной ему губернии уже не был способен, а все время пил и плакал от радости. Так и не видели больше несчастного в канцелярии, а на вопрос - куда делся Неотелов? — его коллеги даже не пытались скрывать, что он плачет...

Отчего плачет-то? — спранивали их.
Да ведь причин для слез в жизни нашей немало, — уклончиво ответствовали копиисты и писчики. — Мы и сами рыдать готовы, да времени совсем не стало. Эвон сколько писанины нам навалили... до свету не управимся!

Меня спросят: как обстояли дела в рукопашных схватках?

Тут я отвечу, что слово «избил» в документах не указывалось, вместо этого писалось, что бьющий «делал руками некоторые опыты». А как, спросите вы, насчет этого самого? Налеюсь, вы и сами понимаете, о чем я вас спрашиваю...

— Были, — отвечу я вам, положа руку на сердце. Правда, веселых домов для этого не водилось, а веселые девицы — да, существовали. По секрету скажу вам даже большее: некто Иван Четвертухин, человек широких взглядов на жизнь и мрачной ревностью никогда не страдавший, свободно допускал к себе гостей, соблазненных рубенсовскими формами его несравненной Агафыи Тихоновны. Глядя же на то, как широко зажила эта Агафья, поддалась искушению и сноха ее, а потом и кума в непотребство скатилась, почему магистрат Ярославля немедленно вмешался; всех плетьми на площади пересек, дом разломал, а Четвертухину с его Агафьей было указано ехать в деревню и там затанться. Если же учесть, что плетьми тогда передрали даже тех, кто заглядывался на безбожную красу Агафьи, так вы представляете, какой хохот стоял тогда на улицах... Да, удовольствий было немало!

Я бы, читатель, мог и дальше рассказывать о том, как жили и веселились мои добрые ярославцы, но — вот беда! — все арживы Ярославля сгорели в 1768 году.

С этого времени, когда бумаг не стало, а история обрела свое новое прогрессивное течение, я и начинаю свой рассказ о страданиях ярославского поручика Семена Самойлова.

Предупреждаю: ничего особенного с ним не случится, но

он важен для нас — как скромное дитя своего времени...

При пожаре 25 июня 1768 года выгорела почти половина Ярославля, и память об этом дне очень долго хранилась среди жителей, которые, уже дряхлыми старцами, дожив до времен Пушкина и Лермонтова, поучали внуков и правнуков:

- Не шуткуй с огнем, а где вино на столе, там особливо надобно от огня иметь бережение.
 - Дедушка, а откель пожар зачался?
- Вестимо где в кабаке. Были б тамотко трезвые, так рази такое бы полыхание допустили?..

«Первое запаление, — по свидетельству документов, — последовало на питейном дворе ведерной и чарочной продажи». Нет смысла перечислять ущерб, погибло в огне лишь трое посадских, зато город выжтло дотла, не стало даже острога и магистрата, исчез Гостиный двор с его 583 лавками, не стало и «торговых» (то есть платных) бань, в которых мылись горожане, своих бань не имевшие... Вот после пожара и состоялось явление из дыма отставного поручика Семена Самойлова.

Члены магистрата ютились в сиротском суде, обсуждая, как помочь городу в его бедствии, когда поручик предстал перед ними со словами:

— Мне бы снасти от вашей милости выправить.

Вроде бы человек собрался поймать «шекснинску стерлядь золотую», что была воспета Гаврилой Державиным, но далее речь пошла совсем об иных «снастях».

- Беспокою вас не напрасно я, ибо состою хранителем вещей, для государства значительных и драгоценных.
 - А что за вещи-то у тебя? спрашивали.
- Для соблюдения благочиния и порядка очень необходимые, как-то кнуты, щиппы для вырывания ноздрей и железные клейма, коими метить людищек положено...

Битых кнутом, с ноздрями рваными да еще клейменных раскаленным железом людьми не считали — их и звали не людьми, а «шельмами». Перечислив набор своих сокровищ, их хранитель в ранге поручика добавил, плача:

— Во время пожара снасти мои то ли сгорели, то ли украдены, а заплечных дел мастер пропал вместе с ними... При этом выложил бумагу, не им писанную — по причине безграмотности, но им продиктованную, в которой Самойлов просил канцелярию, чтобы «благоволила приказать все оныя снасти искупить».

— На «искупление», — отвечали ему управители славного города Ярославля, — в магистрате денег нет и не будет... Нельзя

ли кнутья твои заменить плетями обычными?

На что и был получен ответ от Самойлова, что русский человек плетей не боится. «Вообще ярославцы, — писал историк, — смотрели на плеть как-то нежно, почти благодушно, считая ее орудием очень легким, каким она и была действительно — по сравнению с кнутом: кнута наши предки страшно боялись!»

Доказав всемогущество кнута в добывании на допросах истины, чтобы тем же кнутом потом и наказывать за ту же самую истину, Самойлов усугубил положение ярким пророчеством:

— Опосля пожара, когда из острога все колодники разбежались, теперь честному люду проезду на дорогах не станется. А у нас, как на грех, ни одного кнута... Узнай об этом разбойнички — то-то они возликуют!

— Да, — согласились члены магистрата, понурив головы, — час от часу не легше, и что тут придумать? Надо бы в Москву

писать... пущай знают, как мы тут мучаемся.

— Чего в Москву? Сразу в Питер, чтобы нам эти снасти выслали. Иначе, ежели наших людишек не пороть да не клеймить, так они совсем распоящутся... Слыхали небось? Намеднись-то даже Кучумова на мосту обчистили, а ведь он уже и не человек, а с медалями ходит.

— Верно, — заговорили все разом за столом магистрата, — господину поручику окажем почтение, чтобы без снастей не

остался... Как не помочь?

Решено было так: ехать Самойлову по уездам провинции — в Кинешму, Романов и Пошехонье, и пусть воеводы тамошние «снастями» поделятся. Кинешма отбоярилась быстро. Самойлову было сказано, что у них всего один кнут, а чтобы ноздри рвать и шельмовать печатями — для этой надобности преступников они в Москву отсылают. В Романове воевода поручика высмеял:

— Спохватились! Да вы нешто и газет питерских не читаете? Ведь уже было писано, что у нас еще в прошлом годе пожар случился... Вот в Пошехонье, может, и сыщется какой-либо

кнут лишний, ибо пошехонские давно не горели!

Но ехать в эти мрачные края Самойлов боялся. Неудивительно — и любой испугался бы, ибо Пошехонье императрица Елизавета отдала тем солдатам, что возводили ее величество на престол; получив звание «лейб-кампании», эти вчерашние сол-

даты вдруг стали дворянами, обзавелись гербами и поместьями, тираня своих мужиков хуже разбойников. И сами они — по рассказам — от разбойников ничем не отличались.

Вот и сам пошехонский воевода.

— Зачем пожаловал? — зычно вопросил он поручика. Накануне, отъезжая в Пошехонье, тот отслужил в церкви молебен «за здравие», чтобы господь бог помог ему живым вернуться, и отвечал он воеводе с великой робостью:

- Мне бы кнута хорошего...
- Так зачем дело стало? радостно воскликнул воевода, и на свист его разом вбежали добры молодцы, все ростом под потолок, кровь с молоком и пивом. — Гляди какие! — похвастал воевода. — Сорок восемь эфтаких нарожал я от баб разных, они вмиг разложат тебя и всыпят... Ха-ха-ха!
 - Го-го-го, заржали сыновья-пошехонцы.

Тут наш бедный поручик от страха самую малость в штаны согрешил, говоря, что его сечь нельзя, потому как он человек казенный, при чинах и жалованье казенном.

- И бумага у меня казенная, в коей все писано...

Узнав же, что Ярославль униженно просит Пошехонье поделиться «снастями», воевода обнял Самойлова и даже расцеловал:

— Нешто ж мы, пошехонцы, звери какие! Нужду вашу приемлем душевно, снабдим инструментом добрым... Что там один кнут! Мы люди щедрые. Бери пять, чтобы не все измочалились...

Дело оставалось за малым — сыскать заплечных дел мастера, но его-то как раз и не было. Чины магистратские обещали Самойлову жалованье повысить, чтобы сам кнутобойничал.

— Того быть не может, — оскорбился поручик, — чтобы я. дворянин, мужиков да баб заголял, стегаючи...

Между тем время шло, а народ ярославский, ощутив слабость властей, совсем расшалился. Если кого и схватят да посадят (за неимением острога) в баньку, так посаженный за одну ноченьку баньку ту расшатает, бревна выбьет - и побежал. родимый... Прослышал Самойлов, что доживает на покое старый мастер заплечных дел Федька Аристов, но при свидании с поручиком палач сказал, что к делу давно не годен, «весьма тяжко болен и, по старости лет, совсем одряхлел, худо глазами видит, а из дома и выдти не может...».

Чтобы народ застращать как следует, было ярославцам при барабанном бое объявлено, что отныне станут ссылать не в Нерчинск, а — страшно вымолвить! — прямо в пекло Оренбурга, где, как сказывают люди, там бывавшие, кто вечером по нужде в огород выйдет, тут ему сразу — аркан на шею, и потащили в Бухару или Хиву, чтобы басурманское обрезание сделать.

Охти мне тошно! — восклицали ярославские бабы.

— Охти мне тошно: — восклицали ярославские одоы. — Лучше уж в Нерчинск, — вздыхали мужики... Магистрат как можно жалобнее отписывал в Москву, что Ярославская провинция взывает к первопрестольной: если сыщется какой сверхштатный палач, то чтобы не скупились и прислали на выручку, ибо у нас в Ярославле колодники сидят на цепях, ожидая наказания — истомились, сердешные, кнуга ожидаючи, а кормить их накладно... Долго отмалчивалась Москва-матушка. «Уведомление наконец было получено, - сообщал историк, - заштатного палача у них нет, а штатного отпустить в Ярославль никак не могут — самим надобен... Тем временем колодники на цепях недолго сидели, выдернули из стен крепежные кольца и бежали вместе с цепями... Что тут делать? Опять застучали на площадях и базарах барабаны, сзывая народ ярославский для слушания слов соблазнительных:

- Кто из посадских или даже купеческого звания возьмется быть заплечных дел мастером, за того подати платить магистрат от себя обяжется, а мастер станет получать жалованые доброе...

Нет, не польстились ярославцы на такие приманки, хотя податей на них «нависло» немало, и барабаны умолкли. Долго потом на столбах и на папертях церковных болтались такие пламенные призывы к ярославцам:

«ВО ВСЕНАРОДНОЕ ИЗВЕСТИЕ

Не пожелает ли кто из вольных людей в заплечные мастера и быть в штате при Ярославской провинциальной канцелярии на казенном жалованье? И если же кто имеет желание, тот бы явился в канцелярии в самой скорости».

Возле таких объявлений толпился народ — веселый:

- Ишь-то, додумались! Сами дурни и дураков ищут.
- Верно, Егорушка, золотые слова твои.
- Нешто же кто из нас в убивцы пойдет?
- Пущай сами с кнутьями играются...

И кочевряжился пьяный нищий, тряся пустой торбою:

— Ежели меня драть — пожалуйста! А чтобы я кого пальцем тронул — ни-ни, тому не бывать. Лучше по миру ходить...

. Ото всех этих огорчений стал Семен Самойлов прихварывать и к смерти неминучей готовиться. Он бы, наверное, и воскрес для продолжения своего общеполезного жития, но тут воевода из Пошехонья, одаривший его иудиным поцелуем, вдруг прислал злодейский счет за подаренные пять кнутов и щипцы с клеймами, оценив эти клещи в 1 руб. 20 копеек, а за каждый кнут требовал по 20 копеек.

Тут поручик заторопился в отставку.

«РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ...»

Конечно, гетеры давнего мира, как и японские гейши, имеют право на то, чтобы занять подобающее место в истории человеческих отношений; женщины подобного рода пленяли не только пластикой соблазнительных танцев, но славились и большим умом, способные вести беседу на любую тему. Совсем иное дело — уличные девки, от которых никто не ждал знания философии Платона или прозрачных стихов об увядающих в садах хризантемах, поэтому я думаю: может ли обычная шлюха внести свой богатый вклад в историю общества? Тут я сомневаюсь. Но, продолжая сомневаться, я все-таки полагаю, что страницы проституции не следует перелистывать с брезгливой поспешностью. Задержим свое внимание хотя бы на одной из картин нашего прошлого, дабы высветить карьеру женщины, имевшей самую «древнюю» профессию мира...

Добавлю. Человечество издревле пыталось разрешить сложную проолему: как отличить порядочную женщину от продажной, тем более что все женщины носят одинаковые одежды, а на лбу у них не написано — кто она такая? Когда-то проституток жставляли носить золотой аксельбант над левой грудыю, как бы почно указывая — ее сердце принадлежит всем. Потом в войсках испанского герцога Альбы, который любил вешать солдат, полюбный же аксельбант — в виде веревочной петли — носили его починенные, выражая этим свое презрение к смерти через поминение. А в жуткий период Тридцатилетней войны адъютанты

Валленштейна носили аксельбанты у левого плеча, как и проститутки, но вкладывали в него совсем иной смысл: мое сердце

принадлежит только моему полководцу.

Конечно, все это давно позабытое. А наша героиня никогда аксельбантов не нашивала. Зато она столь яростно вцепилась в аксельбанты одного известного придурка, почему и заняла соответствующее место в российской истории. Приступим!

Все началось с того, что, перебирая однажды остроты князя А. С. Менщикова, я встретил такое его выражение: «Люблю графа Адлерберга, только мне его мина не нравится!» Если под «миной» подразумевать лицо человека, то соль меншиковского остроумия пропадает. Но Меншиков имел в виду его фаворитку М и н у Буркову, и я с удивлением обнаружил, что герценовский «Колокол» часто вызванивал ее имя.

Впрочем, эту женщину современники награждали разными именами: Вильгельмина или Эмилия, Карловна или Ивановна по отчеству, а знаменитый Бисмарк, тогдашний посол в Петербурге, докладывал о ней в Берлин, даже величая ее на прус-

ский лад — «фон Бургтоф»... Кто же она такая?

История самая банальная. Жил да был в Москве честный труженик из немцев — некий столяр Иоганн (или Карл) Гут (или Гуде, как пишут иные). Были у него три дочери — Мина, Юлия и Александра. Бедный работяга помышлял устроить счастье, но у сестриц были свои планы, далекие от отцовских. Повзрослев, они сообразили, что их цветущая внешность — это такой ходовой товар, на который всегда найдется покупатель, и они смолоду готовились торговать своими прелестями. Были тридцатые годы прошлого столетия — время диктатуры Николая I, и тогда в Москве главной бандершей числилась Мария Бредау, а в Петербурге «живым товаром» заведовала Анна Михайловна Гейдер.

Александра Гут была старшей, и она первая из сестер сделала карьеру на этом поприще: в нее влюбился гвардейский полковник В. И. Родзянко, который и увез «сокровище» в свое полтавское имение. Но, прощаясь с сестрами, Александра Гут

напутствовала их:

— Бойтесь попасть в кабалу Марии Бредау, лучше уж сразу поезжайте в столицу. А теперь простимся! Уж я своего добьюсь, уведу под венец своего полковника и стану помещицей...

В 1834 году Мина и Юлия решили ехать на берега Невы, чтобы искать свое «счастье». Железной дороги тогда еще не было, между Москвой и Петербургом сновали частные и казенные дилижансы. Попутчиком девиц оказался некий Михаил Семенович Морголи, наживший немалое состояние от винных от»

купов на юге России. Приглядевшись к девицам и догадавшись, ради чего они едут, он рассудил трезво и дельно:

- Я согласен содержать не одну из вас, а сразу двух, и про-

шу согласиться на мои условия, ибо не прогадаете...

Сестры согласились. Морголи снял для них в Петербурге скромную квартирку на углу Большой Подьяческой, содержал их очень скромно, но сестры были вполне довольны своей судьбой, говоря меж собой примерно в таком духе:

— О, майн готт! Сыты, одеты, дрова есть, дворник наколет и сам принесет... чего еще желать нам?

Были они в ту пору почти бедными, платья носили самые скромнейшие, а внешностью никак не выделялись, похожие на захудалых мещаночек или на дочерей затрушенных чиновников — без приданого. Целый год продолжалось мирное сожительство сестер с богатым, но скуповатым откупщиком, который сестриц не баловал. Но однажды Морголи явился не один, а привел с собой лысого господина с разноцветными глазами (один был серый, другой — голубой).

— Рекомендую вам Абрама Григорьевича Юровского, — сказал Морголи. — К сожалению, мои пташечки, дела отзывают меня в Одессу, а вас я оставляю на попечение своего друга...

Юровскому было уже за пятьдесят, и сделка была оформлена как надо, нисколько не возмутив Мину с Юлией, смущенных не цинизмом сделки, а лишь разноцветными глазами своего нового покровителя. Юровский нажил себе состояние тоже на откупах, торгуя вином сразу в нескольких уездах Малороссии, и он, человек уже семейный, оказался гораздо щедрее своего предшественника. Под его личной опекой сестры приоделись получше, стали нанимать извозчика, катаясь по городу, но вот подачек Абрама Григорьевича не поделили.

Начались меж ними скандалы, весьма далекие от вопросов ревности, зато в перебранках сестер часто поминались рубли, полтинники и червонцы. Юровский рассудил здраво:

— Я человек семейный, уже в годах, внуков имею, я к вам кожу не затем, чтобы мирить... Мне вас двоих и не надобно! Вот и решайте сами, кто останется на Подьяческой, а кому... марш на улицу!

Победила Юлия, оставшаяся на хлебах Юровского, а бедная Мина, связав пожитки в узел, оказалась на улице. Обращаться к услугам Анны Михайловны Гейдер она боялась, рассчитывая сыскать себе нового покровителя. Но где найдешь его, если столица переполнена шикарными этуалями, разъезжающими на собственных рысаках под бархатными попонами... Дотащила она свой узел до кварталов Песков — это был район на отшибе столицы, где проживали скудные мещане, ремесленники и торга-

ши всякой мелочью, едва сводящие концы с концами. У солдатской вдовы сняла комнатенку и стала глазеть в окно на редких

прохожих. Авось кто-нибудь из них и подмигнет ей?..

Так она проживала в лютой тоске и одиночестве, озлобленная на сестру, до тех самых пор, пока Пески не объял грандиозный пожар. Императоры в ту пору не ленились выезжать на пожары, дабы лично указывать способы их тушения. Николай I прискакал на Пески вместе со своим генерал-адьютантом — графом Владимиром Федоровичем Адлербергом. Пески гореди страшно, огонь почти сразу объял захламленные жилища бедняков, лошадь под императором нервно переступала копытами среди узлов всякого жалкого барахла, ветоши, самоваров и горок посуды... Николай I вдруг заметил, как из горящего дома выбежала босая девица в одной сорочке и приникла к фонарному столбу, плача. Император указал Адлербергу:

— Несчастная. Укрыть. Одеть. Накормить. Обеспечить.

Слово сказано — к исполнению. Адлерберг скинул с себя шинель и накрыл ею плечи девицы, рыдающей от страха, ободрил ее. Полицмейстер Кокошкин был тут как тут:

- Куда, граф, прикажете отвезти несчастную?

- Вези ко мне домой, а там разберемся...

Коротко об этом Адлерберге: интимный приятель императора, он служил начальником почтового департамента, при нем впервые в России на конвертах появились почтовые марки; в чине генерала от инфантерии Адлерберг позже стал министром императорского двора, заведуя им и в царствование Александра II; женат был на Марии Васильевне Нелидовой... О чем думала эта Мария Васильевна, когда полиция доставила ей на дом «погорелую» нищенку, — этого я не знаю. Но думаю, что без семейного скандала не обощлось, ибо граф Адлерберг вскоре нанял для Миночки особняк со всей обстановкой, а в дверях поставил сердитого швейцара...

М. С. Морголи как-то посетил столицу по своим делам, не отказав себе в удовольствии навестить квартирку сестриц на Подьяческой улице. Юлия встретила его безо всякой радости.

— А где же Миночка? — спросил у нее Морголи.

— Чтоб ее черти съели! — отвечала девица с досадой. — Те-

перь ее за хвост не поймаешь — высоко залетела...

Михаил Семенович все-таки отыскал Мину в особняке, где швейцар в ливрее, украшенной золотыми брандебурами, величаво задержал его в дверях, внутрь дома не пропуская:

— Как прикажете доложить барыне?

— Доложи, братец, что ее старый друг Морголи, ничего от нее не желая, хотел бы только поздравить ее с успехом.

- Госпожа велела сказать, что незнакомых людей она не

принимает и просит более ее не беспокоить...

Вот те на! Это заело Морголи, и он, сунув в лапу швейцару полтинник, стал убеждать его, чтобы снова поднялся к своей госпоже, ибо нехорошо забывать старых друзей, тем более... Но тут откуда-то с антресолей раздался голос самой Мины:

- Степа, что ты там размусоливаешь? Кулак есть, так и

гони этого проходимца — в три шеи!

Конечно, светский Петербург давно привык ко всяким «шалостям» самого императора, потихоньку сплетничал об амурных делишках его придворных. Дошли слухи до Николая I, что та бедная девица с Песков слишком хорошо устроилась в своей жизни, и он сказал Адлербергу, чтобы связь с нею он «узаконил»:

— Эту чухонскую Аспазию, дружок, надо выдать замуж, и чтобы я больше не слышал о том, как ты ее балуешь...

Слово сказано — к исполнению, и стал граф Адлерберг подыскивать «жениха» для своей ненаглядной Миночки, чтобы она, душечка, осталась довольна — не женихом, конечно, а непременно им, его сиятельством. Жених требовался гадкий, противный, отвратительный, нищий, задрипанный, хорошо бы еще и сопливый... Такого найти всегда легче! В почтовом департаменте давно прозябал жалкий и лысенький старикашка, уже не чаявший — как ему дотянуть до пенсии, чтобы в отставке чайком баловаться да завести в утеху себе канареечку.

Был он срочно изъят из канцелярии и предстал перед грозные очи графа — напудренного, нафабренного, нарумяненного. — Назовись, — потребовал он, — ибо всех насекомых я в

- Назовись, потребовал он, ибо всех насекомых я в своем департаменте помнить не могу... да и не собираюсь помнить.
- Бурков Тимофей Иваныч... честь имею! А состою в чине коллежском при разбирании депеш по алфавиту адресатов.

Словно выбравшись из гоголевской «Шинели», Бурков взирал на Адлерберга преданно, помаргивая слезившимися глазками.

- Коллежский, а ты в статские не желаешь ли выползти?
 Одинокая слеза сорвалась с дряблой щеки Буркова:
- Шутить изволите, ваше сиятельство? Да кто ж меня, при алфавите состоящего, в статские советники произведет?
- Я произведу, отвечал Адлерберг, но с одним непременным условием. Служить в новом чине ты, братец, в Сибирь отправишься, но прежде обязан жениться...
- Свят-свят-свят! перекрестился Тимофей Иванович. Да какая ж дура на меня польстится? Эвон сколько здоровен-

ных бугаев по коридорам департамента так и сигают, так и мечутся вверх-вниз по лестницам, так и скачут... только не ржут еще! Почему ж вы меня в женихи выбрали? Да и хороша ли невестушка?

— Во... такая! — изобразил Адлерберг нечто эфемерное в воздухе, словно обрисовывая соблазнительные женские контуры. — А коли откажешься от такой прелести, — заключил граф, — так я тебя, сморчок, задвину в чин титулярный... навоешься!

До самой свадьбы Бурков даже не видел своей невесты, а когда рассмотрел ее в церкви, стоя под венцом с нею рядышком, тут ему захотелось и большего — не только чина. Воспылал он надеждой показать прыть молодецкую, только бы поскорей церемония кончилась. За свадебным столом, устроенным за счет Владимира Федоровича, чиновники почтового департамента орали «горько», Бурков целовал свою избранную через воздушную кисею флера, готовясь свершить супружеский подвиг...

Но тут граф Адлерберг спросил своего адъютанта:

- Любезный, а что карета? Подана ли?

— Так точно. Лошади заранее овсом откормлены.

— Тогда пора уж нам кончать эту свадьбу...

Тут адъютант выманил жениха на улицу и затолкал его в карету. Бурков начал рыпаться, говоря, что главной обязанности по отношению к невесте еще не исполнил, на что адъютант его сиятельства мудрейше ответствовал:

- Ты, дурак, чин получил?

— Премного благодарны... не ожидал!

— А если в чин попал, так какого еще рожна тебе надобно?

— Должен же я, как христианин, перед супругою долг исполнить. Ведь даже не облобызал нареченную.

Меня облобызай — и катись!

- Куда, господи?

- Как и договорились... в Сибирь!

И покатил несчастный управлять таежной почтой, выписывая газеты волкам и медведям, а Мина Ивановна, получившая от него фамилию, осталась процветать на берегах Невы в немалом чине статской советницы. Вдруг нагрянула в Петербург ее сестра Александра Ивановна Родзянко, сообщившая, что полковник умер, оставив ей в наследство 230 крепостных душ:

— Теперь бы мне жить да радоваться! Уже и кавалера нашла из Одессы, он меня всячески ублажает, так родственники эти проклятые отсуживают у меня имение, доказывая в Сенате,

что брак мой с Родзянко был фиктивный.

— Надеюсь, таким он и был? — рассмеялась Мина.

— Конечно, — не стала скрывать сестра, — без взятки священнику не обошлось, чтобы он повенчал нас тайком, а я тогда целую неделю поила своего полковника, чтобы, представ перед святым аналоем, он ничего не соображал... Помоги, Миночка!

Через графа Адлерберга было воздействовано на решение Сената, и новая помещица, став законной дворянкой, вступила в свои права, а священник был отдан в солдаты. Но в скором времени Владимир Федорович стал замечать, что его Миночка чем-то недовольна, не поет, бедная, не веселится.

- Душечка, что с тобой? Не таись. Скажи...

Долго не отвечала Мина, заставляя мучиться Адлерберга в догадках о причине ее недовольства, и наконец однажды она капризно надула губки и каблучком притопнула:

— Не хочу быть только статской советницей, а хочу быть действительной статской советницей, чтобы муж обрел чин

генеральский, превосходительный...

Маленькое объяснение: по Табели о рангах, заведенной на Руси еще со времен Петра I, гражданский чин действительного статского советника соответствовал военным чинам генералмайора или же контр-адмирала. Тут бы графу Адлербергу ногою топнуть да оттаскать Миночку за волосы по коврам и паркетам, чтобы она, стерва, не больно-то зарывалась, но... ах, годы, годы, годы! Где ж ему, стареющему бонвивану, сыскать такое небесное создание?

— Как ты скажешь, так и будет! — бодро отвечал старик. — Я переведу Тимошку Буркова в какой-либо городишко, чтобы повысить его... прости, т е б я, в чине! Только не гляди такой букой! Одари поцелуем любящего тебя Вольдемара...

Поцелуй состоялся. Но возникло крохотное препятствие. Однажды граф Адлерберг навестил Мину — мрачный.

- Опять ты поскандалил со своей женой?

— Хуже! — отвечал министр императорского двора. — Оказывается, этот муженек твой, Тимофей Иваныч, давно изволил скончаться, и ты будь любезна впредь писаться в довою лишь статского советника...

Вот когда началась буря в стакане воды!

— Не любишь ты меня... разлюбил, — билась в истерике Мина Ивановна, вдруг овдовевшая, — не желаешь меня, бедную, осчастливить... О-о, зачем я, глупая, отдала тебе самое драгоценное, что свято сберегала в годы девические? Что мне с того, если этот Бурков окочурился? Неужто ты не можешь произвести покойника в следующий чин... хотя бы за выслугу лет!

Адлерберг думал, думал, думал... потом сказал:

— За выслугу лет повышать покойника в чине как-то не-

удобно. Попробуем его, дохленького, повысить за отличие по службе. А потом я объявлю в департаменте о преждевременной кончине его в богоухании святости...

Так и сделал! Стала теперь Мина Ивановна сиживать в ложе театра, как важная генеральша, сверху вниз поглядывая в ряды партерные (хорошо бы плюнуть туда!), а лакеи, подавая ей роскошную шубу, величали ее «ваше превосходительство». Дальше — больше. До того вскорости обнаглела, что всякий стыд потеряла.

— Графиня Адлерберг, — представлялась она. — Впрочем, сиятельством можете не титуловать меня, называйте просто — превосходительством! Терпеть не могу церемониться...

Князь Петр Долгорукий, хорошо знавший «тайны мадридского двора», сообщал читателям, что Адлерберг имел от казны более 70 000 рублей серебром в год, владел казенными квартирами, на дровишки не тратился, подолгу жил в царских дворцах, катался в придворных экипажах, а вот жена его, благодаря заботам Мины Ивановны, видела от своего мужа только... кукиш: «Почти все деньги идут на Мину Ивановну. Зато г-жа Буркова и живет великолепно: мебель у ней из дворца, экипажи и лошади с придворной конюшни, цветы из придворных оранжерей, придворные повара готовят ей стол из придворных запасов...»

Конечно, Герцен должен был вмешаться! Иначе к чему же звенел «Колокол»?..

. Герцен называл Мину чудовищной клоакой, но обложенной бриллиантами, звон «Колокола» оповещал россиян, что от настроения «чухонской Аспазии» зависит получение даже ангажементов в итальянскую оперу; через Мину можно раздобыть звание не только камер-юнкера, но и камергера. Герцен ненавидел семью Адлербергов, полагая, что министр двора должен бы получать не тысячи, а лишь два рубля — как ночной сторож, ибо большего и не заслуживает. Не забыл Герцен и той истории с покупкой дома на Гороховой улице, который так понравился фаворитке. Для этого Адлерберг сократил жалованые своим чиновникам. Мина открыла салон на Гороховой улице, а графа Владимира Федоровича прозвали «Сократом Федоровичем» за сокращение им чиновного жалованья. Летом 1862 года Герцен сообщал «приятное известие о прибытии в Висбаден графини Мины Ивановны, где она проигрывает большие деньги и платит золотом русского чекана. Откуда у нея такая куча русского золота? На паспорт (для выезда за границу) теперь не выдают даже 60 империалов. Как вы думаете, господа, откуда?..» Вопрос был задан Герценом неспроста, зато ответ

был простой: чтобы услужить своей Миночке, граф Адлерберг уже запустил лапу в казенные золотоприиски на горном Алтае...

Мина Ивановна рано стала болеть: часто выезжала в Германию на лечебные воды, и, будучи за границей, она откровенно величала себя графиней Адлерберг, а белье ее было обшито метками с графскими вензелями. Не пойму — почему Мина каталась в Висбаден или Шлагенбад со множеством тяжеленных жаровных утюгов, какими пользовались тогда в деревнях наши прабабушки, раскаляя их печными углями?.. Русские люди званием попроще, встречаясь с Бурковой на европейских курортах, с нею никак не сближались, и общество Мины состояло из немцев и французов.

Зато вот петербургская знать низкоприклонствовать перед нею никогда не гнушалась. Мина через подставных лиц открыла на Невском свой магазин «Парижские моды», и, чтобы угодить ей, следовало прежде купить перчатки, заплатив за них от ста до пятисот рублей. После этого можно было попасть в список гостей на ее «четверги». Конечно, с открытием салона на Гороховой улице Мина Буркова не стала мадам Рекамье, а салон ее более напоминал явочную квартиру заговорщиков, кому жаждалось чинов, орденов и званий. В этих случаях Мина действовала через графа Адлерберга, чересчур смело вторгаясь в придворную, театральную и финансовую жизнь столицы.

Бисмарк тогда был прусским послом в Петербурге.

— Эта дама, — говорил он своим подчиненным, — вынуждает меня пронаблюдать за нею. Мне, конечно, бывать на Гороховой неудобно, но прошу атташе посольства не пренебрегать ее «четвергами». Я должен быть в курсе дел этой дамы...

«Только внешняя политика России, — докладывал он в Берлин, — настолько монополизирована князем Горчаковым, что осталась недоступна влияниям Мины Адлерберг. Будь это иначе, и я был бы поставлен в необходимость испрашивать у Берлина ассигнование мне значительных секретных фондов...» Как раз тогда на грани разорения оказался банкирский дом Брандта, но... банкротство почему-то не состоялось, а Брандт ожил.

- Вы узнали, в чем дело? спросил Бисмарк у атташе.
- Да, господин посол, русская казна вовремя ссудила дому Брандта шестьсот тысяч рублей.
- Ага, понятно! хохотал Бисмарк. Но я желал бы знать, по что это обошлось банкиру Брандту на Гороховой улице?
 - По слухам, Мина имела от него двадцать тысяч...

Наверное, из графа Адлерберга мог бы получиться хороший гример — он достиг небывалого совершенства в накладышини на себя всяческих помад, кремов и красок, даже не понимая того, как он смешон с ярким румянцем на щеках, с пунцовыми губами. Мина Буркова никак не могла пользоваться косметикой с таким же бесстыдством, и потому в свои сорок лет она выглядела подле цветущего графа вялою замухрышкой.

Фаворитка уже привыкла ко всеобщему поклонению, и Мина даже не удивилась, когда в Москве ей поднесли кубок. Близорукая, но очков не носившая, она прищурилась:

- Не могу прочесть, что здесь написано?

- «Радуйся, благодатная...» - прочел для нее московский губернатор князь Щербатов, униженно опустившись на колени.

...Сократ Федорович Адлерберг, никогда не болея, прожил очень долгую жизнь, а его «благодатная» — по словам доктора Пеликана — «сощла в могилу во цвете лет», но в каком году об этом источники умалчивают.

«КАК ТРАВА В ПОЛЕ...»

Были сороковые годы — грозные, николаевские.

Духовная академия столицы всегда считалась учреждением строгим, это вам не семинария в благодатной провинции, где бурсаки выпьют и закусят соленым огурчиком. Учили крепко. Латынь, греческий, философия, история. Те академисты, что желали принять сан священника, обязаны были прежде жениться. Для этого они по гостям или танцам не таскались, на улицах не флиртовали, ибо у ректора академии всегда хранился готовый список невест — тоже из духовных семейств, выбирай любую.

В это-то время и окончил академию некий Осип Васильев — из очень бедной, почти нищенской семьи, но парень удивительно умный и образованный. Его диссертация на звание магистра «О главенстве папы римского», писанная им на латыни, выявила большую глубину познаний в истории церкви, ему стали прочить профессорскую кафедру. Но студент от кафедры отказался, говоря, что желает служить священником. Синод не возражал, от

синодальных владык было ему авторитетно объявлено:

— Ладно. Ныне посольской церкви Парижа требуется как раз священник. Нынешний же отец Вершинский от старости в уме повредился: со своим попутаем все разговаривает, обозревая с ним философию Пифагора по трудам Генриха Риттера. Но прежде женись. Для того и повидай ректора. Он всех невест в Питере знает...

Ректор предъявил Васильеву длиннющий список невест, которые, минует еще год-два, и перейдут в разряд «перестар-ков».

 Гляди в первый ряд, — указал он перстом. — Вот Евфимий Флеров, что священнодействует при церкви на Волковом кладбище. Сразу шесть девок на выданье. Езжай. Присмотрись...

Легко сказать — езжай, если до Волкова кладбища и своими-то ногами не ведаешь как добраться. Тьма египетская, заборы шатучие, досчатые мостки прыгают над лужами, словно клавиши у рояля, во мраке слыхать посвист молодецкий, а будочников или дворников не дозовешься: дрыхнут, окаянные! Коекак добрел Осип Васильев до кладбища, постучался в дом отца Флерова:

- Я из академии... чтобы жениться. Срочно. Нельзя ли?

— Можно, — отвечал глава большого семейства. — Это мы

спроворим. Мигом. Вы присядьте. В ногах правды нету...

Стал он тут выкликать поименно: Анька, Санька, Лизка, Парашка, Дунька... — откуда ни возьмись, так и сыпались, словно горох с печи, девицы на выданье, одна другой краше, и, глянув на жениха, все стыдливо закрывались от его взоров рукавами.

 Ну, — сказал отец Евфимий, — все тут мои, а чужих не держим. Выбирай любую, какая со спины поусядистее.

Осип Васильев тоже стыдился, говоря смущенно:

— Мне бы еще походить к вам — приглядеться.

Евфимий Флеров стал хохотать:

— Эва, чего захотел! К нам на кладбище-то ходить, так все мослы переломаешь. Укажи сразу, какую надобно. Ткни в любую перстом — и волоки ее под венец.

— Мне бы такую, дабы в Париже не стыдно было ее показывать. В отъезд беру. Хорошее место предвидится... в Париже-то!

 — А-а-а, вот оно што, — помрачнел отец Флеров. — В здаком разе надобно прежде выпить, чтобы потом тебе не раскамваться...

Выпили и поговорили, обсудив во всех деталях каждую из шести невест. Когда Флеров побежал за второй бутылкой, Осип Васильев по зрелому размышлению остановил свой выбор на Аннушке, благо училась в пансионе Заливкиной и французский язык понимала. По тем временам дочерей священников почти не учили, считая, что и без ученья прожить можно, а вот кладбищенский поп шагал впереди своего времени, и девици его даже танцевали, будто смолянки.

— Анюта лучше всех, — убежденно воскликнул академист, ког да Флеров открыл бутылку. — О приданом даже не спрашиваю, ибо в Париже сулят мне жалованье изрядное... от посольства!

Сразу после свадьбы молодой благочинный с женою отбы-

ли в Париж, а поспели туда как раз к революции, когда народ свергал короля Луи-Филиппа, на улицах возводились баррикады, окна пришлось затыкать подушками, из которых по утрам вытряхивали пули, застрявшие в перьях. Под звуки выстрелов Анна Ефимовна без особой натути, а даже с некоторой приятностью спешно родила первую дщерицу, а потом как пошли, как поехали — дочка за дочкой, только успевай святцы листать, чтобы имя достойное избрать ради крещения новорожденной. Версаль был, конечно, разграблен, и отец Осип по дешевке купил королевский сервиз с коронною маркировкой, из чашек сверженного короля супруги Васильевы по субботам теперь распивали кофеек, рассуждая:

— Надо же! До того наш царь невзлюбил революционную Францию, что даже посла своего отозвал. Ныне остался лишь поверенный в делах — граф Николай Киселев, мужчина доб-

рый.

Ты, Осип, жаловался ли ему, что живем худо?Да печалился. А что он может сделать... поверенный!

Посольская церквушка на улице Берри располагалась в частном доме, тесная и неуютная, иконостасик был бедненький; при церкви же была и квартира Васильевых, окна которой выходили на мощеный двор, где росли ореховые и абрикосовые деревья — детям в забаву. Вне службы отец Осип носил наперсный крест под сюртуком, чтобы не привлекать внимания парижан; жена нарочно подстригала его очень коротко; священник носил цилиндр, никогда не расставался с тростью и лайковыми перчатками, внешне очень мало похожий на своих русских коллег. Васильев очень скоро сделался достаточно известен в духовном мире Парижа как блестящий оратор, часто выступавший на богословских диспутах в защиту догматов православия, и даже нажил себе немало врагов - после того как победил в споре незунта Яловецкого; этот незунт не забывал о позоре своего поражения и, кажется, только выжидал случая, чтобы отомстить молодому «схизмату»...

Васильев не раз доказывал графу Киселеву:

— Не стыдно ли, что великая Россия имеет в Париже цер ковь, размещенную в двух комнатушках, и это при том, что колония русских аристократов в Париже столь многочисленна. Разве станут уважать нас французы, если мы своего храма в Париже до сей поры не имеем — при том, что даже мусульмая мечеть имеют?

— Личные симпатии нашего императора, — отвечал Киселев, — издавна обращены к Берлину, а с Парижем он привык не счи таться. Боюсь, Осип Васильевич, что давнее напряжение в поли тике двух великих держав приведет нас к войне с французами...

Жалованье у Васильева было достаточным, семья ни в чем не нуждалась, отец Осип даже откладывал, как водится, «на черный день». Анна Ефимовна, урожденная среди могил Волкова кладбища, поразительно быстро освоилась с парижскою жизнью, но дома супруги говорили только на русском языке. Женщина исправно рожала только дочерей, словно по заказу, а чтобы девочки от колыбели освоили язык своей отчизны, Васильев выписал из России деревенскую девку; эта девка мигом научилась французскому, пила теперь не чай, а лишь кофе, по вечерам она бегала в театры смотреть мелодрамы с таким жестоким содержанием: она его полюбила, а он ее разлюбил... Ну, как тут не разреветься? И возвращалась из театров, каждый раз рыдающая навзрыд.

Иногда же с кошелкой в руках, одетая как француженка, ничем не отличаясь от парижанок, мадам Васильева сама навещала соседнюю лавчонку в конце улицы Берри. Однажды попросила нарезать ей ветчины для ужина. Француз отрезал два тонких, как бумага, ломтика, спрашивая: «Хватит?» Мало. Отрезал еще один ломтик с тем же вопросом. Опять мало. Лавочник потом резал, резал и резал, каждый раз спрашивая: «Хватит?» И так вот (с вопросами) накромсал для попадьи целый... ф у н т.

— А-а, — догадался он, радуясь своей сообразительности, — у вас, наверное, сегодня вечером большой прием и вы, мадам, готовитесь принять много-много гостей...

Анне Ефимовне было стыдно сознаться, что этот фунт ветчины будет уничтожен вечером ею самой и мужем, а гостей она не ждет. Иногда мадам Васильева выводила восемь своих дочерей на прогулку — до парка Монсо и обратно. Все девочки в беленьких платыцах, в одинаковых прюнелевых туфельках, все в одинаковых шляпках «а ла фурор», каждая младшая держалась за поясок старшей, идущей впереди, а сама мать время от времени раздавала им несерьезные «шпандыри», чтобы вели себя чинно и благопристойно.

Эту процессию однажды увидел тот же самый лавочник.

— A-а, — вмиг догадался он, — мадам учительница и вывсла на прогулку школу своих малолетних учениц... Браво!

Анне Ефимовне опять было стыдно сознаться, что она сама произвела на свет целую «школу», а в чреве ее уже колыкался следующий плод, — дай-то ей бог мальчика! Вот уж чем прославилась мадам Васильева в Париже, так это умением засаливать огурцы, и на французов эти огурцы всегда производили очень сильное и даже, я бы сказал, тревожное впечатление от встречи с «русским деликатесом». Париж, между прочим, был переполнен россиянами. Как правило, богатейшими аристок-

ратами. Многие осели здесь сразу после Венского конгресса, обзавелись своими домами, некоторые давным-давно перешли в католическую веру, иные даже забывали родной язык, вспоминая о России лишь в тех случаях, когда деревенские старосты задерживали выплату денег с того оброка, который они драли с крепостных. Захудалая церковь при русском посольстве, конечно, посещалась этими полуэмигрантами неохотно и то лишь от случая к случаю...

Все дети Васильевых, живущие интересами своих родителей, привыкли видеть на своем дворе такую обычную картину: возле металлических гробов часто суетились рабочие, которые запаивали эти гробы для очень дальней дороги, — так, забыв о родине, в ее великое материнское лоно возвращались все те, кто отжил, отблудил и отплясал свой срок на празд-

ничной чужбине.

Васильева однажды навестил пасмурный граф Киселев:

— Помните, о чем я вам говорил? Так именно и случилось. Наш император вкупе с его канилером Карлушкой Нессельроде все-таки привели Россию к войне с французами, и я отзываюсь со своего поста. Дипломатические отношения уже прерваны.

— А как же я, господи? — расплакался тут священник.

— Вас политика не касается. Вы остаетесь при русской церкви в Париже, где русские интересы отныне будет представлять саксонский посол барон Лео Зеебах, он же и любимый зятек

нашего поганца Нессельроде, женатый на его дочери...

Впрочем, читатель, винить во всем Николая I тоже несправедливо. Стоило ему начать строительство солдатских казарм на Аландских островах в Балтийском море, как в Лондоне лорд Пальмерстон сразу же заявил, что эти казармы угрожают безопасности Британской империи. Возникшая война, поименованная Крымской, прославила русского воина героической обороной Севастополя, но она — будем честны! — не вплела благоухающих лавров в викториальные венки былой русской славы.

А первый удар по России англо-французы нанесли не в Крыму, они всем флотом обрушились именно на эти злополучные казармы в Аландском архипелаге. Там и гарнизона-то было — кот наплакал, но союзники целый месяц утюжили защитников островов бомбами, высаживая десанты. Вместе с остатками гарнизона попал в плен и его начальник Я. А. Бодиско (это дед по матери нашего известного писателя Сергея Минцлова, о котором только теперь стали иногда вспоминать). Генерала Бодиско, угодившего в полон вместе с женой и детьми, французы разместили в гаврском «Отеле Великого Оленя», а его солдат

149 419

спровадили на остров Экс, что расположен в устъе реки Гаронны, — именно на этом острове Экс сдался император Наполеон, и отсюда он отправился на другой остров — Святой Елены, где и смежил свои завистливые очи...

— Ну, мать, — сказал Васильев своей верной супружнице, — вот и настал для нас черный денек, на который загодя мы откладывали.... Давай теперь все, что скопили!

Для получения полномочий ради посещения соотечественников Васильев навестил военного министра Жана Вальяна.

— Не возражаю! — охотно согласился министр. — Но вы напрасно волнуетесь, аббат. Ваши пленные офицеры вольны сами избрать для проживания в плену любой город Франции... кроме Парижа, конечно. По тарифам от 1837 года генерал Бодиско будет получать от нас по сто шестьдесят шесть франков в месяц на всем готовом, полковники — по сто франков, ну и так далее — по рангам...

По словам Вальяна, пленные солдаты имеют дневные порции французского пехотинца: полтора фунта белого хлеба, полфунта мяса, а в супе каждого будет вариться шестьдесят граммов турецкой фасоли, — все французы этим пайком довольны. Васильев, взяв из домашней кубышки все деныи, отправился на остров Экс, где были старинный форт Лидо и деревня — именно здесь разместили солдат аландского гарнизона осенью 1854 года. Пленным разрешалось гулять и купаться в море сколько им угодно, но не позже шести часов вечера они были обязаны являться к форту на перекличку. Священника они встретили почти восторженно:

— Гляди, братцы, наш-то поп и прямо из Парижа, только

бороды нет и стриженый, будто барин какой...

«Я, — докладывал Васильев в Синод, — отведал хлеб, говядину и суп пленных, найдя их весьма хорошего качества». Но зато он выслушал немало нареканий по поводу белого хлеба.

— Души в нем нету, — жаловались солдаты. — Нашего ржаного как навернешь с утра пораньше, так до вечера песни игра-

ешь, а этот... Мы его после обеда доедаем — в забаву!

Васильев понимал причины солдатского недовольства. Русский солдат имел от казны на день три фунта черного хлеба, щи с мясом да кашу с маслом, а потому порция французского пехотинца его никак не насыщала. Васильев развязал свою мошну, щедро наделяя солдат деньгами из собственных сбережений, а еще сто франков он вручил врачам в лазарете:

- Это вам, мсье, на рыбий жир... Мало ли что! Может,

кому из наших солдат надобно подкрепить здоровье.

Двадцать жандармов стерегли русских пленных в стенах форти Лидо, но пленные на этих жандармов не обижались:

— Мы с ними в подкидного дурака режемся, они ребята хоть куда. Мы, отец Осип, только местных мужиков да баб ихних не уважаем! До чего ж зловредные... И таки хапуги, таки скопидомные, так и норовят, как бы нашего брата обжулить.

Целую неделю Васильев прожил с пленными, собирал солдатские письма на родину, чтобы переправить их в Россию с дипломатической почтой саксонского посланника. На обратном пути он завернул в городок Ла-Рошель, где жаловался префекту на жителей Экса, что ведут себя алчно, за гроши выманивая личные вещи у пленных, а русские деньги меняют только за полцены.

- Между тем вы, префект, не можете иметь жалоб от жителей Экса на русских военнопленных. Ведут себя порядочно.
- Вы правы, согласился префект Ла-Рошеля. Поведение ваших солдат достойно всяческой похвалы. Надеюсь, вас устроит мое решение: отныне всем французам, повинным в обмане русских или в стяжательстве за счет пленных, я определю наказание: три месяца тюрьмы или штраф в триста франков...

Довольный поездкой, Васильев вернулся в Париж, откуда сразу отправил на остров Экс своего певчего Алексея Копорского с наказом, чтобы образовал могучий хор из числа пленных:

— Они там с жандармами дурака валяют, а ты распевай с ними песни народные, чтобы поплакали, о родине поминая. А я поговорю с Вальяном, чтобы белье им меняли почаще...

На последние деньги Васильев купил для пленных несколько пудов туалетного мыла, отправил с певчим тридцать фунтов свечей, чтобы пленные не сидели в потемках, а романы Дюма читали. Вальян снова принял священника, обещая менять белье пленных раз в неделю, обещал выдать солдатам шерстяные одеяла. Беда подошла с той стороны, с какой Васильев никак не ожидал ее.

Вальян вдруг отказал ему в своей протекции:

— И прошу более не беспокоить меня своими визитами. Я не думал, что в лице русского кюре встречу опытного шпиона. Впредь посещать пленных на острове Экс я вам запрещаю!

В чем дело? Оказывается, иезуит Яловецкий, однажды побежденный Васильевым в богословском диспуте, решил отомстить священнику. В газетах появились статьи о том, что русское посольство оставило его в Париже шпионом, а популярная «Монитор» известила парижан о том, что Васильев, бывая на острове Экс, занимался не религией, а политикой, побужлия своих соотечественников к бунтам и побегам...

 Нет, — сказал Васильев жене, попросив ее как можно короче подстричь ему бородку, — я в газетную полемику ввязываться не стану, ибо никаких денег не хватит, чтобы отбрехаться от газетных волкодавов. Я пойду сразу наверх...

Вскоре император Наполеон III был очень удивлен, что его аудиенции домогается православный священник. Как это ни странно, читатель, но владыка Франции, человек достаточно образованный, почему-то считал, что православие — это лишь секта, выпавшая из-под власти Ватикана, дабы Россия постоянно вредила папе римскому. Свидание с «сектантом» казалось ему забавным.

- Приму! Стоит посмотреть на этого дикаря...

Удивление императора возросло, когда вместо «дикаря», заросшего волосами, которого еще при входе следовало бы обыскать с ног до головы, перед престолом его предстал элегантный господин, державшийся с великолепной осанкой, а речь этого «дикаря» была слагаема на классическом французском языке.

— В положении, в которое я поставлен, — говорил Васильев, — мне очень трудно опровергнуть те обвинения, что высказаны вашей прессой, оскорбившей достоинство моего духовного сана. Я решился бы страдать молча, если бы в моем божьем слове не нуждались мои страдающие единоверцы...

Во время почти часовой речи, выдержанной примерно в таком духе, Васильев разрушил наивное представление Наполеона III о русских «сектантах», и Наполеон III, слушая Васильева с огромным вниманием, не однажды восклицал — в полном недоумении:

- О, монсеньор аббат!.. о, монсеньор кюре!..

Цитирую: «После окончания (речи) император долго молчал, удивленно глядя на Васильева, наконец разразился комплиментами, извинениями за подозрения в шпионстве и сказал: «Теперь я вас лично знаю и никому более не поверю, все оказалось газетной клеветой...» Радостный, Васильев вернулся домой.

- Мать, сказал он жене, я получил карт-бланш на свободу поведения от самого императора... Подзайми денег у соседей, продай что угодно, хотя бы даже этот королевский сервиз из Версаля, ибо нам предстоят немалые расходы.
 - Что ты еще задумал, отец?
- Наши-то Ваньки да Васьки вернутся после войны по домам, разъедутся по своим деревням, станут их там спрашивать какова жизнь во Франции? А они, кроме форта Лидо на острове Экс, ничего путного и не видели. Вот и замыслил я поочередно звать наших пленных в Париж, чтобы погостили у нас да Париж посмотрели... не все же аристократам глазеть на него!

С той поры так и повелось. А полиция Парижа скоро привыкла, что в квартире Васильевых всегда полно пленных. Ника-

ких забот от них ни хозяину, ни ажанам не было. Но однажды один из наших, некто Феденька Карнаухов, решил гулять по Парижу в одиночку. Васильев не стал его отговаривать, но заранее внушил солдату, чтобы допоздна не шлялся, на девок парижских чтобы не заглядывался, объяснил, как вернуться домой, нигде не плутая:

- В случае чего спрашивай улицу рю Берри, тебе каждый ее покажет... Запомнил?
 - А чего тут не запомнить? отвечал Федя...

Ушел и пропал. Только на третий день поисков военнопленный был обнаружен в тюремной камере, как злостный бродяга, упорно не желающий назвать свое имя и звание. Вызволив Карнаухова из полицейского заточения, отец Осип ругал его:

- Почему ж не назвал улицы, чтобы домой вернуться?
- Как не назвал? Я им русским языком талдычил: хрювозьми, хрювозьми, хрювозьми... Вот они меня взяли и потащили!
 - Дурень сиволапый! Да не хрю-возьми, а рю Берри.
 - А какая тут разница? отвечал бравый солда ...

Война закончилась, и наступили новые времена — либеральные, в России началась пора гласности и обновления. За то, что денег своих не пожалел, лишь бы помочь на чужбине военнопленным, протоиерей Осип Васильев был награжден орденом св. Анны 2-й степени — с публикацией о том в столичных газетах. Анна Ефимовна за время войны с Францией умудрилась вновь забеременеть, а ее постаревший отец Евфимий Флеров, что священнодействовал над могилами Волкова кладбища, писал дочери, чтобы привезли в Питер своих доченек — посмотреть на них. Для внучек старик уже насушил целую гору черных сухарей, заранее присыпав их крупной солью. «Клопов, — сообщал отец дочери, — я заранее кипятком прошпарил, а вот тараканов, сколько я ни травил их, никак не вывести».

— Надо ехать, — загрустила жена. — Не ровен час, помрет папенька, а потом жди-пожди, когда еще мы с ним на том свете повидаемся? Едем. Пусть наши чада сухарей родных погрызут. Эдакого-то лакомства, да еще с солью, где в Париже увидишь?...

Семья Васильевых приплыла в Петербург на пароходе.

Выставив большущий живот, ковыляла попадья на высоких каблуках по родимым бульжникам, за ней длинной цепочкой двигались ее чада — уже подросшие, чуть поменьше, еще меньше и совсем маленькие. Сейчас увидят они перепуганных тараканов в домике на Волковом кладбище, станут грызть черные сухари с солью...

За время пребывания в столице Васильев усиленно хлопо-

тал в Синоде, чтобы тот не скупился в средствах ради создания в Париже православного храма. Этот храм был заложен еще в 1859 году (пятиглавый, красивый, богатый), но денег для его завершения, как водится, не хватало, и тогда отец Осип, уже потеряв всякую веру в помощь синодальных властей, обозлился на всех и махнул прямо к открытию Нижегородской ярмарки.

Посмотрел он там, как широко гуляют купцы первой и прочих гильдий, как швыряют они сотенные бумажки к ногам плясуний да цыганок, и начал стыдить толстосумов, убеждая их жертвовать на построение парижского храма. Своими проповедями он мешал купцам веселиться, даже надоел им! Послали они своего малого за мешком, который почище, и в один мах нашвыряли для отца Осипа полный мешок денег — новенькими ассигнациями, только бы он отвязался от них со своими поучениями о нравственности! Пересчитал деньги Васильев и подивился:

- Мать честная! Двести тыщ и, кажись, даже более...

Вскоре Париж обзавелся большим православным храмом.

Французов, желающих побывать в этом храме, было очень много. Но в церковь запускали партиями — не более двухсот человек зараз, при этом сторожа сщибали с парижан котелки, а у парижанок они силком отнимали визжащих от страха собачек...

В 1867 году, когда при Святейшем Синоде был образован Учебный комитет, Осипа Васильевича Васильева отозвали в Петербург, где он и стал первым председателем этого комитета. В столице Васильев славился как литератор и ученый богослов, время от времени — не так уж часто! — он читал великолепные проповеди в Сергиевском соборе на темы общенародной морали, которые неизменно привлекали громадные толпы верующих.

Постоянное умственное и нервное переутомление сказалось на здоровье Васильева, когда он был еще полон нерастраченных сил. Васильев умер от инсульта в возрасте 60 лет и был погребен — рядом с женою — в Александро-Невской лавре столицы. В самый разгар первой мировой войны была издана его переписка...

Тогда же его дочь Лидия писала: «Что дела наши на земле! Как трава в поле, опалило нас солнце — и все исчезло...»

В самом деле, не хочешь, да все равно задумаешься!

Вот жил человек, любил, страдал, радовался и огорчался, о чем-то хлопотал, что-то делал, а... где же все это? Пожалуй, остался от него один только храм в Париже, зато вот о нем самом — ни звука, будто и не было на свете этого человека...

Не знаю, как вам, читатель, а мне печально.

Неужели и нас никогда не вспомнят?

Неужели и мы с вами — «как трава в поле»?

ДВА ПОРТРЕТА НЕИЗВЕСТНЫХ

О декабристах у нас пишут как-то выборочно — более о тех, что были знакомы с Пушкиным, или славословят тех, чьи судьбы сложились особенно трагично.

Но многие остались в тени, доселе никому не известные.

Спасибо историкам, живущим в Сибири: они поднимают из праха декабристов, что ныне забыты, но до нас, проживающих «в Европе», их монографии доходят с трудом. И уж совсем отодвинуты в тень забвения декабристы, которых миновали сибирские рудники — они были сосланы на Север, оказались даже на Соловках.

Тут можно сказать спасибо историку Георгию Фруменкову, который трудится в славном городе Архангельске; пишет он хорошо и, что весьма редко бывает среди наших историков, пишет интересно, реставрируя из деталей былого такие замечательные личности, как, например, Горожанский, Иванчин-Писарев, Кашкин, Непенин...

Скажите мне, положа руку на сердце, что вы знаете об этих декабристах? Уверен — ничего или почти ничего!

Между тем Г. Г. Фруменков поведал о судьбе совсем забытого декабриста Ивана Петровича Жукова, о котором, оказывастся, в самом начале нашего века был написан даже роман.

Я этого романа не читал и читать не стану, ибо, как докакой Фруменков, он плох и даже фальшив по своей исторической сути. Судя по всему, архангельский историк как следует изучил биографию Жукова, потревожив для этого и архивные залежи, которые в большинстве своем еще лежат никем не тронутые. Но мне однажды показалось, что почтенный Георгий Георгиевич Фруменков (пусть он на меня не обижается) коечто все-таки упустил в своем превосходном рассказе.

Я желал бы поведать вам здесь о Жукове то, что известно мне о нем, а более всего он известен своею любовью...

У нас как-то принято более рассуждать об идеологии декабристов, но любовь остается в стороне, словно довесок к буханке хлеба насущного. Может быть, именно по этой причине мы, идеологически очень крепко подкованные, небрежно отмахиваемся от большой любви — чистой, непорочной, лучезарной и возвышающей человека даже среди его немыслимых страданий.

Думаю, что это предисловие было необходимо.

В русском дворянстве насчитывалось до революции более тридцати дворянских родов Жуковых; из великого множества носителей этой скромной фамилии мы, пожалуй, помним только супругов Жуковых, которых в 1766 году Екатерина Великая предала гражданской казни за убийство (что нашло отражение в народных лубках), да еще мы знаем Марию Семеновну Жукову, писательницу и художницу, а сейчас живет и работает средь нас замечательный писатель Дмитрий Жуков, выводящий свой родословный корень именно от этой Марии Семеновны. Наш герой декабрист вышел из деревни, затерянной в вековечных лесах Казанской губернии, и каковы его родственные связи — этого не ведал даже наш знаменитый генеалог князь А. Б. Лобанов-Ростовский...

Два слова о казанском дворянстве. Жившее на отшибе Российской империи, оно было, пожалуй, одним из самых образованных, и думается, что создание в 1804 году университета именно в Казани было исторически оправданно. Недаром же иноземные ученые со всей Европы спешили тогда в Казань, чтобы стать в этом городе профессорами. Понятно, почему деревенским воспитателем Вани Жукова стал не местный дьячок с хлестким прутом в руках, а французский аббат Деспарб, раскрывающий том Вольтера свято, будто это был его молитвенник. Домашнее образование Жуков завершал в Казанском университете. Затем со скамыи студента — совсем еще юный, почти отрок! — Жуков пересел в седло, и началась его военная служба. Поначалу он состоял адъютантом своего земляка генерала Желтухина, но однажды имел несчастье нарваться на ревностного службиста Стюрлера:

- Почему не спешите отдать мне честь?

- Извините, Николай Карлович, не успел.

- А почему воротник не застегнут доверху?

- Растерялся и не успел застегнуть.

— Так я вас во фронт поставлю, чтобы впредь успевали и честь отдавать высшим чинам, и крючки на себе застегивать...

Жукова перевели в пехоту, и только в 1822 году он утешил матушку тем, что стал гусаром в Белорусском полку принца Оранского, где вскоре и получил чин штабс-ротмистра. Матушка, к тому времени овдовевшая, тоже «утешила» сыночка известием, что она стала женою Кондратовича и теперь проживает в городе Казани, средь новых и старых сородичей, вполне довольная жизнью.

Гусары квартировали в городе Васильков под Киевом, где навеки затихли древние курганы витязей и где шумели еврейские ярмарки, где обыватели умели варить ароматное мыло, для церквей они искусно варили душистые свечи, а из мастерских, где утруждались могучие кожемяки, разило невообразимой вонишей.

Михаил Бестужев-Рюмин однажды, прогуливаясь с Жуко-

вым, указал ему на остатки старинных валов:

— Видите? Говорят, что эти валы когда-то обозначали рубежи между Русью и Польшей, а в древности времен князя Владимира наш Васильков было местом ссылки для знатных жен, повинных в чем-либо одном — или изменили мужьям,

или... состарились.

Именно здесь, в Василькове, молодой гусар пережил два увлечения сразу: княжна Враницкая, обворожительная в своей греховности, покорила его гусарское сердце, а разум был подчинен убедительным доводам Михаила Бестужева-Рюмина, который и ввел Жукова в Южное общество декабристов. Было еще только начало 1824 года, но Васильковская управа уже тогда настаивала на ускоренном восстании. Жуков писал возвышенные мадригалы своей пассии, а по ночам составлял тайные шифры для переписки декабристов.

Сейчас, читатель, мы мало что знаем о той роли, какую брал на себя Жуков в будущем восстании, но — со слов других декабристов — известно, что Иван Петрович был сторонником «улучшения законов и введения конституции». Мне кажется, что не только законы волновали гусара, ибо уже тогда в нем видели человека, решившегося на цареубийство. Так это или не так, сейчас судить трудно, ибо остались от тех времен лишь

намеки...

Дошли до нас и слова Жукова, сказанные им однажды:

 Друзья! Я ведаю, что для успеха нашего предприятия пролития крови не избежать, и, ежели жребий падет на меня, я готов к его исполнению, после чего, смею думать, я вряд ли сыщу себе утешение, а потому сам и лишу себя жизни...

Время любви было срифмовано с поэзией мятежа, почти все молодые люди писали тогда стихи, писал их и Жуков — любовные для Враницкой, агитационные для своих солдат, и до нас дошла одна из песен его с лихим названием «Подгулял я»:

Я свободы дочь, я со трона прочь императоров, Я взбунтую полки, развяжу языки у сенаторов...

Мы знаем, что Черниговский полк взбунтовался первым! Но злодейка судьба сыграла с Жуковым роковую шутку: как раз в эти дни состоялся его брачный сговор с пленительной Враницкой, и потому призыв Бестужева-Рюмина, чтобы Жуков поднимал гусар полка принца Оранского, этот призыв не дошел до Жукова, увлеченного амурными идиллиями.

Взятый чуть ли не из-под венца, он был доставлен в Петербург, где его буквально спас от виселицы позже сам повещенный Бестужев-Рюмин, который заявил судьям, что Жуков давно охладел к делам Васильковской управы и «решительно отстал» от сообщества.

Жуков содержался на столичной гауптвахте, когда Враницкая известила его, что перст судьбы указал верный путь для обоих: пусть он забудет о ней, ибо после его ареста она встретила человека, наградившего ее самой возвышенной страстью. Никак не готовый к такой скорой и коварной измене любимой женщины, Иван Петрович расхворался, отправленный в госпиталь, после чего и последовал приказ императора Николая I:

Жукова отправить под конвоем в гарнизонный полк города Архангельска, о поведении же его докладывать мне ежемесячно...

Архангельск! После страшного пожара, истребившего лучшую часть города, жители отстраивались заново, леса не жалея, военный люд теснился в Офицерской слободке. Жуков снял угол на Казарменной, вставая по утрам в строй служивых на Плац-парадной площади. Тихо сыпал снежок, под навесом берега дремали до весны купеческие корабли, на улицах слышалась речь англичан и норвежцев, а танцевать ходили в каменный дом богача Фонтейнеса (который, если не ошибаюсь, уцелел и доныне). Архангелогородцы были людьми, что избалованы заморским привозом, хлебали не чай, а кофе, бургундское заменяло им водку, они кутали женщин в испанскую фланель и лионские бархаты, жены поморов таскали на себе жемчугов весом в полпуда, а на Троицкой улице Иван Петрович повстю-

чал товарища по несчастью — мичмана Алешу Иванчина-Писарева, тоже декабриста и тоже сосланного.

— Здесь, в гарнизоне, — сообщил мичман, — мы не только телом озябнем, но и душой оскудеем в разговорах о прибылях да пеньковой смолы нанюхавшись. Надобно проситься тебе, чтобы на Кавказ перевели... там немало наших друзей, а личной храбростью можно вывернуть судьбу наизнанку, словно перчатку.

Сам же мичман на Кавказ не просился, ибо делал промеры глубин в Белом море для составления лоции, а мысль о Кавказе засела Жукову в голову, и никак от нее было не избавиться. Иван Петрович списался с маменькой, чтобы просила за него перед престолом, а сам писал военному министру, чтобы перевели его на Кавказ. Ответа на просьбы не было — ни матери от Николая I, ни сыну ее от графа Чернышева. Зимние вьюги заметали крыльцо, ветер громыхал печными заслонками. По вечерам навещал его мичман Иванчин-Писарев со скрипкою, Жуков доставал флейту, и два декабриста изливали свою тоску в забытых мелодиях...

Но однажды, отложив скрипку, мичман сказал:

- А полковник-то Шульц, комендант архангелогородский, человек добрых правил и благоволит нам, ссыльным. Недавно он меня спрашивал: отчего я тебя в доме его не представил?
 - На что я ему, ссыльный-то? удивился Жуков.
- Думаю, что у Шульца дочка скучает, вот и зовет нас, чтобы мы их навестили. Полковник вдовец, а девице тоскливо... Комендант города и впрямь оказался стариком добрым.
- Нашумели вы, добры молодцы, в декабре двадцать пятого, а чего вам надобно было и сами не ведали. Всего у вас было больше чем у других, вот только конституции не хватало для счастья. Надоело мне каждый месяц отписывать в министерство о вашем примерном добронравии, так садитесь за стол гостями моими станете. Сейчас и доченька выйдет. Локоны прибирает...

Вышла она, едва глянув на мичмана, и сразу зарделась вся, едва встретился девичий взор с глазами гостя, восхищенного ею. Такой красоты давно не видывал Жуков, сам ведь тоже красивый, и, кажется, девушка поняла все сразу: вот она — судьба, его судьба и ее тоже. В один из уютных вечеров они объяснились и дали клятву: не разлучаться никогда, а любить друг друга обещали они вечно, чтобы ни случилось с каждым из них.

- Веришь ли мне? спросил Жуков, целуя ее.
- Люблю и верю. Верю и люблю...

После этого было необходимо объясниться с отцом Лизы.

— Федор Петрович, — начал Жуков, — сердце мое и сердце

вашей дочери Лизаветы уже спаяны нерушимою клятвой, так будьте же милостивы, дозвольте брак между нами, в моей же любви к вашей дочери вы николи не сомневайтесь...

Старый комендант Архангельска даже зашатался.

— Убили! — выкрикнул он, падая в кресло. — Вконец убили... Сядьте и вы, Иван Петрович, а говорить я стану. — Жуков послушно сел напротив коменданта. — Слушайте, друг ситный! Затем ли я звал вас в свой дом, чтобы вы разрушили будущее моей единой дочери? — вопросил Шульц. — Поймите же наконец мое отцовское сердце. Как бы ни уважал я вас, каким бы золотым вы ни были, я вынужден отказать вам в руке своей дочери, ибо судите же сами: Лизанька при всех ее неоспоримых достоинствах и красоте ее способна сделать выгодную партию. а вы... что вы?

Старик вдруг умолк. Жуков напомнил:

- Я вас слушаю, Федор Петрович, продолжайте.
 А вы только ссыльный под моим же надзором, и сколько еще лет пробудете в этом звании — одному богу известно. Извините, — заключил Шульц, — но я вынужден отказать вам и от дома своего, дабы соблазнов для Лизы более не возникало.

Жуков внешне повиновался приказу, но старик по-прежнему охотно принимал у себя Иванчина-Писарева, и этим воспользовались влюбленные. Через мичмана шла их потаенная и пылкая переписка, через него они назначали тайные свидания, во время которых Лиза Шульц, воспитанная на «Бедной Лизе» Карамзина, не уставала напоминать о клятве в вечной любви.

Наконец в одно из таких свиданий, она решилась:

- Есть же бог, который видит чистоту наших сердец, и я верю, что он благословит нас свыше. А нам остался последний способ убедить моего папеньку, чтобы не препятствовал нашему обоюдному счастью.

О том, что это был за «последний способ», комендант Архангельска наглядно убедился через несколько месяцев, и тогда же повтория, что они его все-таки «убили»:

- Но виктория осталась за вами, - сделал он непреложный вывод. — Ничего теперь не исправить. Будь воля ваша...

Теперь Шульц даже торопил события и уже сам собирался писать императору, чтобы Николай I, учитывая его возраст и его былые раны во славу отечества, помиловал зятя.

Вот и наступил самый счастливый день! Утром состоялось венчание, а после обрядной церемонии комендант звал друзей и знакомых к своему столу, дабы они почтили своим присутствием торжество свадебного ужина новобрачных.

Было весело, шумно, празднично...

Вот расселись гости за столы, вылетели пробки из бутылок

с шампанским, хлынуло вино в бокалы, и эти бокалы еще не успели сдвинуться, хрустальным звоном отмечая великое счастье молодых, как вдруг с улицы надсадно, почти режуще прозвенело.

Это звенел колокольчик фельдъегерской тройки!

Стало тихо-тихо, а со стороны крыльца послышались тяжкие, как удары молота, зловещие шаги непоправимой судьбы, — вошел фельдъегерь, и, усталым взглядом обведя пиршественный стол, он спросил кратко, служебно и равнодушно:

- Комендант города Архангельска... кто?
- Я, выпрямился Шульц.
- Извольте прочесть. К немедленному исполнению...

Хрустнули казенные печати, на скатерть просыпалась труха жесткого сургуча. Шульц, посерев лицом и заострившись носом, читал указ, и временами было даже не понять, где его слова, а где слова высшей власти:

— Уступая личной просьбе и вняв мольбам престарелой матери, его величество... на Кавказ! Мне же предписано: «не медля нимало, отправить Жукова с сим же фельдъегерем к новому месту его служения». И приказ сей я должен исполнить...

Иван Петрович залпом опорожнил бокал:

- Вот когда получен ответ на мои просыбы! Именно в сей день и сей час, когда в Кавказе я более не нуждаюсь.
 - Кавказ? А как же я? растерянно спросила невеста.
 - Я жду! напомнил фельдъегерь.

С трудом уговорили его, чтобы повременил хоть самую малость, чтобы позволил закончить ужин. От свадебного стола Жуков пересел в казенную кибитку, и кони унесли его...

— Убили! — твердо повторил комендант города.

И на этот раз старик не ошибался.

Через несколько дней его не стало.

Елизавета Федоровна вскоре же родила сыночка, но состояние молодой матери трудно передать. Совсем одинокая в чужом для нее городе, окруженная чужими людьми, с младенцем на руках, наивная и беззащитная, — на что ей надеяться? Правда, были у нее братья, но старший пропадал где-то у черта на куличках, шатаясь по дальним гарнизонам, а младшие, сами еще дети, воспитывались в кадетском корпусе на положении сирот...

Вот и рыдай, жена безмужняя: что делать?

Об этом же спросила она Иванчина-Писарева.

— Свет не без добрых людей, — отвечал ей мичман. — Ты, Лизавета, подумай-ка о Казани... Анна Михайловна, мадам Кондратович, неужто еще не писала тебе ни разу?

Он как в воду глядел. В тот же день пришло письмо от свекрови, которая, проведав о случившемся, звала невестку с дитятей под свой казанский кров, обнадеживая ее в домашнем приюте и своей ласке. Елизавета Федоровна быстро распродала имущество покойного папеньки, закутала сыночка потеплее и тронулась в дальний-дальний путь через всю Россию, «слепо доверив судьбу свою неизвестному будущему», — так писал ее дальний родственник, проживавщий тогда в Казани...

А вот и сама Казань! Даже не верится, что приехала и сейчас сыщется покой и домашнее радушие, столь необходимые после столь долгой дороги. Расспросив прохожих, где тут дом мадам Кондратович, женщина скоро подъехала к этому дому, и первое, что она увидела, это была крышка гроба, прислоненная к стене. А возле подъезда стоял погребальный катафалк, лошади его были накрыты траурными попонами. Елизавета Федоровна, почуяв недоброе, спросила у бабы, спешившей через двор с пустым ведром:

- Это ли дом госпожи Кондратович?
- Ейный, ейный... Уж ты поспеши, родимая! Скоро выносят.

Елизавета Федоровна с замиранием сердца прошла внутрь дома, сразу ощутив аромат церковного ладана, и увидела на столе покойницу, которую отпевали священники в черных ризах.

- Кто умер-то? шепотом спросила она.
- Анна Михайловна, царствие ей небесное...

Вот она, судьба-то какова! Не было близких в Архангельске, откуда уехала ради Казани, а теперь не стало и близкой души в Казани, куда она так стремилась... Куда же ехать ей далее?

- Господи, - простонала она, - за что меня наказуешь?

Потрясение было столь велико, что женщина тут же, возле самого гроба, и потеряла сознание. Когда же очнулась, то увидела склоненные над нею лица добрых людей, и все они звали ее к себе, сулили приют для нее и младенца. Нашлась даже дальняя родственница Жуковых — Варвара Ивановна Мамаева, которая прямо с похорон увезла женщину с ребенком к себе, говоря по-свойски:

— Хотя, Лизанька, мы с тобою родня-то десятая вода на киселе, но живи у меня сколько надобно, пока не возвратится с Кавказа твой суженый. Ты хоть узнала ли, как прозывается его полк, чтобы письма ему писать?..

...Полк, в котором служил декабрист Жуков, называлси Куринским пехотным, а куринцы славились боевыми доблестями; Иван Петрович был принят в офицерской среде с таким же радушием, с каким Казань встретила и пригрела его жену.

Кавказские офицеры были тогда отпетыми головами, многие попали туда не по своей воле, повинные и безвинные, а потому Жуков быстро нашел друзей, которые бесшабашно и весело тянули солдатскую лямку. Среди приятелей Жукова был и знаменитый в ту пору писатель Бестужев-Марлинский, тоже сосланный на Кавказ, и он посвятил Жукову свою повесть «Наезлы»...

Время было жестокое — время вызревания мюридизма, а Шамиль был еще молод. Будущий имам (третий по счету) состоял тогда в свите Кази-муллы, кровожадного аварца из аула Гимры, главного проповедника «газавата». Не станем наивно думать, будто весь Кавказ и его народы искали свободы, потому и воевали с русскими, — нет, совсем нет! Учение мюридизма охватило только Лагестан и только Чечню, а натравливали горцев против «неверных» турецкие султаны и шахи персидские, которые чужими руками жаждали делить Кавказ между собою — словно чебурек, обжигающий им пальцы. Вот в этой войне и участвовал Жуков (как и многие декабристы), а жизнь на Кавказе ценилась тогда чересчур дешево. Осенью 1832 года барон Розен, командующий на Кавказе, повел войска на штурм аула Гимры, где засел Кази-мулла со своими отважными мюридами. Аул был взят штурмом, но имам с 16 своими мюридами заперся в неприступной каменной башне.

— Ему отселе от нас не уйти, — говорили куринцы... Но Кази-мулла решил пробиться или умереть с честью.

Неподалеку от Жукова он вдруг выскочил из башни, а шашки мюридов рассекали перед ним коридор, ведущий к спасению. Удары солдатских штыков повергли имама наземь, но в тот же миг шашка Шамиля опустилась на голову Жукова... Последнее, что запомнилось в этой сече, так это имам Кази-мулла, который одной рукой рвал на себе бороду, а второю рукой показывал на небо, где его ожидали веселые волшебные гурии.

Шамиль тогда спасся! Но был спасен врачами и Жуков, а барон Розен добился для него «прощения» свыше, о чем Иван Петрович известил жену с лазаретной койки. Конечно, одинокой и красивой женщине было в Казани нелегко, возле нее увивались немало всяческих донжуанов, кто студент, кто офицер, кто знатный барин, но Елизавета Федоровна вела себя безупречно, отчего в казанском обществе она завоевала всеобщее уважение...

- Скоро ли увижу его? томилась она вечерами.
- Терпи, отвечала Мамаева, раскладывая пасьянс. Вот и карты показывают тебе скорое свидание с королем...

Только на исходе 1833 года Жуков был уволен из армии «по

домашним обстоятельствам» с чином штабс-капитана в отставке. Сын Варвары Мамаевой вспоминал: «Первое свидание Жукова с женою произошло в нашем же доме... но такие сцены описать невозможно — их можно только прочувствовать».

Декабристу было дозволено проживать в своем Сергиевском имении Лаишевского уезда Казанской губернии, в которое он и отъехал с женой и ребенком, а въезд в губернские города России был ему запрещен. В густейших и дремучих лесах затерялась деревушка дворян Жуковых, и казалось, что в этих лесах навеки затеряются и они сами, все равно безмерно счастливые оттого, что они снова вместе — навеки, верные прежней клятве.

Царствование Николая I уже близилось к печальному завершению, когда Иван Петрович вдруг появился в столице, и даже не один, а с детьми, рожденными в лесной глухомани. С помощью петербургских родственников он устроил дочь в Смольный институт, а сыновей определил в кадетские корпуса (никакой иной судьбы, кроме офицерской, он им и не желал!). Когда же дети были пристроены, из Третьего отделения ему учтиво напомнили, что он по-прежнему остается на подозрении — как «прикосновенный к тайным обществам», и жандармы попросили его удалиться из Петербурга обратно в свое Сергиевское имение.

Темный лес снова укрыл Жукова в своей непроходимой глуши, где он был всегда счастлив от большой и сильной любви...

1847 год стал последним годом, когда имя декабриста Жукова удостоилось упоминания в государственных документах. Далее мы ничего не знаем о нем, и ответ на молчание, давно тяготящее нас, следует искать на старинных сельских погостах.

Где они, эти поваленные бурей кресты?

Если так можно выразиться, то декабристам, сосланным в Сибирь, «сильно повезло»: среди них оказался великолепный художник Николай Бестужев, оставивший нам громадную галерею портретов своих собратьев по несчастью. Зато иные из декабристов, заброшенные в дальние гарнизоны, остались как бы «безликими» — нам отказано видеть их «в лицо».

Вряд ли, я думаю, уцелели изображения Ивана Петровича

и Елизаветы Федоровны Жуковых. Да, вряд ли...

А может и так, что где-то в краеведческих музеях нашей захудалой провинции еще висят их неопознанные портреты с неизбежной — почти трагической! — этикеткой:

неизвестный художник.

Портрет неизвестного и портрет неизвестной.

А как бы мне хотелось увидеть их. Л ю б я щ и х!

этот неспокойный кривцов

Помнится, еще в молодости мне встретился любопытный портрет благообразного человека в очках, под изображением которого пудель тащил в зубах инвалидные костыли. Это был портрет Николая Ивановича Кривцова. Писать о нем легко, ибо его не забывали современники в своих мемуарах, но зато и трудно, ибо перед этим человеком невольно встаешь в тупик: где в нем хорошее, а где плохое? Одно беспокойство...

Впрочем, если читатели останутся недовольны моим рассказом, я отсылаю их к замечательной книге М. Гершензона «Декабрист Кривцов и его братья», но я поведу речь о человеке, далеком от движения декабристов. Я приобрел Гершензона еще в молодые годы, примерно в ту пору, когда меня удивил этот пудель, несущий в зубах костыли. На моем экземпляре титул украшен надписью: «Акиму Львовичу Волынскому дружески от автора».

Но это так — попутно. А с чего же начать?

Николай Кривцов, еще подпоручик, стал известен императору Александру I небывалым пристрастием к холоду. При морозе в 20 градусов он ходил налегке, зимою спал при открытых окнах, в его комнатах не было печек. Помимо этого Кривцов обладал еще одной способностью — смело проникать в дома, где его не считали дорогим гостем. Так, однажды он — в мундире нараспашку — был замечен государем перед домом фран-

цузского посла Коленкура, и царь, гулявший по набережной Невы, в удивлении навел на него лорнет. Полагая, что наказание за нарушение формы неизбежно, Кривцов явился в свой полк, доложив командиру, что государь лорнировал его слишком пристально, а за расстегнутый мундир командир посадил его на гауптвахту. Через день его вызвал цесаревич Константин, спрашивая — где он был вчера?

В посольстве у герцога Коленкура.

— Молодец! Мой брат император указал похвалить тебя за то, что не шерамыжничаещь, а бываешь в хорошем обществе...

В битве при Бородине Кривцов был жестоко ранен в руку и при отступлении из Москвы оставлен в госпитале. Однажды, проснувшись, он увидел себя лежащим среди французских офицеров, раненных, как и он, в Бородинском сражении. Маркиз Коленкур при посещении своих соотечественников заметил и Кривцова:

— O, как это кстати! — воскликнул бывший посол. — Уверен, что вас непременно пожелает видеть мой великий император.

- Вы, - отвечал Кривцов, - даже не спросили меня, же-

лаю ли я видеть вашего императора...

Москва горела. Коленкур дал понять, что Кривцову лучше не возражать, иначе его потащат силой. В этом крылась некая подоплека. Наполеон, уже понимая, что войны с Россией ему не выиграть, желал начать переговоры о мире, а посему он искал средь русских посредника для связи с Александром. Но диалог поручика с императором развивался не в пользу Наполеона.

- Как не стыдно вам, русским, поджигать свой город!
- Мы, отвечал Кривцов, благоразумно жертвуем частью своего наследства ради сохранения всего целого.
 - -- Целое и так могло быть спасено -- миром!
 - Но мы, русские, слишком гордые люди.

— Я устал от фраз... уведите его обратно! — распорядился Наполеон, догадываясь, что этот человек для его секретной дипломатии никак не пригоден...

Вскоре он оставил Москву и оставил в Москве своих раненых, которые решили отстреливаться из окон от казаков. Было ясно, что казаки, обозленные выстрелами, сейчас перебьют всех. Кривцов накинул мундир и обратился к французам:

 Коллеги, а вам разве не кажется, что вы эту партию проиграли, и потому я объявляю всех вас своими военнопленными.

После чего вышел на улицу перед казаками, убеждая их не предаваться мести, что вызвало гнев казаков.

— А ты кто таков? -- кричали они из седел.

— Я? Я... московский генерал-губернатор, — самозвано объявил Кривцов, но от кровопролития он французов избавил, за что Людовик XVIII наградил его позже орденом Почетного легиона.

Долечиваться Кривцова отвезли в Петербург, где Александр I подарил ему пять тысяч рублей. По этому поводу Гершензон верно заметил: «Это было первое из многочисленных денежных пособий, которые он сперва удачно получал, а после научился искусно выпрашивать». Выздоровев от раны, Кривцов нагнал армию уже в Европе и после битвы при Бауцене честно заслужил чин штабс-капитана. Наконец настал и великий день великой битвы под Кульмом.

— Я др o! — вдруг закричали солдаты...

В последнюю минуту сражения французы выпустили из пушки самое последнее ядро. Но именно это ядро (последнее!) оторвало Кривцову ногу выше колена. При операции, дабы избежать гангрены, хирурги так его искромсали, что обнажилась кость. Кривцов лежал подле знаменитого Моро*, которого навестил император, заметивший и Кривцова:

- Бедный! Опять не повезло тебе... Чего желал бы?
- Единой милости: быть погребенным в Париже.
- До Парижа еще далеко, но я тебя не оставлю...

Он увидел Париж, а Париж увидел Кривцова, который завел знакомство с Лагарпом, Талейраном, мадам де Сталь, Шатобрианом и прочими, о которых еще никто не сказал, что им ума не хватало. Близкий царю Лагарп отрекомендовал Кривцова как человека замечательного во всех отношениях, после чего Кривцов получил еще 5000 рублей, а заодно был произведен в капитаны. Намечался Венский конгресс, но какой же, спрашивается, это конгресс без Кривцова, и в салонах венской аристократии он прыгал на костылях от одной красавицы к другой гораздо резвее, нежели те, что оставались двуногими. Впрочем, навестив Лондон, Кривцов заказал там пробковые протезы, сделанные столь мастерски, что они выглядели естественно. Когда Александр I снова увидел Кривцова в Париже, легко и безмятежно вальсирующим, ему показалось, что это не Кривцов, а лишь двойник Кривцова.

- Верить ли глазам? спросил он, лорнируя.
- Верьте, ваше величество, таких ног ни у кого нету, и один экземпляр я дарю Инвалидному дому Парижа как образец...

За границей он оставался еще два года, исколесив всю Европу, «всюду заводя знакомства с выдающимися людьми, слу-

[•] Похоронен на Невском пр., в СПб с почестями рус. фельдмаршала. Об этом человеке я написал роман под названием «Каждому свое».

шая лекции, изучая устройство школ, судов, тюрем, богаделен и все занося в дневник с мыслями о России», — последнее очень важно, ибо Николай Иванович оставался большим патриотом. Путешествуя же, он клянчил деньги у матери, у царя и вообще у всех, кто встречался ему на пути, сохраняя при этом такой пренебрежительный вид, будто оказывает снисхождение своим заимолавиам.

В феврале 1817 года Кривцов вернулся на родину и, отставленный от военной службы, был сделан камергером, причисленный к министерству иностранных дел. Это был год, когда юный Пушкин выпорхнул из лицея, и Кривцов, конечно, свысока приметил гения, сдружившись со всеми членами литературного «Арзамаса». Сам он стихов не писал, зато имел о стихах свое мнение. Вольтерьянец по убеждениям, он бравировал мыслями о республике, но при этом не забывал, что рог изобилия находится в царских палатах. Апломб его был таков, что придворные диву давались: какое нахальство! Кривцов мог, например, явиться во дворец незваный и просил доложить императрице о своем появлении, дабы иметь аудиенцию для разговора о будущем. Кривцову многое прощалось, ибо такой великолепной ноги, как у него, в России больше не было, а на будущее он не скрывал своих планов:

- Мне желательно заполучить пост посла в Америке...

Царь морщился, говоря, что для Кривцова достаточно, если он будет лишь состоять при посольстве в Лондоне. Посверкивая очками, поскрипывая протезом, Николай Иванович задумывался о выгодном браке, чтобы невеста была и знатна, и богата. Принятый в доме сенатора Вадковского, он приметил у него дочь Екатерину Федоровну, которая имела большую для него ценность — как внучка графа Чернышева (герб!) и как владелица большого приданого (деньги!).

Однако девица оставалась холодна как лед, а Кривцов при всем желании не мог изобразить пламя. Его ухаживания были назойливы, а равнодушие девицы бросалось в глаза. Но зато как же он был доволен, когда однажды, прогуливаясь с ним в саду дачи Строгановых, Катя Вадковская перешла все границы приличия, позволив Кривцову — стыдно сказать! — нести свою шляпу. Такое ошеломляющее доверие было тогда равносильно самому жгучему поцелую...

Да, читатель! Кривцов так много сделал, чтобы осчастливить себя браком с Катей Вадковской, что теперь мы будем уверены в том, что он сделает еще больше для того, чтобы она стала несчастной...

Наконец было принято решение, оскорбительное для Крив-

цова: состоять при посольстве в Лондоне, но... сверх штата, а жалованье угрожало ему всего лишь в 2000 рублей. Не стерпев такого унижения, Кривцов заявил, что весь в долгах, почему он не может покинуть столицу, и царь, снисходя к его слабости, расплатился с долгами Кривцова (заодно уж он выпросил для себя и все годовое жалованье вперед).

К этому времени Кривцов был с Пушкиным уже на «ты», и, провожая его в Лондон, поэт подарил Кривцову исполненный соблазнов «Пукель» Вольтера, приложив к нему свои напутствия:

Прости, эпикуреец мой! Останься ввек, каков ты ныне...

Кривцов остался самим собой, и, униженный сверхштатным положением, он, кажется, был уверен, что сумеет в Лондоне свергнуть официального посла — князя Ливена. Конечно, это ему все-таки не удалось, но скандалов в русском посольстве он устроил достаточно... Пребывание в Англии стало для Кривцова решающим: здесь ему полюбилось все без исключения, и он, как и большинство русских бар того времени, сделался отъявленным англоманом. Яков Иванович Сабуров, хорошо знавший Кривцова, писал, что «ему в Англии все нравилось, особенно аристократия, до того, что он в кругу нашем слыл англоманом, отчего и сам не отпирался». Выше Англии он ничего не знал и признавался охотно в этом своем пристрастии.

— Все, что мы можем придумать лучшего, — говорил Кривцов, — так это лишь перенять все то, что сделано в Англии...

Обремененный солидным багажом английских привычек и вкусов, Кривцов покинул Англию, жаждая перенести на святую Русь английский пейзаж, английские нравы (заодно с пудингами и кровавыми ростбифами), чтобы впредь жить непременно в замке, который он выстроит на родимых черноземах. По дороге домой он задержался в Варшаве, где тогда пребывал Александр I, и предъявил его величеству солидный счет к оплате своих талантов. Это ему удалось, как не удавалось еще никому, Кривцову дали все, что он просил, вплоть до 100 000 рублей ссуды. Но, кроме денег, Николай Иванович выпросил у царя чин статского советника и дом в Царском Селе. Увидев, как он беззастенчиво залезает в царскую шкатулку, историк Карамзин тогда же ядовито заметил в кругу друзей:

— Вот вам и либерал с замашками русского вольтерьянства! Кажется, наш Кривцов из полка республиканцев уже выбыл...

Он вышел из дипломатии, прося о переводе по министерчтву внутренних дел, чтобы получить место губернатора. Тогдашний министр Кочубей соглашался сделать его лишь вицегубернатором то ли в Крыму, то ли в Петрозаводске, и царь соглашался с мнением своего министра:

- Для губернатора в центральных губерниях России вы, согласитесь, еще слишком неопытны и... молоды.
- Вот именно! задиристо отвечал Кривцов. Пока я еще молод, я способен принести пользу государству, а что толку с меня старого, когда я начну посыпать песком ваши парковые дорожки...

Вскоре он повел к венцу Катю Вадковскую, очень выгодную для него, ибо земли Вадковских в Орловской губернии примыкали к наследственным землям дворян Кривцовых, обретенным ими еще при царе Горохе. В августе 1821 года жена одарила его дочерью Софьей (которая позже стала женою Помпея Батюшкова, племянника известного поэта), но с получением губернии князь Кочубей явно тянул. Выручили Кривцова его светские и литературные связи, и тот же историк Карамзин сказал императору:

— Он ведь, пока ему рогов не обломают, все равно не успокоится... Дайте ему губернию, а мы поглядим, как он там — на радость мужикам! — пудинги с изюмом выпекать станет.

Царь рассмеялся и выразил согласие:

— Это верно, Николай Михайлыч! До чего же неспокойный этот Кривцов... как раз вакантно место губернатора в Туле.

Это назначение состоялось в апреле 1823 года. Известие о том, что едет губернатор с ногою, сделанной из легчайшей пробки, не оставило туляков равнодушными скотами, и они дружно высыпали на улицы, встречая губернаторский «поезд» карет и подвод, на которые вкатывалась добротная английская мебель, никак не похожая на отечественные табуретки и лавки.

Далее началась комедия с трагедийным колоритом. Либерал на словах, Николай Иванович на деле являлся сатрапом, прибывшим в Тулу со своими идеями — и попробуйте не уместиться в жесткие шаблоны его воззрений, он вам покажет кузькину мать во всей ее первозданной красоте! Гершензон прав, говоря, что «в натуре Кривцова было что-то нестерпимо-обидное для людей». Считая, что только ему открыта истина, он не желал знать, что люди могут судить совсем иначе, нежели он, и силою втискивал их в условные рамки своих умозаключений, добытых не из опыта путаной русской жизни, а, скорее, высосанных из пальца.

Говорили, что Кривцов преследует взятки, — не спорю, он сам не брал и другим брать не давал. Но, простите, что делать человеку, который не в силах добиться правды до тех пор, пока не сунет в лапу чиновнику? Оставим его оскорбительный тон »

разговорах с людьми, ниже стоящими, — на минутку присядем за губернаторский стол, за которым Кривцов иногда собирал тульских дворян и чиновников с их женами. Конечно, не все они прониклись духом Бенжамена Констана, не все дамы уповали на интимные откровения Жанлис, — так что Кривцову приходилось не беседовать с гостями, а лишь возвещать им нечто, хотя помещиков волновали совсем иные проблемы. Странно было тулякам, что губернатор зовет их к обеду в шесть часов вечера, когда принято ужинать. Разве не противно дворянам глазеть на пустой стол, украшенный блюдцами с изюмом и орехами, когда перед гостями ставились тоненькие рюмочки с портвейном, и следовало растягивать эту рюмочку до наступления ночи. Нет, читатель, туляки в англоманы не годились и уходили, рассуждая:

— Глаза бы мои не видели! По-моему, Карп Харитоныч, лучше уж сразу налить доверху пенную чашу, хватил ее до дна — и спать. А то грызи тут орешки, словно белка, соси изюминки...

Нет, — рассуждали дворяне, — долго он не удержится...

Не удержалась при нем и жена, которую после рождения дочери Кривцов отстранил от себя, заведя пассию Елизавету Горсткину, которую и таскал за собой повсюду. Екатерина Федоровна, чтобы вернуть прежнее расположение мужа, пыталась вызвать в нем спасительную в таких случаях ревность, «однако же, — писал современник, — Кривцов никогда не ревновал, что приводило его жену в отчаяние...»

Освоившись на новом месте своего «княжения», Кривцов начал драться. Во время объезда губернии побил палками станционных смотрителей, которые по Табели о рангах приравнивались к XIV классу, и потому они, как дворяне, стали писать жалобы. Сенат сделал Кривцову выговор, а потом и строжайший выговор. Кривцов отвечал сенаторам, что он «прощает» всех, кого излупил палками, после чего князь Кочубей соизволил заметить:

— Это уже верх неприличия. До чего же неспокойный этот Кривцов! Нет ли для него иной вакансии?

Тула не стала удерживать Кривцова в своих пылких объятиях, провожая «поезд» губернатора насмешками и презрением. Теперь Кривцов ехал губернатором в Воронеж, в указе же было сказано, что он переводится «для поправления губернии», из чего можно сделать вывод, что Тульскую губернию он уже «поправил». Теперь дело за Воронежем, который ждет, не дождется нового владыку. «Сделай милость — усмирись!» — заклинал его письменно князь Петр Вяземский, поэт и приятель Пушкина...

Невольно вспоминаются строки Дениса Давыдова:

А глядишь — наш Мирабо Старого Гаврило За измятое жабо Хлешет в ус и в рыло...

Настал 1825 год, слишком памятный для Кривцова.

Его родной брат Сергей — декабрист и сослан в Сибирь, брат жены Федор Вадковский — тоже декабрист и тоже был сослан, наконец, его фаворитка Лиза Горсткина — родственница декабриста Горсткина, тоже сосланного. Но сам Николай Иванович был весьма далек от событий в Петербурге, делая карьеру в Воронеже, и никак не думал, что год восстания декабристов в столице станет для него годом «революции» воронежских чиновников...

Приехал он в Воронеж, имея самые благие намерения, занял губернаторский дом, который и обставил с комфортом. Он был в расцвете сил, высокий и представительный: имел большой лоб, коротко стрит волосы, носил очки в золотой оправе, отличался красноречием и обладал ловкостью в движениях так, что немногие знали о его протезе. Спору нет, Кривцов был намного умнее и образованнее своих чиновников, явно презирая их, а они, в свою очередь, не выносили его барского тона, глумились над его бескорыстием, исподтишка гадили ему, сочиняя доносы...

Между тем жители Воронежа благословляли губернатора: воронежский старожил Дмитрий Рябинин в 1874 году вспоминал: «Кривцов, не беспокоя их лишними налогами, вымостил улицы и разбил бульвары, выкопал колодцы, чтобы жители не таскали воду из реки ведрами, обставил город добротными зданиями». «Дело», погубившее его, возникло из пустяка. Тяжба некоего Захарова много лет тянулась в Сенате, наконец решилась в пользу истца, и Николай Иванович, довольный таким исходом дела, подписал бумагу в пользу Захарова. Но чиновники, оказывается, изменили в бумаге текст, написав противоположное, а Кривцов подмахнул бумагу, даже не вникнув в нее. Когда же подлог обнаружился, он в гневе вскочил в канцелярию губернаторского правления с угрозами:

— Все у меня в Сибирь по этапу потащитесь... Воры! Кто

подложил мне решение Сената в пользу Захарова? Ты?

Перед ним стоял заслуженный советник Кандауров.
— Мошенник! — И отвесил ему звучную оплеуху.

Вы думаете — Кандауров обиделся или заплакал? Ничуть не бывало! Опытная канцелярская крыса знала, что надо делать в таких случаях. Кандауров обернулся к секретарю правления:

- Будьте свидетелем! И занесите в журнал, что наш губер-

натор, пребывая в состоянии умоисступления, оскорбил меня

рукотворным действием... Поставьте дату и время.

Теперь поехало в Сенат дело о «помешательстве» губернатора. Александр I уже отощел в мир иной, залпы пушек на Сенатской площади возвестили новое время царствования, а Николай I оставался для Кривцова загадкой. Он срочно списался с Карамзиным, спрашивая его совета — как быть? Историк отвечал, что сейчас — после восстания — императору не до Кривцова, и советовал впредь быть в общении с людьми хладно-кровнее...

Кривцов печалился не перед женой, а изливал свои обиды

на пышной груди Горсткиной, которая не покидала его:

 До чего же завистливы и злы эти мелкие людишки, приспособленные едино лишь каверзничать тем, кто благороднее их всех...

Николаю I и впрямь было тогда не до Кривцова, а потому дело о нем он решил осенью 1826 года.

- Не будь я царем, я бы тоже дрался! Но Кривцов превы-

сил все нормы приличия. Уберите его из Воронежа...

Кривцова перевели в Нижний Новгород, где он никого не успел образумить, ничего не построил, зато именно здесь, на берегах матушки-Волги, завершилась его карьера. По делам жениного имения он отъехал в тамбовские края, и, как пишет Гершензон, «проезд его туда и назад оказался для попутных станций настоящим погромом». На всем пути, меняя лошадей усталых на свежих, он безжалостно избивал и калечил палками ямщиков, станционных смотрителей, деревенских старост, и, наконец, нещадно избил арзамасского исправника. Столичные сенаторы еще не разобрались с воронежским делом, как им подсунули новое — нижегородское. Комитет министров вынес решение, что Кривцова «по обнаруженному им строптивому и запальчивому характеру... неприлично и вредно для пользы службы оставлять в звании начальника губернии». Об этом было доложено императору Николаю I.

— Я не понимаю, — сказал он, — отчего так долго возятся с тим неспокойным Кривцовым... Лучше всего его убрать из губерний совсем и причислить к департаменту герольдии. Наконец, — досказал царь, — мне совсем непонятна та щедрость, с какой мой покойный брат одаривал Кривцова деньгами. Пора без проволочки взыскать с него те самые сто тысяч рублей, что

он получил и не думает возвращать...

Узнав об этом, Кривцов кинулся в Петербург, но в столице никто не желал с ним разговаривать: новые времена — новые люди, никакое красноречие не помогло. Тогда он напялил при-дворный мундир, прицепил сзади золотой ключ камергера и

подъехал к Зимнему дворцу, где должен быть бал и «выход» императорской четы. Но обер-камергер, заметив Кривцова, тактично не дозволил ему присутствовать на вечернем балу.

— Но я же камергер двора его величества.

— Это я знаю. Но ваше имя из списка придворных чинов кем-то вычеркнуто, и я подозреваю самое худшее...

14 июня 1827 года Кривцов навестил Карамзина, где повидал и Пушкина; Кривцов сказал поэту, что теперь к его званиям надо прибавлять слово «экс» — экс-баловень судьбы, экстубернатор и экс-богач, который не знает, у кого занять денег.

Только не у меня, дружище! — отвечал Пушкин...

Итак, все кончено, и предстояло еще где-то занимать сто тысяч рублей, чтобы вернуть их в оскудевший «рог изобилия», столь щедрый совсем недавно. Потрясенный крахом судьбы, Николай Иванович с семьей, домочадцами и, конечно же, с Лизаветой Горсткиной отъехал в село Любичи Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Отсюда, кстати, было недалече и до пушкинского имения Болдино Лукьяновского уезда... Жена спросила:

- Друг мой, что ты здесь собираешься делать?

Любичи принадлежали не ему, а его жене, но он решил, что остаток жизни проведет именно здесь — в глуши... Кривцов удалился в подвал усальбы и просил не мешать ему. Весь день он пилил и строгал, сколотив для своих похорон отличный и крепкий гроб. Когда же поздно вечером, закончив работу, он вышел к семье, его не узнали...

Делая себе гроб, он разом поседел.

Началась новая жизнь Кривцова — и в ней, в этой иной жизни, мое мнение об этом неспокойном человеке резко меняется...

Кривцовское имение было продано в счет уплаты казенного долга, о котором Николай I не забывал. Любичи же, в которых он поселился, было имением жены, примыкающим к рубежам Саратовской губернии; имение было сильно запущенным, почти голое, иссушенное зноем место с неплодородными почвами, любичские крестьяне перебивались из кулька в рогожку.

Через несколько лет Любичи было не узнать. Посреди выжженных солнцем пустошей вырос зеленый душистый оазис, в котором сказочно белел стройный замок (мечта англомана всетаки исполнилась). Кривцов закупил в Европе сельскую технику, отстроил мужикам хорошие дома, но и себя не забывал Любичи стали парком, сады и огороды крестьян поражали, плодоносили на славу, а в оранжереях Кривцова вызревали даже

русские ананасы (забытые на Руси после смерти Екатерины Великой).

Все сделал он сам, планируя земли, как отличный геодезист, давая дельные советы, как опытный агроном, а постройки он возводил по собственным планам, как талантливый архитектор. Мало того, Кривцов завел в Любичах школу для детей крестьян, а молодые парни у него тоже не сидели по вечерам на завалинках: Кривцов готовил из них животноводов и мелиораторов, в Любичах появились свои садовники, кузнецы и даже сапожники... Вставая с первыми петухами, Николай Иванович крутился до позднего вечера, поражая всех выносливостью и жестоким педантизмом, обо всем помня, ничего не забывая.

Молва о чудесах кривцовского хозяйствования переплеснула края Тамбовщины, не только местные губернаторы и агрономы, но даже из соседних губерний ехали в Любичи помещики и управляющие имениями, чтобы (как говорится в наше время) «перенять передовой опыт коллективного хозяйствования». Ничего не утаивая от гостей, все им показывая, вплоть до гроба, который он себе приготовил, Кривцов почему-то оставался страшен для большинства гостей, и даже губернаторы садились при нем на краещек стула, становясь косноязычными попутаями: «Точно так-с... совершенно справедливо указываете... возражать не осмелюсь!»

Конечно, Кривцов оставался прежде всего барином, и даже с любичским старостой вел себя деспотично.

— Опять! — не раз кричал он ему. — Ну, куда ты прешься в своих валенках... Разве не видишь, что здесь персидские ковры разложены не для твоей знатной личности...

Дабы раз и навсегда пресечь попытки старосты ступать по коврам, Кривцов прорубил окошко в стене своего кабинета, и теперь ровно в полдень в это окошко просовывалась густопсовая бородища верного Степана, который докладывал:

— Значица, так... Марья Антипова родила, а я ишо вчерась приметил, что Лукерья Горохова с пузом, хоша она явно и не выпячивает. За лесом мужиков послал, как велели; надоть бы нам, барин, Никиту посечь. Ён с похмелюги-то, видать, случал Ксантипку с твоим Фармазоном, жеребцом аглицким, да штой-то у них не заладилось, Ксантипка в стойло ушла печальная...

Пушкин иногда вспоминал друга младости и в феврале 1831 года переслал ему своего «Бориса Годунова»: «Ты некогда быловал первые мои опыты, будь благосклонен и к произведениям более зрелым... Нынешней осенью был я недалеко от 100 (то есть в Болдино). Мне брюхом захотелось с тобою увинениям и поболгать о старине... Ты без ноги, а я женат, или

почти... Прерываю письмо мое, чтобы тебе не перепать моей тоски. Тебе и своей довольно...» Вскоре после пушкинского письма Екатерина Федоровна заметила в муже какое-то нервное оживление и догадалась, в чем причина его:

- Очевидно, тебя угнетает известие, что граф Дмитрий Блу-

дов стал во главе внутренних дел... твой приятель?

— Да, мы друзья по «Арзамасу» и по Лондону. - Лумаещь с его помощью вернуться на службу?

Ла, граф Блудов одним махом мог исправить его карьеру. но Кривцов, залетая, как всегда, выше меры, просил у приятеля Саратовскую губернию, а Блудов соглашался на Вятскую. и. конечно. Кривцов счел это унижением для себя, тем более что император обещал принять Кривцова на службу лишь «для испытания его качеств». Унижение не помещало Николаю Ивановичу выпросить — через Блудова — пенсию на старость...

— Я человек бедный, — скромно сказал он жене. Круг его друзей сузился, его навещали соседние помещики - Варвара Тургенева, мать писателя, поэт Евгений Боратынский со своими шумными братьями и величавый профессор Борис Чичерин, дядя будущего ленинского наркома; иногда в Любичи наведывался поэт князь Петр Вяземский (которому было суждено оставить интересные воспоминания о Кривцове).

— Я старею, — жаловался Кривцов гостям. — Начались какие-то странные боли в той ноге, которую мне столь великодущно оторвал Наполеон при Кульме... Впрочем, гроб уже приготовлен, эпитафия с гербом сочинены мною, так что моей вдове не придется хлопотать о создании надгробного памятника.

Серьезно о своей жене Кривцов никогда не высказывался, и его отношения с нею, однажды разладившись, никогда не были реставрированы. С непонятной жестокостью он словно казнил ее своим упорным молчанием, он угнетал и мучил ее своим невыносимым характером. Кажется, Кривнову даже доставляло удовольствие наблюдать, как из былой самостоятельной женщины она в его руках становится выжатой тряпкой. Время от времени он навещал Пензу, где проживала его старая пассия Горсткина. и при этом требовал, чтобы жена сопровождала его. Так безжалостно растаптывал он ее женскую честь... Зато вот свою дочь Софью он обожал, с нею он всегда беседовал как бы на равных, перед девочкой Кривцов распахивал книжные шкафы, и дочь, воспитанная им, еще в детские годы отпугивала гостей свое беспощадной эрудицией, а высокой образованностью она невольно напоминала отца в его молодые годы (Софья умерла в 1901 году, будучи женою писателя и педагога Помпея Батюшко ва, младшего брата нашего известного поэта)...

Годы шли, а боли в отсутствующей ноге усиливались, причиняя Кривцову невыносимые страдания, которые он, обладавший большой силой воли, тщательно скрывал от домашних. Но вскоре пришлось расстаться с протезом, а дрессированный пудель стал подносить хозяину костыли. В добрую минуту жизни Кривцов подал жене рисунок, украшенный «адамовой головой», под оскалом которого была начертана надпись: «Ни на что не надеясь, ничего более не стращусь».

- Что это? невольно ужаснулась жена.
- Эпитафия для моего надгробия...

Почуяв нечто, открытое лишь ему одному, Николай Иванович вдруг обернулся для жены нежным и заботливым мужем, эта неожиданная любовь под знаком «адамовой головы» уже ничего не могла исправить в их отношениях, заскорузлых под его гнетом, и бедная женщина могла теперь ответить на любовь мужа только одним — рыданиями. На каждое ласковое слово, услышанное от мужа, Екатерина Федоровна отвечала ему только слезами...

Лето 1843 года выдалось невыносимо жарким, но Кривцов — именно в такую теплынь — сильно простудился. Два дня он провел в кабинете, сидя в вольтеровском кресле, и в полдень ждал, когда в стене растворится окошко, из которого высунется бородища старосты... 31 августа староста с толком доложил барину, что в Любичах все в порядке, мериносовое стадо погнали на новые пастбища, пьяных нет, народ занят полевыми работами, никто не умирал и никто не родился, а сечь некого.

Слышь ли, барин? Я говорю, что сечь некого...
 Кривцов, сидящий в кресле, ничего не ответил.

Его похоронили в чистом поле за Любичами, и так странно было видеть потом в этом безлюдье часовню, которая укрывала его могилу.

Екатерина Федоровна на 18 лет пережила своего мужа, все годы своего вдовства посвятив одному лишь великому чувству — любви к нему, даже мертвому. Все худое было прощено и забыто, а жалкие крупицы добра его вдруг засверкали, словно илмазы, освещая прошлое благородным светом.

До чего страшно было ей, старухе, теперь слышать из кабинета, в котором скончался Кривцов, молодой баритон зятя и отчетливо всплески поцелуев, которыми ее дочь, ставшая Багюшковой, оделяла своего мужа. Дочери она сказала:

— Несчастная! Как ты можещь целоваться среди тех стен, которые окружали твоего отца в день его кончины?..

Все, связанное с Кривцовым, теперь для нее было свято. И

наконец наступил торжественный и великий для нее день, когда она, уже старуха, с трепетом развернула дневник покойного мужа, который он вел еще в дни своей молодости. Нет, не знала она, как он был влюбчив, какой страстью пылал он к какой-то женевской Амалии, как отвергла его в Швейцарии бедная перевозчица через озеро. Наконец она прочитала и о том, как был счастлив Кривцов, когда она, юная Катя Вадковская, однажды великодушно позволила ему нести свою шляпу...

Но... что это? Вот этого-то она и не ожидала!

Дневник Кривцова был насыщен признаниями в любви к Отечеству, к своему народу, который он боготворил, предвидя его великое будущее, и Кривцов, неспокойный и нетерпеливый, все-таки находил время, среди множества удовольствий молодости, целые страницы исписывать признаниями в своем патриотизме. «Служить для блага Родины — вот единственная цель всех моих помыслов, всех трудов и всей самой жизни». И уж совсем неожиданно для Екатерины Федоровны было узнать, что ее муж смолоду был убежденным противником крепостного права. Это ее ошеломило, она еще раз перечитала слова Кривцова, начертанные им еще в 1814 году: «Рожденный и воспитанный в стране рабства, я слишком хорошо знаю, каково оно, и могу только страдать от сознания, что никогда не увижу расторгнутыми эти позорные цепи».

— Бедный ты мой Кривцов! — расплакалась вдова...

Она скончалась в 1861 году, повторяя перед кончиной только одно, самое для нее светлое, самое радостное:

- Скоро мы будем опять вместе...

ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН

Шел 1808 год, когда наполеоновские войска, покоряя Прусское королевство, вторглись в «вольный» город Гамбург. к тому времени идеи «свободы, равенства и братства» для них уже ничего не значили, и, покоряя народы, французы вели себя захваченных странах чересчур нагло... На улицах Гамбурга они устроили облаву на молодежь, чтобы принудить ее для службы в армии Наполеона. В толпе немецких юношей, окруженных цепью штыков, слышались стоны, проклятья, мольбы, а од ин из немцев, еще подросток, гневно кричал:

 Отпустите меня... я хочу домой! Я ведь не живу в Гамбурге — я из датской Альтоны, это рядом! Вы не имеете права...

Конвоиры, помогая себе прикладами ружей, только смеялись над этими наивными словами. Всех пойманных они загнали в здание казармы, наступила ночь, часовой возился с кремнем, высекая искру, чтобы раскурить трубку. Вдруг на его голову со звоном посыпались разбитые стекла, и в тот же миг из окна второго этажа метнулась тень подростка, совершившего прыжок.

— Вернись! — крикнул часовой. — Не заставляй стрелять... Ответом ему был топот убегающих ног. От Гамбурга до нейтральной Альтоны было рукой подать, и беглец, зябко дрожа, скоро постучался в двери родного дома.

— Слава всевышнему! — воскликнул учитель Якоб Струве,

впуская сына под сень своего дома. — Где ты пропадал?

— Отец, — отвечал Вилли, — мне еще здорово повезло. Но

французы так обнаглели, что завтра их можно ожидать даже в нашей тихой Альтоне... я должен бежать!

— Куда?

— Только в Россию, ибо только эта страна способна дать мне покой, только она может устращить Наполеона...

Так Вильгельм Струве, сын альтонского учителя, оказался в России, где и стал называться Василием Яковлевичем.

В его судьбе еще ничего не было решено.

Почти вся Европа уже была растоптана железной пятой Наполеона, а старый учитель со слезами читал письма сына, писанные по-латыни из тихого университетского Дерпта.

— Мой мальчик Вилли уже студент, он станет филологом и зарабатывает сам — гувернером в добром семействе... Его сочинение об ученых древней Александрии удостоилось золотой медали. Бедная моя Марта, почему ты не дожила до этих дней, чтобы радоваться вместе со мною?..

Сыну исполнилось лишь восемнадцать лет, когда он окончил университет, ему предлагали место старшего учителя истории в дерптской гимназии; юноща отказался, говоря, что теперь увлечен математикой и астрономией. Это правда — дерптская обсерватория стала для него святыней, многие инструменты в ней лежали еще в ящиках, нераспакованные, Струве сам их собирал, по ночам всматривался в таинства звездного мира... Наполеон, бежавший из Москвы, откатывался и далее. Летом 1813 года Струве защищал свой научный трактат на соискание степени магистра математики и астрономии, а в самый разгар научного диспута с улицы протрубил рожок почтальона, кричавшего:

 Друзья, корсиканец разбит в битве под Лейпцигом...
 Летом он навестил родительский дом в Альтоне, состарившийся отец сказал ему:

— Спасибо тебе, сын мой, что показал мне свои дипломы и медали из чистого золота, а я тоже приготовил тебе нечто такое, что дороже всего золота на свете... Эмилия, где ты? — позвал он с веранды. — Не стыдись, моя девочка...

Эмилия Валл, наполовину немка, наполовину францужен ка, удачно сочетала в себе качества добропорядочной немец кой хозяйки с изящным кокетством парижанки. Устоять перел нею было невозможно, через год уже состоялась их свадьба, и и самый разгар ее, когда сдвинулись бокалы над столом, дверь и улицы распахнулась настежь.

— Вилли! — крикнул сосед жениху. — Ты будешь очень счи стлив с этой женою... твой первый поцелуй, ей подаренный, отмечен победным грохотом пушек в битве при Ватерлоо!

Войска Блюхера и герцога Веллингтона закончили всем уже опостылевшую «эпоху Наполеона», и отныне все дороги Европы, ведущие в города, славные университетами и обсерваториями, стали открыты для ученых, открыты и безопасны. Счастливые, рука в руке, молодожены ехали в Дерпт, и здесь Василий Яковлевич построил себе домишко, а Эмилия рожала одно дитя за другим, отчего вскорости ученый, дабы ему детвора не мешала, устроил кабинет на чердаке. Жалованье увеличили, но его все равно не хватало на такую ораву, а милейшая Эмилия неустанно выпячивала живот, говоря мужу:

— Вот тебе еще! Подумай о своих детях... здесь тебе только обещают кафедру профессора, а не лучше ли сразу бросить Дерпт и уехать в Грайфсвальд, где обещают твои заслуги оценить по достоинству.

Но Струве, исполненный сил, уже привык считать себя русским ученым, он возлюбил русские морозы, он охотно возглавил пожарную команду дерптских студентов, он ухаживал за парком университета, но он не желал быть ни ректором, ни деканом, ни чертом, ни дьяволом...

— Помилуйте! — доказывал он начальству. — Я ведь астроном, следовательно, я не имею права спать ночами, как все порядочные люди... Посудите сами: какой из меня декан, если я днем буду отсыпаться после ночного общения с планетами? — А жене Эмилии он говорил: — Что мне этот Грайфсвальд, если в Петербурге задумались о создании помпезной обсерватории в Пулкове! Передо мною откроются новые загадочные миры...

Струве не было и тридцати, когда его избрали членом-корреспондентом Академии наук, затем почетным членом, а в 1832 году Василий Яковлевич стал ординаторным академиком, что обязывало его жить в столице, но ему разрешили оставаться в Дерпте, ибо столица еще не имела хорошей обсерватории. Эмилия жаловалась своей подруге — тихой Иоганне, дочери дерптского профессора математики Бартельса:

- --- Яганна, хотя мой Вилли ночует в обсерватории, но конца своим тягостям я не вижу. Смотри, опять я раздулась, как лягушка. Если Петербург обзаведется своей обсерваторией, как нам расстаться с тихим и милым Дерптом, где так хорошо моим деточкам!...
- Молчи, Эмилия, не доводи меня до слез, отвечала подруга. — Я не переживу разлуки с тобой и твоими детьми...

Струве выезжал в Москву, чтобы наладить работу обсерватории в тамошнем университете, он бывал и на берегах Невы, локазывая, что академическая обсерватория никак не соответствует уровню русской науки и ее международного авторитета:

- Нельзя же холить ее лишь по той причине, что начало ей

положил еще Петр Великий, как можно не понимать, что сотрясение нежнейших приборов от проезжающих карет и воздух уже не прозрачный, задымленный фабриками и пароходами, поставили непреодолимый барьер точным исследованиям.

Человек практичный, Струве в интересах науки иногда был способен и поинтриговать, но опять-таки не ради личной корысти. Был уже 1833 год, когда Дерпт посетил министр народного просвещения граф С. С. Уваров, который был в восторге от того, что местные профессора жили дружно, никаких склок меж ними не возникало, никто никого не подсиживал, никто другим не завидовал... В письме к императору Николаю I министр назвал Струве «украшением Дерптского университета». Василий Яковлевич, предчувствуя, что будущее Пулковской обсерватории во многом будет зависеть от Уварова, решил польстить графу, дабы заранее заручиться его могучей поддержкой...

— Как вы это сделаете? — спросил его Бартельс. — Ведь его сиятельство совсем не дурак, он человек высокообразованный, недаром в молодости он ублажал капризную мадам де Сталь.

- Что-нибудь придумаю, - отвечал ему Струве...

Уваров, конечно, не отказался от посещения обсерватории Дерита, славной своим новым рефрактором. Струве, приняв высокого гостя, сразу пожаловался на дурную погоду.

— По сей причине, мой экселенц, я и не стал приглашать вас для ночного лицезрения небесных светил. Если же вам угодно, можете осмотреть угол неба... хотя бы в этой его части. Прошу.

Уваров приник к оптике и — отшатнулся:

- Что я вижу? Ослепительная звезда...
- Не может быть, экселенц.
- Не верите? Так смотрите сами...

Василий Яковлевич глянул на небеса.

— Поздравляю! — закричал он. — Вы, экселенц, совершили научное открытие... Как же мы, астрономы, до сей поры не могли увидеть этой звезды? Позвольте, ваше сиятельство, внести ее в небесный каталог, как дополнение к сицилийскому альбому Пиацци, и впредь эта звезда, открытая вами, останется существовать под вашим именем... Ну, вот! — сказал он потом приятелю Бартельсу. — Теперь министр, польщенный научным «открытием», от меня не так-то легко отделается, а казна России денег на Пулковскую обсерваторию жалеть не станет...

Приходя домой, Струве иногда брался за розги:

— Ну-с, академическое потомство... Если вы не прекратите беситься, содрогая мой кабинет своими плясками, я найду минуту свободного времени, чтобы пересечь вас всех по старшинству или в порядке алфавита ваших имен...

Эмилия, вознаградившая его двенадцатью чадами, снова беременная, 1 января 1834 года она родила последнюю дочь — Эмму, а на следующий день в муках скончался Альфред, ее старший сын, уже юноша. С женою случилось страшное нервное потрясение, и перед кончиной она просила мужа наклониться нал нею.

- Спасибо за все, сказала она, но я останусь еще более благодарной на небесах, если ты, Вилли, исполнищь мою послелнюю волю.
 - Говори, заливался Струве слезами.
- На этом свете меня может заменить для тебя и наших детей только одна женщина... Яганна Бартельс! Поклянись, что ты не будешь искать другую, а женишься на ней.

 Клянусь, — отвечал Василий Яковлевич...
 Похоронив Эмилию, он очень скоро ввел в свой дом Иоганну Бартельс, которая вскоре родила ему еще четырех детей. Выбор покойной жены оправдался: вторая жена стала для своих и приемных детей чудесной любящей матерью, а Василий Яковлевич любил Яганну, как любил когда-то и покойную Эмилию.

Но с той поры дерптская жизнь стала для него тягостной. он и сам уже мечтал перебраться в Петербург, чтобы от Пулковских высот пролегла в его судьбе четкая и прямая линия Пулковского меридиана...

Александр Брюллов проектировал и строил Пулковскую обсерваторию под зорким наблюдением самого Струве. Строили быстро: в июне 1835 года обсерваторию заложили, а в августе 1839 года уже состоялось ее торжественное открытие.

— Вы себя увековечили, — сказал Струве архитектору...

В ту пору еще не было такой дурной привычки — сначала все вырубить, а потом строить на голом месте: Пулково с лавних времен было цветущим фруктовым садом, таким я запомнил его еще ребенком, в предвоенные годы. Война безжалостно разрушила этот волщебный оазис, оставив от создания Брюллова только руины, но могила Струве каким-то чудом уцелела...

Василий Яковлевич стал первым директором обсерватории в Пулкове, которая не сразу, но все-таки стала «астрономической столицей земного шара». Нигде в мире не было таких сверхточных и совершенных инструментов, не было и такой дружбы ученых; оторванные от столицы, астрономы жили как бы в единой семье, а дом директора стал их столовой и клубом. Слишком высок был тогда авторитет Гринвичской обсерватории. но ее директор Эйри, побывав в Пулкове, выразился так:

- Каждый астроном обязан поработать и пожить в Пулкоме, если он желает остаться на уровне передовых знаний...

Нигде не было столь точных часов, как в Пулкове — пулковским временем жила не только столица, но и вся Россия. Когда приезжали важные гости, Василий Яковлевич водил их по залам обсерватории, словно в музее, с трепетом доставая из шкафа подлинные рукописи Кеплера или Коперника, разворачивал древний персидский манускрипт Улутбека, найденный в руинах самаркандской мечети. «Пулковская обсерватория, — были записаны его подлинные слова, — есть осуществление ясно осознанной научной идеи в таком совершенстве, какое только возможно...»

— Возможно и гораздо большее, — говорил Струве близким, — но жалованые астрономов ничтожно по сравнению с физиками, врачами и музыкантами... Очевидно, люди еще не видят практической пользы от изучения космоса. Пожалуй, вот только морские штурманы да офицеры Генштаба...

Нет смысла приводить перечень трудов Струве и его научных открытий — об этом можно узнать из любой энциклопедии, а мне желательно говорить о нем как о человеке. Примерно с 1843 года Василий Яковлевич стал понемногу отходить от ночных бодрствований возле рефрактора или телескопа, все больше отдаваясь кабинетной работе, но раньше трех часов ночи он все равно никогда не ложился и до 65 лет никогда и ничем не болел.

Наружность его была суровая, но плохое настроение или безделье были ему неизвестны. Это был великий труженик, приучивший себя и своих детей ценить даже минуты, пустой болтовни Струве не признавал. У него было хорошее качество: умея дружить с высоким начальством, он был другом и своих подчиненных. В отношениях с людьми несправедливости не допускал, а когда маленький человек говорил Струве о своих мелких нуждах, ученый принимал их к сердцу, как и дела высокого государственного значения...

Высокий ростом, почти великан, с седыми волосами, падавшими на воротник, тонкие губы упрямца и две складки раздумий между нахмуренными бровями — таким он запомнился современникам. Смолоду хороший гимнаст, Струве до старости катался на коньках, обучая держаться на льду своих внуков и правнуков. Сын его Отто Васильевич, тоже ставший астрономом, иногда замещал отца на посту директора обсерватории... Январь 1858 года стал для Струве трагическим.

— У меня какое-то странное недомогание, — пожаловалов он жене. — Что ж, это время болезни я использую для активной кабинетной работы. Врача не надо — лучший доктор это работа!

14 января Отто Васильевич Струве отмечал день ангела смо-

ей жены, и отец его, сидя за праздничным столом, выглядел оживленным и даже веселым. Неожиданно он встал из-за стола:

- Наверное, мне лучше прилечь...

На его шее жена заметила большую опухоль. Утром врачи сделали операцию, удалив опухоль, но Василий Яковлевич облегчения не испытал. Самое страшное случилось, когда Струве вдруг полностью потерял память, не в силах вспомнить о простейших вещах. Его могучий мозг, всю жизнь ворочавший массой цифр, многомиллионных астрономических чисел, теперь этот мозг, лишенный памяти, стал беспомощным, как мозг ребенка...

- Папа, что ты помнишь? -- спрашивал его сын.
- Я хорошо помню только далекое прошлое. Помню, как французы ворвались в Гамбург, помню цветы на полянах, мимо которых неслись тогда кони, увозившие меня в Россию...

«Странно, — писал его сын, — что многие вопросы, которые до болезни были предметом его главного интереса, теперь, по-видимому, совсем изгладились из его памяти...» Василий Яковлевич лечился на европейских курортах, а после долгого пребывания в Алжире вернулся в Петербург достаточно бодрым, но память его оставалась слабой, и Струве запросил об отставке. Вся его семья покинула Пулково и перебралась в городскую квартиру. К тому времени он совершенно забыл о многих своих работах и на два тома «Описание меридианной дуги» смотрел даже с некоторым удивлением, как на чужую работу.

Наконец усилием воли он вспомнил все и сказал:

— А третьего тома уже не будет...

Но, оставаясь верным себе и своему каторжному режиму, Струве все равно продолжал фанатично трудиться, он писал, писал, писал. Увы, все им написанное уже не имело никакой научной ценности.

Ночью 11 ноября 1864 года Василий Яковлевич скончался.

Потомство великого русского астронома раскинулось по миру слишком широко, были среди них ученые, генералы, дипломаты, в 1963 году умер его правнук Отто Людвигович — ведущий астроном США. Среди потомков Василия Яковлевича более известен его родной внук Петр Бернгардович, которого у нас принято не хвалить, а ругать, ибо он в учении марксизма видел утопию, сотканную из нелепых противоречий, отвергал учение о социалистической революции, ему, прирожденному интеллитенту, казалась чушью мысль о так называемой «диктатуре пролетариата», которая ничего доброго народу принести не могла...

Академик с 1917 года, он был исключен из Академии наук в 1928 году и выехал за границу.

РЕЗАНОВСКИЙ МАВЗОЛЕЙ

Повесть начнется с осени 1802 года, но, верный своим навыкам — забегать во времени вперед, я приглашаю читателя в Калифорнию 1847 года, когда эти края навестил известный английский мореплаватель и ученый Джордж Симпсон.

Сан-Франциско еще не блистал огнями, к северу от Сакраменто бурная Славянка впадала в залив Румянцева, в устье этой реки высился гордый Форт-Росс, окруженный множеством ранчо русских поселений, где они выращивали редьку в пуд весом, а к югу от Сан-Франциско располагался Монтерей — столица всей испанской Калифорнии. Уроженец тех краев американский писатель Брет Гарт вспоминал, что случилось тогда в цитадели праздничного Монтерея:

Много собралось народу на торжественный банкет, Принимал все поздравления гость, английский баронет. Отзвучали речи, тосты, и застольный шум притих: Кто-то вслух неосторожно вспомнил, как пропал жених. Тут воскликнул сэр Джордж Симпсон:

— Нет, жених не виноват!..

Старые гранды, хозяева Монтерея, еще не забыли, как давдым-давно сюда ворвался под парусами русский корабль, с него сошел на берег дипломат царя Николай Резанов, а донья Кончита, юная дочь коменданта, тогда же отдала ему руку и сердце, поклявшись ждать, когда он вернется снова, чтобы увезти ее в заснеженную Россию. Но с тех пор минуло сорок лет, Резанов не возвратился, а Кончита, старея, все ждала его, все ждала, ждала...

Иногда она в печали слышала безгласный зов.

- Он придет, цветы шентали.
- Никогда, неслось с холмов...
- Нет, жених не виноват! провозгласил сэр Джордж Симпсон. У нас в Лондоне хорошо знают его историю. Резанов, влюбленный в юную испанку, скакал через Сибирь как бешеный, зная, что невеста обязалась ждать его два года, и во время скачки он выпал из седла и разбился насмерть. Думаю, пылкая испанка, прождав два года, давно забыла о нем! А жива ли она? вдруг спросил Симпсон.

Разом все стихло. Из-за стола поднялась пожилая, но еще красивая испанка — вся в черных одеждах.

— Это... я! — сказала она, и стало еще тише. — Нет, сэр, не два года, а двадцать раз по два года я жду, все СОРОК ЛЕТ...

Джордж Симпсон растерялся, никак не готовый встретить испанскую Пенелопу, почти полвека ожидавшую своего Одиссея.

- Простите, единственное, что он мог ей сказать.
- Все кончено, отвечала ему Кончита Консепсьон, выходя из-за стола, и теперь мне уже некого ждать.
 - Простите, еще раз повторил британец.

А под белым капющоном на него глядел в упор Черным углем пережженный женщины безумный взор. «А жива ль она?» Кончиты раздалися тут слова:

— Нет, синьоры, вы считайте, что отныне я мертва...

iter, eminoput, nut e uritaire, ite emine a mepinam

— Мертва, мертва, а я один. Зачем ты покинула меня?
Так рыдал над гробом жены Николай Петрович Резанов, и
мы, читатель, возвращаемся в осень 1802 года, когда на клад-

мы, читатель, возвращаемся в осень 1802 года, когда на кладбище Петербурга выросла новая могила. Сенатский обер-прокурор похоронил свою жену Анну, дочь знаменитого Шелихова, которая оставила ему малолетних детей, в том числе и млаленца — дочь Олю, которой исполнилось лишь 12 дней...

Николай Петрович навестил поэта Державина:

— Гаврила Романыч, — сказал он ему, рыдающий, — чувствую, жизнь покидает меня. А на детей глядя, едино лишь растравляю свои сердечные раны... Что делать? Подскажи!

Резанов был автором проекта о посольстве в Японию, он же ратовал о коммерческих связях русской Аляски с русскими к Калифорнии, и Державин сказал, что развеять свое горе вдомец может лишь в дальнем путешествии, какое и готовится:

- Думаю, государь одобрит твое назначение...

Александр I согласился, добавив:

— С тех пор, как еще во времена моей великой бабки Екатерины берега Японии посетил наш корабль лейтенанта Лаксмана, японцы соглашались принять наше посольство. Мало того, у нас давно живут немало японцев, которых бурями прибило к берегам России, и надобно бы вернуть их на родину...

Предстояло первое кругосветное путешествие россиян. Кронштадт снаряжал корабли «Надежда» и «Нева», которыми ко-мандовали капитан-лейтенанты Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский, а в Петербурге Резанов собирал штаты посольства, ученых, врачей, ботаников и «кавалеров», столь необходимых для вящей пышности, при этом в «кавалеры» попал и буйный поручик гвардии граф Федор Толстой, которого позже обессмертил Грибоедов в строфах из «Горя от ума»: «Ночной разбойник, дуэлист... и крепко на руку нечист...»

— Я тоже не сижу без дела, — сказал Резанову император, составляю послание на имя японского императора, которое будет писано чистым золотом на веленевой бумаге в окружении даров природы, а вы подумайте о щедрых презентах...

Список подарков для микадо лежит передо мною, занимая целую страницу печатного текста. Выделю главные: сервизы и вазы из фарфора, ценные ковры, меха лисиц и горностая, парча, атлас и бархат, «кулибинские» фонари для освещения улиц. ружья, сабли и пистолеты, гарнитуры пуговиц, генеральные карты Российской империи и прочее. Резанов, думая о жителях русской Аляски, не забыл погрузить на корабли и целую библиотеку, в которой были стихи и книги по экономике, «скотский лечебник» и херасковская «Россияда»... Ах, как много людей чаяло попасть в эту экспедицию! Просились персоны важные и мелкотравчатые людишки: «Ревность к службе и любовь к Отечеству суть главные причины, побудившие меня утруждать начальство об удостоении меня иметь честь быть в числе избранных к свершению столь славного подвига, труды и опасности коего не в силах умалить моего патриотического усердия... У Сейчас так не пишут!

27 июля 1803 года якоря были выбраны, паруса подняты. Лондон в ту пору забавлялся карикатурами на молодого Наполеона, угрожавшего англичанам высадкой десанта. Английские многопушечники, встретив у своих берегов русские корабли, сначала приняли их за французские, но, распознав ошибку, прислали бочонок рома, а русские отдарились от ник бочкою с клюквенным вареньем. В конце октября «Надежда» и «Нева» были уже на Канарских островах, которые издали кам лись сущим раем. Но, попав на берега, матросы увидели, что много канарцев спят прямо на улицах, никогда крыши над головой не имея. Крузенштерн записывал: «Всеобщая бедность народа, небывалый разврат женщин и толпы тучных монахов, шатающихся ночью по улицам для услаждения чувств своих, — суть такие отличия сей страны...» В конце ноября, когда над крышами русских деревень задували снежные вьюги, русские корабли, изнуренные жаром и штилями, пересекли экватор, а матросы, разбежавшись по вантам, трижды провозгласили «ура»... Впереди лежала Бразилия!

Крузенштерн и Лисянский распорядились:

— Все матросы в Бразилии получат от нас по пиастру...

Четыре недели оставались возле острова Санта-Екатерина, ремонтировались после штормов. Именно здесь, в видимости берегов Бразилии, стали портиться отношения Резанова с командирами кораблей и офицерами. Николай Петрович, поставленный во главе всей экспедиции, не вмешивался в дела Крузенштерна и Лисянского, тактично считая себя лишь «пассажиром». Вражда возникла по вине «кавалера» графа Толстого, который объявил Резанову «матерную войну» и часто, будучи пьяным, оскорблял Резанова, не стыдясь матросов, а моряки пока что не вмешивались в дела посольства, наверное полагая, что брань графа — дело не морское, а из лексикона дипломатического.

— Во как заливает! — смеялись матросы. — А ведь граф... таки-то слова у нас и в деревне отродясь не слыхивали.

Николай Петрович не раз грозил Федору Толстому:

— Только бы нам до Камчатки добраться, ваше сиятельство, там-то, граф, вы в остроге у меня насидитесь...

(Об этом, читатель, Грибоедов не забыл помянуть: «В Камчатку сослан он, вернулся алеутом...»). Глядя на поведение «кавалера» посольства, и офицеры кораблей стали относиться к Резанову без должного решпекта, а скоро дипломат рассорился с Крузенштерном. Существует большая литература об этой ссоре, о которой раньше много писали, а наши историки о ней нарочито умалчивают, оберегая бесспорные авторитеты участинков экспедиции. Суть же разногласий была такова: Крузенштерн, не имея на то никаких прав, требовал от Резанова подчинения ему, а Резанов, имея полномочия посланника и начальника всей экспедиции, не желал подчиняться капитан-лейтенанту. Однако, вдоволь наглядевшись на то, как вечно пьяный «кавалер» посольства Толстой оскорбляет своего же посла, Юрий Лисянский перестал принимать от Резанова почту, говоим, что чужих писем читать не любит, а распоряжения принимаст лишь от Крузенштерна.

- Чужих писем читать я не привык, а что касаемо важных

распоряжений, так ожидаю и таковые токмо от Крузенштерна...

Читатель, надеюсь, догадался, что конфликт назрел, достаточно одного неосторожного слова, чтобы скандал разразился. Однако впереди предстояло огибать проклятый мыс Горн, где блуждала легендарная тень «летучего голландца», и, обогнув этот мыс, корабли из Атлантики перешли в Тихий океан, а там, гляди, как бы не проскочить мимо острова Пасхи, а в пути до Пасхи корабли потеряли один другого, — посему всем, кроме беспутного графа Толстого, было не до выяснения отношений, и Крузенштерн, усталый от недосыпания, наказал вахтенному офицеру:

— Впереди архипелаг Маркизских островов, так вы, любезный, не проскочите мимо Нука-Гива, где наверняка нас ожидает «Нева» Лисянского, дабы следовать совместно далее...

Нука-Гива открылась гремящими со скал водопадами, «Нева» уж стояла на якоре, поджидая «Надежду», вокруг кораблей плавали множество островитян, предлагая в обмен на куски железа кокосы и бананы. Крузенштерн выступил перед матросами с призывом:

— Дикарей не обижать! Помните, что российский флот здесь видят впервые, и я уверен, что мы покинем Маркизские острова так, чтобы оставить по себе только самую добрую память...

Но, призывая не обижать дикарей, Крузенштерн здорово обидел Резанова, человека от дикости далекого. Случилось это так. Пока команды выменивали плоды и фрукты, Резанов велел выменивать у островитян предметы их обихода — для этнографической коллекции Петербургской академии наук. Но Крузенштерн ученых, что подчинялись Резанову, разругал, велев им не заниматься «глупостями», а все, что они собрали, отнял у них. Не понимаю — зачем?

- 2 мая 1804 года Резанов сказал Крузенштерну:
- Не стыдно ли вам *ребячиться*, свою власть показывая и не позволяя мне исполнять то, что положено экспедиции?
 - «Вдруг закричал он (Крузенштерн) на меня:
 - Как вы смели сказать, что я ребячусь?
 - Весьма смею как начальник ваш.
 - Вы начальник? А знаете ли, как я поступлю с вами?... >

Этот волшебный диалог имел продолжение. Крузенштерн вломился в каюту посланника, угрожая ему расправой, потом вызвал на борт «Надежды» Лисянского с его офицерами, и теперь офицеры двух кораблей стали кричать:

- На шканцы его! Вот мы проучим этого самозванца.
- Дайте мне молоток и гвозди, кричал граф Федор Толстой. — Я заколочу дверь в его каюту, и пусть он там сдохнет...

«Граф Толстой, — писал Резанов, — бросился было ко мне, но его схватили и послали лейтенанта Ромберга, который пришел ко мне сказать: «Извольте идти на шканцы...» Резанов послал его подальше. Тут вломился к нему сам Крузенштерн и стал кричать, чтобы шел наверх, и доказывал, что он здесь начальник. Делать нечего — Николай Петрович поднялся из каюты на шканцы, захватив с собою шкатулку с государственными бумагами:

- Слушайте! Читаю вам, что подписано самим императо-

ром...

Александр I писал: «Сии оба судна, — то есть «Нева» и «Надежда», — с офицерами и служителями поручаются начальству *Вашему*». Когда Резанов прочел эти слова, раздался хохот и выкрики.

— Кто подписал? — требовали офицеры.

- Сам государь император, - отвечал им Резанов.

– А кто писал? — ехидно вопросили его.

— Имени писаря не знаю, — сознался Резанов.

Тут раздался торжествующий выкрик самого Лисянского:

— То-то и оно-то! Мы хотим знать, кто писал, а подписать, мы знаем, император любую челуху подпишет...

Один только лейтенант Петр Головачев вступился за Николая Петровича (за что потом он и поплатился своей жизнью на острове Святой Елены), а все остальные офицеры говорили:

— Ступайте со своими бумагами, мы таких начальников не знаем, а подчиняемся только своим капитан-лейтенантам.

«А лейтенант Ратманов, ругаясь, при этом говорил: «Он еще и прокурор, а законов не знает», и, ругая (меня) по-матерному, Ратманов кричал: «Этого-то скота заколотить в каюту!» Граф Федор Толстой уже стоял наготове — с молотком и гвозлями...

 Вы еще раскаетесь, — сказал Резанов, покидая шканцы...

В каюте духота, зной тропический, посланник на палубу уже не выходил, ибо матросы, жалеючи его, предупредили, чтобы не высовывался — граф Толстой и за борт спихнуть может, — а в это время, когда Резанову было плохо, Крузенштерн запретил врачам навещать его, «хотя на корабле все знали, что посланник сильно занемог». Без его участия офицеры принимали короля Нука-Гивы, который в обмен на топор и бразильского попутая дал морякам двух свиней. Матросы огорчились таким обменом:

- Мяса нет, а одними бананами сыт не будешь...

Крузенштерн тоже побаивался — как бы экипаж не свалипп, цинга. Он надеялся раздобыть свежей провизии на Сандви-

чевых островах, но тамошние жители на железки уже не глядели, требуя сукно.

- А сукна у нас нет, - опечалился Крузенштерн...

Здесь корабли расстались: Лисянский увел свою «Неву» на остров Кадьяк, а Крузенштерн направил «Надежду» в порт Петропавловск-на-Камчатке... Почему не в Японию? Да по той причине, что сам же Резанов не захотел являться японцам в дурном виде:

— В таких склочных условиях, когда все перегрызлись, будто собаки худые, да еще изнуренный болезнью, я никак не могу выявить достоинства посла российского... Лучше уж на Камчатку! Там мы и разберемся — кто тут начальник, я или вы? Вместе с русскими плыл сплошь покрытый татуировкой

Вместе с русскими плыл сплошь покрытый татуировкой француз Жозеф Кабре, который женился на дочери короля Нука-Гивы, одичал, но по пьяному делу не сошел вовремя на берег, а когда очнулся, вспомнив о женах и детках, «Надежда» уже плыла в открытом океане. Этот француз и разглядел берега Камчатки.

- Мне здесь нравится, - сразу заявил он...

Странное желание! Может, после Нука-Гивы и Камчатка кажется раем — этого я не знаю, но об этом желании Жозефа Кабре посол Резанов доложил лично русскому императору.

Резанов сразу же съехал на берег, никак не желая вмешиваться в дела корабельные. Павел Иванович Кошелев, генералмайор и тогдашний начальник Камчатки, решил сразу же «образумить» бунтовщиков-офицеров, явив перед ними свою грозную силу — солдат гарнизона, а графа Толстого, яко главного заводилу и матерщинника, отправили в Петербург, дабы служил в полку и далее. Резанов из штата посольства Толстого сразу же выключил:

— Для вас, граф, ничего нет на свете святого, и я вынужден сообщить в Петербург, что вы еще на Сандвичевых островах решили остаться ради голых красоток, об отечестве мало думая. Уезжайте прочь, дабы не осквернять своим присутствием даже эти несчастные окраины матери-России... В о н!

Кошелеву посланник признался, что поставлен в очень трудное положение тем, что был оскорблен офицерами кораблей.

Он откровенно признался, что опасается исполнить свою миссию в Японии и подумывает даже о том, чтобы вернуться в Петербург, не исполнив своего долга:

— Поймите! Я, назначенный посланником, поставлен за время плавания Крузенштерном и его офицерами в униженном положение, и, появись я в Иеддо — столице японцев, мне по просту будет стыдно являть перед японцами весь сор, вынесен

ный из нашей русской избы... Ладно уж на родимой палубе глумились надо мною, но что будет, если станут глумиться и на японской земле?

Кошелев согласился.

В недостойном поведении корабельных офицеров генерал Кошелев усмотрел оскорбление всего посольства и сразу начал следствие. Конечно, читатель помнит Крузенштерна — уже отлитым в бронзе — на берегах Невы, и мне, автору, даже неловко тревожить его величавый образ просвещенного мореплавателя на этом пьедестале памятника, которого он и заслуживает. Однако надо знать правду: Иван Федорович сам признал перед Кошелевым свою вину и вину своих офицеров, которые вдали от Кронштадта и начальства распустились, а он потакал их распущенности. Кошелев сказал Крузенштерну, что имеет право лишить его командования кораблем и отправить в Петербург под конвоем:

- Как и Резанов отправил сего «анфан терибля» Толстого.
- Я очень сожалею о случившемся, просил его Крузенштерн, — и прошу ваше превосходительство примирить меня с господином посланником... Поверьте, я искренен в этом желании.
- Николай Петрович, отвечал Кошелев, согласен забыть прошлое, но вам придется перед ним извиниться...

8 августа 1804 года все офицеры «Надежды», в парадных мундирах и при шпагах, явились к Резанову и просили у него прощения, раскаиваясь в содеянном ранее. Резанов обнял Крузенштерна, сказав, что зла не имеет, желая забвения худого, при этом офицеры кричали «ура» и стали качать посланника, высоко подбрасывая его над собой, а матросы, выстроенные на шканцах, дружно аплодировали этой сцене. Резанов сразу же известил Кошелева, что теперь он согласен плыть в Японию. «а польза Отечеству, — писал он, — на которую я уже посвятил жизнь мою, ставит меня превыше всех личных оскорблений лишь бы успел я достичь главной цели... В этот день всеобщего примирения вместе с русскими радовались и японцы, давно жившие в России, а теперь Резанов сулил им скорое возвращение на родину... Николай Петрович указал Крузенштерну готовить корабль к плаванию, дружески говоря, что здоровье - после смерти жены - стало никудышным, а после Японии ему предстоит еще экспедиция на Аляску и в Калифорнию - по делам Российско-Американской компании.

— Мне уже сорок лет, — печалился он, — а на скрижалях российской гиштории еще не оставил своего имени... Что делать, я честолюбив! — признался Резанов даже с оттенком горлости.

Был конец августа, когда «Надежда» покинула Камчатку, оставив вдалеке родные берега...

Перед отплытием он взял у Кошелева самых рослых солдат с барабанщиком (для «представительства»), навсегда оставив под сенью Авачинской сопки сплошь татуированного Жозефа Кабре, и 15 сентября, миновав Курилы, моряки увидели японские берега. Резанов просил Крузенштерна собрать всех людей на шканцы и произнес перед ними речь, начало которой я привожу здесь, дабы читатель вкусил от аромата языка той давней эпохи.

— Россияне! — цитирую я Резанова. — Обошед вселенную, видим мы себя наконец в водах японских. Любовь к отечеству, мужество, презрение опасностей — вот суть черты россиян, вот суть добродетели, всем россиянам свойственная. Вам, опытные путеводцы, принадлежит благодарность наших соотчичей, вы уже стяжали ту славу, которой и самый завистливый свет никогда уж лишить вас не в силах...

Перед входом в бухту Нагасаки «Надежда» встретила японские лодки, и рыбаки, почти испуганные, услышали, как с «Надежды» их окликнули по-японски. Рыбаки никак не ожидали увидеть своих земляков, возвращавшихся на родину после долгого жития в России. Между ними завязалась беседа, и японец Тадзиро, уже достаточно поднаторевший в русском, переводил для Резанова:

— Мои япона сказал, что наша микадо давно и давно ждал русскэ, но зачем вы, русскэ, не приплыли к япона раньше?...

Оказывается, еще со времен Екатерины, когда Японию посетил лейтенант Лаксман, в Иеддо (будущем Токио) ждали русских четыре года подряд, а теперь ждать перестали... Выстрелом из сигнальной пушки Крузенштерн оповестил Нагасаки о своем появлении, и вскоре «Надежду» посетили местные чиновники, которым Резанов вручил записку на голландском языке, изъясняющую цели его прибытия. Вечером весь рейд Нагасаки осветился разноцветными фонарями — в окружении великого множества джонок двигалось большое судно, на котором прибыли городские власти и переводчики. Незваных гостей они приветствовали поклонами, держась за колени и вежливо приседая. Японцы с удовольствием обозрели весь фрегат, надолго задержавшись подле русских солдат-богатырей, коих генерал Кошелев дал Резанову ради «представительства». Крузенштери сказал, что это солдаты с Камчатки:

— A если ехать с Камчатки по направлению к Петербургу, то рост наших людей становится все выше и выше...

Вместе с японцами прибыли и купцы голландской фактории в Нагасаки, которую возглавлял Генрих Дёфф: голландшы

уже 200 лет торговали с японцами, будучи единственными европейцами, которым это было дозволено. Факторы находились в униженном положении, им даже не разрешали изучать японский язык, а голландский язык изучали сами японцы... Раздался могучий крик:

Начальник Дёфф рад приветствовать великого господина!

При этом Дёфф мигом согнулся в дуту, не смея поднять глаз на Резанова, его помощник кинулся на колени и не вставал, а подчиненные им легли на палубу и более не поднимались. Указывая на членов фактории, японцы с удовольствием сообщили:

- Голландцы наши старые друзья, и вы сами видите, как покорны они нашим обычаям, чтобы выразить нам свое уважение... Согласны ли и вы, русские, следовать нашему этикету?
- Нет, сразу же отвечал Резанов. Мы, русские, слишком почитаем японскую нацию, потому я не желаю начинать великое дело безделицами. Если у вас издревле сложились такие отношения с голландцами, то мы приветствуем их, но у нас свои нравы, свои обычаи, кои тоже издревле сохраняются.

Затем японцы потребовали разоружить корабль, сдать запас пороха, все ядра и ружья, оставив только одну шпагу — ту самую, что висит на боку посланника.

— Нет, — отвечал Резанов. — «Надежда» судно военное, караул ружей не сдаст, а офицеры шпаг своих не сдадут...

Конечно, все офицеры и матросы, давно скучая по родным, желали порадовать их весточкой, для чего и приготовили письма, желая воспользоваться почтой голландской фактории, но японцы строго-настрого запретили голландцам принимать письма от русских. Сейчас их волновало иное — тревожил вопрос: где эти японцы, что приплыли в Японию на русском корабле?

— Мы их не прячем... вот же они! — сказал Резанов.

Но беседа чиновников с возвращенцами, для русских непонятная, очевидно, была малорадостной для тех, что побывали в России: они сильно плакали, что-то показывая властям, а Тодзиё сказал послу, что на берег родной земли им сходить запрещено. Ближе к ночи возле борта «Надежды» долго качалась рыбацкая джонка, японцы о чем-то тихо переговаривались с рыбаками. После этого Тодзиё, как писал Резанов, «пожелал прекратить страдания свои лишением жизни, и, схватя бритву, заколачивал ее себе в горло, но, к счастию, успели ее отнять и спасли его, ибо рана была несмертельна...». Резанов спрашивал:

— Скажи, Тодзиё, в чем причина твоего отчаяния? Выяснилось ужасное: те японцы, которых еще в 1792 году доставил на родину Лаксман, до сих пор сидят в тюрьме как

«изменники», ибо японские законы запрещают японцам покидать пределы отечества.

Эта же участь ожидала и несчастных рыбаков, тайфуном выброшенных на русские берега. Тодзиё просил:

— Мы плачем... Затем ли плыли на родину, чтобы закончить дни свои в тюрьме? Лучше отвезите нас обратно в Петербург.

Резанов как мог утешал японцев:

— Я привез такие богатые подарки вашему микадо, пусть он прочтет письмо нашего императора — и сердце его сразу растрогается, уверен, что он сменит гнев на милость...

На следующий день «Надежду» посетили городские чиновники, они указали Крузенштерну снять с мачт все паруса и реи, весь рангоут отвезти на берег под расписку, а своих единоверцев они обыскали, отобрав у них все вещи и деньги, после чего несчастных, горько рыдающих, отвезли в городскую тюрьму. Резанов в дела японские права вмешиваться не имел, надеясь, что вернет им свободу в Иеддо, куда собирался ехать для аудиенции перед престолом микадо. Но японцы о поездке в Иеддо помалкивали, говоря, что в Нагасаки уже спешит сам «великий сановник Ито». Этот великий Ито так спешил, что 1804 год закончился, настал и 1805 год, а он все спешил и спешил...

Между тем Резанов начал прихварывать: день за днем в душной каюте, а прогулки по шканцам фрегата — этого было мало. Ради здоровья он просил японцев, чтобы позволили ему пожить в городе. Японцы решили отбуксировать «Надежду» на внутренний рейд, с которого открывалась панорама города, а для посла обещали отвести место для прогулок на берегу. Такое место они отыскали на рыбном базаре в Мегасаки, на узкой песчаной косе залива, украшенной одиноким и скрюченным от старости деревом. Здесь для посла соорудили обширную хижину для проживания, а для прогулок отвели площадь косы не более ста шагов в длину и сорока шагов в ширину. Жилище посла было обнесено высоким бамбуковым частоколом, возле ворот стояли японские караулы при офицерах, а вдоль изгороди все время блуждали полицейские, надзиравшие за послом, чтобы он... не убежал? Когда же Николая Петровича доставили в Мегасаки, то на всех воротах сразу щелкнули замки, а в щелях между стволами бамбука тут же появились зоркие глаза надсмотрщиков... Да-а, не почетный гость он здесь и не посол великой державы, а, скорее, почетный пленник.

— Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят, — говорил Резанов. — И не мне менять здешние порядки...

Время своего «заточения» он использовал с толком. Резанов, знавший четыре языка, взялся теперь за японский. Еще во время долгого плавания вокруг света Николай Петрович начал

составлять русско-японский разговорник, в чем ему помогали «возвращенцы», а теперь, во время своего заточения в Мегасаки, Резанов собрал уже более пяти тысяч слов. Наконец в Нагасаки прибыл «великий сановник Ито», на 23 марта 1805 года была назначена первая с ним аудиенция...

В последние дни марта 1805 года Резанов и его свита появились в городе. Вдоль улиц шпалерами выстроились войска, но зато нигде не было видно ни единого жителя. В этот день им запретили покидать жилища, даже окна указали занавесить плотными шторами и не подсматривать за русскими. Резанова пронесли в паланкине, он держал в руке грамоту императора, подле него шагала посольская свита. Дом для переговоров был переполнен чиновниками а в аудиенц-зале двумя рядами сидели на корточках переводчики, одинаково склонившие головы... Ито и Резанов раскланялись, после чего Ито заговорил. Он говорил очень тихо и медленно, а головы переводчиков склонялись все ниже и ниже. Порою казалось, что им просто стыдно переводить для посла России речь своего «великого сановника», приехавшего из Иелло:

— Наш повелитель удивлен вашему появлению у берегов Японии... всем, кроме голландцев, запрещено посещать порты Японии... наш император в посольстве России не нуждается... торговать не желает... он просит вас покинуть нашу страну!

«Переводчики, — отписывал Резанов для Петербурга, — не ожидая такого отказа, сами остолбенели, и, наконец, едва перевели они мне, как я не мог удержать себя и сказал»:

— Удивлен вашей дерзости! Разве один государь не вправе писать другому? Не нам и решать — кто из них более велик... Уж не думают ли в Японии, что русских можно унижать, словно голландских факторов, кои же ради торговых прибылей готовы даже на полу лежать животами?

Переводчики пересказывали его речь, а Резанов улавливал на слух промахи в переводе, смягчавшем его выражения, и он сам иногда вставлял нужные слова, чтобы речь не теряла первоначальной резкости. Ито ответил Резанову, что переговоры лучше перенести на другой день... «С великим удовольствием, — сказал я и вон от них вышел. Хотели меня угощать чаем, табаком и конфетками, но я отказался, а переводчики, тяжко вздыхая, говорили — ах, какие несчастливые будут последствия...»

На другой день Ито стал говорить более конкретно:

— Вот уже двести лет японцам запрещено выезжать в чужие страны и неяпонцам, кроме голландцев, запрещено даже плавать вблизи берегов Японии... Нам от торговли с вами нет выгод. Впрочем, благодарю за возвращение наших японцев, которых вы вернули в прежнее подданство...

Резанов тоже говорил по существу дела.

— Как быть? — спросил он. — Впредь, ежели ваши рыбаки потерпят бедствие возле берегов наших, то неужто лучше оставлять их в России, чтобы вы не сажали их в тюрьму, яко изменников? Наконец, — заострил он эту тему, — как поступите вы, ежели буря выкинет у ваших берегов наших мореходов? Неужели тоже посадите в тюрьму, как и своих сажаете?..

Ито подумал и сказал, что на этот вопрос последует ответ в письменном виде, но какой дать ответ — он не знает, а пошлет чиновников за ответом в Иеддо, где ответ и напишут.

— Передайте своему императору, что в его подарках микадо не нуждается и возвращает их обратно, ибо Япония не столь богата, чтобы ответить равноценными дарами. Японцы очень скромны в своих потребностях, а потому в предметах европейской роскоши они не нуждаются... Из уважения к нашим древним законам мы просим вас покинуть страну и более не навешать нас!

Впрочем, японские власти щедро снабдили «Надежду» провизией и брать за нее деньги отказались. Резанов хотел было подарками императора рассчитаться за все продукты, но японцы и подарков не пожелали. А между тем в Нагасаки уже съехались немало купцов, желавших торговать с русскими. Конечно, им было бы выгоднее торговать с близкой Россией, нежели с далекой Голландией, но власти Иеддо признавать этих выгод не пожелали. Великое множество простых японцев подплывали к русскому кораблю на лодках, вежливо выражая нашим матросам самые добрые чувства, они говорили, что русских в Японии очень любят, хотя и мало знают. Наконец, каюту Резанова буквально завалили легкими, как пух, связками нежных и белых вееров — чтобы он, посол, поставил на них свои автографы. («Чтобы подписал я им свое имя и день прихода нашего в Нагасаки, и будут они те веера сохранять, как драгоценность...»).

6 апреля с грохотом были выбраны якоря, многие сотни джонок провожали «Надежду» — до самого открытого моря. А когда берега Японии совсем пропали за чертой горизонта, Крузенштерн предложил Резанову выпить и утешил посла словами:

— Все равно! Рано или поздно, а наша соседка Япония разложит свои товары и распахнет объятия для послов наших...

Скоро забелели над морем белые шапки гор острова Цусима, положение которого Крузенштерн определил на карте астрономически точно, а потом, блуждая в сахалинском заливе Анива, они видели ряды виселиц — это японцы, живущие вдали от мира, для всех непроницаемы и загадочны, вешали сахалинских айнов, которым некому было пожаловаться. Сильный ветер с Камчатки летел навстречу «Надежде», и фрегат лавировал,

чтобы двигаться даже против ветра — углами, зигзагами, но все равно вперед, только вперед, где Резанова ждали иные чудеса...

До сих пор я ничего не сказал о заслугах Николая Петровича Резанова. Кто же он такой? Один из учредителей Российско-Американской компании, почетный член Российской академии наук, писатель, экономист, дипломат, лингвист, путешественник, поэт и начальник канцелярии поэта Гаврилы Державина... Разве этого мало, чтобы не забывать о человеке?

Но... забыли. Странно, что Резанова лучше помнят в Америке, о нем в США выходят книги, а у нас он словно «разбросан» по отдельным изданиям, где о нем зачастую если и поминают, то мельком, как бы между прочим. Стыдно сказать — до сих пор пылится в архивах так и неизданный громадный труд врача Генриха Лангедорфа о кругосветном путешествии русских моряков, которое официально возглавляет опять-таки он, Николай Петрович Резанов. Совсем недавно Ван Дерс, адмирал флота США, сказал о нем то, что сегодня нам, читатель, может казаться забавным парадоксом: «Кто знает, если б не его случайная смерть, то, возможно, Калифорния была бы сейчас не американской, а — русской...» И вспомнились мне стихи Сумарокова:

За протоком окияна Росска зрю американа С азиятских берегов... Увидев России корабли, Америка, не ужасайся!

«Надежда» бросила якоря на рейде Петропавловска-на-Камчатке, а Резанову предстоял еще долгий путь — на Аляску и в Калифорнию. Опять что-то неладное стряслось у него в отношениях с Крузенштерном, и, кажется, именно тогда Крузенштерн винил Резанова в его неуступчивости японцам. Вряд ли ошибусь, если из мрака давности извлеку главный упрек Крузенштерна:

— Камергер, будучи зятем самого Шелехова, конечно, более озабочен выгодами компании за океаном, нежели прямыми политическими интересами петербургского кабинета...

Так или не так, я сам не уверен в этом, но вот свидетельство забытого нами историка А. Стибнева: «Резанов, во избежание новых интриг Крузенштерна, решился уже возвратиться в Петербург, даже не побывав в колониях» — Аляске и Калифорнии.

Но тут с моря пришел бриг «Мария», принадлежавший компании, и это изменило все его планы. Крузенштерну он повелел:

- Я покину вас на «Марии», а вы следуйте до Кантона, после чего можете возвращаться в Кронштадт. Доброго пути!

Сгибнев писал, что «ни Крузенштерн, ни его офицеры ни

разу не навестили больного посланника и даже при уходе его на «Марии» в Америку никто не пришел с ним проститься». Никто не пожал ему руки, кроме лейтенанта Головачева.

«Мария» вышла в открытый океан, и в пути к берегам Америки корабелы поведали Резанову, что русская жизнь на Аляске течет своим чередом: построили дом библиотеки, алеуты и даже индейцы изучают в школах французский, географию и математику, а в Кадьяке растет редкий фрукт — картофель.

— Одно плохо: попались в капкан белые лисицы, предвещая несчастья. Так и случилось. Дикие из племени колошей стали скальпы снимать, а тут и голод в Ситхе — не приведи Господи...

С дипломатией было покончено — теперь Резанов выступал в роли инспектора Российско-Американской компании, владения которой раскинулись широко, и богатствам ее мешали пираты Карибского моря, стрелявшие с моря, завидовали компании англичане и купцы Бостона, что были конкурентами русских, а король Гавайских островов звал русских в свой волшебный рай Океании, дарил плащи из перьев невиданных птиц, обещая завалить Аляску дешевыми кокосами и жирной свининой... Все было так!

Но Резанов застал Ситху в не лучшую пору: вновь прибывших встретили как «лишних едоков», тогда как сами не знали, будут ли завтра сыты. Болели цингой, а «пиво» из еловых шишек не помогало... Странный был этот мир! Улицу освещали «кулибинские фонари» (прожекторы будущего), а из лесного мрака вылетали стрелы диких нуткасов, у которых лица были обсыпаны толченой слюдой; в карманах жителей звенело серебро испанских пиастров, пили только бразильский кофе, честные креолы-подростки мечтали учиться в кадетских корпусах Петербурга, китайские шелка на женщинах извивались хищными драконами, а жители жаловались:

-- Одной лососиной да грибами сыт не будещь... Эвон, зубы у тетки Марьи снова шатаются, а ведь еще молода; всего-то в третий раз замуж выходит...

Резанову повезло: с моря вошел на рейд Ситхи бостонский купеческий корабль «Юнона», а в трюмах его была провизии. Николай Петрович не пожалел рому, угощая шкипера:

— Покупаю. Весь корабль. Со всем добром, что в трюмах. Даже не глядя. Сколько бы все это ни стоило...

Зиму кое-как перебились. Резанов известил Петербург о своем пылком желании навестить Калифорнию ради выгод от торгов негоциации с нею, «пустясь с неопытными и цинготными людьми (экипажа) в море на риск с тем, чтоб или спасти области (Аляски), или... погибнуть!» В конце февраля 1806 года он велел лейтенанту Хвостову поднять паруса — пошли. Страшное

было плавание: половина экипажа валялась в кубриках, страдая цингой-скорбутом, а другая половина едва справлялась с парусами. Плыли целый месяц с такими приключениями, о которых и рассказывать тошно. Наконец рано утром прямо по курсу забрезжила бухта Святого Франциска, где угадывался контур будущего Сан-Франциско.

Командовал «Юноной» молодой лейтенант Хвостов.

— Прибавьте парусов... вперед, — велел ему Резанов.

— Вон батареи, — показал Хвостов. — Разве не знаете, сколь подозрительны испанцы? Коли не остановимся при входе на рейд, вмиг с батарей этих расколют нас ядрами.

— Что за беда! — отвечал Резанов. — Просить у них позволения — откажут. Так лучше получим два-три ядра в борт, зато спасем экипаж от смерти скорбутной в море открытом...

С берега уже слышался барабанный бой — тревога.

- Испанский-то кому ведом, чтобы отбрехаться?

- Веди, лейтенант! Мне двух слов хватит...

Пошли — на прорыв. С береговых фортеций испанцы окликали их в медный рупор, спрашивая — кто такие, чей корабль?

- Россия, отвечал им Резанов.
- Бросайте якоря, иначе расстреляем из пушек.
- Не понял, сеньор, отвечал Резанов по-испански.
- Долой паруса... стойте, приказывали им с берега.
- Си, сеньор, си, отвечал Резанов...

Под всеми парусами пронеслись мимо под жерлами пушек и бросили якоря напротив неказистого испанского поселка. Было видно, как к берегу скачут расфранченные всадники, еще издали крича что-то воинственное... На берегу встретились русские с испанцами, завязалась беседа.

— Мы шли сразу в Монтерей, столицу всей вашей Калифорнии, — сказал Хвостов, — но обстоятельства вынудили нас искать убежище в первой же гавани... вот и оказались в бухте Франциска!

Резанов, как дипломат, весомо добавил:

— Петербург извещен о нашем плавании, и потому я уверен, что Мадрид предупредил губернатора Сан-Франциско о нашем скором прибытии... Испанцы и русские — давние соседи! Только наши владения в Калифорнии не имеют ни крепостей, ни столицы.

Как бы ни были щепетильны испанцы, гордые в вопросах чести, но они не стали попрекать офицеров «Юноны» за их дерзкий прорыв в гавань — под прицелами пушек. Напротив, «гишпанским гитарам, — как сообщил Резанов, — отвечали мы русскими песнями». Совместно проследовали в крепость Сан-Франциско, а там русских встретил сам комендант Хосе дон

Аргуэлло, из Монтерея приехал и губернатор испанской Калифорнии. О чем говорили? Конечно, о безродном корсиканце Наполеоне, над челкой которого еще не взошло солнце Аустерлица... Николай Петрович плохо владел языком хозяев, но с помощью французского он все-таки высказывал главное:

- Мы, живущие в России, хорошо знаем, что Мадрид не желает, чтобы вы, живущие в Калифорнии, занимались коммерцией, но какие же мы будем соседи, если откажемся торговать друг с другом? А разве двор испанского короля, в котором так много красавиц, откажется от наших мехов с Аляски?
- Об этом, уклончиво отвечал дон Аргуэлло, вы лучше договоритесь с нашими монахами-францисканцами...

Николай Петрович, человек умный, намек понял: с тех пор, как в 1770 году миссионер Жюниперо воздвиг крест на этих вот прекрасных берегах, монахи уповали на торговлю с русскими соседями, невзирая на все запреты королевской власти в Мадриде, — вот с ними, с этими меркантильными францисканцами, Резанов и договорился, чтобы у жителей Русской Америки впредь никогда не шатались зубы от скорбута...

Резанов был человеком обязательным, внешне приятным, умеющим говорить и слушать; не прошло и недели, как он легко вошел в семью коменданта Сан-Франциско, став в ней своим человеком, и допоздна не угасали свечи в испанской «президии», где звоны гитар перемежались звоном бокалов.

Но однажды... однажды он сильно вздрогнул!

Из внутренних покоев вышла дочь коменданта — совсем еще юная испанка, это и была Мария Кончита Аргуэлло, которой в ту пору исполнилось лишь шестнадцать лет. Резанову было сорок, он уже вдовец, у него двое детей. Это ли главное?

Красавице он был представлен в иных словах:

— Камергер двора русского императора, командор большого креста славного Мальтийского ордена, главный комиссар Российско-Американской компании и... наш друг!

Этого достаточно. На следующий день Кончита протянула ему цветы, которых он никогда не видел на своей далекой родине. Наверное, все-таки был прав старик Державин, говоривший Резанову, что горе от потери жены можно излечить в дальних странствиях, — и я, конечно, не знаю, она ли первая влюбилась в русского гостя, или он влюбился в нее?.. Скоро вся Калифорния только и говорила о том, что дочь благородного коменданта «сошла с ума от любви». Те же самые францисканцы, пылко желавшие торговать с русскими, ни в какую не соглашались на брак католички с русским схизматом, но Кончита думала только о любви, она верила только в любовь, говорила она только о любви:

 Он обещал увезти меня в свою Россию, всю засыпанную белым пушистым снегом, и я, полюбившая его, уже полюбила и эту страну, о которой он так чудесно рассказывает мне...

Видя такую непреклонность в дочери, родители Кончиты уступили ей первыми, а потом — ради торговых выгод — сдались и францисканцы, еще долго ворчавшие о том, что этот брак не дозволит папа римский, но влюбленные настояли на церковной помолвке, и с того времени... Впрочем, об этом сам Резанов с юмором докладывал в Петербург: «Поставя себя коменданту на вид близкого родственника, управлял уже я портом Католического Величества так, как того требовали пользы мои, и Губернатор (Монтерея) крайне изумился... что и сам он, так сказать, в гостях у меня очутился». Да, Резанов стал в Калифорнии почти всесилен, и при нем Форт-Росс, выросший на берегах русской Славянки, текущей в океан вровень с испанской рекой Сакраменто, эта славная цитадель русских поселян в Калифорнии, стал обителью русского духа... Россия, вольно или невольно, смыкала свои границы с испанскими рубежами в Америке.

Но вот затихли гитары, умолкли русские песни...

— Я спешу, — сказал Резанов Кончите, — мне надобно срочно быть в Петербурге, чтобы сделать личный доклад царю о наших владениях в Калифорнии, чтобы получить от него личное одобрение на брак с тобою... Скажи, ты согласна ждать?

Да, — разомкнулись губы для прощального поцелуя.
 Это и был их первый и последний поцелуй в жизни.

Никогда еще Резанов так не спешил... Две мысли (только две!) преследовали его в дороге, подгоняя в пути — быстрее, быстрее, быстрее. Первая: утвердить, пока не поздно, русское владение в Калифорнии, «ежели и его упустим, — писал он, — то что скажет потомство?». Вторая мысль: Кончита поклялась ждать, Кончита любит его, надо спешить... Ему казалось, что ветер не так уж сильно раздувает паруса корабля, а потом, уже на сибирских просторах, казалось, что лошади бегут слишком медленно. Предстоял долгий-долгий путь — до Петербурга, а затем и обратно — до Сан-Франциско. Его измучило нетерпение:

- Ах, как ташутся эти лошади в непролазной грязи...

Была весна, дороги развезло, однажды он попал в полымью, мучился простудной горячкой, но гнал и гнал лошадей пет устали — вперед, ибо Кончита ждет... Подъезжая к Краснопрску, Николай Петрович не вытерпел и, покинув кибитку, пересел в верховое седло, подгоняя коня хлыстом. Где-то лошадь оступилась о камень, и Резанов вылетел из седла...

Почти без чувств, жестоко израненный о дорожные камни при падении, Резанов был привезен в Красноярск, где и скон-

чался в яркий весенний день... Он умер в полном сознании, рассказывая, что в далекой Калифорнии его будет ждать юная Кончита!

Сорок лет ожидания закончились разом...

Сэр Джордж Симпсон сказал о Резанове все, что знал, и тогда Кончита донья Мария Аргуэлло поднялась из-за стола.

— С этого момента я больше не жду его, — сказала она в тишине, — и с этого же момента считайте, что я мертва!

Она сразу удалилась в монастырь и умерла монахиней.

Год ее смерти остался для меня неизвестен...

А место вечного успокоения Резанова нашлось в том же Красноярске — в ограде городского собора; поначалу оно было отмечено скромною чугунной плитой. Но слишком значителен был этот человек в истории государства, и потому в 1831 году великий скульптор Мартос спроектировал над могилой Резанова мавзолей из гранита, увенчанный коринфскою вазой. Все жители города хорошо знали, кто погребен под этим мавзолеем, родители приводили сюда своих детей, говоря им:

- Здесь лежит дядя Резанов, и когда ты вырастешь, ты про-

читаешь о нем в интересных книжках...

Но вот настали «времена всеобщей свободы и расцвета пролетарской культуры»: собор для начала разгромили, а внутри собора устроили комсомольский клуб. Потом взялись за кладбище, уничтожая могилы предков, и скоро на месте мавзолея и надгробия возник пустырь. Конечно, так долго продолжаться не могло, и в соборе разместили цех механического завода, а кладбище превратили в городскую свалку.

Ладно, думаю я, если вы дураки и Резанова не знаете, то, может быть, вам знакомо хотя бы имя гениального Мартоса, автора этого мавзолея? Нет, местные власти оказались умнее всех на свете — и даже Мартоса не пощадили. «Весь мир наси-лья мы разрушим до основанья, а затем...» А что затем?

Затем, как я слышал, собираются вообще снести собор в лица земли, оставив ровное поле, и на месте кладбища желают соорудить торжественное здание концертного зала. Чувствуеть, читатель, как растет наша культура?

Сначала собор и кладбище, потом клуб с площадкой для танцев, затем цех завода и свалка, а теперь мы пойдем слушать

музыку.

Только нам-то от всего этого не до музыки...

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

В славном и древнейшем граде Полоцке, что поминался еще в скандинавских сагах, каждую субботу начиналось повальное сечение всех учащихся — от мала и до велика.

Чаще всего — в алфавитном порядке.

Секли в православной гимназии — за грехи тяжкие, секли в семинарии монахов-приаров — в поощрение, секли в духовной коллегии базильянцев — ради взбодрения духа. Разница заключалась только в том, что наказания «благородных» отпрысков регистрировались в особом журнале (для учета их успеваемости), а простых смертных лупили безо всякой записи, бухгалтерским учетом явно пренебрегая... Ну и вой же стоял в городе по субботам, визг и писк струился из обителей просвещения, а горожане Полоцка, мудро учености избежавшие, знай себе только посмеивались:

— Эва! В науку вгоняют. Так им и надобно — не лезь куда не

просят. И без того умников хватает...

Это еще не все, читатель, ты напрасно успокоился. Получив положенное от казенной школы, зареванные гимназисты, будущие ксендзы и униаты возвращались по домам, а там — о, воже! — родители уже поджидали их с розгами, ремнями и прутьями:

- Суббота! Таков порядок. Раздевайся и ложись...

Наивный советский читатель сразу решит, что в таких условиях лучше оставаться круглым сиротой, дабы избежать домаш-

них уроков. Ошибаетесь! Все сироты в Полоцке были распределены по квартирам — «конвиктам», а при каждой квартире состоял уполномоченный — «префект», который по субботам обязан был исполнять роль отсутствующих родителей... Так что, читатель, как ни крутись, от судьбы все равно не уйдешь.

Один из таких учебно-просветительских «конвиктов» находился в доме мещанина Добкевича, а «префектом» при нем состоял неумолимый Генрих Бринк, педагог-математик, в свободное время неустанно игравший на гитаре, ибо в Полоцке он считался неотразимым кавалером. Вот тут-то, читатель, и начинается самое интересное — прямо дух захватывает...

Нашего Маркса звали Максимилианом Осиповичем, и если кто из вас не знает его, то рекомендую перелистать герценовский «Колокол» — там о нем сказано немало, ибо вышеозначенный Маркс привлекался к суду по каракозовскому процессу 1866 года.

1883 год застал несчастного Маркса ссыльным в городе Енисейске, и, слушая завывание вьюги, он с женою Леокадией вспоминал юность, проведенную в Полоцке. Леокадия же была дочерью того самого домовладельца Добкевича, который сдавал в наем квартиру для Бринка и его «конвикта». Вспоминая счастливую юность, Маркс писал об этом Бринке, что он «перепробовал розги, плетку, тройчатку и даже ременную пятихвостку» на своем самом бездарном ученике, которому математика никак не давалась.

Этим учеником был Каэтан Коссович, сын очень бедного священника из убогой белорусской деревушки. Неуклюжий и не всегда опрятный, он выделялся среди товарищей небывало крупною головой, учился отлично по всем предметам, кроме математики. Каэтан и сам бы хотел познать, почему, допустим, икс равен игреку, но даже в детской арифметике он мало что смыслил и своему однокашнику Марксу говорил со слезами:

— Спаси меня, научи! Десять без трех — понимаю, а вот как появится семерка, я сразу делаюсь дурак дураком...

О цифре 7 Маркс вспоминал, что для Каэтана она имела какое-то роковое значение: «Никак он с этой цифрой не мог поладить, как будто у него для этого числа не хватало в мозгу особенного органа». А грозный Бринк, отложив гитару, сразу брался за плеть, избивая Коссовича столь жестоко, что на крики мальчика сбегались Добкевич и его дочь Леокадия.

— Как вам не стыдно? — кричала девочка, сама плачущая Здесь я скажу, что ученики постоянно держали Бринка под негласным наблюдением, следя за ним через замочную скил жину. Однажды «префект» играл на гитаре и вдруг... Вдруг он задумался, внимательно изучая толстую басовую струну. Бринк снял эту струну с гитарной деки и стал сильно хлестать ею по краю стола, присматриваясь, какие глубокие шрамы остаются на доске. Ученики с ужасом догадались, что ожидает их в ближайшую субботу, а бедный Каэтан заранее стал плакать... Тут к ним подошла Леокадия, дочка хозяина дома, девочка понятливая. Стоило Бринку удалиться, она сразу вошла в его комнату и щипцами-кусачками перерезала все басовые струны.

Вот и суббота! Бринк ласково и душевно провозгласил:

- Каэтан Коссович, ну-ка... приближайтесь ко мне.

Но увидел, что карательное средство, заранее им облюбованное в мечтах о субботе, искромсано в куски. Под ударами плети «префекта» ученики сознались, что их разрезала дочка домовладельца. Бринк выскочил на двор, где резвилась девочка, и стал ее лупцевать, а на крик дочери выскочил Добкевичи, успешно прибегнув к помощи русских выражений, сразу поверг «префекта» в бегство. После чего, воодушевленный победой, он как следует всыпал еще и дочери Леокадии.

— Вот тебе, вот тебе! — приговаривал. — Кормят тебя, поят,

одевают, чего еще нало? Не суйся не в свои дела...

Настал 1818 год — грозный для всех учеников Полоцка!

Господи, спаси и вразуми ты нас, грешных...

Коссович и Маркс учились в униатской школе приаров, но в 1828 году эти школы были закрыты, и все желавшие учиться далее перебрались в Витебск. Маркс, из семьи обеспеченной, отьехал на телеге, а Коссович, босой и голодный, пришел в Витебск пешком. В гимназии его спросили:

Скажите, а форменный мундир у вас имеется?
 Не было у него мундира, не было и куска хлеба.
 В таком случае, извините, для вас места в гимназии не сыщется. Всего доброго...

Коссович поступил в школу базильянцев, где мундира не требовалось. Он устроился на частной квартире у местного евреятрактирщика, снимая жалкую каморку под крышей — без печном, был один тюфяк на полу, одна табуретка и жалкое подобие тола. Хозяин на первом этаже торговал водкой, а в каморке кильца он держал шкаф с книгами на древнееврейском языке. Коссович голодал, иногда лишь угощая себя картошкой с солью и селедкой с хлебом. Чай он пил лишь в те дни, когда навещал товарищей, более состоятельных. Каэтан сильно мерз по ночам, и еврей, сочувствуя ему, топором пробил дыру в своем потолке, чтобы в каморку проникал теплый воздух его жилья...

Маркс убеждал приятеля наняться гувернером в какое-либо витебское семейство, чтобы не умереть с голоду и не совсем

•маршиветь в нужде, на что Коссович отвечал ему:

 Да, согласен, неплохо бы подкормиться мясным бульоном, но.. когда же учиться? Я ведь слеплен из иной глины, и

мне программ не хватает, я должен знать больше всех...

Он уже давно овладел латынью и греческим, а по книгам своего хозяина скоро самоучкой освоил еврейский и древнееврейский языки. Узнав об этом, витебские евреи разом всполошились и всем кагалом увлекли его в синагогу, где раввин устроил Коссовичу экзамен, тоже удивляясь тому, как этот нищий белорус самоучкой достиг таких знаний.

То, что ты не освоил семерки, это понятно, ибо в цифре
 7 заключен особый смысл. Ну-ка, встань ближе к свету... Евреи,

смотрите, какая у него голова. Вай-вай!

Но в 1830 году была закрыта и школа базильянцев. Коссович оказался на улице. Маркс выручил друга: он нашел пьющего гимназиста, который за две бутылки цимлянского расстался со своим прошлогодним мундиром, из которого он давно вырос. После же восстания поляков в 1831 году Виленский учебный центр был переименован в Белорусский, а в Витебске поселился с семьей новый попечитель этого округа — Григорий Иванович Карташевский, свояк писателя С. Т. Аксакова, человек добрый и образованный. Он вскоре и пожелал видеть Коссовича у себя.

— Я тут недавно беседовал с городским раввином, так он, раввин, признал, что вы, белорус, изучили Талмуд на древнееврейском лучше, нежели его знает он сам... Никак нельзя та-

кие способности к языкам зарывать в землю.

— А что я могу сделать? — вдруг расплакался Коссович, ощутив подлинное добро в словах попечителя. — Мне за все эти годы, что я учусь, папенька с маменькой и грошика не прислали... у самих ничего нет. Одной картошкой и сыты.

Карташевский был немало удивлен той быстроте, с какой Коссович — самоучкой! — постигает языки, и первым делом он вызвал портного, чтобы приодеть школяра поприличнее.

— Вам надобно пожить в других условиях, — сказал он.

Где? — удивился Коссович.

 Хотя бы в моем доме. Будете репетитором моим детям, чтобы они не ошибались в латыни. Я вас не обижу...

Каэтан Андреевич отъелся, приоделся, пообтесался в культурной дворянской семье, наговорился всласть с домашними, оттаял душой с детьми, и тут Карташевский заявил ему:

— Я решил послать вас в Московский университет на средства Белорусского учебного округа, и вы, дорогой мой, даже не благодарите меня, ибо учиться станете на казенные деньги.

Коссовичу тогда исполнилось семнадцать лет.

Московский университет переживал не лучшие времена, 1

состав его профессоров, давно закоснелых, тащил на свои кафедры тяжкий груз тех рутинных понятий, которые, может быть, и казались передовыми в веке Екатерины II, но теперь представлялись сущим абсурдом. Ученые грызлись между собой, процветал откровенный непотизм, и все это отражалось на студентах, которые, видит Бог, ни в чем не были виноваты. Стоило же кому-либо из молодежи чуть-чуть проклюнуться поверх тины этого застойного болота, как ученые сразу били его по макушке, чтобы тот «не высовывался». Коссович попал в эту трясину, когда стараниями профессоров был изгнан из университета Виссарион Белинский.

— Как неспособный, — объяснил он Коссовичу при знакомстве.

Зато очень способным объявлен Ландовский, что доводится племянником декану университета Ваньке Давыдову...

Этот Ванька, всеми доблестями украшенный, вдруг решил издать руководство по истории всех литератур, какие есть в мире, и, всем «тыкая», он однажды тыкнул и в Коссовича:

— Во! Ты, я слышал, польским владеешь? Это хорошо. Вот и займись обзором шляхетской литературы. От и до... Понял?

Каэтан Коссович и не смел отказаться, наоборот, он даже обрадовался, что увидит свое имя в печати. Работал усердно и написал много, а М. О. Маркс, тоже учившийся в университете, потом вспоминал, что статья Коссовича была лучше других, только длиннее. Давыдов читать ее не стал, говоря:

— Ты! Куда нам так много? Надобно сократить...

Сокращать статью декан поручил своему племяннику Ландовскому, который хотя и носил шляхетскую фамилию, но из польского языка твердо помнил лишь одно выражение, которое в жизни всегда пригодится: «пше праше, пани». Вот он и сократил. Так сократил, что из целой главы о поэте Красицком осталась одна фраза, звучащая сакраментально: «Красицкий являет собой прекрасное ожерелье, наброшенное на голую шею всей польской поэзии...» Коссович прочел и рухнул в обморок.

— Оставьте меня! — закричал он, очухавшись...

И побежал к декану — жаловаться на его племянника. Слоно за слово, и начался спор, а где спор — там и скандал. Коссонич, потеряв меру, назвал своего редактора «придурком», добавив, что яблоко от яблони далеко не падает.

— Значит, по-твоему, я дурак? — деловито осведомился Давыдов. — Так, так, так... Но известно ли тебе, пся крев, что в Витебске началось дело о песнях возмугительного содержания, кои найдены жандармами на самом дне сундука в доме чаусовского городничего Силина, и эти песни уже ходят по рукам московских студентов? Впервые слышу, — невольно оторопел Коссович, которого никто не замечал в желании распевать песни.

— Завтра ты у меня запоешь совсем иное...

Слово свое Давыдов сдержал! Коссович селился в старом здании университета, где проживали «казеннокоштные» студенты. По утрам давали булку с маслом и горячий сбитень. Булку он получил, а сбитень получить не успел. Вдруг откуда ни возьмись нагрянули из полиции, схватили бедного Каэтана и, облачив его в солдатскую шинель, поволокли в карцер. Квартальный офицер при этом душевно сказал:

 Эх, молодость! Жалко мне тебя, дурака. Лучше бы уж спел ты нашу — «Сама садик я садила, сама стану поливать».

— Да не пел я ничего! — разрыдался Коссович...

Сидя в карцере, он понял, что ему уготована трагическая судьба поэта Полежаева, которому тоже не дозволили допить студенческий сбитень и утащили в солдаты. Но тут случилось то, чего никак не ожидал сам Давыдов, автор версии о «возмутительных» песнях, найденных в Витебске на самом дне сундука городничего. Перед началом лекции Ландовский был окружен титулованными студентами: графом Толстым и сразу тремя князьями — Оболенским, Голицыным и Лобановым-Ростовским. Эти господа загнали Ландовского в угол, каждый из четырех счел своим высоким гражданским долгом отвесить ему оплеуху. При этом аристократы изволили говорить:

 Если тебе, мерзавец, приятно быть в роли племянника нашего декана, то не думай, что твоя рожа застрахована от

пощечин... Князь, ваша очередь. Граф, добавьте ему!

Эти речи услышал сам Й. И. Давыдов, как раз входящий в аудиторию для прочтения лекции на тему о благе познания отечественной словесности. Один граф и три князя бестолково, но все же доходчиво объяснили профессору, что будут бить Ландовского каждый день, пока из карцера не будет выпущен бедный и умный студент Каэтан Коссович. Давыдов понимал, что с этими студентами, имевшими связи в высшем свете столицы, лучше не связываться, и Коссович обрел свободу...

Белинский встретил его на улице, спешащий:

— А я и не знал, что вы любитель пения... Впрочем, спешу Не желаете ли побывать в самом благородном обществе?

По рекомендации Белинского он был принят в кружов Н. В. Станкевича, а вскоре многое переменилось и в самом уни верситете. Попечителем Московского учебного округа стал граф Сергей Григорьевич Строганов, генерал в солдатской шинели нараспашку, сердитый и благородный, инженер и археолог, историк и писатель, нумизмат и... воин. Друг студентов и враг ученых болванов. При нем, словно подпиленные столбы, разом рук

нули прежние авторитеты, кафедры университета украсились новыми именами — Грановский, Шевырев, Кавелин, Буслаев, Бодянский и Соловьев (историк). Все вздохнули свободнее...

Вздохнул и Коссович! В его большой голове, помимо латыни и греческого, за эти годы легко уместились новейшие языки — английский, немецкий, французский, чешский и литовский, освоенные им самостоятельно, а знание древнееврейского увело его еще далее — к познанию арабского и персидского. Способность к познанию языков была поразительна! Както с Марксом они случайно забрели в костел московский, где ксендз Стржелецкий читал проповедь на итальянском. Из костела Коссович вышел задумчивый, чем-то даже расстроенный.

— О чем ты? — спросил его приятель.

- Представляется, что итальянский язык нетруден, - от-

вечал Коосович рассеянно. — Не попробовать ли мне?..

Через три месяца он уже свободно читал и писал на итальянском, сразу же засев за перевод Сильвио Пеллико, автора знаменитой «Франчески да Римини», что была схожа по смыслу с трагедией о Ромео и Джульетте. И уж совсем случайно Каэтан Андреевич заглянул в мрачную пропасть таинственного санскрита, языка древней Индии, которого в России еще никто не знал.

Случилось так. Возле Сухаревой башни издавна существовал книжный «развал», где средь всякого хлама иногда можно было выискать подлинную жемчужину. Какая-то падшая личность, бывшая «светлая», продавала гигантский растрепанный том, исписанный странными письменами, каких Максимилиан Осипович никогда в жизни не видывал.

— Что это у тебя, братец?

— Что — не знаю, но прошу на косушку. Нужда заела...

Маркс купил эту книжищу за полтинник и вскоре похвастал приобретением перед Коссовичем; тот полистал страницы и взмолился уступить ее за любую цену, а Маркс хохотал:

 Чудило гороховое! Да я ведь для тебя ее и купил, благо один ты у меня такой, что способен в этих крючках разобраться.

Через несколько дней Коссович известил приятеля, что эта книга — «Пураны», священный свод индуизма, писанный на санскритском языке, а уж как эти «Пураны» из Калькутты попали на Сухаревку — об этом теперь никто не узнает.

Начинался великий подвиг всей жизни Коссовича!

Из университета Коссович вышел в 1836 году со званием мандидата наук словесных. Но, как это и бывает с нужными подыми, он оказался никому не нужен, и один лишь Белин-кий помянул о нем как о «страстном эллинисте», что задумал

16 Turas 23 481

издание словаря древнегреческого языка. Каэтан Андресвич жил уроками, одно время преподавал греческий в тверской гимназии. У него появился фрак и тросточка, но по рассеянности он иногда выходил из дома в затрапезной кацавейке, держа в руке метлу дворника. Заметив ошибку, он извинялся:

— Простите. Я просто слишком задумался...

Коссович по-прежнему был не в ладах с арифметикой, никогда не зная, как рассчитываться с официантом или сапожником, а выкладывал перед ними все свои деньги, говоря:

— Будьте любезны, отсчитайте сами, сколько вам надо, а то, знаете ли, эта проклятая семерка с детства не укладывается

в моей голове, а я не хотел бы вас обидеть...

В это время он штудировал труды западных санскритологов — Лассена, Бюрнуфа, Боппа и Вилькинса, а Россия своей санскритологии еще не имела. Каэтан Андреевич мечтал о заграничной командировке, чтобы познакомиться с этими корифеями. Наконец в 1843 году он получил место учителя в московской гимназии, и тогда же его заметил профессор Степан Петрович Шевырев, нуждавшийся в таком личном секретаре, который хорошо бы понимал языки, но совсем ничего не понимал бы в жизни.

В Деггярном переулке он предлагал ему свой мезонин.

— Живите у меня, что вам по углам мыкаться? Мои дрова, мои свечи, моя прислуга. Я так занят, так чертовски занят! А вечерами еще надобно бывать в Аглицком клубе, чтобы узнавать светские новости. Ну, просто разрываюсь на части... Кстати, переведите для меня вот эту заметку с еврейского. Буду рад, если сделаете для меня краткую компиляцию из этого лондонского обозрения. Заодно уж, очень прошу, ознакомьтесь с моей статьей для «Московского наблюдателя» и подсократите ее, колико возможно. Никак не обижусь, если вы и дополните мою статью своими соображениями... Ах, Боже, ну совсем нет времени! Выручите меня, голубчик... я побежал.

Днями учительствуя в гимназии, Коссович теперь ночи напролет, согбенный, утруждался для блага Шевырева, даже не понимая, наивный человек, что тот его попросту бессовестно эксплуатирует за бесплатные дрова и спаленные по ночам свечки, за то, что прислуга ставит ему самовар. Однако Каэтан Амдреевич оставался даже благодарен Степану Петровичу, ибо черенего (и через Станкевича) скоро вошел в содружество московских славянофилов: Хомяков, братья Киреевские, Елагина, Аксаковы и Плетнев (издатель) стали его друзьями. Люди немалым весом в обществе, они нажали потаенные пружимы верховной власти, и Коссович с головой погрузился в древнюю пыль архивов, открывая в этой пыли сокровища.

- Ну, что нашли нового? спращивал его Аксаков.
- Отрывок из письма Рабби бен-Ицхака, близкого к халифу испанскому, где он пишет к царю хазарскому. Мы еще не знаем о роли еврейства в Хазарском царстве, но мне интересно выявить связи отдаленного Запада с миром древнего Востока...
 - Откуда у вас все это? удивлялись славянофилы.
- О-о, господа! Все началось с книжного шкафа в каморке витебского еврея, где я познал первые восторги юности...

Послушав Коссовича, иногда его спрашивали:

- Так, значит, вы семитолог?
- Скорее уж санскритолог.

Незнакомые ему люди интересовались:

- Вы, говорят, первый у нас санскритолог?
- Пожалуй, смеялся Коссович, я все-таки иранист, изучающий Авесту и клинообразные надписи Ахеменидов, меня интересует и таджикский язык, столь близкий к зендскому...
 - О, боже! Так кто же вы на самом-то деле?
 - Увы, я... белорус, обожающий свой бедный народ...
 - Шутите? обижались светские дамы.
 - Если и шучу, мадам, то шутки мои горькие...

Стараниями Коссовича русские читатели впервые узнали трактаты «Махабхарата», «Торжество светлой мысли», Каэтан Андреевич старательно прививал русским людям вкус к познанию высоконравственной философии мудрецов древности. Петр Александрович Плетнев не раз говорил ему — дружески:

- То, что вы делаете, превышает всякое разумение наших критиков-недоучек, и, мало что понимая в ваших трудах, они будут элиться именно за свое непонимание вас...

Он же писал Коссовичу осенью 1848 года: «Не смотрите на то, что появится в журналах для вас обидное и неприятное. Не тут, совсем не тут ваши судьи! Придет еще время, когда имя Коссовича будет признаваться с благодарностью и почтением, как имя основателя в России целой школы исследователей санскритской филологии...» Авторитет Коссовича был в это время бесспорен, и в 1847 году граф Строганов сообщил сму, что желательно иметь в Московском университете кафедру санскритского и персидского языков, о чем он, попечитель округа, уже известил министра народного просвещения Уварова.

- Я уже просил Уварова о заграничной командировке для мас, чтобы в Бонне, в Риме, в Лондоне и Париже вы наглядно ознакомились с методами тамошнего преподавания. Вы рады?
 - Это моя давняя мечта, признался Коссович.
 Тогда и я рад... за вас, милейший.

Но министр Уваров в командировке отказал, и до графа

Строганова дошли его слова о ненужности кафедры санскритологии в Московском университете. Строганов был зол:

- Этот олух на мой запрос ответил, что у нас, мол, и русского-то языка не ведают, так зачем санскрит, если имеется восточная кафедра в Казани... Ах, что взять с дурака? Но я, милейший Каэтан Андреевич, советую вам потихоньку перебираться на берега Невы, где ваше усердие будет оценено скорее и более достойно. Над вами еще не издеваются?
- Уже пробуют, ответил Коссович, так, например, в «Современнике», ничего не поняв в индийской философии, дружно воскликнули все критики разом, приветствуя мои труды возгласом: «Да здравствует загробная тень Тредиаковского!»
 - Вы по-прежнему палите свечи в мезонине Шевырева?
 - Нет, меня приютила княгиня Оболенская...
- Уезжайте! Я дам вам рекомендательное письмо к барону Модесту Корфу, что директором в Императорской публичной библиотеке... А я уже разругался с Уваровым, как извозчик, и подаю в отставку. Без меня вам здесь будет плохо.

Каэтан Андреевич перебрался в столицу и вскоре женился. Елизавета Николаевна, жена — избранница его сердца, оказалась хорошим человеком, в их отношениях всегда царила тишь да гладь и божья благодать. Впрочем, это и понятно. Такие труженики, каким был Коосович, никогда своих жен не огорчают лишними осложнениями, при них женщины счастливы и спокойны, ибо у подобных мужей нет лишнего времени, чтобы делать женам всякие неприятности, — на это способны одни лишь бездельники!

Конечно, санскрит и древнееврейский — это не те языки, что необходимы на каждый день, и в Петербурге не слишкомто нуждались в услугах Коссовича. Сначала он, как семитолог, наладил цензуру еврейской литературы, в тайнах которой русские цензоры разбирались, как свинья в апельсинах. Затем Каэтана Андреевича привлек к себе барон Модест Корф, лицейский товарищ Пушкина; об этом человеке наши пушкинисты отзываются не ахти как ласково, но, мне кажется, Корф заслуживает доброго слова как историк, по сути дела и создавший Императорскую публичную библиотеку во всем неисчислимом разнообразии и богатстве, укрепив ее ценность научными каталогами.

— Вы мне нужны, — сказал он Коссовичу. — Без вас никому не разобраться в древнейших рукописях библиотеки, созданных неясно когда и на каких языках — тоже нам неизвестно. Думаю, вам следует побывать в Англии, чтобы с помощью тамошних ориенталистов расшифровать загадочные письмена.

Русским послом в Лондоне был Филипп Бруннов:

- Англичане считают, что изучать тайны санскрита можно только в Индии с помощью ученых брахманов-пандитов, а где изучили санскрит вы? спращивал он с недоверием.
 - Не удивляйтесь в Москве.

— Все-таки я вынужден удивиться тому, что вы сказали, ибо брахманов-пандитов в Москве я не встречал...

Этому удивлялись и английские ученые, а рукописи, которые Коссович привез из Петербурга, они разгадывали с трудом. Заодно уж Коссович окунулся в бездны Британского музея, отыскав немало ценных бумаг о России прошлых веков, чему барон Корф немало порадовался. Он полностью доверял Коссовичу и, отъезжая на Бален-Бален, говорил:

- Будьте за меня! Вам колокола и церковные дела...

Вскоре Академия наук предложила Коссовичу составить русско-санскритский словарь, о чем он известил Плетнева: «Если это сочинение откроет в моем Отечестве доступ к изучению древнейшего и прекраснейшего языка, то цель моей жизни будет достигнута». Между тем в русской столице немало было студентов, желавших изучать именно санскрит, и граф М. И. Мусин-Пушкин, попечитель Петербургского учебного округа, пожелал видеть Коссовича ради приятной беседы:

- Будь по-вашему! Я и сам понимаю, что столичный университет России нуждается в кафедре санскритологии. Только сразу расширим задачи кафедры, включив в нее и тибетскомонгольские языки, ибо Россию, как бы она ни считала себя Европой, от стран восточных не оторвать... Одно плохо!
 - Что же плохого, Михаил Николаевич?
- Ах, милый! Просто у нас нет денег, чтобы достойно оплачивать ваши лекции по санскритологии, будь она неладна.

Тут Каэтан Андреевич даже возмутился:

— Да разве я прошу денег? Согласен жить на скромное жалованье библиотекаря при бароне Корфе, а курс лекций в университете я буду читать бесплатно — лишь бы в России поскорее возникла своя школа русских санскритологов...

Елизавета Николаевна одобрила поступок мужа:

- Бог с ними, с этими деньгами, но я ведь с твоих слов уверена, что России нужна санскритология, как и математика. Каэтан Андреевич чуть не скрипнул зубами:
- Слово «математика» в моем доме не произносится! Или ты, Лиза, забыла, сколько меня пороли в Полоцке... за семерку, значение которой я до сих пор так и не осилил!

Коссовичу было уже за сорок, когда он издал древний индийский эпос «Рамаяна», издал и древнеперсидские «Зенд-Авесты», которые с восторгом приняли ученые Запада, а в России

нашлись критики, утверждавшие, что все это «излишняя роскошь», недостойная внимания русских людей, поглощенных совсем иными заботами. В 1865 году Коссович почти целый год провел в Париже, издавая древние рукописи, ибо в типографии Бюрнуфа отыскались отличные шрифты восточных языков, их отпечатки точно совпадали с написанием букв в рукописях тех миров, что давно угасли. Слава Коссовича становилась международной, но степень доктора сравнительного языкознания он получил не в Петербурге, а в Харькове, зато в Париже, и в Берлине, и Лондоне его давно называли академиком...

 Вам надо почаще гулять, — говорили врачи. — Нельзя же всю жизнь проводить за столом, вдыхая пылищу архивных манускриптов, в полусогнутом состоянии.

— Некогда, — отвечал Коссович врачам... Уступая их диктату, в одной из комнат своей квартиры он развел огород, посадил елочки и рябинку, там порхали птицы и прыгал зайчик. Здесь он гулял, лаская зайца, а птицы клевали зерна с его доброй ладони... Жене он говорил:

- Как велика и как трудна жизнь человека! Мне, Лизанька, еще повезло: я смолоду открыл в себе те способности. которые втуне были заложены в моих несчастных и ниших предках. А сколько еще людей на Руси живут, страдают и умирают в безвестности, так и не познав великого счастья - открыть самих себя для тех целей, какие им предопределены судьбою...

Коссович не забывал и семитологию; его грамматика еврейского языка выдержала в России 21 издание, и ученые раввины Петербурга низко кланялись ему, словно ученому «цадику».

Мы вам за это поставим памятник, — обещали они.

— Памятник? Гле?

— Где хотите... хоть в Палестине!

- Лучше вы, раббе, повесьте памятную доску на том трактире в городе Полоцке, где я случайно обнаружил шкаф с вашими древними книгами, с которых все и началось...

Однажды он вернулся домой чем-то взволнованный.

— Что с тобою? На тебе и лица нет, — испуталась жена.

— Ты не поверишь, что случилось! — отвечал Коссович. — Я встретил на улице жалкого и презренного старика на костылях и... Не может быть, как поверить? Но мне показалось, что это тот самый Бринк... тот, что избивал меня в Полоцке, ибо мне никак не давалась проклятая «семерка» в математике. Может, я ошибаюсь. А может, и... нет? Но прошлое вдруг ожило во мне. и мне, Лиза, поверь... мне хотелось подать ему милостыню!

...Каэтан Андреевич Коссович умер 26 января 1883 года в чине тайного советника и был погребен подле жены на Смо-

ленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

В седьмом томе Советской Исторической Энциклопедии об этом человеке имеется заметка, в которой я насчитал только семь строчек. Из библиографии приведена лишь статья А. С. Шофмана, помещенная в давние годы и в узкоспециальном издании с ничтожным тиражом, почти недоступная широкому читателю.

Именно эта скудность наших познаний о великом русском языковеде и заставила меня написать о нем эти страницы.

БЫТЬ ТЕБЕ ОСТРОГРАДСКИМ!

Пожалуй, рассказ предстоит обстоятельный... Жил да был в сельце Кобеляки полтавский помещик Василий Остроградский, а чинами не мог похвастать: сначала копиист, потом канцелярист почтамта, — сами видите, невелик прыщ! С женою Ириною имел он особый пригляд за сыночком Мишенькой, что бурно и даже мощно произрастал среди поросят да уток, меж арбузов да огурцов, имея наклонности совсем недетские. Не дай-то Бог, ежели где увидит колодец или яму какую — сразу кидался измерить ее глубину шнурком с грузилом, который при себе имел постоянно. По этой причине родители держали его от колодцев подалее, а Мишенька, могуч не по возрасту, рвался из рук родителей, даже плакал:

— Ой, не держите меня! Желаю глубину знать...

А вот зачем ему это надобно, того объяснить не мог, но размеры любой ямы его магически привлекали. Не мог он оторваться от машущих крыльев мельницы, подсчитывая число оборотов, часами, бывало, смотрел, как льется вода над плотиной. Учили его, балбеса, в Полтаве — сначала в пансионе, а потом в гимназии, но Миша педагогов успехами никогда не восхищал, лентяй он был каких мало! Ему учитель о Пифагоре рассказывает с умилением, а он, экий придурок, шнурком этим самым скамью под собой измеряет. Аттестат Мишеньки блистал такими похвальными перлами: «не учится», «в классах не

бывает», «охоты не имеет», «уроков опять не знал...» Можно понять отчаяние родителей!

- Ну, что тут поделаешь? огорчалась маменька. Мы ли его не баловали? Мы ли сливок да шкварок на него не жалели? А такой олух растет стыдно людям показывать.
- Сечь его прутьями! говорили мудрейшие родственники. — Ежели рыпаться станет, мы согласны держать его на воздусях, а родитель пущай вгоняет в него страх Господень сзаду, дабы в нем великий азарт к учению возгорелся...

Думали и додумались. одна Мишке дорога — в кавалерию.

— Там и думать не надо: лошадь его сама в генералы вывезет.

В 1816 году, забрав своего придурка из гимназии, отец повез его прямо в Петербург, угрожая, что если в гусары не примут, так отдаст в артиллерию — на прожор самому графу Аракчееву. Но по дороге в столицу встретился шурин — Сахно-Устимович.

- Нонеча век просвещенный, ворковал он. Сейчас не из пушек палить надобно, а мозгами раскидывать... На что Мишке гусарство? На одно вино с девками сколько денег ухлопает! А ныне в Харькове университет открыли, вот туда и сдай Мишку.
 - В университет хочешь ли? спросил отец сына.
 - Нет, не хочу, отвечал тот браво.
 - Тогда поехали... в университет, решил папенька.

Привез он своего недоросля в Харьков и сдал его в науку, словно в полк какой: авось что-нибудь да получится? Начался странный период жизни юного Остроградского: сначала вольнослушатель, через год и студент по факультету математики, он в точных науках ни бельмеса не смыслил, а навещая отчие Кобеляки, слезно умолял батюшку о военной службе:

- Ладно уж гусары или пушкари нонеча согласен даже в полк Кременчугский пехотный... маршировать стану.
 - Эва тебе! показывал отец сыну кукиш...

Так бы и далее, наверное, канючил, если бы на втором курсе не поменял квартиру. На этот раз юнца приютил у себя адъюнкт наук математических Андрей Павловский, которого студенты харьковские «Аристидом» прозвали — за его любовь к справедливости. Стали они совместно математикой заниматься, формулы всяческие разрешая. Павловский, очевидно, был педагогом отличным, ибо Остроградский, лентяй и тупица, каких свет не видывал, вдруг с небывалым жаром проникся познанием науки, от которой ранее он усердно отвращался. Прошло два-три месяца, не больше, и однажды «Аристид» взял квартиранта за уши и... расцеловал:

- Мишель! Прими за истину, что говорить стану. Я едино

лишь усидчивостью беру да терпением, знаниями уже достаточно обладая. А ты, знаний в математике не имея, все с налету мигом хватаешь, будто ястреб жалкого воробья в полете, и на любой вопрос, над которым я мучаюсь, отвечаешь сразу. Я-то, мой милый, трудом истины домогаюсь, а ты... ты, братец, творишь!

Так кто ж я такой? — удивился Остроградский.

- Ты? Ты, братец, гений...

Странности судьбы продолжались. Остроградскому было уже 19 годочков, когда ради получения степени кандидата он сдал одни экзамены успешно, а другие сдавать попросту не пожелал. Не хочу, мол, и все тут, не приставайте ко мне! Сам князь А. Н. Голицын, министр народного просвещения, с высот вельможных, из кресел бархатных указывал, чтобы не рыпался и сдавал все экзамены, но... Об этом, читатель, можно написать сто страниц (не преувеличиваю), можно ограничиться и десятком строчек. Я буду краток: в один из дней Остроградский выложил аттестат перед синклитом ученых Харьковского университета и заявил, что не желает видеть свое имя в списках студентов:

— А моим аттестатом можете... подтереться!

Родители надеялись, что уж теперь-то их Мишенька согласен служить в пехоте, но Остроградский помышлял о другом:

Мне, папенька, ехать в Париж нужда приспела.
 Отец рассудил об этом желании на поэтический дад:

— Нешто наши кобелякские дивчины плохо для тебя писни спивают? Нешто вальсы парижские нашего гопака милее?

Вырос дитятко под потолок, рычал басом, перечислял имена славные, парижские: Фурье, Лаплас, Ампер, Пуассон, Коши, — возжаждал он ихние лекции в Сорбонне слушать. Зарыдала тут маменька, кручинясь, а отец подумал и... согласился:

 Мишка-то прав: по малому бить — только кулак отшибешь. Езжай, сынок, и затми Париж нашими Кобеляками!

Но возникла сильная оппозиция со стороны родственников.

— Экий бугай! — говорили они. — Любого порося в одночасье под хреном уминает, все у него есть, жить бы ему да радоваться, родителей в преклонности лет ублажая своим сердцелюбием, так нет — ему, вишь ты, еще и Париж подавай!

Вот тут и нашла коса на камень.

— Цыть! — сказал папенька. — Бывать Мишке в Париже, дабы ведали людишки тамошние, что в Кобеляках не под забо рами рождаются, не кулаком крестятся и не помоями умываются...

В мае 1822 года сынок отъехал в Париж, и недели не миновало, как вернулся он в Кобеляки — босой и голодный.

— Чего так скоро? — спросил отец.

— Денег твоих, папенька, до Чернигова мне хватило. Сел в дилижанс, как все люди, но в дороге обшептали меня пассажиры проклятые, весь багаж по кускам раздергали... Велите, папенька, обед подавать. Очень уж я по шпику с салом соскучился.

— Нет уж! — обозлился отец. — Обедов ты от меня не дождешься. Я тебе еще раз отвалю три сотенных, и езжай в Париж,

как хотел, чтобы сородичи надо мною не изгалялись...

С великим бережением (от воров) Остроградский прибыл в Париж, о чем вскоре известил тишайшие Кобеляки, но сам Париж никак не потряс полтавского дворянина. А папенька, видит бог, тратился на сыночка не зря. Через три года Кобеляки навестил «Аристид» харьковский — профессор Андрей Павловский, радостный.

— Василий Иваныч, — сообщил он отцу, — стыдно мне за коллег своих, что проморгали природного гения. А теперь... гляньте! Вот привез я вам журнал Парижской академии наук, прочитаю я вам, что пишут о вашем сыночке, и поплачем на

радостях.

Извещаю читателя: великий Огюстен Коши, перечисляя ведущих математиков Парижа, писал об Остроградском, что этот «молодой человек из России, одаренный громадною проницательностью и весьма сведущий в исчислении бесконечно малых величин, дал нам новое доказательство» в тех сложнейших формулах, над которыми математики Парижа давно и без успеха работали.

— Шутка ли? — вопрошал Павловский. — Над этими интегралами сам великий Лаплас утруждался, а помог-то ему наш Мишель кобелякский. Каково теперь в Харькове читать, что Лаплас, отец небесной механики, зовет Мишеля mon fils (мой

сын)...

Остроградский в ту пору жил одиноко, сторонясь удовольствий Парижа; часами он простаивал над Сеной, наблюдая за волновым течением воды, и в 1826 году Сорбонна опубликовала его научный «Мемуар о распространении волн в цилиндрическом бассейне». Ученые автора хвалили, а полиция Парижа посадила его в тюрьму Клиши, ибо Остроградский задолжал «за харчи и постой» в отеле. Отюстен Коши сам же выкупил ученика из тюрьмы, и впредь, чтобы не сидеть на бобовой похлебке, Остроградский устроился надзирателем в учебную коллегию короля Генриха IV...

Настала весна 1828 года. Наш известный поэт Николай Языков был тогда студентом Дерптского (Юрьевского) университета. Однажды, прогуливаясь в окрестностях Дерпта, поэт уви-

дел, что по дороге в город шагает детина громадного роста, будто Гулливер, а сам босой, драный, почти голый. Назвался он учеником великих Коши и Лапласа, следующим из Парижа до Петербурга.

— Вот, — сказал, — от самого Франкфурта марширую... Опять обшептали меня пассажиры проклятые. Видит бог — в пути не воровал, но подаянием мирским не гнушался. Теперь и до Питера, чай, близехонько. А чин у меня такой, что даже кошку не напугаешь: всего лишь коллежский регистратор...

Языков привел Остроградского к себе, русские студенты приодели его, подкормили, и он, довольный, вскинул котомку.

— Побреду далее, — сказал, благодарный. — Ежели генера-

ла из меня не получилось, так хоть профессором стану.

— Послушайте! — окликнул его поэт. — Вы, будущий про-

фессор, а диплом-то из Парижа имеете ли?

— Нет, — огвечал Остроградский. — Из Харькова выкинули без аттестата, из Парижа иду безо всяких дипломов... Бог не выдаст, так и свинья не съест... Спасибо вам за все, люди добрые!

Кажется, чуть ли не первый светский салон, в котором Остроградский появился, был столичный салон княгини Евдокии Голицыной, известной «принцессы Ноктюрн», которая сама была недурным математиком. Между прочим, Михаил Васильевич общества никогда не избегал, был приятным и острым собеседником, лихо танцевал с дамами, а боялся он только... генералов. Почему так — не знаю, но при генералах он сразу немел, испутанно жался в сторонке, как бы желая остаться в неизвестности.

- Михайла Васильич, что вы там жметесь? Идите к нам, звали его.
 - Боюсь. Там у вас... генерал.
 - Так не крокодил же, не съест.
 - Все равно. С генералами шутки плохи...

Думаю, тут срабатывал механизм Табели о рангах, согласно которой каждый сверчок — знай свой шесток. А шесток Остроградского был весьма шатким: всего-то коллежский регистратор (считайте, гоголевский Акакий Акакиевич). А вот еще
новость: сразу, как только Остроградский появился в Петербурге, он был взят под негласное наблюдение тайной полиции.
Историки не знают, в чем он провинился, но грешен, наверное, был. В секретной переписке на самом высшем имперском
уровне мне попалась странная фраза: «возвратился из-за границы пешком и сразу обратил на себя внимание некоторыми обстоятельствами». Вот, поди ж ты, догадайся — что это за обсто-

ятельства? Впрочем, по мнению историков, Остроградский до конца жизни не знал, что за ним и его словами бдительно следят вездесущие прислужники Бенкендорфа...

Ладно! Тайный надзор жандармов не мешал веселиться.

Остроградский очень скоро стал адъюнктом прикладной математики, сначала экстраординарным, а вскоре и ординарным академиком (в возрасте 29 лет). Не по чину, а по уму получил он казенную квартиру из шести комнат, в которых — хоть шаром покати, не было даже стула, чтобы присесть, и наш академик гулял по комнатам, озирая из окон широкие невские просторы. На дрова он тоже не тратился — жилье его казна и отапливала.

— Ух, жарко! — говорил он, похаживая. — Квартира есть, дрова есть, звание есть, деньги есть... Чего же еще не хватает? Ах, Господи, совсем из головы вон: женой еще не обзавелся.

Тут и беда случилась! Как на грех появились тогда первые спички — фосфорные. Чиркнул одну из них Остроградский, а она — пшик! — и обожгла ему правый глаз фосфором. Остался он с одним глазом, а правый померк на всю жизнь и постоянно источал обильную слезу. Но даже одним глазом Остроградский жену себе высмотрел. Это была Мария Васильевна фон Люцау (так писали до революции, а сейчас ее называют урожденной фон Купфер). Невеста была из лифляндской породы, немочка аккуратная и сдобная, сочиняла стихи, играла на рояле, напевала романсы о муках любовного ожидания, а перед женихом сразу поставила железное условие:

— Согласна быть вашей супругой, если вы не станете докучать мне разговорами об этой противной математике...

И не надо! Не для того люди женятся, чтобы сообща разрешать формулы, а совсем для иных дел, более серьезных. Между тем свой брак Остроградский от родителей утаивал, и в Кобеляках, считая сына холостяком, еще долго перебирали выгодных невест, у которых в приданое готовились хутора с визжащими поросятами. «Хохол щирый», Остроградский о своем украинском происхождении не забывал и, частенько заглядывая на кухню, где орудовала прислужница Галка, он всегда готов был покушать.

— Щедрых-ведрык, — говорил кухарке, — мне бы вареник, грудочку кашкы, кильце ковбаскы, ще цего мало — дай и сальна!

В 1833 году родился первенец Виктор, за ним дочери — Мария, что потом была в браке Родзянко, и Ольга, ставшая впоследствии генеральшей Папа-Афонасопуло. Отца этого семейства часто осеняло божественное вдохновение. Рассказывали, что однажды на Невском проспекте, не имея бумаги, он стал

записывать математические расчеты на кожаном задке чьей-то барской кареты.

Так увлекся, что вокруг себя уже ничего не видел. Но тут карета тронулась, кучер нахлестнул лошадей, а за каретой, не стыдясь честного народа, долго бежал по Невскому великий академик гигантского роста и орал что есть мочи:

- Стой, сын гадючий! Куда повез мои формулы?..

Конечно, не все в России любили математику и не все русские умели считать, — дело не в этом, а в том, что не было в России людей, которые бы не знали об Остроградском. Полтавский житель П. И. Трипольский, земляк ученого, писал, что «имя это одними произносилось как образец энергии, с какою он достигнул своей цели еще в молодые годы, а другими — как научный авторитет, равного которому с трудом можно найти в Европе...».

— Голова, — говорили о нем с великим решпектом.

Голова была крупная, коротко остриженная, как у новобранца. Иногда надевал золотые очки, а из мертвого глаза стекала слеза. Да, неказист был Михаил Васильевич, нескладен фигурою, зато и колоссален — не только умом, но и всею дородною статью. «Платье сидело на нем мешком, а ноги напоминали слоновьи. Широкое лицо было освещено только одним глазом, но зато умным, проницательным, даже лукавым...». Пожалуй, ни о ком из русских ученых не осталось столь много живописных свидетельств, как об Остроградском, ибо он был оригинален, как никто другой, поражая людей не только остротой мысли, но и своей, я бы сказал, «топорною» внешностью, чем-то схожий с обликом того Собакевича, каким его изображали русские иллюстраторы.

Каков был Остроградский, судите до такому примеру: «Офицеры брали его пальто и надевали на себя вдвоем, вставляя по две руки в каждый рукав, застегивали его на себе и так вот ходили, заложив по две руки в каждый карман...»

Остроградский прославил себя как удивительный педагог! Боюсь, что список учебных заведений, где он преподавал, покажется чересчур громоздким: Главный педагогический институт, Институт корпуса инженеров путей сообщения, Морской кадетский корпус, Военно-инженерная академия и училище, Артиллерийская академия и училище... Заметьте, в этом списке нет университета, которым Михаил Васильевич явно пренебрегал (очевидно, не забывая «харьковской» истории) Но еще он читал публичные лекции для горожан по алгебре, небесной механике, аналитической геометрии и элементарной математике. Писал тоже немало и всегда безбожными каракулями — мало кто мог понимать его почерк.

— Все махоньки люды пагано пышуть... це дурныца!

Настежь отворялись двери в аудиторию. Остроградский входил, грузно оседая в кресле профессора. Долго озирал учеников единым оком поверх золотых очков и начинал лекцию так:

— Ну, Декарты, ну, Пифагоры, ну, Лейбницы, ну. каза-ки!

Служитель вносил два графина с водою и два стакана с мягкою губкою. Из одного Остроградский пил, во втором мочил пальцы, чтобы протирать вечно слезившийся глаз; потом неизбежно путал стаканы и в любом смачивал губку для стирания с доски формул, а забывшись, этой же губкой смахивал слезу со щеки. Он не курил, зато нюхал табак, а табакерку всегда забывал дома и, где бы ни читал лекции, всегда вопрошал аудиторию одинаково:

— Ж да но в! Где ты? У тебя есть табачок?

Жданова, конечно, и быть не могло. Но всегда находился студент или офицер, согласный побыть в роли «Жданова», угощавший профессора доброй понюшкой. При ученом неизменно состоял поручик Герман Паукер (будущий министр путей сообщения), который иногда и начинал лекцию — вместо профессора, но вряд ли Паукер знал, что о нем говаривал Михаил Васильевич.

— Думают, что математика наука скучная, а главное в ней — умение считать. Это нелепость, ибо цифры в математике занимают самое последнее место, а сам математик — это прежде всего философ и поэт... Я ведь совсем считать не умею! — признавался Остроградский, ошеломляя слушателей. — Мои ученики считают лучше меня. А вот я часто путаюсь в цифрах и если бы экзаменовался по арифметике у того же Паукера, он бы сразу влепил мне единицу. Но между нами большая разница: я все-таки математик, а вот Паукер никогда им не был и никогда им не станет...

Соответственно таким взглядам он и вел себя с учениками. Остроградский сразу выявлял в аудитории двух-трех человек, будущих «декартов» и «пифагоров», для них и читал лекции, остальных же именовал «казаками», к познанию математики неспособными. Одному из таких «казаков» Михаил Васильевич поставил самый высший балл на экзамене.

— Чему дивишься? — сказал он ему. — Ты в интегралах был неучем, таковым и помрешь, я это знаю. Но я ставлю теба «двенадцать», ибо твои идиотские рассуждения неожиданно навели меня на одну мысль, о какой мне самому никогда бы и не додуматься... Так что, братец, от дураков тоже польза бывает!

Иногда, задумчивый, он приступал к чтению лекции на французском языке, порою же начинал рассказывать велико-

светские сплетни, а потом, иссякнув в хохоте, подначивал слушателей:

- Господа, может, и вы мне анекдотец расскажете?...

О нем враги говорили, что он просто лодырь, каких свет не видывал, и Остроградскому все равно о чем болтать, лишь бы скорее закончилось время лекции. Так, перед офицерами академий он чаще всего рассказывал о полководцах древности, поражая всех великолепною эрудицией, мастерски рисуя на доске схемы знаменитых сражений. Однажды Остроградский так увлекся битвою при Арколе, что не сразу заметил в дверях появление генерала — начальника военной академии.

— ...И вот, — громыхал бас Остроградского, — когда все уже дрогнули, Бонапарт вышел вперед, спрашивая бегущих: «Солдаты, вы еще не видели чуда?» — Тут он заметил генерала и быстро изобразил на доске « ∫ х dx». — Именно в этом интеграле икс-де-икс и проявилось чудо его гениального решения...

Генерал мгновенно испарился, ибо иметь дело с иксами не был намерен. Да, читатель, многие считали Остроградского чудаком, и отчасти это мнение даже справедливо. Однажды он принимал экзамен у молодого инженерного офицера.

— Что-то я вас не помню. Назовитесь, милейший.

— Цезарь Кюи. Цезарь Антонович Кюи.

Остроградский мигом поставил ему «12», даже не задавая вопросов, а когда будущий композитор выразил свое недоумение, ученый попросту выставил его из аудитории — со словами:

— Иди, мой хороший. Цезарь всегда побеждал...

Марье Васильевне, жене своей, он не позволял читать статей Белинского, чтобы излишне не возбуждалась, но сам был человеком очень начитанным, литературу страстно обожал. Иногда, прервав лекцию и обтерев лицо от слез, Остроградский навзрыд читал Сумарокова или Пушкина, но особенно жаловал он Тараса Шевченко. На экзаменах бывал то неожиданно покладист, то вдруг становился крайне придирчив, угрожая абитуриентам:

— Сидели вы тут на «камчатке», на Камчатке и карьеру свою закончите... А дважды два сколько будет?

От этого многие офицеры из числа «казаков» заранее ложились в лазарет, притворяясь больными, только бы избежать яростного гнева Остроградского. П. Л. Чебышев, сам великий математик, не раз встречался с Остроградским за столом в доме В. Я. Буняковского (тоже математика), но чаще они пикировались меж собою как соперники, а много позже, когда Остроградского не стало, Чебышев вспоминал о нем с большою печалью:

— Человек был, конечно, гениальный. Но он не сделал и половины того, что мог бы сделать, если бы его не засосало это утомительное «болото» постоянного преподавания...

Читатель, сведущий в истории русской науки, с ехидцей спросит меня — не желаю ли я замолчать об отношении Остроградского к Лобачевскому? Скрывать не стану: Михаил Васильевич дал резко отрицательный отзыв о теориях великого казанского геометра, идеи которого казались ему чуждыми и малопонятными. Мне думается, что Остроградский попросту не привык понимать то, что было непонятно ему с первого же прочтения...

Дабы не утомлять читателя, не стану перечислять все 48 научных трудов Остроградского, включая и работы по баллистике или даже теории вероятностей. Он был признан всем миром, стал членом академий — Туринской, Римской, Соединенных Штатов, а после Крымской кампании попал и в число «бессмертных» Парижской академии. Слава же в России была столь велика, что в ту пору поступающим в университет желали самого лучшего:

- Быть тебе Остроградским!..

Михаил Васильевич был настолько предан науке, что все мирское порою его не касалось. Сутками не выходил к семье, работая взаперти. Потому-то, когда после смерти родителей начался раздел кобелякских имений, Остроградский даже не поехал на родину, послав судиться-рядиться свою жену.

— Бери что дадут, — наказал он ей. — За кадушки да грядки не цепляйся. Нам с тобой хватит, и детям еще останется...

Мария Васильевна «выцарапала» у родичей мужа деревеньку Пашенную Кобелякского повета, где вблизи протекал лирический Псел, но вернулась она в Петербург сама не своя, часто поминая соседнего помещика Козельского:

— Ах, пан Козельский... ну, такой озорник! Однажды я стою вот таким манером, его даже не замечаю, конечно, и ем вишни. А он вдруг подходит И... Знаешь, что он мне сказал?

— Уйди, — сказал ей муж. — Не мешай мне думать...

Еще раз смотрю на старинную фотографию того дома, что достался ученому в Пашенной: обычная «хохлацкая» хата, жалкое подобие крылечка с претензиями на колонны, крохотные оконца. Сюда он приезжал на каникулы, чтобы насытиться спелыми кавунами, наесться галушек с варениками. Крестьяне ожидали его приездов с нетерпением, Михаил Васильевич, человек щедрый, задавал им пиры под открытым небом, одаривал молодух гребешками и лентами. Очень он любил купаться в реке, голый, скакал до берегу, крича деревенским детишкам:

А ну, ррра-акальи такие, кто кого — калюкой!

Начиналось побоище «калюкою» (грязью), и светило научной мысли, тайный советник империи и кавалер многих орденов, весь обляпанный грязью, радовался, как ребенок, меткости попаданий. Ничто, казалось, не предвещало жизненных перемен. Впрочем, об этой перемене сохранились две версии. Первая такова. Однажды ночью, в дальней дороге, Остроградский уселся в свою карету. Было темно, лошади тронулись и, обняв жену, он целовал ее, а «жена» помалкивала. Потом заявила:

Вот как сладко! Только, сударь, ваша жена уехала в карете моего мужа, так что теперь можете целовать меня и далее.
 Видит бог, возражать я не стану...

Наверное, это один из анекдотов, каких немало о нем рассказывали. На самом деле все было проще и не столь роман-

тично.

Мария Васильевна еще по весне выехала с детьми в Пашенную ради летнего отдыха, выехала намного ранее мужа; когда он сам приехал в имение, то жены не застал. А крестьяне подсказали ему, что она давно отбыла к соседнему помещику Козельскому. Остроградский поехал в имение своего соседа, где нашел разбросанные вещи жены, а жена и сам Козельский спрятались от него в курятнике, о чем Остроградский догадался по тому переполоху, который там устроили куры с петухами. Все стало ясно, как Божий день. Не тащить же ему жену за волосы! Остроградский вернулся в Пашенную, а вечером к нему нагрянула жена Козельского:

— Позвольте жить с вами... хотя бы гувернанткой при ваших деточках. Не могу же я оставаться при муже, который чужой женой овладел... вашей же! Не изгоняйте меня... Куда ж мне теперь деваться? Не любви у вас, а жалости прошу...

Остроградский обладал железным здоровьем, никогда и ничем не болея. Петербуржцы часто видели его гуляющим в сильные морозы или под проливным дождем — даже без зонтика, а галош он не признавал, как не признавал и врачей, считая их шарлатанами. Летом 1862 года он выехал, как всегда, на родину, много купался и не желал замечать, что на спине у него назревает опасный нарыв. Родственники уговорили Остроградского ехать в Полтаву, чтобы показаться опытным врачам, на этом же настаивал и сельский врач О. К. Коляновский. Поддавшись на уговоры, Михаил Васильевич созвал всех крестьян на прощальные посиделки:

— Сидайте ж, щоб все то добре сидало...

11 ноября Остроградский приехал в Полтаву, остановился на Колонийской улице в доме В. Н. Старицкой, своей давней

знакомой. Начал было и поправляться, но 7 декабря не отказал себе в удовольствии поесть маринованных угрей, после чего положение больного резко ухудшилось. Нарыв на спине пре-

вратился в рану.

Петербург в эти дни публиковал в газетах бюллетени о со-стоянии его здоровья. 20 декабря, окруженный сородичами и друзьями, Остроградский — время было к полуночи — вдруг стал волноваться, потом крикнул двоюродному брату Ивану:
— Ваня, мне мысль пришла... запиши скорее!

Но эта мысль гения, рожденная на смертном одре, осталась уже невысказанной, сопроводив Остроградского в могилу. Гроб с его телом водрузили на сани и отвезли в деревню Пашенную, где была семейная усыпальница дворян Остроград-

СКИХ...

Мне осталось поведать последнее. О дочерях ученого мною уже помянуто ранее. А вот единственный сын его Виктор не унаследовал от батюшки даже малой толики его гения, и еще унаследовал от оатюшки даже малои толики его гения, и еще молодым человеком был уволен из артиллерии за полную безграмотность — именно в математике! Виктор Остроградский умер в селе Рыбцы, будучи опекаем в «Доме призрения для бесприкотных дворян» (то есть нищих дворян). Странно, что и его мать — Мария Васильевна — встретила старость тоже на чужих хлебах у графини Софыи Капнист, будучи приживалкой в ее богатом имении.

О чем мне еще сказать? Пожалуй, о той мемориальной дос-ке, что висит на стене «академического» дома на берегах Невы. Но доска и есть доска, она мало что говорит. А хорошо бы нам воскресить старое пожелание молодежи:

Иди и учись! Быть тебе Остроградским...

двое из одной деревни

Сейчас уже трудно восстановить истину — из далекого прошлого дошли только смутные отголоски преданий. Верить ли им? Но когда ничего не осталось, кроме легенд, приходится брать на веру даже слухи из былой, невозвратной жизни... С чего начать? Начну просто. Жили-были два здоровущих

С чего начать? Начну просто. Жили-были два здоровущих балбеса в убогой деревушке, что неприхотливо раскинула избенки близ дорожного тракта. Один был дворянин Митя Лукин, другой — Ильюшка Байков, его же крепостной, который своего барина почитал верным приятелем, и расставаться они не собирались — дружили! Из родни Лукин имел только дядю, который, опекунствуя над недорослем, нарочно держал его в черном теле, ничем не балуя. Потому-то, наверное, сам жил в Москве, сибаритствуя, держа племянника в забвенной деревне, а крепостного ему дал только одного — словно в насмешку.

Читатель уже догадался, что с одного крепостного сытым не бывать. Тем более что ни пахать, ни сеять они не собирались, а жили как птицы небесные, что Бог подаст — то и ладно! Жили в крестьянской простоте: на одних полатях спали, из одной миски щи лаптем хлебали, одною овчиною укрывались, а кто тут дворянин, кто раб его — об этом не думали, ибо, живущие в простоте, совместно делили свое убожество. И, отходя ко сну, согласно зевали:

 Что-то Божинька даст нам завтра? Хорошо бы дождь хлынул, да грязи развезло поболее, чтобы нам, сиротинушкам, была пожива верная... Ну, спим, братец. Утро вечера мудренее...

Дорожный тракт был всегда в оживлении, одни в Москву, иные в Питер ехали, - вот они и жили, кормясь с путников. Упаси Бог, не подумайте, что Лукин с Байковым проезжих грабили, — нет, они имели кормление с невообразимой гигантской лужи, которая (со времен царя Алексея Тишайшего) кисла и пузырилась как раз посреди тракта, давно закваканная лягушками. Так что, сами понимаете, все кареты или коляски прочно застревали посреди этой лужи, и, бывало, даже шестерка лошадей часами билась в грязи по самое брюхо, не в силах вытащить карету из ветхозаветной российской слякоти.

С первыми петухами Лукин и Байков, зеваючи, выходили на тракт, как на работу, и укрывались под кустами недалече от этой лужи, терпеливо ожидая добычи.

Во, кажись, кто-то едет, — прислушивался Илья.
Далеко не уехать, — отвечал Лукин, — и нашей лужи никому не миновать, а нам сейчас прибыль будет...

Точно! Как всегда (уже второе столетие подряд) карета застревала посреди громадной лужи, ямщик напрасно стегал лошадей, из окошек выглядывали встревоженные лица путников, и скоро слышался их вопль о помощи:

— Эй, в поле! Есть ли душа живая? Помоги-и-и-и-те...

Лошади выбивались из сил, а коляска все больше погружалась в грязь, тут Лукин с Байковым вылезали из кустов, и, увидев их кулаки величиною с тыкву, проезжие первым делом не радовались, а пугались, ибо этим парням только кистеней не хватало, да не свистели они Соловьем-разбойником.

— Ну-к, што? — говорил Лукин. — Мы помочь завсегда рады-радешеньки, тока и вы нас, люди добрые, не забывайте...

После такой преамбулы парни смело забирались по пояс в середину лужи и - раз-два, взяли! - на руках выносили карету с пассажирами на сухое место, да с такой нечеловеческой, почти геркулесовой силой, что лошалям нечего было делать. Тут, вестимо, их награждали: когда гривенник дадут, когда копейку, а однажды застрял в луже очень знатный вельможа, так он даже плакал от радости и рубля не пожалел...

Митя Лукин с Ильей Байковым об одном Бога молили:

- Чтоб эта лужа ни в кои веки не пересохла, чтобы эти канальи-инженеры не вздумали дорогу чинить... Тады мы настрадаемся! А захотим, так новую лужу создадим, еще глыбже...

Беда пришла с иной стороны - от дяди. Велел он племяннику быть в Петербурге, чтобы заполнить вакансию в Морском корпусе, и в этом решении дядя, очевидно, исходил из житейской мудрости: с глаз долой — из сердца вон!

А как же я? — закручинился Илья Байков.

- Не горюй, - утешил его Митенька, - я тебя не покину,

и до Питера потопаем вместе... Сбирайся!

Сплели они себе новые лапти, перекинули через плечи котомки с немудреным скарбом и — пешком! — отправились в столицу, где их поджидала удивительная судьба. О двух парнях из одной деревни написано очень много, и все мемуаристы сошлись в едином мнении: живи они в древние античные времена, когда в людях превыше всего ценилась атлетическая сила, ставили бы им памятники в Афинах, их статуями украшали бы Акрополь.

Читатель, с семейными преданиями отныне покончено, перейдем к официальной части, которая составлена по доку-

ментам и по воспоминаниям современников...

Итак — Петербург, время царствования Екатерины Великой.

На берегах Невы Дмитрий Александрович Лукин расцеловал своего товарища, со слезами простился и сказал ему так:

 На што мне тебя, Ильюша, в рабстве томить? Ступайка, братец, на волю, чтобы писаться впредь Ильей Ивановичем...

И стал Илья Байков «вольноотпущенным», то есть ничейным: сам себе голова! Хотел было он снова подле какой-нибудь корошей лужи пристроиться, чтобы иметь верный прибыток, но — вот беда! — улицы Петербурга таковы, будто их упогом выгладили, а от ровных мостовых какая пожива? С детства любивший лошадей, Байков устроился при конюшнях: когда овса лошадям засыпать, когда под хвостом у кобылы помыть, был он в этом обиходе большой мастак, советы давал дельные, и потому скоро его в столичных конюшнях знали. Служил кучером у разных господ, поднакопил деньжат, в полиции ему пас-

порт выправили, стал Байков писаться «мещанином».

Иначе складывалась стезя дворянская, стезя офицерская. Произведенный в гардемарины, Лукин плавал на Балтике, под парусами ходил до Архангельска и обратно, а в 1789 году стал лейтенантом, в войне со шведами дрался во многих баталиях, а с 1794 года командовал скутером «Меркурий»... Как учился Лукин в корпусе — не знаю. Но зато мне известно, что до самой смерти читать он так и не научился. Однако памятью обладал феноменальной. Еще в корпусе, прослушав лекцию по навигации или стрельбе плутонгами, он на всю жизнь укладывал ее в своей голове. Если ему приносили диспозицию к бою, он велел читать вслух, и тут же самый мудреный текст повторял слово в слово без единой запинки. Сейчас такие головы, как у Лукина,

более схожие с компьютерами, считаются чудом природы, феноменом небывалых возможностей человеческого мозга, а тогда... Тогда больше дивились силе его, а не памяти!

— Сила есть — ума не надо, — говорил он, посмеиваясь...

Конечно, они частенько встречались в Питере, дружили по-прежнему. Илья Байков женился, имел девочку, но жена пошла на базар и пропала, будто ее и не было. Лукин оженился на дворянке Анастасии Ефремовне, что происходила из голландского рода Фан-дер-Флитов, служивших на Руси мореходами со времен Петра I. Илья навещал своего бывшего «барина», помогал ему по хозяйству. Лукин жил бедно, а когда созывал гостей, Илья Байков заранее привозил для него сорокаведерную бочку с водой. Гости любовались из окон, когда Илья вносил бочку в дом, а Лукин перенимал ее и ставил на кухне. К жене Лукина Илья относился так-сяк:

 Ой, Митенька, набедствуещься ты с этакой девицей, гляди, как она глазами-то стреляет. Да и вертлява горазд.

— Управлюсь, — отзывался Лукин...

Дядя у него умер, и Лукин получил в наследство деревню, где-то за Тулой. Решив проведать свое поместье, взял в дорогу жену с девочкой, просил Илью сопровождать его. Декабрист Н. И. Лорер записал рассказ Байкова. В пути однажды их застала гроза, а на опушке леса вдруг засветилась окошками изба, очень просторная. Вошли. Самовар поставили. А за стенкою — голоса какие-то, Лукин и говорит — сходи, Илья, проведай, что за люди... Вошел Илья в придел избы, а там полно мрачных мужиков — все с кнутами, словно цыгане. Байков сказал Лукину, что дело нечистое:

— Я потихоньку подкрался и, услышал, что первым убить меня сговариваются, потом барина с госпожой и обокрасть кибитку (Байков, чтобы Анастасия не слышала, на ушко Лукину сказал об этом).

Дмитрий Александрович даже не разволновался:

— Не станем ждать, пойдем сами и разберемся.

Вошли в придел, Лукин спрашивает:

- А что вы за люди?

- А тебе-то какое дело? - отвечали ему.

Один разбойник сразу вскочил, чтобы ударить, но Лукин раз только треснул — готов. «Илья, принимай!» — крикнул Лукин, и прямо над головой Байкова пролетел второй, треснувшись башкой в стенку. Все. Лег. Потом пошла работа, как на конвейере, Лукин встряхивал одного за другим, чтобы себя не помнили, и перебрасывал Байкову, тот отпускал последний удар, после чего выкидывал труп на улицу... Вышли, потом Лукин сказал:

— Ну и наваляли мы, Илья, аж целая поленница...

Посторонних порою обманывала обыденная внешность Дмитрия Александровича: он был даже невысок и Геркулесом (как его звали) не казался. Но силищи был непомерной: свободно разрывал цепи, кочергу закручивал в крендель, талеры ломал, словно пряники, одним пальцем превращал рубли в золотые чашечки для подсвечников, а уж вдавить пальцем гвоздь в дубовый борт корабля — это было для него пустяком. Трудно поверить: Лукин лишь одною рукой поднимал корабельную пушку в 87 пудов весом.

При этом сам никогда своих рук не распускал, оставаясь незлобивым, кровожадным в отмщении не был. Однажды вернулся он с моря после долгой отлучки и узнал, что Настасья без него привечала итальянца из неаполитанского посольства. Лукин смолчал. А во время бала в одном собрании он, проходя мимо соперника, как бы нечаянно наступил ему на ногу, — этого было достаточно, чтобы соперника увезли в госпиталь, и более на глаза Настасье Ефремовне тот не показывался.

Писатель граф В. А. Соллогуб рассказывал. Был в Петербурге такой весельчак Кологривов, и вот как-то в театре, где играли французскую пьесу, он приметил скромного господина, приняв его за провинциала. Решив вызвать поощрительный смех у дам, Кологривов обратился к нему с вопросом:

- А вы разве понимаете по-французски?

— Нет, — отвечал Лукин (это был он).

Не угодно ли, я вам переводить стану?

— Извольте...

Вызывая всеобщий хохот в зале, Кологривов стал пороть несусветную чепуху, чтобы сконфузить «провинциала», и вдруг Лукин спросил его на хорошем французском языке:

- А вы по-английски, сударь, понимаете?

— Увы.

— А по-немецки?

— Тоже.

— А не желаете, чтобы я одним пальцем перебросил вас сразу в «яму» оркестра, дабы впредь вы были вежливее... Встаньте!

Кологривов встал.

— За мной! — скомандовал Лукин...

Привел его в буфет и заказал сразу два пунша с ромом.

— Пейте.

— Не могу. Слаб.

— А издеваться не слаб? Так пей...

Кончилось это тем, что Лукин вернулся в ложу (после восьми стаканов пунша) как ни в чем не бывало, а публика, расхо-

дясь из театра, видела Кологривова у подъезда — мертвецки пьяным, извергающим из себя пунш с ромом...

Между тем время шло, дети подрастали. Лукин исправно повышался в чинах, ордена навешивал, в каких только странах не побывал во время дальних крейсерских походов. Наконец, нельзя не сказать, что спортивную (именно так!) славу Лукин обрел даже не в России, а в Англии... Он дважды навещал эту страну, отношения с которой у России бывали сложные, и потому англичане сами задирали русских моряков. Уже тогда в Англии зародился бокс, и англичане подначивали русских сразиться с их прославленными боксерами-драчунами.

— Ну, что там один на один? — сказал им Лукин. — Ставьте против меня сразу четырех, а там поглядим-посмотрим.

Один против четырех, он вышел победителем. Правда, Лукин не знал правил бокса — и потому всех четверых, уже поверженных им, он просто повыбрасывал с ринга, словно мусор. За это Лукин и сам был побит в порту Ширнесса, что в графстве Кент. Когда возвращался он на корабль, на него накинулась целая толпа англичан и стали его... не бить, а шипать. Двух он взял за галстуки, поднял над собой и потащил к своей шлюпке. «Тысячи сильных кулаков сыпались на него со всех сторон. Дорого покупал Лукин каждый шаг к берегу, но пять матросов со шлюпки, поджидавшей его, поспешили ему на выручку, и Лукин разогнал буйную толпу... подвиг сей приумножил к нему почтение английских моряков», — писал о нем П. П. Свиньин в своих воспоминаниях. Вы думаете, что англичане, побитые, обиделись? Нисколько. Напротив, они чествовали его как героя. И больше никто в Англии русских матросов не задирал.

Вернувшись на родину, он получил чин капитана I ранга и стал командовать многопушечным «Рафаилом», и здесь, наэтом корабле, он сам никого пальцем не тронул, но и другим не давал обижать своих матросов.

— Если наша палуба и увидит кровь, так это будет кровь, пролитая в битвах за отечество, — говорил Лукин офицерам.

Известно, что его частенько навещали музы, но стихов Дмитрия Александровича не сохранилось...

Илья Байков стихов не писал и не обладал такой силой, как Лукин, но все же на полном скаку он осаживал даже четверку лошадей. Внешность у него была примечательной: волосы стриг в кружок, борода «лопатой», глаза живые, умные, а речь забористая, когда Бога помянет, а когда и матюкнется.

В самом конце 1801 года Илью наняли кучером придворной конюшни. Были при дворе лейб-гвардии, выносили на парадах лейб-штандарты, лечили царей лейб-медики, а для таких, как

Илья, самым почетным званием было стать лейб-кучером, и вскоре это случилось... Александру I нравилось, как Илья правит лошадьми, что в санях, что на колесах, — хорошо было с ним ехать.

— Здорово, Илья, — обычно говорил царь своему кучеру... Три года он катал императора и — Боже ты мой! — сколько людей стало перед ним заискивать (перед кучером заискивать!), генералы здоровались, министры спрашивали — не надо ли чего? Даже фаворитка царя, прекрасная и гордая полячка Мария Антоновна, даже она присылала конфеты его детишкам. Лейбкучерское жалованье было немалое, как у полковника, и вскоре Байков первым делом завел гувернантку для своей детворы.

Скоро Илья изучил повадки царя, перестал бояться с ним разговаривать, а император сам иногда вступал в откровенные

беседы, порою подплучивая:

- А что, Илья? Капитан-то первого ранга Лукин, бывший

твой барин, теперь не более тебя от казны получает?

— Да вровень катим, ноздря в ноздрю, как лошади в единой упряжке. Только я-то, ваше величество, живу по-мужицки, и мне хватает, а Митрий Ляксандрыч намедни опять ко мне приходил, сто рублей в долг взял... У него жена — мотовка!

— Друзей-то, Илья, много ли у тебя?

— Да ведь когда сам царь лучший друг, так и все ко мне в дружбу набиваются. Я, ваше величество, ныне женитьбою озабочен. Есть тут одна сопливая на примете, да уж больно моло-ла... Погодить надобно...

1807 год для русских остался памятен: армия сражалась с Наполеоном в Европе, билась она на Дунае с турками, флот воевал в греческом архипелаге, и очень далеко ездил в этом году Илья Байков — довез царя аж до Аустерлица, а потом вывозил его обратно в Петербург, жалкого и растерянного.

В этом же году Лукин со своим «Рафанлом» состоял при эскадре адмирала Сенявина, которая героически удерживала Дарданеллы в своей блокаде. Было 18 июня 1807 года, когда корабельный писарь принес в каюту Лукина приказ адмирала.

— Читай, — сказал ему командир «Рафаила».

«...Чем ближе к неприятелю, — гласил приказ, — тем от него менее вреда; следовательно, если бы кому случилось свалиться на абордаж, то и тогда можно ожидать вящего успеха. Пришед на картечный выстрел, начинать сразу стрелять. Если неприятель под парусами, бить по парусам, если на якоре, бить в корпус».

— Хорошо, — кивнул Лукин писарю. — Я все понял...

Сражение с турецким флотом состоялось на следующий день возле Афона, почему и вошло в историю как Афонское. Кораб-

ли русской эскадры шли в бой столь плотно, что носовые бушприты задних почти лежали на кормах впереди идущих. «Рафаил» в этой битве пострадал больше других, ибо отважный Лукин Дмитрий Александрович действовал чересчур дерзко. Турецкий флагман уже горел, разбитый им, но два фрегата еще стреляли, и тогда Лукин отдал приказ: «Абордажных — наверх! Без резни не обойтись...» В этот момент он заметил, что сбит кормовой флаг, и быстро взбежал по трапу, указывая:

- Мичман Панафидин, сейчас же поднять флаг...

Это были его последние слова: вражеское ядро разорвало Лукина пополам, переломив на его поясе даже стальной офи-

церский кортик.

Надо же так случиться: эскадра Сенявина потеряла убитыми 76 матросов, одного гардемарина и... Лукина! Хоронили его по морскому обряду, мичман Панафидин записывал тут же: «Тяжести в ногах было мало, и тело Лукина не тонуло. Вся команда в один голос кричала: «Батюшка Дмитрий Александрович и мертвый не хочет нас оставить!» Мы все плакали. Мир тебе, почтенный и храбрый начальник. Я знал твое доброе благородное сердце... Лукин умер завидною смертью и — за Отечество! Если бы он получил лучшее воспитание, он был бы известен и как писатель: я читал его стихи — они писаны от души...»

Далеко от Петербурга плакали моряки на «Рафаиле» — далеко от Афонской горы плакал в Петербурге кучер Илья Байков, когда узнал, что «доброго Мити» не стало. Залезая на козлы, чтобы везти императора, он даже не скрывал своих

рыданий.

— Вот судьба-то какова! Пока он потешал всех, кочергу в узел закручивая или тарелки ваши серебряные в трубки скатывая, все хвалили его. А как не стало человека, так хоть трава не расти.

- Илья, о ком ты? - спросил Александр I.

— Да все о нем... о Лукине. Вчерась навещал Настасью Ефремовну, и она, и дети в один голос выли. Нешто, ваше величество, вдову да сирот без пенсии оставите?

— Ты прав, Илья, спасибо, что напомнил. Передай вдове, что пенсия будет, а сыновей ее за счет казны в офицеры выве-

дем... Не плачь, братец, езжай потише.

- Нино-о-о, стоялые! - И понеслись кони...

Теперь, читатель, стану рассказывать про Илью Байкова.

Двое из одной деревни, а какие разные судьбы!

И разве справедливо, что злодейка история не донесла до нас портрета Лукина, а вот лейб-кучер Илья Байков не раз

удостоился чести быть изображенным художниками. Тщательно выписаны его кафтан и солидная бородища, грудь Байкова вся в медалях, и, кажется, не хватает ему только кнута, чтобы за-

вершить облик этого не последнего человека.

Обеспечив семью Лукина пенсией, царь наградил Илью Байкова, пожаловав ему участок земли на Фонтанке между Аничковым и Чернышевым мостами, из своего «кабинета» он выделил двадцать тысяч рублей - для строительства дома (позже дом Байкова снесли, чтобы не мешал на этом месте возводить корпуса Александринского театра). Илья Иванович женился на молодухе Наталье Михайловне, а приплод был хорош пять сыновей и три дщерицы.

— Кудыть больше? — рассуждал Илья. — Нам хватит... Вот уж кто немало повидал и многое знал! Как начал с Аустерлица, так в Париже и закончил, всюду следуя за российским императором, Илья даже на Венском конгрессе побывал. всякой музыки там наслушался, а все эти Берлины, Дрездены, Варшавы...

— Да ну их, — отмахивался Илья. — У нас завсегда лучше, а у них тамотко даже клюквы не допросишься. Спросил я както в Париже, так там меня французы даже не понимали...

Сыновей он лупил смертным боем — вожжами, чтобы себя не забывали, а дочек никогда не трогал, даже ушей им не рвал.

- Потому как сыночкам надоть ишо в университетах разные науки постигать, а дочкам всего-то и дела, что замуж выйти... Тут и подумаешь, что ихние задницы дороже наших!

Слава об Илье Байкове расходилась по всей стране как о человеке добром, который бедным или обиженным никогда в помощи не откажет. Ходоки до царя с прошениями и жалобами на чиновников являлись в Петербург, питая сладчайшие иллюзии, что царю-батюшке только вручи в руки бумагу — и все исправится. Но дошлые люди в столице высменвали их наивную тщету:

- Дурни! Да кто ж вас до царя пустит? Ежели хошь, чтобы твое дело прямо в руках царя очутилось, так ты ступай к его лейб-кучеру Илье Байкову — этот мужик кажинный день царя

катает.

Просители со «слезницами» шли к Байкову, умоляя вручить их в руки самому императору. Байков никогда не отказывался, но скоро Александру I это все надоело, и он запретил Илье передавать жалобы:

- Существует же у меня «комитет для принятия прошений», так ты у себя дома свой «комитет» завел... Оставь это!

А люди все шли и шли к Байкову, как не помочь им?

Илья Иванович был мужик сообразительный.

— Ты вот что! — поучал он просителя. — Завтрева с утра от Конюшенного моста не отлучайся, хоть ночуй там, а когда увидишь, что я везу императора, ты уж тут не теряйся...

На другой день, провозя Александра I мимо моста, Илья

сдерживал лошадей, нарочито ругаясь:

— Эх-ма, опять шлея под хвост пристяжной попала...

Пока он наводил порядок в упряжи (или, точнее, делал вид, что наводит), проситель выбегал из-за угла и, бухнувшись на колени, уже тянул к императору свое прошение..

Александр I, конечно, разгадал эти уловки:

— Илья! Узнаю твои штуки.

- Какие штуки? удивлялся Байков, лейб-кучер. Рази ж я виноват, ежели шлея под хвост левой кобыле попала?
 - То шлея у тебя, то постромки... гони дальше!
 - Куда гнать-то, ваше императорское величество?
 - Да к Марье Антоновне... будто сам не знаешь...

Знаменитое наводнение в Петербурге 1824 года сделало царя мрачным, озабоченным, он как-то признался:

— Ну, Илья, пожил. Скоро и конец...

Рожденный в год великого петербургского потопа в 1777 году, он верил, что второе наводнение предвещает ему близкую кончину. Вскоре он велел готовить лошадей к очень дальней дороге — в Таганрог. Когда же отъехали малость от Петербурга, царь велел Илье остановить лошадей и долго-долго взирал на оставленную столицу, словно прощался с нею, а приехав в Таганрог, он и скончался...

Илье Байкову выпало везти его прах обратно. На последний проезд от Москвы до столицы был приготовлен траурный катафалк, а князь Юсупов стал кричать на Байкова:

— Слезай, уже отъездился! У нас в Москве свой кучер при-

готовлен, а ты с бородой своей — будто раскольник.

— Так что мне, князь, бриться? — отругивался Илья. — Никуда я не слезу. Возил с бородой, отвезу с бородой и до могилы.

Московский губернатор князь Дмитрий Голицын сказал:

— Да оставьте вы его бороду! Нашли время торговаться...

В толпе провожавших москвичей был и Булгаков.

— Ах, Илья, Илья! — сказал он. — Что-то поседел ты, состарился... Понимаю — нелегко на дрогах сидеть.

— Спасибо, что пожалел, Александр Яковлевич, — ответил

Байков. — Вот довезу до Питера, а там... отъездился!

Это правда. Николай I, вступив на престол, одарил Байкова бархатным кафтаном с золотым шитьем, но завел себе другого лейб-кучера. Илья Иванович, окруженный большим семейством, умер весною 1838 года и был погребен на Волковом кладбище.

Памятная колонна, поставленная над его могилой, еще в начале нашего века была уже близка к разрушению...

Двое из одной деревни окончили свой жизненный путь.

Мне осталось сказать последнее. Самое последнее...

Потомство лейб-кучера Ильи Байкова, люди грамотные и добрые, получили очень хорошее образование, среди его сыновей можно было встретить видных чиновников, живописцев и

офицеров.

Сыновья же Лукина благодаря стараниям Ильи Байкова были пристроены в Пажеский корпус, из которого вышли офицерами. Нам больше известен его сын Константин, причастный к движению декабристов; награжденный золотым оружием за храбрость, он скончался от ран в 1881 году. Другой сын Лукина — Николай, он рано вышел в отставку, удачно женился в Москве на богатой девушке Леночке Скуратовой, о них можно прочесть много интересного в мемуарах Екатерины Сабанеевой

Перед войной в Ленинграде был достаточно известен спортсмен Николай Александрович Лукин, прямой потомок «русского Геркулеса». Он стал чемпионом России еще до революции, а в советское время работал инженером на заводах, но часто выступал в цирке, поднимая огромные тяжести, заодно участвовал и в чемпионатах по классической борьбе.

Умер он от голода во время ленинградской блокады.

СТАРОЕ, ДОБРОЕ ВРЕМЯ

В середине прошлого столетия жители российской столицы часто видели странного человека, который свободно проникал в кабинеты самых знатных вельмож, а иногда шепотком беседовал с дворниками. Держался он слишком независимо и даже отчужденно от людей, вечно сосредоточенный, взирающий исподлобья, но при этом его маленькие свиные глазки, казалось, насквозь проницали каждого человека...

Кто это? — шепотком спращивали люди.

Это русский Фуше, — отвечали им с опаскою.
 Какой же это Фуше? — слышалось от других. — Это, ско-

рее, наш доморощенный питерский Лекок.

Чиновники, служившие в канцелярии обер-полицмейстеров Санкт-Петербурга, не раз видели этого Фуше-Лекока в различном одеянии. Он являлся перед ними то солидным господином, посверкивая бриллиантами в перстнях, то его видели вертким купцом в чуйке, а то вдруг он представал жалким оборванцем-пропойцей, который, казалось, начнет сейчас клянчить на волку.

- Господа, - утверждали знающие люди, - не будем сравнивать этого человека ни с Фуше, ни с Лекоком - Карп Леонтьевич Шерстобитов воистину русский, воистину православный, и... запомните: с этим человеком лучше бы нам не связываться!

Увы! Прошлое, как говорится, сокрылось во мраке неиз-

вестности, да и не такой человек был Карп Леонтьевич, чтобы просвещать потомков относительно своих предков. Хвастать-то было нечем, ибо произведен на свет он был безвестным солдатом. Судя по всему, Шерстобитов рано лишился опеки родителей, ибо николаевская система его — еще ребенка — поставила в шеренгу кантонистов, выровняла по ранжиру, высекла розгами, добавила ему палок. Но при этом система воспитания кантонистов не забывала об умственном развитии.

Шерстобитов выучился на военного фельдшера, двадцать лет подряд служил в мореком госпитале Кронштадта, где и нашел себе утешение — матросскую дочь Прасковью Артамоновну, а попросту Парашу. Выходцу из школы кантонистов следовало 20 лет отрабатывать (почитай, за гроши) тот казенный хлеб, что получил с детства, будь любезен всем кланяться, никому не перечь, ибо можно опять розог да палок попробовать.

Вот и ходил по струнке, а своего мнения не имел.

— Ужо! — говорил фельдшер Параше. — В сорок первом году отпустят со службы — ох, и заживем мы с тобой!

— То верно, — соглашалась жена. — Я себе канарейку заведу, а ты, Карпуша, на гитаре мне играть станешь...

В 1841 году Шерстобитов обрел за выслугу лет чин коллежского регистратора. «Он был титулярный советник», — пелось в романсе, но титулярный советник перед коллежским регистратором — это слон перед моськой, ниже, чем регистратор, человека не может быть. (В государственной Табели о рангах он занимал самую последнюю строчку.) Покинули супруги Кронштадт, перебрались в Петербург, сняли там «угол», заготовили дровишек, ели щи с мясом, канарейку завели, и она радостно запевала, когда хозяин ударял по струнам гитары.

Между тем Карп Леонтьевич никак не был похож на тех пришибленных людишек, кои раздавлены нуждой и унижением и считают себя ничтожеством. Напротив! Как писал современник, «по наружности Шерстобитов, по отсутствию в нем угловатости, по его мягким и благородным повадкам, он более походил на приличного светского господина, нежели бывшего кантониста», поротого-перепоротого. В столице Карп Леонтьевич обзавелся знакомствами, и поскольку он жил возле пожарной части, то и брандмайор О. С. Орловский стал его добрым соседом. Надо же было так случиться, что однажды обворовали квартиру Осипа Степановича, а человек он был хороший, и Шерстобитову жаль его стало...

- Не могу ли помочь? сказал брандмайору.
- Э! отмахнулся брандмайор. Я уже ходил к Сергею Александровичу, жаловался, что полиция у него плохо следит за порядком, да ворованное разве вернешь?

Сергей Александрович — это Кокошкин, бравый генералище, что в ту пору состоял обер-полицмейстером Петербурга.

Ладно, — сказал Шерстобитов, — я поищу...

Приоделся попроще, стал обхаживать рынки, заводить речи с людьми подозрительного вида, прислушивался по трактирам к тому, о чем говорят бродяги да извозчики, и нашел краденое, в «Вяземской лавре» (это громадный дом на утлу Сенной площади, притон нищеты и уголовного мира, ранее описанный Крестовским в романе «Трущобные люди», а в наше время об этой «лавре» писал А. Н. Тихонов-Серебров, бывший секретарь Максима Горького). Орловский расцеловал Шерстобитова:

— Ну, сосед, не ожидал такого проворства. Чтобы ты, который матросам клизмы ставил, да в «Вяземскую лавру» поперся... Уж ты скажи — как тебя тамотко не зарезали?

В ответ брандмайору стал Шерстобитов играть на гитаре.

— С людьми говорить уметь надобно. Когда криком, а когда шепотом. Я тебе, друг ситный, ласковым словом любую гадюку из-под коряги выманю...

Кокошкин пожелал иметь с ним личное знакомство.

- Карп Леонтьич, сказал он Шерстобитову, мне тут о тебе брандмайор чудеса поведывал. Распутай мне одно дельце, и ежели справишься, я тебя в квартальные надзиратели выведу... Ты барона Штиглица знаешь ли?
 - Это который банкир? Который миллионер?
 - Тот самый. Так вот с ним худая история приключилась.
 - А что такое, ваще превосходительство?
 - Да едва живым ушел... Слушай!
- ...В один из дней миллионера навестил офицер из свиты принца Баттенбергского, который, как было известно из газет, присутствовал на Красносельских маневрах как почетный гость русского императора. Штиглицу было сказано:
- Принц малость поиздержался и просил бы вас, барон, навестить его в отеле у Демута, который он снял, желая поговорить с вами по важному вопросу...

Штиглицу было ясно, в чем «важность» вопроса: если принц сидит без денег, значит, он желает подзанять у банкира.

- Его высочество, сообщил посланец, уверен, что вы не замедлите со свиданием, для чего и прислал за вами карету.
- Благодарю, отвечал Штиглиц, но в чужих каретах я не привык ездить, а желание принца понятно. Скажите ему, что я вскоре же подъеду...

Прибыв в отель, Штиглиц спросил внизу, каков номер, снятый для принца, и последовал этажом выше. Одна комната — пусто, вторая — ни души, толкнул двери в третью... Тут на него и накинулись сразу трое из «свиты» принца, которые

17 Заказ 23 513

для начала треснули его по кумполу кирпичом, а потом стали примитивно душить с помощью галстука. Штиглиц, не будь дураком, стал орать, прислуга услышала его зов о помощи, преступники мигом скрылись, оставив в номере свой чемодан.

 Конечно, — рассуждал Кокошкин, — они рассчитывали, что барон подкатит с большими деньгами, потому и устроили ему западню, заранее сняв номер от имени принца Баттенберг-

ского.

А что в чемодане? — спросил Шерстобитов.

— Да ерунда на постном масле... два-три кирпича в рогожке и пара стоптанных сапог. Вот и все. Местный пристав полковник Горбунов сидит на этом чемодане какой уж день, обещая найти воров, но дело не двигается.

Где этот чемодан? — спросил Шерстобитов.
В первой Адмиралтейской части... у Горбунова.

Приехал туда Шерстобитов, а Горбунов не дает чемодана, спрашивая: «Да ты кто таков, я знать тебя не знаю!» На что Карп Леонтьевич доложил, что прислан лично Кокошкиным, а сам он с образованием фельдшера. Тут все чины, под стать Горбунову, стала над ним издеваться, слышались ехидные реплики, а полковник чемодан раскрыл и сказал:

- Гляди! Или хирпичей с сапогами не видывал?..

Шерстобитов погладил кирпичи, потом взял нож и распорол голенища сапог до самых каблуков. Глянул внутрь, плюнул туда, потер пальцем, что-то разглядывая. Тут еще пуще стали над ним измываться, а Горбунов хохотал:

- Умнее нас, что ли? Много узнал по сапогу?

— Сейчас узнаем, — скромно отозвался Шерстобитов... Прошло три дня, и он заявился в канцелярию столичного обер-полицмейстера, доложив Кокошкину:

— Велите послать наряд полиции к Калинкину мосту — все

трое из «свиты» принца лежат на мосту, уже связанные.

— Как? — подскочил Кокошкин.

 — А вот так... лежат и плачут. Брать-то их пришлось с подмогою грузчиков да калашников — люди они темные, необра-

зованные, они «свиту» Баттенбергского сильно помяли...

А все было очень просто. Внутри сапожного голенища Карп Леонтьевич разглядел стертое клеймо мастера на букву «Ф». Составил список сапожников, фамилии которых начинались именно с этой буквы, и за день объехал всех, показывая клеймо. Один сразу признал свою работу, по старым шнуровым книгам назвал и фамилию заказчика. Адресный стол в Петербурге работал всегда четко: искомый заказчик проживал у одной немки, та охотно подтвердила, что недавно приютила трех мужчин — брюнета, блондина и рыжего. Сами они люди тихие,

нигде не бывают, а навещает их только один провизор из той самой аптеки, что у самого Калинкина моста.

— Что им велите передать? — спросила немка.

- Я сам передам, фрау, стоит ли затруднять вас.

Подъехали к аптеке, а из дверей ее как раз и выходит один — рыжий. Шерстобитов — хвать его за глотку и повалил.

- Ты мне совсем не нужен, сказал он ему. Отпущу сразу, ежели скажешь, где еще двое твоих приятелей?
- Там, показал рыжий на мост, где, облокотясь на перила, поджидали рыжего блондин с брюнетом...

Банкир Штиглиц навестил Шерстобитова:

- Позвольте презентовать вам тысячу рублей в благодарность за вашу расторопность.
- Нет! отказался взять деньги Шерстобитов. Я исполнял не ваше, барон, поручение, а поручение начальства, вот если оно соизволит...

Николай I соизволил выделить из казны тысячу рублей для награды Шерстобитова, наградил его орденом Станислава, из XIV класса Табели о рангах передвинул его сразу в XII класс, и стал Карп Леонтьевич губернским секретарем (что равняется чину поручика или корнета). Завел он себе пушистый халат на беличьем меху, настроил гитару, ударил по струнам, и в клетке радостным пением отозвалась ему канарейка.

Понятно, что Кокошкин оставил его при столичной полиции, сделав Шерстобитова квартальным надзирателем. Но вскоре Карп Леонтьевич «заявил себя самым искусным, осторожным, находчивым, вкрадчивым и терпеливым сыщиком». Свершив преступление, злодеи часто скрывались в провинции, железных дорог не было, телеграфная связь отсутствовала, и потому Кокошкин часто засылал Шерстобитова в дальние командировки, чтобы преследовать преступников и брать их живьем с доставкою «на дом» — прямо пред светлейшие очи Кокошкина...

До 1842 года в России вообще не было сыскной полиции: когда же ее завели, то выработали лишь десять пунктов обязательного надзора: первый касался наблюдения за публикой в храмах божиих, а десятый — «благочиния в домах непотребных женщин». Шерстобитов явился как раз кстати, ибо он обладал не только нюхом сыщика — это был, скажем прямо, талант; не о таких ли в народе говорят, что они «сквозь землю видят»?

Надо сказать, что Карп Леонтьевич был не так уж прост, как о нем думал Николай I и тот же Кокошкин, ибо, заведя нужные связи «наверху», он установил прочные связи и «внизу». Шерстобитов сделался своим человеком в том мире, где

17* 515

царствовали воры, налетчики, перекупщики краденого, гробокопатели, мошенники, фальшивомонетчики, шулера и дамы известного поведения, — именно через них он узнавал многое, а за услуги, оказанные ему, он расплачивался «натурой».

— Ты не финти мне! — говорил он. — Лучше сразу выдай, где прячется Ванька Птух, и я — вот те крест святой! — закрою глаза, когда отвинтишь сейф от пола в доме купца Косякова...

Нет, читатель, я не беру эти данные с потолка. Виктор Никитин (тоже из кантонистов, ставший потом писателем, ведавший тюремными делами) писал в своих мемуарах о Шерстобитове, что, потворствуя мелким преступникам, он требовал от них выдать ему преступников высшего ранга, которые «наследили» кровью. «Проще, когда от мазуриков страдают заурядные люди, — писал В. Никитин, — полиция плюет на них, а когда беда постигнет высоких лиц, им возвратят вещи (украденные), чтобы доказать бдительность полиции. Шерстобитов имел несколько ловких помощников, которые при надобности ездили не только по всей России, но даже за границу по сыскной части...»

К тому времени Шерстобитов завел себе хорошего помощника — это был Иван Дмитриевич Путилин, еще молодой парень, которого нарочно подсаживали в тюремные камеры, чтобы, на параше сидючи, выпытывал секреты уголовного мира. Ванька Путилин о своем прошлом помалкивал, лишь иногда намекая коллегам, что мораль его зиждилась на шаткой основе той же параши.

Щерстобитов говорил Путилину:

— Как мне тебя Иваном Дмитричем величать, ежели глянешь на морду — и сразу видать, что жулик. Ты бы, стрекулист, хотя бы бакенбарды себе отрастил... для солидности.

Генерал Кокошкин не мог нарадоваться, докладывая царю о небывалых успехах сыскной полиции, и Николай I не жалел для Шерстобитова орденов Станислава, Анны и Владимира, отчего, согласно законам империи, бывший безродный кантонист обрел потомственное дворянство, а чин заимел надворного советника.

Прасковья Артамоновна прифрантилась, орешки щелкала, словно белка, научилась по утрам кофейком баловаться, а мужу сказывала, чтобы сыграл ей на гитаре:

— Коли надворным советником стал, так, выходит, только на дворах твои советы станут выслушивать? А ты бы просил сразу «уличного»... Но в дому своем, помни, я останусь главной домашней советницей, а потому ты играй, Карпуша, играй на усладу мне. Гляди, как жизнь-то обернулась: никаких расходов — одни прибытки пошли. Вот и канарейка запела...

Но бывали роковые случаи в уголовной практике Петербурга, когда блистательная карьера Шерстобитова опасно потрескивала, готовая сломаться. Случилось это, когда из дома французского посла герцога Наполеона-Августа Монтебелло украли драгоценный сервиз, которому, считай, цены нет. Жена спрашивала:

- Из серебра аль из фарфора какого сервиз-то энтот?

— Да по мне хоть из дерьма слеплен, — отвечал жене Шерстобитов, — а найти велено свыше... Герцог Монтебелло, чтоб ему ни дна, ни покрышки, уже наскулил нашему императору, что наша полиция плохо работает. Надо Ванюшку Путилина звать: один ум — хорошо, а полтора ума — еще лучше...

Позволю себе небольшое отступление. О случае с этим сервизом в свое время писал знаменитый правовед А. Ф. Кони — со слов самого И. Д. Путилина; при этом Кони называл имена замешанных в эту историю: император Николай I, французский посол Монтебелло и обер-полицмейстер А. П. Галахов. Но в этом сочетании имен, сведенных в один пучок, я вижу нарушение хронологии... Почему, спросите вы. Отвечаю: Николай I умер в 1854 году, герцог Монтебелло стал послом в Петербурге лишь с 1858 года, а Галахов, сменивший Кокошкина в 1847 году, покинул пост обер-полицмейстера столицы в 1856 году. Чувствуете, как вся эта святая «троица» рассыпается? Однако в своем рассказе я решил следовать той версии, которой придерживался и почтенный сенатор А. Ф. Кони...

Итак, Путилин предстал перед своим наставником, уже имея на хитром лице вполне пристойные, чиновные бакенбарды.

— Теперь, — сказал учитель ученику, — нам, Ванюшка, никак не миновать Сибири, куды и пойдем по канату...

Путилин растряс в руке роскошный платок, украшенный княжескими гербами, отнятый у одного вора, и — высморкался.

— Зачем же нам в Сибирь идти, будто у нас в Петербурге дел важных не стало?

Шерстобитов растолковал: император намылил голову Галахову, чтобы сервиз обязательно был отыскан, а Галахов сулится упечь Шерстобитова в те самые края, куда и ворон костей не заносит, если Монтебелло не узрит сервиза на прежнем месте.

- Надо бы воров поспрашивать, - сказал Путилин...

Много позже Иван Дмитриевич рассказывал сенатору Кони, как они действовали: «Перебрали мы всех воров — нет, никто не крал! Они и промеж себя целый сыск произвели получше нашего. Говорят: «Иван Дмитриевич, ведь мы знаем, какое это дело, но вот образ со стены готовы снять — не крали мы этого сервиза!» Что ты будешь тут делать? .»

 Делать нечего, — решил Шерстобитов. — Лучше уж нам с тобою, Ванюшка, на бобах сидеть, а раскошелиться сразу...

Шут с ним: как легко нажили — так легко и отдадим.

Сложили они свои капиталы и поехали не куда-нибудь, а прямо в ювелирную мастерскую знаменитого мастера Сазикова, выложили перед ним все свои деньги, накопленные праведно и неправедно, а заодно разложили перед ювелиром рисунки с предметов сервиза, которые заранее добыли в посольстве.

— Паша, родненький, — взмолился Шерстобитов, — уж ты постарайся, чтобы все тютелька в тютельку, и чтобы этот гер-

цог Монтебелло новый сервиз за свой старый признал...

Сазиков сервиз новый (копию со старого) быстро спроворил. Шерстобитов повез сервиз своему знакомцу — брандмайору Орловскому и тоже взмолился:

— Осип Степаныч, раздай все эти тарелки да кубки своим пожарным, чтобы они их губами поскорее общлепали, дабы сервиз обрел благопристойный старинный вид.

— Это мои пожарные — рады стараться...

После чего, когда сервиз приобрел соответствующую «патину» старого благородства, Шерстобитов упаковал его и отвез во французское посольство.

— Берите! — сказал. — И больше чтобы ваш герцог не жаловался царю нашему, будто русская полиция не умеет рабо-

тать...

А тут как раз бал в Зимнем дворце! Вот император провальсировал с любимой фрейлиной и подошел к Монтебелло.

— Ну, герцог, — сказал он ему, — надеюсь, вы довольны

моей полицией?

— Даже очень, — отвечал французский посол. — Был у меня только один сервиз, а теперь стало сразу два...

Перестал Карп Леонтьевич играть на гитаре, поникла и на-

хохлилась в клетке канарейка. Вызвал он Путилина.

— Не знаю, — говорит, — как твоя Танька, а моя Парашка уже сухари готовит, чтобы нам до Сибири топать. Теперь-то уж точно — кандалов нам не миновать!

— Да не мучь ты меня, Карп Леонтьич, что стряслось-то?

— А то и стряслось, что утром мы сервиз от Сазикова в посольство вернули, а вечером того ж дня камердинер герцога второй сервиз перед ним выставил и поклялся, что он этот сервиз заложил временно, ибо в деньгах нуждался... Так что, Ванюшка, доставай валенки — на этот раз Сибири не миновать!

Справедливо, что император был разъярен и бранил Галахова самыми последними словами, а до нас — в записи Кони дошли и те слова, которыми Галахов разлаял Шерстобитова. «Вы, — сказал он, — с Путилиным плуты, ну и плутуйте. А меня как смели подвести под отставку?...» Стали тут плуты размышлять.

 Дело скверное, — согласился Путилин с выводами учителя, — но неужто нам так уж обязательно морозами греться?

«Поиграл он (Шерстобитов) на гитаре, послушали мы оба с ним канарейку да и решили действовать». Должен сказать, читатель, что рассуждали они вполне логично.

— Сначала, — сказал Шерстобитов, — мы из одного сервиза два сделали, а теперича, как ни крутись, а из двух сервизов должен один остаться, чтобы комар носа не подточил.

— Так это же проще простого, — повеселел Путилин...

Первым делом пронюхали, когда Монтебелло будет приглашен в отъезд — с царем на охоту. Потом навестили в Апраксином дворе купца Поцелуева, который снабжал французское посольство провизией, а потому имел среди французов немало приятелей.

— У тебя когда именины-то? — спросили купца.

У-у-у, — отвечал тот. — Через полгода, кажись.
Не придуривайся! Послезавтра у тебя именины, — сказал

— Не придуривайся! Послезавтра у тебя именины, — сказал Путилин, — и ты лучше не спорь с нами, не то худо будет. В день, когда Монтебелло уедет из Питера бедных зайцев гонять, ты пригласи весь штат посольства.

- Разорюсь же я, - приуныл Поцелуев.

— Это не беда! Все расходы полиция берет на себя...

«И такой мы у него пир закатили, — вспоминал Путилин, — что небу жарко стало. Под утро всех развозить пришлось по домам: французы-то совсем очумели, только мычат... Ну-с, а часа в три ночи забрался в посольство Яшка-вор. Вот человек-то был! Сердце прямо золотое, а уж насчет ловкости, так я другого такого не видывал. В остроге сидел бессменно... царство ему небесное!» Короче говоря, Яша-вор вынес сервиз в мешке и прихватил еще две лишние золотые ложки.

- Это зачем же ты, Яша, чужое своровал?

— Не утерпел, — сознался тот...

Утречком Шерстобитов как ни в чем не бывало навестил

канцелярию обер-полицмейстера и сказал Галахову:

— Не пойму, чего это там герцог Монтебелло напраслину надумывает? Был у него один сервиз — один и остался. Вестимо, что французы всегда в мыслях завихряются, потому и верить-то им совсем не обязательно...

Кони спрашивал Путилина: чем все это закончилось?

— Известно, чем. Вернулся герцог с охоты, видит, что остался один сервиз, а прислуга вся с перепою ажно позеленела, лбами вместо дверей в косяки тычется... Все стало ясно, но

более посол Франции не жаловался нашему императору на то,

что русская полиция плохо работает...

Историки иногда задаются вопросом: почему Шерстобитов ретиво служил при Кокошкине и Галахове, а потом удалился в отставку. Мне думается, есть объяснение. Дело в том, что летом 1848 года скончалась Прасковья Артамоновна, все разом стало ненужно и постыло для Шерстобитова, и в марте 1866 года, одинокий и забытый всеми вдовец, он тихо умер в чине коллежского асессора...

И. Д. Путилин умер в самом конце XIX века, а в 1913 году его сын опубликовал работу отца «Тайное общество», в которой покойный автор излагал свои воззрения на революционизирование русского народа... Вот так! Времена круто изменились: если Шерстобитов в поте лица угруждался на уголовной ниве, обильно политой кровью и засеянной крадеными монетами, то его ученику привелось окунуться в бездну политики.

Историк политической жизни России М. К. Лемке еще до революции разложил Путилина по косточкам, и в процессе поэта Михайлова, и в деле Чернышевского — всюду виделся хитрый почерк Путилина, освоенный им в шерстобитовской школе. Об этом же говорил Путилину и сам сенатор Кони, бывший юристом кристальной совести:

- Иван Дмитриевич, когда ни послушаю вас о прежних старых и добрых временах, неизменно думаю не лучше ли вам молчать о своих делишках, ибо порою мне кажется, вы до сей поры, уже в новом времени, не изменили привычкам младости.
- Знаю, знаю, соглашался Путилин, что наши похождения с Карпом Леонтъевичем не слишком-то пригодны для публикации, да ведь... Сколько лет прошло! А сейчас разве есть стоящие дела? Дрянь какая-то, народ нынеча жидко пляшет. И преступников-то хороших не стало. Сейчас, бывало, схватишь за цугундер вора на Лиговке, который в Любань был выслан, дашь по зубам, чтобы мамы с папой не забывал, а он в слезы. Помилуйте, скулит, вконец обнищал в Любани, дозвольте в столице подкормиться. Ну, дашь такому недельный срок, чтобы поворовал да приоделся, и обратно его в Любань! Впрочем, никто и никогда не сомневался в том, что Пути-

Впрочем, никто и никогда не сомневался в том, что Путилин был великолепным сыщиком, а Кони считал его как бы созданным самой природой для такой деятельности. А. Ф. Кони писал о нем в 1907 году: «Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательность, в которой было какое-то особое чутье... соединялись в нем со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым добродушием. Ум-

ное лицо, обрамленное длинными густыми бакенбардами, проницательные карие глаза, мягкие манеры и малороссийский выговор были его характерными наружными признаками. Путилин умел отлично рассказывать, а еще лучше вызывать на разговор других...» Согласитесь, что в этих строках Кони нарисовал облик идеального сыщика!

Таким он и был, кстати, ибо школа Шерстобитова научила его видеть то, чего не видели другие. Приведу пример. Однажды в Александро-Невской лавре был зарезан иеромонах Илларион, который имел немало валюты, ибо долго плавал по белу свету на кораблях русского флота. Убийца унес сумку с золотыми монетами. Илларион любил гостей, каждый вечер устраивал чаепития, и поначалу в убийстве заподозрили кого-либо из послушников лавры. Тут явился Путилин, огляделся, перебрал в комоде стопку чистого белья, запятнанного кровью, ибо — в поисках валюты — убийца перебрал все белье, словно страницы книги. Потом подошел к окну и стал размышлять.

- Пошлю-ка агентов по станциям железной дороги аж до самой Любани, сказал Путилин. Убийца наверняка кутит в трактирах на станциях Николаевской дороги.
 - Как же узнать его?
 - Это легко. У него глубокий разрез ладони правой руки.
 - Почему правой, а не левой?
- Книгу мы листаем не левой, а правой рукой, и по кровавым пятнам на полотенцах, которые он перевертывал, отыскивая деньги, я понял правая...

Вечером убийца был арестован в трактире на вокзале Лю-

бани, опознанный по разрезу на правой руке.

Слава Путилина пережила его самого. В 1916 году афиши столичных синематографов назойливо лезли в глаза: «Захватывающий фильм! Приключения знаменитого начальника Петроградской сыскной полиции И. Д. Путилина». Редкий прохожий мог устоять перед таким соблазном.

В мемуарах инженера Льва Любимого рассказано, что, будучи бедным студентом, он давал уроки сыну Путилина в их усальбе «Оснечки» на Волхове.

В обыденной, жизни Путилин был человеком интересным, а когда начинал вспоминать старое, доброе время — его слушали, затаив дыхание, а речь Ивана Дмитриевича была образной, остроумной. Наверное, именно по этой причине ближайшим другом его сделался знаменитый актер, рассказчик и писатель Иван Горбунов, за чаркой водки — под всплески рыб в Волхове — они изощрялись в изложении таких жизненных фабул, которые нормальному человеку и во сне не приснятся...

Я не специалист по творчеству Достоевского, но думается,

что некоторые черты путилинского облика и характера писатель воплотил в образе следователя Порфирия Петровича в своем «Преступлении и наказании». Роль этого следователя лучше всего исполнил Кондрат Яковлев, и, наверное, вы помните, что писал по этому поводу прославленный С. А. Юрьев: «Невозможно забыть эти округлые манеры и движения, эти ласковые, такие, казалось, обыденные, житейские интонации... Вся сцена велась им (Яковлевым) как виртуозная игра в кошки и мышки»

В этом описании актерской игры я невольно ощущаю чтото очень знакомое — от обликов Шерстобитова и его подручного Путилина. На этом позволю себе и закончить.

КУДА ДЕЛАСЬ НАША ТАРЕЛКА?

Я был принят в Союз писателей еще молодым парнем — вскоре после выхода в свет моего первого «кирпича»; тогда же меня избрали в члены военной комиссии ССП, и, помню, первое заседание возглавляла поэтесса Людмила Попова, объявившая:

- Товарищи, кто из вас желает в авиацию, кто на флот,

кто в десантные войска, кто...

Писатели старшего поколения, уже солидные мэтры, быстро расхватали литературные шефства над летчиками, моряками, танкистами, саперами, и Попова смущенно сказала:

— Товарищи, у нас есть заявка и от пожарников.
Но тушить пожары никто не желал, возникло неловкое молчание, и тогда я, как школьник, поднял руку:

— А можно я?..

С тех пор прошло много лет, но в своем выборе никогда не раскаиваюсь: я повидал при тушении пожаров много такого, о чем обыватели не подозревают. Запомнилось даже мое первое появление в штабе пожарных частей Ленинградского округа, когда я в разговоре с начальством употребил слово «пожарник», тут же уличенный в безграмотности:

- Писатель, а не знает разницы между пожарным и пожарником!

 - А разве есть разница? недоумевал я.
 Еще какая! Пожарный это тот, кто тушит пожары, а

пожарник — это нищий погорелец, собирающий милостыню в городах для строительства новой деревни, вместо сгоревшей...

С тех пор, вдохнув трагического дыма случайных пожаров или преступных поджогов, я остался навеки влюбленным не в пожары, конечно, а в тех мужественных людей, что гасят адское пламя. Много лет я выискивал и находил в своей библиотеке сведения о роковых пожарах в России, уничтожавших целые города и сохранившихся в народной памяти. Сейчас, насколько мне известно, самые страшные пожары случаются в универмагах, а раньше немало жертв огонь похищал в театрах или балаганах. Но я хочу рассказать об одном лишь пожаре, о котором почти все знают, но, быть может, не всем известны его подробности...

Начинался морозный день 17 декабря 1837 года.

С утра в Зимнем дворце было шумно и тесно от сборища молодых и здоровых рекрутов, из которых выбирали самых здоровущих для служения в гвардии. Дежурный флигель-адъютант Иван Лужин выслушал старого камердинера, который сообщил, что вся прислуга дворца давно ощущает запах дыма:

- То ли опять сажа в дымоходах горит, то ли...

Лужин велел дворцовым пожарным осмотреться в печах, а на крышу дворца послал трубочистов, чтобы своими чутунными шарами с «ёжиками» они прочистили дымоходы. Министр императорского двора князь Петр Волконский, ленивый сибарит, сказал:

— До чего же вы, Лужин, беспокойный! Да пошлите по залам скороходов с курильницами, чтобы забили дурной запах...

Аромат благовоний на время заглушил подозрительный запашок дыма. Вечером того же дня император с женою отбыл в театр, где давали оперу с балетом «Влюбленная баядерка», а Мария Тальони была, как никогда, очаровательна. В середине представления в царскую ложу бочком протиснулся тот же Иван Лужин, и Николай I с неудовольствием оторвался от сцены, на которой порхали придворные сильфиды.

- Что случилось? тихо вопросил царь.
- Ваше величество, что-то неладное в Зимнем дворце, а в Фельдмаршальской зале уже полно дыма.
- Сейчас приеду, еще тише ответил царь и шепнул жене, чтобы ехала не в Зимний, а в Аничков дворец...

На выходе из театра Лужина перехватил Волконский:

— Зачем обеспокоили нашего государя? Был дым, нету дыма — велика важность, первый раз, что ли, у нас дымом пахнет?...

Николай I, не расставаясь с театральным биноклем, покинул ложу, в которой оставил жену, и удалился. В зале сразу это заметили, начались шепоты и догадки, публика начала расходиться, уже не шепотом, а во весь голос люди заговорили:

- Беда, беда! Зимний дворец горит... пожар...

...События в этот день развивались так. Уже не дымный запах, а явная струйка дыма появилась в камердинерской, явственно сочившаяся из-за печки. Ниже размещался архив, но там было сыро и холодно, а дыма совсем не ощущалось.

- А что под архивом? спросил Лужин у камердинера.
- Аптекарская...

Я задам читателю странный вопрос: кто жил в Зимнем дворце? Помимо царской семьи и многочисленной челяди дворец населяли тогда около трех с половиною тысяч человек посторонних (именно такую цифру приводит шеф жандармов Бенкендорф, ее подтверждает и знаменитый архитектор Монферран). Выражаясь современным языком, дворец напоминал громадное столичное «общежитие»: среди его жителей можно было встретить бездомных офицеров, ветеранов суворовских походов, было много одиноких старух, дворец давал приют даже солдатам-инвалидам, наконец, на его чердаках издавно проживало немало дворцовой прислуги вместе с женами и детьми, они там - на чердаке, разводили даже поросят и держали куриные выводки... Лужин проник в полуподвальную «аптекарскую», где провизоры готовили лекарства для нужд двора и бедных петербуржцев. Выветривая дурные запахи через отверстие, пробитое ими в дымоходе, фармацевты часто выстуживали свою лабораторию, что не очень-то нравилось дровотаскам, здесь же всегда ночевавшим. Они заткнули вентиляцию скомканной рогожей, но рогожа провалилась в трубу дымохода и загорелась от раскаленной сажи. Пожарные вытащили рогожу, изматерили дровотасков, дымоход залили водой, и поначалу казалось, что все в порядке. Запах исчез, а потом вдруг заполнил Фельдмаршальский зал, и вот тогда Иван Лужин потревожил Николая I в театре. Накинув шинель с бобровым воротником и надев шляпу с высоким султаном, он указал Лужину:

- Весь резерв пожарных частей поднять по тревоге...

Он подкатил на санках к дворцу, когда Дворцовая и Адмиралтейская площади уже были заполнены народом, от Певческого моста до Александровской колонны стыли на морозе полки гвардии — павловцы и семеновцы. В толпе горожан находился и крепостной живописец Иван Зайцев, сохранивший до старости свое главное впечатление: «Несмотря на многие тысячи народа, тишина на площади была страшная», — это и неудивительно, ибо весь ход российской истории, вольно или неволь-

но, был связан с этим великолепным дворцом, которому грозило уничтожение, как угрожало оно и примыкающему к нему

Эрмитажу...

Когда пожарные стали вскрывать паркет в Фельдмаршальском зале, то — с первых же ударов ломами в пол — с грохотом обрушились зеркальные двери, из их проемов вырвались громадные факелы пламени. Отонь мигом охватил потолок, ярко полыхнули золоченые люстры, с хоров посыпались жарко горевшие стойки вычурной деревянной балюстрады...

— Гвардии народ ко дворцу не допускать, — повелел в этот момент Николай I. — Солдатам выносить что можно и все спасенное складывать на площади. А окна в Фельдмаршальском

зале разбить, чтобы вытянуло на улицу дым...

Ночной мрак окутывал толпы горожан, затаивших дыхание, во тьме смугно белели и лица солдат в четких шеренгах гвардии. Но когда вылетели стекла вместе с оконными рамами, то могучий сквозняк сразу раздул пламя на сгорающих шторах, а сам дворец осветился изнутри, как волшебный фонарь; при этом дворец осветил и людей. Очевидец писал: «Эта внезапность превращения дворца из мрака — в огненный, произвела то, что весь люд, находившийся на площади, народ и войско, одновременно, единым возгласом, все разом а х н у л и...»

С этого времени пожар начал свое победное торжество!

Его громадное зарево увидели за полсотни верст от Петербурга — и жители окрестных деревень, и путники, подъезжающие к столице; его наблюдал из окна кареты и придворный поэт Жуковский, имевший жительство в «шепелевской» части Зимнего дворца. Именно это грозное пламя послужило для солдат как бы сигналом — они скопом хлынули во дворец, разбегаясь по лабиринтам его коридоров и помещений, начали спасать все подряд, будь то книги или ковры, канделябры или вазы, фарфор или стекляшки, иконы и белье. Конечно, что тут самое ценное, а что и гроша не стоит — этого они не понимали, с одинаковым рвением стаскивая со стен портреты Каравака или Виже-Лебрен, но, спасая шедевры живописи, солдаты героически тащили из огня и сундук придворного сапожника с ошметками разноцветной кожи...

Николай I (отдадим ему должное) за чужие спины не прятался, его видели в самых опасных местах. Все спасенное сваливали у подножия Александровской колонны, и ангел-хранитель на ее вершине осенял крестом царское имущество. Император, как отец, уже разбудил своих детей, отправив их в Аничков дворец, сам же остался командовать, при этом он почему-то не расставался с театральным биноклем. Его зычный голос был

далеко слышен.

— Где Пинкертон? — взывал он из облаков дыма.

 Кто видел Пинкертона? — подхватывали в свите. — Почему механик не заводит паровую машину для подачи воды?

Пинкертон куда-то исчез, а паровая машина, как выяснилось позже, оказалась забитой льдом. Воду завозили бочками от прорубей на Неве, но брандспойты не справлялись с огнем, а ручные насосы работали на мускульной силе тех же солдат и горожан, причем каждый насос требовал усилий не менее сорока человек. Ближе к полуночи Бенкендорф догадался сказать царю:

Ваше величество, огонь уже возле дверей вашего кабинета.
 Не пора ли выносить из него важные государственные бумаги?

— Пошел ты... — пустил его царь по матушке. — Это у тебя кабинет завален недописанными бумагами, а я любой вопрос разрешаю сразу, и все бумаги с моего стола мгновенно следуют к исполнению...

В одном из залов солдаты, уже в дымившихся на них шинелях, явно рисковали жизнью, стараясь оторвать от стены громалное зеркало времен великой модницы Елизаветы, окруженное великолепной золотой рамой.

— Тяни, братцы... еще... взяли! Трещит, зараза...

- Пантелей, я справа, а ты слева... давай.

— Дураки! — обругал их царь. — Вы же сгорите. Прочь...

Но солдатам, вчерашним парням из деревень, такое зеркало казалось неслыханной роскошью, и они, не повинуясь царю, силились отодрать его от стены. Тогда император швырнул в зеркало свой бинокль, оно разлетелось в куски, и лишь тогда упрямцы оставили свои потуги... Сергей Кокошкин, оберполицмейстер Петербурга, угодил в страшный «прогар», паркет под ним обрушился, генерал со второго этажа оказался в первом, сверху на него сыпались горящие плашки вощеного паркета.

— Жив? — осведомился император.

— Жив. Но вроде бы очумел в полете.

— Тащите его на площаль. Пусть очухается...

Зато уж намучились солдаты со статуей работы гениального Кановы — его бесподобная Парка из чистого мрамора, как и много веков назад, задумчиво пряла золотую нить своей судьбы, а гвардии никак не удавалось оторвать ее от пола.

 Братцы, так эфта девка привинчена! — догадались они.
 Статую раскачали, ее пъедестал с «мясом» отодрали от паркета и поволокли — в огне и в дыму — на улицу, крича:

— Так-так, осторожнее... бери влево... держи справа!

Но при этом бедная Парка лишилась руки, что в таком положении даже неудивительно. Гора спасенных сокровищ и

всякого барахла безобразной кучей громоздилась на площади, и вдруг — в этом невообразимом хаосе, среди воплей ужаса и проклятий — раздалась музыка жеманного котильона: это сами собой вдруг заиграли музыкальные часы... Страшный грохот оборвал старомодный мотив: с крыши Зимнего дворца обрушилась телеграфная вышка, установленная на крыше дворца, сигналы которой были видимы даже из Кронштадта, и вся эта «техника» рухнула прямо в кабинет императора, сокрушая на своем пути перекрытия межэтажных настилов, довершая всеобщий хаос.

- Выносить штандарты и знамена гвардии.
- Где они? слышалось.
- В зале Арабском, там же и боевые литавры.
- Туда уже не пройти, кричал кто-то.
- Русская гвардия везде пройдет, звучало ответное.

Всюду что-то трещало и рушилось, потолки обвалились, осыпая людей обломками купидонов с колчанами любовных стрел и амурчиков, прижавших пальчики к губам. Огненные сквозняки неслись людям навстречу с каким-то ужасающим завыванием, в этом хаосе все ломалось, корежилось, тут же вспыхивало, а дым иногда был настолько густ, что люди, глотнув его единожды, тут же падали замертво. Беда была еще в том, что солдаты — не придворные, откуда им знать, куда ведут двери и лестницы, где вход, а где выход, куда бежать, где спасаться..

Зимний дворец, заложенный еще во времена Анны Иоанновны и распахнувший свои двери в 1762 году перед молодою Екатериной, еще не ставшей тогда Великой, этот строенный и не раз перестроенный дворец, правда, был перенасыщен сокровищами дома Романовых, которые давно потеряли счет своим богатствам, но зато Зимний дворец не имел главного, что необходимо для всех капитальных зданий, — он не имел брандмауэров, которые бы перегораживали его изнутри пожароустойчивой кирпичной кладкой, подобно тому, как водонепроницаемые переборки делят корабль на отдельные отсеки, делая его непотопляемым.

Пожар усиливался! Слава богу, вовремя догадались послать солдат в Военную галерею героев 1812 года: вынутые из плафонов, портреты были вынесены на площадь, сложены на бархатных диванах императрицы, и герои нашего отечества пасмурно взирали с полотен на окружающие их малахитовые шкатулки, на лепнину и бронзу, антикварные безделушки для забавы императрицы. Николай I загодя пробился в спальню своей жены, чтобы спасти ее бриллианты. Ящик, в котором они хранились, был уже открыт и... п у с т. «По выражению его лица, —

вспоминал очевидец, — видно было, сколь это обстоятельство его огорчило, но он ни единым словом не высказал своего неудовольствия» (а потом выяснилось, что еще в начале пожара все бриллианты царицы вынесла ее доверенная камер-фрау). Возле спасенных вещей императрицы дежурил, словно хороший цербер, статский советник Александр Блок — прадед нашего знаменитого поэта.

— Что несете, братцы? — окликнул он солдат.

Мимо него протащили какой-то чурбан, весь черный от копоти и дымившийся, словно головешка, и только пальцы, торчавшие из сапога, поражали удивительной белизной. Это был полицмейстер столицы Кокошкин, угодивший в роковой «прогар».

Куда класть-то его? — спрашивали у Блока.

— Ах, милый Сергей Александрыч! — заохал Блок. — Никак вы? Да кладите его на диван...

Спасибо, — закашлялся Кокошкин. — Спасибо и солдатикам, что откопали меня, и теперь я будто вторично рожденный.

Пошел третий час ночи, когда Николай I и его опаленная свита покинули Зимний дворец, убедившись, что спасти его невозможно. Императорский трон, символ величия и могущества Российской империи, вынесенный на площадь, сиротливо затерялся в свалке разных вещей, а меж благородной позолоты, поверх бархата и хрусталя дворцовые служители складывали свое барахлишко, а заботливый чиновник Блок водрузил на сиденье трона клетку с попутаем, который молчал, перепуганный, нахохлившись, а потом вдруг разинул клюв и стал орать: «Добрый вечерррр!..»

Император потерянно бродил среди своего имущества, долго отыскивая в вещах жены какую-то акварель, которую императрица очень любила, потом безнадежно махнул рукой и объявил

свите:

— Делать нечего! Впустите во дворец народ... Пусть каж-

дый вынесет хоть малую толику — и на том спасибо!

Чуть ли не впервые за всю историю России народ был допущен в обиталище Романовых, и многотысячная толпа горожан, дотоле стывшая на морозе, притопывая по снегу валенками, вдруг с каким-то торжествующим ревом, словно могучий океанский прибой, разом накатилась на пылающий дворец, проламываясь в огненные ворота столь бесстрашно, будто штурмовали неприступную цитадель, которая перед ними разом капитулировала...

Кокошкин оживился, соскакивая с дивана, и кричал:

- Эй, православные! Только не воровать...

Памятная записка Бенкендорфа, письма графа Ал. Орлова, донесение Модеста Корфа, старческие воспоминания Ивана Лужина, генерала Льва Барановича, мемуары семеновца Дмитрия Колокольцева, корнета Мирбаха — всего нам не перечислить, и все об одном и том же: о том, как погиб в одну ночь Зимний дворец и как был спасен Эрмитаж, составляющий единое целое с Зимним дворцом, почти кровный близнец ему...

Полтысячи пожарных геройски сражались с пламенем, но царь, понадеясь на свою гвардию, в их работу не вмешивался. Конечно, он понимал великое значение брандмауэров, и усердный генерал Клейнмихель велел егерям таскать кирпичи, из которых спешно выкладывали внутри дворца новые стенки, чтобы остановить продвижение огня. Но огонь оказался пронырлив и, упершись в стенку кирпича, он быстро скакал на чердак, откуда и полыхал далее, завоевывая для себя все новые пространства.

Брандмейстер доложил императору:

— Ваше величество, огонь-то на пороге Концертного зала, а там недалече и до Эрмитажа... Что прикажете делать?

— Тушите, — почти вяло отмахнулся царь, уже смирившись с тем, что дворец обречен, и побрел к саням, чтобы отъехать в Аничков дворец, где по нему изнылась императрица...

Вестимо, пожарные могли и не знать о гении Рафаэля, а солдаты никогда не слыхали о Корреджо, но, кажется, все люди инстинктивно осознали подлинное значение Эрмитажа, соединенного с догорающим дворцом крытою навесной галереей. Миллионная улица, ведущая к дворцу, была забита запаренными лошадьми, заставлена обледенелыми бочками, тесно было от горожан-добровольцев, которые час за часом непрестанно вручную качали тяжкие оглобли насосов, чтобы заранее окачивать Эрмитаж ледяною водой. Ветер, раздувая свирепое пламя, уже закутывал Эрмитаж едкими клубами дыма, он уже перебрасывал на его крышу снопы раскаленных искр и летящие по воздуху головни, полыхавшие в полете, словно «конгревские» боевые ракеты. Начиналась последняя, решающая битва, а водометные трубы, устремленные ввысь, теперь напоминали жерла грохочущих орудий...

Переход из дворца в Эрмитаж заранее был разрушен — от навесной галереи остались только железные брусья, на которых теперь сидели пожарные и солдаты с трубами в руках. Они заливали водою огонь, рвавшийся из руин дворца, чтобы он не переметнулся далее — на сокровища Эрмитажа. Время от времени напор пламени, выметнув из дворца длинный и жаркий язык, будто «слизывал» людей с брусьев, они с высоты падали

наземь, разбиваясь об камни насмерть. Но тут же на смену павшим влезали на брусья другие, снова вонзая в алчное пекло пожара острые бивни водяного напора.

— Качай, качай! — орали сверху. — Качай, родимые...

По Миллионной неслись потоки воды, как в наводнение, а сами добровольцы-качальщики были мокрыми до нитки на морозе и даже не ощущали мороза, качая, качая, качая... Старики, бывшие в 1837 году молодыми, на старости лет вспоминали, что в людях возникло какое-то озлобление, столь необходимое для битвы: «Это был бой с силою огненной стихии, который ни с каким боем в мире сравняться не может. Тут все люди, без малейших задних помыслов, приносили себя в жертву, и преданность нашего солдата здесь выказалась начистоту...»

Нескладно это сказано, зато уж верно!

К пяти часам угра, когда люди и лощади, подвозившие воду от Невы, уже валились с ног от усталости, Эрмитаж удалось отстоять. Но Зимний дворец еще горел и догорал еще трое суток подряд. От сказочного создания Растрелли остались закопченные стены, а внутри он был завален грудами тлеющего мусора, в котором намертво запеклись черные, как уголь, безымянные трупы. Потом день за днем множество подвод — обозами! — вывозили этот ужасный «шлак» тысячами пудов на загородную свалку, а могил погибших в неравной битве с огнем не сохранилось: свалка стала их кладбищем. В газетах о количестве жертв помалкивали, в городе об этих жертвах лучше всех знали, пожалуй, одни лишь солдаты гвардии, которые долго разгребали тлеющие завалы внутри Зимнего дворца.

Через несколько дней после пожара, в Аничковом дворце, где временно расселились царская семья и придворные, появился поэт Жуковский. Известно, что Василий Андреевич был человек учтивый, любезный и крайне деликатный. Потому-то, наверное, он и навестил императора, смущенный, чувствуя себя виноватым.

- Ваше величество, было им сказано, у меня нет слов, дабы выразить вам свое сочувствие, но... Желаю принести к подножию вашего престола свои глубочайшие извинения.
 - Жуковский, не пойму, о чем просишь ты?

Поэту было неловко, что царь остался «бездомным погорельцем», а он, придворный поэт, имевший во дворце казенную квартиру, нисколько не пострадал от пожара. Надо же так случиться! Стихия оказалась большой шутницей: огонь пожрал в Зимнем дворце все, что оказалось ему доступно, но чудесным образом он миновал жилище поэта, оставив его невредимым. — Мне так неловко перед вами, — говорил Жуковский, — но, видит Бог, я нисколько не виноват в том, что огненная гидра не навестила мою скромную поэтическую обитель...

Пожар в Зимнем дворце начался 17 декабря, первое совещание комиссии по реставрации дворца состоялось 21 декабря, а 29 декабря уже было издано «Положение» о порядке воссоздания дворца в прежнем виде (и через год он возник снова, как сказочный Феникс, на том же месте, где и стоит поныне). А пока разгружалась Дворцовая площадь от завалов спасенного имущества, министерство императорского двора занималось подсчетом убытков и неизбежных пропаж. Князь Петр Волконский, как и чиновники его министерства, думали одинаково плохо:

— Конечно, пока вещи выносили солдаты гвардии, тут, надо полагать, все сойдется в идеальном ажуре. А вот когда его величество соизволил разрешить доступ во дворец народа, тут...

Так думали они, своего народа не знавшие!

Спору нет, во всеобщей суматохе пожара многое оказалось безвозвратно утеряно, много добра погибло в пламени, многое было просто переломано в спешке. Среди всякой ерунды недосчитались и царского кофейника. Как выяснилось, его украл солдат гвардии. Украл ради наживы, думая, что этот кофейник продаст с выгодой для себя. Но — вот беда! — во всем большом городе не нашел ни единого покупателя.

— Эвон, — тыкали пальцем, — никак герб туточки? Украл, рожа поганая? Так и ступай прочь — нам краденого не надобно...

Кончилось это тем, что солдата схватили вместе с кофейником и поволокли под белы рученьки в полицию, чтобы выдрать его во славу Божию. Официальное заключение Бенкендорфа гласило: «Кроме этого кофейника, ничего не было ни похищено, ни потеряно из всей гигантской груды драгоценного убранства дворца, которая и валялась под открытым небом на площади, доступная всем и каждому». Так что часовых с ружьями ставить не пришлось! Правда, вскоре придворные лакеи подняли великий шум из-за одной паршивой тарелки из царского сервиза:

- Мы уж все обыскали, нету тарелки. Небось украли! До чего же нонеча бессовестный народец пошел.
 - Небось сами вы и стащили, сказал им Волконский.
 - Вот те хрест святой мы не брали.
 - И Бог с ней, с этой тарелкой, зевнул министр...

А весною, когда стаял снег на Дворцовой площади, тарелка сама по себе объявилась под лучами майского солнышка, целехонькая и невредимая. Такова, читатель, была нравственность тогдашнего простонародья— в то далекое от нас время, когда до 1937 года народу оставалось жить ровно столетие.

Теперь оставьте свою тарелку на улице, а потом спращи-

вайте:

— Куда делась наша тарелка?

А куда, читатель, спращиваю я вас, делась и наша совесть?

«ОШИБКА» ДОКТОРА БОТКИНА

Все было спокойно, и ничто не предвещало беды...

Пять приемных дней в неделю — это, конечно, многовато для каждого врача, а тем более для такого, каким был маститый клиницист Сергей Петрович Боткин. Возвращаясь по вечерам со службы, уже достаточно утомленный, он с трудом протискивался в свою квартиру через плотную очередь жаждущих от него исцеления, а бывали и такие дни, когда очередь больных начиналась на лестнице.

 Позвольте пройти, — вежливо говорил Боткин. — Не сомневайтесь, приму всех, но прежде пообедаю и выкурю сигару.

Иногда до полуночи принимал больных, после чего приникал к возлюбленной виолончели, уверовав, что музыка лучше любой ванны снимает мозговую усталость. Редкий день Боткина выдавался свободным; трамваев тогда не было, конка далее Литейного моста не ходила, петербуржцы довольствовались прогулками в Летнем саду, где сверкал иллюминацией ресторан Балашова, а с Невы веяло прохладой.

- Катя, сказал однажды Боткин жене, гуляя с нею по аллеям и ежеминутно раскланиваясь со знакомыми или совсем незнакомыми, которые издали снимали перед ним котелки, помнишь ли, дорогая, что я не так давно говорил тебе о Реште?
 - Да, это город в Персии, но к чему ты Решт вспомнил?
 - Я получил на днях странное письмо...
 - Неужели из Решта?

— Нет, от городского головы волжского Царицына некоего господина Мельникова, который бьет тревогу, ибо с низовий Волги приходят слухи о том, что в станице Ветлянской умирают люди... похоже, что от чумы.

Боткин был женат вторым браком на княжне Оболенской, для нее он был тоже вторым мужем; некрасивая, но умная женщина в очках, похожая на курсистку, она многое понимала в заботах мужа-врача, но сейчас понимать его не хотела:

— Чума? В конце века науки и прогресса? Верить ли?

— Верить надо, — отвечал он подавленно. — Чума не признает ни времени, ни пространства, а ее пути остаются для нас, грешных, неисповедимы, как и пути Господни...

Сергей Петрович был слишком известен, по этой причине двери любых кабинетов были перед ним широко распахнуты, и в один из дней осени 1878 года врач потревожил покой министра внутренних дел Макова, спросив его:

— Лев Саввич, известно ли вам, что творится в Ветлянке? Маков покраснел, ибо не знал, где такая Ветлянка, но, поборов смущение, он сделал вид, что извещен достаточно. На всякий случай Боткин вложил в него ничтожную долю правды, которой хватило с избытком, чтобы министр схватился за голову.

— Только, прошу вас, никому не говорите, — взмолился он. — Ведь если в этой обнаглевшей Европе узнают, что у нас все уже есть и даже чумою обзавелись, так бедную Россию опять станут обливать помоями, а нас, великороссов, будут величать «дикими азиатами»...

1878 год близился к своему ужасному завершению.

Астраханская губерния — край необъятный, издавна славный тем, что кормил вкусной рыбкою всю мать Россию; тут в гигантских чанах с рассолом тузлука солилась рыбка большая и маленькая, волжская или каспийская, тут существовал обильный промысел тюленьего боя, а гужбанье с пристани, грузчики-тяжеловесы, угрожали миллионерам-рыботорговцам такими словами:

— Ты, найденыш, ежели и дале нас одною паюсной икрой кормить станешь, так мы тебе, вот те крест святой, такую стачку устроим, что не возрадуешься... Вари кашу!

Губернией управлял Николай Биппен, который (по мнению служившего при нем чиновника Н. Г. Вучетича) «был крайне осторожен, робок и мнителен, его всегда смущало опасение — как на то или иное его действие посмотрят в Петербурге...» Узнав о непонятной смертности в Ветлянке, он хотел было вмешаться, но тут атаман Астраханского казачьего войска грудью встал на защиту станицы:

— Неча! Тамотко сидит мой бравый полковник Плеханов, не четам всем вам, ён и без вас знает, когда, кому и как помирать... Ветлянка — это наше казачье владение!

А рыботорговцы устроили гвалт в приемной губернатора:

— Да нету там никакой чумы! Это тилигенты в очках придумали, чтобы им за чуму от академий разных премий надавали побольше... Ведь ежели рыбку-то не вывозить куды на прожор, так она загниет в тузлуке, мы же мильёны потеряем... сами сдохнем. Таки дела!

Правитель губернской канцелярии, пылкий грузин Давид Чичинадзе оказался дальновиднее всех, он вызвал двух городских врачей — М. Л. Морозова и Григорьева, сказал им, смеясь:

— Слушайте! Пока там наш губернатор отлаивается от грозного атамана, а купцам только и дела, чтобы селедку солить, я, господа, желаю вам доброго пути до Ветлянки, чтобы на месте вы, как врачи, и разобрались — от чего мрут там людишки?..

Ни врачи тогда, ни историки позже так и не выяснили путидороги, по которым чума вторглась в пределы благословенной
Астраханской губернии. Совсем недавно отгремела война России с Турцией, и одни думали, что чуму занесли казаки, сражавшиеся под Карсом, а под Карсом она объявилась среди турецких солдат, занесенная ими из Месопотамии; другие угверждали, что чума приплыла по волнам Каспийского моря из
Персии, где не так давно она как следует погостила в городе
Реште... Вучетич, человек думающий, позже писал о чумной
эпидемии, объявившейся в Ветлянке: «Она действительно была
загадочной для нашей хваленой бюрократии, всегда способной
лишь запутывать, осложнять и затемнять всякое дело, лишь бы
по возможности умалить сам факт бедствия народа в своих личных интересах...»

Казачья станица Ветлянская (или проще — Ветлянка, как ее называли) со времен веселой Елизаветы процветала на правом берегу Волги — как раз посередине пути между Астраханью и Царицыном; станицу населяли казаки и рыбаки, а плывущие пароходом видели, что в Ветлянке ветер во всю ивановскую раскручивает крылья сразу двадцати мельниц, значит, живут и не тужат, ибо есть что молоть. Именно из этой рыбно-мукомольной благодати местный священник известил царицынского голову, своего родственника, о том, что в Ветлянской станице творится что-то неладное: люди стали помирать, коротко отмучившись жаром, слабостью, головными болями, распуханием желез, у иных же случался бред и судороги. В станице было тогда два доктора — Кох и Депнер: первый умер, а второй... второй — убежал!

Вскоре священник снова известил голову Мельникова о том, что вокруг него все умирают, он решил описывать все случаи смерти, а когда пробьет и его час, он все написанное упрячет в верхний ящик комода, чтобы люди узнали правду... Жена Мельникова, дама многопудовая, возглавляла местное общество Красного Креста, голова сказал ей:

— Понимаешь ли, моя ласточка? Коли это чума и она двигается вверх по течению Волги, то на очереди наш Царицын, потом — Саратов, а затем... страшно сказать!

— Страшно, — отвечала жена, содрогаясь могучим телом.

Содрогаясь всеми фибрами доброй души, Мельников сообщил о событиях в Ветлянке знаменитому Боткину, тот уведомил о них Макова, но министр боялся беспокоить чумой императора. Не дождавшись решения Петербурга, Мельников своей волей снарядил в станицу Ветлянскую не врача, а лекаря Васильева.

— Ты, дружок, осмотрись там, — напутствовал его голова, — возьми казаков и двух сестер милосердия. А моя женушка от Красного Креста посылает с тобой в Ветлянку обувь, чаек, сахарок, что там еще послать? Ну, бельишко... Давай, дружок, поцелуемся на прощание. Век тебя не забуду!

Поцеловались. Через несколько дней в Царицын пришло письмо Васильева — жуткое. Ветлянскими казаками управлял Плеханов, полковник Астраханского казачьего войска; он сказал, что болен (через щелку двери), а лекаря к себе не допустил.

— Ты что? Сам не видишь, что конец света приходит? — сказал Плеханов. — Делай что хочешь, а меня забудь...

А что делать лекарю, который привез умирающим пшено, чаек, сахарок и бельишко? «По дороге, — сообщил он в Царицын, — мне попадалось множество трупов... в домах больные и мертвые. Погребать умерших никто не соглашается. Матери, жены, отцы, дети — все боятся больных. Бросают дома и семейства, бегут в степь. После долгих усилий я едва нашел двух пьяниц, которые согласились хоронить тела...» Эпидемия охватила уже весь Енотаевский уезд, люди, до этого здоровые, умирали в два-три часа, помощи ниоткуда не было, и лекарь Васильев тоже скрылся.

Тут в Ветлянку нагрянули бравые астраханские врачи — Григорьев с Морозовым, но признаков чумы, описанных в инструкциях по ее излечению, они в станице не обнаружили. Мертвых полно, а чумы нет. Покойники и больные никак не укладывались в рамки инструкции: опухоли (бубон) отсутствуют, дыхание затруднено, временами кровохарканье, а в боку у всех колотье.

Один гиппократ спрашивал другого гиппократа:

Что же мы, коллега, станем писать начальству? В руководстве по выявлению признаков чумы сказано-то совсем иное.

- Да, ничего похожего с тем, что мы наблюдаем. Скорее

всего, в Ветлянке не чума, а пневмотифус...

Так и писали, что в Ветлянке чумы нет, зато есть повальная пневмония (пневмотифус). Этим извещением врачи успокоили себя, утешили начальство и вызвали приступ буйной радости в Петербурге; наверное, им бы довелось таскать «Анну на шес», если бы Григорьев однажды не сказал Морозову:

— Что-то сегодня в боку постреливает.

- А мне, коллега, признаюсь, дышится скверно...

Поговорили и разом умерли (считай, не от чумы, а от этого самого спасительного «пневмотифуса»). Паника охватила соседние станицы, люди бежали куда глаза глядят, ночевали в стогах сена, копали для жительства ямы — только бы избежать неминучей смерти. Ветлянский казак Петр Щербаков вспоминал:

— Время было лютое. Все по домам заперлись, носа на улицу высунуть боялись. А если глянешь на улицу, так сразу гробов двадцать увидишь. Везут их двое — пьянь-пьянцовская, у них гармошки, и они песни поют, на мертвых сидючи... Да, — заключал Щербаков, — я уж повоевал в жизни, всего насмотрелся. Конечно, на войне страшно, зато в Ветлянке было куда как страшнее.

Тут казаки изловили в степи лекаря Васильева и, сидя вер-

хом, нагайками погнали его обратно в Ветлянку:
— Коли ты дохгур, так лечи, мать твою так.

- Братцы, да не доктор же я, а только лекарь.

— Ты глупее нас не притворяйся, мы сами безграмотные,

— Да боюсь я, братцы, боюсь, — плакал Васильев.

— Мы все боимся, — хлестали его казаки...

Н. Мельников писал, что за отсутствие рвения Васильева «хотели было предать суду, но ввиду оказанных им впоследствии заслуг дело оставили без последствий». 19 декабря из Астрахани приехал в Ветлянку медицинский инспектор Егор Цвингман, дядька серьезный, который сразу и точно определил: чума! Диагноз был поставлен, но эпидемия, охватывая станицы правого берега Волги, уже переметнулась и на левобережье — в село Пришиб, а там рядом — кочевья калмыков, «черная смерть», когда-то не раз обезлюдившая Европу, вторглась в дымные и нечистоплотные улусы. Только теперь в величественном Санкт-Петербурге забили тревогу...

Всеобщая паника обретала государственные масштабы, правда еще не выходя из границ самого государства. 23 декабря Петербург распорядился заключить Енотаевский уезд под охрану воинского оцепления, чтобы ни один житель не вздумал искать спасения в бегстве. В заснеженной степи кордоны были расставлены, костры разведены, но станичный люд, доказывая свою неустрашимость, все равно разбегался во все стороны, разнося эпидемию дальше... Николай Карлович Гирс, возглавляющий тогда внешнюю политику России, боялся, кажется, не столько самой чумы, сколько того, как станут отзываться о нашей чуме в Европе.

— О-о, вы еще не знаете канцлера Бисмарка! — говорил он, закатывая глаза. — Но теперь вы его узнаете... для него эта Ветлянка как раз кстати, чтобы лишний раз нагадить России, а венские Габсбурги послушны ему, как дети строгой бонне... Наконец, в Турции и в Персии чумы нет, и там смеются над нами, откуда она, эта чума, взялась?

Лев Саввич Маков велел созвать совещание:

— Из-за амбиций этого Бисмарка не скрывать же нам перед всей Европой, что — да! — у нас чума, что — да! — лекарств нету, что — да, наконец! — врачей в тех краях тоже мало...

На совещании медиков с чиновниками МВД Боткин признал ветлянскую эпидемию чумною (безо всяких сомнений), напомнив, что знаменитая чума в Москве во времена Екатерины Великой тоже начиналась с того, что тогдашние врачи трусливо боялись чуму назвать чумою, дабы не потревожить сладкий сон высочайших вельмож Санкт-Петербурга.

— Развитие в России чумы, — здесь я дословно цитирую слова Сергея Петровича, — в тех размерах, в каких она появлялась в прошлые столетия, невероятно (ныне), однако возможно появление в различных местах России большего или меньшего числа заболеваний чумной болезнью...

Итак, тревога объявлена! А куда, спрашивается, девать астраханскую рыбку или икру, если рыботорговцы Астрахани всюду натыкаются на штыки кордонов? Неисчислимые (и, конечно, миллионные!) уловы рыбы и баррикады бочек с икрой пропадают на пристанях, а в столицах уже воротятся от стерляжьей ухи, уже не желают есть икру ложками, ибо... испутались чумы. Сотни торговых домов в Астрахани пошли по миру, мигом разоренные, на бирже возникла паника, кто-то играл на повышение, кто-то рвал сотенные из рук, выигрывая на повышении курса.

— Господа! — орали на бирже. — Эта Ветлянка нам даром не обойдется... Разве не слыхали, что говорят в Париже? Падение русского курса неизбежно... готовьтесь плакать!

Бисмарк, вестимо, не упустил удобного случая, чтобы не использовать ветлянскую чуму как отличный предлог для экономической изоляции России (за которой, возможно, последует блокада и политическая?). Германия и послушная ей Австрия

мгновенно расставили на границах кордоны, отказываясь от русских товаров, таможенные строгости были усилены, а наплыв русских туристов и путещественников до крайности ограничен. «Все это, — писал современник, — вместе взятое, отразилось потом миллионными убытками на русской торговле и промышленности». Европейцы же, далекие от каверз берлинской политики, восприняли карантинные меры против России как долгожданный сигнал к наведению порядка у себя дома: в нейтральных странах начался генеральный аврал по уборке дворов и улиц, срочно выгребались помойные ямы, не чищенные с походов Наполеона, мэры городов не гнушались проверять чистоту общественных нужников... Так что, дорогой читатель, пусть Европа еще скажет нам спасибо за то, что своей чумой мы помогли ей в соблюдении гигиены и чистоты!

Боткин оставался в столице, но многие врачи покидали ее, чтобы бороться с ветлянской чумою. Среди отъезжавших был и заслуженный профессор Эдуард Эйхвальд, основатель клинического института в столице. Доктор Василий Бертенсон оставил описание сборов профессора в дорогу и те «предосторожности, которыми хотел окружить себя даже такой серьезный клиницист — вроде наглухо закрытой одежды с проведенною в рот ему трубкою для дыхания, какие употреблялись еще в сред-

ние века».

— Вы прямо в Ветлянку? — спросил Боткин.

Сначала в Царицын, — отвечал Эйхвальл.

— Вы там не напугайте жителей своим видом, иначе из

Царицына побегут так же, как бегают из Ветлянки...

Царицын в эти дни тоже был окружен кордонами, а 24 января 1879 года император Александр принял у себя в кабинете героя минувшей войны — генерала Михаила Тариеловича Лорис-Меликова. Это был умный и доброжелательный человек армянского происхождения, никогда не мечтавший о громкой карьере.

- Граф, - сказал ему царь, - до этого прискорбного случая с Ветлянкой не было отбою от желающих стать губернатором в Астрахани, где ворочают миллионами, но теперь трудно найти человека, который бы захотел получить эту губернию...

Надеюсь, четырех миллионов вам хватит?

Лорис-Меликов был назначен временным генерал-губернатором Астрахани, Саратова и Самары, которым угрожала чума, а город Царицын он избрал для квартирования своего штаба. Генерала провожали как смертника, осыпая перрон вокзала цветами, поэты слагали в честь его прочувствованные экспромты, а дамы даже не пытались скрывать своих слез.

— Дамы и господа, — заверил провожавших Лорис-Мели-

ков, — пусть эта ветлянская чума станет последней для матушки-России... Предлагаю не стесняться и дружно провозгласить: ура!..

27 января в сонме генералов и врачей Лорис-Меликов прибыл в Царицын, а буквально на следующий день из Ветлянки его известили, что во всей Астраханской губернии не возникло ни единого случая заболевания с чумным признаком. Конечно, это было случайное совпадение, а чума прекратилась не потому, что испуталась прибытия отважного генерала. Но зато прекращение чумных заболеваний испугало самого генерала.

— Господа, — сказал Лорис-Меликов, — к нам из Европы спешит авторитетная комиссия ученых врачей, а... что мы им покажем? Ведь они едут не просто так, а... надо им что-то показать! Европа должна убедиться, что Россия их не обманывала: чума была.

«Вырывать же трупы умерших от эпидемии из глубоко засыпанных и залитых известью могил никто не мог и подумать, ибо это было бы в то время делом рискованным и безумным», — отмечал свидетель тех событий. Давид Чичинадзе принес «радостную» весть.

— Ваше сиятельство, — доложил он с поклоном, — чума, кажется, сама позаботилась, чтобы международная комиссия осталась нами довольна... Вдруг очумела девица Анна Обойденова, и таким образом она вся — к услугам ученых Европы. — Обрадовал... дурак какой-то, — ворчал потом Лорис-Ме-

— Обрадовал... дурак какой-то, — ворчал потом Лорис-Меликов. — Сегодня Обойденова, завтра Найденова, если так пойдет и далее, так нам вовеки от карантинов не избавиться...

Настрадался и городской голова Мельников! Вот уж не думал он, что его захудалый и пыльный Царицын, в котором полно всяческих оборванцев и нищих с живописными заплатками, этот волшебный град (будущая «твердыня на Волге») станет принимать у себя светил европейской медицины. Как посыпались они разом, будто мусор из дырявого мешка, — только и поспевай встречать на вокзале, только успевай размещать по квартирам обывателей, выискивая такие, где клопов и тараканов поменьше... Международную комиссию составляли профессора и ученые Вены, Бухареста, Парижа, Берлина и прочих столиц, которые никаких лекарств не привезли, зато они доставили на берега Волги немало советов. Кроме раздачи бесплатных советов особой пользы от делегатов не было, но с их слов было понятно, что от решения комиссии зависит снятие санитарных кордонов на рубежах России...

Много позже Мельников своим гостям рассказывал:

— Надоели они мне тогда порядочно, да ведь, сами понимаете, гостей не выгонишь. Если уж честно говорить, эти уче-

ные дальше Сарепты и не ездили, так и сидели в Царицыне на моей шее. Лишь некоторые, что гнались за «азиатской» экзотикой, добрались аж до Астрахани, где тамошние купцы им балыки в рот совали, а черной икрой готовы были ботинки им чистить...

Навигация в 1879 году началась еще в феврале, ибо Волга вскрылась раньше обычного, и граф Лорис-Меликов пароходом прокатился до Астрахани со всей свитой, набиравшей «прогонные»; говорят, что попутно заглянул он и в вымершую Ветлянку. На всем пути следования генерал-губернатора занималось эловещее зарево пожаров — граф безжалостно спалил все «чумные» дома, движимое и недвижимое имущество, чтобы уничтожить все зародыши эпидемии. При этом, не скроем, Дорис-Меликов с небывалой щедростью оплачивал владельцам полную стоимость всего сожженного, так что никаких конфликтов с «погорельцами» у него не возникало, а из суммы в четыре миллиона граф истратил на устройство пожаров и компенсацию сгоревшего всего 308 000 рублей...

Принято считать, что чума отступила от Волги сама, обессиленная. Но Россия не оставалась равнодушной к Ветлянке, «на чуму» ехали со всех концов страны ученые, врачи, фельдшеры, сестры милосердия и добровольцы-студенты, согласные рисковать своей жизнью. Заключительный итог этой схватки с эпидемией был подведен профессором Эйхвальдом, который 6 марта оповестил Россию в том, что «эпидемия в Астраханской губернии кончена, а кордоны сняты». Об этом узнали из газет, и вывод Эйхвальда был торжественно заверен подпися-

ми членов международной комиссии...

Между тем, читатель, в стране тогда нарастало движение народовольцев, и после того, как Степан Халтурин пытался взорвать Зимний дворец с его обитателями, император Александр II назначил графа Лорис-Меликова диктатором. Конечно, в России понимали, что Ветлянка придала графу некий ореол героизма и потому — вот парадокс! — чума породила диктатора. Но, Боже мой, что тут началось на Кавказе... Кавказцев обуял дикий восторг от того, что армянин, их земляк, возвысился над русским народом. Теперь русские слышали от них даже стихи:

Разве сама не знаешь? Ты слюшай: один Кура — один
 Терек, один Лорис — один Мелик... Если бы не наш Лорис, вы

бы там от чумы все окочурились. Тебе, кацо, это мало?

Конечно, Михаил Тариелович таким дураком никогда не был и угнетать русский народ не собирался. В обществе диктатора прозвали «бархатным», ибо, даже угрожая, он гладил виновного по головке, а время его правления вошло в историю

под названием «диктатура сердца». Первомартовская бомба народовольцев, взорвавшая Александра II, взорвала и карьеру этого человека... Веселого во всем этом, читатель, мало.

Конец же нашего рассказа будет попросту печальным...

Тот же чиновник Н. Г. Вучетич, на которого я однажды ссылался, писал: «Я недаром подчеркнул эпитет «загадочной» эпидемии... Над ветлянской чумой ломали головы 120 врачей, вместе с профессорами, и никто из них не знал и, наверное, не знает по сие время, откуда взялась эта чума?..» Возникшая на самом отшибе империи, она, как это ни странно, имела трагический финал в столице.

Сергей Петрович Боткин, сам в Ветлянку не ездивший, был, однако, хорошо информирован о тамошних делах. Его настораживал рецидив чумы — в самый канун приезда международной комиссии, когда казалось, что с чумою уже покончено.

- Катенька, говорил он как-то жене, не странно ли, что в Ветлянке вдруг заболела юная казачка Анюта Обойденова, чему даже обрадовались приезжие из Европы, желавшие убедиться в болезни наглядно. Анюта была исследована, а гнойные бубоны в ее паху вскрывал чуть ли не сам знаменитый берлинский профессор Август Гирш.
 - Казачка осталась жива?
 - Да. Пора ей замуж.
 - А тебя волнует... начала было жена.
- Меня волнует, что недавно в Петербурге случилось несколько подозрительных смертей, вроде бы тифозного происхождения, но если вдуматься, то они в чем-то схожи с облегченной формой той же ветлянской чумы...

Карточки больных тогда именовались «скорбными листами»; графики колебаний температуры были едва ли не главным мерилом в распознавании болезни, но кривые синусоиды этих графиков вдруг (вдруг!) перестали соответствовать общей картине развития тифов. Боткин еще остерегался ставить точный лиагноз.

— Пока я лишь наблюдаю, — говорил он студентам в клинике, — и, если приду к какому-либо выводу, я, господа студенты, не премину известить вас о них сразу же...

Помимо врачебной практики Боткин славился в Петербурге своими лекциями в Медико-хирургической академии; на эти лекции сходились не только врачи или студенты, их посещали множество петербуржцев, увлеченных наукою, и громадный амфитеатр аудитории, рассчитанный на полтысячи слушате-

лей, не вмещал всех желающих слушать великого врача. Доктор П. А. Грацианов вспоминал, как с этой теснотищей «боролся» сам Боткин, энергичной походкой входивший на кафедру.

 Как это ни прискорбно, — были его первые слова, — но посторонних, вне моего курса академии, я очень прошу оста-

вить аудиторию, а теперь продолжим тему о...

В этой фразе Боткин не делал паузы, сразу же приступая к лекции, а потому «посторонние», боясь ему помещать, уже не спешили к выходу, оставаясь слушать и далее. Было, кажется, 13 февраля 1879 года — угроза ветлянской чумы еще существовала, в этот день у Сергея Петровича был обычный прием студентов в клинике, и тут — внимание! — был представлен очередной больной, являющий нечто звероподобное в своей неопрятной наружности, человек с блуждающими от страха глазами, а разбухшее лицо этого типа говорило не в пользу его трезвости, было видно, что он «приложился вчерась», а попробуй такого выпустить на улицу, он «приложится» снова...

— Рекомендую, господа, — представил Боткин пациента, — перед нами столичный дворник Наум Прокофьев... Кстати, любезный, где вы изволите иметь место своего проживания?

— Да тута... недалече... эвон...

— Простите, где это ваше «эвон»?

Выяснилось, что Наум Прокофьев машет метлой и собирает в совок лошадиные кругляши не где-нибудь на задворках, а в самом центре столицы — в Михайловском (Инженерном) замке, где располагалось Артиллерийское училище.

— Там же, в этом замке, и проживаете?

- Угу. Имею жительство. В подвале, конешно.

— Вы один там или...

Увы, дворник проживал не один, вместе с ним подвал замка населяли семейные солдаты с детьми. Взгляд Боткина, обращенный к студентам, был слишком выразительным. А по мере
того, как задавались им вопросы, а ординатор заполнял «скорбный лист» признаниями дворника, среди студентов началось раздвоение: смельчаки, влюбленные в риск науки, придвинулись
ближе к Боткину, а трусливые жались к дверям. Лишь ординатор
строчил как ни в чем не бывало, ибо «чумовые признаки» были
ему уже знакомы. Сергей Петрович, заложив руки за спину и
низко опустив голову, долго молчал. Думал. Как объявить этим
молодым людям, что дворник являет собой полноценную клиническую картину... чумы... Пусть даже в облегченной ее форме,
но... Последовал еще один вопрос к пациенту:

- Господин Прокофьев, а эти солдаты откуда взялись?

— Да «слабосильная команда». После войны...

Там был Карс и чума в Месопотамии, а здесь кручи Балкан, опять же война с турками... Пора ставить беспощадный диагноз. Резкий поворот всем телом к столику ординатора:

- Запишите: чума в первичной ослабленной степени...
- П. А. Грацианов, наблюдавший всю эту сцену, писал, что Боткин вряд ли «поспешил» (в чем его упрекали тогда очень многие). «Слушатели профессора, писал он, отлично знали, что из уст Боткина не мог выйти поспешный или необдуманный диагноз, тем более такой, который неминуемо должен был наделать шуму...» Это хорошо понимал и сам Сергей Петрович:
- Вы, надеюсь, из опроса больного уже достаточно поняли, каков будет диагноз. Но я прошу вас, господа, не распространяться о нем в обществе, понаблюдаем далее...

Болтун нашелся! Вечером того же дня в габсбургской Вене мальчишки, торговавшие газетами, оглушали прохожих истошными криками: «Der Pestfall in Petersburg!» (чума в Петербурге!). А с бульваров Вены, пронизанных музыкой вальсов, молва о чуме рикошетом вернулась обратно, и столичный градоначальник А. Е. Зуров, совсем не злодей, напротив, человек добропорядочный, повидался с Боткиным, пораженный не менее самого Боткина.

- Сергей Петрович, ваше мнение ко многому нас обязывает. Стоит ли вам столь категорично называть эту болезнь дворника обязательно чумой? Неужели в медицине так трудно подыскать какой-либо более утешительный синоним?
- Александр Елпидифорович, отвечал Боткин, ни мне, ни вам тем более не дано право придумывать для чумы новое название. Не верите мне? Так созывайте врачебную комиссию...

Но комиссия подтвердила диагноз Боткина в том, что Наум Прокофьев является носителем чумной инфекции в той ослабленной стадии, что предшествует началу чумной эпидемии. Всех солдат с женами и детьми погнали из подвала Михайловского замка, под строгим конвоем вывезли из столицы, строго изолировав, а сам виновник их выселения так и не осознал, что он сделал в жизни такого хорошего, почему теперь за ним все ухаживают, словно за барином. Наум Прокофьев лежал в отдельной палате, окруженный врачами, сиделками и студентами, которые палаты не покидали. О самочувствии дворника они писали реляции на листах бумаги, показывая написанное через стекло, и так же — через стекло — прочитывали указания от профессора Боткина...

Сначала болезнь развивалась как и положено, но однажды Боткин прочитал, что наметилось резкое улучшение, и больше всех обрадовался этому градоначальник Зуров:

18 3akaa 23 545

- Сергей Петрович, а вы случайно не ощиблись?

Новая комиссия о чуме уже не заикалась. Все газеты, забыв про-дворника, ополчились на Боткина, обвиняя его в «ошибке». Кампанию травли начал Катков, его «Московские ведомости» выставили врача на всеобщее посмещище, а суть катковской злобы выявилась, кажется, в самой последней фразе его статьи: «Телеграф из Берлина уже возвещает о новых мерах строгостей России, подготовляемых тамошним правительством».

Ага! Не здесь ли и кроется суть гнева Каткова?..

Врач Н. А. Белоголовый, друг и почитатель Боткина, писал, что «его славное и ничем до сих пор не запятнанное имя, которым так справедливо гордилась Россия и вся русская наука, сразу сделалось мишенью ежедневных нападок и самых обидных оскорблений...». Давно известно, что у талантливых тружеников всегда немало подлых завистников, которые до поры, до времени помалкивают, но стоит чуть оступиться, как они толкают, чтобы видеть тебя непременно упавшим. Разом были забыты все прежние заслуги, с каким-то ожесточенным наслаждением имя Боткина растаптывали в грязи. Сергей Петрович всегда был доверчив, по-детски добродушный ко всем людям, он желал видеть в них только хорошее, а теперь в недоумении спрашивал жену:

- Катя, отчего в людях столько жестокости?...

По словам Белоголового, «он лишился сна, аппетита, все его нравственное существо было потрясено» несправедливостью, с какой его, вчерашнего кумира, казнили и распинали. Сплетни и клевета сделали свое дело. Теперь, возвращаясь домой, Сергей Петрович уже не протискивался через толпу больных, желавших от него излечения, лишь одинокие старухи глядели жалобно:

- Спаси нас, батюшка Сергей Петрович...

В один из дней он поднес к стеклу записку, в которой спрашивал: как здоровье Наума Прокофьева? «Поправляется», — написал в ответ ординатор, и Боткин молитвенно перекрестился:

— Так я же ведь смерти ему и не желал...

Между тем газетная клевета иногда смахивала на политические доносы, а слово не воробей — его не поймаешь. Сергея Петровича без зазрения совести винили в отсутствии патриотизма (?), в тайных связях с нигилистами (?), будто он играет на бирже (?) и потому, мол, злодейски решил уронить курс русского рубля (?); наконец, фантазия врагов дошла до такой степени, что Боткина обвинили даже в том, что он выдумал (?) чуму в Ветлянке — на страх России и на пользу ее врагам...

Наум Прокофьев был выписан из клиники и ушел домой

своими ногами, снова подметать панели перед Михайловским замком...

замком...
Сергей Петрович после этого прожил еще десять лет, но силы его были уже подорваны — травлей! Он, великий клиницист, спасавший многих людей от смерти, скончался от приступа грудной жабы (нынешней стенокардии). Но даже лежа на смертном одре, Боткин оставался уверен в точности своего рокового диагноза, и жена слышала от него последние слова:

— Ошибки с моей стороны не было. Я только не смог разга-

 Ошибки с моей стороны не было. Я только не смог разгадать самой природы этого странного заболевания... Помнишь ли казачку Анюту Обойденову? Ведь она тоже выздоровела...

Давние споры об этой «ошибке» доктора Боткина, временами угасая, иногда снова возникают и в наше время, словно пламя из пепла тех костров, что давно загашены. Сейчас некоторые из ученых склонны думать, что дворник Наум Прокофьев переболел туляремией, которая в ту пору еще не была известна медицине. Но для нас имя Боткина сохранилось в святости...

ПАМЯТИ ЯКОВА КАРЛОВИЧА

Смолоду я питал почтение к академику Якову Карловичу Гроту, о котором сегодня и хочу рассказать... Первая встреча с ним произошла еще в юности, когда я самоучкой постигал историю Финляндии, пытался переводить стихи Лёнрота и Рунеберга, — именно тогда мне открылся тот мир, почти сказочный, что был отражен Гротом в его обширной книге «Из скандинавского и финского мира». Время постепенно уничтожило во мне старые интересы, оно же породило и новые — опять мне помог Яков Карлович с его работами по истории нашего государства, что так пригодилось потом при написании романа из эпохи «екатеринианства». Наконец, я с трепетом беру с полок увесистые тома — фундаментальные комментарии Грота к сочинениям Гаврилы Державина; вот изданная им переписка Екатерины II с бароном Гриммом, ценнейший источник по истории культуры, вот письма Ломоносова и Сумарокова к Ивану Шувалову... всего не перечислить!

Иногда я думаю: как один человек, никем не подгоняемый, достаточно обеспеченный, не раз отвлекаемый службою, успел так много сделать? Почему мы, беззаботно болгающие и постыдно хвастающие своими мнимыми успехами, разучились работать?

Так пусть эта миниатюра станет скромной данью благодарности человеку, о котором у нас не принято вспоминать...

После Семилетней войны приехал к нам из Голштинии

лютеранский пастор Иоахим Грот и стал называться Ефимом Христиановичем; отнесемся к нему с должным уважением, ибо этот пастор учредил первое в России «Общество страхования жизни», а с церковной кафедры он громил родителей, которые не желали делать прививки от оспы своим детишкам.

Ефим Грот и был родным дедом нашего академика.

Яков Грот родился в снежную зиму 1812 года, когда русская армия завершила изгнание полчищ Наполеона; отец его, финансист, был знатоком языков, а мать Каролина Ивановна Цизмер, немка происхождением, но отчаянная русофилка, любила русский народ даже за его недостатки; чтобы дети ее от колыбели прониклись «русским духом», она окружила их русскими няньками, а немецкий и французский они осваивали на слух — с разговоров родичей. Отец умер, когда Яше было четыре года; он очень любил мать и, если она засыпала, силился открыть ей глаза, громко плача:

— Мамочка, открой глазки — не умирай...

Вторая любовь — к животным, собакам и кошкам, «и я, — писал Грот в старости, — испытал это удовольствие во всей полноте... я живо и нежно сочувствовал всякому страданию, а воспоминание об этой детской симпатии до сих пор отзывается в моей душе любовью к животным...» Мать его, молодая вдова, как-то встретила в Летнем саду императора Александра I:

— Ваше величество, вы, наверное, помните моего покойного мужа, что был вызываем во дворец, дабы вы, еще ребенок, скорее освоили немецкое произношение. Так устройте будущее его бедных сироток, век стану Бога за вас молить...

Десяти лет от роду Яша попал в пансион Царскосельского лицея, а потом был зачислен и в лицей, еще живший памятью пушкинской юности. Любовь к поэзии среди лицеистов была всеобщей, а классные сочинения писались даже в стихах... Грот никогда не забывал встречу с великим поэтом, который однажды посетил обитель своей поэтической младости. Лицеисты окружали Пушкина гурьбой, Грот, застенчивый по природе, был безжалостно оттиснут от поэта, у которого «на лестнице оборвалась штрипка, он отстегнул ее и бросил на пол... я завладел этой драгоценностью», — вспоминал потом Яков Карлович.

За время учебы в лицее он самостоятельно изучил итальянский язык, считался лучшим на курсе «латинистом». Из своих скудных средств мальчик купил лексикон Кронберга, басни Крылова и географию Патунина — ими и наслаждался. О будущем и чинах он не думал, об этом позаботились другие. Когда лицей посетил князь Виктор Кочубей, важная персона, он спросил — кто из лицеистов годен в чиновники

Комитета министров, и тут профессор истории Шульгин сразу назвал Грота.

- Хорошо, - сказал Кочубей, - я буду о нем помнить...

В 1832 году Грот закончил лицей с золотой медалью и сразу оказался среди шкафов, заполненных канцелярской премудростью. Престарелый чиновник, страдающий геморроем, вынул из ушей вату, обнюхал ее, оглядел со всех сторон и воткнул в ухо обратно.

 Попался! — сказал он со злорадством старого человека, у которого все в прошлом. — Теперь, милейший, пока целый

шкаф копий не начертаешь, не видать тебе пенсии...

«Потерянные годы», — вспоминал Грот, изнемогавший от переписки бумаг, от их подшивания, прокалывания и нумерования. На беду свою он попал под начальство барона Модеста Корфа, выпущенного из лицея вместе с Пушкиным, а барон, от поэзии далекий, был ужасный педант. Вторая беда настигла от самого императора Николая I, который однажды сказал Корфу:

- Барон, кто у тебя в канцелярии обладает таким краси-

вым и ровным почерком? Глаз не оторвать!

Достойно усердствует мой чиновник Яков Грот.
Ты его удержи... не дай ему сбежать от тебя!

После этого бедный Яша проливал слезы над страницами дневника: «Дни уходят, не оставляя ни в уме, ни в сердце прочных следов; зато оставляют по себе толстые кипы исписанной веленевой бумаги; будет мне чем похвастать внукам, показывая им шкафы канцелярии, и скажу я им: сочинять не сочинял, да зато вволю писывал...». Любимой матери Грот говорил:

— Стоило мне кончать лучшее учебное заведение России с

золотой медалью, дабы копировать чужие глупости?..

Чтобы время зря не пропадало, Грот освоил английский язык; взялся за перевод поэмы Байрона «Мазепа», выискивая в европейской литературе связи с русской историей. Между тем сидячий образ жизни в полусогнутом состоянии и лучезарные надежды на обретение «креста в петлицу, а геморроя в поясницу» сказывались на здоровье, врачи советовали заниматься гимнастикой.

 Лучше всех — гимнастика шведская, а посему, господин Грот, ступайте в гимнастический класс шведа Паули, который выправит вас, как правофлангового гренадера...

Паули ходил в классе с длинным хлыстом, которым и подстегивал бедного Грота, если не так подтягивался на перекла-

дине, если не приседал с должным вдохновением:

- Ноги прямо! Грудь колесом! Смотреть на меня!...

Все это произносилось по-шведски, и после полугода за-

нятий гимнастикой Грот вдруг почувствовал, что начинает понимать своего дрессировщика без помощи переводчика. Паули оставил хлыст и, радостно улыбаясь, подарил Гроту стихи Рунеберга и «Сагу о Фритьофе» Тегнера (о которой с большой похвалой отзывался великий Гёте). Яков Карлович увлекся скандинавской мифологией, стал изучать шведский язык, переводил поэта Тегнера на русский язык, он пылко увлекся новым для него миром — на этот раз скандинавским. «А между тем я должен был ежедневно проводить все утро в канцелярии, тогда как страсть к литературным занятиям уже не давала мне покоя...» Что делать?

В театре он встретил товарища-лицеиста Михаила Деларю (пострадавшего за перевод стихотворения Виктора Гюго «Красавице», к ногам которой автор возлагал скипетр и трон, «гармонию миров и власть свою над ними за твой единый поцелуй»). Деларю сказал, что Плетнев будет издавать «Современник»:

— Петр Александрыч человек добрый, если сам боишься, так давай я отнесу ему то, что тобою написано...

Плетнев охотно напечатал перевод байроновского «Мазепы», а для «Отечественных записок» Яков Карлович приготовил большую статью о сагах древних викингов, для чего ему пришлось изучить немало источников. Имя его понемногу становилось известным в литературных салонах, а барон Корф сказал:

 Пропал человек! Верно говорят в народе: как волка ни корми, он все равно... сами знаете, куда смотрит.

Плетнев познакомил Грота с поэтом Жуковским, и тот сразу осведомился о службе, на что Грот отвечал словами Грибоедова: «Служить бы рад — прислуживаться тошно!» Отъезжая за границу, Жуковский взял с собою его перевод «Саги о Фритьофе», просил продолжать свой труд, а заодно советовал ехать в Одессу, чтобы купаться в теплом море. Столичные же врачи говорили иное:

— Вам необходимы как раз холодные ванны, вот и поезжайте в Гельсингфорс, чтобы купаться в Финском заливе...

Как раз тогда в Гельсингфорсе открылись лечебные купания с минеральными водами, и Грот, купаясь, поздоровел. Цитирую его же: «Нравы и образ жизни в Финляндии, как и характер ея жителей, имели в моих глазах много привлекательного». Яков Карлович сдружился с поэтом Рунебергом, стихи которого уже переводил для «Современника», он скупал старинные шведские книги, думал о том, чтобы из чиновного сословия перейти в научное... Мать беспокоилась о сыне:

— Надо тебе жениться. Днями ты пишешь в канцелярии Корфа, а ночами для журналов. Избери что-либо одно и... женись!

По возвращении из «страны Суоми» Яков Карлович навестил Плетнева, почти радостный, он сообщил, что в Александровском университете Гельсингфорса освобождается кафедра российской словесности и истории... Петр Александрович предупредил:

— Ваша радость понятна! Но здесь вы уже в звании экспедитора, то бишь столоначальника, и кусок хлеба вам обеспечен. — Плетнев давал уроки русского языка в семье императора и обещал перед ним замолвить словечко о Гроте. — А что вы держите столь бережно? — любопытствовал он.

Яков Карлович развернул сверток с таким бережением, с каким богатый скряга развязывает узел, скрывающий бриллиант, с каким нищий разматывает тряпицу с последним куском хлеба:

— Это... «Калевала»! Языческий кладезь финской народной мудрости, великий эпос страны Суоми, а мы, русские, должны знать руны своих соседей, как знаем былины об Илье Муромце и Елене Прекрасной... Простите, я плачу. Плачу от восторга!

Хлопоты П. А. Плетнева и В. А. Жуковского увенчались успехом, и 3 апреля 1841 года Николай I лично подписал указ о назначении Грота профессором в Гельсингфорс:

— Жаль, что от Корфа улизнул чиновник с таким превос-

ходным почерком, но и сам Грот еще пожалеет...

Гроту было тогда всего 29 лет. Весть о том, что он покидает столицу, где только зачиналась его слава писателя, вызвала в обществе недоумение, иные сочли его ненормальным:

— Так ли уж нужны его лекции этим чухонцам! Просто он

сумасброд, лезущий в воду, ранее не спросив броду...

Но мебель из квартиры Гротов уже плыла морем под парусами, мать тоже собиралась в Гельсингфорс, чтобы не оставлять без присмотра сына-холостяка. Осенью Грот уже приступил к чтению лекций. Правда, поначалу студенты, шведы и финны, устроили ему обструкцию, ибо шведы не забывали о войне 1809 года, а финны уже тогда мечтали о самостоятельности. Но Яков Карлович вед себя столь деликатно, столь хорощо владел шведским и столь быстро освоил финский язык, а лекции его были так увлекательны, что студенты смирились, а профессора предложили Гроту выпить с ними на брудершафт. С этого времени звезда Грота, поэта, историка и филолога, разгоралась над Скандинавией все ярче, и отблеск ее отражался в России, где русские с упоением читали его труды, уводящие их из глуши Тамбова или Сызрани в далекие страны, где сверкают алмазные озера, где с заснеженных гор мчатся за оленями неутомимые лыжники...

Яков Карлович работал так много, что стала побаливать правая рука; он составлял русско-шведский словарь, а для финнов учебник русского языка: теперь он изучал славянские наречия. очень скоро заговорив на польском и чешском. «Женись». — убеждала его матушка, вязавшая чулки долгими зимними вечерами.

- Ax, мамочка! - отвечал Грот. - Я бы и женился, да где взять время, чтобы ухаживать за невестой, танцевать с нею и

притворяться любезным кавалером... Не умею!

Посетив древнюю Упсалу в Швеции и остров Валаам, Грот уже мечтал о знакомстве с Европою, но Николай I не отпустил его.

— Пусть сидит дома! — было им сказано. — Там, в Европе. тоже не все медом намазано, а великая Россия — самая богатая и счастливая страна в мире... Одни идиоты этого не понимают!

В это время, столь плодотворное, Яков Карлович впервые прикоснулся к Державину и Фонвизину, их великие тени встали перед ним — как живые... Грот погрузился в уныние.

— Я все-таки нуждаюсь в России, — сказал он матери. — Только на родине оживут эти скорбные призраки... сих великих!

В один из приездов в Петербург он навестил Николашу Семенова, переводившего Адама Мицкевича, познакомился и с его отцом Петром Николаевичем, офицером Измайловской лейб-гвардии.

— Автор «Митюхи Валдайского», — браво представился тот Грот раскланялся, поговорил с его вторым сыном Петром (будущим графом Семеновым-Тян-Шанским) о голландской живописи.

— У нас сегодня гости? — вдруг послышалось за спиной.

— Жених! — захохотал автор «Митюхи Валдайского»...

Милая и умная Наташа Семенова стала женою Грота, и весною 1850 года молодожены уплыли в Гельсингфорс. Каролина Ивановна даже плакала от счастья. Семейная жизнь быстро наладилась: Яков Карлович, как профессор, получал в год 2500 рублей, они снимали отдельный дом из десяти комнат с садом и конюшней, завели экипаж и лошадей. Каково же было удивление Грота, когда Наташа поднесла мужу 1 рубль 40 копеек.

— Что это значит? —удивился Яков Карлович.

- Прости, но я... я тоже писательница. Это мой первый гонорар. Я пишу для детей, благо у нас скоро появятся дети...

Рождение сыновей совпало с тем временем, когда Яков Карлович увлекся познанием греческого и древнейшего санскрита. Первенец Николаша родился в 1852 году (будущий философ и психолог), через год родился второй сынок Костя (в будущем филантроп, создатель училищ для слепых и глухонемых). Яков Карлович говорил жене, что Гаврила Державин измучил его загадками своей бурной жизни, но ехать в Россию, дабы поднять его прах из архивной пылищи, сейчас нельзя, ибо матушка болеет:

— Ей, боюсь, не вынести дальней дороги, а у меня... у меня,

Наташа, рука болит все сильнее... правая! — сказал он.

Каролина Ивановна умерла, а Плетнев из Петербурга извещал Грота, что царь подыскивает учителя русского языка для своего наследника, он предложил именно Грота, но... «ждите известий из лицея!» — заключал Петр Александрович. Царскосельский лицей вскоре предложил Якову Карловичу кафедру российской словесности, и в 1853 году семья Гротов рассталась

с Гельсингфорсом.

Наталья Петровна была из рязанских дворян, и Гроты приобрели маленькое именьице на любимой ею Рязанщине; здесь Яков Карлович своими руками насадил рошу деревьев, в будущем ставшую парком, он устроил школу для крестьянских детей, нанял за свой счет учителей, покупал для школы книги и учебники, он, будущий академик, никогда не гнушался давать детишкам уроки по правописанию, рассказывал им сказки. А рука все немела! Желая как-то оживить ее, Грот пилил с мужиками дрова, усиленно колол их топором на плашки.

— Все равно немеет, — сообщал он жене.

— Надо обратиться к хорошим врачам.

— А ну их! — отмахивался Грот...

Наталья Петровна застала мужа за странным занятием: левой рукой муж исписывал бумагу простейшими знаками — о, —, !, =, +. Теряя правую руку, Грот уже начал готовить к труду левую, и вскоре он левой рукой писал так же споро и красиво, как смолоду писалось ему правой... Человек живет для постоянного труда — и работа никогда не должна прекращаться. В этом он был убежден, предрекая себе в стихах:

Я перед ангелом благим Добру и правде обещаю Всегда служить пером моим...

Тогда еще не было железной дороги до Рязани, ее провели позже, и Грот любил вспоминать, что первые поезда были народу в диковинку. Сразу за Москвой, заслышав гудок паровоза, из субботних бань выбегали нагишом мужики и бабы, крестясь на чудо-юдо, и Грот смеялся, припомнив один случай:

 Мост через Оку не имел перил, и вот помню, что одна барыня, ничего из окна, кроме реки и неба, не видя, вдруг с

ужасом заорала: «Карау-ул! Мы едем по ничему...»

После Крымской кампании Яков Карлович был избран в

члены Академии наук по отделению русского языка и словесности, и тогда же он впервые заговорил о неразберихе в русской грамматике, считая, что слова должны бы писаться так, как они произносятся. Так впервые в России возник вопрос о фонетическом правописании по методу Грота, отголоски которого дошли и до наших времен (вспомните споры как писать — «заяц» или «заец»?)...

Почти десять лет жизни были отданы им чтению лекций в лицее и в царской семье, но этот период жизни Грот не считал счастливым. Его давно утнетала нехватка державинских материалов, что тормозило работу над многотомным собранием его сочинений. Став академиком, Грот обратился ко всем россиянам с призывом — помочь ему, и скоро в квартире Грота было не повернуться от изобилия державинских бумаг, возник небывалый домашний архив; Грот каждое лето объезжал те места, где бывал Державин, перед взором Якова Карловича пронеслась вся Россия — от Казани, машущей ему полами татарских халатов, до унылой Званки на берегах Волхова, где поэт наслаждался последней любовью. Но однажды Наталья Петровна застала мужа в растерянности:

— Что с тобой, Яшенька, друг ты мой?

Грот чуть не плакал, он не мог отыскать ту маленькую штрипку, что поднял когда-то с полу в лицее, оторванную от штанов Пушкина и отброшенную поэтом.

— Ах, Наташа! Так всегда и бывает: что хорошо спрячешь, потом днем с огнем не найти...

Об этой пустячной штрипке он помянул неспроста. Еще в 1861 году на юбилейном вечере лицеистов было решено поставить памятник поэту в Царском Селе, стали собирать деньги для его сооружения, но потом, как это и случается на святой Руси, «поговорили и забыли». Правда, Грот не забыл своих юбилейных стихов, которыми украсил печальное застолье стариков-лицеистов:

Живем мы, дюжинные люди, А гения давно уж нет, И рвется ныне вздох из груди Невольно по тебе, поэт. Как скромный пир наш был бы громок, Когда б тебя в своем дому Сегодня встретил твой потомок И руку б ты пожал ему...

Жене своей Яков Карлович не раз говорил:

— Ты, Наташенька, извещена о круге моих друзей — Державин и Хемницер, Ломоносов и Сумароков, наконец, и великая Екатерина тоже в моих приятельницах. Но чаще я вспоми-

наю о Пушкине... Ведь он мог бы еще жить среди нас, и часто мне думается — каков он был бы сегодня, в свои преклонные годы? Наверное, седой. Возможно, и располневший. Гулял бы с внучками по Невскому... Нет! — сказал Грот. — Далее с памятником ждать нельзя: я решил разбудить спящих ударом в колокол. Постыдно, что усердие почитателей поэта вдруг охладело...

19 октября 1871 года — по инициативе Грота — образовался особый комитет, в него вошли немало стариков-лицеистов, сообща решили ставить памятник поэту не в Царском Селе, как было задумано ранее, и даже не в Петербурге, а именно в Москве (и так появился в первопрестольной опекушинский памятник, без которого мы уже не мыслим столичного пейзажа). Денег от народа, собранных по подписке, оказалось больше, чем надо, и Грот эти «лишние» деньги употребил для выдачи премий за лучшие литературные произведения. Мало того, Яков Карлович оставил нам и чудесную книгу «Пушкин, его лицейские наставники и товарищи». Честно скажу: сколько уж я копался в лавках букинистов, но этой книги никогда в руках не держал.

А теперь, читатель, позволю тебе немного и посмеяться.

Чистокровный немец по отпу и по матери, Яков Карлович Грот вел в Академии наук затяжную войну с «немецким засилием». Странно, не правда ли? При графе Уварове и при графе Литке, оседлавших академического скакуна, в академии воцарилось «поклонение германскому ученому миру, — здесь я цитирую самого Грота. — Граф Уваров был ослеплен блеском западной цивилизации... он целиком подчинился влиянию непременного секретаря (академии) Фусса и вообще немецких академиков. Русских ученых и труды их он мало ценил... Граф Литке так же, как и граф Уваров, был горячим почитателем германской науки... По какому-то непонятному предубеждению он считал занятия русской и славянской филологией менее почтенными, чем занятия какою бы то ни было другою отраслью языкознания...» — так писал Грот.

— Каково же мне, — говорил он любимой жене, — с моими любимыми Державиным и Сумароковым противостоять этим твердолобым «немцам», для которых русское прошлое и плевка не стоит? Почему в простом народе, в неграмотных бабах и темных мужиках я встречаю цельное и осмысленное понимание российского патриотизма, а эти... эти... видят в русском народе только рабов, видят в деревнях только квас да лапти!

Подвигом жизни Якова Карловича стало издание трудов Державина — вся эпоха его жития-бытия вдруг предстала в девяти гигантских томах, а последний том (тысяча страниц) стал заключительным аккордом, определившим величие времени, в

котором поэт жил, страдал, любил, ненавидел. Впритык к этим томам Грот поставил свое исследование о Пугачевском бунте, а изданием бумаг Екатерины II сделал завершающий мазок на великолепном полотне ее царствования... От жены он ничего не скрывал.

— Что бы там ни болтали о множестве ее фаворитов, но, отбросив альковые тайны, перед нами вырастает могучая фигура гениальной женщины, которая, будучи немкой, лучше иных русских понимала цели и задачи великого Российского государства...

Конечно, он, как скандинавист, не обошел своим вниманием и отношения Екатерины со шведским королем Густавом. Грот поведал русскому читателю и о судьбе Котошихина, которого эловещая судьба возвела на эшафот в Стоктольме. 1877 год стал для Грота значительным: в древней Упсале шведы отмечали 400-летие своего прославленного университета, и Яков Карлович на этом празднестве представлял в Упсале русскую науку. Съехалось немало гостей-ученых из всех стран Европы, но каково же было удивление многих, когда русский депутат произнес здравицу на добротном шведском языке, тут же переведя ее на божественную латынь, повторил сказанное на немецком, английском и французском. Шведский король Оскар II, сам историк и писатель, пригласил Грота в королевский дворец — поужинать.

- Не вы ли тот Грот, что перевел Эйленшлегера?
- Я, ваше величество.
- Тегнера не вы ли перевели на русский язык?
- Я, ваше величество.
- Выпьем! сказал король. У меня много русских друзей, а вас я хотел бы видеть почетным доктором в Упсале...

Близилась старость. Яков Карлович мало ел, зато много трудился, он был высок и худощав, при ходьбе усиленно взмахивал тростью, перед дамами издали скидывал цилиндр и почтительно кланялся, широким жестом одаривал пятаками швейцара, отворявшего перед ним двери в петербургские салоны, он любил анекдоты, но только те, в коих блистало остроумие персон века минувшего. Яков Карлович удивлял на улице прохожих своей шотландской бородкой, делавшей его похожим на шкипера парусных времен, которые выбривали лишь подбородок...

- Кто этот чудак? -- спрашивали прохожие.
- Этот? Стыдно не знать вице-президента Академии наук... Грот стал им за четыре года до смерти.

Русская наука высоко ценила трудолюбие Грота:

Нельзя сказать, читатель, чтобы Якова Карловича у нас совсем уж забыли; он благополучно уместился в томах советских энциклопедий, но русские историки упоминают о нем от случая к случаю (чаще, когда идет речь об опекушинском памятнике Пушкину). Как это ни странно, о нем лучше помнят эстонские ученые; я, например, с удовольствием ознакомился с монографиями Эйно Карху, который не скрывал больших заслуг Грота в старом сочетании двух соседствующих культур — финской и русской, русской и скандинавской. Это мне понятно. Но почему же мы, россияне, не издаем почтенных трудов Якова Карловича?...

Начинаю печальную страницу. Грот начал болеть є 1891 года, его часто знобило, он уже не сам просыпался, преисполнен-

ный энергии, а его будили домашние.

Обычная инфлюэнца, — говорил престарелый доктор
 Здекауэр. — Зачем лечиться? Он же совсем молодой человек...

Наталья Петровна все-таки уговорила мужа выехать для лечения за границу, и это не стоило ей большого труда, ибо Яков

Карлович боялся своего предстоящего юбилея:

— Осенью стукнет шестьдесят лет моих трудов, а знаешь, Наташенька, что говорят в таких случаях гости, которых я должен кормить и поить на банкете... Стоит ли мне сидеть, как дурак, и слушать о себе всякую похвальную ерунду? Лучше скрыться!

Грот вступал в последний год своей жизни.

Весною 1893 года он сам хотел бы пораньше уехать в рязанскую деревню, но умерло несколько академиков, и он, человек долга, считал для себя нужным остаться в столице, чтобы позаботиться о пенсиях осиротевших семей. Грот выезжал лишь в Царское Село ради прогулок в парке, и однажды, посетив старый лицей, он высказал перед женою свое отношение к критикам и завистникам, никак не отделяя зависть от критики, и Наталья Петровна, словно предчуя скорый его конец, тут же записала мужние слова, которые я привожу дословно.

— Скажи, — говорил ей Грот, — отчего у нас на Руси никакой серьезный труд не встречают с благоволением и не вызывает такой же серьезной и беспристрастной критики, как в других странах? Отчего у нас в России намеренно умалчивают о достоинствах труда, всегда стараясь выискать в них мелкие недостатки, неразлучные со всяким человеческим трудом, и почему эти мелкие досадные промахи критики выставляют наружу с каким-то особым, торжествующим злорадством?.. Кто же из нас может похвалиться абсолютным совершенством? Но, указывая на недостатки, нельзя замалчивать и явных достоинств...

Во время этой же прогулки он сказал жене:

— Напишу еще листа три, доведу до конца корректуры, и пора подумать об отдыхе... Натаща, не снять ли нам дачу?

24 мая Грот выглядел бодро, но потом его опять стало знобить. Наталья Петровна поставила ему градусник — он показал сорок градусов. Пришла замужняя дочь, и Грот сказал ей:

— Мама-то как волнуется! Но все пройдет. Как всегда...

Наступил вечер. Жена поставила ему горчичники, чтобы оттянуть жар. Грот, как писала она, «лежал спокойно, держа мою руку в своей, и нежно глядел на меня... На вопрос мой, не болит ли у него что, он отвечал, что ему лучше. Около восьми часов вечера он вдруг быстро приподнялся с подушек и крепко сжал мою руку — как бы от внезапной боли»:

- Спасибо тебе за все... спасибо... спаси...

«После чего он тихо опустился на подушки и продолжал глядеть на меня своими кроткими глазами, пока не закрыл их навеки!»

Это случилось 24 мая 1893 года — труд жизни был завершен.

«Да будет же память его незабвенна!» — этими словами жена заканчивала свой рассказ, а мне стало печально: почему ошибки человека у нас высекаются в камне, а его добрые дела пишутся прутиком на зыбком песке?

В СТОРОНЕ ОТ БОЛЬШОГО СВЕТА

В стороне от большого света, в захудалой деревушке Буйского уезда Костромской губернии летом 1883 года умирала одинокая и очень странная женщина. Подле нее находилась близкая ей кузина и, если верить ее описанию болезни, то больная страдала от приступов стенокардии (или «грудной жабы», как говорят в народе)...

Однажды, после очередного приступа, кузина услышала от

умиравшей трогательную просьбу:

— Заклинаю тебя всеми святыми — не пиши мою биографию и никому не рассказывай о моей постылой жизни. Сколько раз так бывало, что умрет человек, а потом на его могилу навалят с три короба всякого мусора, каждое слово переиначат на свой лад, каждую строчку вывернут наизнанку. Не было сла-

вы при жизни -- не нуждаюсь и в славе посмертной!

Она умерла, ее тихо отпели в деревенской церкви, под кровлей которой ворковали голуби, и не было лавровых венков, как не было и рыданий толпы — наследница нарвала цветов, посаженных еще по весне покойной, и этими цветами украсила скромные похороны. Через шесть лет кузина и наследница, разведенная с мужем, сильно нуждаясь, предложила стихи покойной в «Ярославские губернские ведомости». Газета опубликовала их в одном из номеров 1889 года. Наследница поэтессы, зная, что существует такое понятие, как «гонорар», явилась в редакцию, просила денег — хоть малую толику.

- Гонорар? весело удивились в редакции. Это не мы вам, а вы сами должны заплатить нам за то, что мы тиснули этот старомодный х л а м.
- Странно, сказала наследница, прослезившись. Стихи моей покойной кузины хвалил Белинский, о них горячо отзывался Добролюбов, а вы называете их «хламом».
- Времена изменились, да и читатель пошел иной, отвечали ей. Что могло нравиться вашим белинским и добролюбовым, то совсем не нужно современному поколению.

Сжалившись, ей все-таки выплатили три рубля, и женщина, униженно благодаря, покинула редакцию, невольно припомнив строчки, посмертно опубликованные в официозе губернии:

> Любовь усытию я, пока еще время холодной рукою Не вырвало чувство из трепетной груди, Любовь усытию я, покуда безумно своей клеветою Святыню ея не унизили люди...

Валериан Никандрович, капитан-лейтенант флота в отставке, не оставил даже царапины на скрижалях боевой славы флота российского, зато, когда поселился в своем Субботине под Ярославлем, он все переделал на флотский лад, сочтя усадьбу кораблем, пребывающим в долгом плавании. Звенела рында, чтобы вставали, по свистку старосты-боцмана дружно шагало стадо коров на выпас, а лакеи в доме Жадовского уже не ходили, как нормальные люди, а носились опрометью, словно матросы при срочном аврале, когда от постановки или уборки паруса зависит жизнь всего ошалевшего от ужаса экипажа...

В отличие от мужа его жена, Александра Ивановна, взятая Жадовским из культурной семьи Готовцевых, была женщиной тихой, сентиментальной: в 1821 году она вышла из Смольного института, оставив свое имя на «золотой доске» ученых девиц. Тайком от грозного повелителя она сочиняла печальные стихи, в его присутствии она боялась коснуться клавиш фортепиано. Беременность юной женщины совпала как раз с распоряжением мужа переделать в доме лестницы, которые показались ему чересчур пологими:

— Эдак-то мои лакеи совсем разленятся, а мне для их скорости необходима крутизна корабельных шторм-трапов...

Старый лакей, несущий господам самовар, пострадал первым, а потом упала и разбилась жена на середине беременности. 29 июня 1824 года она родила девочку, и домашние боялись показать ее матери. Ребенок оказался уродом. У него совсем не было левой руки, но возле плеча из тела торчали два пальца, а

на правой руке — только три пальца, один из которых не двигался. Но мать оставалась матерью, и, несчастная в браке, она расцеловала свою малютку:

— Пусть она станет гордою Юлией, и будет она моим утешением в этой жизни, которой я, увы, не радуюсь...

Юлия Жадовская еще от пеленок удивляла домашних ловкостью, с какой обходилась одной ручкой. Однажды ей захотелось варенья, и мать в ужасе увидела, что ее дитя подносит блюдце, схваченное пальцами... ноги. Отец соизволил заметить, что ему совсем не нужна дочь, которая пользуется ногами, словно обезьяна, и покорная мать наказала нянькам, чтобы Юленьку обували. Но даже в сапожках девочка помогала ногами своей единственной руке (и это свойство Жадовская сохранила на всю жизнь, особенно в женских рукоделиях).

Через год мадам Жадовская родила сына Павла* и, не вынеся тирании мужа, тихо угасла в скоротечной чахотке.

Из дома родителей девочку увезли в деревню Панфилово, где проживала ее бабушка Анастасия Петровна Готовцева; в усадьбе была старая библиотека дедушки, и Юленька впервые узнала о мудрецах «дяде Вольтере» и «дяде Руссо». Двенадцать лет Юлия провела в тишайшем Панфилове, зная только крестьян и дворню, книги и бабушку, а бабушка не мешала ей читать что вздумается, любившая, чтобы внучка развлекала ее чтением романов. Анастасия Петровна сознательно не учила ее писать, чтобы не травмировать девочку, у которой из кисти руки торчали три пальца. Но внучка сама освоила письмо, чем и порадовала бабушку:

— Умница ты моя! На-ка, поешь еще малинки...

В 1838 году Панфилово навестила Анна Ивановна Корнилова, дочь бабушки и сестра Юлиной матери. Это была шумливая высокообразованная женщина, печатавшая свои стихи и статьи в «Сыне Отечества», в «Московском телеграфе» и прочих солидных журналах. Племяннице она заявила:

 Дикарка! Прежде чтения на сон грядущий Экарсттаузена тебе надобно осилить французский язык... Забираю тебя!

Тетка увезла ее с собою, и за один год Юлия прекрасно освоила не только французский, но познала историю, географию, математику. В доме Корниловых ей было очень хорошо, а девочка уже стала казаться девушкой. Если бы не это врожденное уродство, наверное, Юлию Жадовскую сочли бы даже очень и очень миленькой: она развилась в грациозную шатенку, лицо имело нежный оттенок, голос был сочный, волнующий, а когда

П. В. Жадовский (1825—1891) — впоследствии кадровый офицер армии, поэт и военный писатель, автор многих книг, одна из которых была конфискована цензурой.

перед зеркалом ей расчесывали волосы, они касались ее колен... В доме Корниловых как-то уже расходились по спальням, когда со двора вдруг брякнул колокольчик...

Господи, кого там несет на ночь глядя?...

Это нагрянул отец, вдруг припомнивший, что его дочери скоро 16 лет, и уже пора ей «браться за ум». Неукоснительным тоном, каким на кораблях командуют «Пошел все вантам!», он сказал, что обо всем уже договорился... Где? — Конечно, в Костроме. — С кем? — Ясно, что с мадам Прево де Люмьен, что содержит пансион для благородных девиц.

- Во-во! сразу вмешалась тетка Корнилова. Там, в этом пансионе, свора дураков учит будущих дурех, и...
 - Я своих приказов не отменяю. Собирайся!

Звякнул колокольчик, кони понеслись, и вот она, Кострома, и вот он, пансион мадам Прево де Люмьен, где полно дур и дураков. Здесь Юлия Жадовская испуталась, что и сама станет «дурочкой». Рутина в пансионе царила страшная, девицы, что сидели второй год, не знали даже того, что Юлия узнала еще от бабушки, а педагоги не могли понять, почему девица Жадовская знает больше их, педагогов. Честнее всех оказался словесник Акатов, который заявил, что учить Юлию — только портить. Но именно здесь, в пансионе, Юлия Жадовская сочинила стихотворение... первое. Самое первое!

Читатель и друг, задержим внимание на пропавшем в бесславии Александре Федоровиче Акатове — это необходимо.

Сей Акатов, не ко сну будь помянут, был ярко выраженным графоманом с манией величия, присущей всем ему подобным. Он верил, что его стихи перевернут весь мир вверх тормашками. Но, еще не став поэтом, Акатов сочинил научный трактат «Поэзия», в котором поучал глупцов — как следует писать стихи, чтобы стать великими. Освободив Жадовскую от постижения причастий и деепричастий, он заставил ее наизусть вызубрить свой трактат, начинавшийся такой фразой: «Поэзия есть выражение и дивный отголосок души и чувства».

- Мадемуазель Жадовская, вы разве несогласны?
- Не знаю, Александр Федорович, что тут еще добавить?
 Теперь... сознавайтесь: вы пишете стихи? Жадовская
- Теперь... сознавайтесь: вы пишете стихи? Жадовская покраснела и, потупив взор, созналась, что грешна. А-а, радостно завопил Акатов, попались мне... читайте!

Как прекрасен Божий мир!.. День похож на чудный пир. Вся природа торжествует, Птичек хор весной ликует...

Боже, что тут сталось с Акатовым: его корежило от хохота,

он падал со стула, готовый убить ее за бездарность, он издевался над ней, а она... Юлия Жадовская хохотала заодно с Акатовым. Совершенно лишенная мелочного тщеславия, девушка заливалась смехом — так, словно не она, а кто-то другой корпел над этими жалкими стихами. С тех пор их связывала нерушимая и нежная дружба: она, поэтесса, писала стихи, а он, критик, уничтожал их. Эта «дружба» завершилась вмешательством папеньки, который отзывал ее в Ярославль, где он состоял чиновником особых поручений при тамошнем губернаторе.

Встретив дочь, отец указал ей — заканчивать гимназию. Кроткая, она не возражала. Но в гимназии Ярославля ее сразу же обвинили в незнании именно грамматики.

- Я знаю ее, робко отвечала Юлия.
- Кто внушил вам эту крамольную мысль?
- Костромской учитель Акатов...

Ей посоветовали, чтобы отец нанял репетитора.

День его появления в доме Жадовских запомнился на всю жизнь, и этот день она унесла с собою в могилу.

Петр Миронович Перевлесский — так его звали.

Сын захудалого дьячка, он, живя на гроши, окончил Московский университет, стал преподавателем в гимназии, ему прочили блистательную карьеру. Бог с ней, с этой карьерой, но... до чего же красив! Юленька опустила глаза и весь урок не поднимала их на учителя. Это была любовь с первого взгляда. Но, отдавшись чувству, она вдруг стала писать хорошие стихи, и сама ощутила, что любовь изменила ее стихи, ставшие просто хорошими. Наконец, она засела за немецкий язык и скоро переводила Гёте и Гейне... Кажется, учитель начал видеть в Юленьке не только свою ученицу. Однажды он сказал, что граф Строганов, попечитель Московского учебного округа, усиленно переманивает его в Москову.

— А как же я? — вырвалось из души Юлии; она поняла, что проговорилась, тихо добавив: — Как же наша грамматика?

Перевлесский все понял, но ничего не сказал; оба они лелеяли свои чувства в невинности, счастливые даже от сознания, что видят один другого, и никто не мещает им наслаждаться... хотя бы в изучении грамматики! Между тем Петр Миронович, ничего не сказав Юлии, отослал два ее стихотворения в Москву, где они и были напечатаны в «Москвитянине», а критика отозвалась о них с похвалой. Юленька растерялась:

- Это сделали... вы? Сознайтесь вы?
- Нет, это сделали вы сами. А я вас поздравляю...

Увидев имя дочери в печати, Валериан Никандрович был в этот день столь добр, что даже оставил Перевлесского поужинать в своем доме. Наконец молодые люди объяснились — именно

в тот день, когда выяснилось, что граф Строганов отзывает Перевлесского в Москву, обещая повышение.

Что скажет отец? — путалась Юленька.

- Он скажет, чтобы мы всегда были счастливы...

Отец, как только увидел их счастливые лица, сразу обо всем догадался. Он, которому прочат место заседателя гражданской палаты, он... он... и чтобы сын дьячка?!

— Убирайся вон прочь, скнипа! — закричал он на учителя, посинев от ярости, топая ногами, чубуком размахивая. — Вон, нечестивец! Клякса чернильная, синтаксис с орфографией... чтобы ноги твоей здесь больше никогда не было!

Перевлесский пошатнулся и, почти падая от унижения, вышел. Юлия долго-долго стояла, безмолвна и недвижима, даже не плача. Потом протянула к отцу свою единственную руку, на которой оттопырилось всего три пальца.

- Папа, а как же я? Обо мне ты подумал ли?

— Дочь моя, разве не хочу я добра тебе?

— Вижу! Посмотри, каким уродом я предстаю перед людьми, это ведь я— твоя дочь, ты меня такой сделал... Кому я нужна в этом свете? Нашелся человек, который полюбил меня, а я его полюбила, и даже теперь ты отнял мое счастье...

Длинным чубуком Жадовский указал на дверь:

— Убрался... туда ему и дорога!

— Как ты можешь, отец?

— Приведи мне кого угодно, хоть старого или нищего, но только дворянина! И не забывай, кто такие мы, Жадовские...

...Петр Миронович Перевлесский умер действительным статским советником, профессором Александровского лицея, автором множества учебников по российской словесности и правописанию. Юлия Жадовская никогда не изменила первой любви, и эта любовь так и ушла вместе с нею — в могилу.

Кажется, отец и сам был не рад тому, что он натворил, разорвав сердца молодых, — Юлия замкнулась в себе, и только однажды из груди ее вырвался почти истошный крик:

- Отец, да пожалей ты меня...

Не пожалел. Хотел жалеть и — не мог!

Постепенно имя Юлии Жадовской становилось известно. Где-то там, в ином мире, нашлись добрые люди, уже хлопотали об издании сборника ее стихов, приехал в Ярославль известный тогда переводчик Михаил Вронченко, брат министра финансов, внушал отцу, что нельзя же томить дочь взаперти, грешно командовать поэтессе, чтобы гасила в комнате лампу ровно за час до полуночи, наконец, она уже не принадлежит сама себе — ее должны видеть в столицах... Что бы ни говорили о

ней, Юлия оставалась равнодушна к людским похвалам, все «написанное никак не могло удовлетворить ее, все лестные отзывы людей компетентных в литературе она считала снисхождением и каким-то особенным счастием, которого она не заслуживала». Отец не раз слышал от дочери:

— Меня просто жалеют по причине моего уродства, как пожалели бы, наверное, и собаку с перешибленной лапой...

Появляться в обществе она даже страшилась. Если в Костроме или Ярославле она, чувствуя себя «дома», как-то забывала о своем убожестве, то смелости показаться в столицах не хватало. Отец все-таки вытащил ее в большой литературный мир, и все оказалось не так уж страшно, как раньше ей думалось. «Всех интересовала эта молоденькая девушка с таким кротким смиренным видом и, вместе с тем, с таким серьезным взглядом на жизнь, искусство и науки...»

Как измерить доброту и деликатность людей, которые в Москве и Петербурге привечали ее, которые целовали даже культяпку ее руки с таким же благоговением, как и благоуханные, балованные руки светских красавиц! А какие имена, читатель! Тургенев, Некрасов, князь Вяземский, Хомяков, Загоскин, Аксаковы, Погодин, Дружинин... Нет, Жадовская не имела широкой известности, какой обладали все эти люди. Если ее и знали в обществе, так даже не имя Жадовской, а лишь слова ее стихов, уже переложенных на музыку романсов: «Ты скоро меня позабудешь,» «Не зови ты меня бесстрастной», «Я все еще его, безумная, люблю».

Иногда она пренебрегала рифмой, столь насущной для поэзии, а от «белого стиха» незаметно для себя перешла к прозе, и первая ее повесть стала мучительной исповедью о разбитой любви, а потом вышел в свет и роман «В стороне от большого света» — опять о себе, и героине романа Жадовской, юной дворянке, элые люди не давали любить бедного разночинца-учителя. Иначе и быть не могло, а между тем Жадовскую оглушали звуки роялей в светских салонах и звоны гитар в провинции, больно ранивших сердце ее же собственными словами: «Я все

еще его, безумная, люблю...» Да, она любила!

А здоровья не дал ей Бог, и вскоре Жадовская стала прихварывать. Два летних сезона она провела в Гапсале близ моря, но курортная жизнь мало помогла женщине. И вскоре она решила вернуться в Ярославль, памятуя, очевидно, что «дома и солома едома». Отец состарился, но еще хорохорился, похваляясь своей быстрой карьерой при губернаторе, и Юлия Валериановна снова попала под невыносимый гнет его деспотической натуры. В эти годы что-то надломилось в женщине, раз и навсегда, и когда Достоевский просил у нее новую повесть для «Времени», Юлия Валериановна прислала «Женскую историю», которая прошла незамеченной, как и вторая повесть «Отсталая». Болезнь, угнетавшая ее, и невнимание критики, охладевшей к ней, стали причиной тому, что она вдруг замолчала, страдающая в своем провинциальном одиночестве...

Был уже 1862 год. Лечил ее старый ярославский доктор Карл Богданович Севен, обрусевший немец-романтик, способный рыдать над увядшею розой. Юлия Жадовская привыкла к нему, считая Севена почти родным человеком, и была удивлена, когда в один день он поднес ей цветы, предложив свою руку и сердце. Слова старого холостяка были трогательны.

— Я не прошу у вас любви, — сказал он, — и было бы нелепо, если бы вы от меня, старого человека, требовали юношеской пылкости. Я делаю вам предложение — как человек человеку, и пусть наши одинокие сердца согревают чувства большого
добра и уважения одного к другому. Поймите меня...

Юлия Жадовская поняла, что старый добряк желает избавить ее от деспотии отца, и согласием отозвалась на эти слова.

— Благодарю вас, Карл Богданович, — сказала она...

Они обвенчались, но отца в церкви уже не было: разбитый параличом, он был уже близок к смерти. Но, принимая ухаживания дочери, он по-прежнему отдавал команды — как надо жить, когда гасить свет, кого пускать, а кого и гнать в три шеи. Валериан Никандрович, был, конечно, жалок в такие моменты, все люди давно покинули его, всеми забытый, он лежал в постели, развороченной, словно цыганский рыдван. И только она, его дочь, которую он так безжалостно тиранил, оставалась при нем, верная и заботливая...

Перед смертью отец не выдержал — разрыдался:

— Прости! — крикнул он дочери. — Прости меня, подлеца, что сделал тебя несчастной... не хотел, видит Бог, не хотел! Я был несправедлив к тебе, и не потому ли всевышний и наказывает меня столь жестоко? Если можешь — прости...

После его смерти Юлия Валериановна продала дом в Ярославле и на вырученные деньги купила небольшое именьице в семи верстах от уездного Буя, где природа напомнила ей те самые места, где прошло ее детство под надзором бабушки, где впервые с полок книжных шкафов дедушки ей горько усмехнулся «дядя Вольтер», где ее сурово поучал «дядя Руссо»...

Карл Богданович Севен, воспитанный на выспренности поэзии Клопштока, поклонник Гёте и Шиллера, боготворил свою жену, считая себя самым счастливым мужем на свете.

— Сударыня, — старомодно раскланивался он перед нею, —

я счастлив иметь вас своею супругой, для имени которой уже уготовано место в грандиозных анналах истории...

За два года до своей кончины она потеряла Карла Богдановича, отдавшись разведению цветов с такою же страстью, с какой когда-то сочиняла стихи...

Впереди ничего уже не было.

Впереди была только смерть, и она пришла к ней, почти спасительная, ибо «в стороне от большого света» Жадовская сделала все, что могла, а чего не могла — того и не делала.

Вспомним же ее! Вспомним и... не забудем.



АВТОГРАФ ПОД ОБЛАКАМИ

Алексей Николаевич Оленин проживал в особняке на Гагаринской набережной; в широких окнах его квартиры сверкала Нева, по ней скользили лодки под парусами, открывалась панорама заречного Петербурга с его академиями и Петропавловской крепостью; собор же этой крепости устремлял в студеные небеса свой золоченый шпиль, венчанный под самыми облаками фигурой крылатого ангела, который осенял крестом «северную Пальмиру» великого Российского государства.

Была ветреная осень 1830 года, и недавняя буря надломила поднебесного ангела, он как бы склонился над пропастью, и снизу людям даже казалось, что еще порыв ветра — и ангел выронит свой крест, лишив город Божьего благословения. В один из таких дней, восстав ото сна и позевывая, Оленин глянул в

окно и... обомлел!

- Быть того не может, - сказал он себе.

По острию крепостного шпица, воздетого над Петербургом подобно шпаге, лезла вверх какая-то букашка — так показалось Оленину спросонья. Но тут же он понял, что таких «букашек» быть в природе не может — это стремился вверх человек, прилегавший к окружности шпица, которую он и огибал по спирали, поднимаясь все выше и выше — под самые облака, что летели почти на уровне того же ангела, склонявшего свой крест над столицей. Оленин крикнул комнатного лакея:

- Илья, ну-кось, тащи сюда телескоп с треногой, тот са-

мый, чрез который я на звезды гляжу, когда не спится.

В оптике телескопа возникла фигура босого мужика, который каким-то образом висел над бездною, цепляясь за что-то невидимое, и Оленину было совсем уж невдомек, что же именно удерживало его на гладкой поверхности шпица... Что?

 Мне худо, — сказал Алексей Николаевич, хватаясь за сердце. — Илья, стукотни-ка в спальню Лизаветы Марковны, пусть

придет и глянет... Уж не снится ль мне все это?

Явилась заспанная жена, глянула в телескоп и отщатнулась.
— Сусе-Христе! — воскликнула она. — Свят-свят, с нами

святые угодники... Нешто ж он духом Божьим возносится?..

Наступил декабрь, ангел на острие шпица уже выпрямился, удерживая крест над столицей как надо, когда Оленина навестил художник и археолог Феденька Солнцев (будущий академик). Оленина он застал каким-то не в меру озабоченным.

— Что гнетет ваше превосходительство? — спросил он.

— Ах, милый! — отвечал Оленин. — Угнетает меня постыдное равнодушие людское... Все ждал, когда же наши писатели почтут подвиг верхолаза в тазетах либо в журналах. Нет, молчат, занятые всяким вздором, славы суетной поделить меж собой не в силах, а писать — так нет их... Придется мне, тайному советнику и президенту академическому, самому вострить перо, дабы писать о мужике, что презрел страх, возвеличась надо всеми мирскими делами геройством подлинным. Начну! Не мешай мне теперь...

Столица содержалась в образцовом порядке. После каждого дождя в тех местах, где на улицах застаивались лужи, полиция вбивала колышки, отмечая, где надобно чинить мостовые, оттого-то все улицы Петербурга были ровные, без выбоин и вмятин. Конечно, при таком рачительном порядке один лишь вид падающего ангела вызвал недовольство императора. Нашлось немало подрядчиков, готовых отремонтировать ангела, и самто ремонт его стоил гроши, но зато страшно дорого оценивали подрядчики строительство лесов, чтобы по этим лесам могли подняться рабочие. Почти 60 сажен (122 метра) отпугивали многих.

Николай I спрашивал князя Волконского, министра двора:

- И сколько же просят подрядчики на возведение лесов?

- Тысяч десять, а то и более, ваше величество.

— Откуда взять нам такие деньги? — огорчился император...

Тут в канцелярии дворцового ведомства появился казенный, а не крепостной крестьянин-ярославец; назвался он Петром Телушкиным, кровельных дел мастером, онучи на нем были

чистые, рубашка стирана, он сказал, что по крышам налазался, сам непьющий и холостой, невесты у него «нетути».

- А коли обозлюсь, так враз тринадцать пудов вздымаю.
- Так чего тебе от нас надобно? спросили чиновники.
- Слыхивал, что ангел столичный в починке нуждаться стал, вот и желаю его поправить, чтобы он не вихлялся.
 - Эге! Сколь же ты за возведение лесов просишь?
- А лесов и не надобно. Вы, люди конторские, шибко грамотные, сами и подсчитайте, во сколько починка обойдется.

Было уже подсчитано, что ремонт самого ангела с крестом будет стоить казне 1471 рубль, и, естественно, спросили:

- А ты, мастер, сколько заработать желаешь?
- На то воля ваша, отвечал Телушкин. Сколь дадите и ладно! Я вить непьющий, потому многого от вас не прошу.

Условились. Телушкин собрался было уходить, но тут явился сам министр двора князь П. М. Волконский.

— Эй, эй! — придержал он кровельщика. — Ты нас за носто не вздумай водить. Как же ты, дурья башка, без лесов под самые облака заберешься?

Телушкин приосанился, отвечая с достоинством:

— А вот это уж моя забота... Я вить в ваши дела не лезу, и вы в мои не лезьте... В кровельных делах особое понимание нужно, чтобы высоты не пужаться, а коли спужался — каюк!

Прослышав об этом сговоре в самых высших инстанциях, подрядчики стали над Телушкиным всячески изгаляться, считая его «ошалевшим», нашлись средь них и такие, которые требовали, чтобы упрятали его в дом для поврежденных в уме:

— Вот посидит там годик, другой — и умнее станет! Мы тоже не с печки свалились и понимаем, что человек, слава те Господи, еще не муха, чтобы по стенкам ногами бегать...

Не было тогда альпинистов, не было и той техники, с какою ныне мастера спорта штурмуют вертикальные утесы. Петр Телушкин — всего-навсего кровельщик! — понимал, что рискует головой, и прежде, чем лезть, кумекал — что и как? Внутри, оказывается, были стропила из дерева, а в самой обшивке шпица открывались наружу два люка-окошка, через которые можно выбраться на поверхность шпица. Но сам-то шпиц имел форму иглы, которая чем выше, тем более сужалась, и там, на смертельной высоте, уже не было изнутри стропил, не было и окошек — вот и достигай вершины как хочешь и как умеешь.

— Надо думать, — внушал себе Телушкин...

Сам же шпиц венчался большим круглым «яблоком», поверх которого и был укреплен ангел с крестом, и вот как преодолеть это «яблоко», от самого низа его на вершину выбрав-

шись, чтобы к ангелу дотянуться, — тоже задача непосильная. Да, порою и жаль, что человек не умеет ходить вниз головою.

Думай, Петрушка, думай, — говорил себе Телушкин...

Все продумав заранее, он начал свое восхождение. С утра пораньше Телушкин — внутри шпища — долго карабкался наверх по стропилам, и по мере того, как шпиц суживался, эти стропила становились столь тесны, что, протискиваясь между балок, Телушкин остался в одной рубахе, а сапоги он скинул еще заранее. Так, ужом протискиваясь между перекладин и связей внутри шпица, кровельщик добрался до первого окошка и, выглянув из него, увидел, что на площади перед собором крепости уже мельтешил народ, желая видеть смельчака, а ему все люди казались с высоты мал мала меньше...

Ну, что ж. Пора выбираться из этого окошка наружу. Выбираться — к у д а? В пустоту? Прямо в пропасть?

Внизу разом ахнула толпа горожан, когда Телушкин вдруг оказался висящим на медной общивке шпица, и этот единый вздох коснулся кровельщика — как всеобщий стон ужаса...

Не в этот ли момент и разглядел его Алексей Николаевич

Оленин, принявший поначалу Телушкина за «букашку»?

Шпиц собора Петропавловской крепости только от земли кажется круглым, как веретено, — на самом же деле он составлен из 16 граней, собранный из медных полос, которые в стыках своих по вертикали спаяны воедино ребрами-фальцами, выступающими на два вершка от поверхности шпица. На уровне первого окошка фальцы отстояли один от другого на длину полного размаха рук взрослого человека. Пора...

Господи, благослови, — было, наверное, сказано.

Опоясанный веревкой, которая тянулась за ним из окошка, а конец ее был закреплен внутри шпища, Телушкин, широко раскинув руки, ухватился за эти выступы концами своих пальцев. Теперь он висел, а пяткам его ног опоры никакой не было, — повторяю, что кровельщик висел на силе своих пальцев. Но потом, оторвав правую руку (и в момент отрыва он висел на пальцах только левой руки), Телушкин уцепился за выступ фальца двумя кистями, толчок ногой от первого фальца — и тело получило наклон влево, а левая рука, доверившись силе правой, вцепилась в следующий фальц, и так-то вот, раз за разом, шестнадцать раз подряд повисая над бездной, уже кровоточа пальцами, Телушкин начал огибать шпиц по кругу, а за ним из окошка тянулась веревка.

Кровь из-под ногтей, а в глазах зеленые круги!

- Господи, не оставь меня, грешного...

Тут и не захочешь, да взмолишься. Телушкин не просто

«обвивал» веревкою шпиц по кругу, он ведь, двигаясь слева направо, еще подтягивался на руках, поднимаясь снизу вверх, дабы обвить пластины шпица выше окошка, из которого вылез. Веревка уже не держала его — она лишь тянулась за ним, окружая шестнадцатигранник шпица, и все эти 16 граней, отмеченных кровью смельчака, Телушкин перебрал в своих пальцах, как мы, читатель, перебираем страницы читаемой книги.

Вот пишу я все это, а порою сам ужасаюсь при мысли — какой же силой и ловкостью надо было ему обладать, чтобы висеть, расставив руки и ноги, одними лишь пальцами удерживая себя без опоры для ног на вертикальных складках медных листов, что уводили его на высоту птичьего полета. Не знаю, читатель, а мне поневоле становится жутко...

До него, конечно, не долетали голоса людей, что толпились внизу, задрав головы в поднебесье, и толпа любопытных горожан росла, а разговоры в толпе... обычно, как и водится:

- Не, я бы не полез, говорил разносчик с корзиной на голове. Ни в жисть! Хоть ты озолоти меня.
- Верно говорит молодой. От хорошей жизни рази станешь туды залазить? Это все от грехов наших, православные.
 - Да и де ты, старче, грехи наши видывал?
 - А эвон ангел-то! Скособочился от грехов наших.
- А по мне, слышалось из толпы, так я бы полез с великим удовольствием. Но допреж сего, чтобы ничего не помнить, я просил бы от обчества, чтобы мне ведро поставили.
- Оно и верно! соглашались иные. Тут без выпивки дело не обощлось. Разве трезвый человек в эку высь заберется?
- Эх вы... неучи! сказал некто в купеческой чуйке. Вам бы тока глаза залить, геройства без водки не понимаете.
 - А ты рази умнее всех и сам-то понимаешь ли?
- Вестимо! Кровельщику-то энтому царь-батюшка мильен посулил вот ён и старается, чтобы всю остатнюю жисть жена его не пилила оттого, что денег в доме нету.
- Оно, пожалуй, и верно, согласился плотник с топором за поясом. За одну-то выпивку какой дурак полезет? Тут особый смысл нужен, чтобы и себя не забывать...
 - Гляди, гляди! Он-то, кажись, возвращается.

Телушкин уже «опоясал» шпиль веревкою и чуть было не сорвался с высоты, когда протискивался обратно в окошко, а там, внутри шпиля, кровельщик на время даже потерял сознание, провиснув телом между стропил. Очнулся и понял — главное сделано, можно вернуться на землю. Толпа перед ним почтительно расступилась, а убогая старушка даже заплакала, Телушкина жалеючи:

 Родименький ты наш! Нешто тебе, босому-то да без рукавиц, не зябко тамотко? Ведь простынешь, миленький.

— Мне рукавиц не надобно, — отвечал Телушкин. — Меня,

бабушка, мозоли греют... Гляди, во какие!

На следующий день начатое продолжил, отдыха себе законного не давая, — взялся за гуж, так не говори, что не дюж. Теперь вроде бы полегчало, ибо шпиль, опоясанный веревкою, уже имел опору; это веревочное кольцо, удерживавшее кровельщика, Телушкин — по мере продвижения в высоту стягивал все уже и уже, а сама высота его не путала, ибо он сызмальства привык лазать по крышам, и глядеть на мир сверху вниз с детства было привычно. Наконец, Телушкину даже повезло.

— Судьба-то ишо улыбки строит, — смеялся он...

На середине шпиля он разглядел крючья, торчавшие из медной обшивки, которых ранее не приметил. Крючья торчали в ряд, один выше другого, и Телушкин решил, что стоит подумать:

— Завтрева я и до вас доберусь...

За ночь кровельщик свил из веревок длинные петли, и когда добрался до этих крючьев, то привязывал себя к ним, а сами петли служили ему «стременами», в которые он продевал ступни ног, и сразу стало легче. Пожалуй, стало ему и страшнее, ибо кровельщик приближался к «яблоку» шпиля, а этот массивный шар (величиной в четыре аршина) уже нависал над ним, словно потолок, скрывая собою и ангела с крестом, снизу совсем невидимых... Телушкин был уже близок к достижению «яблока», и тут он заметил, что конец шпиля качается, словно корабельная мачта в бурю, а сам он тоже качается, будто муравей, ползущий вверх по былинке.

— Не, — решил Телушкин, оглядывая сверкающий золотом шар, что самым роковым образом нависал над ним, грозя расстроить все его планы, — сей день погожу, лучше уж завтрева...

Приют и ночлег он сыскал себе в артели столичных кровельщиков, и они из лучших побуждений подносили ему стаканчик:

— Ты ж, Петька, ажно посинел... выпей; обогрейся душой.

— Ни-ни, — отвечал им Телушкин, — я отродясь винища не пробовал, а в таком деле, какое начал, мне и глядеть-то на вино опасно... Вы уж сами-то пейте, а я погляжу на вас...

Третий день стал для него самым страшным, и тут душа сама по себе в пятки ушла. На высоте, доступной только птицам, качаясь наверху шпиля, Телушкин висел под этим громадным «яблоком», которым шпиль заканчивался, а надо было

выбраться на верхушку «яблока», чтобы чинить бедного ангела. К а к? Как ему, висящему на веревке под низом «яблока», перебросить конец веревки, чтобы зацепиться за ноги самого ангела? Это так же немыслимо, как если бы человек, забравшийся под стол, вдруг пожелал бы забросить на стол свою, допустим, шляпу! Телушкин нашел выход, и это был выход единственный, но самоубийственный.

— Помогай мне Бог, — сказал он, — я думаю.

Следовало свершить нечто такое, на что не всегда способны и самые ловкие акробаты под куполом цирка: оторваться от шпиля, чтобы обрести пространство, необходимое для размаха руки с концом веревки. Сначала он привязал себя за ступни ног возле лодыжек, а потом, перехватив себя в поясе другим концом, свершил невозможное — откачнулся от шпиля и... повис в лежачем положении над бездной, наконец-то разглядев над собой даже крыло ангела. Моток веревки был наготове, и этот моток он стал бросать и бросать вверх, ожидая того момента, когда конец веревки, обхватив ангела за ноги, вернется ему в руки...

Сильный порыв ветра, скомкав веревку, вдруг обвил ее возле подножия креста и тут же вернул ее конец в руки кровельщика. Теперь — пан или пропал! Уже измотанный до предела, едино лишь силою мускулов Телушкин обязан был подтянуться по веревке, чтобы выбраться на верхушку «яблока», и он, уже страдающий от бессилия, почти готовый сорваться в бездну, под ним распростертую, все-таки вырос вровень с небесным ангелом, которого тут же обнял по-братски, а сам... заплакал.

- Верить ли мне, Господи? Никак осилил?..

В этот момент видел он вдали большое море, видел и деревни окрестные, в кущах парков белели усадьбы. А под ним, гдето очень далеко, копился народ — крохотные точки людей, и от самой земли люди увидели Телушкина, стоящего в обнимку с ангелом: и тогда в поднебесье им было услышано всенародное «ура», а может, кровельщику только показалось, что он слышит именно то, чего и хотелось услышать...

...Только теперь Оленин оторвался от трубы телескопа.

— Илья, — сказал он лакею, — ты как хочешь, но хоть изпод земли достань мне этого Телушкина, а ты, Феденька, — сказал он потом Солнцеву, — ты сделаешь рисунок восхождения Телушкина от земли до ангела, чтобы всякий мог увидеть, как он возвышался и как достиг высот поднебесных. Такие случаи непременно следует хранить для потомства...

Три дня подряд длилось восхождение Телушкина к высотам его славы, а потом до самого декабря он трудился, ремонтируя

обветшалые крылья ангела, выравнивая крест, чтобы не шатался. Теперь было легче, ибо на вершину «яблока» кровельщик поднимался по веревочной лесенке, спущенной с высоты до самого окошка.

Наконец, когда трудная и полная опасности работа была закончена, Оленин пожелал видеть смельчака-кровельщика у себя во дворце.

Алексей Николаевич встретил Телушкина ласково, не знал куда посадить дорогого гостя, он, тайный советник, расцело-

вал его, обнимая.

— А теперь, сударь, рассказывай, а я слушать тебя стану. Вот и Федя Солнцев, мой приятель, он тоже из крестьян, ныне художник, рисовать станет — с твоих слов же, братец. Я ведь глаз с тебя не сводил, за тобой все эти дни наблюдая, а теперь желаю брошюру писать о геройстве твоем, дабы ведали потомки православных, что и допрежь них люди русские чудеса вершили...

Николай I тоже изъявил желание видеть мастера, но для визита в Зимний Дворец он готов не был, ибо с одежонкой у Телушкина не все было в порядке. Артельщики принарядили своего собрата в чуйку с чужого плеча, которая, слава Богу, заплатками не красовалась. Император тоже облобызал Телушкина.

- Хвалю! Но... как нам, братец, работу твою проверить?

— Так это легко, — с умом отвечал кровельщик. — Эвон у вас министров-то сколько! Выберите, какого не очень вам жал-ко, и пошлите туда, куда я забрался, и пусть он вам доложит.

Николай I расхохотался и, высмотрев в сонме придворных министра финансов, уже скрюченного годами, гаркнул в его

сторону:

— Это ты, граф Канкрин, не давал денег на строительство лесов, вот тебя и пошлю под облака... для ревизии. А ты, Телушкин, молодец, — сказал он потом кровельщику. — Под тем ангелом, коего починил ты, усыпальница дома Романовых, а посему и награжу тебя по-царски, останешься доволен...

Он указал Канкрину выдать кровельщику тысячу рублей, дал ему кафтан и золотую медаль для ношения поверх кафтана,

потом поднес мастеру именную чашу.

— С этой чаркой, — сказал царь, — ты можешь заходить в любой кабак, а все кабатчики, глянув на этот вот штамп, обязаны наливать тебе чарку доверху, платы с тебя не требуя, и ты теперь пей за счет казны — сколько душа твоя пожелает...

Спасибо! Но лучше бы он этой чаркой не награждал, ибо

вино дармовое слишком дорого обходится людям.

Оленин сдержал слово, описав подвиг Телушкина в журна-

ле «Сын Отечества», его статья вышла потом отдельной брошюрой, украшенная рисунками Федора Солнцева, — эта статья лежит сейчас на моем столе, подле солидной «Панорамы С.-Петербурга» Александра Башуцкого, который по свежим следам событий не забыл представить и Телушкина. Как бы то ни было, но об удивительной храбрости русского кровельщика скоро узнали в Европе, там тоже писали о нем с восхищением, — и так-то вот, совсем неожиданно, ярославский крестьянин обрел большую славу.

Как выглядел Петр Телушкин? Об этом гадать не стоит — его портрет сохранился. У нас все знают хрестоматийный фрагмент обширного полотна братьев Чернецовых ₄Парад на Марсовом поле в 1831 году», где представлена группа четырех поэтов: Пушкина, Жуковского, Крылова и Гнедича. Всю же картину Чернецовых у нас не публикуют, но именно на этом обширном полотне нашлось место и для помещения в толпе Петра Телушкина — как знаменитости тогдашней столицы. Отдельный же этюд к портрету его ныне хранится в запасниках Третьяковской галереи...

Согласитесь, не так-то легко ярославскому парню попасть в число избранных знаменитостей столицы. Да, Телушкин прославился, его завалили заказами на работы по исправлению высотных колоколен, он чинил купола старинных храмов и «в тот же год получил от разных лиц работы на сумму около 300 000 рублей», — так писал о нем Солнцев, которому можно верить.

Ох, чувствую, нелегко мне будет продолжать далее!

На беду свою Петр Телушкин влюбился в крестьянскую девицу, казалось бы, ну что тут худого? А худое-то и случилось.

Была она не барышней, а крепостною помещика, и этот барин, чтоб его собаки заели, уже прослышал о немалом богатстве кровельщика. Стал он вымогать откупные за девицу и просил деньги немалые. Телушкин-то согласен был платить, но помещик, язви его душу, с каждым днем все более заламывал цену за свободу невесты, и ведь такой наглец, что даже стыдил Телушкина:

— Плохо ты, мастер, любишь мою Настасью, коли любил как надобно, так не пожалел бы и рубаху последнюю снять с себя. Вот дай тысяч полтораста за девку — и... разве я что худого о ней скажу? Девка-то, гляди, будто павушка, лебедушкой плавает, а ты деньги свои отдать за нее не хочешь...

Теперь он за Настасью столько просил, что, отдай Телушкин откупные, сам бы по миру пошел побираться. Вот тогда о прилавок сельского трактира гневно застучала царская чаша:

- Эхма! Наливай, чтобы горя не ведать...

19 Заказ 23 577

Как запил, так уж больше от этой чары, царем подаренной, не отрывался, только успевай наливать, и года не прошло после этого случая, как Петра Телушкина больше не стало; осенью 1833 года он умер от безумного пьянства...

...Подвиг жизни его был дважды повторен нашими альпинистами: в 1941 году, когда началась война и потребовалось надеть чехлы на сверкающий золотом шпиль Петропавловского собора, чтобы не служил для врагов ориентиром, и вторично в 1944 году, когда блокада Ленинграда закончилась, и шпиль уже не нуждался в маскировочных чехлах, которые альпинисты и сняли. А на самом верху шпиля альпинисты нечаянно обнаружили «следы» Телушкина, который оставил там свою подпись, значит, был наш кровельщик человеком грамотным.

РТУТНЫЙ КОРОЛЬ РОССИИ

В 1868 году научный мир Европы испытал нервное потрясение: в знаменитой лейпцигской фирме братьев Брокгаузов случился пожар, истребивший немало трудов ученых, уже готовых для типографского набора. Тогда же в поезде, идущем в Берлин, франтоватый молодой господин с элегантной бородкой встретил горько плакавшего старика. Успокоившись, тот сказал, что его слезы всегда можно понять, а тем более простить их:

— Заодно уж представлюсь — берлинский профессор Ценкер, двадцать лет жизни посвятивший составлению арабо-неменуюто лексикова, который фурма Брокузувов преводила в

мецкого лексикона, который фирма Брокгаузов превратила в

пепел.

— Представлюсь и я, — сказал франт, раскуривая сигару. — Александр Ауэрбах, горный инженер. Только что выбрался из рудников Плауэнской долины, где взорвались гремучие газы, убившие в штреках сразу триста шахтеров... Герр Ценкер, после этого несчастья у Брокгаузов что вы намерены предпринять?

— Судя по всему, вы тоже из немцев, а потому знаете, как мы, немцы, упрямы. Я вернусь в Берлин и стану составлять лексикон заново, чтобы угробить еще двадцать лет жизни.

Ауэрбах, как бы выражая сочувствие профессору, выдержал паузу, отвечая затем, что он себя немцем не считает:

— Я сын врача из города Кашина и тверской дворянин. А вы — мой коллега по несчастью! Я составил таблицы микроскопического определения минералов, весьма горячо одобрен-

579

ные Горной академией Фрейберга, и вот... эти мои таблицы сгорели в одном пламени вместе с вашим арабо-немецким лексиконом.

- Ужас! воскликнул Ценкер. Наверное, вы, как и я, намерены восстановить сгоревшее? Сколько вам потребуется лет?
- Не лет, а недель, усмехнулся Ауэрбах. Но я, профессор, слишком берегу свое время, и здесь невольно проявляется моя широкая русская натура: я решил плюнуть на эти таблицы, чтобы заняться практической работой на благо России...

Бедный Ценкер! Он так и умер, не успев воскресить свой лексикон, а инженер Ауэрбах, исходя из гениального российского принципа «плевать на все!», сразу забыл о своих таблицах и укатил домой, чтобы со временем сделаться в обожаемой им России не кем-нибудь, а — «ртутным королем».

Да, читатель, были у нас разные короли — чайные Боткины, железочугунные Мальцевы, мануфактурные Морозовы, игольные Гиршманы, булочные Филипповы, стекольные Бахметевы, сахарные Бродские, фарфоровые Кузнецовы, гастрономические Елисеевы и прочие. А наш герой всколыхнул в сонных недрах земли тяжкие и ленивые облака ртути — вредной и всем нам очень нужной.

— Да что там ртуть! — говорил Ауэрбах под старость. — Вы бы посмотрели, за что я смолоду не брался! Если бы у нас в Неве крокодилы водились, я бы наверняка устроил на них охоту, чтобы выделывать прекрасные дамские сумки...

Дедушка владел фаянсовой фабрикой в деревне Кузнецова, папа был доктором, а мама — дочь полковника Берітольца (из саратовских дворян). Детей тогда не баловали, на шее родителей они не засиживались. Саше Ауэрбаху не было и двенадцати лет, когда его спровадили в Горный корпус, и не было ему двадцати, когда выпустили из корпуса в чине поручика. Казна сразу отсчитала ему 21 000 рублей, его послали бурить у Царева кургана на Волге, чтобы допытаться — есть ли там уголь? При этом поручик истратил лишь 16 000 рублей, награжденный за экономию орденом св. Станислава. Горный корпус стал тогда просто институтом, военные чины отменили, Ауэрбах превратился в титулярного советника, которому, если верить словам известного романса, на генеральскую дочь лучше и не засматриваться...

Профессор П. В. Еремеев как-то поманил его пальцем:

— Идите-ка сюда, милейший... Так же нельзя! — сказал он. — Всей России-матушки вам все равно не пробурить, и нельзя забывать о будущем. Я держу вакантной должность адъ-

юнкта по кафедре минералогии, а вы... О чем думаете, милейний?

Склонный к подвижности, очень активный, может, Ауэрбах и не стал бы «возиться» с диссертацией, но сказочный мир турмалинов заманил его в волшебную игру минералов, и диссертацию он защитил, когда ему исполнилось 24 года. Еремеев сказал:

- Очень хорошо, милейший. Но ученый только тогда становится ученым, когда он пронаблюдает, что делают его коллеги за границей. Вот и езжайте. Я дам вам рекомендации к профессорам Деклуазо, Рихтеру и Шрауфу... Сколько вам надобно времени?
 - Хотя бы годик, прикинул Ауэрбах.

На целый год его отправили в Европу и вскоре «Горный журнал» стал получать от него научные статьи. Ауэрбах исследовал целестин, лабрадор и топаз, изобрел гониометр для измерения кристаллов, в Горной академии Фрейберга он слушал лекции, осмотрел в Европе все горные коллекции, которым составил научную опись — для публикации, а потом вернулся на родину.

— Ну-с, милейший, — встретил его Еремеев, — приступайте... Вам светит очень яркая звезда профессуры!

Читать лекции студентам он не любил. Как раз в те годы началась «угольная горячка», искали залежи каменного угля в Подмосковном бассейне, куда хлынули иностранцы и русские. Ауэрбах выезжал на разведки запасов угля, соблазненный гонорарами от лондонского банкирского дома «Томсон и Боннар», но вскоре переметнулся к французам, которые уговорили его оставить профессуру, о чем он известил профессора Еремеева.

- Павел Владимирович, сказал он, вы на меня не сердитесь, но стоять на одном месте не могу, я должен танцевать.
 - Ну, и черт с вами... танцуйте!

Французам он доказал, что качество подмосковных углей ниже тех, что таятся в недрах Донецкого бассейна. В это же время — проездом через тульские края — Ауэрбах встретился с сестрами Берс, через них познакомился с молодым Львом Толстым, который тогда еще не взирал на мир из-под насупленных бровей, а был молодым и веселым офицером в отставке. У сестер Берс гостила Софья Бергтольц (племянница писателя Евгения Маркова), и вся эта компания устроила пикник в вечернем лесу. Ауэрбаху очень понравилась Сонечка; улучив момент, он сказал ей:

- Я еще не знаю вас, но знаю вашу фамилию, ибо моя

матушка носила ее же в девичестве. Однако... Что бы мне сделать для вас? Хотите, я подожгу вон тот стог сена?

- Зачем? удивилась девушка.
- Тогда вы не сразу меня забудете...

В январе 1872 года они уже сыграли свадьбу и отправились на юг, — тогда на юг ездили не отдыхать, а работать.

В дороге Ауэрбах говорил жене, посмеиваясь:

— Не взыщи, моя прелесть, но волшебной жизни не посулю: поскучай в Таганроге, а я буду мотаться по холмам Донбасса...

Первые русские рельсы, по которым помчалась Россия, были прокатаны в Юзовке (ныне город Донецк), где англичанин Джон Юз владел и угольными копями. Хотя этот Юз и просил называть его «Иваном Ивановичем», но русский язык он так и не освоил. Ауэрбах в поисках угля, конечно, не раз навещал Юзовку, где колония англичан имела клуб, устраивала конные скачки, евреи обзавелись синагогой и хедерами, а русские, если им не хватало места в бараках, отрывали норы, будто кроты, а из недр земли они посылали всех «подальше». Александр Андреевич в записках своих не забыл отметить, что «у русских англичане заимствовали только одно: нашу брань и питие водки, которая пришлась англичанам по вкусу и которой они так злоупотребляли, что многих из них Юзу пришлось отправить обратно в Англию...».

Наконец Ауэрбах сыскал два угольных месторождения — коксового близ Юзовки, а второй уголь (с пламенным горением) нашел ближе к Днепру. Но земли, которые он пронзал бурами, были не казенными — частными. Петр Николаевич Горлов, основатель знаменитой «Горловки», где он заложил могучие шахты (носившие потом имена Ленина и Сталина), — вот этот горный инженер, отлично знавший всю область (позже названную Сталинской), однажды предупредил Ауэрбаха, когда они совместно парились в бане:

— Уголь, найденный вами, укрылся от людей на землях братьев Ругченко и господина Шабельского. А эти помещики не дураки, чтобы своих огурцов и помидор лишаться, лишь бы доставить удовольствие вашей французской компании... Понимаете?

Ауэрбах понимал, и, прихватив из Таганрога жену, не раз мотался в Париж, доказывая прижимистым французам, что Ругченко и Шабельский пока еще скромны в своих желаниях, но пройдет время, в этих местах гугукнет паровоз, и тогда...

— ... Тогда огурцы с помидорами будут стоить дороже! У господина же Шабельского еще многотысячное стадо тонкорунных овец, которых на мясо он резать не станет... Где их пасти? Вы, французы, живущие в Париже, желаете сэкономить су, тогда как через год-два вы потеряете тысячи франков...

Возвращаясь из Парижа, Ауэрбах был в дурном настроении.

- - Соня, ты была ли когда бедной? спросил он жену. — Нет. Саша, а... что?
- -- Думается, ублажать этих европейцев мне скоро надоест, просить же профессора Еремеева о возвращении на кафедру минералов стыдно, и вот... Не придется ли нам силеть на бобах?
- У тебя, дорогой, слишком широкие замашки, ты больше похож на купца, а никак не на дворянина, - упрекнула его жена. — Твой папа в Кашине, ты сам мне рассказывал, брал с пациентов по гривеннику, и нужды вы не испытывали. А ты гребещь деньги лопатой и... Впрочем, я тебя люблю, и последний бобик разделим пополам. Но прежде скажи — что ты еще залумал?
 - Скоро узнаещь, озадачил Ауэрбах...

Скоро он порвал с французской компанией, решив пожить, как он говорил, «на подножном корму». Это случилось в 1876 году; тогда же он с женою перебрался жить в Петербург.

— Между тем я могу быть доволен, — рассуждал он. — Именно моими стараниями в Таганроге состоялся первый съезд горнопромышленников, и мы, горные инженеры, всколыхнули Россию! Скоро весь Донбасс начнет укладывать рельсы и шпалы новых дорог. Я уже вижу русский Манчестер с портами в Азовским море...

Говорить о Донбассе и умолчать о шахтерах было бы непростительно. Появилась как бы новая порода тружеников на Руси, и первые шахтеры были скорее изгоями общества, у которых паспорт лучше не спрашивай, иначе сразу «получишь в соску».

Паспорта как таковые еще не играли большой роли в жизни русского народа. Когда Ауэрбах впервые появился в Таганроге, он послал с дворником паспорт в полицию — ради его прописки. Почти сразу прибежал к нему пристав, даже перепутанный:

- Господин Ауэрбах, что случилось? Мы в полиции головы ломаем и никак не поймем, зачем вы паспорт прислади?
- Как зачем? удивился инженер. Ведь я впервые у вас в Таганроге, так должны же в полиции знать, что я не жулик, не аферист, не шулер... вот и прислал — для прописки.

Пристав почти умолял его забрать паспорт обратно:

— Да Бог с вами! Мы-то все гадали — что вам от нас понадобилось? Живите себе на здоровьице, кому какое дело?..

Так было с дворянином Ауэрбахом. Иное дело — шахтеры, у которых паспортов не было. Вернее, у крестьян, что пошли в шахтеры ради заработка, паспорта имелись, но каждый год их следовало отсылать обратно в деревню для обмена, а сельские писаря новых не присылали, ибо подати не оплачены, а денег семье своей прислал крохи... Тут бродяги или беглые учили:

— На што тебе, лаптю экому, ишо паспорт иметь? Здесь и так хорошо, а домой, дурак, не пиши, чтобы с тебя податей не тягали. Жена-то? Да ну их, баб энтих! Заводи «мадаму» себе...

Когда Ауэрбах служил в Донбассе, Софья Павловна содержала у себя на кухне сразу трех беспаспортных: саперного поручика, от жены бежавшего, попа-расстригу, утекнувшего от гнева синодского, и купеческого сынка, от долгов удравшего, — все трое хозяйке раков ловили, чтобы она их с кухни не прогоняла. На шахтах Александра Андреевича лишь 100—150 человек имели паспорта, остальные же при найме говорили о паспорте так:

Был! Но жена померла — с собою взяла...

Ауэрбах писал: «Сознавая, что от голодного нельзя требовать хорошей работы, я кормил своих шахтеров возможно лучше, отпуская на каждого по фунту мяса в день и давая им в обед по чарке водки». А соседние шахтовладельцы, кормившие своих работяг «кандёром» из пшенки без масла, «чуть в революционеры не произвели меня из-за этого вот фунта мяса...».

Александр Андреевич жене говорил:

— Рабочий может быть доволен хозяином лишь в том случае, если увидит, что я могу присесть к их столу и поесть заодно с ними и с таким же аппетитом, с каким ем домашнюю пищу...

Он прав! Так же поступал он и с виновными. Зная, как шахтеры боятся суда, Ауэрбах никогда не призывал полицию:

- Вмешиваться не стану - разберитесь сами.

«За разные проказы и буйства артельный суд в большинстве случаев приговаривал товарищей к телесному наказанию», и секли друзья своих друзей так, что полиция могла бы еще позавидовать. Воровства среди шахтеров никогда не было, а если такое случалось, вора выводили на базарную площадь, привязывали его на весь день к столбу, а на грудь ему вешали доску с надписью:

НЕ ВОРУЙ, СВОЛОЧЬ.

Жилища у шахтеров Донбасса были попросту ужасные («у хорошего хозяина, — писал Ауэрбах, — скотина содержалась намного лучше, нежели наши несчастные шахтеры»), и потому он построил для них в Кураховке чистые добротные казармы, где для каждого был отведен угол. И случилось чудо: его углекопы вдруг стали бриться и ходить в баню, завели котелки и даже тросточки, а пьянство уменьшилось. Иные форсили часами пе-

ред девицами, вынимая их из кармашка жилета когда надо и не надо:

— Не желаете ли, мамзель, узнать точное время? Уж больно вы пронзили мое сердце, а потому извольте — уже полвосьмого. Как раз время прогуляться нам до канавы, а потом и обратно...

Многие вызвали из деревень свои семьи, Ауэрбах выстроил для таких шахтеров отдельные домики, довольный тем, что довольны люди, и сами же углекопы потом ему признавались:

— Коли вы из землянок нас вытащили да на чистую постель уклали, так нам самим жить по-людски захотелось, чтобы прохожие от нас не шарахались. Ну, а коли когда и расколем бутылку, так вы не серчайте на пьяных... без этого нам нельзя!

...Вся эта прежняя жизнь в Донбассе поминалась потом на столичных пажитях как лакомый кусок молодости, а будущее настораживало. Ауэрбаха причислили чиновником в Главное Горное управление, но делами не отягощали. Однако уже подрастали трое его сыновей — пора о них думать. Александр Андреевич заранее предупредил жену, что судьба, оторвав его от юга, поворачивается к северу: его начали соблазнять службою миллионер Асташев, графы Шувалов и Воронцов-Дашков, владевшие золотыми приисками в тех краях, где хорошо бы волков морозить.

— Сонечка, — сказал он жене, — мне уже скоро тридцать пять лет, но до сей поры мои знания и моя житейская сноровка обогащали только других. Не пора ли, я думаю, взяться за дело, чтобы обеспечить детей и принести пользу Отечеству?

Софья Павловна однажды ездила в Тамбов, чтобы навестить своих родичей, а вернувшись в столицу, сообщила мужу, что наследники тамбовского богача Башмакова, недавно умершего, желали бы видеть его своим управляющим. Будучи в Мариинском театре, Ауэрбах случайно встретил балетомана Скальковского, дельца и писателя, тоже из горных инженеров.

- Костя, брать ли мне башмаковские прииски?
- Тамошняя медь дороже золота, пояснил Скальковский.
- Чего в округе не хватает?
- Ума и морали.
- Ты рассуждаешь как писатель, а меня волнует иное...

Богословский округ (ныне там городишко Карпинск) в давние времена принадлежал масону Походяшину, который делился доходами со знаменитым Н. И. Новиковым, издававшим книги для мистического понимания. Сколько лет прошло с той поры, а этот округ, вписанный в северный угол Пермской гу-

бернии, оставался для русских так же ведом, как и жюльверновская Патагония...

- Надо ехать, сказал Ауэрбах, в эту дыру.
- Что ты, милый, всегда выбираешь какие-то «дыры»?
- Но через эти «дыры» лучше видится будущее России...

Приехав, Ауэрбах понял, что здесь уже наступил конец света. Сам поселок заброшен, половина домов заколочена, жители разбегались, на дорогах грабили, население в основном составляли потомки каторжан или беглые, на приезжих они глядели, как волки на барашков, было лето, на вершинах окрестных гор, поросших хвойным лесом, снег еще не растаял, еда была отвратительная, хлеб невыпеченный, на приисках шевелилось золотишко, удобное для хищений, а сам медеплавильный завод напоминал громадный сарай.

Ауэрбаха прежде всего поразила всеобщая нищета, виною чему были ничтожные заработки. Он даже ужаснулся, когда в цехе завода поговорил с пожилым плавильщиком.

- Сколько часов ты жаришься у плавильных печей?
- С шести угра до шести вечера.
- А сколько тебе платят в этом пекле?
- В день загребаю сорок пять копеек.
- Тут и загребать-то нечего. А сколько хлеб стоит?
- За пуд эдак рубля полтора.
- Как же ты живешь, братец?
- Как все, так и я...

Все жили отвратительно. И стало уж совсем тошно, когда вечером подслушал с улицы обычный диалог двух аборигенов:

- Слышь! А где Степан-то?
- Да он дома севодни. Пьяный лежит.
- А ты кудыть?
- Похмеляться к Федору... Пошли вместях?
- Да я пошел бы. Не могу.
- Чего так?
- Меня Иван звал.
- А что у Ивана?
- Обещал выпивку. Вот, иду.
- Я тоже. Пошел. Прощай, брат!
- Будь здоров, друг ситный.
- Заходи когда, слышалось с улицы. Может, выпьем.
- Зайду. Вместях похмелимся...

Свою первую встречу с местными властями Ауэрбах начал словами:

— Так жить нельзя. Пока не повысим ставки рабочим, пока водку не заменим театром и душеспасительными лекциями, от

Богословска ничего ожидать нельзя, а сам округ обречен на вымирание. Жалуетесь, что бегут? Верно. Я бы и сам убежал.

— Александр Андреевич, — отвечали ему, — вы человек новый, всех наших дел знать не можете, а тут такая шваль собралась, что им не театр, а веревку надобно, чтобы всех перевешать...

Вернувшись в Петербург, Ауэрбах удрученно сказал жене:

— Мои беспаспортные шахтеры Донбасса, беглые и бродяги, сейчас представляются мне лишь наивными идеалистами по сравнению с теми, кого я увидела в Богословском горном округе...

Но, уже раззадорясь тем, что его, как последнего дурачка, высмеяли, сочтя Дон-Кихотом, Александр Андреевич теперь уже сам просил назначить его богословским горным начальником.

— Только не мешайте, — предупредил он наследников покойного камергера Башмакова. — А тебе, — сказал он Софье Павловне, — предстоит какой-то немалый срок пожить вдали от меня...

Начал он круго, объявив рабочим, что станет платить не поденно, а лишь сдельно — по наглядным результатам труда. И сразу возник бунт, ибо порядки еще со времен Походящина казались всем нерушимы, а в словах Ауэрбаха рабочие усматривали хитрый подвох. С этого времени он получал подметные письма с угрозами убить его. Но Ауэрбах не уступил никому. целый год прожив в небывалом напряжении нервов, зато тот же плавильшик стал получать не гроши, а сразу полтора рубля. После этого «рабочие прониклись полным уважением и преданностью к А. А., слово которого стало для них законом, а всякое его распоряжение исполнялось беспрекословно». До появления Ауэрбаха Богословский завод давал 17 000 пудов меди, а он довел выплавку до 50 000 пудов, и произошло второе чудо перестали убегать, напротив, люди съезжались в Богословск, заколоченные дома вновь задымили печами, пришлось строить новые, — так возникали новые улицы.

Александр Андреевич собрал на базаре народную сходку.

— Теперь, когда вы у меня малость разжились, я стану вас грабить... Не смейтесь! С этого дня каждый из вас будет отдавать два процента приработка в пользу общественного капитала, чтобы обеспечить пострадавших в труде, кого бревном придавило или обожгло у горна, чтобы создать при заводе детские ясли и, наконец, чтобы вы, звери, по вечерам в театр ходили...

Теперь на все были согласны! Потому что поверили.

Проездом через Пермь он навестил губернатора.

— Что вы еще придумали? — осведомился тот.

- Увы, не я придумал электричество, не мною изобретен водопровод, но все это необходимо для того, чтобы в моем Богословске люди жили не хуже, чем рабочие в Бельгии... Смешно?
- Нет, сказал губернатор. У меня для вас новость, вернее, две новости сразу. Первая: для создания Сибирской магистрали скоро понадобится неслыханное количество рельсов, и одному Джону Юзу не справиться. Так что подумайте на досуге о налаживании рельсопроката. Вторая же новость такова: наследники Башмакова решили продавать весь Богословский округ
 - Обратно в казну?
- По слухам, отвечал губернатор, Богословские заводы, как и золотые прииски, покупает какая-то очень знатная дама. Впрочем, в Петербурге вы все в подробностях и узнаете...

Подробности таковы. Когда-то к порогу дома банкира Штиглица подкинули двух девочек-младенцев, и одна из них, Надежда Михайловна, стала женою статс-секретаря Половцева, который ее приданое тратил на создание знаменитого училища Штиглица (а ныне, читатель, названного именем Веры Мухиной).

Надежда Михайловна, узнав о появлении Ауэрбаха в столице, просила навестить ее в лужском имении Рапти — на берегу озера, где плавали белые и черные лебеди, она жила в сказочном дворце, наполненном сокровищами искусства (теперь там колхоз, а дивные скульптурные изваяния с а м видел в кучах навоза на скотном дворе). Половцева сказала Ауэрбаху, что покупает Богословский округ за шесть миллионов рублей.

- Дешево, правда? поиграла она глазами.
- Сущая ерунда! бодрым смехом откликнулся Ауэрбах.
- А я хотела вас видеть, чтобы просить остаться управляющим округом. Обещаю слушаться вас, словно паинька...

Ауэрбах понял: там, где о шести миллионах говорят как о шести рублях, можно не стесняться в расходах. Он сказал женщине, что согласен остаться в Богословске с условием, если мадам Половцева уделит толику на создание железной дороги.

- На сколько же верст вы ее планируете?
- Чуть более двухсот. Богословский завод протянет рельсы до станции Кушва Уральской железной дороги, а на реках Сосьва и Тавда надобно вам заводить собственное пароходство.
 - Что еще?
 - Электричество. Водопровод. Канализация. И... театр.
- Согласна и на театр, отвечала Надежда Михайловна. Ауэрбах поспешил повидаться с И. А. Тиме, профессором Горного института (это отец известной нашей актрисы Е. И. Тиме).

— Иван Августович, — сказал он ему, — я предлагаю вам прогулку по Европе, чтобы, высмотрев все самое лучшее в рельсопрокатном производстве, вы все это лучшее закупили для оборудования Богословских заводов. В средствах прошу не стесняться: мадам Половцеву нам все равно не разорить...

Профессор Тиме поклялся денег не жалеть. Был уже поздний вечер, когда Александр Андреевич, усталый за день от беготни, вернулся домой на Фонтанку, и жена еще в прихожей шепнула, что его давненько поджидает приятель молодости.

- Может, я ошибаюсь, но кажется, он пришел выпивший и, очевидно, выжидает тебя, чтобы еще выпить.
- А-а, догадываюсь, что это Алеша Миненков. Здорово, дружище! сказал Ауэрбах, заранее распахивая объятия, что-бы облобызать друга юности. Ты откуда сейчас, бродяга?
 - Прямо из Бахмута.
 - Выпить хочешь?
 - Не откажусь.
 - Давненько не виделись. Рассказывай, что у тебя?

Рассказ А. В. Миненкова был печален, а выпивка печали его не развеяла. Он сообщил, что открыл под Бахмутом месторождение ртути (пожалуй, первое и пока единственное в России!), а теперь не ведает, как ему с этой ртутью развязаться.

- А что? Или многие отравились этой заразой?
- Хуже, сказал Миненков. Месторождение на крестьянской земле. Помещиков нету. Сам я небогат, посему составил товарищество на паях с местными дворянами. Но они, твари эдакие, потолкались вокруг да около, в успех разработок ртути не слишком-то уверовали, и компания распалась. А крестьянский «мир» хватает меня за глотку, чтобы платил по договору за наем их земель. У меня же одни долги и боюсь суда. Будь другом, пристрой меня в своем Богословском округе... Ей-ей, а?

Ауэрбах подумал. Прикинул. За и против.. Ответил:

- Чудак ты, Алешка! Надо искать иной выход... Лучше я сейчас дам тебе толику денег для уплаты долгов, а ты... о чем думаешь?
 - Продать эту ртуть и больше с нею не связываться.
 - Так вот, заключил Ауэрбах, ты ртуть не продавай.
 - А почему?
 - Я сам куплю у тебя этот прииск.

Договорились, что Миненков вернется в Бахмут и, как только сойдет снег, сразу вызовет его к себе телеграммой.

— Извещай фразою «снег сощел» — и я пойму. Так вредная и полезная ртуть вошла в его жизнь! Но о короне ртутного короля Ауэрбах еще не помышлял...

Софья Павловна, навещавшая мужа в Богословске, заметила на улицах попрошаек-сирот, от местных женщин она узнала, что девицы беременеют, а чтобы избежать позора вселенского, делают себе аборты, отчего многие и помирают. Об этом говорила с мужем еще при наследниках Башмакова, которые не были тароваты на дела милосердия, и Александр Андреевич отвечал жене:

— Не спорю, родильный приют надобен. Но денежки на него ты, моя дорогая, выкладывай из своего ридикюля...

Когда же округ стал владением Половцевых, он завел в городе приют для сирот, со всей округи в Богословск свозили бездомных детей, девочек обучали уходу за коровами, мальчики осваивали ремесла, осенью дети ходили в лес, собирая грибы и ягоды на зиму. А мадам Половцева была человеком щедрым:

- Даю вам карт-бланш на любую сумму и делайте что хотите, ибо я сама из подкидышей, потому и понимаю, как необходимо для утверждения нравственности все доброе... Простите, Александр Андреевич, я, кажется, вас перебила?
- Да нет, сказал Ауэрбах, у меня не выходит из головы грешная мысль о создании в Богословске театра, наконец, рабочим надобно читать лекции о природе, по истории, всякие.
 - Да, да, да! И пусть театр будет бесплатным.
- Ни в коем случае! горячо возражал Ауэрбах. Когда в наших аптеках дают больным бесплатные лекарства так надо. Но нельзя развращать людей мыслью о доступности мира искусства. Нет! Пусть рабочий с женою выложат в кассе хотя бы гривенник, чтобы знали музы берут с людей пошлину...

Платный театр он создал, а вот лекции для рабочих нарочно сделал бесплатными, зато в дверях клуба поставил дядю Васю, чрезвычайно опытного по части выпивки и похмелки, и тот, за версту почуяв неладное, вопрошал со всей строгостью:

- А ну дыхни, мать твою за ногу! Выпил незя.
- Дядь Вась, да это ишо опосля вчерашнего.
- Приходи завтрева, и чтобы ни-ни, иначе незя...

А жизнь шла своим чередом. У хорошего хозяина ничто даром не пропадает. Вот увидел Ауэрбах дым из фабричной трубы:

— Сколько ж добра на ветер вылетает! Надо подумать...

Сера, улетавшая в поднебесье при обжиге медных руд, побудила строить заводик для ее переработки. Зато из дыма явилась серная кислота, значит, для торговли ею потребны особые бутыли, нужно стеклянное производство. Но кислоты избыток, значит, опять ломай голову, Ауэрбах, думай, на то ты и хозяин.

- Чем черт не шутит! Пусть будет у нас и фосфорный завод, чтобы использовать избытки серной кислоты на месте.
 - Для фосфора потребуется немало кости, подсказали ему.
- А на что Сибирь-матушка, в которой чего-чего, а уж костей-то всегда наберется. Организуйте закупку...

Главное же сейчас — чугуноплавильный завод, чтобы дать Сибири гигантское количество рельсов для уникальной железнодорожной трассы. Одно цеплялось за другое, а люди едут и едут, значит, нужны жилища. За одну зиму дома срубили, по весне их поставили в ряд, вот тебе и улица, по вечерам освещенная электричеством, а в домах — водопровод и канализация... Однажды летом 1894 года Богословск посетила сама Надежда Михайловна Половцева и удивилась обществу этого города: ее встречали на пристани профессора, инженеры, студенты, артисты. Приехала же она не просто так, а ради серьезного разговора, о чем Ауэрбах и догадался с первого же вопроса женщины:

- Александр Андреевич, как вы ко мне относитесь?
- Видит Бог очень хорошо!

Половцева намекнула, что слишком много денег вылетело на строительство металлургического завода и нового города при этом заводе.

- Уйма денег! согласился Ауэрбах, кивая.
- И у меня возникло желание... не совсем скромное, может быть, но вы должны понять маленькое тщеславие женщины.

Она покраснела. Ауэрбах распушил бороду, развел руками:

- О чем разговор? Кто платит за музыку, для того и все оркестры играют. Не смущайтесь. Говорите. Слушаю.
- Я хочу, скромно потупилась Надежда Михайловна, чтобы завод назвали НАДЕЖДИНСКИМ, а сам город НА-ДЕЖДИНСКОМ...

Теперь город Надеждинск называется Серовым (в память о летчике А. С. Серове). В январе 1896 года старый Богословск начал прокатку рельсов, хотя столичные газеты каркали, что ничего не получится, что Ауэрбах фантазер, а Надеждинские заводы сорвут все планы укладки рельсов вдоль Сибирской магистрали.

— Никакой прогресс невозможен, — утверждал в эти дни Ауэрбах, — если в людях не развито чувство гражданского долга, а главной пружиной активности человека всегда есть и будет его бескорыстная любовь к отечеству...

В эти же дни Надежда Михайловна Половцева вознаградила Ауэрбаха премией в 125 000 рублей. Эти денежки «плакали», для Софьи Павловны, сразу отложенные супругом для другого дела.

— Догадываюсь, тебя потянуло в Бахмут, — сказала жена.

- Нет, моя милая, на этот раз в Испанию.

Алеша Миненков вовремя известил о том, что «снег сошел», и Ауэрбах тогда же — по весне — осмотрел бахмутские месторождения ртути. Сомнений не было: можно смело закладывать шахты, чтобы добывать руды, насыщенные ртутью. После этого он и отправился в Испанию — в знаменитый Альмаден, где находился главный ртутный прииск, поставлявший ртуть всему миру. В дороге Ауэрбах припомнил даже Плиния, у которого сказано, что Древний Рим когда-то закупал в Испании громадное количество ртути — громадное!

— Им-то она зачем понадобилась? Правда, — рассуждал Миненков, — в древности, пардон, лечили запоры вливанием в больного ртути, благо она своей тяжестью способна выбить из человека любую «пробку», возникшую от обжорства...

Ауэрбах от истории возвращался к насущной практике:

— Россия до сих пор своей ртути не имеет, а если нашей ртути хватит только на градусники или на то, чтобы выделывать зеркала, — так и это хорошо...

Осмотрев Альмаден, навестили и австрийскую Идрию, где тоже была добыча ртути; по дороге на родину Ауэрбах был задумчив: опыт испанцев, хотя и древнейший, ничего не дал ему, зато вот новейший опыт австрийцев он решил перенять для себя.

— Премия от мадам Половцевой пришлась кстати, — сказал он жене по возвращении. — К этой премии, Сонечка, приложим все наши сбережения, чтобы Россия обрела свою ртуть...

Но ему предстоял тяжелый разговор с Надеждой Михайловной Половцевой. Красивая и эффектная женщина, она предстала перед ним, словно сошедшая с тех портретов, что писали с нее Жалабер, Крамской и Каролюс-Дюран.

- Итак, начал Ауэрбах, завод и город, закрепившие ваше имя в истории государства, я для вас, мадам, построил. Поезда из Санкт-Петербурга до Владивостока катятся по вашим рельсам. У вас своя флотилия из восьми пароходов и сорока барж. В богадельнях и приютах Богословского округа старики и дети молят бога о вашем здравии, а я... я пришел с вами прощаться.
 - Вы чем-то недовольны, мой друг?
- Напротив, мадам, я доволен всем. Но, поймите меня правильно, таков уж у меня неспокойный характер: я не могу долго стоять на одном месте я должен танцевать!
 - Так вы и танцуйте... в паре со мной.

Ауэрбах внятно растолковал женщине: Богословск, где главное уже сделано, становится для него тесен, словно клетка для зверя, а ему необходим простор для новых прыжков.

— Наконец, пора мне подумать и о возрасте, который заставляет меня спешить, и вы, дражайшая Надежда Михайловна, не пытайтесь удерживать меня. Лучше расстанемся друзьями...

Расстались. Но Миненкова он уже не отпускал от себя:

— Ты первым начал, вот и надрывайся заодно со мною. Если ранее годовое потребление ртути Россией не превышало четырех тысяч пудов, так давай, братец, и мы станем пока придерживаться в добыче ртути именно этой цифры...

Русский рынок получил свою ртуть, но дешевизна ее добычи заставила Ауэрбаха думать о вывозе ее на рынок европейский, вступая в единоборство с ртутью испанской и австрийской. От завода протянулись подъездные пути — и ртуть, коварная и обольстительная, словно порочная женщина, тяжело и густо, переливаясь фальшивым серебром, потекла за границу. Уже в 1897 году Александр Андреевич получил 37 600 пудов ртути.

У с п е х! Первый в России ртутный завод под Бахмутом доставил ему ордена, почет и чин действительного статского со-

ветника, приравненный к званию генеральскому.

— Боже мой, — хохотала жена, — помнишь ли тот забавный пикник с Берсами и Львом Толстым в ночном лесу, когда ты, безумец, хотел поджечь стог сена в мою честь? Разве думала я тогда, что ты сделаешь из меня генеральшу? Ведь живи я в былые времена, и я бы имела право ездить на шестерке лошадей с форейтором, орущим благим матом: «Пади, пади, пади!..»

Газеты России не забыли отметить «коронацию» нового короля — ртутного! Ауэрбах сразу остудил веселье жены:

— Я вынужден взять из Госбанка ссуду в полмиллиона рублей, а чтобы гасить проценты, мне предстоит потесниться, образуя акционерное общество «А. А. Ауэрбах и К*»...

Главный пакет акций он удержал при себе. Наверное, Ауэрбах вышел бы победителем из любых финансовых передряг, если бы не война с Японией и не забастовки на транспорте. Война забрала для своих нужд весь подвижной состав железных дорог, а стачки путейцев завершили паралич ртутного завода. Он взывал к правительству, чтобы ссудило хотя бы триста тысяч рублей — ради спасения завода. Но денег не дали, и он спустил пакет акций по дешевке, униженный этим, а те, которым достались его же акции, заставили Ауэрбаха еще более потесниться.

- Что же теперь с нами будет? тревожилась жена.
- С нами? Не знаю. Зато со мною все уже ясно: из кресла

председателя акционерного общества я вынужден перебраться на колченогий и шаткий стул рядового члена правления...

Наконец неизбежное случилось.

— Я... разорен, — объявил Ауэрбах жене. — Наше счастье, что сыновей успели поставить на ноги, а мы... Не лучше ли утешиться сознанием, что когда-то я был «королем»?

— Что же осталось нам? — тоскливо спрашивала она.

— Не огорчайся! В этой чудесной жизни все закономерно, и впереди нас ожидает прекрасная пора осеннего увядания. Надо обязательно предупредить сыновей, чтобы не теряли времени на пустяки, чтобы поторопились, ибо жизнь человеческая ко-

ротка...

Читатель, советую еще раз глянуть на портрет Ауэрбаха, исполненный его большим другом — передвижником Н. А. Ярошенко: чувствуете, сколько ума, сколько энергии заключено даже в позе этого беспокойного человека, а в ворохе деловых бумаг на его столе затаились конторские счеты, чтобы сначала подсчитывать победные прибыли, а потом с небывалым презрением откидывать трескучие костяшки убытков...

Александр Андреевич Ауэрбах скончался в 1916 году.

Мне очень хорошо запомнились слова Ауэрбаха, ныне звучащие несколько банально:

— ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА — ЧЕСТНО ИСПОЛ-НИТЬ ДОЛГ ПЕРЕД СВОИМ НАРОДОМ И ПЕРЕД СВОИМ ОТЕЧЕСТВОМ...

А теперь, читатель, подумаем: так ли уж банальны эти слова?

Ведь они были сказаны не худшими людьми, а лучшими. И произносились от чистого сердца — без подсказки свыше. Что человек думал, то он и говорил...

ДЕНЬ ИМЕНИН ПЕТРА И ПАВЛА

Данзас — зрение военных острое — первым заметил его, когда он завернул с Конюшенной на Мойку, еще издали снимая цилиндр. Полковник вернулся в номер, распустил крючки тугого воротника на вспотевшей шее.

— Спешит, — сообщил друзьям. — И тростью машет.

Павел Воинович Нащокин, выпятив брюшко и оттопырив сочную губу, присмотрелся к стрелкам своего «брегета»:
— Ай да Сашка! Небось опять пешком с Черной речки...

Ну-ну, ходкий он! Шампазея-то, чай, подмерзла?

И побежал навстречу, заранее распахнув объятия.

Пушкин вошел в номер. Расшвырял куда попало свои цилиндр, перчатки, трость. Сразу от порога Нащокин потянул с него узенький сюртучишко.

- Ну и жарища! А у нас ночью на даче гроза была... Вы

тоже слышали? - спросил Пушкин.

Нащокин широким жестом обвел своих гостей:

- Этих поросят ты и сам знаешь, - показал он на князя Эристова и Данзаса. - А вот сей молодой пиит, должно быть, еще незнаком тебе... Пожалуй: поэт и артист Куликов!

Артист, заезжий из Москвы, почтительно склонился:

— Так-с... Только Павел Воиныч напрасно меня поэтом величают. Высокого звания сего, увы, не достоин-с.

Нащокин был нетерпелив, и за спиною Пушкина разом дружно захлопали пробки. Перехватив бутылку из рук лакея, Павел Воинович, деловито и со вкусом, сам наполнил бокалы.

- В известной Демуга отели, - читал он, шепелявя, - бе-

рут с нас пятьдесят рублей. И то за мягкие постели. За кофе же. обед и чай... Как дальше?

 Особой платой отмечай, — смущенно закончил за него Куликов. — Произведение пера моего. Но это я так... балуюсь.

Бокалы сдвинулись, расплескивая пену.

— Воиныч! — попросил Пушкин. — Отвори окна, жарко.

- Изволь, душа моя, изволь...

Нащокин распахнул окна, и в номера гостиницы Демута ворвался со двора оглушительный гомон рабочей артели.

— Шумно ж. брат. — поморщился князь Эристов.

— Неужели мы мужиков не перекричим?..

И началось — посреди дружеского пиршества — негласное соревнование госпол в гостинице и мастеровых во лворе Лемута. Друзья рассыпали каламбуры и анекдоты, а снизу, из прожаренной солнцем котловины двора, била кверху фонтаном, взрывая их тонкие речи, крепкая разноголосица мужиков.

— Это как понимать? — долетало в номер. — Кирпич от положения красу обретает. Ты его вот так ложи - не глядится.

Фасона нет. А бочком оберни — он тебе и зафорсил...

— Закройте же окна, — рассердился Данзас. — Слова не дают сказать... мммерзззавцы!

Пушкин поднялся из-за стола с бокалом в руке:

- А я их отлично понял... Кирпич, как и слово, пронизанное рифмой, тоже можно складывать в дивные поэмы.

Нащокин поднял бутылку — солнечно и радостно она отразила в прохладной глубине яркое сияние летнего дня.

— Сашка, — заорал он, — черт такой, пей! Будешь ты пить или нет сеголня?

Погоди, цыган. — Пушкин облокотился на подоконник

и свесился наружу, болтнув ногами...

Внутри двора броско краснел кирпич, сваленный грудою. А поверх ее восседала компания каменщиков — босых и радостных. Тут же стояло ведро с вином да ходила по рукам громадная миска с крошеной говядиной.

— Тоже гуляют, — блеснули из-за плеча зубы Пушкина. Здоровенный каменщик с рыжими (под масть кирпича) волосами, что были перехвачены ремешком поперек черного от загара лба, горланил больше других.

— Ты меня тока не огорчай, — раздавалось во дворе, — и я

тебя тоже завсегда уважу...

Пушкин с ногами взобрался на подоконник:

— А ведь сегодня день Петра и Павла... Теперь я точно знаю, что там — именинники... Вон орет рыжий!

И, высунувшись в глубину двора, Пушкин окликнул рыжего:

Петра! Здравствуй же...

Мужик заерзал глазами по демутовским окнам. Заметил Пушкина в окне, и лицо его расцвело в хмельной доброте.

- Ты меня, што ли, барин? - спросил он гулко.

Пушкин приподнял бокал:

Тебя... с антелом твоим!

Мужик в радости схватил ведро, запрокинув его над бородатой пастью. На смуглом животе его заголилась рубаха. Обнажился средь мускулов пупок. Пушкин тоже пригубил бокал. посматривая с хитрецой на друзей в комнате.

— Твое здоровье, Петра, — сказал он. Каменщик смахнул по губам рукавом рубахи:

Во мы каки, барин... А за поздравку — спасибо!

— Постой, — остановил его Пушкин, — а где же Павел?

Задрав головы, охотно загалдели все каменщики:

— Здеся! Отлучился Павел-то наш... недалече туточки. Сейчас, барин, вернется и Павел.

— А куда же он делся?

— Да вестимо куда — в кабак! — загоготал Петр, тряся над собой пустое ведро. — Вишь, посуда-то вся обсохла...

И вдруг он пристально всмотрелся в резкие черты поэта.

- Барин, окликнул он Пушкина снизу двора, а в голосе его проступила какая-то лушевная тревога.
 - Эй, отозвался ему Пушкин с высоты.

— А почем ты меня знаешь-то?

Пушкин сделал друзьям знак рукою, чтобы ему не мешали, и сложил возле темных губ ладони:

- Петра, Петра! Я ведь и матушку твою знаю...

Мужик сбежал с груды кирпичей, встал под самою стенкою.

Да ну? — спросил тихонько.

- Батюшка-то ведь твой помер, - сказал ему Пушкин, не то спрашивая, не то утверждая.

Каменщик истово перекрестился:

- Царствие небесное... помер. Правда...

Неожиданно мужики воспрянули с груды кирпичей:

А вот и наш Павел илет!

Петр подмигнул Пушкину снизу двора:

Сейчас мы вместях за помин отца мово выпьем!

Из подворотни Демута вбежал на двор молодой парень. У самой груди его плескалась большая бутыль с вином.

- Павел, - сказал ему сверху Пушкин, - неси скорее. Мы

тебя тут заждались. Да и с ангелом тебя — прими, брат...

Павел в полном обалдении уставился на незнакомого господина в окне. Вскарабкался босыми пятками на кучу кирпичей и, не сводя с Пушкина глаз, он зубами выдернул из бутыли пробку.

Было слышно, как он спросил каменщиков:

— Это кто ж такой будет? Барин? Али еще как?

Мужики, сбившись в кружок головами и часто кивая в сторону Пушкина, что-то растолковывали ему.

Снова пошла по рукам миска с говядиной. Опять поднялся

во весь рост рыжий гигант Петр, и ярким солнцем вспыхнула его голова на фоне золотистых, как буханки хлеба, кирпичей.

— Эй, барин! Стал-быть, ты и наше Киково знаешь?

За спиною Пушкина раздался хохот друзей, и Нащокин потянул поэта прочь от окна — обратно за стол:

— Не позорься, Сашка! Врать ты хотя и горазд, но в Киково-то не бывал ведь, друг любезный, и не бывать тебе...

Но Пушкин снова крикнул в гулкий колодец двора:

- Киково-то? Еще бы не знать... у самой речки!
- Верно, у речки, обрадовался Петр.

— А ваша изба, почитай, крайняя!

И даже заплясал внизу Петр, крайне счастливый, что встретил в столице земляка:

- Третья от околицы, барин... верно! Уж ты окажи милость, откедова ты все про меня знаешь-то?
- Чудак! отвечал Пушкин. Был я с твоим барином на охоте недавно, уток славно стреляли...
 - Так, так, закивал каменщик.
- Ну, и дождь пошел. Гроза! Вот и зашли мы с ним в избу к старушке твоей...

Лаже с высоты было видно, как изменилось лицо Петра:

— И ты, барин, выходит, старуху-то мою видел?

— Видел, Петра. Разговаривал.

- Ну и, выходит, что... жива она?

Пушкин, опечалясь, поставил бокал на подоконник:

— Жива. Да вот на тебя, Петра, она жаловалась.

— Жалилась? Господи, да за што ж так?

Пушкин сверху указал на громадную бутыль с вином:

— Сам видишь небось. Ты винище здесь пьешь, а у матки твоей крыша совсем прохудилась. Что б тебе не выпить разок, а денег послать на деревню с оказией? Ведь стара она у тебя стала, Петра... совсем стара!

Каменщик опустил плечи. Вышел из-под тени стены.

Медленно побрел через весь двор — в подворотню.

Его позвали — он отмахнулся...

Пушкин соскочил с подоконника, но был он уже какой-то не такой, каким пришел сегодня к Демуту.

Провел он ладонью по лицу, словно смахивая нечаянную тоску, и протянул Нашокину свой опустевший бокал:

- Плесни мне, цыган! Если у вас осталось...

А над Петербургом плавилась ужасная жара. Над манежами и плацами висла белая мучнистая пиль. Вдали пересыпалась копытная дробь кавалерии, без песен ехавшей на Марсово поле...

И был самый разгар дня — дня 29 июня 1833 года.

День обычный, каких много.

Поэту осталось жить всего четыре года...

КОММЕНТАРИИ

Исторические миниатюры Валентина Пикуля... Эта грань творчества

писателя требует отдельного разговора.

«Очень хорощо, когда человек еще на заре юности ставит перед собой цель и потом всю жизнь достигает ее; в таких случаях он не останавливается до тех пор, пока не остановится его сердце. Люблю таких людей: они отвечают моему представлению о человеке!» — так писал Валентин Саввич в одной из своих миниатюр.

В этой фразе не только автобиография автора — в ней дань уважения скромным труженикам, фанатично преданным любимому делу и оставив-

шим заметный след в многотрудной истории нашего отечества.

Из уст критиков в адрес Пикуля часто слышались упреки в перегруженности его исторических романов действующими лицами. Для умного человека в этих упреках — восхищение! Ведь в исторических произведениях именно недостаток, а не избыток разысканных материалов требует фантазим и вымысла.

У Пикуля было наоборот.

Щадя читателя, умело дозируя информацию, автор исторических романов не останавливался подробно на некоторых личностях, причастных к описываемым событиям. Но собранный материал оказывался настолько богатым, что Валентии Саввич не мог лишить читателей удовольствия познакомиться с ним, тем более что каждый персонаж был весьма достоин пера историка. Так возникла литературная портретная галерея, которую Пикуль назвал историческими миниатюрами.

В ней он открыл десятки имен, почти стертых из нашей памяти, от которых незаслуженно, несправедливо, а может, нечаянно отвернулась

Россия.

Миниатюры довольно различны по теме, сюжету и форме. Объединяют их только литературное обаяние и историческая ценность судеб людей, посвятивших свою жизнь «во пользу отечества».

Это ультракороткие романы, в которых биография личности спрессо-

вана до предела выразительности.

Впервые миниатюры вышли в Ленинграде в 1976 году в издательстве «Детская литература» отдельной книгой, которую В. Пикуль очень точно назвал — «Из старой шкатулки» В старину шкатулки предназначались для хранения драгоценностей, реликвий. В нее и вложил Пикуль двадцать семь первых исторических миниатюр, драгоценных (если использовать слова Карамзина) «своей древностью и достоверностью».

Валентин Саввич был очень рад, что миниатюрами заинтересовалась именно «Детская литература». Чем раньше в человеке проснется любовь к истории, тем больше уверенности в возрождении лучших российских традиций. А Пикуль писал свои миниатюры так, чтобы они были легко читаемы человеком любого возраста, любого образования. А это, поверьте, совсем непросто. Для него было важно одно: дать воспринимающим события в одной плоскости понимание, что мир многомерен, и помочь услышать стереофонию звуков истории.

Однако напрасно ждал автор интереса к его творениям со стороны молодого поколения. Молодежь встретила выход книги полнейшим молчанием. Зато люди старшего и среднего возраста, много повидавшие и испытавшие на жизненном пути, приняли книгу с большим вниманием и неподдельной заинтересованностью. Автору шли письма с добрыми отзывами, советами, дополнениями и уточнениями к некоторым миниатюрам. Это был несомненный успех.

Стотысячный тираж книги, прекрасно оформленной талантливым художником Рудольфом Яхниным, разошелся быстро. В 1983 году издательство вновь обратилось к пикулевским малым формам, издав книгу «Миниатюры», содержащую 37 произведений.

Наверное, и сам автор не предполагал, что в последующие годы миниатюры займут весьма заметное место в его творческой биографии.

В 1987 году вышли сразу два сборника миниатюр: в киевском издательстве «Молодь» и во Владивостоке (Дальневосточное книжное издательство) — под названием «Эхо былого».

В 1988 году Карельское книжное издательство повторило ленинград-

ское издание образца 1983 года.

«Душистая симфония жизни» — так назвал В. Пикуль сборник миниатюр, вышедший в 1989 » году в издательстве «Прометей». В том же году «ДОСААФ» порадовал читателей своим литературно-художественным изданием «Этюды о былом» в подарочном исполнении.

Даже объемистым комментарием нет возможности охватить все многообразие лиц и судеб, описанных Пикулем в миниатюрах, которых оста-

лось после него более ста пятидесяти.

Валентин Саввич любил писать миниатюры.

На заинтересовавшую Пикуля личность он заводил карточку и годами (а иногда десятилетиями) заносил в нее библиографические источники, в которых встречался материал, необходимый для полного раскрытия образа будущего героя миниатюры Иногда библиография составляла 60—70 источников. Когда накопленная информация обеспечивала простор его творческой мысли, Валентин Саввич брался за перо. Очень часто всего одна ночь требовалась Пикулю, чтобы перенести на бумагу собранное, осмысленное и выстраданное годами.

Печально, что Валентин Саввич не успел увидеть вышедший в 1991 году в издательстве «Молодая гвардия» двухтомник исторических миниатюр, которые он сам с любовью готовил к печати и с нетерпением ожидал их

выхода в свет.

В этом издании практически все миниатюры были впервые собраны воедино и сопровождались репродукциями портретов из коллекции писателя.

Эта работа так захватила Пикуля, что после сдачи томов в производство он поделился со мной: «Ты знаешь, появилось огромное желание продолжить работу над миниатюрами и написать еще один том. Как ты на это смотришь?»

— В общем приветствую, — ответила я. — Но тогда ты задержишь сда-

чу в редакцию рукописи «Барбаросс»

— Ничего, подождут, — продолжал он. — Просто я сейчас еще более почувствовал, что миниатюы — совсем не пустяк. А напишу я третий том быстро, за зиму, потому что он в голове у меня... А весной сяду за Сталинград.

На том и порешили.

С 11 ноября 1989 года Валентин Саввич приступил к работе над ми-

ниатюрами.

Работал он очень плодотворно. Сама не знаю, почему так получилось, но последний год жизни Валентина Саввича зафиксирован в моем дневнике с особенной подробностью.

Вот фрагменты записей, сделанных в феврале 1990 года:

1 февраля 1990 г. написал небольшую миниатюру «Ярославские страдания». Просил принести путеводитель по Ярославлю.

2—3 февраля 1990 г. работал над миниатюрой «Магнезия— златоки-

пящая». Требуется доработка. Просил достать две книги...

4—6 февраля 1990 г. работал над миниатюрой «Вологодский «полтергейст», которая явилась откликом на телепередачу о «барабашках». ВС вспомнил, что в прошлые времена тоже бывали подобные случаи, и сел за миниатюру. При изучении материалов по истории Вологды встретил разночтение в написании места, где происходят события. Просил выяснить, как точно называется место — Фрязино или Фрязиново...

7-9 февраля 1990 г. «Русский аббат в Париже». Миниатюра шла тяже-

ло...

10—11 февраля 1990 г. долго мучился, пока не нашел заголовок — «Бесплатный могильщик». Писал легко, закончил быстро. Доволен. Говорят, что «получилось»...

12-14 февраля 1990 г. пишет о Якове Карловиче Гроте. На столе его

портрет и карточка со стихами --

«Я перед ангелом благим Добру и правде обещаю Всегда служить пером моим...».

14-15 февраля 1990 г. написал «Сандуновские бани»...

15—17 февраля 1990 г. углубился в династию Демидовых...

18—23 февраля 1990 г. «Цыц и перецыц». Не уверен в том, что получилось.

23—25 февраля 1990 г. написал «В очереди за картошкой». Считает, что получилось скучновато...

26—28 февраля 1990 г. в два приема написал миниаттору «Куда делась

наша тарелка? ...

Для тех, кто не знаком с ритмом работы Валентина Пикуля, поясню свои записи. 14—15— это не два дня февраля. Это зимняя ночь с 14-го на 15-е.

В отличие от исторических романов, требующих строгостей фактического и хронологического порядка, миниатюры давали Пикулю эмоциональную разрядку, предоставляя возможность высказать свои сокровенные мысли, личные впечатления и отношение к жизни через характеры выбранных им героев, с поступками которых он в большинстве случаев был полностью солидарен.

Поэтому так много общих черт можно найти у автора и любовно

изображенного им в литературной миниатюре героя.

Взять хотя бы уже упомянутую «шкатулку». В предисловии к первой книге миниатюр Пикуль пишет, что они расположены в хронологическом порядке. Это правда. Но, думаю, совсем не случайно открывает книгу миниатюра о протопопе Аввакуме, необычайно близком автору по характеру, по духу и даже... по судъбе.

Миниаттора под названием «Книта о скудости и богатстве» также весьма характерна для понимания этой грани творчества Валентина Саввича. Автор как бы заново устанавливает памятник на затоптанной временем могиле поборника русского просвещения Ивана Посошкова. Этот «правды всеусердный желатель» восхищал В. Пикуля, полностью разделявшего запись в дневнике Погодина: «Благодарю судьбу, которая доставила мне случай ввести такого великого человека в святилище русской истории».

А в слова Лобанова-Ростовского («Потомок Владимира Мономаха») Валентин Саввич вкладывает мысль, поясняющую его любовь к выбранному жанру: «Днями встречая подлецов и мерзавцев, я по ночам зарывановь в прошлое России, отдыхая душой на привлекательных чертах предков, которые ограждены от злословия потомков надгробной плитой из мрамора...»

Пикуль возвращает в умы читателей не только имена и судьбы, но и многие любопытные эпизоды из жизни и быта старины. Отромным трудом добытые сведения позволяют ему без самолюбования, с уверенностью в

правоте сказанного преподносить их так:

«Не всем, наверное, известно...»

«И мало кто догалывается...»

«Очень немногие слышали о...»

«Сейчас уже мало кто помнит...»

И вслед за одной из подобных фраз на читателя обрушивается уникальная информация, вызывающая удивление эрудицией автора и заставляющая, как образно писалось в одной из рецензий, «содрогнуться от собственного невежества».

Миниатюру «Воин метеору подобный» (о Котляровском) Валентин

Саввич заканчивает словами «Как мало я сказал о нем!»

 «Как много я узнал о генерале Котляровском!» — восклицает благодарный читатель.

В своих миниатюрах Пикуль тяготеет к личностям незаурядным, достойным вечной памяти потомков. Об одном из любимейших своих героев — Михаиле Константиновиче Сидорове — Валентин Пикуль пишет: «Я верю, что Сидорову еще будет поставлен памятник... велик был сей человек! Вот уж воистину велик!»

Насколько все же благородней создавать памятники, чем их разру-

шать

Иногда Пикуль рисовал портреты персонажей, лежащих по другую сторону его симпатий (Аракчеев, Утин, Политковский). Чаще это было результатом аналогий, взятых из современности, хотя Валентин Саввич считал, что бывают гении зла, подлецы с сильной натурой и их из истории не выбросищь.

«Отрицательные явления в истории, — горорит он в миниатюре «Пасхальный барон Пасхин», — достойны такого же внимания, как и положительные. Иногда в отрицательном, будто в фокусе, заключена вся сумма

достоверных черт времени».

Да. Судить историю бессмысленно, у нее просто надо учиться.

В пикулевской энциклопедии человеческих душ нашлось место королю и генералу, писателю и художнику, врачу и ученому, библиотекарю и учителю, композитору и балерине, дипломату и юристу, печнику и закройшице, простолюдину и... в общем, легче перечислить кому не нашлось.

Конечно, героев легче найти среди мужественных генералов и адмиралов, но Пикуль в миниатюрах открыл целую плеяду представительниц слабого пола, достойно занявших место в ряду плодотворных творцов ве-

личия нашей истории.

С большой любовью и теплотой написаны женские миниатюрные

портреты, будь то хранительница домашнего очага, жена известного скульптора-анималиста Клодта («Наша милая, милая Уленька») или основательница научной гинекологии в России Смарагда Голицына («Славное

имя — «Берегиня»).

Кстати, в 1991 году в издательстве «Современник» вышла книга В. Пикуля под общим названием «Славное имя — «Берегиня», включившая в себя, кроме двух «дамских» романов («Три возраста Окини-сан» и «Ступай и не греши»), более десятка миниатюр, посвященных исключительно женшинам.

В миниатюре «Дама из «Готского альманаха» Валентин Саввич пишет: «Я смотрю на фотографию женщины...» (княгиня Е. А. Радзивилл).

Хотя в самом тексте миниатюр об этом упоминается редко, но так было всегда. При написании миниатюры портрет героя обязательно лежал на рабочем столе Валентина Саввича.

Всех своих героев В. Пикуль «знал в лицо» и писал о них, имея исчерпывающую информацию, начиная с рождения и до смерти. Не случайно в конце многих миниатюр можно найти сведения: он скончался тогда-то.

погребен там-то...

Есть среди пикулевских миниатюр и такие, как, например, «Ничего, синьор, ничего, синьорита» или «Куда делась наша тарелка?», которые не имеют конкретного героя. Вернее — герой есть, но героем является народ. И здесь Пикуль верен себе: захватывающие сюжеты с необычными поворотами, дающие пищу жадному уму, и, как всегда, оригинальные концовки, заставляющие не менее чем над чужими задуматься над собственными жизнью и судьбой.

Обратите внимание, как много у В. Пикуля миниатюр, включающих в себя поэтические строчки. Старинная мудрость гласит: «Прозаик рожда-

ется из поэта». Это действительно так.

Валентин Саввич был большим ценителем и знатоком поэзии, сам писал стихи. Ничего не подозревающий читатель уже немного знаком с отрывками его поэтических упражнений. Дело в том, что в своей литературной работе Пикуль всегда использовал поэтические ремарки, которые удачно вписывались в сюжетную ткань создаваемого произведения. Если же нужные строки не находились, а пикулевская режиссура требовала их присутствия, то он их писал сам. Эти стихотворные вкрапления с диапазоном от озорной частушки до траурного марша рассыпаны по всем томам произведений Валентина Пикуля.

«Русская цензура, — со знанием дела писал Валентин Саввич в миниатюре «Полезнее всего запретить», — убила писателей гораздо больше, нежели их пало на дуэлях или в сражениях». Эти слова, конечно, написаны под влиянием ощущения особой щепетильности, с которой относи-

лась современная цензура к автору «Нечистой силы».

Но цензуру, как оказалось, с помощью миниатюр можно и обмануть. То, что было непозволительно говорить Пикулю, прорывалось из уст исторических личностей. И пикулевские герои из глубины веков «резали правду-матку» в глаза ныне здравствующим потомкам, живущим на новом витке повторяющейся, как известно, истории.

«Почему это у нас дураки в сенате заседают, а умных людей в тюрь-

мах содержат?» — вопрошал Бичурин («Железные четки»).

А кто осмелится возражать, если говорит сам император Александр II: «Господа, прежний бюрократический метод управления великим государством, каковым является наша Россия, считайте, закончился. Пора одуматься! Хватит обрастать канцеляриями, от которых прибыли казне не бывает, пора решительно покончить с бесполезным чистописанием под диктовку начальства... Думайте!»

И миниатюра «Человек известных форм», написанная в ночь после чествования Л. Брежнева, прошла без особых осложнений, котя начиналась довольно криминальным абозцем: «Понятно, когда полководец, признанный народом, предстает перед нами при всех орденах. Зато страшно смотреть на разжиревшего борова, таскающего на себе пудовый иконостас из орденов, «заслуженных» на тучной ниве общенародного грабительства и рвачества». Ничего стращного — это ведь о Клейгельсе!

Мини-биографии людей, жизнь которых «прожита не как-нибудь, а с большой, хорошо осознанной пользой», которые, как, например, Илья Мамонтов, жертвовали собой для будущего счастья человечества, нашли

широкий отклик в сердцах читателей.

К глубокому сожалению, большинство поклонников приобщилось к творчеству Пикуля благодаря модным, нашумевшим историческим романам или произведениям морской тематики.

В общем-то, это очень хорошо. Глубокое сожаление касается только того аспекта, что довольно ограниченный тираж исторических миниатюр оставил в тени этот многоцветный венок литературных шедевров, сплетенный Валентином Пикулем.

Реже, чем на другие произведения, приходят письма с откликами читателей на миниатюры.

Но зато какие!

Один корреспондент, довольно широко ознакомившийся с исторической мозаикой, пишет: «Если бы В. Пикуль не написал ничего, кроме своих миниатюр, то и тогда бы он сыскал себе славу российского ОТенри».

А с каким волненнем Валентии Саввич читал письма потомков героев миниатюр, узнавших о деяниях своих предков от доброго, задушевного рассказчика.

Говорят: все поросло быльем, все проходит...

Нет, ничего не проходит бесследно - все остается людям.

Прикоснитесь к миннатюрам Валентина Саввича Пикуля, заставившего заговорить историческую немоту, и вы почувствуете, как обогатится ваш мир.

СОДЕРЖАНИЕ

МИНИАТЮРЫ

Под золотым дождем 5

Трудолюбивый и рачительный муж 15

Калиостро — друг бедных 27

Старые гусиные перья 38

Шедевры села Рузаевки 48

Из пантеона славы 55

Досуги любителя муз 65

Коринна в России 73

«Мир во что бы то ни стало!» 83

Что держала в руке Венера 93

Одинокий в своем одиночестве 102

Сын Аракчеева — враг Аракчеева 113

> Полет и капризы гения 122

Наша милая, милая Уленька 126

> Герой своего времени 137

Удаляющаяся с бала 145

> Железные четки 156

Через тернии — к звездам 171
Полезнее всего — запретить! 183
Посмертное издание 197
Закройных дел мастерица 207
Известный гражданин Плюшкин 214
Душистая симфония жизни 226
Пень генерала Драгомирова 239
Граф Полусахалинский 246
Дама из «Готского альманаха» 255
Портрет из Русского музея 265
Письмо студента Мамонтова 273
Мясоедов, сын Мясоедова 284
Выстрел в отеле «Кломзер» 294
Последние из Ягеллонов 306
«Пляска смерти» Гольбейна 315
Первый университет 328
«Цыц и перецыц» 347
Длина тени от сгнившего пня 360
Бесплатный могильщик 370
Ржевский самородок 378

Есиповский театр 386

Ярославские страдания 397

«Радуйся, благодатная...» 405

«Как трава в поле...» 415

Два портрета неизвестных 425

Этот неспокойный Кривцов 435

Пулковский меридиан 449

Резановский мавзолей **456**

Тайный советник 475

Быть тебе Остроградским! 488

Двое из одной деревни 500

Старое, доброе время 511

Куда делась наша тарелка? 523

«Ошибка» доктора Боткина 534

Памяти Якова Карловича 548

В стороне от большого света 560

Автограф под облаками **569**

Ртутный король России 579

День именин Петра и Павла 595

> КОММЕНТАРИИ **599**

Пикуль В. С. П 32 Миниатюры / Сост. А. Пикуль. — М.: Вече. АСТ 1999. — 608 с.

ISBN 5-7838-0266-2

«Историческими миниатюрами» В.Пикуль называл небольшие рассказы о деятелях и знаменитых событиях русской и зарубежной истории. К этому жанру писатель обращался неоднократно на протяжении своего творчества. Герои миниатюр — воины, строители, мореплаватели, ученые, мыслители, дипломаты — все те, кто оставил свой след в истории.

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

МИНИАТЮРЫ

Генеральный директор Л. Палько
Ответственный за выпуск В. Еленский
Главный редактор С. Дмитриев
Корректор Т. Легостаева
Художник Б. Федотов
Верстка В. Царькова

ЛР № 064614 от 03.06.96. Издательство «Вече» 129348, Москва, ул. Красной сосны, 24.

Подписано в печать 20.04.98. Формат 84×108 ¹/₃₂. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Бумага офсетная. Печ. л. 19,0. Тираж 10 000 экз. Заказ 23.

Отпечатано с оригинал-макета ОАО «Рыбинский Дом печати» 152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8. алентин Пикуль — не только один из самых популярных российских писателей. Он — не просто талантливый писатель, но человек, сумевший возродить лучшие традиции исторического романа и заново пробудить в нашей стране интерес к тайнам и загадкам истории. Валентин Пикуль подарил читателям тножество ярких, увлекательных книг.

Миниатюры Баязет Пером и шпагой Битва железных канилеров Моонзунд Честь имею Каторга Богатство Псы господни Из неизданного Океанский патруль На задворках великой империи Фаворит Слово и дело Барбаросса Из тупика Крейсера Три возраста Окини-сан Нечистая сила Каждому свое Париж на три часа Ступай и не греши Реквием каравану PQ-17 Мальчики с бантиками Морские миниатюры Ночной полет

